



Н.И. Кареев

**ХІХ ВЕК
КОНСУЛЬСТВО,
ИМПЕРИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ**



**ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
В НОВОЕ ВРЕМЯ**



**АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ**

Основой этого тома «Истории Западной Европы в Новое время», охватывающего первые три десятилетия XIX в., являются, так же как и основой первых трех томов, университетские чтения. Мне приятно вспомнить, что первый курс, который я читал в качестве стороннего преподавателя в Московском университете в 1878—1879 гг., имел своим содержанием как раз эпоху, рассматриваемую в настоящем томе. Я сохранил в нем даже общий план и порядок частей этого курса. Составляя непосредственное продолжение первых трех частей «Истории Западной Европы в Новое время», издаваемый ныне том в то же время является первой частью «Истории Западной Европы в XIX в.», которую автор предполагает довести в следующем выпуске до 1871 г. В виде общего историко-философского *résumé* первых трех томов нами была издана особая книжка под названием «Философия культурной и социальной истории нового времени», содержащая в себе «основные понятия, главнейшие обобщения и наиболее существенные итоги истории XIV—XVIII вв.» и служащая «введением в историю XIX в.». Такое же *résumé* автор предполагает сделать и для двух томов, в коих будет изложена история первых двух третей нашего столетия. При составлении настоящего тома мы держались общего правила, положенного в основу всего труда: именно делать изложение тем подробнее, чем ближе к современности рассматриваемые эпохи.

7 сентября 1893 г.

16 июня 1894 г.

Н. Кареев

Н.И. Кареев

ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ

Развитие культурных и социальных
отношений

ХІХ ВЕК. КОНСУЛЬСТВО,
ИМПЕРИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

«Академический проект»

Москва, 2017

УДК 94(100)''05/...''
ББК 63.3(0)4/6
К22

Кареев Н.И.

К 22

История Западной Европы в Новое время. Развитие культурных и социальных отношений. XIX век. Консульство, Империя и Реставрация. — М.: Академический проект, 2017. — 588 с. — (История Европы: эпохи).

ISBN 978-5-8291-1895-2

В настоящее издание входит капитальный труд известного русского историка и социолога Николая Ивановича Кареева «История Западной Европы в Новое время» (изданный в 1893–1917 гг.), который охватывает значительный период европейской истории, начиная от позднего Средневековья до начала XX в. Эта работа возникла из читанных им общих курсов новой истории, имевших своей целью выяснить значение двух главных переворотов в жизни европейского Запада за последние четыре века, то есть Реформации и революции, в связи с общим характером новой истории с ее отличием от средневековой. Книга написана на высоком теоретическом уровне с привлечением огромного количества источников. Исторические события освещаются в связи с общим культурным контекстом, что позволяет увидеть некоторые скрытые механизмы-двигатели исторического процесса и проследить их взаимное влияние, обеспечивая необходимую для исторического анализа широту взгляда, проследить процесс становления современного европейца. Книга издается впервые с момента своего выхода в свет.

Четвертый том «XIX век. Консульство, Империя и Реставрация» охватывает события первых десятилетий XIX столетия. Кареев подчеркивает те глубокие изменения, которые произвела в европейском общественном сознании Французская революция. Автор пишет: «Подобно Реформации, начавшейся в Германии и распространившейся отсюда на всю Западную Европу, и революция 1789 г., бывшая сначала... чисто местным событием в качестве политического и социального переворота во французской монархии, приобрела весьма скоро универсальное значение и по своему влиянию на остальную Европу, и по той еще причине, что сама революция эта была лишь одним из проявлений важного исторического процесса, который имел место в культурной и социальной жизни романских и германских народов».

Книга может быть рекомендована как историкам-профессионалам, так и всем, кто интересуется историей Европы.

УДК94(100)''05/...''
ББК 63.3(0) 4/6

ISBN 978-5-8291-1895-2

© Составление, оригинал-макет, оформление.
«Академический проект», 2017

Вступление

I. История XIX в. и ее изучение

Значение Французской революции в Новейшей истории. — Общий взгляд на историю XVIII в. — Консервативная оппозиция в XVIII в. и реакция в XIX в. — Основные исторические движения XIX в. — Деление истории XIX в. на периоды. — Общая историческая литература о XIX в.

Центральными событиями двух больших периодов, на которые можно разделить историю Западной Европы в Новое время, являются религиозная реформация XVI в. и революция конца XVIII в. Подобно тому, как Реформация, подготовка коей началось еще в XIV и XV вв., открывает собою историю XVI и XVII столетий, составляющих особый период в культурной и политической жизни Западной Европы по характеризующим их явлениям религиозной реформации и вызванной ею католической реакции, а также борьбы между католицизмом и протестантизмом, так и революция, ближайшим образом подготовленная культурным движением и социальными отношениями XVIII в., имеет значение исходного пункта Новейшей истории со всеми политическими, социальными и национальными движениями, которыми так было богато подходящее теперь к своему концу XIX столетие. Подобно Реформации, начавшейся в Германии и распространившейся отсюда на всю Западную Европу, и революция 1789 г., бывшая сначала, по-видимому, чисто местным событием в качестве политического и социального переворота во французской монархии, приобрела весьма скоро универсальное значение¹ и по своему влиянию на остальную Европу, и по той еще причине, что сама революция эта была лишь одним из проявлений важного исторического процесса, который совершался вообще в культурной и социальной жизни романских и германских народов. И в Германии начала XVI в., и во Франции конца XVIII столетия лишь ранее, чем в других странах Западной Европы, произошли события, имевшие своими причинами культурные и социальные отношения, которые были более или менее общими для всех стран, где только существовали исторические порядки католического и феодального происхождения. Если немецкая Реформация могла оказать влияние на другие страны католической культуры, то лишь потому, что последние были сами подготовлены к восприятию этого влияния существованием в них тех же самых или аналогичных отношений², которые вызвали реформационное движение в самой Германии. То же самое можно сказать и о Фран-

¹ См. т. III (гл. XXIX. Местное и европейское значение революции).

² См. т. II (Анализ причин реформационного движения).

цузской революции: ее влияние на Западную Европу обуславливается тем, что старые государственные и общественные порядки, против коих направлено было французское историческое движение конца прошлого столетия, были общими почти для всех европейских стран¹, не говоря о космополитическом значении французской «философии XVIII в.»². Вот почему и историю Французской революции можно, в общем, рассматривать с двух точек зрения, видя в ней или внутренний французский переворот, или событие, значение коего выходит за пределы одной французской истории. В последнем смысле революция и была подвергнута историческому рассмотрению в двух известных трудах — Зибеля («Geschichte der Revolutionszeit») и Сореля («L'Europe et la révolution française»³). Равным образом, лишь имея в виду общеевропейское значение Французской революции, Файф, автор «Истории Европы XIX в.», начинает свое изложение с 20 апреля 1792 г., когда революционная Франция впервые объявила войну монархической Европе, войну, имевшую громадное значение не только в истории международных отношений, но и для внутренней истории большей части европейских народов. Мы последуем этому примеру, предпослав изложению истории XIX в. краткий очерк непосредственного влияния Французской революции на Европу уже в последнее десятилетие прошлого века, по возможности, однако, в соответствии с общим характером нашего труда, по возможности, сократив дипломатическую и военную сторону истории взаимных отношений между революционной Францией и вступившей с нею в борьбу Европой.

История XVIII в. на западе Европы характеризуется двумя главными явлениями, а именно: в области политической и социальной господством королевского абсолютизма и аристократических привилегий, соединение коих и составляет самое существо «старого порядка», разрушенного революцией, в культурной же сфере — господством рационалистической философии естественного права, враждебной всем государственным и общественным отношениям, из которых складывался самый этот «старый порядок». Нужно, однако, заметить, что последний не только подвергался нападению извне во имя новых культурных и общественных начал, бывших с ним в самом резком противоречии, но и внутренне начинал разлагаться. Еще задолго до революции политический абсолютизм вступил в борьбу с социальными привилегиями, — одна из характерных черт так называемого «просвещенного абсолютизма», что вызвало против государственной власти довольно острую консервативную оппозицию со стороны представителей сослов-

¹ См. т. III (гл. II. Сущность «старых порядков»).

² См. т. III (Общеевропейский характер «просвещения» и господство французской цивилизации в XVIII в.).

³ Оба они существуют в русском переводе. (Имеются в виду книги: *Зибель Г. Ф.* История Французской революции и ее времени / Пер. с нем. под ред. В. Ососова. Ч. 1—4. СПб.: Тип. О.И. Бакста, 1863—1867; *Сорель А.* Европа и Французская революция / Пер. с фр. с предисл. проф. СПб. ун-та Н.И. Кареева. Т. 1—8. СПб.: Л.Ф. Пантелеев, 1892—1908. — *Прим. ред.*)

ных привилегий. Само крушение во Франции старой монархии объясняется совокупным против нее действием двух оппозиций — консервативной, отстаивавшей старый социальный строй, и прогрессивной, стремившейся, наоборот, к общественному переустройству. Победа революции над «старым порядком» во Франции свидетельствует нам не только о той силе, какую получили новые идеи в обществе, но и о том расстройстве, в каком находилась вся исторически сложившаяся система политических и социальных отношений. Каков бы ни был исход начавшегося во Франции переворота для внутренней жизни этой страны, победа революционной Франции над Европой, ополчившейся на защиту своего старого государственного и общественного строя, равным образом свидетельствует нам о внутреннем разложении этого строя и вне Франции. Революция во Франции и вызванная ею международная борьба только ускорили падение «старого порядка» и в других государствах, где он и без того начинал уже разлагаться, — и в то же время содействовали пробуждению новых общественных сил, стремления коих получали свою формулировку под влиянием все той же французской «философии XVIII в.», под влиянием все тех же «принципов 1789 г.». В прошлом веке Франция только шла впереди других континентальных наций, но дорога, по которой почти все они шли, была, в сущности, одна и та же: это был исторический процесс преобразования старых общественных и государственных форм, созданных феодализмом и развитием абсолютной монархии, в новые формы, которые соответствовали бы стремлениям новых социальных классов и принципам нового политического мирозерцания.

«Старый порядок» держался на неравенстве и на отсутствии свободы: первое было остатком средневекового феодализма, второе — результатом королевского абсолютизма Нового времени. Философия «естественного права» была, наоборот, проповедью гражданского равенства и свободы, как индивидуальной, так и политической. Противоречие, существовавшее между фактическими отношениями общества и государства и идеальными требованиями от обоих, с особой силой проявлялось во Франции, но то же самое представляла собой внутренняя жизнь и других стран. В 1789 г. французы перестроили свой общественный быт на началах гражданского равенства, отменив все сословные различия, и сделали опыт основания свободного государства, провозгласив принципы индивидуальной независимости и общественного участия в государственной жизни. Французские «принципы 1789 г.» сделались, так сказать, основной программой всех политических движений XIX в., поскольку последние были направлены против «старого порядка», как соединения политического абсолютизма с социальными привилегиями.

Перестройка общества на новых началах встретила в XVIII в. консервативную оппозицию со стороны тех социальных классов, которым благоприятствовал «старый порядок». Когда королевская власть начала порывать свою солидарность с сословными привилегиями, что и было одной из сто-

рон просвещенного абсолютизма¹, на защиту старого общественного строя выступили — где и как могли — аристократические элементы общества: преобразовательная деятельность монархических правительств второй половины XVIII в. должна была считаться с сильной консервативной оппозицией, и те самые общественные элементы, которые в социальном быту противились реформам, предпринимавшимся представителями абсолютной монархии накануне революции, приняли и наиболее деятельное участие в борьбе с этою последнею. Победа революции во Франции и победа Франции в Европе была поражением прежде всего для представителей средневекового католико-феодального строя общества, так как для них одинаково были ненавистны и «просвещенный абсолютизм» XVIII в., и Французская революция, и наполеоновская империя, сохранившая социальные приобретения революции и распространившая их на новые страны. Когда императорская Франция потерпела поражение в борьбе с соединенной Европой, общественные элементы, находившиеся в открытой вражде с новыми началами жизни, немедленно перешли в наступление и предприняли одну из наиболее жестоких в Новой истории реакций. В данном случае мы имеем перед собою повторение того, что было в XVI в., когда за возникновением реформационного движения, спустя некоторое время, последовала католическая реакция, и подобно тому, как в известный период Новой истории весь ее интерес сосредотачивается на борьбе протестантизма и католицизма, так и теперь на первый план выступает интерес борьбы между тем, что получило в эту эпоху название либерализма, и тем, чему мы даем имя реакции. И консервативная оппозиция против общественных реформ, замышлявшихся и предпринимавшихся в эпоху просвещенного абсолютизма, и реакция против всего, что было сделано Французской революцией и сохранено или получило дальнейшее распространение, благодаря империи Наполеона I, составляют из себя, в сущности, одно и то же явление — явление защиты носителями социальных привилегий своего традиционного положения в обществе. В числе факторов, подрывавших старый социальный строй, были в XVIII в. сама государственная власть и новые культурные и общественные идеи, т. е. абсолютизм и «просвещение» века. Французская революция произвела весьма существенное изменение в тогдашних довольно натянутых отношениях между государственной властью и привилегированными сословиями: переворот, который был направлен одинаково против обеих сторон «старого порядка», т. е. и против абсолютизма, и против привилегий, сблизил между собою, в интересах защиты «старого порядка», и политических, и социальных его представителей. Консервативная оппозиция католико-феодальных элементов общества, в XVIII в. имевшая против себя абсолютизм, превратилась в начале XIX столетия в католико-феодальную реакцию, нао-

¹ См. т. III (гл. XXVIII. Реформы в области сословных отношений).

борот, делавшую одно дело с тогдашним абсолютизмом, и таким образом последний из «просвещенного», каким он был перед революцией, превратился после падения империи Наполеона I в абсолютизм реакционный. В середине второго десятилетия XIX в. историческое движение, начавшееся в прошлом веке, встретилось не только с социальной и политической реакцией, отчасти вышедшей из недр самого движения, но и с реакцией культурной — против того самого «просвещения», идеи коего разделялись в XVIII в. даже представителями старого порядка. Эта тройная реакция начала нашего века, реакция социальная, политическая и культурная, поставила своею задачею бороться против всех новых начал жизни и мысли во имя принципов «старого порядка», и борьба шла и внутри отдельных государств, и на более широкой сцене международной политики. На одной стороне стояло все, что так или иначе было продуктом изменений, совершившихся в духовной и общественной жизни новой Европы, на другой — все отжившее свое время, т. е. и феодализм с его сословными привилегиями и общественным неравенством, и католицизм с его враждой к духовной свободе и личному развитию, и абсолютизм, подавлявший всякое самостоятельное и независимое проявление общественных сил, ставивший своей задачей охрану культурного и социального *status quo*¹. Весь вопрос был в том, должна ли была Западная Европа и далее идти по дороге, пройденная часть которой отмечена такими движениями, как гуманизм, реформация, просвещение и революция, или же должна остановиться и пребывать на все будущие времена в том состоянии, которое было результатом сочетания феодализма, католической реакции и сословно-вероисповедного абсолютизма. История XIX в. решила этот вопрос в первом смысле, несмотря на частные победы, которые не раз одерживала культурная, социальная и политическая реакция представителей «старого порядка». В этой борьбе между отживавшими традициями и освободительными заветами XVIII в. и заключается одна из самых важных и интересных сторон истории нашего века.

С политической и культурной реакцией против новых начал духовной и общественной жизни вступило в борьбу направление, получившее в начале нынешнего столетия название либерализма. Основным принципом этого направления явилась идея свободы, и притом в смысле свободы не только политической, что должно было отразиться на стремлении к известному рода государственному устройству, но и свободы индивидуальной как по отношению к государственной власти, так и в сфере духовной жизни, в делах религиозной веры и философского и научного исследования. Либерализм явился лишь продолжением тех духовных стремлений, которые в предыдущие века выразились в гуманизме, передовом протестантизме и просвещении XVIII в., и тех политических движений во имя свободы, коими так бо-

¹ Дословно: положение, в котором...; текущее положение дел (*лат.*). — *Прим. ред.*

гата история Западной Европы со второй половины Средних веков. Культурная и политическая борьба либерализма с реакцией имела и социальную сторону: в то время как представителями реакции в этой борьбе были духовенство и дворянство в качестве сословий, против которых было направлено новое историческое движение, защиту либеральных начал взяла на себя буржуазия, бывшая и в предыдущие века противницей аристократических привилегий, выросшая к концу XVIII столетия в значительную социальную силу и одержавшая победу над «старым порядком» в 1789 г. С принципиальной точки зрения это была борьба сословных привилегий с бессословным гражданством, в экономическом отношении она сводилась к антагонизму между двумя различными имущественными классами — землевладельцами и капиталистами, причем люди либеральных профессий явились также сторонниками нового исторического движения. Борьбой реакционной аристократии и либеральной буржуазии, однако, не исчерпывается еще вся социальная история XIX в. В 1789 г. старый общественный строй был низвергнут совокупным действием буржуазии и народной массы, и на развалинах этого строя возникло бессословное гражданство, основанное на принципе равенства всех перед законом. Подобно тому, однако, как более ранняя политическая революция, например, чешская в эпоху гуситства, немецкая в начале Реформации, английская в середине XVII в., сопровождались чисто народными движениями, и великая Французская революция всколыхнула народные массы, сделавшись для XIX в. исходным пунктом новейшего социального движения. Уничтожение сословности и юридическое уравнивание всех граждан государства, так сказать, обнажило чисто экономическую основу общественных классов, и в бессословном гражданстве началось, — между прочим, и под влиянием перемен в самом хозяйственном быту, — быстрое развитие социальной противоположности буржуазии и народа. Уже в XVIII в. некоторые публицисты начали ставить и теоретически решать вопрос, который в XIX в. получил название социального по преимуществу, и именно не в смысле устранения юридического и политического неравенства, а в смысле радикального переустройства самого экономического быта, остававшегося неприкосновенным в своих основах при замене прежнего сословного строя бессословным гражданством. В XIX в. под влиянием общего демократического характера Французской революции и в зависимости от экономических перемен, обостривших взаимные отношения имущих и неимущих классов общества, помимо политического движения, выразившегося в либерализме и чисто политическом радикализме, возникло совершенно особое историческое движение, получившее название социализма. В XIX в. социальный вопрос не только начал, как никогда раньше, усложнять вопросы политического характера, но и стал выдвигаться с особой силой вперед, как, например, в XVI в. выдвигался вперед вопрос церковный, хотя и тогда, в эпоху Реформации, происходили также

народные движения с чисто социальным характером. Понятное дело, что это должно было отразиться на самой культурной и политической истории XIX в.

Наконец, рядом с движениями политическим и социальным в XIX в. весьма видную роль играет еще движение национальное, которое равным образом имеет своим исходным пунктом революцию 1789 г. Последняя сама была для французов великим национальным делом и подействовала возбуждающим образом на другие народы: «принципы 1789 г.» санкционировали не только индивидуальное и общественное самоопределение, но и самоопределение национальное; демократическая идея народовластия создавала из нации коллективную индивидуальность, имеющую право на свободу и независимость; новые общественные порядки пробуждали самосознание народных масс. Но особенно сильно содействовала этому процессу, — который в культурном и политическом отношениях принимал то прогрессивный, то реакционный характер, — империя Наполеона I, в одно и то же время и революционировавшая весь западноевропейский континент, и налагавшая на его народы чужеземное иго. С одной стороны, поэтому французское владычество над ними сопровождалось распространением и на них многих начал революции 1789 г., содействовавших развитию в этих народах национального самосознания, с другой же — затрагивая чувство национальной независимости, оно вызывало ненависть ко всему иноземному и стремление к культурному обособлению. И то и другое было только началом целого ряда исторических явлений, осложнявших вопросы культурной, социальной и политической жизни вопросами чисто национального характера, которые, повторяем, решались и в либеральном, и в реакционном смысле.

С точки зрения основных исторических движений XIX в., на которые только что было указано, мы можем разделить историю этого столетия на следующие периоды:

1. Эпоха консульства и империи (1800—1814), время внутренней политической реакции во Франции и распространения внешнего могущества Франции, сопровождавшегося крушением «старого порядка» в других странах.

2. Эпоха Реставрации (1814—1830), характеризующаяся сильной реакцией «старого порядка» и борьбы с ним либерализма.

3. Эпоха июльской монархии (1830—1848), когда буржуазия достигает политического преобладания, но зато впервые обостряется социальный вопрос, начинающий играть особенно важную роль именно в истории второй половины XIX в. Одновременно усиливается и национальное движение, коему равным образом суждено было играть видную роль в истории второй половины столетия.

4. Февральская революция и Вторая империя (1848—1870).

5. Современная эпоха с падения Второй империи и объединения Италии и Германии.

Как всякое деление истории на периоды, и это деление имеет свои неудобства, но для целей общего построения и изложения истории XIX в. мы с полным правом можем держаться только что отмеченных заголовков, выдвигая на первый план следующие крупные события общеевропейского значения, во многих отношениях довольно резко отделяющие одну эпоху от другой, а именно: установление (1799) и падение (1814) наполеоновской диктатуры во Франции, Июльскую (1830) и Февральскую (1848) революции со всеми другими переворотами, вызванными обеими этими революциями, и наконец Франко-германскую войну 1870–1871 гг. Заимствуя эти даты из области политической истории, мы тем не менее можем пользоваться ими и в истории социальной, ибо в первом периоде совершалась консолидация общественного строя, созданного революцией, во втором сделана была попытка феодальной реакции, в третьем буржуазия достигла наибольшего преобладания, а в следующем началась борьба «четвертого сословия» под знаменем новых социальных идей. Кроме того, можно сказать, что 1848 годом история XIX в. делится на два больших периода, из коих в первом главное значение принадлежало политическому движению, достигшему своей цели с повсеместным распространением на Западе конституционных форм, а во втором особую силу получило движение социальное, поставившее себе уже иные задачи. Середина XIX в., кроме того, может быть признана в истории умственного движения временем падения идеалистического направления в философии, господствовавшего в первой половине столетия, и началом того преобладания реалистических стремлений, которые характеризуют вторую половину века.

В исторической литературе весьма часто изложение Новейшей истории начинается с 1815 г. Одним из наиболее капитальных трудов, предпринятых по истории XIX в., было сочинение Гервинуса «Geschichte des XIX Jahrhunderts»¹, в коем изложение, начинающееся с 1815 г., доведено в 7 томах до 1830 г. Гервинус был учеником Шлоссера, автора известной «Истории XVIII столетия и XIX до падения Французской империи», так что его труд непосредственно примыкает к труду Шлоссера, служа как бы его продолжением. Но и независимо от этого для людей нашего века переустройство Европы, потрясенной войнами революции и империи, — переустройство, совершившееся в 1815 г., — должно было казаться началом совершенно нового периода европейской истории, началом истории Новейшего времени, как принято называть XIX в. у немцев, или «истории современной», как особенно охотно обозначают ее французы. Две единственные истории Новейшего времени на русском языке, Лоренца² и г. Григоровича³, берут также за исходный пункт эпоху Венского конгресса. То же

¹ Переведено по-русски.

² История Новейшего времени. СПб., 1860, и позд. изд., дополн. Марковым.

³ Очерки Новейшей истории. Несколько изданий.

самое можно сказать и о немецкой исторической литературе, в которой появилось наибольшее количество сочинений, посвященных общему изображению истории XIX в.: и здесь равным образом наполеоновская эпоха выключается из истории Новейшего времени, и изложение начинается с событий, последовавших за падением Первой империи. Таковы, например, книги Булле, Иегера и др.¹, а во французской учебной литературе книга Добана², хотя рядом с ними можно поставить сочинения Гонеггера, Лейкснера и Файфа, в коих изложение начинается с событий конца XVIII и самого начала XIX в.³ Во всяком случае, наполеоновская эпоха лишь в виде исключения входит в общие сочинения по истории XIX столетия. Это общее замечание справедливо и по отношению к историям отдельных стран в XIX в., вошедшим в большую немецкую коллекцию Бидермана и Гирцеля «*Staatengeschichte der neuesten Zeit*»⁴, в коей история Австрии обработана Шпрингером, Англии — Паули, Италии — Рейхлином, Франции — Рохау⁵, хотя, например, с другой стороны, во французской литературе можно указать на коллекцию «*Bibliothèque contemporaine*»⁶, в коей изложение Новейшей истории отдельных наций начинается с более ранних периодов⁷. Наполеоновская эпоха, наоборот, в общих исторических трудах весьма часто соединяется с предыдущим временем, и особенно с Французской революцией, с которой она во многих отношениях составляет одно целое. Кроме указанной истории Шлоссера, в коей времена консульства и империи составляют непосредственное продолжение XVIII в., мы встречаем совместное изображение революционной и наполеоновской эпох в трудах Алисона, Онкена и Сореля⁸, не говоря уже о том, что еще Минье посвятил последние главы своей «Истории Французской революции» временам консульства и империи.

К числу трудов по истории XIX в. нужно отнести, конечно, и посвященные этому столетию части обширных всемирных историй. Такова су-

¹ *Bulle K. Geschichte der neuesten Zeit. Leipzig, 1876, и след.: Jäger O. Versuch einer Darstellung neuester Geschichte.*

² *Dauban. Hist. contemporaine.*

³ Все три существуют в русском переводе: *Гонеггер. История культуры XIX в.; Лейкснер О. Наш век; Файф. История Европы к XIX в.* / Пер. под ред. проф. Лучицкого.

⁴ *История государств Новейшего времени (нем.). — Прим. ред.*

⁵ Последнее сочинение существует в рус. переводе: *Рохау А. История Франции от низвержения Наполеона I до восстановления Империи (1814—1852).* СПб., 1865. Издатели (М.А. Антонович и А.Н. Пыпин) предполагаги перевести всю серию.

⁶ «Современная библиотека» (фр.). — *Прим. ред.*

⁷ В этой коллекции история Англии и Испании обработана Reynald'ом, Австрии — Asseline'ом, Венгрии — Sayous'ом, Италии — Sorin'ом, Пруссии — Veron'ом. Впрочем, и здесь история Италии начинается с 1815 г.

⁸ *Alison. History of Europe from the fr. revolution to the restoration of the Bourbons* (нем. перевод Мейера); *Oncken. Das Zeitalter der Revolution, des Kaiserreiches und der Befreiungskriege* (в сб. *Allgemeine Weltgeschichte in Einzeldarstellungen*); *Sorel. L'Europe et la révolution française* (есть и в рус. пер.) обещает довести свое изложение до падения империи. Ср. также: *Flathe. Geschichte der neuesten Zeit*, первый том коей посвящен революции и империи до 1813 г.

шествующая в русском переводе «Всеобщая история» Георга Вебера, в которой нашему столетию (начиная с Кампо-Формийского мира) посвящены два больших тома. В иллюстрированной коллекции Онкена «Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen» история XIX в. обработана в шести отдельных монографиях Онкена (две монографии), Флате, Булле, Гоппа и Бамберга, на которые у нас ссылки будут делаться в своих местах. Новейшая история (с революции) в «Allgemeine Weltgeschichte» Флате, Герцберга, Юсти, Пфлуг-Гартунга и Филипсона, состоящей из трех томов, написана Флате. Недавно предпринятая Лависсом и Рамбо «Всеобщая история с IV в. до наших дней» равным образом будет заключать в себе подробное изложение истории XIX в.

Названными сочинениями почти исчерпывается вся общая литература по истории XIX в., разумея под этим труды по истории всей Европы или отдельных государств, а не тех или других периодов этой истории или тех или других частных ее сторон, а таких трудов можно назвать немало, что и будет нами сделано в соответственных местах настоящей книги. В большей части поименованных сочинений, нужно заметить, преобладает история политическая, если только тот или другой автор не ставил себе особой задачи изобразить и культурное движение эпохи¹. Что касается до истории социальной, то в общих сочинениях по XIX в. она отступает на самый задний план, что, впрочем, вполне соответствует сравнительно малой разработке этого отдела истории в научной литературе, особенно если мы будем иметь в виду не только учения об общественном переустройстве и общественные движения в этом направлении, но и сами по себе фактические социальные отношения с их экономической подкладкой². То, впрочем, на что общие историки XIX в. не всегда обращали должное внимание, имеет свою особую, специальную литературу, к которой и должен обращаться всякий, желающий узнать о социальной истории нашего столетия более, нежели мог бы найти в трудах общего характера.

¹ Благодаря тесной связи между жизнью и литературой в нашем столетии весьма важное значение имеют с исторической точки зрения и сочинения по истории литературы в широком смысле слова (равно как сочинения по истории философии, науки, политических и экономических учений и т. п.), которые и будут указываться в соответственных местах.

² Весьма характерен, например, следующий пример. В очень полезной книжке проф. Н.А. Осокина «Политические движения в Западной Европе в первой половине нашего века», вышедшей недавно вторым изданием (Казань, 1892), социальное движение совсем отодвинуто на задний план перед движениями политическим (конституционным) и национальным (освободительным и объединительным), хотя сам же автор считает наиболее удачным то определение нашего века, по которому он есть «период социальной мысли». Дело в том, что общая литература по истории XIX в. менее всего соответствует такому определению, в сущности, действительно, весьма удачному, и это отразилось на содержании общего обзора, составленного проф. Осокиным.

II. Влияние Французской революции на Европу¹

Взаимные отношения Французской революции и Европы до 1791 г. — Идея революционной пропаганды. — Образование Францией новых республик. — Общие причины французских успехов. — Революция, консульство и империя в отношении к Европе. — Сочувствие к революции в пограничных странах осенью 1792 г. — Французская и бельгийская революции. — Влияние Французской революции в Англии и Польше. — Сочувствие к революции в Ирландии. — Участие местных сил в образовании новых республик (Голландия, Венеция и Генуя, Швейцария, итальянские государства). — Причины неуспеха коалиций против Франции. — Начало распада Священной Римской империи. — Поведение французского правительства в завоеванных странах

Уже в самом своем начале Французская революция произвела весьма сильное впечатление на образованное общество в разных странах Европы.

В то самое время, как вслед за взятием Бастилии началась эмиграция из Франции принцев и дворян, немедленно обратившихся к иностранным дворам за помощью против французских «мятежников», известие о победе парижского народа 14 июля 1789 г. приветствовалось общественным мнением всей Европы как радостное событие, и переворот, совершившийся во Франции, казался мыслителям, поэтам и филантропам в Англии, Германии, Италии и других странах началом лучших времен для всего человечества. Европейские правительства, наоборот, на первых порах не поняли всего важного значения Французской революции, взглянув на нее каждое, как на событие выгодное или невыгодное с точки зрения интересов того или другого государства, т. е. упустив из виду принципиальную сторону дела. Мало-помалу, однако, по мере того, как начал выясняться истинный характер событий, совершавшихся во Франции, европейские правительства стали смотреть на революцию, как весьма опасный — по отношению к собственным их подданным — пример неповиновения народа законной власти. Ле-

¹ См.: *Ranke L.* Ursprung und Beginn der Revolutionskriege; *Hüffer H.* Oesterreich und Preussen gegenüber der französischen Revolution bis zum Frieden von Campo-Formio, 1868; *Он же.* Die Politik der deutschen Mächte im Revolutionszeitalter bis zum Abschluss des Friedens von Campo-Formio, 1869; *Он же.* Der Rastatter Kongress und die zweite Koalition, 1878; *Simmern L. von.* Oesterreich und das Reich im Kampfe mit der französischen Republik, 1880—1882; *Dandolo.* La caduta della repubblica di Venezia, 1856; *Bonnal.* La chute d'une république, 1885. Ср. работы *Sciout* в Revue des questions historiques (Le directoire et la république Romaine, 1886; Pie VI, le Directoire et le grand duc de Toscane; La république Française et la république de Gènes, 1889); *Ram baud A.* Les Française sur le Rhin. Кроме того, для настоящей главы, равно как для глав VIII, IX и XI, см. сочинения по истории Германии в эту эпоху: *Häusser L.* Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs des Grossen bis zur Gründung des deutschen Bundes, 1861—1863; *Treitschke.* Deutsche Geschichte im XIX Jahrhundert, 1879 и след.

том 1791 г. уже начались переговоры иностранных монархов о том, что делать им с Францией, и с перспективой вмешательства в дела Франции для восстановления внутреннего порядка в мятежной стране. Эмигранты, до того времени не пользовавшиеся никаким успехом, подняли теперь голову и стали громко заявлять, что ради защиты их дела готова ополчиться вся Европа. Последнее было не совсем верно, и принятие Людовиком XVI конституции в сентябре 1791 г. послужило для держав хорошим предлогом для того, чтобы оставить мысль о вмешательстве. Отношения между революционной Францией и европейскими правительствами продолжали тем не менее оставаться натянутыми, и если из-за границы во Францию все более и более приходили известия о враждебном отношении к революции со стороны иностранных дворов, считавшихся вполне солидарными с эмигрантами, то в самой Франции получала все больший и больший ход та мысль, что революция должна получить всесветный характер. Идея революционной пропаганды нашла в 1792 г. сторонников в лице наиболее влиятельной партии законодательного собрания — жирондистов, которые стали проповедовать необходимость войны народов против королей. Жирондистское министерство в апреле 1792 г. добилось объявления войны «королю богемскому и венгерскому» (т. е. Австрии), и в заседании национального собрания, в коем было принято это решение, войне прямо было придано значение начинающейся революционной пропаганды. Так возникли революционные войны, перешедшие в войны консульства и империи и имевшие на самом деле результатом распространение на континенте Европы многих принципов Французской революции и созданных ею порядков.

Уже раньше объявления войны эмигранты расточали самые дикие угрозы по отношению к Франции. Летом 1792 г. появился знаменитый манифест герцога Брауншвейгского, главнокомандующего союзной австро-прусской армией, грозивший самыми жестокими репрессалиями мятежной Франции и сильно содействовавший падению в ней монархии, которую подозревали в союзе с врагами отечества. Но если европейские правительства решились противодействовать революции, последняя нашла себе сторонников среди их же подданных, тяготившихся старыми государственными и общественными порядками. К генералам французской армии, действовавшей против неприятеля, стали являться из-за границы люди разных национальностей с просьбами о содействии в низвержении ненавистных порядков. Благодаря сочувствию пограничного населения соседних стран, французы осенью 1792 г. заняли Савойю, левый берег Рейна и Бельгию. Идея революционной пропаганды была осуществлена, и Конвент после этих завоеваний декретировал (19 ноября и 15 декабря), что Франция будет поддерживать каждую нацию, стремящуюся к свободе, и что повсеместно, где только ни появятся французские армии, произведены будут отмена аристократических правлений и сеньориальных прав вместе с десятинами и конфискация церковных

имуществ и народ будет призван к свободе. Такие успехи революции должны были сильно встревожить европейские правительства, особенно после того, как совершена была казнь Людовика XVI.

Весною 1793 г. против французской республики образовалась большая коалиция, в которой участвовали Австрия с Пруссией, Англия, Голландия, Испания, Сардиния и Священная Римская империя. В манифесте, с коим Конвент обратился к армии, войне придавалось значение борьбы между свободой и тиранией во имя братства народов и возрождения вселенной.

Франция с успехом отразила неприятельское нашествие и снова перешла в наступление, не только удержав в конце концов свои приобретения 1792 г., но сделав новые завоевания. В 1795—1799 гг. Франция овладела целым рядом стран, в коих провозгласила «права человека и гражданина» и организовала республиканские правления на демократических и унитарных¹ началах. Таковы были республики Батавская, образовавшаяся из Голландии; Цизальпинская, составившаяся из Ломбардии и других итальянских областей; Лигурийская, как стала называться Генуя; Римская на месте прежней Папской области; Гельветическая, заменившая собою старый Швейцарский союз, и, наконец, Партенопейская, в каковую превратилось королевство Неаполитанское. Франция достигла таких поразительных успехов благодаря тому, что везде существовали недовольные демократические элементы, совершавшие при помощи революционных армий внутренние перевороты республиканского характера. Демократическая революция произошла, между прочим, и в аристократической Венеции, но эта старая республика прекратила свое существование, разделенная между Австрией и Цизальпинской республикой. Организоваться в республику делали еще попытку майнцские, кельнские, трирские и кобленцские немцы. Ирландцы просили у французов присылки флота, рассчитывая с его помощью отделиться от Англии. Поляки после неудачи восстания Костюшко, приведшей к третьему разделу Польши, массами стали стекаться под французские знамена, видя в победе революции залог восстановления павшего отечества. С другой стороны, Франции помогали взаимное недоверие и соперничество членов коалиции, имевших — каждый — свои особые виды и преследовавших своекорыстные интересы, помогали и события в Польше, отвлекавшие Австрию и Пруссию от энергичного ведения войны на Западе. Правда, новые успехи французов после того, как Пруссия первая заключила мир с республикой (Базельский 1795 г.), — а примеру Пруссии последовали позднее и другие государства, — вызвали к жизни новую коалицию, которая имела некоторый успех², но скоро также распалась, не остановив дальнейших завоеваний французов.

¹ Республика единая и нераздельная.

² Суворовский поход в Италию.

В 1799 г. после государственного переворота, доставившего власть над Францией генералу Бонапарту, сначала «гражданину первому консулу», а потом императору французов Наполеону I, и Франция, и вся Европа вступили в новый период взаимных отношений между революцией и «старым порядком». Войны консульства и империи, будучи естественным продолжением войн революции, получают новый характер, и республики, основанные Францией в последние годы XVIII в., превращаются через десять лет в королевства братьев французского императора. Тем не менее консульство и империя по отношению к Европе были лишь видоизмененным продолжением революции, низвергавшей легитимных монархов, секуляризовавшей церковные земли, уничтожавшей феодализм и вводившей гражданское равенство. В эпоху консульства и империи все это делалось еще в более широких размерах, чем во время революционных войн. Постоянные поражения европейских держав в борьбе с новой Францией свидетельствуют нам о глубоком разложении, в каком находилась старая Европа, не выдержавшая революционной бури. Мало того, защитники «старого порядка» и легитимных начал вынуждены были идти на сделки с революцией и с той узурпацией законной власти, какой с точки зрения этих начал была империя Наполеона I, должны были даже вступать в союзы с этой самой революционной и узурпаторской Францией для достижения своих собственных политических задач. Нужно, однако, заметить, что, с другой стороны, война, начавшаяся во имя освобождения народов от тирании, мало-помалу превратилась в простую завоевательную войну, и еще в последние времена республики были позабыты и торжественное заявление учредительного собрания, в коем новая Франция отказывалась от завоевательной политики и покушений на свободу других народов, и не менее торжественное обещание конституции 1793 г., провозглашавшей принцип невмешательства в чужие дела.

Таковы были в общих чертах взаимные отношения революционной Франции и старой Европы накануне государственного переворота генерала Бонапарта, и таково в общих же чертах было отношение эпохи, наступившей после этого переворота, к эпохе революционной пропаганды. Два факта заслуживают особого внимания в истории этих отношений: сочувствие, какое встречали Французская революция и французское завоевание в известных слоях общества за границей, и слабость противодействия, оказанного революции и завоевательной политике со стороны представителей европейского «старого порядка».

Первый значительный успех ожидал французов в Савойе, которая более чем какая-либо другая пограничная область была подготовлена к революции: в культурном и социальном отношении эта часть сардинского королевства была как бы второй, маленькой, Францией, и здесь уже до вступления революционной армии (21 сентября 1792 г.) действовали местные и приезжие агитаторы. «Шествие моей армии, — писал военному министру генерал Монтес-

кьё, — ряд триумфов. Сельское и городское население бежит к нам навстречу. Мне кажется, что умы расположены здесь к революции, подобной нашей». Комиссары Конвента доносили последнему, что, «перешедши границу, они и не заметили, что вступили в чужой край». Савойские патриоты стали пропагандировать необходимость присоединения их родины к Франции, и менее чем через месяц после появления революционной армии в Савойе назначены были народные собрания во всех общинах страны (кроме трех, где держалась еще власть Сардинии) для выражения желаний и для выбора депутатов в национальное собрание (14 октября). Из 658 общин 583 высказались за присоединение к Франции, а 72 предоставили решение вопроса депутатам. «Национальное суверенное собрание аллоброгов» в Шамбери уничтожило в Савойе королевскую власть, феодальные права, церковное землевладение и т. д., и вся эта революция была совершена менее чем в неделю. Затем сначала сделана была попытка организовать Савойю в самостоятельную республику, но вскоре вожди движения обратились к Конвенту с просьбой о соединении с Францией. Одновременно революционные идеи стали распространяться среди немцев на левом берегу Рейна, по соседству с французской границей. Страсбург сделался главным очагом пропаганды, сборным пунктом немецких патриотов, увлекавшихся революцией и начавших отсюда посредством печати и посылки агентов проповедовать своим соотечественникам о необходимости переворота. Немецкие революционеры приглашали французов совершить освобождение левого берега Рейна и советовали населению края оказать содействие Франции. Кюстин с легкостью, которой сам удивлялся, в короткое время занял Шпейер, Вормс и Майнц. «Города, — писал один дипломат того времени, — сдаются без сопротивления, и декларация прав производит действие, подобное действию трубы Иисуса Навина». Настроение прирейнских немцев во время появления между ними французов было увековечено Гёте в одном часто цитируемом месте «Германа и Доротеи»¹. В то самое время, как напуганные событиями местные князья, духовные сановники и дворяне спасались бегством, среди немецких патриотов все сильнее и сильнее разгорался энтузиазм к революции, от которой они ожидали свободы для Германии и для всего человечества. Горожане пели марсельезу и вслед за ней оду Шиллера к свободе, радуясь победам Кюстина. В Майнце образовался целый кружок «друзей свободы и равенства»; в других городах тоже организовались клубы. И здесь, как в Савойе, была сделана сначала попытка организовать в само-

¹ Кто не сознается, как трепетало в нем весело сердце,
Как в свободной груди все пульсы забились живее,
В ту минуту, когда засветилось новое солнце,
Как услышали впервые об общих правах человека,
О вдохновенной свободе и о равенстве также похвальном!
Всякий в то время надеялся жить для себя и, казалось,
Все оковы в руках эгоизма и лени, так долго
Многие страны собой угнетавшие, разом распались. (Пер. с нем. А.А. Фета. — *Прим. ред.*)

стоятельную республику, но и здесь в конце концов было решено (21 марта 1793 г.) присоединиться к Франции.

Особенно интересны успехи революции в Бельгии. В этой стране, как известно, реформы Иосифа II, предпринятые в духе просвещенного абсолютизма, встретились с сильной консервативной оппозицией, перешедшей в 1787 г. в открытое восстание. Но среди этого движения зародилось в Бельгии и другое — демократическое, в духе французских идей о равенстве и народном верховенстве. Оба движения объединились подобно тому, как это было перед 1789 г. и во Франции, где революция вышла из соединения консервативной и демократической оппозиций. Во главе бельгийского восстания находились два адвоката — Ван дер Ноот и Вонк, первый, как представитель старых традиций, второй в качестве приверженца новых идей. В 1789 г. Бельгия находилась в полной революции и готова была совершенно отложиться от Австрии: в январе 1790 г. собрался даже в Брюсселе суверенный конгресс «соединенных бельгийских штатов». Если преемнику Иосифа II, скончавшегося в феврале того же года, удалось предотвратить такой исход бельгийской революции, то благодаря, между прочим, разладу, возникшему между клерикально-феодальной партией Ван дер Ноота и демократами-вонкистами. Опираясь на фанатизм народной массы, консервативная партия одержала победу над своими противниками весной 1789 г. к великому неудовольствию французских демократов, сильно интересовавшихся бельгийским движением и состоявших в сношениях с вонкистами. Но в том же году Австрия путем военного действия, не встретившая на этот раз большого сопротивления, снова заняла страну и восстановила в ней прежний режим. Бельгийские демократы бежали тогда во Францию, где стали мечтать о возвращении на родину с французскими войсками. Здесь потом они были усилены выходцами из Льежа (Люттиха), принадлежавшего владетельному епископу, члену Германской империи. В этом городе и его округе давно шли между населением и князем пререкания, приведшие в 1789 г. под влиянием парижских событий к маленькой революции. Епископ вынужден был согласиться с требованиями своих подданных, но затем бежал и из Трира объявил о своем отречении от сделанных уступок. Рейхскамергерихт, коему епископ пожаловался на мятежных подданных, постановил произвести в Льеже экзекуцию, которая в конце концов и была совершена Австрией (1791). Реставрация епископа сопровождалась наказаниями и преследованиями, заставившими наиболее компрометированных бежать во Францию. Весьма естественно, что в этой последней весьма рано возник план воспользоваться Бельгией в готовившейся международной борьбе. В Париже с самого начала революции обращали большое внимание на бельгийские события, и, например, знаменитый Камилл Демулен дал своей газете название «*Revolutions de Paris et de Brabant*». Уже Лафайет мечтал о перенесении революции в Бельгию. Жирондисты, задумавшие войну

для пропаганды революции, должны были также принять в расчет важное значение для них только что подавленной Австрией бельгийской революции. Победа Дюмурье при Жемаппе (близ Льежа) прямо открывала ему дорогу в Бельгию, где города один за другим стали переходить на сторону французов, видя в них своих избавителей; в числе этих городов был и епископский Льеж.

Сочувствие к Французской революции не ограничивалось одними пограничными землями, где осенью 1792 г. революционные армии утвердили влияние республики с такой легкостью: сочувствие это обнаружилось и в более отдаленных странах и притом не только в таких, которые страдали от недостатка свободы, как это было, например, в Пруссии¹, но, например, и в Англии и в Польше. Мы в другой связи будем говорить об отношении английского общества к Французской революции и о зарождении в Англии демократической партии, но и здесь не можем не отметить того, что французское демократическое движение нашло среди англичан немало приверженцев. Уже 4 ноября 1789 г. лондонское «Общество революции», основанное в честь событий 1788—1789 гг., вотирировало под председательством лорда Стэнгопа поздравительный адрес французскому национальному собранию. Хотя значительная часть английских вигов с Берком во главе и отшатнулась от революции, но зато другая часть, главными выразителями стремлений коей явились Фокс, Шеридан, лорд Стэнгоп и лорд Ленсдоун (Lansdowne), относилась к революции благоприятно, несмотря даже на крайности движения, стремясь сама к защите народных прав и проведению благотворительных реформ. Когда Берк написал в 1790 г. свои знаменитые «Размышления о Французской революции», в коих напал на национальное собрание, против него выступили Томас Пэн с трактатом о правах человека и Макинтош со своим опровержением (*Vindiciae Galliae*²). Кроме того, революцию защищали доктор Пристлей и Ричард Прайс (Price). В Англии образовались даже республиканские общества, вступившие в сношение с Конвентом, где однажды была торжественно принята посланная ими депутация. При их помощи якобинцы думали прямо агитировать среди низших классов населения Англии. Мы, однако, еще увидим, что сочувствие к революции не пустило вообще глубоких корней в английском обществе.

Любопытны и взаимные отношения между внутренней историей Польши и Французской революцией в 1789—1794 гг. Франция оказывала сильное влияние на Польшу в XVIII в., и передовые люди Речи Посполитой, мечтавшие о возрождении своего отечества путем реформ, были, в большей или меньшей степени, приверженцами новых политических идей. За год до начала Французской революции, в 1788 г., в Варшаве собрался так называемый

¹ О влиянии Французской революции на Пруссию будет больше сказано ниже (см. гл. X) в другой связи.

² Претензии к французам (*лат.*). — *Прим. ред.*

мый «четырёхлетний» сейм, совершивший в 1791 г. знаменитую революцию 3 мая, которая должна была положить начало новым политическим и общественным порядкам. Одновременно (1792) и Польше, и Франции пришлось отстаивать себя от недругов тех перемен, которые произошли в обеих странах, и это объединило дело обеих революций. В 1793 г. Франция была спасена, между прочим, тем, что Австрия и Пруссия должны были сторожить Польшу, дабы она вся не сделалась добычей России, а за вторым разделом (1793) последовала новая польская революция (1794), приведшая к третьему разделу, — слишком быстро для того, чтобы Австрия и Пруссия могли оставаться равнодушными к польским делам и в следующие годы. Между тем патриотическое движение в Польше, связанное с именем Костюшко, совершалось под несомненным влиянием французского примера борьбы с иноземным нашествием, и в Варшаве явились свои «якобинцы», давшие повод правительствам России, Австрии и Пруссии видеть в польских событиях прямое отражение парижских событий. Французам, действительно, было выгодно иметь союзников в Польше, которая, в свою очередь, надеялась на Францию. Когда Речь Посполитая в 1795 г. исчезла с политической карты Европы, великое множество польских патриотов, бившихся в 1794 г. за независимость родины, должно было эмигрировать, и вот в революционных французских армиях второй половины 1790-х гг. мы встречаем немалое количество польских эмигрантов, думавших, что победы республиканской Франции будут их собственными победами. Хотя у поляков на первом плане было восстановление политической независимости родины, а не внутренние перемены, но не подлежит сомнению, что демократическое движение среди польского мещанства и освобождение крестьян Костюшко произошли под известного рода влиянием того общего возбуждения, которое исходило от Французской революции¹.

В каждом народе сочувствие к Французской революции принимало те или другие размеры в зависимости от местных условий. Общий демократический характер движения привлекал на его сторону лишь известные общественные элементы, отталкивая от него другие или совсем не задевая целые общественные классы (положим, например, польских крестьян). В Польше сочувствие к революции вытекало больше из национальных причин, и теми же причинами объясняются надежды, которые возлагались на успехи Французской революции в Ирландии. Недовольство туземного католического населения против господствующей национальности соединенных королевств было старинного происхождения, и в стране уже раньше существовало патриотическое общество «соединенных ирландцев», стремившееся к

¹ Ср. мои книги: «Падение Польши в исторической литературе» и «Польские реформы XVIII в.», где указана литература по истории 1788—1794 гг. в Польше, а также статью С.Л. Пташицкого в V т. «Исторического обозрения» о новейших трудах по истории Польской конституции 3 мая 1791 г.

эмансипации католиков и к либеральным реформам. Под влиянием Французской революции это общество поставило своей целью отложение Ирландии от Англии для образования в союзе с Францией самостоятельной республики и деятельно вело свою агитацию во всей стране. В 1794–1795 гг. в Ирландии начались даже народные мятежи, которые жестоко подавлялись англичанами, что только заставило «соединенных ирландцев» приступить к более решительным мерам для подготовки общего национального восстания. Вожди заговора (лорд Фицджеральд и Артур О'Коннор) весной 1796 г. ездили в Бретань, чтобы условиться там с французским генералом Гошем относительно военной помощи со стороны Франции. В Ирландии действительно вспыхнуло восстание, создавшее Англии немало затруднений, но несмотря на помощь, оказанную Директорией, оно было подавлено (1798), и положение острова сделалось еще худшим, чем было прежде.

Имея в виду прецеденты осени 1792 г., вообще существование в некоторых странах сочувствующих революции элементов и возбуждение ею разного рода надежд в национальностях, имевших причины быть недовольными своей судьбой, мы поймем одну из основных причин успехов Франции в эпоху Директории, когда силою своего оружия, опираясь на местные элементы, сочувствовавшие революции, Франция основала новые или преобразовала в демократическом духе старые республики. Стоит несколько остановиться на каждом отдельном случае, чтобы видеть, как революции, произведенные Францией в Голландии, в Швейцарии и в разных отдельных итальянских областях (в Ломбардии, в Венеции, в Генуе, в Риме, в Неаполе), объясняются из местных причин и посредством действия местных сил.

Голландия не менее Бельгии была подготовлена к революции. Старая борьба двух политических партий в этой стране в XVIII в. под влиянием новых идей и примера американской революции приняла характер борьбы между консервативно-олигархическими и демократическими стремлениями, но обе стороны в то же время недоверчиво относились к штатгальтерской власти. В середине восьмидесятых годов отношения между враждебными политическими силами в республике значительно обострились, и в 1786 г. дело дошло до резкого столкновения между штатгальтером и «патриотами», причем враждебные стороны обратились за посредничеством к иностранным дворам. В 1787 г. возникли даже внутренние смуты, и даже могла бы начаться война между Францией и Пруссией, если бы первая не оставила на произвол судьбы своих союзников, что помогло второй военным вмешательством восстановить сильно поколебленную власть штатгальтера. После победы штатгальтера, поддержанного пруссаками, патриоты бежали за границу и, между прочим, нашли прием во Франции. В Голландии между тем происходила реакция против республиканско-демократического движения. Заняв в 1792 г. Бельгию, Дюмуре уже тогда предложил Голландии выбирать между союзом или войной с Францией, но последовавшие события отсро-

чили на некоторое время завоевание французами этой страны, где у революции также были приверженцы. Франция на время потеряла Бельгию, которую ей пришлось снова отвоевывать, но едва это с успехом было сделано в конце 1794 г., как в Голландии началось движение патриотической партии, поставившей теперь своей целью свержение оранского владычества. Еще раньше во французском войске, действовавшем в Бельгии, был отдельный батавский отряд. В Париже существовал особый революционный комитет голландских патриотов, рассылавший по городам и деревням родной страны агентов и брошюры для республиканско-демократической пропаганды. В самой Голландии возникали общества патриотов, бывшие не чем иным, как перенесением и в Голландию идей якобинизма. С другой стороны, штатгальтерское правительство безуспешно старалось образовать отряды из волонтеров для защиты страны от грозившего ей французского нашествия. В самом конце 1794 г. революционная армия под начальством Пишегрю вступила в Голландию, заставив англичан убраться домой и предоставить соединенные штаты Нидерландов их участи, а за англичанами последовал и сам штатгальтер, спасшийся от революционеров и от французов в простой рыбацкой лодке. Занятие революционной армией Амстердама и Гааги позволило возвратившимся с нею патриотам и местным демократическим клубам захватить власть и приступить к организации отечества по образцу республики Французской и под именем республики Батавской.

Мы упоминали выше о демократических движениях в Венеции и Генуе, находившихся равным образом в связи с Французской революцией и помогших Франции и в этих двух старых аристократических республиках добиться значительного политического успеха, опираясь на местные силы, сочувствовавшие французам. Венеция, как известно, была настоящей олигархией, тиранически правившей народом. Между тем к концу XVIII в. и здесь обнаружилось среди населения, особенно в провинциях, новое движение, стремление к реформам и к изменению конституции государства в более демократическом духе, и правительству приходилось подавлять народные волнения лишь при помощи военной силы. Во время войны между Францией и Австрией старая республика хотела соблюдать нейтралитет, но сделать это ей было в высшей степени трудно: ее нейтралитет нарушался обеими сторонами. В городах Венецианской области французы нашли многочисленных союзников из местных жителей, которые были недовольны олигархией столицы, стремились к изменению конституции по образцу французской и с этой целью основывали революционные клубы. С середины марта 1797 г. в одном городе за другим стали происходить народные восстания: старые власти низвергались, выбирались новые демократические советы, провозглашалась независимость от республики святого Марка и водружались деревья свободы. Правда, за старый порядок заступились сельчане, бывшие недовольны французскими реквизициями в местах, занятых

революционной армией; они начали контрреволюцию, но это движение было подавлено французами с большой жестокостью. В самой Венеции завелся демократический клуб, опиравшийся на недовольные элементы столичного населения, и этому клубу разными правдами и неправдами удалось добиться от правительства (т. е. от дожа, сеньории и сената) добровольного отречения и согласия на учреждение временного правительства и городского совета, члены коих должны были быть назначены всенародным голосованием (май 1797 г.). Известно, однако, что новая демократическая республика не удержалась, так как ее владения были поделены между Австрией и Цизальпинской республикой (октябрь того же года). Одновременно с Венецией и Генуя превратилась в демократию, удержавшись, однако, как особая республика Лигурийская. Здесь тоже образовался демократический клуб, в коем принимали участие не только местные жители, но и выходцы и беглецы из Пьемонта, Ломбардии, Рима и Неаполя. Когда генуэзское правительство арестовало нескольких клубистов, их товарищи подняли восстание, провозгласили народное верховенство и гражданское равенство и завладели городом, возбудив против себя, однако, сельчан, которые видели в демократах, главным образом, якобинских врагов церкви. Французы оказали тогда деятельную поддержку начавшейся генуэзской революции, остановленной было крестьянами, и дело кончилось (июнь 1797 г.) преобразованием Генуи в демократическую республику под новым именем — Лигурийской.

Демократическое движение происходило и в Швейцарии, превратившейся при содействии французов в республику Гельветическую. Устройство Швейцарского союза было таково, что среди его населения было немало недовольных, а единоплеменность романской части союза с Францией, — подобно тому, как это было по отношению к Савойе и Бельгии, — особенно благоприятствовала распространению новых политических и социальных идей, во имя коих в великом соседнем государстве совершалась перестройка прежних устоев жизни. Между кантонами Швейцарии не было полного равенства, и даже существовала положительная зависимость целых больших округов от правящих кантонов. Ваадтский кантон подчинялся Берну, который управлял им через особого своего чиновника, а долина Тичино находилась под властью кантона Ури. В больших городах управлял патрициат, состоявший обыкновенно из нескольких аристократических семейств, бывших в родстве между собой и своими членами замещавших все должности. Остальное население было разделено старым корпоративным строем на отдельные группы, из коих одни пользовались большими правами, чем другие. Весьма естественно, что в населении Швейцарии уже до начала Французской революции зародилось демократическое брожение и внутренние реформы сделались предметом требований со стороны людей, проникшихся новыми идеями и потому особенно сильно сознававших ненормальность существующих порядков. Правящие элементы общества не делали никаких

уступок духу времени и, желая всеми силами и средствами, находившимися в их распоряжении, удержать за собою власть и связанные с нею права, подавляли проявления недовольства существующим порядком вещей, стесняли свободу слова и печати, преследовали членов патриотического «гельветического союза» и т. д. Особенно сильно было влияние французских идей в Женеве, где в XVIII в. происходила борьба между аристократией и демократией и откуда уходило во Францию немалое количество побежденных демократов, игравших потом роль в событиях революции. В числе таких женеверов был Клавьер, примкнувший в Париже к жирондистам и даже вошедший в состав знаменитого министерства 1792 г. Уже во время первого занятия революционными войсками Савойи, левого берега Рейна и Бельгии сделана была Францией попытка поддержать женевских демократов, разбившаяся, между прочим, о сопротивление со стороны Берна, который помог правящей в Женеве олигархии. Не менее сильно, чем в этом городе, было революционное настроение и в Ваадтланде, тяготившемся бернским управлением: здесь во главе движения стал известный Лагарп, учивший прежде французскому языку внуков Екатерины II, будущих императора Александра I и цесаревича Константина Павловича. В Лозанне и других местах области образовались после начала Французской революции клубы, вошедшие в сношения с Парижем и поставившие своей задачей не только уравнивать права своей родины с правами других кантонов, но и преобразовать на новых началах всю Швейцарию. Движение охватило, кроме того, Валэзский кантон, Фрейбург и Базель: в последнем также действовали люди, проникшиеся новыми политическими началами и мечтавшие о превращении старого союза в «единую и нераздельную (по образцу французской) Гельветическую республику». Базель был резиденцией епископа и кантонального правительства, которые скоро были сильно затронуты в своих правах и интересах Францией, когда последняя присоединила к своим владениям некоторые епископские и швейцарские пограничные земли (1797). Союзный сейм в Аарау встревожился и постановил защищать неприкосновенность швейцарской территории, а Базель, Шафгаузен, Цюрих и Аппенцель поспешили предупредить внутреннюю революцию предоставлением равноправности своим подданным. Революция тем не менее началась. Ваадтланд превратился под охраной французских войск в республику Леманскую (январь 1798 г.), после чего и в Берне образовалась партия, предлагавшая изменения конституции в смысле установления равноправности. Движение перешло затем и в другие части Швейцарии. В цюрихских владениях сельские общины с оружием в руках стали добиваться равноправности с горожанами. В Фрейбурге и Солотурне были произведены демократические преобразования. Между тем французы под начальством генерала Брюна начали военные действия против Швейцарии, заняли Солотурн, Фрейбург и Берн, захватив при этом богатую государственную казну и наложив на местную аристократию большую контрибу-

цию, и установили Гельветическую республику (единую и нераздельную) под управлением пяти директоров, в числе коих находился и Лагарп. Недовольные переворотом думали было оказать сопротивление, но потерпели поражение.

Голландия, Венеция, Генуя и Швейцария, в коих при содействии французов произошли демократические перевороты, преобразовавшие три из этих стран по образцу самой Франции, и раньше революции были республиками, но это были республики средневековые, основанные на неравенстве сословий с устранением от политических прав народной массы и с полным господством одних граждан над другими, а две из этих республик были вдобавок федеративные. Франция вводила в них теперь народовластие, бессословное гражданство и строгое государственное единство. Кроме такого преобразования старых республик она основывала еще и новые в территориях, управлявшихся до того времени монархически, в Ломбардии, в Папской области, в Неаполитанском королевстве. В этих итальянских землях французы также нашли сторонников и сообщников.

Когда в апреле 1796 г. Наполеон Бонапарт стеснил сардинского короля и принудил его к миру, то одной из причин уступчивости короля была боязнь революционного движения в Турине, признаки коего уже начинали его тревожить. На революцию в Пьемонте рассчитывала и французская Директория, бывшая даже недовольной тем, что главнокомандующий итальянской армией самовольно поспешил заключить мир с Сардинией, вместо того чтобы возбудить и в Пьемонте революцию и призвать его население к образованию республики. В Ломбардии, принадлежавшей Австрии, французы нашли то же самое, что и во многих других местах: местное население видело в них освободителей, и например, вступление генерала Бонапарта в Милан (14 мая) приветствовалось восторженными криками городских жителей. Правда, скоро французские вымогательства стали раздражать народ, который местами восставал против грабежа армии, но подобные вспышки быстро умирались. Подготавливая образование нового государства в Северной Италии, французы, по возможности, всячески отесняли на задний план католико-феодальные элементы общества, опираясь преимущественно на либеральное городское сословие, сочувственно относившееся к новым идеям и порядкам. Французская армия имела большой успех и среди населения той части Папской области, которую заняла в начале лета 1796 г., принудив потом папу уступить эту часть Франции с городами Феррарой и Болоньей¹. Въезд генерала Бонапарта в этот последний город возбудил шумную радость в местном населении. Среди демократов и радикалов Цизальпинской республики, сделавшихся вместе с французами господами положения в Северной Италии, было немало сторонников и подражателей якобинизма. Революци-

¹ Толентинский договор 19 февраля 1797 г.

онное движение, поддерживаемое французской пропагандой, распространилось на всю Италию. В зиму с 1797 на 1798 г. в Риме и других городах Папской области начались уличные демонстрации с республиканским характером. Полиция и войско стали разгонять участников этих демонстраций. Многие из последних нашли убежище во дворце французского посланника Иосифа Бонапарта, и из-за этого произошло столкновение, во время коего был убит один французский генерал. Результатом было занятие Рима генералом Бертье, и в папской столице совершилась демократическая революция. Испытало на себе силу революционного движения и Сардинское королевство. Пьемонт оказался со всех сторон окруженным демократическими республиками, и вот в это государство, сохранявшее во всей неприкосновенности основные черты «старого порядка», начали вторгаться из Лигурийской и Цизальпинской республик революционные банды, тотчас же, правда, встречавшие сильный отпор со стороны сельского населения, руководимого духовенством, но находившие сочувствие в городских жителях и вообще в более культурных слоях общества. Пьемонт сделался театром революционных попыток, и власть короля (Карла Эммануила), состоявшего в союзе с Францией, поддерживалась только французскими гарнизонами, занявшими страну ввиду новой войны с европейской коалицией. Дело дошло до того, что королю оставалось одно — добровольно удалиться на о. Сардинию. В городском населении Тосканы происходило то же самое, что и в Пьемонте: тут дело дошло до выселения великого герцога. В Неаполе тоже было немало недовольных, но французские идеи разделялись здесь только интеллигенцией, народ же, сам подвергавшийся угнетению всякого рода, относился с ненавистью к «безбожной» революции, хотя и был склонен к бунту. В Неаполе господствовало тогда одно из наиболее реакционных правительств и, прикnuв в 1798 г. к коалиции против Франции, оно с особою силою стало преследовать всех, кто только заподозревался в сочувствии к революции. Но дни этого правительства были сочтены. Вслед за низвержением королевской власти в Пьемонте совершилось то же самое и в Неаполе. Неаполитанское войско отправилось в Папскую область для восстановления Святого престола в его правах, но потерпело поражение от французов и должно было с позором вернуться назад, преследуемое революционной армией. Перед вступлением французов на неаполитанскую территорию королю не оставалось ничего более, как бежать на о. Сицилию, поручив власть своему наместнику. Но выборные представители столичной городской общины организовали муниципальную гвардию ввиду анархии, грозившей со стороны лаццарони, и думали уже захватить власть в свои руки, когда наместник поспешил купить у французов перемирие, отдав неприятелю Капую вместе с укреплениями самого Неаполя и согласившись уплатить большую сумму денег. Известие об этом вызвало бунт столичной черни, заставивший наместника спасаться бегством. Городской совет обратился тогда к французам с просьбой занять сто-

лицу государства и организовать новое правление, что и было исполнено, несмотря на сопротивление, оказанное революционной армией низшими классами неаполитанского населения (которое, впрочем, весьма скоро изменило свое отношение к новому порядку). Основание Партенопейской республики (январь 1799 г.) было встречено большой радостью со стороны зажиточных и образованных классов общества, тяготившихся правительственным деспотизмом и клерикальной опекою. После занятия Неаполя вся Италия была в руках французов и местных демократов.

Уже из этих общеизвестных фактов можно видеть, что частью своих успехов в 1792—1799 гг. французы были обязаны сочувствию, какое к своей революции встречали в целых населенных или в известных общественных классах за границей, тем более что многие правительства и начальники высланных против Франции войск оказывались вдобавок неспособными, трусливыми, неподготовленными к борьбе. Вообще «старый порядок» вполне обнаружил свою несостоятельность в борьбе с новым движением, и это можно сказать не только об отдельных государствах, из коих каждое, взятое в отдельности, не могло, пожалуй, помериться силами с Францией, но и о международных союзах для общего действия, оказавшихся неспособными остановить успехи революции. Главной причиной поражения монархических коалиций против республиканской Франции были взаимное недоверие, раздоры и своекорыстные стремления среди членов этих коалиций. Первой покинула коалицию Пруссия¹, сильно утомленная войною на Рейне и на Висле и чувствовавшая себя изолированной, благодаря заключению более тесного союза между Австрией и Россией, которые обязались помогать одна другой в расширении своих границ и условились между собой поддерживать Пруссию в ее стремлении к увеличению и своей территории. В Пруссии боялись даже, как бы ее перед Францией не предупредила Австрия, которая, заключив с республикой сепаратный мир, могла бы получить отсюда известного рода выгоды. Англия, склонявшаяся тогда к миру, подбивала Пруссию торопиться. 5 апреля 1795 г.² между Францией и ею в Базеле был подписан мирный договор, в силу коего Пруссии обещалось территориальное вознаграждение на правом берегу Рейна и французское правительство обязывалось жить в мире с имперскими князьями, находившимися в союзе с Пруссией, за республикой же утверждался левый берег Рейна. Немецкие князья тоже тяготились войной, искали каждый своих выгод и готовы были отстать от коалиции: Северная Германия вступала теперь в союз с Пруссией и прекращала борьбу против революции, тогда как Южная, продолжавшая находиться в соединении с Австрией, формально исключалась из мирного договора. Результатом этого было отторжение от империи левого берега Рейна, признанного за «естественную границу Франции», и распадение самой

¹ Раньше это сделала Тоскана, но ее примирение с Францией большого значения не имело.

² 2 апреля 1795 г. См.: История дипломатии. М.: ОГИЗ, 1941. Т. I. С. 353. — *Прим. ред.*

империи на две части, из коих одна становилась в положение союзницы победоносной республики, благодаря чему северные князья совсем уходили из-под власти воевавшего с Францией императора. Английский король Георг III, находившийся тоже в войне с французской республикой, поспешил в качестве курфюрста Ганноверского примкнуть к миру Пруссии с Францией, опасаясь, как бы в противном случае его немецкое княжество не было захвачено пруссаками. Примеру, поданному Пруссией, последовали в Испании и в Сардинии. Первая из этих стран в июле 1795 г. в Базеле заключила мир с Францией на довольно выгодных для себя условиях. На войне французы имели перевес, и возвращение монархии всех сделанных ими завоеваний за уступку республике испанской части Сан-Доминго было для мадридского правительства наилучшим исходом из довольно затруднительного положения. В Сардинии было тоже сильное стремление окончить войну, тем более что тут питали надежду за уступку Савойи и Ниццы получить компенсации в Миланской области. Не прочь была и Австрия идти на мир, если бы ей дали выполнить давнишний ее план обмена Бельгии на Баварию, но продолжать войну Австрию подбивали Англия и Россия, из коих первая охотно давала только деньги, а вторая ограничивалась лишь военными приготовлениями на случай столкновения с Пруссией из-за Польши. Одним словом, крестовый поход против революции расстраивался, и в 1795 г. совершенно ясно можно было видеть, что монархический принцип, во имя коего предпринята была война, был довольно-таки плохой связью для разнородных политических интересов старой Европы. Соперничество Австрии и Пруссии в Германии сделалось даже одним из условий, особенно благоприятствовавших французской политике в Священной Римской империи, а отпадение Сардинии от коалиции ввиду надежды получить вознаграждение за Савойю и Ниццу из итальянских владений Австрии обуславливало возможность успешных военных действий французов в Италии, создав из Пьемонта передовой операционный базис против Ломбардии. Сардинии, впрочем, более ничего, пожалуй, и не оставалось делать, ибо она и Австрия были союзниками с двумя расхаживавшими линиями отступления — на Вену и на Турин. Германия и Италия были открыты для французов, вся тяжесть борьбы с коими выпала на долю Австрии. В то время как генерал Бонапарт одерживал над австрийцами победы в Италии, в Германии Моро удалось отвлечь от коалиции еще Вюртемберг и Баден, которые за уступку своих зарейнских земель выговорили себе вознаграждение из церковных владений, а затем и Саксония присоединилась к северогерманскому нейтральному союзу. Бавария также вступала в соглашение с Моро, но ему все-таки не удалось удержать за собой перевеса над австрийцами. Хотя в немецком народе и вспыхнула ненависть к французам, грабившим Германию, князья вообще предпочитали идти на уступки, рассчитывая на территориальные приобретения из секуляризации церковных владений при помощи французов и, таким образом, подготавливая круше-

ние средневековой Священной Римской империи. Победа генерала Бонапарта над Австрией, на которую пала вся тяжесть войны, заставила под конец и это государство искать мира, тем более что Англия помогала плохо, на содействие России надежды не было, а тут еще и Пруссия все более и более возвышалась и в Германии, и в глазах Англии и России. 18 апреля 1797 г. между Австрией и Францией был заключен леобенский прелиминарный договор, за которым вскоре последовал (18 декабря) и мир в Кампо-Формио. Австрия отказывалась от Бельгии и Ломбардии, но зато получала часть Венецианской области, а, кроме того, император обязывался уступить Франции весь берег Рейна, за что ему обещали дать вознаграждение посредством присоединения к его владениям Зальцбургского архиепископства и баварских земель на востоке от Инна. Таким образом, и Австрия, наконец, вступала в мирное соглашение с революцией, соглашалась на дележ Италии и готовилась со своей стороны приложить руку к разрушению Священной Римской империи. Правда, статьи договора, касавшиеся последнего пункта, были тайные, и вопрос о заключении имперского мира должен был еще решаться на конгрессе, предположенном в Раштадте, но уже в Кампо-Формио было условлено, что имперские чины, теряющие что-либо на левом берегу Рейна, будут по соглашению с Францией вознаграждены в Германии. После всех этих успехов французского оружия и французской дипломатии Германия превращалась в территорию, предназначенную служить для вознаграждения всех, кто потерпел в борьбе с республикой, притом еще лишь если последняя находила нужным вознаграждать. В числе претендентов на приобретения в Германии по ходатайству Австрии явились герцог Моденский и принц Оранский. После Кампо-Формийского мира Австрия даже поспешила сдать французам такие пункты, как Майнц, Маннгейм и т. д., отозвав вместе со своими войсками и мелкие отряды немецких князей, бывших с нею в союзе, а сама немедленно заняла вновь приобретенные части бывшей венецианской территории (Венецию с областью до Эча на западе, Истрию, Далмацию, острова на Адриатическом море и проч.). В то же время немецкие князья наперерыв спешили заключать тайные сепаратные договоры с Францией, готовясь также приступить к дележу Германии. В XVIII в. общее неуважение к чужому праву создало политику разделов более слабых государств между более сильными: Французская революция вступала на тот же путь, и монархическая Европа, вооружившаяся против революции, теперь охотно пошла ей навстречу. Империя Наполеона продолжала в самых широких размерах ту же политику: в этом-то и была одна из причин ее военных и дипломатических успехов.

Раштадтский конгресс открылся в конце 1797 г. На нем обнаружилось с очевидной для всех ясностью внутреннее разложение старой Священной Римской империи с ее отжившими свой век политическими формами. Немецкие государи и их дипломаты интриговали друг против друга, обманыва-

ли одни других, жертвовали общими интересами Германии, заискивали милости у Франции, пускали в ход лесть и подкуп не только по отношению к представителям республики, но даже и по отношению к их лакеям и кучерам; решительно все немецкие правительства вели себя одинаково низко и подло. Поплатиться на конгрессе пришлось главным образом духовным князьям, владения коих уже имелись в виду как фонд для будущих вознаграждений, когда отдельные княжества заключали тайные договоры с Францией. Нигде на западе Европы в это время, кроме Германии, не существовало церковного землевладения с суверенными правами, и та секуляризация духовных владений, которая начата была, но не была доведена до конца Реформацией XVI в., завершалась теперь при помощи революционной Франции. Таким образом, Французская революция делалась исходным пунктом разрушения средневековой империи. Дальнейшие события лишь на время отсрочили окончательное распадение этой политической организации. Известно именно, что Австрия, начавшая новую войну с Францией (март 1799 г.), объявила конгресс закрытым и отказалась признать его решения, после чего Раштадт был занят отрядом австрийского войска, а французские уполномоченные, выехавшие из города, умерщвлены были на дороге венгерскими гусарами. Началась вторая коалиционная война, сопровождавшаяся монархическими реставрациями в Италии, но и на этот раз единодушия между союзниками не было, что позволило Франции снова (но уже при новом режиме) выйти победительницей из борьбы.

Говоря о внешних успехах революционной Франции, поддерживавшейся сочувствием если и не всегда целых народов, то влиятельных общественных классов в отдельных странах Западной Европы при большей или меньшей дозорорганизации монархических правительств и их союзов, нельзя не отметить еще то, что освобождение французами земель от гнета, лежавшего на их населении, благодаря господству в них старых государственных и общественных порядков, сопровождалось наложением на них нового ига, так как союзные с Францией республики должны были подчиняться внешней политике своих освободителей, поставлять им военные контингенты, выплачивать значительные суммы денег и вообще выполнять такие условия, в коих на первом плане были выгоды Франции. Нельзя, между прочим, не отметить и того общего факта, что нередко французы встречали не особенно дружелюбный прием со стороны сельского населения, руководимого духовенством, которое представляло «освободителей» самыми худшими врагами церкви: французские вымогательства как нельзя более содействовали успеху такой проповеди духовенства¹. Чем ближе мы подходим к последним годам XVIII в., тем более революционная Франция забывает свои прежние заявле-

¹ Укажем здесь и на то, что то же самое явление (нерасположение сельского населения к новым идеям) наблюдается и позднее, в эпоху революционных движений в южно-романских странах в начале двадцатых годов, о чем см. ниже.

ния о свободе наций и о невмешательстве в их внутренние дела и вместе с тем перестает скрывать свои чисто завоевательные стремления, тем менее, с другой стороны, оправдываются и надежды народов, видевших сначала во Франции лишь великодушную освободительницу. «Единая и нераздельная республика» в своей внешней политике следовала вполне традициям «старого порядка», проникаясь завоевательными стремлениями абсолютных монархий XVIII в., а последние, выступившие было на защиту своего политического принципа, кончили сообщничеством с революционной Францией, открывшей перед ними широкие горизонты новых территориальных приобретений. С другой стороны, свою внешнюю силу Франция впоследствии все менее и менее основывает на призыве народов к свободе, предпочитая иметь дело с запуганными государями и привлекая их к себе перспективой дележа добычи. В Италии сохраняется Сардинское королевство и, наоборот, разрушается демократическая республика, при помощи французов возникшая в Венеции. В Германии, где уже зарождалось народное недовольство против французов, республика равным образом предпочитает посредством переговоров и посулов привлечь на свою сторону одних князей. И в революционной Франции, и в монархической Европе принципы, таким образом, отступают на задний план перед интересами, но и в борьбе последних победа принадлежала все-таки новым интересам, возникшим из революции. Старая Европа была побеждена революцией, но и революция отказалась от ей же самой провозглашенных принципов международного права, чтобы действовать в духе политических традиций старой Европы.

III. Исход революции по отношению к внутренней жизни Франции¹

Общий взгляд на внутренние перемены, произведенные во Франции революцией. — Изменение общественного строя в эпоху революции. — Судьба республиканской формы правления во Франции. — Отсутствие свободы в республиканском строе Франции в конце прошлого века. — Внутренняя дезорганизация страны. — Общественное настроение и начало реакции. — Подготовка военного режима. — Внутреннее состояние Франции в 1799 г.

В то самое время, как новая, республиканская и демократическая Франция одерживала победы над старой, монархической и аристократической Европой, присоединяя к себе соседние области и окружая себя целым рядом республик, внутреннее состояние самой Франции далеко не соответствовало таким ее успехам в политике внешней². Революция была низвержением старого социального и политического строя, на месте которого должны были возникнуть новое общество и новое государство, основанные на началах равенства и свободы. В 1789 г. во Франции были отменены все сословные различия, права и привилегии, и нация, дотоле резко разделенная на сословия, превратилась в бессословное гражданство, коему суждено было сделаться одним из наиболее прочных приобретений революции. Но в этом бессословном гражданстве продолжали существовать экономические классы с разными социальными стремлениями, и та опасность, которая грозила буржуазии, наиболее выигравшей от революции, со стороны пролетариата, получившего от революции наименьшее количество выгод, заставила первый из этих классов выступить на путь реакции, мало-помалу, вместе с другими причинами, приведшей к установлению во Франции военного деспотизма. Буржуазия, не желая ни возвращения «старого порядка», ни новых общественных переворотов, беспрекословно подчинилась тому режиму, который был логическим следствием 18 брюмера. В политической сфере попытка дать стране свободу, сделанная людьми 1789 г., потерпела неудачу. Конституционная монархия просуществовала недолго, уступив место республике, но эта республика как раз принадлежала к числу тех, которых Монтескьё в своем «Духе законов» называл несвободными. Превращение в республику нации, в коей были сильны традиции, симпатии и привычки монархизма, создание свободного государства в нации, воспитанной «старым порядком» в непонимании того, что такое свобода, в неуважении именно к чужой свободе и в неумении дорожить и пользоваться собственной

¹ См. указания на литературу по истории Французской революции в III т. (Здесь и далее указываются предыдущие тома «Истории Западной Европы в Новое время». — *Прим. ред.*)

² Ср. т. III (гл. XVII. Внешние победы и внутреннее бессилие Франции в эпоху Директории).

свободой, и притом образование свободной республики в то время, когда борьба с внутренними и внешними врагами революции делала необходимой диктатуру, было само по себе задачей в высшей степени трудной, задачей с сомнительным исходом, прежде всего для дела политической свободы. Революция не сумела и не смогла организовать Францию на началах свободы, виною чего были, однако, не только старые привычки, не так-то легко поддающиеся действию новых идей, и не только обстоятельства самой эпохи, когда новому порядку приходилось защищать себя против внутренних и внешних врагов исключительными мерами, но и крупные ошибки, сделанные самими революционными преобразователями Франции. «Старый порядок» был разрушен, но новый не был организован. Переходная эпоха с ее неопределенностью, с ее необеспеченностью и непрочностью, с ее дезорганизацией, переходившей даже в анархию, затянулась на слишком продолжительное время, и в 1799 г., через десять лет после того, как Франция, по-видимому, могла себя считать вполне возродившейся к новой жизни, нация все еще стояла на распутье, боясь возвращения как «старого порядка», так и революционного террора и вместе с тем изверившись в те идеи, которые заставляли биться сердца в 1789 г., желая только покоя после стольких бурь и соглашаясь пользоваться этим покоем, хотя бы ценой отказа от свободы. Наступили действительно годы, когда Франция получила то, к чему стремилась в конце революционного десятилетия, когда в стране установлен был внутренний порядок, когда государству дана была прочная организация, когда, наконец, был обеспечен новый общественный строй нации, но вместе с тем ей пришлось отказаться от свободы, которой, впрочем, она настоящим образом и не пользовалась ни в эпоху сильной якобинской диктатуры, ни во времена слабого правления Директории. В военной диктатуре Наполеона Бонапарта в новой форме возродилась во Франции абсолютная монархия Людовика XIV. Стране предстояло пережить еще пятнадцать лет этого режима, прежде нежели сделалось возможным возвратиться к организации свободного государства, предпринятой в 1789 г., но потерпевшей на первых порах неудачу.

Таков был исход революционного движения через десять лет после начала этого движения. Наиболее решительным образом из его результатов заявило себя новое бессловное гражданство, которое сменило собой старый сословный строй общества. Равенство перед законом, входившее в число «принципов 1789 г.», было достигнуто, но далеко нельзя сказать то же самое о другом принципе — свободе, к которой в 1799 г. французы были даже гораздо более равнодушными, чем за десять лет перед тем. Много сильнее, чем отсутствие свободы, давала себя чувствовать теперь полная внутренняя дезорганизация, делавшая в высшей степени непрочными те социальные приобретения, которыми особенно дорожила Франция. Страна готова была повиноваться всякому правительству, которое обеспечило

бы за ней результаты общественных перемен, совершенных революцией, и установило бы внутренний порядок, дав твердую организацию администрации, суду и финансам, хотя бы при этом и умалялась политическая свобода нации.

Реформы учредительного собрания в 1789—1791 гг. совершенно изменили общественный строй Франции¹. Дальнейшее развитие революции не прибавило ни одной новой черты к тому социальному устройству, которое было результатом отмены сословий с их привилегиями и титулами, феодальных прав с крепостничеством и других проявлений неравенства перед законом, т. е. было результатом провозглашения гражданского равенства всех французов, и мы совершенно напрасно стали бы утверждать с некоторыми писателями, будто Конвент ставил своею задачей установление какого-либо иного общественного строя, нежели тот, который был создан в первые два года революции. Громадное большинство французов выигрывало от этой замены социальных привилегий гражданским равенством, и только бывшие привилегированные оставались недовольными, являясь, однако, совершенно бессильными против этого большинства. Таких недовольных было, во-первых, незначительное меньшинство; во-вторых, весьма значительное их число находилось вне Франции, а в-третьих, остававшиеся на родине были достаточно запуганы, чтобы до поры до времени напоминать о своем существовании. Вернуть старый порядок в социальных отношениях было поэтому не так легко, и единственной угрозой новому строю было существование эмигрантов, хлопотавших при заграничных дворах о насильственном восстановлении во Франции старины при помощи иностранных войск. Франции прежде всего нужно было такое правительство, которое сделало бы невозможным возвращение старого порядка: в этом были одинаково заинтересованы и буржуазия, и крестьянская масса, и другие общественные элементы. Но буржуазия, наиболее выигравшая от революции, должна была стремиться к тому, чтобы свое новое положение в обществе, весьма для нее выгодное, обеспечить и, с другой стороны, устранить, предотвратить и другую опасность. Хотя якобинизм, бывший чисто политическим радикализмом, и не ставил себе задачи социального переворота, который грозил бы буржуазии экспроприацией, тем не менее он опирался на городской пролетариат, враждебный буржуазии, создавал из него политическую силу в ущерб той роли, какую начинало играть среднее сословие, и прибегал к некоторым мерам, противным интересам собственности. В эпоху якобинского террора буржуазия вынуждена была ступать, подобно прежним привилегированным сословиям, и когда после 9 термидора наступила более спокойная пора, ничего так не боялись имущие классы общества, как возвращения якобинизма и захвата власти пролетариатом. Якобинская диктатура в Конвенте, повторяем, не изменила ни

¹ См. т. III (гл. XXXVII. Преобразование общественного строя во Франции во время революции).

одной черты в социальном строе, каким его создали реформы учредительного собрания, но искание якобинцами популярности и опоры в пролетариате, их насильственные меры, от коих страдали интересы собственности, заставляли буржуазию стремиться к тому, чтобы власть на будущее время не попала более в руки людей, столь мало обращающих внимания на стремления и интересы этого класса. После падения привилегированных сословий буржуазия сделалась самым богатым, самым влиятельным, самым образованным общественным классом, чего не хотел признавать якобинский режим, и буржуазия шла попеременно за термидорианцами, низвергшими якобинскую диктатуру, за роялистами, поднявшими голову после поражения крайних революционных партий, за счастливым полководцем, твердая власть коего оберегала новое социальное положение буржуазии и от возвращения «старого порядка», и от возрождения якобинизма. Форма правления отступала при этом на задний план. Равным образом и крестьянская масса, освободившаяся от феодальных прав, от церковной десятины и от несправедливой раскладки государственных налогов, заботилась лишь об упрочении за собой этих благ революции, еще менее, чем буржуазия, останавливаясь на вопросе о форме правления. Эпоха активной роли городского пролетариата была весьма непродолжительна, и его собственные интересы страдали от застоя дел, безработицы, дороговизны. Политическая жизнь еще не выставила тогда программы социальных реформ, а время якобинской диктатуры, опиравшейся на низшие классы городского населения, ни в чем не изменило их положения: за падением якобинизма и здесь весьма скоро наступило разочарование, так что республика, от коей ожидалось наступление лучших дней для труждающихся и обремененных, скоро утратила прежнее свое обаяние, когда обнаружилось именно, что она была бессильна что-либо сделать против нищеты и других бедствий народа.

В конце 1790-х гг. большинство французов, дороживших социальными приобретениями революции, было вообще совершенно равнодушно к республике как государственной форме. Республика во Франции была основана при исключительных обстоятельствах энергичным меньшинством, захватившим власть в свои руки, и нация подчинилась новой форме правления как политической необходимости. В стране не было ни одного общественного класса, который имел бы особый и притом достаточно прочный интерес дорожить этой формой, и, наоборот, помимо общей монархической традиции, коей столь долгое время жила французская нация, — что и проявилось в повсеместном, частом и сильном пробуждении роялистических чувств, — были еще особые причины, которые делали республику ненавистной, опасной или по крайней мере не особенно дорогой для отдельных классов общества, будем ли мы иметь в виду духовных и дворян, стремившихся к восстановлению монархии, буржуазию, не доверявшую демократии после печального опыта с якобинизмом, или пролетариат, утративший веру в магические свойства рес-

публиканского режима. Первая республика во Франции была республикой без республиканцев, и в этом заключалась коренная причина ее падения. В наказах 1789 г. нация свободно выразила свой взгляд на политический вопрос, объявив себя за монархию лишь с отнятием у короля абсолютной власти. Учредительное собрание, представлявшее собой все лучшие общественные силы Франции, было настроено монархически. Республиканская тенденция обнаружилась только позднее, да и то лишь после целого ряда политических ошибок, коими сама себя губила монархия. Роялисты потому лишь не могли иметь всего успеха, какой должен был бы выпасть на их долю при монархическом настроении большинства населения, что у них монархическая идея соединялась с защитой старого социального строя. Если бы явилась возможность такой монархии, которая признала бы результаты революции в социальных отношениях, Франция, свободно спрошенная, не задумываясь над своим ответом, с радостью приветствовала бы такую монархию, и это огорчило бы лишь немногих убежденных республиканцев, которые при данных обстоятельствах очутились во главе движения благодаря только тому, что старая монархия чересчур ясно для всех отождествляла свои интересы с интересами привилегированных сословий. Тем более охотно Франция приняла бы демократическую монархию, если бы последняя приносила с собой еще и свободу, что вскоре она безропотно подчинилась военному деспотизму, который, восстанавливая монархические формы и налагая тяжелую руку на политическую свободу, упрочил свое положение принятием под свою охрану нового социального строя. История революции ясно показывает, что французская нация в исходе XVIII в. более дорожила равенством, чем свободой, и что ради достижения и сохранения первого она готова была пожертвовать второму.

При таком отношении к свободе французы конца XVIII в. не могли особенно дорожить республикой, в представлении многих особенно соответствовавшей идее свободного государства, тем более что та республика, которая установилась в стране, на самом деле не очень-то избаловала французов свободой. Военный деспотизм Наполеона во многих отношениях был лишь возобновлением республиканской диктатуры якобинцев, как эта последняя, в свою очередь, возобновлением абсолютизма старой монархии. Действительно, республика не принесла с собою настоящей свободы, а то, что задумано было в духе свободы, по многим причинам на практике оказалось источником полнейшей внутренней дезорганизации, которую тоже многие начали включать в счет грехов республики. В том-то и было все дело, что французы не дорожили свободой, не понимали ее и не умели ею пользоваться, и что в силу всего этого их попытка организовать государство на началах свободы окончилась в исходе XVIII в. полной неудачей, ибо в результате дала лишь полную безурядицу в администрации, суде и финансах. Организатором новой Франции явился Наполеон, но он положил в основу

данного им стране устройства более привычный для тогдашних французов принцип власти, упрочивший внутреннее состояние страны, но наносивший жестокий удар делу политической свободы. Франция девяностых годов прошлого века оказалась, таким образом, и мало дорожившей свободой, и неспособной организовать на свободных началах: она и утратила до последнего призрака все, что могла считать своею свободой, и получила устройство, в котором все было утверждено в принципе власти.

Общественное настроение 1789 г. характеризуется во Франции искренним порывом к свободе, что выразилось, между прочим, в наказах депутатам, выражавших желания и надежды нации. Учредительное собрание равным образом было одушевлено стремлением дать стране самую широкую свободу, что весьма наглядно отразилось на законодательстве этого собрания¹, включая сюда и саму декларацию прав человека и гражданина. Однако в разного рода заявлениях и мероприятиях того времени далеко не всегда обнаруживалось понимание, в чем должна заключаться настоящая свобода и каковы условия, необходимые для ее осуществления. Уже в декларации прав статья, обеспечившая свободу в области религиозной, содержала в себе известное ограничение, из коего можно было вывести нечто совсем несогласное с торжественным заявлением статьи. Провозглашая личную неприкосновенность, учредительное собрание недоделало ничего для того, чтобы оградить ее от произвола администрации, поставив ее под охрану судебной власти, к которой можно было бы обращаться в случае злоупотребления других властей. Под давлением обстоятельств само учредительное собрание отказывалось в некоторых отношениях от проведения принципа личной свободы, особенно когда возникло опасение, что ею станут пользоваться во вред новому порядку вещей или общественному спокойствию, и чем далее развивалась революция, тем все более и более соображения подобного рода заставляли отодвигать на задний план требования свободы. Наконец, своим неудачным «гражданским устройством духовенства» учредительное собрание подготовило те религиозные преследования, которые так много повредили делу революции. Если в поведении самих политических вождей, несмотря на их искреннее увлечение «принципами 1789 г.» было много недостаточного и ошибочного и если обстоятельства эпохи заставляли их опасаться, как бы свободой не воспользовались враги нового порядка вещей, то в самом обществе, и особенно позднее, когда революции на самом деле стали грозить внутренние и внешние опасности, еще менее было понимания свободы и ее требований. Громадное большинство желало свободы только для себя, отказывая в ней другим или силою заставляя их быть свободными по собственному разумению. Энергичное меньшинство, наиболее говорившее о свободе, в сущности, стремилось к тому, чтобы удержать за собою безграничную власть.

¹ См. т. III (гл. XXXVI. Принципы индивидуальной свободы и народовластия в законодательстве конституанты).

Свобода народа вопреки известному предостережению Монтескье смешивалась с властью народа, и идея Руссо, учившего о безусловности народного верховенства, дала настоящую окраску той свободе, о которой хлопотали якобинцы, клеймившие названием «инцивизм» всякое проявление индивидуальной независимости. Старые привычки нации, воспитанной веками абсолютной монархии и призванной сразу к самому широкому самоуправлению, неверное отождествление свободы народа с властью народа, от имени которого устанавливалась самая деспотическая диктатура, обстоятельства эпохи, делавшие необходимым для спасения страны сосредоточение и усиление власти, наконец, мало-помалу развившееся недоверие к свободе после того, как во имя ее совершено было столько насилий и злоупотреблений властью, — все это делало французов той эпохи более способными жить под режимом неограниченного правления, чем пользоваться благами свободы. Не только республика не имела залогов прочности в привычках, нравах, идеях, стремлениях и интересах большинства французов, но и монархия, возвращаясь коей тайно желало это большинство, не могла при данных условиях получить характер свободного государственного устройства. Конституция 1791 г. была попыткой сочетания монархического начала с политической свободой, хотя попытка эта и была совершена в духе недоверия к королевской власти. Наоборот, конституция, передавшая через восемь лет власть будущему цезарю, была задумана в смысле сочетания республиканского принципа с сильной единоличной властью, но уже при весьма решительном недоверии к свободе. Короткая пора конституционной свободы сменилась во Франции временами революционного правительства. Возвращение к более свободным началам в эпоху Директории тоже не удалось: империя — с консульством, ей предшествовавшим, — была лишь другой формой диктатуры во имя народа, уже известной Франции по временам якобинского правления. Все различие заключалось в том, что в одном случае мы имеем дело с диктатурой энергичного меньшинства, приводившего в движение народные массы, в другом — с диктатурой одного лица, опиравшегося на военную силу. Впрочем, различие заключалось еще и в том, что революционное правительство предпринимало свои организационные меры лишь временно — «до окончания войны», предоставляя будущему окончательное решение внутренних вопросов и тем самым не давая Франции постоянной и прочной организации, тогда как консульство тем и выиграло, что с первых же шагов своих приступило к упорядочению внутренних отношений, рассчитанному на долговременное постоянное действие. Ни конституция 1791 г., ни революционное правительство, ни Директория не создали во Франции организации с задатками жизненности и прочности, и это тоже губило в стране дело свободы в обоих смыслах, в каких это слово тогда понималось.

Старый государственный порядок, подавлявший общественные силы, грешил избытком правительственного действия. Учредительное собрание,

желая дать простор именно этим силам, впало в противоположную крайность. Оно до последней степени ограничило роль центральной исполнительной власти, передав органам местного самоуправления заведование всем тем, что, по существу дела, должно было находиться в руках правительственных агентов. Результаты такой перемены были весьма печальны. Новое правительство в обществе, привыкшем ожидать на все указаний свыше, само себя обессиливало. С другой стороны, пробел, который таким образом возникал в привычной обществу системе, необходимо должен был пополниться, без чего оно совершенно не могло бы жить, и вот место законного правительства заступает правительство самозванное — якобинский клуб со своими провинциальными отделениями. Конституция 1791 г. децентрализовала Францию до последней крайности, якобинский клуб, наоборот, давал ей централизацию, к которой она привыкла и в которой нуждалась, революционное же правительство, вышедшее из этого клуба, не уничтожая в принципе системы, созданной учредительным собранием, на практике действовало именно в духе крайней централизации, что, конечно, не могло способствовать надлежащему развитию официально признанного самоуправления. Кончился период якобинского террора, и снова под режимом Директории возрождались явления, бывшие результатом системы учредительного собрания. Франция XVIII в. страдала от избытка правительственного действия и нуждалась в местном самоуправлении. Это хорошо понимали лучшие ее государственные люди, и в таком именно смысле Тюрго создал целый план, который отчасти был приведен в исполнение Неккером, хотя большей частью уже на самом кануне революции. Учредительное собрание пошло далее: оно не только вводило широкое самоуправление, но передавало в заведование его органов дела прямо государственного характера; оно не только устанавливало выборные власти в отдельных муниципалитетах (селах и городах) и департаментах, заменивших старые провинции, но даже уничтожало совершенно и повсеместно какие бы то ни было правительственные должности, которые зависели бы от центральной власти; оно не только произвело административную децентрализацию, но, так сказать, упразднило централизацию политическую, превратив административные единицы в подобие самостоятельных республик. По существу дела, нововведение было опасное, и это не замедлило обнаружиться, когда отдельные выборные администрации стали вести себя совершенно независимо от видов, желаний, стремлений и прямых предписаний центрального правительства. У последнего оставалось одно средство — добиваться повиновения со стороны муниципальных и департаментских администраций, именно искусственно устраивая выборы в свою пользу, часто с нарушением свободы выборов. Нация, совершенно не привыкшая к самоуправлению, разделенная на пассивное большинство, которое само себя нередко устраняло от выборов, и на энергичное, но беспокое, властолюбивое и насильственное меньшинство, при этой системе

обнаруживала только старую способность подчиняться тем, в чьих руках была власть, раз последняя не позволяла с собою шутить, — или же следовала привычке, приобретенной в революцию, отказывать в повиновении представителям власти, лишь только за ними не стояло вооруженной силы. Широкое самоуправление сводилось к тому, что везде разрозненное и запуганное большинство подчинялось воле сплоченного и смелого меньшинства, а это последнее, входя в состав отделений якобинского клуба, в сущности, исполняло приказания парижских революционных вождей. Чрезвычайные меры якобинского правительства, насильственный образ действий его комиссаров в департаментах, бесцеремонность местных приверженцев якобинизма то и дело вооружали против этой системы мирное население, но она по крайней мере все-таки поддерживала единство в управлении страной: стоило только пасть терроризму, как снова все стало расползаться врозь, и внутренняя безурядица начала внушать большинству ту мысль, что далее продолжать жить таким образом невозможно. Франция около года только прожила под действием конституции 1791 г., потом около трех лет она не имела никакой конституции, если не считать якобинской, которая не была приводима в исполнение, в конституции же III г. обнаружились такие недостатки, внутренние дела Франции при Директории шли так плохо, что никто не видел в этом республиканском устройстве 1795 г. серьезного обеспечения внутреннего порядка, тем более что сама конституция III г. была предметом постоянных нарушений и со стороны законодательной, и со стороны исполнительной властей.

Под влиянием всех неудач, разочарований и опасений во Франции к последним годам XVIII в. удивительно изменилось общественное настроение. Подъем духа, оптимизм и бодрость 1789 г. уступили место какой-то душевной подавленности, пессимизму и равнодушию 1799 г. Идеальные стремления и принципы, их возбуждавшие, утратили свою силу над сердцами и умами, и на первый план выдвинулись своекорыстные инстинкты и материальные интересы. Из среды общественных деятелей исчезли борцы за свободу и права человека, и во главе государства очутились политические дельцы, думавшие только о том, как бы подольше удержаться у власти, люди, не пользовавшиеся ни уважением, ни доверием нации. Общественная жизнь утратила духовное содержание: везде пустота, равнодушие, разочарование, погоня за легкими удовольствиями, страсть к наживе, склонность к мелким интригам, и только военная слава еще сколько-нибудь настраивала нацию на высокий лад. Мало того, в этом обществе начинает намечаться культурная реакция против общего духа философии XVIII в. Что было сделано этой философией для общественного возрождения и переустройства, стало мало-помалу забываться, и наоборот, начинали обращать внимание на слабые стороны, действительные или мнимые, в идейных построениях XVIII в., обвиняя их во всех ужасах и бедствиях революции. Времена якобинского террора были свежи в

памяти, и общество не на шутку опасалось, как бы опять не возвратились эти времена, а «старый порядок», отходивший в область предания, начинал уже забываться, и не напоминая о нем эмигранты своими притязаниями на насильственную реставрацию старины, многое было бы и еще более прочно позабыто. Испытания, которые переживались обществом, религиозные преследования, почти не прекращавшиеся за время революции, оживили католические чувства, и в то время как одни желали восстановления церкви в ее нравах во имя удовлетворения своих религиозных потребностей, другие указывали теперь на политическую необходимость религии, как наилучшей опоры общественного порядка. В стране рядом с той реакцией, которая вела свое начало из прежней консервативной оппозиции против замышлявшихся и предпринимавшихся реформ, из оппозиции католико-феодалного характера, возникала другая реакция, среди тех классов общества, которые, наоборот, были инициаторами движения, стояли одно время во главе этого движения и теперь сами же стали относиться к нему с недоверием, когда оно стало переходить за известные границы. Остановить дальнейшее развитие движения, не дать повториться некоторым фактам недавнего прошлого, сохранить добытые результаты, хотя бы и с утратой свободы, представлявшей своего рода опасности, сделалось бессознательной программой поведения наиболее влиятельных элементов нации, и они готовы были помогать всякой реакции, лишь бы и здесь не переступали известные границы. В самой буржуазии возобладали инстинкты консерватизма, который не мог получить преобладания: в жизни без реакции против некоторых сторон совершившегося уже движения, а реакция в области политических и социальных отношений всегда сопровождается попятным движением и в сфере культурной.

Когда внутри Франции господствовало такое настроение, все наиболее деятельное, энергичное, неспособное к простому прозябанию сосредоточивалось в войске, защищавшем отечество, расширявшем его границы и сферу его влияния, покрывавшем его неувыдаемой славой, считавшем призванием своим призывать народы к благам свободы и равенства. Здесь были и подъем духа, и энергия, и организация, т. е. было то, чего, наоборот, нация была лишена. Армия была единственной реальной силой, и кто управлял этой силой, тот мог сделаться господином положения. Уже не раз в эпоху революции строились планы употребить военную силу в целях политического переворота, но эти планы разбивались тогда о нежелание солдат идти против народа и национального представительства. Изменилось мало-помалу и такое отношение армии к внутренней политике: в последние времена республики правительство нередко уже само прибегало к военной силе для подавления мятежей, и к нарушениям конституции, нуждавшимся также в поддержке армии. Якобинская диктатура подготовила Францию к диктатуре военной, а война с ее насилиями над мирным населением, громкая военная слава, затмившая собой идею свободы, во имя которой началась эта

грандиозная борьба с Европой, строгая дисциплина, делавшая из солдат слепое орудие в руках начальников, и тесная организация, приучавшая их выделять себя из нации, как сословие, имеющее свои особые интересы и права, — все это воспитывало и подготавливало армию к той роли, какую ей суждено было играть в установлении и поддержке нового режима. Если только можно вместе с Тэном видеть в революции завоевание Франции якобинцами, то с не меньшим правом можно смотреть на империю, — конечно, с консульством, бывшим лишь вступлением к империи, — как на завоевание Франции гражданской Францией военной. В обоих случаях люди, дорожившие свободой и республикой, были так немногочисленны, что не в состоянии были воспротивиться диктатуре, и если в первом случае диктатура нашла опору в энергичном меньшинстве, думавшем навязать стране свою волю, то во втором за установление крепкой власти было то самое пассивное большинство, которое поневоле подчинялось раньше беспокойному революционному правительству, не создавшему никакого прочного порядка, и конечно, должно было предпочесть республике правительство, гарантировавшее нации дисциплину и организацию как залог внутреннего порядка.

Нельзя поэтому одним увлечением военною славою и страхом народа и буржуазии перед призраками «старого порядка» и якобинизма объяснять себе популярность, какую стал пользоваться новый режим, вышедший из переворота 18 брюмера. Чтобы понять ее, нужно познакомиться с тем состоянием, в коем застал Францию новый ее повелитель, и сравнить это состояние с тем, что было сделано для улучшения ее внутреннего положения в первые же годы консульства.

Эпоха консульства и империи

IV. Наполеоновская эпоха и ее историография¹

Общий взгляд на значение наполеоновской эпохи для Франции и для Европы. — Вопрос о роли Наполеона в истории XIX в. — Сближение консульства и империи с просвещенным абсолютизмом. — Империя и культурная реакция. — Старая монархия, революция и империя Наполеона. — Необходимость сделанного анализа наполеоновской эпохи. — Сочинение Тьера и его критики. — Книги Ланфре, Юнга и Тэна. — «Napoléon intime»² Артура Леви. — Новейшие сочинения о наполеоновской эпохе

Переворот 18 брюмера имел весьма большое значение не только для Франции, но и для остальной Европы. Установление новой власти в стране, в течение десяти лет бывшей ареной редкой в летописях мира внутренней борьбы, знаменовало собою прекращение этой борьбы, иными словами — конец революции. Политическое движение внутри страны остановилось; общественные перемены, произведенные этим движением, консолидировались; Франция получила организацию, в коей так нуждалась, и все это было результатом перехода власти в руки одного человека. Но не прекратилась борьба Франции с Европой, вызванная революцией; не прекратились французские победы над государствами «старого порядка»; не прекратились перемены, которые стала в них производить революционная республика, — и переход власти над последней в руки победоносного и властолюбивого полководца, сделавшего из войны свое настоящее призвание, и установление им в дезорганизованной Франции внутреннего порядка, укрепившего ее и извне, только усилили то направление, в коем совершалась международная история с первого столкновения между Французской революцией и старой Европой. Сколько бы ни заключало в себе владычество Наполеона I

¹ Литература о Наполеоновской эпохе очень обширна. (Весьма многочисленные мемуары об эпохе перечислены в книге Леви, специальные сочинения названы в приложениях к книге Фурнье.) Указываем здесь лишь на общие сочинения, чтобы другие, более частные и специальные, отметить в других главах. Старые сочинения о Наполеоне Bignon'a, Jomini, Stendhal'я, Walter Scott'a, Schlosser'a, Thibaudeau. *Thiers*. Histoire du consulat et de l'empire; *Barni*. Napoléon I et son historien M. Thiers; *Langfey*. Histoire de Napoléon I (доведена до 1811 г., была переведена по-немецки, причем издано было и дополнение, доводящее изложение до конца); *Taine*. Les origines de la France contemporaine. Le régime modern (два тома, из коих последний появился уже после смерти Тэна); *Fournier*. Napoleon I (по-немецки, 1886—1887 гг., франц. перевод 1891—1892); *Guillois A.* Napoléon, l'homme, le politique, l'orateur, d'après sa correspondance et les oeuvres, 1889; *Seely*. A short history of Napoleon I, 1886; *Lévy A.* Napoléon intime, 1893; *Masson F.* Napoléon et le femmes, 1893. См. также соч. Пеэра, выходящее в свет в русском переводе; *Мишле*. История XIX в. (перевод М. Цебриковой, 1893). Только что (1894) предпринято издание: *Lumbroso*. Saggio di una bibliografia ragionata per servir alla storia dell'epoca napoleonica.

² Наполеон вблизи (фр.). — Прим. ред.

во Франции реакционных элементов, господство Франции над Европой было для последней продолжением революции, и та реакция, которая повсюду наступила в 1815 г., была одинаково направлена и против революции, и против революционного узурпатора, каким был для людей «старого порядка» Наполеон. Таким образом, конец революции на ее родине был, собственно говоря, если и не началом ее для остальной Европы, то таким продолжением, которое совершенно затмило собой начало. Уже раньше обнаружилось ослабление нового исторического движения Франции и, наоборот, усиление той роли, какую взяла она на себя по отношению к другим нациям, и переворот 18 брюмера с непосредственными своими следствиями только яснее определил дальнейший ход истории, прекратив во Франции какие бы то ни было перемены в духе революции и открыв перед французской нацией перспективу перестройки политического и социального быта всего западноевропейского континента. В один и тот же момент революция кончалась и революция начиналась; отсюда двойственное значение наполеоновской эпохи, одно для Франции, другое для Европы. Впрочем, и для самой французской нации эта эпоха имела двойственное значение и опять-таки по отношению все к той же революции. В перевороте 1789 г. нужно отличать две стороны — политическую и социальную, т. е. с одной стороны, падение абсолютизма, с другой — падение феодализма, две стороны, соответствующие стремлению к свободе и стремлению к равенству. История последнего десятилетия XVIII в. показала, что Франция была гораздо более подготовлена старой монархией к принятию и сохранению гражданского равенства, нежели к тому, чтобы сделаться и остаться страной политической свободы, и что нация более дорожила первым из главных приобретений 1789 г., чем вторым. Весьма естественно поэтому, что для громадного большинства французов сущность революции заключалась более всего в отмене сословий, привилегий, феодальных прав и т. п., а не в уничтожении произвольной власти. Если для людей, коим дороги были политические «принципы 1789 г.», т. е. дороги были индивидуальная и общественная свобода, Наполеон был «первым из контрреволюционеров», как отзывалась о нем г-жа Сталь, то для массы, дорожившей прежде всего новым бессословным гражданством, равенством перед законом, свободой поземельной собственности, тот же самый Наполеон, сохранивший все эти блага, упрочивший их своей внутренней организацией, обеспечивший пользование ими посредством своего законодательства, казался, наоборот, человеком революции, ее наследником и спасителем, и в этом смысле во взгляде на империю, как на продолжение революции, сходились между собой и заклятые враги последней, не делавшие различия между Бонапартом и Робеспьером, и сторонники революции, ставившие социальную ее сторону выше политической.

Вопрос об исторической роли Наполеона сводится главным образом к вопросу о том, в каком отношении находилась его политическая деятель-

ность к революции, начавшейся во Франции и оттуда распространившейся на другие страны. Ответы на этот вопрос давались разноречивые, и смотря по тому, на что обращалось главное внимание — на Францию или на Европу, кто притом давал ответ и какая сторона революции выдвигалась на первый план, Наполеон I являлся или сокрушителем, или спасителем революции, или первым контрреволюционером, или революционным узурпатором. Эта двойственность во взглядах на историческое значение Наполеона существовала среди его современников и у ближайшего потомства и перешла в историческую литературу более позднего времени. Особенно клерикально-аристократическая реакция, наступившая после падения империи, содействовала тому, чтобы личность Наполеона, бывшего гонителем политической свободы, окружилась в глазах поклонников последней ореолом спасителя «принципов 1789 г.», чему отчасти способствовала и наполеоновская легенда, которая стала складываться еще при жизни этого замечательного человека: друзья и недруги нового исторического движения словно сговорились между собой подчеркивать в деятельности Наполеона те стороны, которые роднили ее с революцией, закрывая глаза на то, что было в ней реакционного, на то, что должно бы было примирять с нею врагов и уменьшать число поклонников. Достаточно припомнить, какие люди прославляли Наполеона, содействовали развитию его легенды и его посмертного культа, чтобы увидеть, как люди, относившиеся враждебно ко всякой тирании, к деспотизму, к рабству, в своем представлении превращали Наполеона чуть не в борца за человечество и тем совершенно извращали историческую истину: повинны в этом были, например, и Байрон, и Беранже, и Виктор Гюго, и Гейне. Сам Наполеон своими заявлениями и в ту еще пору, когда был только генералом революционной армии, и во времена консульства и империи, и в последние годы своей жизни, проведенные на о. Святой Елены, немало содействовал усложнению вопроса о его исторической роли, ссылаясь на «принципы 1789 г.» и идеализируя, в смысле какого-то служения великой идее, свою политическую деятельность: принятые за чистую истину, эти заявления опять-таки запутывали вопрос и вели к неправильным его решениям. Даже сама личность Наполеона, к которой нелегко приложить обыкновенную человеческую мерку, трудно поддается определению тем более еще, что среди людей конца XVIII и начала XIX в. он явился человеком, напоминавшим впоследствии не одному историку фигуры из других эпох, совсем не похожих на то время, явился чем-то вроде итальянского кондотьера, римского цезаря или древнего восточного царя-завоевателя. Как историческое лицо, Наполеон принадлежит к числу весьма немногих деятелей всемирной истории, особенно сильно действовавших на воображение современников и потомства; как человек, явившийся в новой Европе на рубеже XVIII и XIX вв. как будто бы из иного мира и иной эпохи, он должен был остаться загадкой для людей, живших с ним в одно время, и затруднить понимание своей необыкновенной личности для писателей, ставив-

ших себе впоследствии задачу ее исторического изображения. Наконец, все еще нерешенный вопрос о роли личности в истории заставлял одних слишком преувеличивать — в дурную ли, в хорошую ли сторону — то, что было внесено лично Наполеоном в историю его времени, а других, наоборот, заставлял умалывать его значение, делая его лишь пассивным орудием рока, рабом истории. Как бы там ни было, он дал имя целой эпохе, наполнив ее своими деяниями и своей славой, и вопрос о той роли, какую он играл в истории этой эпохи и какую последняя сама играет в отношении дальнейшего исторического процесса, во всяком случае не может решаться как-нибудь просто.

При определении исторического значения империи необходимо принимать в расчет не только личный характер Наполеона, хотя, вне всякого сомнения, им весьма многое и притом очень существенное объясняется во внутренней и внешней политике Франции, но и историческое положение, созданное, с одной стороны, успехом, каким сопровождалась революционная замена старого католико-феодального общественного строя бессловесным гражданством, а с другой стороны — неудачей попытки основать во Франции на развалинах абсолютной монархии Бурбонов новое государство со свободными политическими формами. Империя возрождала во Франции прежний абсолютизм, но если по личному своему характеру Наполеон более, чем кто-либо из французских государей, был вторым Людовиком XIV, даже превосходя свой прототип во властолюбии и деспотизме, то по историческому своему положению он должен был во многих отношениях держаться более близкой к нему по времени системы «просвещенного абсолютизма», с каким бы сам презрением и ни относился к «идеологии» XVIII в. Империя Наполеона I вышла из революции, отвергшей божественное право королей, сокрушившей социальное могущество Католической церкви, нанесшей окончательный удар феодализму, из революции, которая покончила с клерикально-аристократической системой Людовика XIV и его преемников в XVIII в. и которая положила начало новым отношениям, взятым под охрану империей Наполеона, в чем, собственно, и заключался ее *raison d'être*¹ в глазах французского народа. С другой стороны, у этой революции были многие черты, общие с просвещенным абсолютизмом, поскольку обе эпохи были враждебны историческому праву социальных привилегий во имя гражданского равенства, вытекавшего из требований права естественного. Если бы даже Наполеон и симпатизировал более системе Людовика XIV, полное возвращение к ней было для него немыслимо, и во многих отношениях ему самому и его Франции приходилось напоминать скорее основные черты просвещенного абсолютизма. В самом деле, происхождение новой власти состояло в перенесении на одно лицо народного избранника того державного права, которое по политической теории XVIII в. имело свой источник в

¹ Основание (причина) бытия (фр.). — Прим. ред.

народной воле, и, в данном случае, осуществлялась не та идея, какую развивал в своих сочинениях Людовик XIV, не идея божественного происхождения, а взгляд, высказывавшийся, например, Фридрихом II и объяснявший возникновение государственной власти из отказа народа, во имя политической необходимости, от принадлежащих ему прав. Просвещенный абсолютизм порывал традицию солидарности королевской власти с привилегированными сословиями и, действуя последовательно в новом направлении, неминуемо должен был бы, рано или поздно, привести общество к тому состоянию, которое для Франции было результатом революции и поставило себя потом под охрану военной диктатуры. В частности, просвещенный абсолютизм в католических странах стремился пересоздать прежние отношения между церковью и государством в направлении, более благоприятном для последнего, и даже поставить церковь под опеку государства, превратить духовенство в своего рода чиновничество, как мы видим это в церковных реформах Иосифа II. В сущности, к тому же самому стремилось во Франции и учредительное собрание, издавая свое неудачное гражданское уложение о духовенстве. Но мы увидим, что и конкордат, заключенный первым консулом с папой и прекративший тягостное положение католицизма во Франции, созданное революцией, был основан на тех же стремлениях, которые проявились и в церковном законодательстве Иосифа II, и в гражданском устройстве духовенства учредительным собранием. Просвещенный абсолютизм далее впервые поставил вопрос о социальном феодализме, об аристократических привилегиях, о равенстве всех подданных перед законом, об уничтожении крепостного состояния, наметив целую программу общественного переустройства, выполненную затем Французской революцией; но империя ведь не только признала и окончательно узаконила так называемым кодексом Наполеона новый общественный строй, но даже содействовала распространению его начал и в других странах. Еще более бросится нам в глаза сходство империи Наполеона с просвещенным абсолютизмом, если мы обратим внимание на организационную работу обеих эпох в области администрации, суда, финансов, народного образования и т. п.¹ В начале XVIII в. во всех этих отношениях Франция блестящим образом выполнила те задачи, которые ставили себе правительства других стран в эпоху просвещенного абсолютизма, и в основу той организации, какую получила Франция при Наполеоне I, были положены именно принципы, характерные для просвещенного абсолютизма: крайняя централизация с подавлением всякой местной самостоятельности, бюрократическое управление с устранением от дел каких бы то ни было общественных сил, строгий порядок, служебная дисциплина и т. п. В начале XIX в. французская организация по сравнению с тем, что делалось в других странах, была такой же образцовой, какой полу-

¹ См. т. III (гл. XXVI. Реформы в области администрации, финансов, суда и умственной жизни).

столетием раньше была организация прусская; но под этим режимом жилось столь же тяжело, как и под режимом просвещенного абсолютизма. Внутреннее родство между последним, Французской революцией и империей Наполеона в известных их сторонах чувствовалось представителями реакции XIX в., которые одинаково неприязненно относились к тому, что стояло в противоречии с ее принципами и в просвещенном абсолютизме, и в революции, и в империи Наполеона.

Сближая однородные явления, мы не должны, однако, упускать из виду и различия между ними. Если в политическом отношении владычество Наполеона было реакцией абсолютизма против свободы, — идея коей играла такую роль в истории революции, — то в одном важном отношении это владычество расходилось со стремлениями просвещенного абсолютизма. Установлению во Франции новой власти на развалинах недостроенного здания политической свободы предшествовало зарождение культурной реакции в самом созданном революцией обществе. Эпоха консульства и империи в этом отношении была прямым продолжением времен Директории, когда стало обнаруживаться реакционное течение против «просвещения». Личное отношение Наполеона к идеям философии XVIII в. равным образом не напоминает нам того, как относились к ним главнейшие представители просвещенного абсолютизма при всей неискренности и поверхностности их увлечений, насколько можно говорить о последних. Крайности и неудачи революции, ставившиеся в вину философии XVIII в., порождали и в обществе, и в том человеке, который стал во главе государства, представление о ложности и неприменимости начал «идеологии», как называл эту философию сам Наполеон. Эта культурная реакция не имела еще характера возвращения к Средним векам, которого уже готовы были требовать крайние клерикально-аристократические элементы; но во всяком случае, она заключала в себе нечто враждебное к духу умственной свободы, коим было проникнуто «просвещение» XVIII в. В последнем отношении и Наполеону хотелось больше положить в основу своей власти те принципы, на которые ссылался Людовик XIV, и, кроме того, он думал не об освобождении народного образования от опеки духовенства, к чему стремились в католических странах представители просвещенного абсолютизма. Правительственная система Наполеона была поэтому не только политической реакцией против революции, но и реакцией культурной против «просвещения» XVIII в., находившегося, так сказать, в постоянном подозрении у нового французского повелителя. Сближаясь, таким образом, в одних отношениях с явлениями, в коих выразилось прогрессивное движение XVIII в., в других своих сторонах империя Наполеона была одним из фазисов в развитии реакции против этого движения, достигшей наибольшего напряжения уже после падения Наполеона. Личный характер и весь круг идей французского цезаря делали его более способным именно к роли реакционера, и, пожалуй, даже, если бы то было только воз-

можно и безусловно необходимо, он возвратился бы к союзу абсолютизма с социальными привилегиями под условием, чтобы обладатели привилегий были надежной опорой и послушным орудием власти; но тут-то именно империя должна была принять результаты революции, ибо общество, отказывавшееся от политической свободы и начинавшее отворачиваться от культурных идей XVIII в., крепко и упорно держалось приобретенного равенства.

Если в личных свойствах Наполеона и в его политике было нечто такое, что напоминает нам «век Людовика XIV», между прочим, и с его стремлением к всемирной монархии, то и вообще Первая империя лишь завершала дело старой французской монархии, причем революция не только не помешала, но даже оказала содействие этому процессу. Старая монархия уже начала, но не окончила, остановившись на полдороге, централизацию провинций, убивавшую местную жизнь, и нивелировку общества, имевшую своим следствием атомизацию самостоятельных социальных групп на отдельные и в своей обособленности бессильные личности. Разрушительная работа революции именно и заключалась в устранении всех старых препятствий к завершению начатого дела, и хотя, в положительном смысле, революция стремилась своей системой децентрализации дать местной жизни наибольшую свободу и своими политическими реформами соединить разрозненные индивидуальные силы в одно живое целое нации, она более содействовала окончательному торжеству начал централизации, делавшей из департаментов и муниципалитетов не общественные соединения с известными правами и интересами, а простые административные единицы, и начал общественной нивелировки, превращавшей нацию в совокупность отдельных лиц, связанных между собою одной лишь обязанностью повиноваться общей власти. Наполеоновская система в этом отношении вполне соответствовала национальной традиции французов, что и было главной причиной ее прочности в XIX в., несмотря на частые политические перевороты и перемены общественных течений. Разные правительства, сменявшиеся одно другим, и разные партии, боровшиеся за власть при каждом правительстве, прежде всего старались овладеть орудием бюрократической централизации и не допускать самостоятельных общественных соединений, если только эти соединения не были подспорьем в стремлении правящих лиц и классов удержать за собою власть. Образцом, по которому Наполеон, завершая работу старой монархии, дал стране такую организацию, была армия; но иначе и быть не могло при том завоевании гражданской Франции Францией военной, каким было 18 брюмера, и при переходе власти к полководцу, понимавшему только приемы военной команды.

Все сказанное до сих пор в этой главе мы считали нужным предпослать изложению эпохи консульства и империи, дабы установить ту точку зрения, с коей на нее следует смотреть, беря эпоху не только в ней самой, а как особый момент в историческом процессе, переживавшимся Францией и всей

Западной Европой в последние два века. В этом моменте было и много случайного, вытекавшего из свойств действующих лиц, и прежде всего Наполеона; но главные явления объясняются из общих причин, влияние коих и определяло сложную смену и сложное взаимодействие исторических течений, как поступательных, так и попятных, в разных сферах жизни народов, в культурной, социальной и политической. Между тем исторические сочинения, посвященные эпохе, весьма часто устанавливают на нее общий взгляд, основывая его не на анализе главных ее явлений, равно как не на анализе их отношения к предыдущему и их значения для последующего, а под углом зрения, определяемым лишь одной какой-либо стороной дела. Противоречивые взгляды на Наполеона, причины коих вкратце указаны были в начале главы, возможны в литературе, между прочим, именно потому, что точка зрения, с которой приступали к составлению общего суждения об эпохе, не делалась предметом самостоятельной выработки на основании общего анализа исторических движений, совершавшихся и во Франции, и в остальной Европе за последние века. Эта точка зрения не может быть исключительно политической, социальной или культурной, как не может быть исключительно точкой зрения история международных отношений, дипломатии и войны, и столь же мало должна она определяться и общими понятиями революции и реакции без анализа реальных явлений, обозначаемых этими терминами. Литература о Наполеоне между тем не всегда признает эту сложность вопроса об эпохе, получившей его имя, что весьма часто отдаляет эту литературу от требований исторической науки.

Самым крупным сочинением по истории консульства и империи до сих пор остается труд Тьера «Histoire du consulat et de l'empire», вышедший в свет в двадцати томах в промежутке между 1845 и 1862 гг. Эта большая история наполеоновской эпохи примыкает к написанной Тьером еще в двадцатых годах «Истории французской революции», доведенной до переворота 18 брюмера. Известно, что в этом последнем сочинении Тьер поставил себе задачу реабилитировать революцию против нападений, делавшихся на нее в эпоху Реставрации, и что через всю эту книгу проходит, как красная нить, оправдание всех событий с точки зрения своего рода исторического фатализма, соединенного с преклонением перед успехом: вот эта же самая точка зрения господствует и в громадной «Истории консульства и империи». Для Тьера Наполеон является продолжателем революции. Уже заканчивая первый свой исторический труд, рассказав о перевороте 18 брюмера, он намечает в общих чертах свой общий исторический взгляд на Наполеона. «Он, — говорит Тьер здесь о Наполеоне, — приходил исполнить таинственную миссию (*achever une tâche mystérieuse*), которую ему без его ведома поручил рок и которую он исполнял помимо своего желания. Не для продолжения свободы явился он, ибо для нее еще не настало время; он приходил, чтобы под монархическими формами продолжать революцию в мире; он приходил,

чтобы продолжать ее, садясь, — он, плебей, — на трон, приводя в Париж верховного первосвященника, дабы тот помазал священным елеем его плебейское чело, создавая аристократию из плебеев и заставляя старые аристократии соединиться с его плебейской аристократией, делая плебеев королями, принимая в свое ложе дочь цезарей и смешивая свою плебейскую кровь с одной из самых древних кровей Европы, перетасовывая, наконец, все народы, распространяя французские законы в Германии, Италии и Испании, разрушая столько величия и потрясая столько основ. Вот та огромная задача, которую он приходил решать, и в течение этого времени новое общество должно было упрочиться под охраной его меча, и должен был после этого наступить день водворения и свободы». «История консульства и империи» получила характер почти сплошного прославления Наполеона в духе той легенды, которая окружила поэтическим ореолом образ первого императора французов. Такое отношение Тьера к своему герою вызвало оппозицию со стороны одной части критиков его труда, и к числу этих критиков принадлежали Ланфрэ, Шоффур-Кестнер и Барни. Первый из них еще в 1861 г. подверг разбору исторические взгляды Тьера, а позднее выступил с собственным трудом о Наполеоне, о коем мы будем говорить ниже. После появления последнего тома «Истории консульства и империи» второй из названных писателей выпустил в 1863 г. книжку с разбором этого сочинения¹, и в том же году труд Тьера сделал предметом своего публичного курса женеvский профессор Барни, который обработал потом (1865) свои лекции для печати под заглавием «Наполеон и его историк г. Тьер». Из всех этих разборов труда Тьера наиболее сильным и основательным нужно признать книжку Барни, которая даже была запрещена во Франции во все царствование Наполеона III. Историческому фатализму Тьера Барни противопоставляет моральный суд над личностью прославляемого Тьером Наполеона, возвращаясь в политическом отношении к взгляду г-жи Сталь, по которому Наполеон был первым из контрреволюционеров. Книжка Барни — целая история главных моментов жизни Наполеона начиная с 18 брюмера, и отдельных сторон его внутренней и внешней политики, написанная в опровержение легенды, которую автор объявляет прямо вредной в общественном смысле.

Через два года после появления труда Барни стала выходить в свет написанная в том же духе «История Наполеона I» Ланфрэ, доведенная в V томе до 1811 г. и не оконченная из-за смерти автора (1877). Ланфрэ в своем труде выступает также противником наполеоновской легенды, желая, однако, сохранить беспристрастие судьи, не увлекаемого ни любовью, ни ненавистью, подсказывавших приговоры о Наполеоне прежним историкам. Борьба с легендой, столь сильно содействовавшей установлению во Франции Второй

¹ *Chauffour-Kestner M.* Thiers historien. Notes sur l'histoire du consulat et de l'empire.

империи, и то обстоятельство, что во всей литературе о Наполеоне, по словам Ланфрэ, раздавалось более похвал, чем порицаний, были причиной того, что автор не везде выдерживает спокойный тон, и полемические цели по временам слишком ясно проглядывают в отдельных местах книги, которая потому, пожалуй, и имеет главным образом значение корректива к произведению Тьера. Занятие историей Наполеона I во времена Второй империи, оппозиционное отношение к коей давало известного рода окраску историческому взгляду на ее прототип начала нынешнего века, имело и то неудобство, что архивы, из коих историки могли бы черпать новые данные об эпохе, были для них совершенно недоступны, и даже предпринятое Наполеоном III издание переписки его дяди¹ включает в себе далеко не все, что может интересовать историков. С другой стороны, большая часть мемуаров эпохи, изданных до того времени, представляла из себя собрание оправданий и самооправданий и, конечно, далеко не в интересах исторической истины. Третья республика открыла архивы для исследователей эпохи, и одним из первых, воспользовавшихся этим, был Юнг (Th. Jung), автор книги о «Бонапарте и его времени (1769—1799) на основании неизданных источников». Это сочинение осветило совершенно новым светом многое в жизни Наполеона до перехода власти в его руки. Вместе с этим появление новых мемуаров о наполеоновской эпохе, в которых сам Наполеон является далеко не польщенным, оживило вопрос о личных свойствах первого императора французов. Наиболее шума за последнее время наделало изображение Наполеона и его режима в пятом (по общему счету) томе сочинения Тэна «Происхождение современной Франции». Барни, Ланфрэ и Юнг ставили своею задачею разрушить наполеоновскую легенду, Тэн, в сущности, делает то же самое. Оканчивая последний том своей «Революции», Тэн набрасывает общую характеристику нового режима, которому дает нелестное название «философской казармы» (*caserne philosophique*): архитектором, построившим это здание, говорит он в начале тома, в коем идет речь о консульстве и империи, и был Наполеон, являющийся у него как великий кондотьер, давший, однако, Франции организацию, хотя бы и далекую от идеала свободы. Книга Тэна рассорила его с бонапартистами, с коими у него были кое-какие связи, и вызвала против него возражения. Одним словом, и Тэн разрушает старую легенду, хотя и не с той, благоприятной для революции, точки зрения, на которой стоят Барни, Ланфрэ и Юнг. Между прочим, Тэн для своей характеристики Наполеона широко черпал из мемуаров, коих не могло быть под руками у его предшественников, так как мемуары эти или появились только в недавнее время, или даже были у Тэна еще в рукописи².

По-видимому, неблагоприятный для Наполеона портрет, сделанный мастерскою рукою Тэна, заставил недавно Артура Леви написать о Наполеоне

¹ Correspondance de Napoléon I (32 больших тома).

² Таковы: «Mes souvenirs sur Napoléon» Шаптяля, 1893.

большую книгу, где, несомненно, собрано немало любопытного материала, но где вместе с тем Наполеон изображается как воплощение всевозможных добродетелей, какие только могут украшать человека в его домашней и общественной жизни. Автор прямо старается доказать, что «великий кондотьер» Тэна был живым олицетворением всех тех качеств, которые отличают среднее сословие, благодаря будто бы ему только и взявшее в свои руки государственные дела.

За последнее время наполеоновской эпохе вообще посчастливилось в исторической литературе. Во-первых, можно назвать несколько небольших обзоров его эпохи¹, из коих особенно следует отметить книгу Фурнье «Наполеон I». Автор поставил своей целью коротко и просто рассказать для образованной публики историю Наполеона, сознавая вместе с компетентными людьми, что время написать настоящую его историю еще не настало, но тем не менее желая познакомить обыкновенных читателей с тем, что за последнее время сделано в этой области. Частных исследований действительно производится в настоящее время очень много, что весьма часто проливает новый свет на отдельные стороны эпохи, и, между прочим, благодаря опубликованию нового материала и благодаря архивным разысканиям, теперь почти заново переделывается история международной политики консульства и империи². Дипломатические отношения и войны Наполеона были прямым продолжением того, что новая власть получила в наследие от революции, и поскольку Наполеон для остальной Европы являлся воплощением революции, постольку его внешняя политика имеет интерес не только с точки зрения истории международных отношений, но и с точки зрения той политической и социальной перестройки старой Европы, которую начала Французская революция. С этой стороны нужно ожидать весьма многого от продолжения труда Сореля «Европа и Французская революция», который автор обещает довести до 1815 г.

¹ *Guillon E.* Petite histoire du consulat et de l'empire; *Barthélemy C.* Le consulat et l'empire. 1885.

² В своем месте будут сделаны главные указания вообще на литературу по истории международных отношений.

V. Наполеон Бонапарт до 1799 г.¹

Корсика и корсиканское происхождение Наполеона. — Семья Бонапартов. — Воспитание Наполеона. — Его корсиканский патриотизм в юности. — Наполеон в начала революции. — Его путешествия в Аяччо. — Услуги Наполеона Конвенту. — Его брак с Жозефиной Богарне и назначение главнокомандующим итальянской армией. — Наполеон и Директория в 1796–1799 гг. — Личный характер, идеи и стремления Наполеона в эту эпоху

Наполеон Бонапарт, как стал он называться во Франции, или Буонапарте, как произносилось раньше его фамильное имя, имевшее итальянское происхождение, был родом из города Аяччо на острове Корсике. Этот остров с XIV в. принадлежал Генуэзской республике, к которой, однако, среди его населения всегда существовало нерасположение. В 1729–1730 гг. Генуе пришлось подавлять серьезное восстание корсиканцев, для чего потребовалась помощь со стороны римского императора. В 1736 г. корсиканцы сделали новую попытку отложиться от Генуи, и республика вынуждена была призвать к себе на помощь Францию, но едва войска последней, восстановив власть генуэзцев над мятежным островом, его очистили (1741), как началось новое восстание. Во время войны, отсюда возникшей, выдвинулся своим патриотизмом, организаторским талантом и военными доблестями некто Паоли. Корсиканский сенат назначил его главным вождем восстания (1755), после чего Генуя стала терпеть сильные поражения, несмотря на новую французскую помощь, едва удерживая за собой на острове несколько береговых пунктов с главным городом Bastia. Не имея сил справиться с непокорной Корсикой, Генуя уступила его Франции под условием, чтобы Людовик XV подчинил себе остров и владел им до тех пор, пока Генуя не уплатит военных издержек. Паоли, рассчитывая на английскую помощь, вздумал продолжать сопротивление, но Франция послала на остров тридцатитысячное войско, англичане поддержки восстанию не оказали, и Паоли, оставив борьбу за свободу родины, бежал в Англию. Это было в 1768 г.; но еще в течение шести лет продолжалась на острове партизанская война против французской оккупации. Замирение, наступившее в 1774 г., было только временным. Ког-

¹ Молодость Наполеона была предметом нескольких сочинений: *Coston*. Biographie des premières années de Napoléon Bonaparte, 1840; *Nasica*. Mémoires sur l'enfance et la jeunesse de Napoléon jusqu'à l'âge de 23 ans, 1851; *Boethlinck*. Napoléon Bonaparte, seine Jugend und sein Emporkommen bis zum 13 Vendémiaire, 1877 (2-е изд., 1883); *Jung*. Bonaparte et son temps (1769–1799) d'après les documents inédits, 1880–1881. О корсиканских предприятиях Наполеона см. еще: *Jung*. Lucien Bonaparte et ses mémoires, 1882. Военная литература о Наполеоне весьма обширна, и в состав ее входит несколько сочинений о египетской экспедиции (см.: *Boulay de la Meurthe*. Le directoire et l'expédition d'Egypte, 1885). См. еще: *Larry*. Madame Mère (Napoleonismater), 1892.

да во Франции началась революция, Корсика была превращена в отдельный департамент и вошла, так сказать, в колею общей французской жизни. Паоли вернулся на родину; но когда в эпоху террора его потребовали в Париж, он поднял новое восстание и с помощью англичан на время освободил Корсику от французов (1794), причем она получила новое устройство под опекой Англии. Но на острове существовала французская партия, и при ее помощи Франция возвратила себе обладание Корсикой. Борьба корсиканцев за свою свободу пользовалась на континенте с самого начала большим сочувствием в числе лиц, которые его выражали, были, например, в свое время Фридрих II, Вольтер, Монтескьё и Руссо. К последнему корсиканцы обращались даже за проектом конституции, и сам он (в *Contrat Social*) высказывался в том смысле, что Корсика единственная страна в Европе, способная к установлению у себя новых законов. «У меня, — прибавлял он, — есть какое-то предчувствие, что этот маленький остров удивит Европу». Руссо имел в виду, несомненно, культурную отсталость Корсики, близость нравов и всего быта ее населения к естественному состоянию, и в этом отношении он действительно не ошибался: корсиканская жизнь в ту эпоху, когда писал Руссо, была, действительно, еще чисто варварской, средневековой по социальному быту, нравам и страстям населения, да и позднее Корсика долго сохраняла черты весьма отсталой культуры, ибо здесь господствовали еще кровавая месть, усобицы между отдельными семействами, разбойничества и т. п., заставлявшие придавать жилищам вид небольших крепостей и удаляться от селений не иначе как в компании и в полном вооружении.

В этом-то захолустье цивилизованного света и родился будущий повелитель Франции и Европы в августе 1769 г., как раз в то время, когда его родина перешла под французское владычество. До самого 1793 г. молодой Бонапарт был более корсиканским патриотом, чем французом, да и впоследствии, когда он уже сделался властителем Франции, его речь все еще носила на себе отпечаток его нефранцузского происхождения. Уже многие современники, а за ними и позднейшие историки указывали на вообще нефранцузский характер Наполеона, и в презрительном прозвище «корсиканец», какое ему давали его политические недоброжелатели и враги, заключалось поэтому более, нежели простое указание на место его рождения. Очень может быть, что, именно будучи чуждым Франции в свои молодые годы, даже в годы своего воспитания во французской школе и нахождения на службе в армии французского короля, он и не мог вполне проникнуться духом французского XVIII в. Хотя он и покинул свою родину девятилетним ребенком, но он продолжал ее страстно любить, постоянно стремиться к ней и впоследствии пользовался каждым удобным случаем, чтобы возвращаться в Аяччо и подолгу там заживаться. Ранние впечатления, полученные им на родине, — а маленький Бонапарт принадлежал к числу детей, развитие коих совершается очень быстро, — залегли глубоко в душу мальчика и оставили в ней прочные

следы. Эти ранние впечатления получил он от всей корсиканской жизни с ее враждою между отдельными семействами, с ее обманами, засадами, внезапными нападениями, от нравов общества, признававшего молодцом того, кто умел лучше других лгать и притворяться, кто обнаруживал в борьбе ловкость и хитрость, кто не останавливался перед насилием ради успеха в своих предприятиях. Первое воспитание мальчика совершалось, таким образом, под влиянием своего рода наглядного обучения, какое ему давала корсиканская жизнь, и в лице Наполеона как бы воскресали его предки, итальянцы эпохи кондотьерства.

Предки Наполеона были действительно выходцами из Тосканы, где в XVIII в. за фамилией Буонапарте было признано дворянское происхождение. Отец Наполеона Карл Буонапарте занимался адвокатурой. Когда на острове началось национальное движение под начальством Паоли, он примкнул к этому народному вождю, но после того, как победила Франция, Карл Буонапарте сделался одним из ревностных членов французской партии, за что стал пользоваться особым покровительством новых господ Корсики. В качестве депутата от местного дворянства он не раз ездил в Версаль и даже умер (1785) на возвратном пути из одного такого путешествия. От жены своей Летиции Рамолино, умной и энергичной женщины, он прижил тринадцать детей, из коих только восемь — пять сыновей и три дочери — пережили своего отца. Старшему сыну, Иосифу, в год смерти отца едва исполнилось 17 лет; второй брат, Наполеон, был моложе старшего на полтора года¹, а следующие братья были мал мала меньше: Луциан — десяти лет, Людовик — семи, Иероним — трех месяцев; сестры (Элиза, Паулина и Каролина) также были еще девочками. Вдова Летиция Буонапарте бедствовала с такой семьей на руках и кое-как справлялась при помощи старшего сына, вернувшегося на родину из Франции, где он готовился в отенском коллеже к принятию духовного звания. Второй сын в том же году кончил курс в парижской военной школе и, несмотря на свое скудное содержание, стал помогать семье. Впоследствии братья Наполеона занимали высшие государственные должности, и трое из них были даже королями, равно как одна из сестер сделалась королевой. Наполеон всегда стремился «пристроить» своих как можно лучше, но чем выше сам он поднимался и чем значительнее делалось положение его братьев и сестер, тем требовательнее они делались, так что Наполеону приходилось даже жаловаться на их вечные претензии. «Послушать их, — говорил он, — так можно, пожалуй, подумать, что я один завладел большим наследством, оставленным нам нашим отцом». В то время, когда семья жила в самых стесненных обстоятельствах, вдова Буонапарте, впоследствии носившая титул «*Madame Mère*»², привыкла к самой строгой экономии и отличалась большим скопидомством, даже тогда, когда ее сын был императором

¹ Родился 15 августа 1769 г.

² Госпожа матушка (фр.). — *Прим. ред.*

и она получала приличное своему званию содержание. Известно, что Летиция пережила Наполеона на целых пятнадцать лет и умерла, оставив большое состояние. Хотя Наполеону и приходилось ссориться с членами своей семьи, однако он был всегда связан с нею весьма тесными узами, начиная с того времени, когда по окончании курса в военной школе стал заботиться об оказании помощи своей матери, братьям и сестрам, и кончая эпохой империи, когда его родня достигла высших почестей и даже стала занимать королевские троны. До самого 1793 г. Наполеона постоянно влекло в Аяччо, к родной семье, ибо он чувствовал себя тяжело среди чуждого ему общества, к которому не принадлежал по своему рождению.

Отец Наполеона за услуги, оказанные французскому правительству, получил право отдать одного из своих сыновей на королевский счет, т. е. на казенное содержание в бриенскую военную школу. Этим правом он воспользовался для своего второго сына, который и был отвезен в это учебное заведение по десятому году, причем мальчика нужно было подучить французскому языку, бывшему для него совершенно чуждым. Как здесь, так и в военном училище в Париже (1784—1785), куда Наполеон перешел впоследствии для окончания своего образования, он был окружен товарищами, с коими у него по происхождению, первоначальному воспитанию и общественному положению не было почти ничего общего. Один из его парижских учителей и дал ему такую аттестацию, что молодой Буонапарте остался-де совсем корсиканцем по своему характеру. Между Наполеоном и его товарищами не было большой симпатии, да и к самой Франции он относился с некоторой неприязнью. Своим отечеством он считал Корсику, а Франция была для него поработорительницей его родины, и он, маленький корсиканец, из которого хотели сделать француза, чувствовал себя тяжело среди товарищей, постоянно его дразнивших или относившихся к нему свысока. Его героем был корсиканский патриот Паоли: юный Наполеон чуть не боготворил этого защитника корсиканской свободы. Корсиканский патриотизм вообще отмечает собой все молодые годы Наполеона до той поры, когда он бесповоротно связал свою судьбу с судьбой Франции. В училище по своим успехам Наполеон был далеко не первым, и компетентные люди впоследствии не раз отмечали важные пробелы в его образовании; но способность к упорному труду и силу воли он обнаруживал уже и в школьные свои годы, и тот же самый учитель, который отметил корсиканский характер молодого Буонапарте, говорил еще, что при благоприятных обстоятельствах юноша пойдет далеко.

Выпущенный в 1785 г. из парижской военной школы с чином артиллерийского подпоручика и отправленный в Валанс, где находилась его бригада, шестнадцатилетний Бонапарт предался с большим усердием чтению, между прочим, исторических и политических книг, бывших тогда в ходу, например, «Общественного договора» Руссо, и особенно знаменитой в то вре-

мая «Философской истории» Рейналя. Впоследствии он даже объявил себя учеником Рейналя в брошюре «Discours sur le Bonheur», представленной им люонской академии в 1791 г. В 1786 г., живя в Валансе, молодой артиллерийский подпоручик пробует свои силы на литературном поприще и пишет историю Корсики, которую доводит до Паоли и посылает в рукописи тому же Рейналю, получив от последнего очень лестный отзыв и совет продолжать начатую работу. Выбор сюжета для первого литературного труда весьма характерен, и комментарий к этому выбору мы находим в следующих словах дневника Наполеона, написанных около того же времени, по получении отказа на свою просьбу об отпуске на родину ранее 1787 г. «Шесть или семь лет я не видал своего отечества. Как должен я радоваться, когда через четыре месяца я увижу снова моих соотечественников и родных! Что же в таком случае заставляет меня стремиться к смерти? Однако, в самом деле, что делать мне в этом мире? Раз я должен умереть, не лучше ли уж самому с собой покончить? Какое зрелище увижу я в моей родной стране? Мои соотечественники, закованные в цепи, содрогаясь, лобзают руку, которая их давит... Это уже не те доблестные корсиканцы, коих одушевлял герой своими высокими качествами, враги тиранов, роскоши и презренных куртизанов. Французы! вам мало было отнять у нас все, что нам было особенно дорого, вы вдобавок развратили еще наши нравы! Когда отечество более не существует, хороший гражданин должен умереть». Получив наконец отпуск, Наполеон остается в Аяччо дольше данного ему срока и только в мае 1788 г. возвращается во Францию, в свою бригаду, находившуюся тогда в Оксоне. Все время он, по-видимому, с трудом переносил двойственность своего положения в качестве корсиканского патриота, взявшего себе за образец великого Паоли и вынужденного обстоятельствами служить в армии притеснителей.

Между тем вспыхнула революция. Наполеон, которому в 1789 г. исполнилось только двадцать лет, сделался одним из ее сторонников. В его голове бродили тогда идеи Руссо и Рейналя, и он, как бы чувствуя себя чужим в офицерском обществе, состоявшем из дворян, искал сближения со «штатскими» — с чиновниками, адвокатами, буржуа, проникнутыми теми же самыми идеями. Осенью 1788 г. Наполеон набросал в своем дневнике план рассуждения о королевской власти, весьма характерный для девятнадцатилетнего офицера. «В начале, — читаем мы там, — будут общие соображения о происхождении того значения, какое для ума людей получило имя короля. Военное правление ему благоприятствует. Потом будут подробности о той узурпированной власти, какой пользуются короли в двенадцати европейских государствах. Очень мало вообще королей, которые не заслуживали бы быть низложенными». Но и на революцию Наполеон смотрел сначала со своей корсиканской точки зрения, так как мечтал воспользоваться революцией для того, чтобы самому играть роль в истории родного острова. Осенью 1789 г. он получил новый отпуск и опять уехал в Аяччо, где уже шла горячая

борьба партий. Молодой офицер составляет план низвергнуть правление консервативной партии, овладеть цитаделью и прогнать французов; план этот с энтузиазмом принимается клубом местных патриотов как раз в то время, когда организуется и национальная гвардия. Местные власти были, однако, бдительны: гарнизон был усилен, клуб закрыт, национальная гвардия распущена, и патриотам ничего более не осталось сделать, как послать в национальное собрание протест, который был написан Наполеоном. В Париже не одобрили того, что произошло в Аяччо, и летом 1790 г. клуб снова открыл свои заседания, опять организовалась национальная гвардия, и был избран новый совет, в который попал старший Буонапарте — Иосиф. Во всех этих событиях Наполеон играет весьма видную роль. Он подписался первым (Buonaparte, officier d'artillerie) под упомянутым протестом, в котором изложил свое тогдашнее политическое credo. Протест этот начинался именно такими словами: «Когда власти (les magistrats) похищают права, противные закону, когда депутаты без полномочия называют себя народом, чтобы говорить против его желания, частные лица имеют право соединяться, протестовать и таким образом сопротивляться притеснению». «Когда, — сказано в другом месте протеста, — царствует тирания, когда власти не пользуются доверием, когда нас унизили и мы имеем право их ненавидеть, можно ли говорить, что все обстоит благополучно? Можно ли требовать от нашего глубокого повиновения, чтобы мы долее сносили это иго?» В начале 1790 г. Наполеон написал страстный памфлет «Письмо г. Буонапарте к г. Маттео Буттафуоко, депутату Корсики в национальном собрании» — памфлет, в коем он все еще является прежде всего корсиканским патриотом, протестующим против поведения одного из депутатов острова в учредительном собрании. Несмотря на свои молодые годы, Наполеон играет очень видную роль в клубной агитации и даже добивается в следующий свой приезд в Аяччо (1791—1792 гг.) избрания в начальники батальона национальной гвардии. Он уже сумел составить в пользу своего избрания целую партию, когда один из комиссаров, присланных национальным собранием для организации батальонов, Мурати, приехав для этого в Аяччо, остановился в доме главного соперника Наполеона, Мария Перальди. Дело Наполеона было, по-видимому, проиграно, но он решился действовать путем насилия. Однажды под вечер, когда семья Перальди и ее гость сидели за столом, в комнату ворвалось несколько вооруженных людей, которые захватили Мурати и отвели его в дом Бонапарта. Последний принял его очень ласково и объяснил ему, что у Перальди он не был бы вполне свободен. На другой день после этого Наполеон был избран. Факт этот сообщается одним из его почитателей, сделавшим из своего рассказа тот неподходящий вывод, что в сердце Наполеона были-де глубоко запечатлены чувства чести, добродетели и свободы. Уже в 1790 г. Наполеон мечтал о роли какого-то вождя на родном острове, то предлагая клубистам овладеть цитаделью, то рассчитывая стать

во главе национальной милиции, которая получала бы жалование от правительства, надеясь при этом на помощь Паоли, вернувшегося из изгнания и единогласно избранного в председатели административного совета Корсики. Только когда план вооружения корсиканцев на счет Франции окончательно провалился, Наполеон в начале 1791 г. вернулся на службу, получив в скором времени повышение в чин поручика и назначение в гарнизон Валанса. Здесь он жил на скудное жалование с младшим братом своим Людовиком, занимаясь литературными опытами (между прочим «Размышлениями о естественном состоянии», написанными против Руссо) и играя видную роль в клубах. Одно время он даже был секретарем «Друзей конституции» в Валансе, находившихся в сношениях с парижскими якобинцами, и составил адрес национальному собранию, в коем «Друзья конституции» заявляли свою преданность новым законам. В речах и писаниях Наполеона этих годов мы встречаем постоянно революционную фразеологию эпохи. И в Аяччо, и в Валансе он примыкал к радикальной партии. Между прочим, со своим дядей, аббатом Фешем (впоследствии кардиналом), он составил еще в 1790 г. брошюру «О конституционной присяге священников», чем даже вызвал против себя сильное неудовольствие благочестивых корсиканцев, так, что один раз его чуть было не убили во время какого-то крестного хода в Аяччо.

Съездив еще раз на родину в конце 1791 г. и пробыв там начало 1792 г., — время, к которому относится эпизод с Мурати и новая попытка воспользоваться уличной смутой, чтобы овладеть цитаделью Аяччо, — Наполеон отправился в Париж, и здесь ему пришлось присутствовать при сцене, разыгравшейся 20 июня, когда народная толпа ворвалась в королевский дворец, чтобы заставить Людовика XVI подчиниться требованиям патриотов. Со своим школьным товарищем Бурьеном он пошел за толпой, интересуясь посмотреть, что выйдет из этого движения. Когда Тюильрийский дворец был уже захвачен народом, Наполеон сказал своему спутнику, что в эту «сволочь» следовало бы просто выстрелить из пушки: сотни четыре или пять положили бы на месте, а остальные обратились бы в бегство. Наполеон присутствовал и при крушении монархии 10 августа. В этот день, рассказывал он впоследствии, «я чувствовал, что если бы меня позвали, я стал бы защищать короля. Я был против тех, которые основывали республику при помощи народа, а потом еще я с негодованием смотрел, как люди в обыкновенном платье нападали на людей в мундире». 10 августа сыграло важную роль в судьбе Наполеона: в Париж он приехал, вызванный для объяснения властям своего поведения; он хлопотал о возвращении на прежнее место, которое было для него потеряно с переходом в командиры корсиканского батальона, но дело его шло очень плохо, и только переворот 10 августа создал новое правительство, которое отнеслось благосклонно к его просьбе и даже произвело его в капитаны.

В 1792 г. между революционной Францией и монархической Европой начинается война. Вновь назначенного капитана она совсем не интересует.

Несмотря на то что только еще весной своим поведением в Аяччо он навлек на себя неудовольствие местных властей с Паоли во главе, он осенью опять едет в родной свой город и снова берет на себя начальство над тамошней милицией. На этот раз Наполеон прожил в Корсике целых девять месяцев. В это время между Паоли, как сторонником низверженной конституционной монархии, и новой республиканской властью в Париже возникло несогласие, в коем громадное большинство корсиканцев стало на сторону своего старого героя. Наполеон оказался на стороне его противников. Паоли когда-то нашел приют в Англии и продолжал относиться к ней с сочувствием, когда между нею и Францией началась война, а Наполеон был теперь за Францию. Кроме того, и личное честолюбие Наполеона, оскорблявшееся популярностью Паоли, и его сочувствие радикалам, господствовавшим в Конвенте, заставляли его идти против национального героя, бывшего еще незадолго перед тем его идеалом. Весною 1793 г. Наполеон окончательно разошелся с Паоли, и народное собрание объявило фамилию Буонапарте изменниками отечества. Летиция со своими детьми едва спаслась бегством, а ее дом был разграблен и сожжен. Около этого времени Луциан Бонапарт ездил в Париж с обвинениями против Паоли, написанными его братом, сам же Наполеон с помощью французских солдат, и рассчитывая на свой батальон национальной гвардии, сделал неудачную попытку овладеть Аяччо, после чего и ему оставалось только покинуть остров. 11 июня 1793 г. вся семья Бонапартов села на корабль, чтобы высадиться в Тулоне. Период корсиканского патриотизма Наполеона окончился. Правда, он и после еще некоторое время не оставлял мысли завладеть островом, но уже теперь им руководило чувство мщения. Честолюбие играло всегда большую роль в его поведении, и если сначала он стремился удовлетворить свое честолюбие, создавая себе выдающееся положение на родном острове, то с лета 1793 г. он окончательно связывает свою судьбу со службою той революции, к которой он примкнул с самого ее начала, движимый ненавистью к привилегиям и находясь еще под властью той самой «идеологии», к коей он относился с таким презрением впоследствии.

Покинув Корсику и устроив свою семью в Ла-Валетте, близ Тулона, молодой капитан отправился к своему отряду, находившемуся тогда в Ницце, взяв у Конвентского комиссара корсиканца Саличетти, своего друга, удостоверение в том, что пребывание его, капитана Бонапарта, на острове Корсике в последние месяцы было безусловно необходимо для республики. Это было время восстаний против Конвента в разных местах Франции, и вот Наполеону, между прочим, на первых же порах пришлось участвовать в подавлении провансальского восстания, центром коего сделался Авиньон. Этот город был взят в июле, и, занимаясь потом здесь устройством артиллерийского парка, Наполеон нашел время по поводу происходившей тогда гражданской войны написать памфлет под заглавием «Le Souper de Beaucaire», очень по-

нравившийся Конвентским комиссарам. Между последними был, кроме Саличетти, и брат Робеспьера, и они даже напечатали на казенный счет эту брошюру. «Ужин в Бокэре» представляет из себя защиту политики Конвента и победившей в нем партии, т. е. якобинцев против жирондистов, которые незадолго перед тем пали в борьбе за власть. Этот шаг, снискавший капитану Бонапарту расположение Конвентских комиссаров, сделал его имя известным и в самом Конвенте: комиссары даже писали осенью 1793 г., что во всей армии, осаждавшей тогда Тулон, Бонапарт — единственный офицер, у которого есть настоящий план операций. Известно, что в конце августа Тулон передан англичанам, после чего началась осада этого важного пункта армией, в состав коей попал и Наполеон. Когда в одной стычке был ранен начальник осадной артиллерии, Конвентские комиссары назначили на его место своего нового сторонника. Наполеон блестящим образом справился с предстоявшей ему задачей, и когда, наконец, Тулон был взят (декабрь 1793 г.), комиссары произвели победителя в бригадные генералы, и это повышение было немедленно утверждено комитетом общественного спасения. Молодой генерал все более и более сближался теперь с якобинцами, особенно через брата Робеспьера, Конвентского комиссара, при котором он, как в то время говорили, играл роль негласного советника. В первой половине 1794 г., находясь в итальянской армии, действовавшей против австро-сардинского войска, оба они разрабатывали вместе план предстоявшей кампании. В июле генерал Бонапарт поехал в Геную для переговоров с дожем ввиду предполагаемого вторжения французов в Пьемонт. С блестящими надеждами на военный успех, быть может, даже в роли главнокомандующего, Наполеон возвратился в Ниццу, но как раз в это время произошло событие 9 термидора. На свой план завоевания Италии он получил согласие самого Робеспьера без ведома Конвента и комитета общественного спасения, и Саличетти, спасавший, подобно другим якобинцам, самого себя доносами на людей, виновных в поддержке низверженного диктатора, указал и на генерала Бонапарта как на лицо, строившее планы Робеспьера. Предвидя возможную неприятность, Наполеон заблаговременно написал письмо французскому поверенному в Генуе, рассчитывая, что содержание письма делается известным в Париже: «Я был немного огорчен катастрофой Робеспьера-младшего, которого я любил и считал невинным, но будь он мой родной отец, я сам его заколол бы кинжалом, если бы он стал стремиться к тирании». 12 августа 1794 г. Наполеон тем не менее был лишен должности и чина и заключен в крепость, откуда он написал письмо Конвентским комиссарам с уверениями в своей преданности революции, республике и отечеству. Так как в бумагах арестованного не было, однако, найдено ничего подозрительного, его выпустили на свободу (20 августа) и скоро вернули ему чин генерала (14 сентября).

После этого Наполеон жил некоторое время в Париже. Хотя он и получил назначение в западную армию, действовавшую в Вандее, он оставался в

столице, между прочим, выжидая, какой исход будет иметь якобинское предприятие против Конвента, то самое, которое потом окончилось неудачей в знаменитый день 1 прерияля (20 мая 1795 г.), бывший днем нового поражения якобинцев. После этого события Наполеон отстал от крайних, чтобы сблизиться с умеренными, бывшими тогда у власти, а в их числе находились Фре-рон и Баррас, свидетели — в качестве комиссаров — того, что молодой артиллерист сделал под Тулоном. Наполеон, давно имея уже готовый план наступательной войны в Италии, потребовавший теперь только кое-каких изменений ввиду новых обстоятельств, снова выступает с этим планом, поддерживаемый новыми покровителями. Он решился даже протестовать против своего назначения в западную армию, и комитет общественного спасения постановил за слушание исключить генерала Бонапарта из списков армии (сентябрь 1795 г.). Наполеон остался ни при чем и очень бедствовал в материальном отношении. Между тем в Париже буржуазией и роялистами готовилось новое движение против Конвента, разыгравшееся 13 вандемьера. Конвент, находившийся тогда в самом критическом положении, назначил особый комитет для поддержания порядка. Одним из его членов был сделан Баррас, взявший на себя военную часть распоряжений ввиду грозившей опасности: ему-то и пришлось в голову взять себе в помощники Бонапарта, который действительно проявил большую предусмотрительность и распорядительность. В ночь с 4 на 5 октября (13 вандемьера) 1795 г. он перевез к Конвенту пушки, и когда после полудня 5 октября на Конвент двинулась национальная гвардия, то была встречена сильным артиллерийским огнем. Конвент был спасен, а победитель награжден самым примерным образом: через три недели он уже был главнокомандующим в Париже.

Около этого времени Наполеон познакомился с молодой креолкой Жозефиной Богарне, вдовой революционного генерала, сложившего голову на плахе в 1794 г. Молодым генералом овладела страсть к этой женщине, отличавшейся тогда кокетством и довольно легким поведением, но Жозефина не отвечала ему взаимностью. Баррас, который по введении конституции III г. сделался одним из директоров, был покровителем г-жи Богарне и явился в качестве посредника между нею и влюбленным генералом. Жозефина заставила себя упрасивать и согласилась на брак лишь тогда, когда претендент на ее руку получил новое блестящее назначение. Баррас метил его сначала в военные министры, но на это не последовало согласия других директоров. Потом сошлись на том, чтобы сделать генерала Бонапарта главнокомандующим итальянской армией, и лишь тогда Жозефина дала свое согласие. 2 марта был подписан декрет о назначении Наполеона главнокомандующим, 9-го числа того же месяца состоялся гражданский брак его с вдовой Богарне, а 12-го он уже уехал в итальянскую армию. Это назначение Наполеона и выход за него замуж Жозефины находятся между собой в какой-то связи, отрицать которую нельзя, хотя не все в ней вполне ясно. Незадолго до свадьбы Наполеон

говорил своей невесте о недовольстве его товарищей таким его назначением и заметил, что ему чужая протекция не нужна, что скоро будут, наоборот, искать его покровительства, что с ним его сабля, а с нею он пойдет далеко. Мы видели уже, что еще раньше Наполеон представил план вторжения в Пьемонт. Этот план был отправлен Директорией главнокомандующему Шереру, который возвратил его с такого рода заключением, что сочинить его мог только сумасшедший и что кто его сочинил, тот пусть и приводит его в исполнение. В Директории стали думать, что же предпринять ввиду отказа Шерера выполнять присланный из Парижа план, и в конце концов выбор в главнокомандующие пал на Наполеона. Его проект заключался в следующем: быстрое вторжение в Пьемонт должно было отторгнуть от Австрии сардинского короля, которого следовало привлечь на сторону Франции перспективой вознаграждения за Савойю и Ниццу в Ломбардии; затем нужно было завоевать Ломбардию и оттуда вступить в Тироль, чтобы под Веной соединиться с другой французской армией, которая явилась бы сюда чрез Южную Германию; после этого императору ничего не оставалось бы делать, как заключить мир на условиях, какие ему предпишет Франция.

Как раз именно в эти годы французская республика перешла к политике революционной пропаганды, но в наш план не входит рассказывать об итальянской кампании Наполеона, приведшей в конце концов к выгодному для Франции миру в Кампо-Формио. Уже в это время Наполеон вполне самостоятельно распоряжается в Италии, невзирая на то, чего желала Директория. Последняя думала, например, основать в Пьемонте республику, а главнокомандующий заключил с сардинским королем перемирие. Против воли Директории он заключает и Толентинский мир с побежденным папой Пием VI. Условия леобенского перемирия с Австрией, подтвержденного Кампо-Формийским миром, были составлены опять-таки самим Наполеоном, и Директория вынуждена была согласиться на уничтожение республики Святого Марка. Директория начинала уже побаиваться своего победоносного главнокомандующего в Италии, столь успешно революционировавшего и завоевывавшего страну. Притом положение Директории внутри страны делалось шатким ввиду возрождавшегося роялизма. Большинство советов пятисот и старейшин нападало на внешнюю политику Директории, бывшую, в сущности, политикой генерала Бонапарта, и Директория поневоле должна была вести себя так, чтобы иметь в нем поддержку. Наполеон мог теперь поэтому играть роль и во внутренней политике Франции. Республиканская партия в обоих советах, боясь монархической реставрации, которую замыслили роялисты, обратилась за помощью к главнокомандующему итальянской армией. Последний, при первом же известии о существовании этого политического конфликта, обратился к войску с манифестом, в коем требовал истребления роялистов, врагов республики и конституции III г. В Париж посланы были в таком смысле адреса от армии. От имени своих 80 тысяч человек Наполеон

давал знать оппозиции, что прошло то время, когда адвокаты и болтуны могли гильотинировать солдат. Адресы дивизии отвоз в Париж генерал Ожеро, коего главнокомандующий на случай надобности отдавал в распоряжение Директории, и Ожеро немедленно по приезде был поставлен во главе парижского гарнизона. Этот посланец Наполеона в согласии с тремя директорами и произвел (4 сентября 1797 г.) известный переворот 18 фрюктидора, окружив солдатами Тюильри и исключив из обоих советов наиболее оппозиционных членов и вместе с ними двух директоров. Новая Директория, обязанная всем Бонапарту, избегала идти ему наперекор, и в Кампо-Формио (17 октября 1797 г.) Наполеон был настоящим господином положения. В конце 1797 г. Наполеон возвратился в Париж, заехав на несколько дней в Раштадт, куда он был назначен как первый уполномоченный от Франции на конгрессе, собранном для мирных переговоров с империей. В столице республики победитель Италии восторженно был принят населением, незадолго еще перед тем ненавидевшим его за 13 вандемьера, но Наполеон вел себя в высшей степени сдержанно. Директория в честь своего генерала устроила празднество, во время которого «гражданин Бонапарт» сказал речь о преданности своей революции, республике и конституции III г.

В Париже Наполеон провел зиму 1797/98 г., и Директория в это время действовала в полном согласии со своим генералом: занятие Рима и превращение его в республику, превращение федеральной республики Батавской в единую и нераздельную, учреждение республики Гельветической — все это было сделано в начале 1798 г. Директорией при содействии Наполеона, который дал генералу Бертье приказ занять Рим, рекомендовал генерала Жубера на пост главного начальника батавских военных сил и составил план военного вмешательства в дела Швейцарии. Есть известие, что уже в это время Наполеон мечтал войти в состав Директории, но последняя стала скоро тяготиться своим властолюбивым генералом. Он думал было вернуться в Раштадт, Директория была против этого, Наполеон же не хотел более оставаться в Париже. Еще осенью 1797 г. перед возвращением своим из Италии он писал Директории, что следовало бы овладеть Египтом, и за эту мысль схватился министр иностранных дел Талейран, который сам летом 1797 г. говорил о том же. Директория тогда мечтала о высадке в Англии и делала к ней приготовления, назначив Наполеона после Кампо-Формийского мира главнокомандующим армией, предназначенной действовать в Англии. Но в Париже Наполеон отказался от этого плана, указав на его неосуществимость, пока Англия господствует на морях. Вместо высадки в Англии он предложил экспедицию в Египет, и, наконец, Директория с радостью на это согласилась, лишь бы только удалить из Парижа слишком честолюбивого генерала.

Пробывание Наполеона в Египте (и Сирии) длилось с начала июля 1797 г. по конец августа 1799 г. В его отсутствие возгорелась новая коалиционная война против Франции, бывшая для нее весьма несчастной. Есть указания

на то, что, уезжая в Египет с отборными военными силами, Наполеон предвидел, что Франция может быть побита и что все тогда станут желать его возвращения из этой далекой страны, где он покроет себя новою славою. Он прямо заявлял перед отъездом своему брату Иосифу, что вернется, если начнется новая война и если эта война будет несчастна, так как тогда его успеху нации будет обеспечен. Уже в конце мая 1799 г. сама Директория звала Наполеона из Египта стать во главе республиканских армий, но письмо Директории до него не дошло. И без такого приглашения он сам нашел нужным ехать обратно, так как узнал, главным образом из английских газет, о том, что делалось во Франции, где Директория потеряла тогда всякое значение. Около этого времени один француз писал другому, что Франция слишком утомлена, чтобы дать себе самой государя, но что если придет человек с готовым планом, он будет иметь успех. Генерал Бонапарт и оказался таким человеком с готовым планом: ему было тогда тридцать лет, и его характер, стремления и идеи были уже вполне определившимися.

Прежде, нежели мы будем продолжать рассказ о дальнейшем возвышении Наполеона, мы познакомимся теперь ближе с ним самим, с его личными свойствами, с его взглядами, с его образом действий, имея в виду преимущественно годы, которые непосредственно предшествовали перевороту 18 брюмера.

По качествам своего ума и своей воли Наполеон представляет собою с психологической точки зрения одного из наиболее замечательных деятелей во всемирной истории. В нем все было поразительно — и его громадная память, удерживавшая на очень долгое время самые мелкие подробности, и его неослабное внимание ко всему, что вокруг него происходило, и постоянный интерес, с каким он стремился знать все, что могло иметь для него какое-либо практическое значение, и необычайная сила его воображения, позволявшая ему быстро ориентироваться в самых сложных обстоятельствах, отчетливо представлять себе выход из всякого затруднительного положения, предусматривать в будущем всевозможные случайности, и замечательно крепкая логика, с какою он извлекал свои заключения из данных фактов или идей, и способность его к самому упорному труду, который, по-видимому, его никогда не утомлял, и, наконец, энергия, какую он всегда проявлял в достижении своих целей. Соединение качеств, редких самих по себе, в одном и том же человеке — явление в высшей степени редкое: оно одно может объяснить и то впечатление, какое он производил на всех людей, которым приходилось иметь с ним дело и которые, чувствуя его превосходство над собой, невольно ему подчинялись как человеку с самым ясным умом и с самой сильной волей, одно может объяснить и ту роль, какую этот ум, одаренный в самой высокой степени способностью к синтезу, этот организаторский гений, эта властная натура играли в грандиозных событиях начала XIX в. И все эти великие качества ума и воли соединялись в Наполеоне с ужасающим эго-

измом, дающим ключ к пониманию всего поведения Наполеона в эпоху его возвышения и славы. Ему чужды были чувства жалости, сострадания, великодушия, хотя он и не был по природе своей человеком злым, мстительным и кровожадным: скорее всего, его отношение к людям может быть определено как глубокое презрение — презрение, с коим он относился к человеческой личности вообще, к чужому достоинству, к чужому праву, к чужим радостям и горестям. Это была слишком здоровая натура для того, чтобы, подобно какому-нибудь Нерону или Ивану Грозному, находить удовольствие в бесцельном мучительстве людей; он умел быть даже благодушным, когда был в хорошем настроении, когда тот или другой человек делал именно то и так, что и как ему хотелось, или когда был прямой расчет казаться одаренным теми качествами, которые всегда снискивают к себе людское расположение, казаться именно человеком благожелательным, добрым, снисходительным и даже несколько слабым по отношению к дорогим сердцу людям. Если и допустить, что во многих случаях, когда поступки Наполеона позволяли говорить о хороших свойствах его души, он был вполне самим собою, а не играл комедию, то и тогда придется признать, что это были редкие порывы, несколько не ослабляющие того общего впечатления, какое производит на нас все его поведение. Наконец, по мере того как Наполеон возвышался и все более и более привыкал к неограниченной власти, его эгоизм и властолюбие, не знавшие уже никакой сдержки, все более и более делали его человеком, несправедливым в своих отношениях к людям, смотревшим на них прежде всего с презрением, раздражавшимся при малейшем противоречии и дававшим полную волю вспышкам своего гнева.

Современники Наполеона, авторы воспоминаний о нем самом и мемуаров о той эпохе, дают нам массу отдельных черт из его жизни, сообщают множество его отзывов о событиях и людях, рассказывают немало анекдотов, связанных с его именем, и весь этот материал, подтверждаемый общеизвестными историческими фактами и собственными заявлениями Наполеона — в его переписке, в его политических и военных манифестах и бюллетенях, в тех мемуарах, которые он диктовал на острове Святой Елены, — может лечь в основу только такой общей характеристики Наполеона: это был великий ум чисто практического склада, это была сильная воля, как бы созданная для властвования над людьми, это был громадный организаторский талант, но вместе с тем это было настоящее воплощение эгоизма, делавшего из Наполеона человека, который выше всего ставил стремления и интересы собственного своего я и потому был неспособен одушевляться в своей деятельности какими-либо великими идеями своего века. Отдельные факты, которые нам придется еще приводить, подтверждают такое понимание личности Наполеона, являвшейся потом в совсем ином, каком-то поэтическом освещении в известной наполеоновской легенде.

Наполеон не допускал, чтобы человек мог вообще действовать иначе как только в силу личного интереса, и бескорыстное служение идее было ему непонятно. Вся революция казалась ему произведенной тщеславием, и на все ее события, насколько они касались его, он смотрел с точки зрения собственной выгоды, весьма рано перестав верить в «идеологию» XVIII в. Во время революции он искусно лавировал между партиями, выдавая себя за монтаньяра до 9 термидора и отрекшись затем от своей солидарности с якобинцами. Накануне 13 вандемьера, когда готовилось уже нападение на Тюильри, он говорил, что, если бы парижские секции поручили команду ему, он в два часа овладел бы дворцом и выгнал бы оттуда всех этих презренных Конвентчиков, а на другой день он сам их защищает, встречая картечью нападающие секции. Он служит в Италии Директории, не скрывая своего настоящего к ней отношения. После Леобенского прелиминарного мира он говорил в одной откровенной беседе: «Неужели вы думаете, что я одерживаю победы в Италии ради величия адвокатов Директории, всех этих Карно и Баррасов? Неужели вы думаете, что я это делаю для основания республики? Что за идея! Республика в тридцать миллионов душ! С нашими нравами, с нашими пороками! Возможно ли это? Ведь это химера, которою французы одержимы теперь, но которая пройдет подобно многим другим. Им нужна слава, им нужно удовлетворение их тщеславия, а что касается до свободы, то в ней они ничего не понимают». И к этому достаточно ясному заявлению он прибавил: «Если я оставлю Италию, то только для того, чтобы во Франции играть роль, подобную той, какую я здесь играю, но время для этого еще не настало — груша еще не созрела». После 18 фрюктидора он так объяснял свое поведение, что и сам быть не желает Монком, и другим не позволит разыграть эту роль. «Что до меня касается, — заметил он еще, — то скажу вам вот что: я не могу более повиноваться; я попробовал власти и уже не мог бы от нее отказаться. Свое решение я принял: если мне нельзя будет сделаться господином, я покину Францию». Уезжая в Египет, он отсрочивал приведение в исполнение своих замыслов, а здесь, на Востоке, по его словам, всякий «вылечился бы от своей филантропии» при виде страны, где государь ни во что не ставит жизнь своих подданных, которые также ни во что не ставят собственную жизнь: Наполеон признавался, что на Востоке Руссо ему опротивел.

Система, которую генерал Бонапарт стал вводить во Франции после 18 брюмера, уже была вполне готова в его голове: система эта вполне сложилась еще во время итальянского похода и египетской экспедиции. Новый режим должен был опираться на военную силу, уже показавшую свое значение 13 вандемьера и 18 фрюктидора, но для этого нужно было еще известным образом воспитать армию. Конечно, не Наполеон придумал способ содержания войска на счета занятых неприятельских областей. Уже Конвент практиковал эту систему в широких размерах, но Наполеон прямо стал указывать армии на то, что солдаты прежде всего должны сражаться ради

добычи и славы: прежние ссылки на братство народов и на освобождение их из-под тирании заменились в приказах по армии заявлениями совсем иного рода. Вот та прокламация, с которой Наполеон обратился к итальянской армии, приняв на себя главную команду: «Солдаты! Вас плохо кормят, и вы почти наги. Правительство вам многое должно, но оно для вас ничего не может сделать. Ваше терпение, ваше мужество делает вам честь, но не доставляют вам ни выгоды, ни славы. Я поведу вас в самые плодородные в мире равнины, вы увидите там большие города и богатые провинции, вы найдете там честь, славу и богатство. Солдаты итальянской армии! Неужели у вас не хватит мужества?» Еще определеннее говорил он о том же самом во время египетской экспедиции в следующей прокламации: «Солдаты! Два года тому назад я пришел командовать вами. В то время вы были на генуэзском берегу в величайшей нищете, не имея ничего, вынужденные даже продавать часы для своего пропитания. Я обещал вам прекратить ваши бедствия и повел вас в Италию. Там вам все было дано. Не сдержал ли я своего слова? Так узнайте же, что вы не все еще сделали для отечества, и что отечество не все для вас сделало. Я поведу вас в страну, где в своих будущих подвигах вы превзойдете те, которые составляют предмет удивления ваших почитателей, и окажете отечеству услуги, коих оно вправе требовать от армии непобедимых. Я обещаю каждому солдату, что по возвращении из этой экспедиции у него будет на что купить шесть арпанов¹ земли». Известно, какие громадные контрибуции налагал Наполеон в Италии, посылая в Париж Директории не только большие суммы денег, но и дорогие произведения искусства. Свои обещания он сдерживал и по отношению к армии: война обогащала ее высшие и низшие чины, которые все более и более привязывались поэтому к своему главнокомандующему. Уже в Италии он приучал также армию смотреть на себя как на нечто отдельное от нации, имеющее свои особые интересы. Выше было сказано, что переворот 18 фрюктидора произошел, так сказать, с благословения итальянской армии, которой потом Наполеон таким образом объяснял нарушение конституции, произведенное Директорией вместе с посланным из Италии в Париж генералом Ожеро. «В то самое время, — говорил он именно, — когда вы находились вдали от родины и побеждали Европу, для вас ковали цепи; вы узнали об этом, вы заговорили, народ пробудился, указал на изменников, и они уже в цепях. Вы узнаете из прокламации исполнительной Директории, что замыслили враги отечества, особенные враги солдат и, в частности, итальянской армии (*les ennemis particuliers du soldat et spécialement de l'armée d'Italie*). Это предпочтение составляет нам почет. Ненависть изменников, тиранов нам лучший патент на славу и бессмертие в истории». Наполеон оправдывал нападение, сделанное на народное представительство, интересами итальянской армии: во второй

¹ Арпан (*фр.* — *arpent*) — старинная французская единица измерения длины, равнявшаяся 180 парижским футам, т. е. примерно 58,52 м. — *Прим. ред.*

половине 1790-х гг. Франция жила беспрестанными переворотами и ожиданиями новых переворотов, и Наполеон уже воспитывал армию в духе неуважения к конституции.

Будущему повелителю Франции были непонятны политические теории эпохи, требовавшие разделения властей и установления гарантий для личной и общественной свободы. Он понимал только простые формы революционной диктатуры или военной команды, и уже по окончании своей карьеры, находясь на острове Святой Елены, он резюмировал свои взгляды на политику в очень немногих словах: «чтобы управлять, нужно быть военным, ибо хорошо править можно лишь в ботфортах и со шпорами». Конституция III г. казалась Наполеону совсем не подходящей для Франции, и на собственном опыте в Цизальпинской республике, которую ему пришлось организовать, он увидел непригодность французских порядков для итальянцев. В сентябре 1797 г. он писал об этом Талейрану, прося его назначить комиссию для выработки нового устройства Цизальпинской республики и предлагая ему свои собственные соображения на этот счет. «Организация французского народа, — писал он в письме, которое просил Талейрана сообщить и Сиесу, — на самом деле только что начата. Несмотря на наше высокомерие, на наши тысячу и одну брошюры, на наши бесконечные и болтливые речи, мы довольно-таки невежественны в политической науке. Мы еще хорошенько не определили, что разумеется под властью законодательной, исполнительной и судебной. Монтескьё дал нам неверные определения». Наполеон не соглашается с теорией Монтескьё, подвергает ее критике и затем в немногих словах излагает свою собственную систему: истинный представитель нации есть правительственная власть, действующая на основании конституционной хартии и органических законов: эта власть должна быть разделена между двумя магистратурами, назначаемыми народом, из коих одна наблюдает, но не действует, а другая представляет на ее усмотрение, так сказать, законодательство исполнения; первая составляла бы великий совет нации, в состав коего могли бы попадать только лица, уже отправлявшие какие-либо должности и опытные в делах, но нужно, чтобы это собрание «без положения в республике, без глаз и ушей для окружающего, не имело честолюбия и не заваливало правительство тысячью законов, вызванных потребностями минуты». Эти соображения Наполеон обозначил, как свой «полный кодекс политики», но он был не полон, так как в письме не было сказано, каким образом следует понимать роль исполнительной власти при законодательном совете нации, который «не должен был иметь никакого положения в республике». Это письмо, однако, объясняет нам смысл слов, коими Наполеон закончил свою речь на торжественном приеме, устроенном ему Директорией в Париже 10 декабря 1797 г.: «Когда счастье французского народа, — сказал он, — будет покоиться на лучших органических законах, вся Европа будет свободна». Указание на эти «лучшие органические

законы» было для многих, слышавших эту речь, какою-то загадкой: разъяснения ее пришлось ждать до 18 брюмера, после которого Наполеон разъяснил и то, как понимал он роль исполнительной власти в республике.

Мы могли бы привести здесь еще факты, свидетельствующие, что уже в Италии в 1797 г. Наполеон думал о том, какое важное значение для упрочения правительственной власти во Франции могло бы иметь примирение между республикой и Католической церковью, но мы это сделаем, когда будем говорить о заключении Наполеоном конкордата с папой; а теперь просто отметим только, что уже в 1797 г. он делал в этом смысле представления курии, ссылаясь на обоюдную выгоду, которая могла бы произойти от примирения и для римской курии, и для французского правительства.

VI. Восемнадцатое брюмера и наполеоновские конституции¹

Возвращение Наполеона из Египта. — Франция накануне 18 брюмера. — Сиеес и соглашение между ним и Наполеоном. — События 18 и 19 брюмера. Впечатление, произведенное ими на современников. — Конституционный план Сиееса и произведенные в нем изменения. — Конституция VIII г. — Первые шаги нового правительства. — Покушение 3 нивоза. — История трибунала. — Пожизненное консульство. — Изменение в конституции VIII г. — Заговор Жоржа Кадудалья. — Казнь герцога Энгиенского. — Установление империи. — Роль представительных учреждений в эпоху консульства и империи

Наполеон выбрал наиболее подходящее время для того, чтобы возвратиться во Францию. Плоды его побед в Италии были потеряны, внутри Франции все было непрочным. Сначала он думал явиться на театр войны, чтобы взять на себя снова главную команду, а потом уже, победив внешнего врага, сделать нападение на неспособную Директорию, но эта мысль скоро была оставлена, и Наполеон, высадившись 9 октября в Фрежюсе, стал держать путь прямо на Париж. Уже в Фрежюсе один клубный оратор обратился к нему с предложением идти прогнать неприятеля, а затем, если он захочет, то может, пожалуй, сделаться и королем. По всей дороге до Парижа Наполеону устраивали торжественные встречи, видя в нем будущего спасителя Франции, спасителя не только от внешнего врага, но и от грозного оборота, какой принимали внутренние дела, когда, по-видимому, французской нации предстояло выбирать между возвращением Бурбонов, а с ними и старых порядков или возобновлением анархии. В самой столице известие о возвращении генерала Бонапарта было встречено общей радостью. На него смотрели как на жертву Директории, из зависти «сославшей» его в Египет, и эту легенду нарочно поддерживали в публике родственники и сторонники честолюбивого генерала.

В это время положение Директории, которую обвиняли за все неудачи во внешней политике, было действительно весьма трудное. После 18 фрюктидора стали снова оживать и поднимать голову якобинские элементы, но Директория оттолкнула их от себя направленным против них переворотом 22 флореаля. Правительству оставалось теперь опираться на армию, но ее

¹ Кроме общих историй (к числу коих отнесем: *Hauranne D. de. Hist. du gouvernement parlementaire*); *Rocquain F. L'état de la France au 18 brumaire d'après les rapports des conseillers d'état chargés d'une enquête sur la situation de la république avec pièces inédites sur la fin du directoire. 1874*; *Jordan C. Le consulat à vie; Lalanne L. (Claude Fauriel). Les derniers jours du consulat. 1886*. Текст конституции VIII г. с ее дополнениями в изданиях *Hélie, Trippier* и др. Ср.: *Théorie constitutionnelle de Sieyès (Extrait des mémoires inédits de Boulay de la Meurthe), 1866*. Скоро должны появиться в печати мемуары Барраса.

вожди равным образом были сами членами побежденных партий, солдаты же все более и более раздражались на правление адвокатов. В весенние выборы 1799 г. между исполнительной властью и обоими советами происходила борьба, и, как мы уже видели, в июне 1799 г. состав Директории был обновлен насильственным образом. Переворот 30 прериаля, исключивший из Директории трех членов, неугодных большинству советов, был делом вошедшего в ее состав Сиеса, которому удалось привлечь на свою сторону бесхарактерного Барраса и ввести еще в Директорию своего партизана Роже-Дюко. Сиес, знаменитый автор брошюры «Что такое третье сословие», человек весьма популярный среди буржуазии, принадлежал к умеренной партии, представителями коей в совете пятисот были, между прочим, и братья Наполеона Луциан и Иосиф. Так как большинство новой Директории (Сиес, Баррас и Роже-Дюко) было умеренное, а радикальная партия, равным образом участвовавшая в перевороте, была представлена в Директории только двумя членами (Гойе и Муленом), то эта партия и перешла в оппозицию, начав агитацию против умеренных и даже вновь открыв якобинский клуб. Опираясь на большинство советов, в состав коего вошли все нейтральные элементы, сначала поддерживавшие якобинцев, а потом испугавшиеся их намерения возобновить времена Конвента, Сиес решился закрыть радикальный клуб и учредил над всеми крайними строгий надзор, поручив это дело бывшему члену Конвента Фуше в качестве министра полиции. Но, принимая такие меры, этот наиболее влиятельный из директоров вовсе не имел в виду поддерживать тогдашнюю конституцию Франции: у него был свой собственный проект нового государственного устройства республики, и он хотел воспользоваться бывшей в его руках властью для осуществления своего конституционного плана.

Сиес, как известно, играл весьма видную роль в истории Французской революции. Учредительное собрание выбрало его в число членов комитета, вырабатывавшего конституцию 1791 г. В качестве члена Конвента он также входил в состав конституционного комитета и был, кроме того, членом комитета общественного спасения. Уже тогда у него был свой собственный план конституции, который, однако, не был принят, и вот с самого введения конституции III г. Сиес сделался одним из недоброжелателей. Особенно после переворота 18 фрюктидора, совершившегося при сильном участии Сиеса, он только и думал о том, чтобы ввести во Франции новые учреждения, и это было до такой степени всем известно, что его подозревали в стремлении войти в соглашение с европейской коалицией, дабы ценой территориальных уступок произвести при иностранной помощи изменение внутреннего устройства в желательном для него смысле. В 1799 г. Сиес прямо уже ставил своею задачею добиться введения новой конституции, от которой он ожидал для Франции всяких благ, и готовил себя в спасители страны от всех тяготевших над нею зол. Якобинские происки, казалось, должны

были заставить его поторопиться с приведением своих замыслов в исполнение. Сиес действительно стал объединять все антиякобинские элементы среди тогдашних политических людей, не желавших в то же время возвращения Бурбонов, и ему удалось расположить в пользу своего плана многих членов обоих советов, которые стали называть себя реформистами; в их числе был, между прочим, и Луциан Бонапарт. Но Сиес менее всего был практиком, человеком дела: его конституционный план, как мы увидим, был чисто теоретический, и для проведения этого плана ему нужна была прежде всего энергичная рука, которую он и стал искать вокруг себя среди республиканских генералов. Сначала он думал, по-видимому, о Жубере, но этот генерал был убит на войне. Затем Сиес обращался к Моро и даже вызывал его в Париж, но Моро не захотел содействовать видам Сиеса. Между тем совершенно неожиданно приехал в Париж генерал Бонапарт, на которого голос всей Франции указывал как на единственного спасителя государства в тогдашних трудных обстоятельствах, и Сиесу не оставалось более ничего, как войти в соглашение с этим самым популярным и в войске, и в народе генералом. Мы знаем уже, что сам Наполеон за два года перед тем намекал в своей речи перед Директорией (10 декабря 1797 г.) о необходимости для Франции «лучших органических законов». О том же несколькими месяцами раньше писал он из Италии Талейрану, уполномочив при этом сообщить свой «полный политический кодекс» именно только одному Сиесу. Сближение Сиеса и Наполеона было после всего этого как нельзя более естественным, тем более что уже раньше, в зиму 1797/98 г. молодой генерал мечтал о том, чтобы войти в состав Директории, хотя бы с нарушением той статьи конституции III г., которая позволяла выбирать в директоры лишь людей, достигших сорокалетнего возраста. На первых порах и по возвращении из Египта Наполеон думал лишь о том, чтобы стать одним из директоров, и даже в этом смысле имел разговор с президентом Директории Гойе, но последний сослался все на ту же статью конституции, и генерал, стремившийся к власти, счел нужным искать к ней другие пути. Планы Сиеса являлись на сцену как нельзя более кстати.

Впоследствии Наполеон признавался, что никогда раньше он не проявлял такой ловкости, как тотчас же по возвращении из Египта: «Я видался с Сиесом и обещал ему приведение в исполнение его многословной конституции; я принимал якобинских вождей, агентов Бурбонов; я никому не отказывал в советах, но никому не давал их иначе как в интересе собственных своих планов... и когда я сделался главою государства, во Франции не было партии, которая не соединяла бы с моим успехом какой-либо надежды». От своего брата Луциана Наполеон узнал о проекте Сиеса и обещал ему свое содействие, предложив только некоторые изменения в способе выполнения плана. На стороне Сиеса было большинство совета старейшин, и предполагалось, что этот совет, пользуясь своим конституционным

правом¹, перенесет заседания советов вне Парижа, дабы якобинцы совета пятисот не помешали всему делу, соединившись с населением предместий. Сиес думал, что вне Парижа совет пятисот был бы сговорчивее, и затем принятая им конституция была бы утверждена всеобщим голосованием. Наполеон вооружился против немедленного представления проекта Сиеса обоим советам, собранным вне Парижа, выразив желание, чтобы проект был предварительно рассмотрен особой комиссией из депутатов, а до окончательного введения новой конституции, по его мнению, следовало бы назначить временное правительство, в состав коего, кроме него, гражданина Бонапарта, вошли бы еще граждане Сиес и Роже-Дюко. Скрепя сердце, Сиес согласился на эту комбинацию. «Я, — сказал Сиес Иосифу Бонапарту и депутату Кабанису, посвященному в тайну, — пойду с генералом Бонапартом, и, однако, я знаю, что меня ожидает: после успеха генерал, оставив позади двух своих товарищей, вот что сделает с ними», — и при этих словах он быстро прошел между своими собеседниками, оттолкнув обоих назад и очутившись один среди той комнаты, где происходил разговор. План переворота был готов скоро. Совет старейшин должен был вотировать перенесение обеих палат в Сен-Клу, назначение Наполеона главнокомандующим над всеми войсками и предложение его, вместе с Роже-Дюко и Сиесом, во временные консулы, после чего оба совета назначили бы специальную комиссию для пересмотра конституции и отсрочили бы свои заседания на три месяца. Теперь оставалось только заручиться содействием войска и принять другие меры, необходимые для успеха задуманного дела. Армия боготворила Наполеона, которого уже называла «маленьким капралом»: среди офицеров и солдат парижского гарнизона много было таких, которые служили под его начальством в Италии, а большая часть офицеров национальной гвардии получила свои назначения после 13 вандемьера, когда Наполеон был сделан главнокомандующим внутренней армией; генералы по разным соображениям не хотели мешать предприятию, хотя, например, Бернадот, женатый на свояченице Иосифа Бонапарта, мог бы, если бы захотел, взбунтовать предместья. С другой стороны, Сиес распустил слух об опасном якобинском заговоре и устроил так, что те депутаты совета старейшин, на которых он не рассчитывал или которых боялся, не попали на заседание совета, где были потом приняты важные решения. Приведение в исполнение всего плана было назначено на 18 брюмера (9 ноября).

¹ Конституция III г., статья 102: «Совет старейшин может изменить место заседаний законодательного корпуса... Декрет совета на этот счет не подлежит отмене». Статья 103: «В день издания такого декрета ни тот, ни другой советы не имеют уже права заседать в общине, где они до того времени заседали. Члены, которые стали бы там продолжать исполнение своих обязанностей, сделались бы виновными в покушении на безопасность республики». Статья 104: «Члены исполнительной Директории, которые замедлили бы или отказались бы скрепить печатью, обнародовать и разослать декрет о перенесении в другое место законодательного корпуса, были бы виноваты в том же преступлении».

В этот день старейшины были созваны в 7 ч. утра. Собравшиеся депутаты единогласно вотировали перенесение законодательного корпуса в Сен-Клу, где оба совета должны были собраться на другой день не ранее полудня; исполнение этого декрета возлагалось на генерала Бонапарта: ему предоставлялось право принимать все меры, необходимые для безопасности республики, и отдавались под главное начальство все местные вооруженные силы, вместе с чем гражданам вменялось в обязанность оказывать генералу помощь в случае требования с его стороны. К нации совет старейшин обратился с особым манифестом, в котором декретированные меры оправдывались необходимостью усмирения людей, стремящихся к тираническому господству над национальным представительством, и обеспечения внутреннего мира. Наполеон, окруженный генералами и офицерами, ждал у себя на квартире своего назначения на высокий пост главнокомандующего. Декрет совета старейшин предписывал ему лично явиться в совет для принесения присяги. Тотчас по получении известия об успехе дела он сел на лошадь и поехал в Тюильри, где заседал совет старейшин. Вместо присяги, однако, он произнес перед ним короткую речь своим обыкновенным тоном военной команды. «Ваша мудрость, — сказал он между прочим, — внушила вам этот декрет, наши руки сумеют его исполнить. Мы желаем республики, основанной на истинной гражданской свободе, на национальном представительстве. Она у нас будет, я в этом клянусь, клянусь в этом за себя и за своих товарищей по оружию». Речи генерала аплодировали, и заседание было закрыто. Все дело было уже сделано к тому времени, когда должно было начаться заседание совета пятисот: последнему был только сообщен декрет старейшин, и Луциан Бонапарт, получивший за заслуги брата председательство в совете, объявил заседание отсроченным до другого дня. Между тем Наполеон производил около Тюильри смотр войскам. Прокламация главнокомандующего должна была объяснить им смысл всего происшедшего. «Два года уже, — сказано было в ней, — республика плохо управляется. Вы возложили свои надежды на то, что мое возвращение положит конец всем этим бедствиям; вы отпраздновали это возвращение с единодушием, налагающим на меня обязанности, которые я теперь и выполняю... Свобода, победа и мир возвратят французской республике то место, которое она занимала в Европе и которого могли ее лишить разве только неспособность или измена». По предварительному уговору Сиес и Роже-Дюко подали в отставку, после чего Наполеон написал к Баррасу, потребовав и у него отставки: нужно было совсем уничтожить существовавшую в то время исполнительную власть, а с выходом в отставку трех членов Директория, конечно, не могла более действовать. Баррас не сопротивлялся, а прислал об этом сказать Наполеону, который в присутствии посторонних свидетелей обратился к посланному с такими словами: «Что сделали вы из этой Франции, которую я вам оставил в столь блестящем положении? Я оставил вам мир, а по возвращении своем нашел войну.

Я оставил вам победы и нашел поражения. Я оставил вам итальянские миллионы и везде нашел хищения и нищету! Что сделали вы с сотней тысяч французов, мне хорошо известных, моих товарищей по славе? Их нет более живых. Такой порядок вещей долгие продолжаться не может: в какие-нибудь два-три года он привел бы нас к деспотизму. Но мы желаем республики, основанной на равенстве, на морали, на гражданской свободе и на политической терпимости». Что касается до директоров Гойе и Мулена, то они попытались было протестовать, но без всякого успеха вернулись от Наполеона в Люксембургский дворец, местопребывание правительства, где и были затем задержаны по приказанию Наполеона. Сиес предлагал Наполеону арестовать еще двадцать-тридцать членов совета пятисот, дабы на другой день они не могли явиться в заседание, особенно же указывал на Ожеро и Журдана как на наиболее опасных; но Наполеон на это не согласился, не желая, чтобы подумали, будто он боится этих двух людей. Так прошел день 18 брюмера.

На другой день, т. е. 19 брюмера, в 12 часов дня оба совета собрались в Сен-Клу, совет старейшин — в одной из зал дворца, совет пятисот — в оранжерее, и оба были в большой тревоге. Якобинцы, не присутствовавшие в заседаниях предыдущего дня, требовали объяснения всего случившегося, и многие из тех старейшин, которые действовали накануне, начинали догадываться, что были обмануты, что дело идет о низвержении конституции, а не об изменении Директории, как они думали раньше. Смятение старейшин увеличилось, когда им дали знать об отставке трех директоров. В совете пятисот принято было решение поголовного возобновления присяги на верность конституции III г. Узнав об этом, Наполеон, находившийся в одной из комнат дворца, решился действовать. Совершенно неожиданно явился он в зале совета старейшин и, совсем не приготовившись к произнесению речи, начал говорить, но весьма спутано, о каких-то опасностях, грозящих республике, о необходимости защитить свободу и равенство. «А конституция?» — перебил его один член, и тогда Наполеон сказал самые сильные слова своей речи: «Конституция! — вскричал он. — Но вы ее нарушили 18 фрюктидора, вы ее нарушили 22 флореаля, вы ее нарушили 30 прериала! Конституция! На нее ссылаются все партии, и она всеми партиями была нарушена; всеми ими она презирается; она более не может нас спасти, потому что ее более никто не уважает». У Наполеона стали требовать более точных указаний на опасности, и он заявил тогда, будто Баррас и Мулен предлагали ему стать во главе партии, которая желала низвержения всех людей со свободным образом мыслей. Этому никто не поверил, и Наполеон перешел опять к неопределенным обвинениям, снова стал говорить о негодности конституции и, наконец, обратился как бы к солдатам, находившимся вне залы, и, конечно, не могшим его слышать, с выражением уверенности в том, что они защитят его против всякого подкупленного иностранцами оратора, который осмелился бы предложить объявить его вне закона. «Помните, — прибавил он, — что я

шествую, сопровождаемый богом счастья и богом войны». Из залы заседания старейшин Наполеон отправился в оранжерею, где, тем временем, члены совета пятисот, всходя один за другим на трибуну, успели принести присягу на верность конституции. Вдруг, во время бурных заявлений якобинцев, требовавших разъяснения для всего случившегося, в оранжерею явился Наполеон в сопровождении четырех гренадеров. Вид вооруженных людей в собрании представителей народа привел некоторых из них в страшное негодование: они бросились на генерала, стали его толкать к выходу, и Наполеон, совершенно растерявшись, с разорванным платьем почти был вынесен на руках приведенными им гренадерами под крики «вне закона», раздававшиеся в оранжерее. У Луциана Бонапарта, занимавшего председательское кресло, потребовали формального голосования об объявлении его брата вне закона, но он покинул свое кресло и послал к Наполеону просить помощи: в то самое время, как многие депутаты пытались принудить его занять снова свое место, явились гренадеры и увели его из оранжереи; с ними удалилось несколько депутатов. На дворе Наполеон и офицеры верхом стояли перед батальоном гвардии законодательного корпуса, а Сиес, Роже-Дюко и Талейран сидели в экипаже, готовые в случае неудачи спастись бегством. Луциан Бонапарт тоже сел на лошадь и обратился к батальону с речью, как президент совета пятисот. По его словам, громадное большинство членов этого совета находилось под непосредственным страхом благодаря нескольким представителям, действующим, очевидно, под губительным влиянием английского правительства: выходило так, что эти дерзкие разбойники с кинжалами в руках вскакивают на трибуну, грозят смертью своим товарищам, противятся декрету совета старейшин и требуют головы генерала, который уполномочен привести этот декрет в исполнение. «Я, — продолжал Луциан, — веряю воинам заботу освобождения большинства представителей народа... Вы только тех признаёте депутатами Франции, которые будут вместе со своим председателем среди вас, а тех, кто будет упорствовать, оставаясь в оранжерее и крича “вне закона”, нужно будет удалить оттуда силой». Наполеон, вполне оправившийся от своего смущения, начал было говорить: «А если они будут сопротивляться, бейте их, бейте», но Луциан его остановил и, видя, что гренадеры колеблются, взял шпагу, направил ее против брата и поклялся пронзить его грудь этой шпагой, если когда-либо он сделает покушение на свободу французов. По знаку Наполеона, под барабанный бой часть батальона с Мюратом во главе вошла в оранжерею и очистила ее от депутатов, спасавшихся от дальнейших насилий, выпрыгивая в окна. Государственный переворот был совершен, и дело оставалось только оформить. Старейшины поспешили отсрочить заседания обоих советов, назначить временное правительство из трех консулов — Бонапарта, Роже-Дюко и Сиеса и выбрать особую комиссию для выработки новой конституции, и немедленно те же решения были приняты несколькими десятками другого

совета, собранными в ночь с 19 на 20 брюмера Луцианом Бонапартом. Вновь назначенные консулы затем принесли присягу в нерушимой верности верховенству народа, французской республике, свободе, равенству и представительному правлению. В заключение заседания Луциан Бонапарт произнес речь, в которой поздравлял представителей народа с великим событием, сказав, между прочим, что приговор потомства будет такой: «Если свобода родилась в *Jeu de Paume* в Версале, то консолидирована она была в оранжерее в Сен-Клу».

18 и 19 брюмера парижане спокойно занимались своими делами, как будто ничего важного и не случилось в эти два дня. Франция признала совершившийся факт. Современники даже говорят, что многие вздохнули с облегчением, ибо настоящее было до того тягостно, что готовы были радоваться какой угодно перемене, и даже тогда, когда для всех сделалась очевидной совершенная лживость заявлений заговорщиков, коими они хотели оправдать свои поступки, большинство отнеслось к этому совершенно равнодушно. Как-то мало говорили о бывших директорах, Роже-Дюко и Сиесе, публика приписывала все дело одному Бонапарту, в котором уже раньше весьма многие готовы были видеть будущего спасителя от всех внутренних зол и внешних бедствий; теперь этот самый Бонапарт стоял во главе правления, и вопрос о том, каким путем он добился власти, казался второстепенным, лишь бы власть эта была употреблена на дело спасения Франции. Роже-Дюко скоро стушеввался, Сиес занялся выработкой конституции с комиссиями старейшин и пятисот, и дело правления взял на себя один Наполеон, обнаруживший свой организаторский талант еще во время итальянской кампании и египетской экспедиции. Министры, коих он назначил¹, отнеслись к нему с величайшим доверием. «Пройдет только год, — говорил о Наполеоне министр иностранных дел Талейран, — и он шагнет далеко. Это — человек, верящий в то, что ему служит само счастье, и его удивительная уверенность в самом себе внушает его сторонникам столь же удивительное чувство полной обеспеченности».

Главным делом нового правительства после переворота 18 брюмера была выработка новой конституции. План Сиеса был составлен очень искусно в смысле логической стройности. В течение последних десяти лет, с 1789 по 1799 г., Франция страдала от двух зол — от анархии, которая узаконивалась самими учреждениями, и от деспотизма, отличавшегося, однако, крайней непрочностью. Сиесу казалось, что он нашел средство против анархии и деспотизма, если «власть будет приходить сверху, а доверие снизу». В принципе он удерживал народовластие и всеобщую подачу голосов, но верховное право нации на практике делалось, как выразился Наполеон об этой части проекта

¹ Годен — министр финансов, Талейран — иностранных дел, Лаплас (смененный вскоре Луцианом Бонапартом) — внутренних дел, Бертье (кого позднее сменил Карно) — военный министр, Фуше — полиции, Камбасерес — юстиции и Форфэ — морской.

Сиеса, совершенно призрачным и как бы метафизическим: народ должен был выбирать лишь кандидатов, из коих уже правительству предоставлялось делать назначения на все должности коммунальные, департаментские и общегосударственные. Предполагалось, что пять миллионов взрослых французов выберут из своей среды одну десятую часть этого числа, т. е. 500 тыс. коммунальных нотаблей, годных для занятия по назначению от правительства муниципальных должностей; эти 500 тыс. нотаблей выберут опять десятую часть, т. е. 50 тыс. департаментских нотаблей, которые будут кандидатами на разные департаментские должности и, в свою очередь, выберут снова одну десятую часть, т. е. пять тысяч национальных нотаблей, кандидатов в члены законодательного корпуса и на должности по центральному управлению, причем в список национальных нотаблей обязательно попадали все лица, бывшие в последние десять лет представителями народа или высшими сановниками. Списки нотаблей должны были составляться на десять лет, но первая легислатура должна была быть назначена правительством без всякого списка. Такой порядок, действительно превращавший суверенитет нации в призрак, как нельзя более должен был прийтись по вкусу Наполеону. Не менее должна была понравиться ему придуманная Сиесом законодательная процедура. Дело в том, что Сиес в соответствие каждому моменту законодательства проектировал особое учреждение, совершенно отдельное от других, и законодательная власть раздроблялась у него между несколькими собраниями, члены коих должны были, как было сказано, назначаться, а не выбираться. Законодательная инициатива поручалась государственному совету, обсуждение законопроектов — трибунату, вотирование — законодательному корпусу, который должен был выслушивать защиту государственного совета и критику трибуната, а охранять законы обязан был сенат (*le senat conservateur*), страж конституции, облеченный правом кассировать все противные ей законы и правом назначать членов всех законодательных собраний¹. Центр тяжести всей конституции Сиес думал положить в сенате, коему предоставлял еще право смещения членов исполнительной власти и высших сановников, включая их в свой состав, абсорбируя их, как выражался сам составитель проекта. Наполеон отнесся сочувственно к раздроблению законодательной власти между несколькими учреждениями, но он был решительно против прерогатив сената, придуманных Сиесом. Еще менее могла ему понравиться проектированная последней организация исполнительной власти, назначение высшего представителя коей Сиес также отдавал в руки сената. Во-первых, должны были существовать два консула, один для дел войны (армия, иностранные дела), другой для дел мира (внутреннее управление и остальные министерства): они назначали бы министров, а последние — всех правительственных чиновников и членов административных собраний. Во-вто-

¹ Собственно говоря, в проекте Сиеса сенат назывался *le jury constitutionnel* (конституционная коллегия (*фр.*). — *Прим. ред.*).

рых, над двумя консулами должен был стоять «великий избиратель» (Grand Electeur) для внешнего представительства государства, для подписывания трактатов и назначения и смещения обоих консулов. При обсуждении конституции по параграфам Наполеон, принимавший в этом деле весьма живое и влиятельное участие, воспротивился принятию такой организации исполнительной власти. «Великий избиратель», по его выражению, был бы только «бесплотной тенью ленивого короля», без всяких гарантий против сената, который мог бы его во всякое время сместить, «абсорбировав» его в себе, а разделение дел войны и мира между двумя консулами противоречило бы необходимости в цельности и единстве действий. «Неужели, — спросил он самого Сиеса, — вы знаете кого-либо с таким низким характером, кому могло бы понравиться подобное обезьянство? Можете ли вы представить себе человека с талантом и чувством чести, который решился бы обречь себя на роль откормленного борава в несколько миллионов?» Должность «великого избирателя» Наполеон совсем поэтому вычеркнул из конституции, заменив ее должностью первого консула, выбираемого сенатом на десять лет, и в этой-то должности был положен центр тяжести новой конституции, а сенат был лишен прерогатив, коими его наделял проект Сиеса. Первым консулом предстояло сделаться самому Наполеону, и он уже позаботился о том, чтобы не быть тенью ленивого короля. Первый консул назначал и смещал министров, послов, государственных советников, административных чиновников, всех офицеров армии и флота, а также назначал всех судей, кроме мировых и членов кассационной палаты. Его распоряжения получали силу закона, будучи обнародованы в известной форме (*arrêtés*). Он руководил дипломатической частью и был главою сухопутных и морских сил. Он подписывал трактаты и законы, принятые законодательным корпусом. Он назначал членов государственного совета, бывшего одним из орудий исполнительной власти и поддерживавшего изготовленные им законопроекты. При первом консуле состояли два товарища с совещательным голосом, которые тоже носили название консулов. «Чего же вы хотите, — говорил Наполеон Лафайету, с которым в это время довольно часто виделся, — Сиес везде разместил одни тени: тень власти законодательной, тень власти исполнительной, тень правительства; нужна же была где-нибудь субстанция, и вот вам — я вложил ее сюда». Сенат, который по плану Сиеса должен был играть наиболее самостоятельную роль, благодаря переменам, внесенным в проект по требованию Наполеона, сделался, напротив, одним из орудий, коим впоследствии весьма искусно пользовался первый консул и император французов.

Таково было происхождение конституции VIII г.¹, которою с некоторыми изменениями Франция управлялась в эпоху консульства и империи. Подобно тому как первая французская конституция (1791) лишь по форме была

¹ 22 фримера VIII г. = 13 декабря 1799 г.

монархической, по содержанию же — республиканской, эта четвертая конституция, наоборот, была республиканской лишь по названию, по существу же дела — монархической. Мы только что видели, какие prerogatives представляла она первому консулу, каковым статья 39 конституции и объявила «гражданина Бонапарта», дав ему в товарищи Камбасереса и Лебрена. Законодательные собрания, лишенные инициативы, — которая предоставлялась первому консулу, — состоящие из членов, прямо или косвенно назначенных первым же консулом, обладая одним правом или только готовить законы (государственный совет), или только обсуждать их (трибунат), или только их вотировать (законодательный корпус), или их утверждать (сенат), были простой декорацией, а за нею скрывалась почти неограниченная власть первого консула, всегда имевшего возможность остановить действие даже утвержденного закона, так как только ему принадлежало право обнародования законов. Второй и третий консулы, товарищи первого консула по исполнительной власти, были, в сущности, лишь какими-то его ассистентами и скоро превратились в своего рода адъютантов главы государства. Все органы администрации зависели от него одного. Чтобы поставить чиновников в совершенную от себя зависимость и обеспечить за собой пассивное их повиновение своей воле, Наполеон включил в конституцию особую статью (75), по которой правительственные агенты могли подвергаться судебному преследованию за дела, касающиеся их должности, лишь в силу особого постановления государственного совета, и мы увидим еще, что вслед за тем в управление страной введена была самая строгая централизация. Одним словом, конституция VIII г. была полной противоположностью принципам 1789 г. Не в пример конституций 1791 г., 1793 г. (с жирондистским проектом) и III г. наполеоновская конституция не заключала в себе декларации прав человека и гражданина — в этом заключается также одно из ее отличий от революционных конституций, так как в акте 22 фримера VIII г. ни слова не было сказано ни о естественных правах, существующих раньше и стоящих выше самой верховной власти народа, ни об этой самой власти, между прочим, как о власти учредительной, и только в последней статье конституции было заявлено, что она будет немедленно предложена на принятие (*sera offerte à l'acceptation*) французского народа. Прежде чем, однако, сделаться известным результат плебисцита, к которому была подвергнута конституция VIII г., Наполеон произвел необходимые назначения. Сиес получил президентство в сенате, Роже-Дюко был сделан сенатором, и оба они вместе с Камбасересом и Лебреном выбрали первых сенаторов в количестве 31 человека, которыеполнили свое число до шестидесяти, как того требовала конституция¹. Затем сенаторы назначили членов трибуната и законодательного корпуса, а Наполеон организовал новый государственный совет, первое заседание ко-

¹ Это число должно было увеличиваться ежегодно на два, пока не достигнет восьмидесяти. Конст. VIII г., статья 15.

того состоялось 25 декабря. Между тем текст конституции был разослан во все общины Франции с предложением гражданам подавать голоса поголовно и без предварительного обсуждения, внося свои мнения в два особых списка (утвердительный или отрицательный), выложенные в двух различных местах. Никто не сомневался, что народ утвердит новую конституцию. Действительно, 18 плювиоза VIII г. (7 февраля 1800 г.) было объявлено, что из 3 012 569 граждан, подававших голоса, конституцию отвергли только 1562 гражданина, высказалось же за принятие ее 3 011 007 человек.

Новая власть, установившаяся во Франции, тотчас же занялась организацией страны. Еще будучи временным консулом, Наполеон деятельно и довольно успешно принялся за улучшение финансового положения. 28 плювиоза VIII г. (17 февраля 1800 г.) был уже опубликован закон о департаментской и коммунальной администрации, а 27 вантоза (18 марта) того же года — закон о судебном устройстве. Наконец, в августе была назначена комиссия для выработки гражданского кодекса. Мы еще увидим, как исполнены были эти важные работы. С другой стороны, первый консул приступил к успокоению страны. Новая конституция гарантировала свободное обладание купленными у государства национальными имуществами и даже запрещала возвращение эмигрантов, коим многие из этих имуществ когда-то принадлежали¹. Несмотря на это, уже в марте 1800 г. появился эдикт, объявлявший, что списки эмигрантов закрываются, и уполномочивавший правительство вычеркивать из этих списков все имена лиц, которые о том стали бы просить под условием отказа от имений, прежде им принадлежавших. 4 нивоза VIII г. (25 декабря 1799 г.) первый консул разрешал гражданам общин, владевших в первый день II г. зданиями, предназначенными для культа, свободно ими пользоваться, если только эти здания не были отчуждены в другие руки, а 8 фримера была возвращена свобода большей части священников, сосланных после 18 фрюктидора. Старой Франции, таким образом, открывались двери в новую Францию под условием признания совершившихся фактов. Наполеон очень хотел видеть приверженцев падшей династии на своей стороне и относился к ним с большим доверием, чем к якобинцам, не желавшим примириться с новой властью. Уже 19 брюмера наиболее видные деятели партии были приговорены им к ссылке, но вскоре ссылка была заменена полицейским надзором, организованным агентами Фуше, бывшего когда-то ярым якобинцем. С особым недоверием на первых же порах отнесся первый консул к прессе, и уже 27 нивоза VIII г. (17 января 1800 г.) он издал *arrêté*,

¹ Конституция VIII г., статья 93: «Французская нация объявляет, что ни в каком случае она не потерпит возвращения французов, которые, оставив отечество после 14 июля 1789 г., не попали в число исключений из законов, изданных против эмигрантов; она запрещает всякое новое изъятие в этом отношении. Имена эмигрантов на вечные времена остаются достоянием республики». Статья 94: «Французская нация объявляет, что после законно совершенной продажи национальных имуществ, каково бы ни было их происхождение, законный покупатель не может быть лишен своего приобретения» и пр.

коим из существовавших в то время 73 газет сразу уничтожалось шестьдесят изданий и наносился удар свободе политической печати. Особенно сильно стал первый консул преследовать якобинцев после покушения на его жизнь 3 нивоза IX г. (24 декабря 1800 г.): в этот день на дороге в оперу Наполеона стерегла «адская машина», начиненная порохом и пулями, но разорвавшаяся, не причинив вреда первому консулу. Сначала все были уверены, что это было дело якобинцев, и многие из них поплатились ссылкой «не ввиду наказания за прошлое, а ради обеспечения общественного порядка», как объяснял эту меру Фуше, когда сделалось известным, что в заговоре 3 нивоза якобинцы были ни при чем и что устроили его роялисты, видевшие в Наполеоне главную помеху для возвращения во Францию Бурбонов.

Таким образом, уже в первые месяцы нового режима стал выясняться его характер: внутренние отношения Франции упорядочивались, представителям старого порядка давалась возможность снова войти в состав полноправных граждан, но вместе с тем все должно было склониться перед властью первого консула. Новые законодательные учреждения, члены коих были назначены или самим Наполеоном, или преданным ему сенатом и стали получать весьма большое жалование, оказались собраниями самыми раболопными, какие только можно было придумать. Один трибунат, обязанный критиковать законопроекты, серьезно взглянул на свою роль как собрания народных трибунов. Оппозиция, какую встретили в нем некоторые предложения правительства, страшно раздражала Наполеона, и он говорил, что он солдат, что он сын революции и потому не потерпит, чтобы его оскорбляли как какого-нибудь короля. Конституция VIII г. не давала правительству права распускать законодательные собрания, и первый консул подумывал уже о новом государственном перевороте, когда Камбасерес предложил ему выйти из неприятного положения иначе. Трибунат состоял из ста членов, которые должны были обновляться через каждые пять лет, причем ежегодно из него должна была выходить одна пятая часть членов. Вместо того чтобы решить вопрос о выходящих членах посредством жребия, сенат в 1802 г. устранил из трибуната наиболее независимых людей (в их числе Бенжамена Констан) и заменил их новыми, которые оказались вполне сговорчивыми. Сами братья Наполеона указывали ему на необходимость оппозиции, ссылаясь на пример Англии, но он отвечал, что ему совсем непонятны выгоды какой бы то ни было оппозиции, ибо она только роняет власть в глазах народа. «Пусть другой кто-нибудь попробует быть на моем месте, и если он не будет стараться зажать рот разным говорунам, он узнает, что из этого выйдет. Что меня касается, так я могу вас уверить: для хорошего правления нужно безусловное единство». Несмотря на вполне покорное поведение трибуната, сенатус-консульт X г. уменьшил число его членов до пятидесяти и разделил его на секции, чем еще более обессилил учреждение, в коем только и возможна была какая-либо критика правительственных меропр-

ятий. Сенатус-консулт XII г. предоставил общим комитетам законодательного корпуса обсуждать законы при закрытых дверях. После этого оставалось только уничтожить трибунат как учреждение, совершенно ненужное и неприятное Наполеону. В 1807 г. Наполеон это и сделал, заменив секции трибуната комиссиями законодательного корпуса, коим и было поручено впредь обсуждение законов.

Устраняя возможность какой бы то ни было оппозиции со стороны законодательных собраний, Наполеон в то же время стремился к расширению своей власти. Последнего он достиг благодаря сенатус-консультам 16 термидора X г. (4 августа 1802 г.) и 28 флореаля XII г. (18 мая 1804 г.): первый делал власть первого консула пожизненной, второй превращал первого консула в пожизненного императора французов. Оба сенатус-консульта вносили в конституцию VIII г. и другие изменения или дополнения, вследствие чего получили вместе с конституцией VIII г. общее название *constitutions de l'Empire*¹.

Установление пожизненного консульства должно было быть наградой Наполеону за все великие дела, им совершенные в первые три года его правления. Весной 1800 г. первый консул лично повел французскую армию к новым победам в Италии, и менее нежели через год Люневильский мир (февраль 1801 г.) положил начало господству Франции не только в Италии, но и в Германии, а еще год спустя (март 1802 г.) был заключен мир с Англией в Амьене. Первый консул пользовался теперь славой не только победителя, но и миротворца. Внутри Франция тоже была успокоена, особенно благодаря заключению в 1801 г. конкордата с папою, отпразднованному торжественно через три недели после подписания амьенского трактата. Мысль о необходимости награды за дарование Франции внутреннего и внешнего мира родилась в голове самого Наполеона, но он желал, чтобы дело получило такой вид, как будто его награждали по инициативе самой нации в лице ее представителей. Сам Наполеон никому не говорил, чего он хотел на самом деле, но люди, его окружавшие, очень хорошо знали, что он желал усиления своей власти, недоумевая только, в чем же должно было состоять это усиление. 6 мая 1802 г. трибунату был предъявлен амьенский трактат, и президент трибуната, уже очищенного от беспокойных членов, предложил своим товарищам выразить желание, чтобы генералу Бонапарту был дан «блестящий залог национальной благодарности»: эти слова были внушены президенту трибуната, которого притом уверили, что речь будет идти лишь о чисто почетной награде. Решить вопрос, в чем же награда должна была состоять, предоставлялось сенату как первому учреждению нации. Последний не мог оставить это заявление без внимания, но, сделав вид, что поверил искренности первого консула, сказавшего трибунату, что с него довольно славы и поче-

¹ Конституции империи (фр.). — Прим. ред.

стей, сделал постановление, коим переизбирал первого консула еще на десять лет по окончании срока его полномочий. Наполеон был страшно раздражен таким решением, но услужливый Камбасерес, ведший все это дело, придумал другой способ уладить все по мысли первого консула: этим способом должно было быть непосредственное обращение к самому державному народу. Отвечая сенату по поводу своего переизбрания, Наполеон выразил желание, чтобы акт, удерживающий его у власти на более продолжительное время, был санкционирован народным приговором. «Вы, — сказал он, — находите нужным, чтобы я принес народу новую жертву, и я это сделаю, если голос народа предпишет мне то, что разрешает ваше постановление». Дело перешло в государственный совет, где переизбрание на новое десятилетие было заменено прямо пожизненным консульством. Сенат и трибунат с законодательным корпусом присоединились к этому решению, и в июле 1802 г. новый плебисцит даровал первому консулу пожизненную власть тремя с половиною миллионами голосов против полутора десятков тысяч отрицательных ответов. Приняв из рук народа новую власть, Наполеон выразил желание, чтобы соответственно с этой переменной были произведены в конституции VIII г. и необходимые переделки. Ответом на это был сенатус-консульт X г. По новой конституции, какую из себя представлял названный акт услужливого сената, первый консул, сделавшись пожизненным, получал еще право назначить себе преемника, равно как право ратифицировать трактаты с иностранными державами и миловать преступников. «Теперь, — говорил Наполеон, — я нахожусь наравне с другими государями, ибо в конце концов ведь и они только пожизненны. Нельзя, чтобы власть человека, ведущего дела Европы, была или, по крайней мере, казалась непрочной». Вместе с этим сенатус-консульт X г. изменял отношение первого консула к законодательным собраниям и вводил перемены в их организации. Государственный совет превращался в своего рода тайный совет нового монарха Франции. Число членов трибуната, как мы видели, сокращалось, и сам он разделялся на секции. У законодательного корпуса было отнято право вотировать мирные и союзные договоры, принадлежавшее ему по конституции VIII г., так как право заключения таких договоров находилось теперь в руках лишь самого первого консула. Сенат получил некоторое расширение своих прав по отношению к другим учреждениям, но был поставлен в большую зависимость от первого консула. Сенат мог теперь распускать законодательный корпус и трибунат и собственной властью назначал президентов и членов бюро обоих собраний, причем последние были лишены права предлагать своих кандидатов на вакантные сенаторские места. По конституции VIII г. сенат сам должен был пополнять убыль среди своих членов из трех кандидатов, представленных ему первым консулом, трибуналом и законодательным корпусом: это право за сенатом было оставлено, но все три кандидата теперь указывались сенату одним первым консулом. Конституция VIII г. заключала в себе неко-

торые статьи, создававшие своего рода условия независимости сенаторов: они были пожизненны, несменяемы и не могли занимать других должностей, дабы их нельзя было подкупить теми или другими почетными или выгодными назначениями. Последнее ограничение было уничтожено сенатус-консультом X г., а год спустя Наполеон создал еще так называемые сенатории (senatories), богатые дотации с доходом в 25—80 тыс. франков, которые, конечно, служили наградой за послушание сенаторам, наиболее входившим в виды нового владыки Франции. По проекту Сиеса сенат должен был сделаться главной частью конституции, но и изменения, какие были внесены в этот проект Наполеоном, все еще оставляли за сенатом некоторую возможность соперничать с первым консулом: конституция X г. превращала сенат в учреждение, члены коего, в сущности, уже вполне зависели от первого консула. Теперь Наполеон не побоялся даже расширить права сената. По инициативе правительства он мог органическим сенатус-консультом дополнять или объяснять конституцию в случаях пробелов или неясностей, а простыми сенатус-консультами, когда явится надобность, отменять действие конституции в отдельных департаментах, отменять в них суд присяжных, кассировать решения судов, если в них заключается вред для безопасности государства, и т. п.; распускание законодательного корпуса и трибуната могло совершиться равным образом только в силу сенатус-консульта по инициативе правительства. В руках Наполеона сенатус-консульты сделались весьма удобным средством добиваться всего, что он считал для себя нужным. Само установление империи было делом органического сенатус-консульта XII г. Прибавим, что конституция X г. еще более стеснила избирательные права нации, и без того ничтожные по конституции VIII г. Коммунальные нотабли составляли кантональное собрание, которое и выбирало пожизненных членов избирательных коллегий — окружных и департаментских, представлявших первому консулу кандидатов на некоторые должности. К выборным членам этих коллегий первый консул имел право присоединить во всякое время по своему усмотрению известное число членов, назначенных им самим, а кроме того, в голосовании избирательных коллегий имели право участвовать все чиновники; наконец, председатели их назначались самим первым консулом.

Пожизненное консульство было настоящей монархией — Наполеону недоставало только соответственного титула. В Тюильри, где он поселился еще в начале 1800 г., его окружал настоящий двор; и возвратившиеся эмигранты, из коих многие стали появляться при этом дворе, содействовали в сильной степени возвращению в общество старых монархических традиций и нравов. Твердая власть первого консула обеспечивала спокойствие внутри страны, а его новые победы над внешними врагами покрывали нацию славой. Одни только непримиримые роялисты и немногие либералы 1789 г. и республиканцы, оставшиеся верными идеям свободы и равенства, не хотели признавать новую власть. Для первых установление пожизненного консуль-

ства было особенно сильным ударом, лишая их надежды на скорое возвращение Бурбонов. Роялисты после неудачного покушения 3 нивоза не оставляли своего намерения погубить Наполеона, и Англия, с которой у первого консула война скоро возобновилась, как деньгами, так и всякими иными средствами помогала роялистическим заговорщикам. Главой последних был граф д'Артуа, живший в Англии, а наиболее деятельными членами нового заговора были Дюмурье и Пишегрю¹. Решено было сблизиться с генералом Моро, стоявшим во главе умеренных республиканцев, и с этой целью Пишегрю решил даже приехать в Париж: роялисты рассчитывали сделать из Моро второго Монка, который произвел бы во Франции реставрацию Бурбонов. Отделаться от первого консула, захватив его или убив при его проезде по улице, должен был старый вожак вандейцев Жорж Кадудаль, нарочно прибывший в Париж и рассчитывавший сделать это при помощи целой банды единомышленников. Лондонские агенты Наполеона предупредили его об опасности, заговорщики были переловлены, преданы суду и казнены. Моро, могший по своей популярности в армии сделаться опасным соперником Наполеона, был арестован, также судился за свои сношения с Пишегрю (задушенным в своей тюрьме) и был приговорен к двухгодичному тюремному заключению и высылке затем в Америку. На допросе Кадудаль заявил, что его сообщниками были сами принцы королевского дома. Этого было достаточно для Наполеона, чтобы показать пример другим на одном из них, молодом герцоге Энгиенском (из фамилии принцев Конде), хотя последний ни душой, ни телом не был виноват в заговоре. Он жил в то время в великом герцогстве Баденском (в Эттенгейме) на пенсию английского правительства, которому предлагал образовать из недовольных в Эльзасе вольный отряд для войны с Наполеоном. Появление в Швейцарии и Южной Германии английских агентов, приезжавших сюда для агитации против Наполеона, дало повод заподозрить присутствие в числе их самого Дюмурье, который, по одному донесению тайной полиции Наполеона, будто бы виделся и с принцем. 15 марта 1804 г. принц был схвачен французскими драгунами на чужой территории, привезен в Париж и немедленно в ночь на 21 марта приговорен судом к расстрелянию во рву Венсенского замка. На просьбу Жозефины помиловать пленника Наполеон отвечал: «Я — государственный человек, я — французская революция, и я ее поддерживаю»². Известие об этом злодеянии встречено было с негодованием во всей Европе и оттолкнуло от Наполеона

¹ Дюмурье перешел на сторону неприятеля еще в 1794 г., а Пишегрю был в числе членов совета пятисот, сосланных после 18 фрюктидора в Кайену, откуда он бежал в Англию.

² Cadoudal G. de. Georges Cadoudal et la chouannerie, 1887. О принце Энгиенском и его процессе есть целая литература, указанная отчасти в соч.: *Boulay de la Meurthe. Les dernières années du duc d'Enghien*. См. еще: *Fayet N. de. Recherches historiques sur le procès du duc d'Enghien*, 1886. Welschinger. *Le duc d'Enghien*. Любопытные подробности об этом есть в новых (1893) *Mémoires du chancelier Pasquier publiés par le duc d'Audiffret-Pasquier* (т. I).

многих примирившихся роялистов. Как раз в это время ставился и решался вопрос о принятии Наполеоном императорского титула.

О том, что это должно было случиться, уже раньше говорили и во Франции, и за границей: употребляли даже выражения «Галльская империя» (*empire des Gaüles*), «император галлов» (*empereur des Gaulois*). Инициатива поднесения первому консулу императорского титула вышла из сената, который введением наследственной власти в конституцию VIII—X гг. думал обеспечить свое собственное существование против всякой случайности, и вот он воспользовался последним заговором на жизнь первого консула, грозившим опасностью всему новому государственному строю, чтобы оправдать необходимость такой перемены в глазах нации, в свою очередь радовавшейся неудаче покушения на жизнь Наполеона. Главным двигателем всего дела явился Фуше, который в 1793 г. вотировал казнь короля, был у Наполеона министром полиции, но, потеряв это место, только и думал о том, чтобы снова войти в милость своего господина. Едва прошла неделя после убийства герцога Энгийенского, как к первому консулу явилась депутация от сената с просьбой упрочить и увековечить свое великое дело возрождения Франции. Наполеон просил срока, чтобы подумать, а между тем префекты, правительственные чиновники, стоявшие во главе департаментов, и генералы готовили народ и армию к новой перемене в конституции. Особенно было обращено внимание на армию, а сенату с законодательным корпусом и трибунатом давали понять, что войско сгорает от нетерпения видеть своего любимого вождя облеченным высшей властью. В конце апреля один из членов трибуната, Кюре, которому была обещана богатая сенатория, внес в трибунат предложение, составленное в кабинете первого консула: правительство французской республики предлагалось вручить Наполеону Бонапарту с титулом императора и с наследственной передачей императорского достоинства его потомству. После этого Наполеон ответил на адрес сенаторов. «Вы, — говорил он, — в этом ответе сочли нужным установить наследственность высшей магистратуры, чтобы поставить французский народ вне опасности от заговоров наших врагов и от смут, какие могли бы произойти от честолюбивого соперничества. Вы нашли, кроме того, необходимым усовершенствовать некоторые из наших учреждений, дабы навеки обеспечить торжество равенства и общественной свободы и доставить нации и правительству двойную гарантию, в коей они нуждаются... Я хочу, чтобы 14 июля в этом году мы могли сказать французскому народу: пятнадцать лет тому назад в порыве чувств вы взяли за оружие, вы приобрели свободу, равенство, славу; ныне эти первые блага народов, упроченные за вами на веки, находятся вне всяких бурь, они сохранены для вас и для детей ваших». В трибунате установление империи сделалось предметом льстивых речей, в коих, например, Наполеон ставился выше Карла Великого (таких речей было произнесено девятнадцать); из трибунов один только Карно подал голос против. Наскоро созванный в чрезвычай-

чайную сессию законодательный корпус вотировал в благоприятном же смысле. Между тем в особом комитете, состоявшем из обоих консулов и Фуше с Талейраном под председательством самого Наполеона, была выработана новая конституция, принятая затем сенатом, где против нее подано было лишь четыре голоса, в том числе Сиесом, и получившим название органического сенатус-консульта 28 флореаля XII г.¹ Предложение о наследственности императорского достоинства было подвергнуто плебисциту, и 15 брюмера XIII г. (6 ноября 1804 г.) было объявлено, что из 3 524 254 граждан, подавших голоса, утвердительных было 3 521 675.

Конституция XII г. не налагала никаких ограничений на императорскую власть, и лишь немногие сенаторы заявляли о необходимости некоторых гарантий ввиду нового усиления власти главы государства. В этой конституции Франция названа была еще республикой, правление коей вверялось наследственному императору французов: Наполеон считал нужным еще сохранять имя республики, и на монетах, чеканившихся в первые годы империи (до 1807 г.), на одной стороне была надпись «*République Française*», на другой — «*Napoléon Empereur*». Сенатус-консульт XII г. заключал в себе постановления о престолонаследии, об императорской фамилии, о регентстве и устанавливал целую иерархию высших чинов империи (*grandes dignités de l'empire*, каковыми были *grand électeur*, *archichancelier de l'empire*, *archichancelier d'état*, *architrésorier*, *connétable* и *grand amiral*²), маршалов и т. п. Сенат еще более делался зависимым от главы государства: в состав сената должны были входить все французские принцы старше 18 лет, высшие государственные сановники (обладатели названных *grandes dignités*) и граждане, «коих император найдет подходящим (*convenable*) возвысить в сан сенатора» кроме восьмидесяти лиц, назначавшихся прежним порядком; председатель сената назначался также императором. В виде утешения сенату за потерю им прежних прав, а главным образом для замаскирования настоящего характера конституции, учреждались в сенате две комиссии, из семи членов каждая, они назывались: «сенаторская комиссия личной свободы» и «сенаторская комиссия свободы печати», а учреждались они для того, чтобы сенат по их докладу мог объявлять: «есть сильные основания предполагать (*il y a de fortes présomptions*), что такой-то был произвольно задержан», или «что свобода прессы была нарушена». В течение всех десяти лет, когда действовала конституция XII г., сенату ни разу не пришлось воспользоваться этим правом и, разумеется, не потому, что за этот период во Франции индивидуальная свобода и свобода печати пользовались действительно неприкосновенностью. Наконец, как было уже упомянуто, законодательному корпусу было разрешено обсуждать законы в закрытых заседаниях так называемых общих коми-

¹ Республиканский календарь был отменен во Франции только в 1806 г.

² Верховный избиратель, имперский канцлер, государственный канцлер, верховный казначей, главнокомандующий армией, главный адмирал и пр. — *Прим. ред.*

тетов (юридического, административного и финансового). Главные деятели установления империи получили награды: Камбасерес и Лебрен сделались — один архиканцлером, другой — архиказначеем империи, Талейран, сохранивший пост министра иностранных дел, был пожалован в великие шамбеланы, Фуше снова сделался министром полиции, четырнадцать генералов назначены были маршалами Франции.

В то же время был организован императорский двор, а 2 декабря 1804 г. сам папа Пий VII, нарочно приехавший в Париж, помазал «народного избранника» на царство в соборе Парижской Богоматери¹.

Менее чем в пять лет славный победами республиканский генерал, проложив себе путь к власти государственным переворотом, совершенным при помощи военной силы, сделался из гражданина Бонапарта императором французов Наполеоном I. По существу дела, его власть была не чем иным, как военным деспотизмом, или цезаризмом. И во времена консульства, и во времена империи учреждения, представлявшие собою народ, были простыми декорациями, за которыми скрывался абсолютизм Наполеона. Мы видели, что в 1807 г. трибунат, казавшийся Наполеону несовместимым с остальными учреждениями империи, был уничтожен. С законодательным корпусом он также не церемонился. Уже в 1805 г. во время вакансии законодательного корпуса император получил от сената разрешение на рекрутский набор, хотя это по конституции зависело от законодательного корпуса, и так как последний потом не протестовал, то Наполеон стал и впредь прибегать к сенатус-консультам, чтобы легализировать то или другое из своих распоряжений. Статья конституции VIII г., по которой объявление войны должно было обсуждаться, декретироваться и провозглашаться в виде закона, постоянно нарушалась. 1809 г. прошел без сессии законодательного корпуса, и никто на это не обратил большого внимания. После несчастного похода в Россию, заметив в законодательном корпусе признаки некоторой оппозиции, император отсрочил его заседания, сам установил бюджет и ввел новые налоги, т. е. нарушил прямым образом права этого учреждения. «От чьего имени говорите вы? — спрашивал он в 1813 г. — Ведь только я, один я — настоящий представитель народа». «Государство, это — я» Людовика XIV было бы столь же уместным и в устах Наполеона I.

Сравнивая учреждения консульства империи с теми конституционными планами, которые были в голове Бонапарта еще во время его первого итальянского похода, мы можем сказать, что конституции VIII, X и XII гг. были не чем иным, как осуществлением идей о государственном устройстве, которые еще задолго до переворота 18 брюмера высказывал Наполеон по поводу внутренних итальянских дел.

¹ Об этом см. в следующей главе (в связи с историей взаимных отношений Наполеона и папы).

VII. Внутренняя политика консульства и империи¹

Значение 18 брюмера в истории революции. — Взгляд Наполеона на революцию и его политическая теория. — Милитаризм империи. — Деспотический нрав Наполеона и его правительственные способности. — Организационная работа консульства и ее значение для Франции. — Гражданский кодекс. — Отношение Наполеона к религии. — Конкордат. — Церковные отношения в эпоху империи. — Столкновение Наполеона с папой. — Полиция Наполеона. — Его отношение к образованию, науке, литературе, театру и периодической прессе. — Цензура при Наполеоне. — Экономическая политика консульства и империи. — В чем сходна внутренняя политика Наполеона с просвещенным абсолютизмом?

Мы уже видели, как следует смотреть на то отношение, в каком консульство и империя находятся к революции. Хотя и на другой день после 18 брюмера, и при принятии Наполеоном императорского достоинства делались ссылки² на те события 1789 г., которые всеми признавались за самые важные в истории завоевания французским народом политической свободы, тем не менее на деле переворот 18 брюмера положил конец революции и на пятнадцать лет лишил Францию всякого подобия свободы. Через день после окончания работ над конституцией VIII г. временные консулы обратились к нации с прокламацией, в которой сказано было, что революция, утвержденная на своих первоначальных принципах, может считаться оконченной: «la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée, elle est finie». В этом заявлении верным было только то, что говорилось об окончании революции. Революция действительно была кончена. Так смотрел на дело и сам Наполеон. Излагая его биографию до 18 брюмера, мы остановились на некоторых фактах, указывающих на то, каково было его отношение к революции в самом ее начале: если Наполеон явился теперь ее усмирителем, то

¹ Кроме Тьера, Ланфрэ и Тэна (*Le regime moderne*), см.: *Blanc*. Napoléon I, ses institutions civiles et administratives, 1880; *Durand*. Le premier consul législateur; *Aucoc*. Pelet de la Lozère. Opinions de Napoléon au conseil d'état; *Stourm*, *Nicolas C.* Les budgets de la France, depuis le commencement du XIX siècle; *Sévin*. Étude sur les origines révolutionnaires des Codes Napoléon; *Troplong*. De l'esprit démocratique dans le code civil; *Pérouse*. Napoléon et ses lois civiles. О положении католической церкви вообще в эпоху революции см. соч. Sciout, а при империи: *Haussonville*. L'église romaine et le premier empire; *Theiner*. Histoire des deux concordats; *Buissac*. Le concordat de 1801 et les articles organiques; *Artaud*. Vie et pontificat du pape Pie VII; *Fauchille*. La question juive sous le premier empire. 1886; *Liard*. L'enseignement supérieur en France de 1789 à 1889, 1888; *Lesmaret*. Quinze ans de haute police sous Napoléon; *Destrem J.* Déportations du consulat et de l'empire; *Hérissou*. Le cabinet noir, 1886; *Welschinger*. La censure sous le premier empire, 1882; *Merlet*. Tableau de la littérature française de 1800 à 1815.

² Дело шло о клятве в Jeu de Paume и о разрушении Бастилии.

вовсе не по сочувствию к старому порядку. После 18 брюмера ему не раз приходилось высказываться о революции, и, конечно, настоящий его взгляд мы должны искать не в официальных заявлениях, в коих он старался представить свою власть как наилучшую гарантию для приобретений революции, а в его интимных беседах, переданных нам авторами мемуаров. В числе лиц, в эпоху консульства стоявших особенно близко к Наполеону, был известный химик Шапталь, сделанный после 18 брюмера членом государственного совета, а вскоре затем министром внутренних дел, каковым и оставался до первых месяцев империи. В недавно изданных воспоминаниях его о Наполеоне¹ есть весьма интересные места. Наполеон, читаем мы в одном из таких мест, «часто говорил, что когда он стал у кормила правления, Французская революция не была еще окончена, что ему удалось ее подавить, но что если бы он не стал употреблять решительных и сильных мер, она скоро опять пошла бы по своему проторенному пути. Это-то и заставляло его с такою бдительностью в самом зародыше уничтожать партии, которые бы только могли пробудиться к жизни. Но именно с тех пор он и чувствовал себя вынужденным сойти с конституционного пути. Он, — продолжает вспоминать Шапталь, — часто говорил и не без основания, может быть, что Франция еще не привыкла к его власти, что на него смотрят, как на пришельца, что даже утверждают, будто он должен бы был считаться с одолжением, сделанным ему народом, который его возвел на престол, и что, следовательно, ему нельзя было распускать вожжей. Он прибавлял еще, что разве только старые династии могут быть безнаказанно популярными». «Моя империя рушится, — говорил он Шапталю, — лишь только я перестану быть страшным. Я не могу допустить, чтобы кто-нибудь осмеливался что-либо предпринимать, немедленно же не подавляя со своей стороны этого предприятия. Я не могу позволить, чтобы мне угрожали, сам не нанося удара тем, кто вздумал бы это делать! Ведь вокруг меня нет ни одного генерала, который не полагал бы, что и он имеет такие же права на престол, как и я. Нет ни одного сколько-нибудь влиятельного человека, который не воображал бы, что именно он проложил мне дорогу 18 брюмера. Я вынужден поэтому быть очень суровым с этими людьми. Если бы я держал себя с ними на равной ноге, они скоро разделили бы между собой мою власть и общественное достояние... И внутри, и вне я царствую в силу внушаемого мною страха. Если бы я оставил эту систему, меня не замедлили бы низложить с престола. Вот мое положение и мотивы моего поведения». Конечно, Шапталь передает не подлинные разговоры с Наполеоном, а общий их смысл, и то, что сказано в приведенном отрывке, как нельзя более соответствует и положению Наполеона после 18 брюмера, и всему его поведению с тех пор, как он получил власть. На последнюю он смотрел как на единственное средство не дать продолжать революцию тем

¹ *Chaptal. Mes souvenirs sur Napoléon*, 1893.

лицам и партиям, которые не считали ее оконченной или просто стремились захватить власть в свои руки. Сама революция казалась ему болезненным кризисом, который был пережит французским народом и которому пора прекратиться, раз устранены причины, вызвавшие болезнь. «Наполеон, — рассказывает еще Шапталъ, — часто говорил, что у нации бывают также разные болезни, как и у отдельных лиц... Все, что удручает или стесняет общественное тело в его нуждах, верованиях, вкусах, в его независимости, производит болезненное состояние, которое выражается в жалобах и разрешается восстанием. Французский народ, — говорил он, — оскорбляли в самых дорогих его интересах. Дворянство и духовенство унижали его своим высокомерием и своими привилегиями. Они утесняли его правами, которые присвоили себе над его трудом. Он долго томился под этим гнетом, но наконец он захотел сбросить с себя иго, и революция началась. Падение монархии было лишь следствием препятствий, которые ставились движению, но отнюдь не входило в намерение революционеров. Наполеон, — продолжает Шапталъ, — смотрел на то более или менее деятельное участие, какое всякий принимал в революции, как на результат политической лихорадки, овладевшей всеми головами. В этом он не видел большего зла, чем то, какое производят поступки бесноватых, и он прощал всем, за исключением нескольких дворян, которые, будучи осыпаны милостями двора, содействовали низвержению своего монарха». В другом месте Шапталъ говорит еще: «Особенно необычайным покажется потомству то, что Бонапарт, который в молодости обнаружил горячую любовь к свободе, Бонапарт, который одобрял самые кровавые сцены революции и сам даже принимал в них участие, мог потом поработить нацию и отнять у нее всякую независимость. Но, — прибавляет он, — о Наполеоне можно говорить то, что последовательно говорилось обо всех, принимавших участие во власти в бурные периоды революции, а именно, что свобода существовала только для них и что, по их мнению, для доставления торжества их идеям, нужно было подавить или уничтожить идеи других». Это замечание совершенно верное, но следует прибавить, что Наполеон по крайней мере, подобно своим революционным предшественникам, не прикрывал своего деспотизма именем свободы. В приведенном объяснении Наполеоном причин революции мы не находим указания на отсутствие в старой Франции личной и общественной свободы: все сводится здесь к неравенству, к привилегиям. Наполеон очень хорошо понял, что среди республиканцев конца прошлого века было немало людей, собственно говоря, стремившихся только к власти, хотя бы и на подчиненных местах, и вот он делал таких людей министрами, сенаторами, членами государственного совета, депутатами, судьями, префектами и т. п. Он не верил, чтобы участие в революции тех или других лиц могло объясняться стремлением их к политической свободе. «Вы, французы, — говорил он (по словам г-жи Ремюза), — вы серьезно ничего не умеете желать, за исключением разве одного равенства.

Да и от него охотно, пожалуй, каждый отказался бы, если бы только мог себя представить первым. Нужно каждому позволять надеяться на повышение. Нужно всегда держать в напряжении ваше тщеславие. Суровость республиканского режима вам наскучила бы до смерти... Что произвело революцию? Тщеславие. Что положит ей конец? Опять-таки тщеславие. Свобода — один предлог». «Свобода, — заявил он другой раз, — может быть потребностью лишь весьма малочисленного класса людей, от природы одаренного более высокими способностями, чем масса, но потому она и может быть подавляема безнаказанно, тогда как равенство, наоборот, нравится именно массе». Не веря в стремление нации к свободе, Наполеон и вел себя таким образом, как будто бы нация и на самом деле не желала свободы. При случае и официально он не отказывался произносить имя свободы, но в глубине души он не придавал ему ни малейшего значения, и если что считал настоящим приобретением революции, так это то гражданское равенство, которое, хотя бы и под властью абсолютного правительства, было политическим идеалом громадного большинства французов. И смотря с такой точки зрения на своих современников, Наполеон не ошибался, как не ошибался и относительно стремления их к повышению, относительно их жажды власти, хотя бы и на подчиненных местах, относительно их тщеславия; он и действовал, главным образом, на эти страсти, и немудрено поэтому, что сама революция казалась ему результатом простого тщеславия.

Впоследствии, уже после своего падения, на о. Святой Елены Наполеон старался представить в ином виде свое отношение к революции. В знаменитом «Мемориале», писавшемся здесь под его диктовку, говорилось, что его исторической миссией было обеспечить торжество революции в качестве умерителя ее внутри и защитника извне: он возжег ее светочь, он освятил ее принципы, он был ее солдатом, и преследования сделали из него ее мессию. Установление империи он объяснял тогда необходимостью защитить принципы и интересы революции от внутренних и внешних врагов, и этой же задачей он объяснял свою борьбу со всей Европой, в которой он и распространил принципы революции. Наполеон решался даже утверждать, будто его правление было конституционной и умеренной монархией, и будто в его царствование французы были самым свободным народом в Европе. В свое время Наполеон отдал дань «идеологии» XVIII в., выражениями которой охотно пользовался и после, когда это ему было нужно. На самом деле его политическая теория была далека от тех, какие были созданы XVIII в. Народовластие представлялось ему как широкая основа для правительства с неограниченными правами, ибо, по его мнению, правительство и есть истинный представитель нации: так думал он еще в 1797 г. и то же мнение высказывал в 1813 г. Он готов был и на практике признавать народное верховенство, но весьма оригинальным образом. «Моя политика, — сказал он однажды в заседании государственного совета в первый год консульства, — состоит в

том, чтобы управлять людьми так, как того хочет большинство. Превратившись в католика, я кончил вандейскую войну; сделавшись мусульманином, я утвердился в Египте; ставши ультрамонтаном, я привлек на свою сторону попов в Италии. Если бы я управлял народом, состоящим из евреев, я бы восстановил храм Соломона. По той же причине я буду говорить о свободе в свободной части Сан-Доминго, но я утвержу рабство на Иль-де-Франсе или в другой части Сан-Доминго, предоставив себе смягчить и ограничить невольничество там, где я его удержу, и, наоборот, восстановить порядок и поддерживать дисциплину там, где я сохранию свободу. В этом-то, кажется мне, и заключается признание народного верховенства» (*C'est là, je crois, la manière de reconnaître la souveraineté du peuple*). То государство, которое создавал Наполеон, не должно было знать свободы: неограниченная верховная власть народа целиком переносилась на «настоящего представителя народа», на правительство, и именно таково было значение тех плебисцитов, которые миллионнами голосов делали Наполеона сначала консулом на десять лет, потом консулом пожизненным и, наконец, императором французов. Гораздо лучше понимал Наполеон равенство; но и равенство в его политическом мирозерцании было не чем иным, как одним из проявлений простого единообразия, бывшего его государственным идеалом. Подведение всех и всего к одному знаменателю и уничтожение средостения (*liens intermédiaires*) между государем и самым последним классом народа казались ему величайшим благом и вместе с тем необходимым условием совершенной полноты власти государя. Официальным историкам он заказывал историю Франции от смерти Людовика XIV до VIII г., и, по его мысли, в этой истории должно было быть выставлено на первый план, насколько «легче дышится» в новой Франции только потому, что в ней существует единство администрации и законов. Стремлением Наполеона было распространить строгое единообразие, какое при нем получила Франция, и на всю Европу. С другой стороны, он был врагом феодализма, поскольку последний создавал аристократическое средостение между монархом и народной массой, понимая, что свобода нравится лишь немногим, что масса любит только равенство, хотя все это и не мешало ему создавать новую придворную, военную и чиновную знать, в состав которой он особенно стремился привлечь старое дворянство.

К тому режиму, который был установлен Наполеоном, наиболее подходит характеристика военной команды. «Чтобы хорошо управлять, — говорил он, — нужно быть военным; хорошо управлять можно только со шпорами и в ботфортах». Действительно, власть Наполеона была чисто военным деспотизмом. В эпоху Директории армия была единственной организованной силой среди дезорганизованной страны, и установление власти победоносного генерала над государством, обессилевшим от революционной бури, было, в сущности, завоеванием Франции гражданской Францией военной. Бесперывные войны консульства и империи сами по себе выдвигали ар-

мию на первый план. Наполеон, со своей стороны, делал все, что только могло привязать к нему солдат, офицеров и генералов. Когда он был только первым консулом, он иногда приглашал к своему столу простых солдат (случалось, человек по двести), имевших почетное оружие, угощал их, шутил с ними, пил за их здоровье, заставлял рассказывать, кто за что получил почетное ружье или почетную саблю. И в эти годы, и впоследствии, будучи императором, он посещал казармы и обнаруживал на глазах солдат заботливость о том, чтобы их содержание было хорошее. Солдаты боготворили «маленького капрала». Каждый солдат мог рассчитывать на повышение, и быстрое повышение делалось действительно тем средством, коим Наполеон пользовался, чтобы привязать к себе военную силу. В 1802 г. первый консул учредил орден Почетного легиона, получить который сделалось целью стремлений великого множества французов. Революция уничтожила какие бы то ни было знаки отличия, и в 1802 г. некоторые республиканцы указывали Наполеону на то, что в республике таких игрушек не нужно. «Вы называете это игрушками (*hochets*), — возражал Наполеон, — так знайте же, что этими самыми игрушками можно водить людей». Повышение офицеров происходило весьма быстро, и притом военная карьера была одной из наиболее выгодных в материальном отношении: генералы и полковники получали большое жалование, денежные награды, имения в завоеванных странах, а тут еще их тщеславию льстила возможность получить титул барона, графа, князя, герцога¹. Конституция XII г. восстанавливала титул маршалов Франции: сделаться маршалом стало высшей целью стремлений каждого честолюбивого генерала. Особое положение в войске заняла гвардия (сначала консульская, потом императорская): попасть в эту гвардию сделалось предметом самых лучших мечтаний для громадного большинства солдат, потому что на гвардейцев сыпались все милости Наполеона — кресты, денежные награды, разные поощрения; гвардию лучше кормили, красивее одевали, и она пользовалась привилегией сражаться на глазах самого императора или составлять запасную силу для нанесения окончательного удара неприятелю. Военные победы прославлялись официально и неофициально, в прозе и в стихах; для солдат устраивались праздники, увеселения, зрелища; ее² славу должны были увековечивать картины и другие памятники искусства. В военной среде Наполеон чувствовал себя лучше, чем где бы то ни было: здесь все было основано на безусловном послушании, здесь все было нивелировано перед одной высшей властью. Понятно, что принципы военной команды, солдатского повиновения, казарменного единообразия и дисциплины казались ему наиболее пригодными и для управления государством.

¹ Между тем от членов ордена Почетного легиона требовалась присяга противиться восстановлению феодального режима и соединенных с ним титулов.

² То есть гвардии. — *Прим. ред.*

Личный характер Наполеона вполне гармонизировал с той ролью, которую ему, гениальному полководцу, пришлось играть в исторической жизни Франции. Властную натуру будущего повелителя Европы разгадали в нем, когда он был еще подростком, его воспитатели. Совсем молодым еще человеком он в родной семье был уже настоящим командиром, не терпевшим противоречия. Чем далее, тем более развивался деспотический нрав Наполеона, и в каждом человеке, из кого только он хотел сделать орудие своей воли, он умел разгадать ту страсть или ту слабость, на которую нужно было действовать, дабы подчинить себе этого человека, было ли то властолюбие или честолюбие, тщеславие или любостязание и т. д. Эгоизму и сомнению Наполеона не было границ; ему все должно было служить и все должно было повиноваться. Еще на первых порах, когда ему были неясны многие вопросы законодательства, администрации, финансов, он окружал себя людьми, которые, по его мнению, были сильны в вопросах этого рода, слушал их совета, допускал с их стороны возражения, но когда ему стало казаться, что он овладел вполне знанием всех сторон государственного быта, он стал сторониться от людей с талантом и инициативой, окружал себя раболепными исполнителями своей воли, не терпел противоречия. Слушаться, не рассуждая, было требованием, которое он предъявлял всем и каждому, и, конечно, находилось много людей, умевших удовлетворить этому требованию. Маршал Даву сравнивал свою преданность императору с преданностью Маре¹: если бы, говорил он, император в видах своей политики потребовал разрушения Парижа и чтобы никто оттуда живым не вышел, Маре, конечно, сохранил бы это в тайне, но, наверное, повредил бы ей, постаравшись вывести из города свою семью; а вот он, Даву, именно оставил бы в городе и жену, и друзей, чтобы никто не догадался о существовании тайны. И Наполеон требовал от своих слуг исполнения таких дел, что нужно было не считаться с существованием ни совести, ни чести. Не у одного из верных исполнителей его воли тем не менее вырывалось восклицание: однако трудно бывает подчас служить императору! Сам Наполеон понимал это хорошо и говорил, что «счастлив только тот, кто прячется от него где-нибудь в провинциальной глуши». Однажды он спросил, что будут говорить после его смерти, и когда получил в ответ, что все его будут оплакивать, — «совсем нет», с живостью возразил он и, представив человека, только что отделавшегося от тяжелой ноши, прибавил: «Скажут только — уф!» Когда было нужно, Наполеон умел быть обворожительным, но, в общем, в его присутствии все чувствовали себя стесненными, особенно в эпоху империи. В личных сношениях он был в высшей степени щепетилен, требователен, раздражителен и груб. Он совсем не понимал своих обязанностей по отношению к государству: все его стремления сводились к одному — к собствен-

¹ Имеется в виду Ю.-Б. Маре, с 1811 г. — министр иностранных дел в правительстве Наполеона. — *Прим. ред.*

ному возвышению. «Мой брат, — характеризовал его за год до установления империи Иосиф Бонапарт, — желает, чтобы все так чувствовали необходимость его существования и чтобы это существование было таким благом, что нельзя было бы без содрогания и представить себя без него. Он знает и он чувствует, что на этом-то и держится его власть, а не на силе или благодарности. Если бы завтра или когда-нибудь можно было сказать, что вот установился прочный и спокойный порядок вещей, преемник консула назначен и Бонапарт может умереть, не вызвав этим ни смут, ни опасных нововведений, то мой брат уже не считал бы себя в безопасности». Будущего после его смерти для него как бы не существовало. Однажды ему указали, что после него невозможно будет управлять такой громадной империей, какую он создал благодаря своим завоеваниям. «Что же, — заметил Наполеон, — если мой преемник будет глуп, тем хуже для него». Известно, наконец, и то презрение, с каким Наполеон относился к человеческой жизни, к «пушечному мясу» солдат. В эпоху крушения империи австрийский дипломат Меттерних, склонявший его к миру, указывал ему на то, что его солдаты почти дети. «И когда эта армия юношей исчезнет, что станете вы делать?» — спросил он его. «Вы, — отвечал Наполеон, — не солдат и не можете знать, что совершается в душе солдата. Я вырос на полях битв: такому человеку, как я, наплевать на жизнь миллиона людей!»

С этим бессердечием, с этим эгоизмом, с этим деспотическим нравом соединялись в Наполеоне недюжинные правительственные способности, которые он обнаружил в первые же месяцы консульства. Организаторский талант, проявившийся в его деятельности во время итальянского похода и египетской экспедиции, был применен им и к упорядочению внутренних отношений Франции после 18 брюмера. Умственные способности и рабочая сила первого консула поражали его сотрудников, как о том единогласно свидетельствуют все воспоминания современников, даже таких, которые (как, например, упомянутый Шапталъ) несочувственно относятся к нему как к человеку. Теоретическое образование Наполеона в вопросах политики, администрации, финансов было самое поверхностное, если только можно называть образованием то, что остается после несистематического, отрывочного и беглого чтения кое-каких книг, касающихся общества и истории, но, по общим отзывам, он умел довольно ловко скрывать свое невежество во многих очень важных вопросах. Тем не менее в его голове была накоплена всегда громадная масса фактов; он весьма быстро их комбинировал и легко ориентировался в каждом принципиальном вопросе, который обсуждался в его присутствии. Шапталъ, сделанный, как мы видели после 18 брюмера членом государственного совета, говорит в своих воспоминаниях, что, работая с первым консулом в это время, он хорошо узнал его ум и энергию. «Совсем еще молодой и плохо осведомленный относительно отдельных сторон администрации, — характеризует Шапталъ Наполеона 1800 г., — он вносил в об-

суждение дел ясность, точность и силу мысли и широту взгляда, которая нас удивляла. Неутомимый в труде, с большим запасом сил, он, с беспримерной проницательностью, связывал и соединял отдельные факты и мнения с великой системой администрации. Более желая узнать что-нибудь, чем проявить знания, коих у него по молодости лет и чисто военному образованию и быть не могло, он часто требовал определений для отдельных слов, спрашивал, как было то или другое до его правления, и, прочно установив основания, делал из них выводы всегда к выгоде современного положения дел. Работая до двадцати часов в сутки, он никогда не обнаруживал ни умственного утомления, ни физической усталости, ни малейшего признака ослабления». В других местах тот же Шапталъ говорит еще следующее: «В четыре года своего консульства Наполеон собирал ежедневно несколько советов. Здесь последовательно рассматривались разные предметы, касающиеся администрации, финансов, права. И так как он был одарен великой проницательностью, у него вырывались часто глубокомысленные замечания, в высшей степени верные суждения, удивлявшие людей, наиболее опытных в рассматривавшихся делах. Заседания нередко затягивались до пяти часов утра, так как он никогда не бросал вопроса, не составив себе о нем мнения, и в этом отношении угодить ему было нелегко, так как он редко удовлетворялся тем мнением, какое высказывалось даже самыми сведущими людьми... В одном и том же учреждении он сажал рядом людей, которые по характеру и по убеждениям расходились между собою за последние десять лет, людей, друг друга ненавидевших и бывших между собою в открытой войне, нередко, подвергавших друг друга проскрипции в разные периоды революции... И вот эти люди, сначала удивленные своим соседством в одних и тех же собраниях, в конце концов примирялись между собою и начинали работать вместе. Таким образом, Бонапарт соединял таланты разного рода и сливал вместе все партии... Он совершенно одинаково смотрел на людей, принадлежавших раньше к привилегированным кастам, и на тех, которых выдвинула вперед революция». То же самое говорят и другие свидетельства эпохи.

После введения конституции VIII г. новому правительству предстояла действительно очень трудная задача. Во внутреннем быту Франции все, как было сказано выше, находилось в совершенной дезорганизации, но в какие-нибудь три месяца правительство первого консула упорядочило главнейшие внутренние отношения Франции, создав новую административную систему, которая сделалась предметом удивления и зависти для иностранцев и пережила в самой Франции все сменявшиеся в ней так часто политические режимы. Правда, похвалы, какие системе расточались современниками, были преувеличены или основывались на непонимании слабых ее сторон, и правда то еще, что система эта принесла немало зла Франции, но, во всяком случае, она позволила населению страны, не избалованному свободой при прежних режимах, вздохнуть свободно после

тягостной неурядицы последних годов XVIII в. Мы уже отметили, что 28 плювиоза VIII г. (17 февраля 1800 г.), т. е. через два месяца после составления консульской конституции, был обнародован закон о разделении территории и об администрации: он-то и лег в основу всего управления Францией в XIX в.

Администрация в этом законе была построена на принципе диаметрально противоположном тому, на котором основывалась система управления конституанты. В 1789—1791 гг., собственно говоря, Франция была превращена в совокупность вполне самоуправляющихся департаментов и муниципалитетов с устранением всякого вмешательства со стороны центральной власти, так что даже дела общегосударственного значения были предоставлены ведению органов местного самоуправления. Эту крайнюю децентрализацию, которая, несомненно, содействовала общей дезорганизации, в какой Наполеон застал Францию, новый режим заменил, наоборот, столь же крайней централизацией, с совершенным устранением принципа самоуправления. Во главе каждого департамента поставлен был префект, назначаемый и сменяемый правительством, облеченный исполнительной властью, прямой начальник всех местных властей, в силу чего, например, он имел право отрешать от должности мэра, его помощников и муниципальных советников в общинах, имевших менее пяти тысяч душ населения. В наполеоновском префекте воскресал интендант старого порядка. При префекте существовал особый административный совет (*conseil de préfecture*) с судебными правами, что было тоже возвращением к старому порядку административной юстиции. По принципу Сиеса, проведенному и в этой организации, действовать должен был один, обсуждать — многие, и потому рядом с префектом установлен был в каждом департаменте генеральный совет (*conseil général*), члены коего назначались правительством сначала по спискам департаментских нотаблей, а потом из кандидатов, представлявшихся департаментской избирательной коллегией. Генеральные советы не имели значения ни старых провинциальных штатов, ни введенных незадолго до революции провинциальных собраний: они главным образом занимались раскладкою налогов между отдельными округами (*arrondissements*), на которые были разделены департаменты, совсем не касаясь взимания налогов. В каждом округе был поставлен подпрефект (*sous-préfet*) и учрежден окружной совет, в каждой общине были мэр с одним или несколькими товарищами (*adjoints*) и муниципальный совет; подпрефекты и мэры были назначаемыми от правительства же исполнительными властями — в округах и общинах, а члены окружных и муниципальных советов также назначались правительством, которое, сверх того, поставило общины под опеку префектов в таких делах, как приобретение или отчуждение муниципальных имуществ, иски от имени целой общины и т. п. Кроме того, во всяком селении, в коем было более пяти тысяч душ, существовал особый полицейский комиссар (*commissaire de police*), зависев-

ший прямо от министра полиции. Наконец, Парижу дано было совсем особое устройство. Столица государства была именно разбита на двенадцать муниципалитетов (или округов) с отдельными мэрами, но без особых муниципальных советов, заменявшихся в данном случае сенским генеральным советом, тогда как мэры были подчинены сенскому префекту. Кроме того, в каждом парижском округе был свой полицейский комиссар, и над всем Парижем был поставлен префект полиции (*préfet de police*). Эта административная организация была дополнена судебной, и до сих пор остающейся во Франции без существенных перемен¹. Выборные судьи революции были заменены также назначавшимися от правительства². Закон 18 марта 1800 г. сразу уничтожал все суды, существовавшие по конституции III г., и заменял их новыми, что позволило первому консулу по своему усмотрению обновить весь судебный персонал, а сенатус-консульт 12 октября 1807 г., объявил, что правом несменяемости будут пользоваться впредь лишь судьи, пробывшие в должности пять лет, и что до окончательного установления того, кому будет дано это право, необходимо произвести предварительную очистку всего судебного персонала.

Тот же принцип замены выборных лиц назначаемыми от правительства был проведен Наполеоном и в деле взимания прямых налогов. Уже 21 ноября 1799 г. Наполеон организовал для этого особую *administration des contributions directes*, а потом и целую иерархию директоров, инспекторов и генеральных приходчиков (*receveurs*) и расходчиков (*payeurs*) в департаментах, контролеров, инспекторов и частных приходчиков в округах, сборщиков для нескольких общин. Собственно говоря, в политическом и административном смысле Наполеон восстанавливал Францию старого порядка с характеризующими ее отсутствием общественной свободы и правительственной централизацией: до известной степени он явился прямо наследником политической системы канцлера Моупу, секретарем коего был когда-то Лебрэн, товарищ Наполеона по консульству, человек образованный, хороший администратор и отличный финансист. Конечно, вся новая административная, судебная и финансовая система не была делом одного Наполеона, но целого ряда государственных людей, воспитанных еще старой Францией или революцией, все они работали, однако, в направлении, указанном самим Наполеоном. Понятно, что организационная работа 1800 г. совершалась главным образом в государственном совете, вырабатывавшем законопроекты. Это учреждение оказалось единственным серьезным звеном в цепи законодательных собраний VIII г., настоящим центром управления, где вырабатывались все важные меры правительства. В деле издания законов государственному совету принадлежало, впрочем, лишь совещательное значение, и потому только здесь

¹ Заметим, что Наполеон был врагом суда присяжных, который при нем, однако, удержался.

² Мировые судьи с 1802 г.

Наполеон допускал полную свободу прений, так как считал лично для себя полезным всестороннее обсуждение вопроса, всегда хорошо помнил, что по своему положению в государстве учреждение это отнюдь не могло настаивать на проведении в жизнь своей собственной воли, своих желаний¹.

Громадную работу исполнил государственный совет в эпоху консульства и по составлению свода гражданских законов новой Франции. Задача кодификации гражданского права была поставлена в континентальных странах Западной Европы еще в XVIII в., в эпоху просвещенного абсолютизма, но выполнение этой задачи большей частью было неудачным. Франция XVIII в. в этом отношении отстала от других государств; но когда были созданы генеральные штаты 1789 г., в знаменитых наказах депутатам высказано было весьма многими желание, чтобы Франция получила новое и общее для всей страны законодательство взамен громадного количества старых феодальных кутюмов, которые действовали в отдельных провинциях. Революция не исполнила этого желания наказов 1789 г., хотя вопрос о своде законов и ставился в ту эпоху. Еще в 1793 г. Камбасерес, будущий второй консул, представлял Конвенту проект гражданского кодекса, но только Наполеон, сделавшись первым консулом, назначил особую комиссию (Порталис, Тронше, Биго де Преамене, Маллевильт, Трейльяр, Берлье), которой и поручил составить гражданский кодекс, применив к новому общественному быту отдельные положения римского и канонического права и местных кутюмов, равно как мнения юристов XVII и XVIII вв. и новые революционные законы. В работах этой комиссии принимал довольно деятельное участие и сам Наполеон. Когда проект был готов, то прошел все законодательные инстанции и был принят законодательным корпусом в 1804 г. под названием «Code civil», замененным в 1807 г. названием «Наполеонов кодекс» (Code Napoléon). За этой важнейшей кодификационной работой последовали своды гражданского и уголовного судопроизводства (1806), кодекс торгового права (Code de commerce, 1807) и свод уголовных законов (Code pénal, 1810). Среди этих законодательных работ первая считается наиболее важной и по тому значению, какое получила в жизни не одной Франции.

К первым же годам правления Наполеона относится примирение Французской республики с Католической церковью посредством заключения конкордата с папою. Во многих отношениях это было наиболее трудным делом, тем более что среди лиц, окружавших Наполеона в то время, было много таких, которые отнеслись к конкордату с крайним несочувствием. Быть может, конкордат был наиболее личным делом самого Наполеона, но,

¹ С течением времени, впрочем, роль государственного совета сделалась менее значительной, и Наполеон стал больше полагаться исключительно на самого себя или на советы нескольких угодливых приближенных. В этом отношении Наполеон весьма напоминает нам представителей просвещенного абсолютизма, которые или не имели около себя аналогичного учреждения, или старались обходиться без него при решении наиболее даже важных дел.

во всяком случае, первый консул руководился при этом не религиозным чувством, а чисто политическими соображениями. Громадное, подавляющее большинство нации оставалось верным католицизму, а между тем революция порвала вековую связь государства с церковью: Наполеон понимал, какую силу он извлечет для себя из примирения французского правительства с римской курией. «Я должен, — говорил он Шапталю, — возратить народу полноту его прав в деле религии. Философы, — прибавил он, — будут смеяться, но нация меня благословит». Не следует, однако, думать, что Наполеон явился тут защитником принципа свободы совести, которую попирала церковная политика революции, ибо нередко он с завистью говорил о том, что не может так же господствовать и над совестью своих подданных, как это делали константинопольские императоры.

Собственные религиозные воззрения Наполеона тут тоже были ни при чем. Наполеон родился и воспитывался в век религиозного вольнодумства, и сам он признавался, что сомнение впервые закралось в его душу, когда он был еще тринадцатилетним мальчиком. «Скажут, что я папист, — говорил он¹, — но я — никто: я был мусульманином в Египте, а здесь я буду католиком для блага народа. Я не верю в религию». Наполеон говорил о себе правду. Действительно, во время египетского похода он старался подделываться под магометанство, и в его голове возник даже странный план — для большего успеха предприятия обратить свою армию в мусульманскую веру; нашелся даже генерал, который подал пример обращения, но за ним никто не последовал. В своих прокламациях к жителям Египта Наполеон уверял их, что он исполняет какую-то миссию в пользу магометанства. Например, в обращении своем к населению Каира он говорил следующее: «Разве найдется такой слепец, который не захочет видеть, что сама судьба направляет все мои предприятия? Найдется ли человек, который не верил бы в то, что все в этом великом мире подчинено власти судьбы? Дайте знать народу, что с тех пор, как мир стоит, уже было предначертано, чтобы, победив врагов ислама и низвергнув кресты, я пришел из далекого Запада исполнить возложенную на меня задачу». «Мы, — говорилось в другом воззвании, — ведь тоже истинные мусульмане. Не мы ли сокрушили папу, который велел воевать с мусульманами? Разве не мы же уничтожили мальтийских рыцарей, потому что эти безумцы думали, будто Бог приказывает им вести войну против мусульман?» Если во время египетского похода Наполеон подделывался под мирозерцание магометан, то раньше, когда ему пришлось в 1797 г. говорить официально перед Директорией, устроившей ему торжественный прием по возвращении его из Италии, он подделывался под антикатолическое настроение тогдашних республиканцев, заявляя, что у французской свободы три врага и эти враги суть: роялизм, феодализм и религия. Нет оснований утверждать, что Наполеон отвергал

¹ 21 перриала X г., т. е. в эпоху заключения конкордата.

идею Бога, но лично он не останавливался ни на каком положительном решении вопроса о Божестве. Мало того, он не чужд был даже суеверий, которые, по словам людей, близко его знавших, нередко руководили его действиями. В религии он видел средство удовлетворения известных стремлений человеческой души, но не скрывал при этом, что лично для него религия была прежде всего известным политическим средством. Он называл, например, атеизм, в коем обвинялся один из академиков (Лаланд), «разрушительным началом всякой общественной организации», «разрушителем всякой морали, если не в отдельных личностях, то в целых нациях», и на этом основании считал своей обязанностью требовать, чтобы упомянутый академик «не отравлял нравственности французского народа» своим неверием. Не всякая вера, далее, по мнению Наполеона, могла играть ту социальную роль, за которую он особенно дорожил существованием религии: он был на стороне положительных, установленных вероисповеданий, видя в них нечто вроде прививки оспы, удовлетворяющей стремление человека к чудесному, но вместе с тем гарантирующей его от шарлатанов»; «попы, — говорил он, — лучше, чем Калиостро, Канты и все немецкие фантазеры». Порталис в своей речи об организации культов, как бы развивая мысль Наполеона, доказывал, что даже ложные религии представляют выгоду, препятствуя введению произвольных учений: «У людей есть центр веры; правительствам хорошо иметь дело с раз признанными догматами, которые более не меняются. Суеверие, так сказать, упорядочивается, ограничивается, ставится в известные рамки, из которых оно более не может выйти». На христианство Наполеон смотрел с такой же точки зрения, видя в нем «тайну общественного порядка», ибо оно переносит на небо идею равенства, мешающую здесь на земле бедным резать богатых. Поэтому оно представлялось ему, как одно из тех *instrumenta imperii*, коих он вообще искал: недаром один из слуг Наполеона называл католическое духовенство, как его поставил в государстве конкордат, священной жандармерией (*gendarmarie sacrée*). В его представлении религия и государственная власть так тесно связаны были одна с другой, что он затруднялся провести между ними границу, он вооружался против священников, которые, разделяя власть над человеком с государством, оставляют за собою действие на ум и совесть, отдавая светской власти только тело, ибо «они берут себе душу, а правительству бросают труп». Католическое разделение властей светской и духовной ему поэтому не нравилось, и он ставил в пример римскую республику, где сенат был истолкователем религии, Турцию и весь Восток с соединением в Коране и религиозного и гражданского закона, Византию и Россию, наконец, протестантские государства, где существуют иные, чем в католицизме, отношения между государственной властью и духовенством; того же самого он желал и для Франции, без чего, по его словам, он не мог бы ею управлять. Он даже выражал сожаление, что для него был закрыт путь Генриха VIII, сделавшегося главой англиканской церкви.

Наполеон еще в юности видел, какую силу представлял из себя католицизм во Франции, и еще более он убедился в его силе, когда побывал в Италии. Уже в 1797 г. он давал понять папе, какую обоюдную выгоду для себя могли бы извлечь из своего примирения и Римская церковь, и французское правительство, и старался расположить в свою пользу итальянское духовенство. При случае он льстил ему, сравнивая, например, итальянских епископов с французскими: последних заразила-де испорченность старой монархии, но если бы оно было столь же мудро и преданно интересам религии, как итальянское, Католическая церковь никогда не потерпела бы ни малейшего ущерба во Франции. В первый год своего консульства, в июне 1800 г., Наполеон держал речь перед миланским духовенством, в которой указывал на то, что, по его мнению, католическая религия одна в состоянии доставить настоящее благополучие хорошо устроенному обществу и утвердить основы хорошего правительства. Он при этом высказался еще против философов XVIII в. и против революции, преследовавших католицизм: «Ни одно общество не может существовать без морали, а хорошая мораль не может обойтись без религии».

Помимо той политической цели, к которой стремился Наполеон, заключая конкордат с папой, сами обстоятельства, созданные враждой, возникшей между революцией и церковью, вынуждали его принять какое-либо решение по вопросу о том, какими же принципами должна была при новом порядке вещей, вытекавшем из 18 брюмера, регулироваться религиозная жизнь нации. В начале своего правления первый консул был прямо поставлен в необходимость выбирать между тремя различными решениями вопроса. В последние времена Директории во Франции уже устанавливалась свобода католического культа, и правительство не делало никакого различия между конституционными и духовными отщепенцами, народ же массами покидал первых и переходил на сторону последних. В самом начале своего консульства Наполеон также держался нейтралитета между обеими иерархиями и, отказавшись от требования присяги, которая произвела раскол, довольствовался со стороны духовенства одним обещанием повиноваться законам; но курия и этому даже воспротивилась, а за нею и часть неконституционного духовенства отказалась давать требуемое обещание. Правительственный нейтралитет, однако, не устранял религиозных раздоров между представителями враждебных католических культов: в последние годы Директории уже около 40 тысяч церквей было возвращено культу, и из-за обладания ими шла теперь горячая борьба между обеими иерархиями. Громадное большинство французского народа оставалось при этом на стороне правоверного католицизма и весьма естественно, что первый консул предпочел иметь за себя, а не против себя влиятельный клир, державшийся союза с Римом. При невмешательстве государства в шедшую тогда борьбу, конечно, победа была бы не за конституционным духовенством, а на стороне отще-

пенцев, которые своей связью с Римом, своей сплоченностью и своими материальными средствами, получавшимися от верных, могли бы быть только опасны новой политической власти. Вот почему первый консул отказался от политики, унаследованной им от Директории, т. е. от политики отделения церкви от государства. По той же причине он не считал удобным следовать и политике, созданной учредительным собранием, благодаря гражданскому устройству духовенства: делать новую попытку организации национальной церкви, зависящей от государства и независимой от Рима, Наполеон не находил удобным, ибо это значило бы опять поставить конституционное духовенство в привилегированное положение и вступить в борьбу с отщепенцами, что повлекло бы за собой только новые религиозные смуты. Нельзя было, разумеется, также думать и о насильственном введении протестантизма, как это советовали Наполеону сделать некоторые из окружавших его лиц, так как и это не удалось бы, подобно попыткам введения новых философских религий, сделанным в эпоху Конвента и Директории. Оставался поэтому один только третий путь — искать соглашения с папой. По этому-то пути и пошел Наполеон. Конкордат был заключен между первым консулом и папой Пием VII 15 июля 1801 г. По взаимному соглашению «правительство французской республики признавало, что католическая, апостольская и римская религия есть религия огромного большинства французских граждан», но уже тем самым не признавало более за католицизмом значения государственной религии. Далее объявлялось, что эта религия «будет свободно исповедоваться во Франции», что католический культ «будет публичным, сообразуясь, однако, с полицейскими распоряжениями (*règlements de police*), какие правительство найдет нужными в видах общественного спокойствия». Духовные лица должны были получать от правительства приличное содержание, но правительство не было обязано давать что-либо капитулам и семинариям. Церкви возвращались епископам, за исключением уже отчужденных, и пастве позволялось делать в пользу церкви пожертвования, папа же, со своей стороны, признавал за покупщиками национальных имуществ законность их владения. «Его святейшество, — сказано было в § 13 соглашения, — ради блага мира и по случаю счастливого восстановления католической религии, объявляет, что ни сам он, ни его преемники никоим образом не станут тревожить покупателей отчужденных церковных владений и что поэтому право собственности на эти имущества и на все доходы от них останется ненарушимо в руках теперешних владельцев». По соглашению с правительством папа обязывался произвести новое разделение Франции на диоцезы¹, приглашая вместе с тем, ради блага мира и единства, отдельных епископов в случае надобности жертвовать своими кафедрами. Первому консулу конкордат предоставлял, далее, назначать (*nommer*) архи-

¹ Т. е. епархии. — *Прим. ред.*

епископов, епископов, после чего папа должен был давать им каноническое поставление, а епископы получали право назначать священников, коим затем, однако, предстояло еще быть признанными со стороны правительства. Все духовные лица обязывались перед вступлением в должность приносить присягу и молиться в церквях за республику и консулов. Этот конкордат был дополнен «органическими статьями» такого, между прочим, содержания. Без разрешения правительства во Франции не могли иметь силы папские распоряжения и постановления иностранных синодов и даже общих соборов, равно как не могли во Франции действовать представители папы (нунции, легаты и т. п.) или собираться местные соборы без такого же разрешения. Правительству принадлежало право определять цифру лиц, которых епископы могли посвящать в духовный сан. Восстанавливая празднование воскресного дня, органические статьи из всех остальных праздников оставляли только Рождество, Вознесение, Успение и день Всех Святых. Религиозные процессии вне церквей позволялись лишь в тех городах, где не было иноверных храмов. Церковному браку обязательно должен был предшествовать брак гражданский, введенный во Франции революцией. Органические статьи определяли также костюм духовных лиц не во время богослужения, получаемое ими жалованье и т. п. Особенно важно то, что ни самое соглашение с папой, ни органические статьи ни единым словом не упоминают о монашестве, уничтоженном революцией, а одна ота́тья, разрешая епископам основывать капитулы и семинарии, прямо прибавляла, что все иные учреждения уничтожаются (что было подтверждено мессидорским декретом XII г., когда бывшие иезуиты сделали попытку под новыми именами восстановить свой орден).

Восстановленная конкордатом Католическая церковь во Франции во многих отношениях возвращалась к тому положению, в каком она была до реформ учредительного собрания, но в иных отношениях она должна была примириться с тем, что сделано было против нее в эпоху революции: католицизм перестал быть государственной религией; клир утратил значение первого сословия в государстве; церковное землевладение и десятина исчезли; монашество не было восстановлено и пр. и пр. Вообще конкордат, заключенный Наполеоном, некоторыми своими чертами напоминает те стремления, какие обнаруживались в церковном законодательстве католических правительств эпохи просвещенного абсолютизма. Поэтому после 1801 г. духовенство во Франции было поставлено в такую зависимость от светской власти, какой раньше никогда и не существовало: в каждом отдельном диоцезе епископ сделался своего рода духовным префектом рядом с префектом светским, которому была вверена вся департаментская администрация. Принцип чисто бюрократического управления и чисто военной дисциплины был введен Наполеоном и во все внутренние распоряжки Католической церкви. В эпоху империи по приказанию Наполеона был составлен для школ новый катехизис, в котором власть императора

возводилась чуть не на степень религиозного догмата. Вот отрывок из этого руководства Закона Божия:

«*Вопрос.* Каковы в особенности наши обязанности по отношению к Наполеону I, нашему императору?

Ответ. Мы обязаны по отношению к Наполеону I, нашему императору, любовью, почтением, повиновением, верностью, военной службою и податями, установленными для сохранения и защиты империи и его трона.

В. Почему существуют все эти обязанности по отношению к нашему императору?

О. Потому что Бог, создающий царства и раздающий их, по Своей воле, наделив нашего императора дарами в делах мира и войны, поставил его нашим государем, сделал его орудием Своей власти и образом Своим на земле. Почитать нашего императора и служить ему все равно что почитать и служить самому Богу.

В. Нет ли особенных оснований, которые еще сильнее должны нас привязать к Наполеону I, нашему императору?

О. Есть, ибо он тот, кого Бог воздвиг среди трудных обстоятельств, дабы восстановить общественное богослужение и святую религию отцов наших и сделать из него ее покровителя. Он возвратил и сохранил общественный порядок своей глубокой и деятельной мудростью; он защищает государство своей могущественной десницей; он стал помазанником Господа чрез освящение, полученное от верховного первосвященника, главы Вселенской церкви.

В. Что следует думать о тех, кто не исполняет обязанностей своих по отношению к Наполеону I, нашему императору?

О. По слову апостола Павла, они оказали бы сопротивление порядку, установленному самим Богом, и сделались бы достойными вечного отчуждения»¹.

Наполеон ставил задачей своей церковной политики подчинить своей власти не только духовенство, но и само папство, считая себя преемником Карла Великого и других средневековых императоров, державших в зависимости от себя римских первосвященников. Впоследствии, на острове Святой Елены он говорил, что в 1813 г., не будь несчастного похода в Россию, папа был бы епископом Римским и Парижским и что все римские учреждения были бы перенесены в Париж. «Я, — продолжал он, — возвысил бы папу выше всякой меры, окружил бы его великолепием и почетом. Я устроил бы так, что ему нечего было бы сожалеть об утраченной светской власти, я сделал бы из него идола, и он оставался бы около меня.

¹ Той же самой политики Наполеон держался и по отношению к протестантам, издав в 1802 г. «органические статьи о протестантских культах» (лютеранском и реформатском). Кроме того, он регулировал и иудейский культ (декретом 11 декабря 1808 г.), причем созывал «великий синагедрион». Новейшие подробности об этом см. в мемуарах канцлера Пакье: *Fauchille. La question juive sous le premier Empire*, 1886.

Париж стал бы столицей христианского мира, и я управлял бы религиозным миром так же, как и политическим. Это было бы лишним средством теснее сплотить все федеративные части империи и держать в повиновении все, что находилось вне. У меня были бы религиозные сессии, как были сессии законодательные; мои соборы были бы представительством христианства, и папы были бы лишь их председателями; я открывал бы и закрывал эти собрания, утверждал бы и обнародовал их решения, как это делали раньше Константин и Карл Великий».

Наполеону удалось уже в самом начале империи достигнуть от папы Пия VII небывалого почета. Верховный первосвященник решился, несмотря на венсенское убийство, приехать в Париж на коронацию Наполеона. Император, нарочно, как бы совершенно случайно встретил его в лесу Фонтенбло в охотничьем костюме, с мамелюками и сворой собак. Путь до Парижа они продолжали вместе, причем в экипаже император занял более почетное место, что на все время пребывания папы в столице Франции предредило этикет. Церемония коронации заранее была разучена при помощи маленьких деревянных куколок, долженствовавших изображать всех участников торжества. При совершении обряда папе пришлось выслушать, между прочим, присягу Наполеона в том, что продажа национальных имуществ (в том числе и бывших церковных) совершена на вечные времена и не будет подлежать отмене. Пий VII, естественно, думал, что раз его пригласили в Париж для коронации императора, то он, Пий VII, и возложит корону на голову Наполеона, и это ему обещано, но известно, что коронуемый выхватил из рук растерявшегося папы корону и сам возложил ее на свою голову. Пий VII потом протестовал и грозил объявить во всеобщее сведение, что был обманут, если в «Монитере» будет напечатано, как было дело. В следующем году он уже отказался приехать в Милан короновать Наполеона, как короля итальянского, «железною короною». Вскоре после того Наполеон писал папе, которого считал только вассалом империи: «Ваше святейшество пользуется верховной властью в Риме, но император Рима — я». Дело в том, что Пий VII хотел вести себя в Папской области как независимый государь, а это не нравилось Наполеону, и он протестовал. Пререкания императора и папы окончились тем, что 2 февраля 1808 г. французские солдаты заняли Папскую область, а в следующем году Наполеон объявил прекращение светской власти папы в церковной области (16 мая), которая и вошла в состав французской империи, но на это папа ответил (10 июня) отлучением императора от церкви. Тогда Пий VII был удален из Рима и содержался пленником в Савоне¹, откуда в 1813 г. Наполеон перевел его в Фонтенбло. Кардиналы были почти все переселены в Париж, и Рим сделался лишь вторым городом империи, по имени которого Наполеон впоследствии назвал своего

¹ Chotard. Le pape Pie VII à Savone.

сына (от второго брака) «королем Римским». В плену Пий VII проявил большое упорство и отказывался утверждать новые назначения на епископские кафедры, ссылаясь на свое нахождение в плену и на невозможность совещаний с кардиналами по поводу этих назначений. Наполеону пришлось без согласия папы покончить дело своего развода с Жозефиной, добившись признания развода лишь со стороны подвластного духовенства¹.

Наполеон состоял с Жозефиной в гражданском браке, заключенном за несколько дней до его отъезда в 1796 г. в итальянскую армию. Он был страстно увлечен Жозефиной, но она относилась к мужу более чем равнодушно и вела себя так, что по возвращении из Египта он прямо хотел с ней развестись. С этого времени роли переменялись, и Жозефина сделалась покорной и преданной супругой, жившей теперь вечно под страхом развода с мужем, тогда как последний, оставаясь по-прежнему нежным с ней, освободился от прежней страсти и даже стал брать верх над Жозефиной. В 1804 г. Наполеон думал короноваться один, но слезы жены заставили его согласиться на то, чтобы и она вместе с ним короновалась. Опасаясь, однако, что один гражданский брак недостаточно упрочивал ее положение, императрица сообщила папе, что жила с Наполеоном невенчанной, и Пий VII потребовал тогда от императора, чтобы был до коронации совершен и церковный брак. Наполеон был крайне разгневан этим, но на требование папы ему оставалось только дать свое согласие, хотя обряд был совершен тайно и с заранее обдуманным нарушением канонических правил. Между тем вопрос о разводе с Жозефиной поднимался и после этого не раз в семье Бонапартов, не любивших императрицу. Желание Наполеона породниться с одной из царствующих династий и иметь законного наследника престола окончательно решило дело в пользу развода. Наполеону немалого труда стоило добиться от Жозефины согласия на развод (11 декабря 1809 г.), но при существовании церковного брака вопрос не решался еще обоюдным соглашением расходившихся между собой супругов. Император не хотел, однако, обращаться к папе, с коим он был в ссоре, и добыл себе всякими правдами и неправдами развод от парижского церковного суда (*officialité de Paris*). Пий VII воздержался от кассации этого решения, но тринадцать кардиналов потом протестовали против законности уничтожения первого брака, не явившись присутствовать на втором браке Наполеона, за что были лишены права носить одеяния красного цвета и получили в обществе насмешливое прозвище «черных кардиналов».

Гораздо более хлопот создало Наполеону нежелание папы утверждать новых епископов. Видя упорство Пия VII, он задумал обратиться к позабытым традициям Галликанской церкви. 25 февраля 1810 г. Наполеон издал декрет, коим восстанавливал знаменитые статьи 1682 г. о вольностях Галли-

¹ Об отношениях между Наполеоном и Жозефиной см. новейшие сочинения Леви и Массона, а также: *Welschinger. Le divorce de Napoleon*.

канской церкви и предписывал положить в основу преподавания во всех богословских факультетах и духовных семинариях. В следующем году (17 июня 1811 г.) император созвал в Париже национальный собор, в коем участвовало более ста епископов, — около 70 из империи и около 30 из королевства Италии. Несколько членов собора выразило желание, чтобы папе возвращена была свобода, но инициаторы этого предложения были арестованы и посажены в Венсенский замок. Громадное большинство остальных епископов Наполеону удалось склонить к декрету, в силу коего можно было обходиться без папской инвеституры, если папа будет отказывать в ней шесть месяцев: посвящать епископа мог в таком случае архиепископ. Когда Наполеон заместил новыми епископами кафедры тех, которые были арестованы по его приказанию, этих назначений не хотели признавать в соответственных епархиях; для подавления сопротивления были даже пущены в ход крутые меры. Папа, однако, не отличавшийся большой последовательностью, дал свое согласие на декрет 1811 г., а в 1813 г. Наполеон перевел Пия VII в Фонтенбло, где и заключил с ним новый конкордат, по которому папа не только подтвердил свое согласие на декрет, но даже отказался косвенно от светской власти: теперь он согласился именно на то, чтобы навсегда поселиться в Авиньоне и жить на ассигнованное ему Наполеоном содержание. Правда, через два месяца Пий VII написал императору письмо, в котором заявил, что отказывается от подписанного в Фонтенбло соглашения.

Деспотизм Наполеона охватывал все стороны общественной жизни Франции в эпоху консульства и империи. Гарантии личной свободы исчезли перед полицейским произволом. Аресты и административная ссылка были постоянно в ходу и не обращали на себя большого внимания. Был восстановлен старый «черный кабинет», занимавшийся вскрытием частных писем, были восстановлены (в 1814 г.) и государственные тюрьмы, заменившие прежнюю Бастилию. Особенно сильное развитие при Наполеоне получили шпионство и доносы. Кроме министра и префекта полиции¹ в Париже было три генерала-директора полиции, которые имели надзор над департаментами, с этой целью разделенными на округа. Независимо от этого местная жандармерия ежедневно отсылала в Париж генерал-инспектору рапорты о состоянии отдельных местностей, о слухах, разговорах и т. п. Наконец, адъютанты и генералы гвардии Наполеона имели надзор над придворными и высшими чинами администрации, а особым лицам поручено было следить за всем, что делалось среди ученых, среди коммерсантов и т. п. Наполеон лично с большим интересом относился к городским слухам, сплетням разного рода и т. п. и особенно подозрительно смотрел на все случаи критики правительст-

¹ Любопытные подробности о полиции при Наполеоне можно найти в недавно изданных мемуарах Шапталя, и особенно Пакье, который был префектом полиции. Последний рассказывает, например, о том, как одна полиция напала на тайную фабрику русских бумажных денег, в которой участвовала другая полиция.

венных распоряжений. Наконец, непосредственному полицейскому надзору была поручена вся духовная жизнь нации — религия, наука, литература, театр, периодическая пресса; везде действовал один и тот же принцип, принцип произвола, причем сам Наполеон находил еще досуг и интерес вмешиваться лично даже в мелочи, касавшиеся духовной жизни общества.

Наполеон явился организатором и народного просвещения Франции, и тут поставив своей задачей подчинить все это своей власти. «При установлении преподавательской корпорации (*corps enseignant*), — говорил он, — моя главная цель в том, чтобы иметь средства направлять моральные и политические мнения». «Нужно, — говорил он еще, — устроить эту корпорацию таким образом, чтобы иметь сведения о каждом ребенке, начиная с девятилетнего возраста». В деле воспитания для Наполеона самым важным было создать одну общую форму, по которой лишь государство могло бы моделировать будущих граждан. «Если с детства, — по его словам, — не будут учить, что нужно быть республиканцем или монархистом, католиком или неверующим, государство никогда не создаст нации; оно будет покоиться на непрочных и колеблющихся основаниях и вечно подвергаться беспорядкам и переменам». Таковы были мысли, положенные в основу школьной организации наполеоновской империи. Заключалась она в следующем.

Закон 1806 г. создавал во Франции под именем «*Université impériale*» корпорацию, исключительным назначением коей было обучение и воспитание во всей Франции; а в 1808 г. этому «университету» дано было окончательное устройство. Во главе всего учреждения, охватывавшего учебные заведения империи, был поставлен «великий магистр» (*grand maître*), около которого существовал особый совет университета, разделявшегося, в свою очередь, на академии (округа) с ректорами во главе, с особыми инспекторами и советами, и весь этот административный персонал назначался великим магистратом. В состав университета вошли факультеты (между прочим, для католической и протестантской теологии), лицеи и коллегии, пансионы и маленькие школы (*petites écoles*), как названы были народные училища, а преподавательский персонал всех этих учебных заведений получил наименование членов университета (хотя, собственно говоря, народные учителя были поставлены под начальство мэров, подпрефектов и префектов, а не учебной администрации). Лишь одни члены университета имели монополию преподавания. Первоначальное образование находилось в этой системе в большом пренебрежении, а в среднем и даже в высшем (например, в Политехнической школе) были установлены совершенно монастырские или казарменные порядки.

Об отношении Наполеона к науке можно судить по фактам такого рода. В «Институте Франции», в коем еще Конвент слил воедино отдельные академии, Наполеон, бывший сам членом такого учреждения, в 1803 г. уничтожил отделение моральных и политических наук под тем предлогом, что все

это — одна идеология. В других отделениях не позволялось затрагивать сколько-нибудь живые вопросы. Когда в число членов института попал аббат Мори, один из реакционных деятелей учредительного собрания, ответственную речь при его приеме говорил Сикар, отозвавшийся в ней весьма неодобрительно о Мирабо. Наполеону не понравилось упоминание о Мирабо, и он писал министру полиции: «В этом заседании академии есть вещи, которые мне не по душе. В область ведения президента ученого собрания не входит говорить о Мирабо. Если уже нужно было говорить о нем, то он мог распространиться только о его стиле, ибо лишь это одно его касается». Наполеон хотел, чтобы академия создала такую критику, которая могла бы рекомендовать публике авторов, достойных внимания, и это желание он выразил в письме к Фуше. «Раз будет установлена правильная критика, — писал он между прочим, — можно будет не дозволять ничего вроде теперешней. Институт — великое средство в руках министра». Совершенно так же относился Наполеон и к театральным представлениям. Когда, например, он узнал, что на сцене хотят поставить пьесу, в которой выведен Генрих IV, он написал Фуше: «Я слышал, что хотят поставить пьесу о Генрихе IV. Его эпоха не так еще далека, чтобы не разбудить страстей. Сцена нуждается немного в древности». Он даже признавался, что если бы «Тартюф» Мольера появился в его время, он не допустил бы его представления. Вообще он относился подозрительно к литературе и театру и покровительствовал главным образом другим искусствам — архитектуре, живописи и музыке, не говоря уже об естествознании, представителей коего награждал деньгами¹, орденами, титулами, важными местами на государственной службе. Развитие искусства и отвлеченной науки прославляло его царствование и должно было отвлекать умы от жгучих политических и общественных вопросов.

Особенно тяжел был наполеоновский режим для периодической прессы, которая с 1789 г. получила во Франции значительное развитие. Уже декретом 17 января 1800 г. первый консул определил список политических газет, которым дозволялось выходить в свет; таких газет в списке значилось только тринадцать, да и они могли существовать лишь до первой враждебной новому правительству статьи. Издатели этих газет обязаны были представиться министру полиции и дать обещание оставаться верными конституции, а потом с них взято было обязательство иметь редакторами только лиц, приятных правительству. Конституция XII г. устанавливала особую сенаторскую комиссию, которая должна была охранять свободу прессы, но сам же закон, устанавливавший эту комиссию, исключал из круга ее ведения «все сочинения, печатающиеся и раздающиеся подписчикам в определенные сроки». До 1810 г. пресса подчинялась вполне усмотрению начальства, и только после десяти лет такого режима Наполео-

¹ Были установлены, между прочим, «десятилетние премии» за лучшие произведения науки, литературы, искусства.

ну пришло в голову выработать новый закон о печати, целью которого, однако, вовсе не было облегчение ее положения, так как звание журналиста Наполеон объявил теперь равносильным исполнению общественной должности (*une fonction publique*), а это повлекло за собой издание декрета, регулировавшего отправление этой должности. В 1810 г., в сущности, была восстановлена цензура в том виде, в каком она существовала до революции, причем число типографий и книжных магазинов было сокращено, а владельцы их обязаны были запастись особыми патентами и принести присягу в верности. При действии декрета 1810 г. пресса находилась в полной зависимости от министра полиции: последний требовал на свою цензуру отдельные статьи, предназначенные к печати, присылал для помещения свои заметки, назначал редакторов, которым издатели должны были платить жалованье и т. п. Образчиком того, при каких условиях приходилось издавать газеты, может служить судьба «*Journal des débats et des décrets*»¹, основанного в 1789 г. несколькими депутатами. В год государственного переворота, доставившего власть Наполеону, газета эта была приобретена братьями Бертенами за 20 тыс. франков и переименована в «*Journal des débats et lois du pouvoir législatif et des actes du gouvernement*». Первый консул поместил ее в число 13 газет, оставленных в покое декретом 17 января 1800 г., газета пошла очень хорошо при новом режиме, сократившем число ее конкурентов, тем более что ее тон, враждебный философии XVIII в. и революции, весьма нравился влиятельным кругам общества, но министр полиции Фуше несколько косился на направление газеты, довольно роялистское и католическое. После принятия Наполеоном императорского титула газета должна была изменить свое прежнее название в новое — «*Journal de l'Empire*». В 1811 г. Наполеон приказал отнять ее у Бертенов, не заплатив им ничего за их право собственности на издание, дававшее в год около 200 тыс. франков, сделано же было это на том основании, что право собственности на газеты есть не что иное, как концессия, данная императором, который может потому и взять концессию обратно. В конце того же 1811 г. «*Journal de l'Empire*» объявил, что с октября следующего года в Париже будут иметь право существовать лишь четыре ежедневные газеты, «занимающиеся политическими новостями». Был даже проект оставить лишь одну газету («Монитор»). В департаментах и совсем уже не существовало независимой прессы, так как на каждый департамент полагалась только одна газета, да и та должна была издаваться под ближайшим надзором префекта. Весьма естественно, что такая пресса утратила всякое влияние и не представляла никакого интереса, и уже в эпоху консульства число подписчиков на парижские газеты уменьшилось вдвое (с 60 тыс. на 32 тыс.).

¹ *Nettement. Hist. du «Journal des débats»* («Газета политических и литературных дебатов» (фр.). — Прим. ред.).

Периодическая пресса, по мысли Наполеона, должна была, как и все остальные проявления умственной жизни, быть лишь орудием его власти, средством для достижения его целей. Своему пасынку, принцу Евгению, вице-королю Итальянскому, он писал однажды: «Оставьте прессе легкое подобие свободы, дабы можно было печатать против иностранных государств статьи и сваливать ответственность на свободу печати». Министру полиции он прямо давал совет сочинять статьи, которые можно было бы помещать в газетах в виде, например, корреспонденции из-за границы. «"Заметки о бес-силии России", — писал он, — которые вы мне передали, составлены очень умным человеком. Напечатайте их где-нибудь в виде перевода из какого-либо английского журнала: выберите только такой, имя которого мало известно». В другой раз он писал: «Напечатайте в газетах несколько писем как бы из Петербурга, что французов там хорошо принимают, что двор и город видят необходимость сближения». Если редакторы газет делали намеки на дурное положение дел или если не хотели помещать ложных статей, то им грозила строгая ответственность. Например, однажды Наполеон писал к Фуше: «Скажите редакторам, что я судить их буду не за то дурное, что они станут говорить, а за умолчание о хорошем. Когда они станут представлять Францию накануне падения, я заключу из этого, что они не французы и не достойны писать в мое царствование. Пусть они не оправдываются, что таковы их известия. Так как им приходится печатать ложные новости, то почему они не говорят их в пользу общественному спокойствию?» Понятно, что при таком состоянии прессы ей ничего более не оставалось как наполнять свои столбцы официальными известиями о военных триумфах или о придворных торжествах, балах и т. п. Но даже и это не нравилось Наполеону. «Газеты, — писал он однажды, — преувеличивают роскошь и расходы двора, что заставляет публику делать смешные и безумные расчеты. Дайте понять редакторам: "Journal des débats" и "Публициста", что недалеко время, когда я, заметив их бесполезность, уничтожу их вместе с другими и оставлю существовать только одну газету».

Положение авторов и издателей книг и брошюр в начале консульства было несколько лучшим, чем положение журналистов, но уже в 1803 г. при министерстве полиции была организована, «в целях ограждения свободы печати», особая комиссия для просмотра, в которую следовало представлять все книги и брошюры, дабы получить позволение на их распространение. Закон 1810 г., о котором было сказано выше по поводу положения периодической прессы при Наполеоне, имел более широкое значение, так как касался вообще всего печатного дела. Он создавал при министерстве внутренних дел особую «общую дирекцию типографий и книготорговли», ограничивал число и размеры типографий в Париже и департаментах (дабы за недостатком работы типографии не печатали опасных сочинений), обязывал владельцев типографии извещать префекта о каждой печатающейся книге, с

тем чтобы префект извещал об этом министра полиции, и т. п. Не вводя обязательно предварительной цензуры, закон этот ставил в зависимость от начальника «общей дирекции» решение вопроса, должна ли печатаемая книга быть предварительно просмотрена, но в виде «гарантии для авторов и содержателей типографии» и им позволялось, буде пожелают, отдавать книги на предварительную цензуру. Далее, на продажу книги или брошюры следовало брать особое разрешение, которым, однако, не обеспечивалось свободное обращение издания, если министр полиции найдет основание изъять его из продажи. Известно, какой участи подверглась книга г-жи Сталь о Германии: разрешенное предварительной цензурой, это сочинение было конфисковано по приказанию министра полиции и предано сожжению вместе с рукописью и лишь потому, что автором было лицо, неприятное Наполеону.

Полнейшим произволом отличалось и вмешательство Наполеона в экономическую жизнь страны. Промышленностью и торговлей он хотел управлять нередко по чисто мимолетным фантазиям. Например, он сам указывал, какие торговые дома должны были вывозить такие-то и такие-то товары и в какие именно страны и что должно было ввозиться во Францию этими домами. Нередко он запрещал то, что ранее предписывал, и наоборот. Купцы имели немало оснований жаловаться на меры Наполеона, наносившие ущерб их интересам и притом без всякой для кого бы то ни было выгоды. Мы еще увидим, к каким серьезным расстройством в экономической жизни страны привела знаменитая континентальная система (*blocus continental*). Правда, представители крупной промышленности выиграли от запретительной системы Наполеона, но, в общем, его мероприятия не могли особенно содействовать экономическому благосостоянию Франции. Притом на последнее он смотрел главным образом лишь с политической точки зрения. Например, его тревожила возможность безработицы только потому, что в такие минуты «рабочие легко поддаются интриганам», а ему восстания голодного народа казались более страшными, чем внешние войны или чисто политические смуты. С точки зрения политической опасности он восставал и против мысли о возвращении промышленности к цеховому быту, создававшему организованные союзы рабочих.

Такова была в общих чертах внутренняя политика консульства и империи. Многими сторонами своими эта политика сближается с просвещенным абсолютизмом второй половины XVIII в. Всемогущая государственность, воплощающаяся в сильной правительственной власти, бюрократическая централизация, убивающая местную свободу, полицейская регламентация, охватывающая всю жизнь отдельных лиц и целого общества, и рядом с этим политика, направленная против старых сил католицизма и феодализма во имя естественного права, которое противопоставляется праву историческому, политика, стремящаяся сделать из церкви государственное учреждение, из священника — государственного чиновника, и ставящая своей целью ни-

велировать общественные классы перед лицом государственной власти, атомизировать общество в отдельные личности, одна с другою ничем не связанные, и устранить общество от заведования собственными своими делами: вот общие черты просвещенного абсолютизма и наполеоновского режима. У просвещенного абсолютизма и Французской революции есть также общие черты, и поскольку Наполеон был продолжателем революции в ее антиклерикальных и антифеодальных стремлениях, он представлял собою во Франции революционную сторону просвещенного абсолютизма и вне ее распространял те же принципы революции. По личному своему характеру, по своему взгляду на государство, по своему презрению к людям он был как бы нарочно создан для роли великого деспота, и в общем и целом то, что он осуществил в области законодательства, администрации, суда, церковных отношений, организации народного образования, — все это ведь и было целью стремлений просвещенных деспотов XVIII в., предметом их попыток и начинаний, не всегда удачных и, во всяком случае, менее успешных, чем преобразования Наполеона, ибо многие его учреждения пережили не один политический режим во Франции XIX в. Одно только бессословное гражданство, о котором и не думали представители просвещенного абсолютизма, но которое окрепло во Франции под охраной Наполеона, не было в новой Франции делом консульства и империи: Наполеон принял его, как готовый результат революции, но со своей стороны и он сам немало содействовал распространению гражданского равенства и в других странах Западной Европы.

Мы теперь и перейдем к истории других западноевропейских стран в эпоху консульства и империи, когда Франция диктовала свою волю народам Европы, переделывала ее политическую карту и вводила в отдельных ее странах новые порядки, родственные порядкам, созданным в самой Франции революцией и Наполеоном.

VIII. Господство Франции в Европе при Наполеоне I¹

Общий взгляд на значение консульства и империи в истории международных отношений. — Причины наполеоновских войн и успехов Франции. — Внешнее положение Франции в 1799 г. и победы Наполеона в 1800 г. — Европа в эпоху Люневильского и Амьенского мира. — Возобновление войны с Англией и образование новой коалиции против Франции. — Пресбургский мир и его результаты. — Распадение Священной Римской империи и образование Рейнского союза. — Поражение Пруссии и Тильзитский мир. — Континентальная система и стесненное положение нейтральных государств. — Испанские дела. — Эрфуртское свидание. — Австрийская война 1809 г. — Французская империя на высоте могущества и «начало конца». — Деспотизм Наполеона в Европе

18 брюмера было важным днем не только в истории Франции, но и в истории всей Европы. Установление консульства генерала Бонапарта, которое превратилось в империю Наполеона I, отдало власть над революционной Францией, бывшей с 1792 г. в войне с европейскими державами, присоединявшей к своей территории пограничные области, основывавшей новые республики и заключавшей договоры с иностранными правительствами в целях дележа добычи, и притом власть ничем не ограниченную в руки чело-

¹ Литература по военной и дипломатической истории эпохи весьма обширна. См. указания выше в главах II, IV и V, а кроме того: *Lefèvre A.* Hist. des cabinets de l'Europe pendant le consulat et l'empire, 1845; *Aegidi.* Der Fürstenrath nach dem Luneviller Frieden, 1853; *Kleinschmidt A.* Die Saecularisation von 1803, 1878; *Ompfeda.* Die Ueberwältigung Hannovers durch die Franzosen, 1862; *Beer A.* Zehn Jahren österreichischer Politik (1801—1810), 1877; *Usinger.* Napoléon, der rheinische und der nordische Bund, 1845; *Beaulieu-Marconnay von.* Karl von Dalberg und seine Zeit, 1879; *Beck K.* Zur Verfassungsgeschichte des Rheinbunds, 1890; *Hassel P.* Gesch. der preuss. Politik (1807—1815), 1881; *Höpfner.* Der Krieg von 1806—1807, 1850; *Oncken.* Oesterreich und Preussen im Befreiungskriege, 1876—1879; *Clausewitz.* Nachrichten über Preussen in seiner grossen Katastrophe, 1888; *Goeke K.* Das Grossherzogthum Berg, 1877; *Goeke, Ilgen.* Das Königreich Westfalen, 1888; *Sauerhering.* Die Entstehung des Friedens zu Schönbrunn im Jahre 1809, 1890; *Du Casse.* Les rois frères de Napoléon I, 1883; *Rocquain.* Napoléon I et le roi Louis; *Rambaud A.* L'Allemagne sous Napoléon I; *Ernouf.* Les Français en Prusse; *Lavallée.* Les frontières de la France; *Pisani.* La Dalmacie de 1797 à 1815. Épisode des conquêtes napoléoniennes, 1893. В соч.: *Dejoh.* M-me Staël et l'Italie есть библиография о французском влиянии в Италии с 1796 по 1814 г. Отметим и литературу о взаимных отношениях между Францией и Россией в эпоху консульства и империи. Кроме специальных сочинений по истории войн этого времени, см.: *Богданович.* Ист. Александра I; *Соловьёв.* Александр I, 1878; *Надлер.* Александр I и идея Священного союза; *Vandal.* Napoléon et Alexandre I. L'alliance russe sous le premier Empire; *Tatitscheff.* Alexandre I et Napoléon d'après leur correspondance inédite. Недавно Императорское Русское историческое общество предприняло издание документов в своем «Сборнике» (с 70-го тома) под заглавием «Дипломатические сношения России с Францией в эпоху Наполеона I» (с введением и примечаниями редактора, проф. А. Трачевского). Ср. там же (т. 89): «Посольство гр. П.А. Толстого в Париже в 1807 и 1808 гг.» (с введением и примечаниями редактора Н.К. Шильдера) и др.

века, отличавшегося при страшном властолюбии и честолюбии и гениальными способностями полководца, которые ставят его имя наравне с именами Александра Македонского, Ганнибала, Юлия Цезаря, и положительной страстью к войне, в коей он видел как бы настоящее свое призвание. И эта власть над обновленной и преобразованной Францией, успешно выступившей на путь завоевательной политики и дипломатических союзов с целью новых приобретений, досталась человеку, отлично исполнявшему ремесло полководца и умевшему обещаниями и угрозами заставлять других служить своим интересам, как раз в такое время, когда старая Европа находилась в полной дезорганизации, когда отдельные правительства были совершенно неспособны к солидарному действию и ради частных выгод своих готовы были изменять общему делу, когда народы считались ни во что и правительства полагались на одни военные силы, не подозревая, какую силу таили в себе народные массы, когда, наконец, повсюду царили старые порядки и в администрации, и в финансах, и в войске, едва затронутые просвещенным абсолютизмом, — порядки обветшалые, доказывавшие свою негодность при первом же серьезном столкновении. Это-то внутреннее разложение Европы «старого порядка» только и могло создать почву для того господствующего положения, какое заняла Франция на континенте в эпоху консульства и империи. Не входя в подробности дипломатической и военной истории, мы дадим в настоящей главе очерк внешней политики в наполеоновскую эпоху, без которого нельзя понять и общего значения, какое в истории Западной Европы имело время консульства и империи, бывшее для нее во многих отношениях лишь продолжением революционной пропаганды, начатой в предыдущий период. В лице Наполеона, делившего с союзниками Франции целые государства и власть над миром, монархическая Европа признавала силу революции: поход, начатый против революции во имя принципа, позорнейшим образом окончился рядом союзов, которые стали заключаться между отдельными правительствами и новым властелином Франции, ибо он умел привязывать к себе эти правительства, давая им те или другие доли в дележе завоеванных стран.

Эпоха консульства и империи была временем почти непрерывной войны, в которой Наполеон имел то против себя, то на своей стороне отдельные государства Европы. Войну эту он наследовал от революции, но у него были и свои побуждения ее продолжать. Война была его стихией, победы и выгодные союзы с завоевательными целями делали его владыкой европейского материка, и перед его воображением носилась идея «всемирной монархии» под главенством Франции. Недаром Наполеон считал себя законным наследником западного императора Карла Великого и в своих планах далеко оставлял за собой и более близких к нему по времени представителей «всемирной монархии» Карла V и Людовика XIV. Еще до захвата власти во Франции, бывшего результатом 18 брюмера, в качестве главнокомандую-

шего итальянской армией Наполеон уже начал переделку политической карты Европы, а в эпоху своей экспедиции в Египет и Сирию строил грандиозные планы относительно Востока. Сделавшись первым консулом, он мечтал в союзе с русским императором выбить англичан из позиции, которую они заняли в Индии, а русский поход 1812 г. в случае удачи должен был привести к соединению под гегемонией Франции всех европейских сил с той же целью. Наполеону удалось поочередно победить все главные государства материка и одно за другим вовлекать их правительства в осуществление его планов: одна только Англия, сделавшаяся в эту эпоху владычицей морей, не могла быть им побеждена и не хотела вступать с ним в сделки, поддерживая в то же время везде, где только было можно, сопротивление против французов. В начале своего правления Наполеон заключил мир с Англией, но мир этот не мог быть продолжителен, ибо лондонское правительство не хотело оставить без отпора самовольные поступки, захваты и правонарушения Наполеона, а он, со своей стороны, раздражался тем, что свобода печати в Англии позволяла в этой стране французским эмигрантам роялистского и республиканского лагерей издавать свои сочинения, направленные как лично против него самого, так против и установленного им во Франции порядка вещей. Война с Англией сделалась затем главным делом внешней политики консульства и империи: задачей, какую поставил себе Наполеон, было именно «победить Англию, побивая Европу» (*vaincre l'Angleterre en battant l'Europe*). Эта война заставила его придумать континентальную систему, посредством которой английские товары исключались из европейских рынков, что было одним из наиболее важных факторов его внешней политики, и на этой почве возникло немало осложнений, как это может быть видно из самого краткого обзора международных отношений эпохи. Англия, далее, поддерживала Бурбонов, в коих Наполеон не без основания видел самых опасных врагов своей власти во Франции, а ненависть вообще к представителям этой династии, в начале его правления царствовавшей еще в Неаполе и Испании, тоже руководила им во многих случаях его внешней политики. Он предал казни герцога Энгиенского; он сделал невозможным пребывание на континенте для братьев Людовика XVI, одного из коих французские роялисты называли королем Людовиком XVIII; наконец, он отнял троны у неаполитанских и испанских Бурбонов. При всем этом Наполеон умел пользоваться страхом, какой наводили его победы на другие государства, умел пользоваться взаимным их недоверием и соперничеством, привлекая их к союзу с Францией, вознаграждая их за этот союз территориальными прирезками из владений побежденного врага, открывая перед ними широкие перспективы в будущем и делая, таким образом, из Франции державу, которая как бы одна решала судьбы всей Европы. Принимая на себя в конце 1799 г. власть, он застал Францию изолированной, хотя составившаяся против нее коалиция и оказалась не особенно прочной,

но через десять лет, наоборот, уже весь континент Европы был или во власти Франции, или в союзе с нею: начиная в 1812 г. войну в России, он вел на нее войска «двунадесяти языков». Такого успеха Франция не могла достигнуть посредством одной войны: тут действовала и дипломатия, подметившая и эксплуатировавшая слабую сторону международных отношений — желание каждого государства поживиться на чужой счет, взаимное недоверие и соперничество, вытекавшее отсюда, и циническое поклонение внешнему успеху. Все главные факты международной политики в эту эпоху, действительно, подтверждают такую точку зрения на причины французского владычества в Европе.

Известные уже нам успехи французского оружия и революционной пропаганды времен Директории заставили монархические правительства остальной Европы снова сплотиться для борьбы с Францией. 1799 г. был для Франции несчастлив. В Германии французы были вынуждены отступить за Рейн, а французские посланники, руководившие раштадтскими совещаниями о заключении мира республики со Священной Римской империей, при своем отъезде домой были умерщвлены австрийскими гусарами¹. В Италии были потеряны все плоды прежних побед: русские войска под начальством Суворова в соединении с австрийцами завоевали Цизальпинскую республику, которая немедленно после этого распалась, после чего все патриоты должны были спасаться бегством; в Парthenопейской республике, оставленной французами, совершилась монархическая реставрация, сопровождавшаяся жестокостями и казнями всех сторонников революции и бегством тех, которые уцелели во время этого антиреспубликанского террора; Римская республика также пала. Только в Швейцарии дела французов шли лучше, и соединенной австро-русской армии не удалось вытеснить отсюда революционное войско. Раздоры, возникшие между союзниками, — между русскими и австрийцами в Италии и Швейцарии и между русскими и англичанами в Голландии, где французы также имели частный успех, — повлекли за собою выход из коалиции императора Павла I. Последний даже стал сближаться с Францией после того, как в ней «безначалие заменилось консульством» и первый консул отпустил на родину без выкупа — заново одетых и вооруженных — русских пленных.

Едва Наполеон принял в свои руки правление, как обратился с письмом к английскому королю, приглашавшим его прекратить борьбу; с таким же письмом обратился он и к римскому императору, но ответ на эти письма получен был такой, что война не могла прекратиться: у Франции требовали восстановления Бурбонов и возвращения к прежним границам. Весной 1800 г. Франция начала новое завоевание Италии, причем во главе армии, вторгшейся сюда через Швейцарию, стоял сам первый консул. Победа при

¹ Об этом см. соч.: Mendelssohn-Bartholdy (1869), Reichlin-Meldegge (1869), Helfert (1874), Sybel.

Маренго (14 июня) возвратила французам Ломбардию, заставив Австрию на этом условии заключить на другой же день перемирие (в Александрии). Другая французская армия вторглась в Швабию и Баварию и после нескольких побед заставила Австрию согласиться на парсдорфское перемирие (15 июля), отдававшее в руки французам всю Южную Германию. Так как Австрия отказалась, однако, заключить мир, то война возобновилась и французы перешли в наступление, а после победы при Гогенлиндене (3 декабря) уже не имели серьезных препятствий к тому, чтобы сделать нападение на саму Вену. Тогда Австрия вынуждена была на мир в Люневиле (9 февраля 1801 г.), подтверждавший кампо-формийские условия. Границами Франции были признаны Рейн и Эч. Ломбардия, снова отторгнутая от Австрии, превратилась в Италийскую республику. Имперские чины, терявшие на левом берегу Рейна земли, должны были получить вознаграждение из секуляризованных церковных владений и упраздненных имперских городов, причем заведовать приведением в исполнение этого постановления возлагалось на имперскую депутацию, т. е. особую комиссию, которую должны были выбирать римский император и имперские чины.

Люневильский мир открывал Наполеону возможность распоряжаться по своему в значительных частях Италии и Германии, что возвращало Францию к временам кампо-формийского договора. Первый консул Французской республики сделался, в силу избрания созданными в Лионе представителями республики Италийской, президентом этой последней с весьма широкой властью при чисто декоративной конституции и получил право распоряжаться большим войском, которое, в сущности, предназначалось им для служения интересам Франции. Одновременно с этим были произведены в Италии и другие перемены: герцог Моденский получил приращение своих владений; великий герцог Тосканский, принадлежавший к фамилии Габсбургов, за отказ от своего владения, приобрел архиепископство Зальцбургское с некоторыми другими землями, а Тоскана с титулом королевства Этрурии отдавалась пармскому герцогу из испанской ветви Бурбонов. В Германии произведено было еще больше перемен так называемым решением имперской депутации (Reichsdeputationshauptschluss) 28 февраля 1803 г. Более всех выигравшими в дележе секуляризованных земель оказались князья, которые действовали угодливостью перед первым консулом и подкупом нужных лиц в Париже, где в это время открылся настоящий торг немецкими епископствами, аббатствами и вольными городами, служившими для вознаграждения князей за уступленную ими Франции тысячу с лишком квадратных миль с населением почти в три с половиной миллионов душ. Французское правительство очень ловко поддерживало взаимное недоверие немецких государей и, пользуясь их рознью, старалось заключать с ними отдельные договоры. Пруссия и Бавария поспешили занять присужденные им территории даже ранее, чем имперский сейм утвердил решение имперской депутации.

Оба эти государства получили значительные приращения, особенно же выиграла Бавария, заключившая с Францией тесный союз. Увеличены были, — и больше, чем все другие княжества, — владения маркграфа Баденского, возведенного вместе с тем в сан курфюрста. Далее, были вознаграждены за потери и получили большие приращения к своим прежним владениям Вюртемберг, Гессен-Кассель (оба сделанные курфюршествами), Гессен-Дармштадт, Нассау, Ганновер и другие княжества. Все это было сделано за счет более мелких владений, а наиболее пострадавшими были именно духовные владения и имперские города. Из первых уцелело еще — но сильно обремененное — архиепископство Майнцское, а курфюршества Кёльнское и Трирское совсем упразднились вместе с массой других духовных княжеств; из полусотни имперских городов оставлены были в прежнем состоянии лишь шесть, а именно: Гамбург, Бремен, Любек, Франкфурт-на-Майне, Нюрнберг и Аугсбург. Число немецких княжеств, благодаря этому, сильно сокращалось, но одновременно с новым перераспределением территории стали вводиться и новые внутренние порядки, на коих также сказывалось французское влияние. Успех французского вмешательства в дела Германии объясняется, между прочим, и переменой в отношениях между Францией и Россией, заключивших формальный мир в первый же год царствования Александра I.

Новая коалиция против Франции, с таким успехом действовавшая в 1799 г., распалась подобно предыдущим. Кроме немецких держав и России с Францией примирились и оба пиренейских государства, Испания и Португалия. В борьбе с республикой оставалась одна Англия, но еще Павел I для противодействия ее преобладания на морях возобновил в союзе с Пруссией, Швецией и Данией вооруженный нейтралитет своей матери, а это привело к войне между Англией и Данией, занявшей английский флот в то время, как французы снаряжали для борьбы новые военные корабли. Наконец, и Англия пошла на уступки и заключила мир с Францией в Амьене (1802). Он вскоре, однако, был нарушен, между прочим, ввиду того, что первый консул, не довольствуясь властью президента Итальянской республики, утвердил свое владычество в форме протектората и над республикой Батавской, что грозило интересам Англии, и, кроме того, над Швейцарией (в дела коей Наполеон вмешался, чтобы своим медиационным актом восстановить независимость кантонов под общим своим протекторатом).

Мы уже видели, что заключение Амьенского мира послужило поводом для продления консульских полномочий Наполеона на всю жизнь. В промежуток времени между провозглашением пожизненного консульства и принятием Наполеоном императорского титула война Франции и Англии, прерванная на короткое время Амьенским миром, возобновилась с новой силой. В мае 1803 г. первый консул двинул французскую армию к Везеру, чтобы захватить принадлежавший английскому королю Ганновер, а в июне курфюршество было уже во власти Франции, благодаря позорной

трусости местного правления: оно поспешило заключить с первым консулом договор, в силу коего французская армия могла занять всю страну до Эльбы, а ганноверское войско должно было быть распущено. Убийство герцога Энгиенского, предшествовавшее принятию императорской короны, и самовольные поступки Наполеона в Италии, Германии, Испании и Голландии сильно встревожили другие державы. Итальянская республика была превращена в королевство, а королем собранные в Париже народные представители провозгласили Наполеона, короновавшегося затем (в марте 1805 г.) в Милане железной короной. В Германии на переговоры о вознаграждениях Наполеон не допустил русских дипломатов и, проезжая после принятия императорского титула через Ахен, Кёльн и Майнц, вел себя как властелин всего прирейнского края. Испанию в то же время он обязал особым договором помогать Франции и флотом, и деньгами. В Голландии своими интригами и угрозами он подготавливал введение монархии для одного из своих братьев. К Англии, ответившей новым отказом на приглашение заключить мир, сделанное ей Наполеоном после установления во Франции империи, примкнула для обуздания его честолюбия, прежде всего, Россия, а ее примеру последовали Австрия, Швеция и Неаполь, причем Англия должна была выплачивать своим союзникам денежные субсидии. Новая коалиция стремилась привлечь на свою сторону и Пруссию, но это государство колебалось принять участие в войне и предпочло остаться нейтральным, на всякий случай, однако вооружившись и своим двусмысленным поведением, вместе с тем без всякой для себя выгоды навлекши на себя неудовольствие императора французов.

Вся Европа ожидала в 1805 г. со стороны Наполеона высадки в Англии, так как к этому он, по-видимому, деятельно готовился, снаряжая необходимый для предприятия флот и собирая в Булони значительные военные силы. На самом деле он замышлял нечто иное. Заручившись обещанием помощи со стороны южногерманских князей, Наполеон неожиданно двинул свои войска в Германию, где часть их прошла через одно владение нейтральной Пруссии и где они, кроме того, усилились вспомогательными корпусами Бадена, Вюртемберга, Баварии, Гессена, Нассау и др. 20 октября австрийская армия, запертая в Ульме и отрезанная от сообщения с Веной, сдалась на капитуляцию. Этот громадный успех Наполеона омрачился, однако, трафальгарской победой (21 октября) английского флота над французским, который после этого, совсем почти уничтоженный, долго не мог быть восстановлен в прежней силе. Между тем Пруссия, раздраженная нарушением ее нейтралитета, примкнула к коалиции, но она сделала это слишком поздно для того, чтобы изменить положение дел на театре войны. 13 ноября французы овладели самою Веной и оттеснили несогласно между собою действовавшие австрийские и русские войска в Моравии, где 2 декабря, в годовщину коронации Наполеона, произошла знаменитая «битва трех императоров»

под Аустерлицем. Победа французов была полная. Император Франц, вместо того чтобы продолжать войну, подкрепившись новыми русскими военными силами и пруссаками, в то время уже готовыми открыть враждебные действия против Франции, униженно просил у Наполеона перемирия, на которое победитель и согласился, но под условием удаления русских из австрийской территории (4 декабря). Через три недели после этого Австрия заключила с Францией Пресбургский мир (26 декабря), лишивший монархию Габсбургов всей Верхней Австрии, Тироля и Венецианской области, окончательно вместе с тем разлагавший Священную Римскую империю и наконец предоставлявший королевские короны Неаполя и Голландии братьям Наполеона. В промежуток между аустерлицкой победой и Пресбургским миром Наполеону удалось склонить на сторону Франции посланного к нему прусским королем уполномоченного, который не только не решился после Аустерлица предъявить победителю требования своего правительства, но даже без его согласия заключил с Наполеоном договор в Шенбрунне (15 декабря): Пруссия вступала в союз с Францией, отдавая ей часть герцогства Клеве на правом берегу Рейна с крепостью Везелем и отказываясь от одного своего владения (Аншпах) в пользу Баварии, вместе с тем обязываясь еще не допускать англичан в свои порты, за что сама получала в виде вознаграждения Ганновер. Прусскому королю оставалось только согласиться на эту сделку после того, как Австрия поспешила отстать от коалиции. Занимая Ганновер, он объявил, однако, что берет его лишь под свою охрану до заключения всеобщего мира: такое заявление не удовлетворило английского короля, предлагавшего Пруссии занять Ганновер еще до вступления туда французов, в то же время раздражило и Наполеона, видевшего в заявлении Фридриха-Вильгельма III намерение не отрывать себя окончательно от коалиции.

Пресбургский мир имел своим результатом весьма крупные перемены в Германии, в Италии и в Голландии.

В Германии союзники Наполеона получили приращение своих владений и повышение в ранге. Бавария, увеличенная Тиролем, Аншпахом, имперским городом Аугсбургом и т. п., сделана была королевством, и новый король выдал свою дочь замуж за усыновленного пасынка Наполеона, принца Евгения Богарне. Вюртемберг, тоже увеличенный (между прочим, швабскими владениями Австрии), равным образом был превращен в королевство, и через несколько времени на вюртембергской принцессе женился брат Наполеона Иероним. Увеличился (также отчасти на счет Австрии) и Баден, возведенный вслед за тем в великое герцогство; внук великого герцога вступил в брак со Стефанией Богарне, племянницей императрицы Жозефины. Из Берга, уступленного Баварией, и из Клеве, взятого у Пруссии, Наполеон создал новое великое герцогство для зятя своего Иоахима Мюрата. Швейцарский Невшатель, в коем князем с 1707 г. был король Прусский,

был пожалован маршалу Бертье. Дядя Наполеона кардинал Феш был объявлен коадьютором и преемником архиепископа Майнцского, имперского архиканцлера (коим был тогда известный Дальберг). Австрия получила Зальцбургское архиепископство, за потерю коего бывший тосканский герцог, владевший Зальцбургом, получил Вюрцбург. Эти перемены, как мы увидим, сопровождались в Баварии, Вюртемберге, Бадене и т. п. крупными изменениями и во внутренних отношениях, например, устранением средневековых земских чинов, отменой многих дворянских привилегий, облегчением участи крестьян, введением веротерпимости, ограничением власти духовенства, уничтожением массы монастырей, разного рода административными, судебными, финансовыми, военными и школьными реформами, даже введением наполеонова кодекса, как это сделал весьма скоро Баден. С другой стороны, теперь неминуемо должна была окончательно распасться и сама средневековая империя, после того как 12 июля 1806 г. между Наполеоном и многими германскими государями (Бавария, Вюртемберг, Баден, Дармштадт, Клеве-Берг, Нассау и др.) состоялся договор, в силу коего эти государи вступали между собой в особый союз, получивший название Рейнского, под протекторатом Наполеона и с обязанностью держать для него шестидесятитысячное войско. Из немецких князей устройству Рейнского союза, — к коему присоединялись потом и другие земли, — очень много содействовал архиепископ Майнцкий Дальберг, за что он получил Франкфурт, сан князя-примаса и должность наместника Наполеона по Рейнскому союзу. Образование союза сопровождалось еще медиатизацией, т. е. подчинением мелких непосредственных (*immediati*) имперских чинов верховной власти крупных князей, т. е. они утрачивали свои суверенные права, этот запоздалый остаток политического феодализма в Германии. Еще раньше (1804) император Франц II перенес императорский титул на свои наследственные земли, а теперь ему оставалось только отречься от прежнего титула, назвавшись Францем I, императором Австрийским, и объявив при этом, что его владения выходят из состава прежней империи (6 августа 1806 г.). Священная Римская империя немецкой нации, таким образом, окончила свое существование, а с нею скончались и ее старые учреждения. Медиатизация в 1806 г. произвела в Германии такой же эффект, какой в 1802—1803 гг. производила секуляризация, т. е. Париж снова сделался центром раздачи всяких милостей, где немецкими князьями пускалось в ход все — и низкопоклонство, и обманы, и подкупы — ради сохранения себя от медиатизации или, наоборот, ради того, чтобы медиатизировать в свою пользу чужие владения. Кое-кому удалось удержаться, но громадное большинство мелких князей и имперских графов было медиатизировано, утратив политическую самостоятельность и сохранив свои частные имения со всеми феодальными правами социального характера. Новые победы Наполеона над Пруссией и Австрией в 1806—1807 и 1809 гг. только закрепили французское владычество в Германии.

Италия, где незадолго перед тем была уничтожена Лигурийская республика (Генуя), присоединенная к Франции, удержавшей за собою и Пьемонт, после Пресбургского мира подверглась такой же участи, как и Германия. Австрия уступила Наполеону Венецианскую область, и победитель увеличил ею свое королевство Итальянское, где наместником своим (вице-королем) сделал принца Евгения Богарне. Вскоре за тем королевство Этрурия было присоединено к Франции, разделенное на три новых департамента (1807). На другой день после заключения Пресбургского мира Наполеон простым декретом объявил, что «династия Бурбонов в Неаполе перестала царствовать», за то, что Неаполь, вопреки прежнему договору, примкнул к коалиции и дозволил высадку войска, приехавшего на англо-русском флоте. Движение французской армии на Неаполь заставило тамошний двор искать спасения в бегстве, и после некоторого сопротивления со стороны народной черни брат Наполеона Иосиф, которому император пожаловал Неаполитанское королевство в верховной от себя зависимости, овладел фактически неаполитанской короной. Беневент и Понтекорво, из-за которых происходили споры между Церковной областью и Неаполем, были отданы на правах ленных герцогств Талейрану и Бернадоту. Учреждение этих ленов не было исключением. Именно в бывших владениях Венеции, отошедших от Австрии, Наполеон учредил значительное количество ленов, которые были соединены с герцогским титулом, давали большие доходы и жаловались французским сановникам и маршалам в награду за их службу. Две сестры Наполеона тоже получили свои части в Италии¹. Подобно тому как это делалось в Германии, и в Италии вводились внутренние перемены. Королевство Итальянское, управлявшееся пасынком Наполеона, Лукка и Тоскана под управлением его сестры и Неаполь, сделавшийся королевством его брата, должны были принять многие французские порядки, и, например, в княжестве Лукка весьма рано был введен наполеонов кодекс.

Одновременно с этими переменами в Германии и Италии совершилось превращение и Голландии в королевство, которое Наполеон отдал своему брату Людовику, женившемуся на падчерице императора Гортензии Богарне. В июне 1806 г. новый голландский король принял правление под верховной властью своего брата.

Таковы были последствия аустерлицкой победы и Пресбургского мира. Но война еще не кончилась, и Наполеона ждали впереди новые триумфы. Прежде всего дошла очередь до Пруссии. Ее поведение в 1805 г. навлекало на нее со стороны Наполеона подозрение в ненадежности союза с нею и только утверждало его в том мнении, что это соперник неопасный. Он совсем перестал дорожить прусской дружбой и начал относиться свысока к

¹ Элиза (по мужу Баччокки) еще раньше получила Лукку, а потом, кроме того, Массу и Каррару, по уничтожении же королевства Этрурии она была назначена правительницей Тосканы. Другой сестре (Паулине Боргезе) тоже было дано владение.

берлинскому двору, что очень оскорбляло последний. Наполеон поманил было Пруссию возможностью образовать вместе с Саксонией, Гессен-Касселем, Мекленбургом, Ольденбургом, Голштинией, ганзейскими городами и т. п. особый северно-германский союз, новую даже «империю», а сам между тем, не сообщив ничего Пруссии, организовал Рейнский союз, приказав своим дипломатам мешать устройству другого немецкого союза, о коем мечтала Пруссия, медиатизировал родственный Гогенцоллернам княжеский дом Турн и Таксис и допустил кое-какие захваты границ со стороны великого герцогства Бергского. Недовольна была Пруссия и замаскированным присоединением Голландии. Наконец, в Берлине узнали еще, что, сделав попытку мирных переговоров с Англией, Наполеон обещал ей возвратить Ганновер, на который Пруссия смотрела уже как на свое достояние. В Берлине решились поэтому на ультиматум с требованием очищения французами Южной Германии, равно как согласия на образование «северного союза» и разрешения других вопросов, бывших спорными между обоими правительствами, но Наполеон отверг этот ультиматум и поспешил двинуться со своим войском на соединившуюся с Пруссией Саксонию. В первой же битве (при Зальфельде 10 октября 1806 г.) пруссаки потерпели урон, за которым через несколько дней (14 октября) последовало и полное поражение Пруссии под Иеною и Ауерштедтом, отдавшее во власть Наполеона всю Германию до самой Эльбы. Нанося новые поражения остаткам прусской армии, забирая в плен целые отряды, овладевая крепостями и не встречая нигде народного сопротивления, Наполеон через две недели после иенской победы вступил в Берлин (27 октября). Вскоре после этого сдались Штетин, Кюстрин, Магдебург (10 ноября), и в то же самое время французы одерживали победы еще в Ганновере, население которого видело во французах избавителей от поглощения страны Пруссией. В Берлине Наполеон занялся устройством по-своему Северной Германии, где отдельные земли одна за другой стали подпадать под французское владычество. Курфюрст Гессенский, бывший в союзе с Пруссией и думавший спасти себя нейтралитетом в начавшейся войне, должен был бежать из своих владений; то же случилось с герцогом Брауншвейгским, предводителем прусской армии. Мекленбург и Ольденбург также были заняты французами. На ганзейские города была наложена тяжелая контрибуция. Пощажена была лишь одна Саксония, курфюрст которой, Фридрих-Август, получил королевский титул и присоединился к Рейнскому союзу (в первой половине декабря) вместе с другими саксонскими герцогами. Герцог Саксен-Веймарский также был прощен Наполеоном под условием разрыва с Пруссией. Из Кёнигсберга, куда удалился прусский двор, Фридрих-Вильгельм III умолял Наполеона прекратить войну, соглашаясь, между прочим, на то, чтобы примкнуть к Рейнскому союзу, но победитель делался все требовательнее и требовательнее, и прусский король вынужден был продолжать борьбу. На помощь к

стесненной Пруссии явилась Россия, приславшая в Восточную Пруссию две армии, которые должны были помешать переправе французов через Вислу. Наполеон обратился тогда к полякам с воззванием, приглашавшим их к борьбе за свою независимость, что оказало свое действие, особенно после того, как Наполеон на второй день нового года (2 января 1807 г.) вступил в Варшаву. Целый ряд упорных битв на Висле ознаменовал зиму 1806/07 г. Дела прусского короля, жившего теперь в Метене, шли все хуже и хуже; лишь надежда на европейскую коалицию поддерживала его еще в этой борьбе за свою корону. Любопытно, однако, то, что не только в это время не было мысли опереться на народ, но даже подавлялись прусскими чиновниками всякие вспышки, происходившие в силезском населении против французов. После занятия французами Данцига (24 мая 1807 г.) и поражения русских под Фридландом (14 июня), дозволившего французам занять Кёнигсберг и даже угрожать русской границе, состоялся знаменитый Тильзитский мир (7—9 июля), сопровождавшийся свиданием французского и русского императоров в павильоне посреди реки Неман. По условиям Тильзитского договора Пруссия лишалась целой половины своих владений, лишь заступничество Александра I, вступившего в союз с Наполеоном для полюбовного раздела между собою Европы, спасло монархию Гогенцоллернов от окончательной гибели. От прусской Польши был отделен Белосток со своим округом и отдан России. Из польских земель, доставшихся Пруссии по первым двум разделам Речи Посполитой, было организовано герцогство Варшавское, поступившее под власть короля Саксонского. Данциг со своим округом был превращен в особую республику. У Пруссии были отняты, наконец, все ее владения между Рейном и Эльбой, и в соединении с курфюршеством Гессенским, Брауншвейгом и Южным Ганновером они образовали королевство Вестфальское. На новый трон в Касселе был возведен брат Наполеона Иероним (Жером), тоже примкнувший к Рейнскому союзу с обязанностью платить императору большую сумму денег и выставлять в его войнах значительное войско. Кроме того, Пруссия должна была выплатить громадную сумму денег, содержать до окончательной расплаты на свой счет французские гарнизоны и соблюдать разные стеснительные условия в пользу Франции (на счет, например, военных дорог).

После такого унижения Пруссии и вступления в состав Рейнского союза двух новых королевств (Саксонии и Вестфалии) Наполеон был полным господином над Германией, отдельные государи коей спешили теперь присоединяться к Рейнскому союзу: именно в состав его вошли еще курфюршество Вюрцбургское, герцогства Мекленбургское и Ольденбургское и княжества Шварцбург, Ангальт и Вальдек. Во многих местах вводились французские порядки, бывшие плодом революции и организаторской деятельности Наполеона, хотя, с другой стороны, деспотизм императора и местных правителей, постоянные поборы людьми в армию, большие налоги и т. п. тяжело

отзывались на немецком народе, не могшем притом не чувствовать своего унижения перед чужеземным владыкой и его французскими подданными. Город Эрфурт после Тильзитского мира был оставлен Наполеоном за собой, как сборный пункт для войск Рейнского союза. Пруссия была обязана оказывать Франции военную помощь, и Данциг, лишь номинально пользовавшийся независимостью, был тоже своего рода сборным пунктом для французских войск.

Тильзитский мир отдал в распоряжение Наполеона весь континент Западной Европы, так как Александр I согласился на то, чтобы Франция беспрепятственно господствовала на Западе, как со своей стороны Россия должна была господствовать на Востоке, получив, между прочим, от Наполеона согласие на немедленное присоединение к своей территории не только Финляндии и Дунайских княжеств, но даже всей Турецкой империи, за исключением Константинополя: этим самым Португалия, Испания, Швеция, Дания и острова западной части Средиземного моря попадали в сферу исключительного влияния Франции и создавался союз двух мировых владык против Англии, торговле которой Наполеон стремился нанести теперь удар запрещением ввоза английских товаров на весь континент. Еще в Берлине 21 ноября 1806 г. Наполеон обнародовал декрет, в силу коего все европейские порты должны были быть заперты для английских товаров и торговых судов; Александр I обещал держаться объявленной, таким образом, континентальной системы, или блокады (*blocus continental*), которая была направлена прямо против одного из главнейших источников материального могущества Англии. В этом союзе двух монархов все выгоды были на стороне Франции, тогда как выгоды, какие могла извлечь из союза Россия, были еще впереди, потому что только посредством войны со Швецией и Турцией можно было достигнуть обещанных в Тильзите присоединений. Притом континентальная система и прямо отражалась невыгодно на народном и государственном хозяйстве России. Обе державы обязались потребовать от Швеции, Дании и Португалии, действовавших в согласии с Англией, присоединения к континентальной системе. На все это Англия ответила приказанием своему флоту захватывать все нейтральные корабли, выходившие из портов самой Франции или ее союзников. Последствия Тильзитского мира не заставили себя долго ждать.

Швеция была одним из наиболее упорных членов антифранцузской коалиции. Король шведский Густав IV, преданный делу Бурбонов, даже не хотел признавать за узурпатором генералом Бонапартом императорского титула. Оставленная союзниками Швеция после Тильзитского мира не в состоянии была защищать своих владений в Северной Германии, приобретенных во время Тридцатилетней войны, и они были заняты французами. С другой стороны, требование примкнуть к континентальной системе было для Швеции равносильно требованию самой наложить руки на свою ввоз-

ную и вывозную торговлю. Между тем в 1808 г. Россия объявила Швеции войну, окончившуюся, как известно, для этого государства потерей Финляндии. Во время войны в Стокгольме составил заговор против Густава IV (1809): короля заставили отречься от престола, и государственный сейм возвел на престол его дядю Карла Зюдерманландского под именем Карла XIII, а в преемники ему был избран (к не особенному удовольствию Наполеона) французский маршал Бернадот (князь Понте-Корво), обратившийся в лютеранство и усыновленный Карлом XIII (1810). При новом короле Швеция, отдавая России Финляндию с Аландскими островами, получила обратно Померанию и примкнула к континентальной системе. Что касается до Дании, то она думала держаться нейтралитета, тогда как и Франция, и Англия одинаково хотели иметь ее на своей стороне: весь вопрос был в том, будут ли или нет пропускаться английские корабли через Зунд. Известно, что Англия, желая предупредить противника, силой захватила Зунд, бомбардировала и заставила сдаться Копенгаген и завладела датским флотом с военными запасами, находившимися в арсенале, а затем, после того как Дания объявила войну Англии, последняя присоединила к своим владениям принадлежавший Дании остров Гельголанд и заняла датские колонии. Таким образом, оба скандинавские государства должны были также войти в сферу французского влияния. То же самое произошло около этого времени и с обоими государствами пиренейскими. По договору 1803 г. Португалия обязывалась выплачивать Франции ежемесячно миллион франков, за что Наполеон обещал уважать ее нейтралитет и предоставлял ей по-прежнему вести с Англией торговые сношения. В 1807 г. Наполеон при поддержке со стороны Испании потребовал от лиссабонского правительства, чтобы и оно примкнуло к континентальному союзу против Англии и конфисковало всю собственность англичан в своих владениях. Так как в Лиссабоне не соглашались на это требование, то между Наполеоном и Испанией состоялся тайный договор о завоевании и разделе Португалии с ее колониями, и 18 ноября 1807 г. «Монитор» объявил всему миру, что «Браганцкий дом перестал царствовать». Вместе с этим началось завоевание Португалии. Лиссабонское правительство и двор на своих и английских кораблях уехали в Бразилию, куда за ними отправилось до 15 тыс. приверженцев Браганцкой династии. На другой день после этого (27 ноября 1807 г.) французы вступили в столицу Португалии и стали управлять от имени Наполеона всей страной. Испания все это время шла на буксире французской политики. Она еще гораздо раньше вынуждена была вступить в «вечный союз» с французской республикой. С конца 1792 г. во главе этого государства в качестве первого министра стоял Мануил Годои, фаворит королевы Марии Луизы, жены ограниченного и безвольного Карла IV. При этом невежественном, легкомысленном и бессовестном министре Испания примкнула было к коалиции против революционной Франции, но вскоре вынуждена была искать

мира с победоносной республикой. После Базельского мира между Францией и Пруссией произошло замирение между Францией и Испанией, за которое Годой получил пышный титул «князя мира». Мало того, испанский временщик, которого не любили духовенство и дворянство, стал искать особенно тесного сближения с французским правительством, с которым и заключил (в Ильдефонсо в 1796 г.) договор, отдававший Испанию в полное распоряжение Франции. В эпоху консульства Наполеон уже мог смотреть на доведенную до полного внутреннего расстройств Испанию как на вполне зависимое, чуть не вассальное государство. После разрыва Амьенского мира Годой предполагал держаться нейтралитета в начинавшейся войне, но Наполеон объявил мадридскому правительству, что он не допустит никакой двусмысленной политики и не остановится даже перед военным занятием Испании. Годой должен был покориться и заключить договор с Наполеоном, обязывавший Испанию платить Франции ежемесячную субсидию в 6 миллионов франков, держать свой флот наготове и содействовать французской политике в Португалии. Потом сама Испания была втянута в войну, стала посылать свои войска в Италию и Германию и терпеть морские поражения, уничтожившие ее флот, и в довершение всего была отрезана от своих заморских колоний, из которых извлекала большие денежные средства, но которые начали обнаруживать теперь стремление к отпадению. Все ниже и ниже падала Испания, а ее правитель, державшийся лишь своею связью с королевой, все больше и больше искал опоры в Наполеоне. Наследный принц Фердинанд (принц Астурийский) со своими женой и тещей, неаполитанской королевой Каролиной, как Бурбоны, были противники Наполеона, но мать Фердинанда с «князем мира» только и думала о том, как бы лишить своего сына прав на престол. Наполеон очень ловко воспользовался честолюбием первого министра для своих целей и заставил его помочь себе в деле завоевания Португалии, но и принц Астурийский пришел к убеждению, что лучше всего защитит свои права, если будет лстить императору французов. Овдовев около этого времени, он даже стал высказывать желание породниться с династией Бонапартов. Наполеон очутился тогда в роли третейского судьи: к нему начали обращаться обе враждебные стороны, интриговавшие одна против другой, но и по отношению к Франции имевшие каждая свои особые виды. Последовало французское вмешательство, подкрепленное, конечно, военной силой (с конца 1807 г.) и окончившееся известной катастрофой в Байоне, куда Наполеон пригласил членов испанской королевской семьи и «князя мира» для того, чтобы решить все дело в свою пользу. Фердинанд, сделавшийся было королем в силу отречения своего отца, должен был возвратить ему свою власть, а Карл IV актом, который был составлен Годой по соглашению с Наполеоном, уступил свои королевские права императору французов как единственному государю, способному восстановить в Испании потрясенный внутренний порядок (6 мая 1808 г.). На

испанский трон, сделавшийся вакантным, Наполеон посадил своего старшего брата Иосифа, передав принадлежавшее ему королевство Неаполитанское своему зятю Иоахиму Мюрату. 20 июля 1808 г. Иосиф въехал в Мадрид, и для испанской нации должна была начаться новая пора жизни, так как было решено основать монархию Иосифа на преобразованиях во всем государственном и общественном быту страны. Но уже на первых порах было видно, что с Испанией для Наполеона должно было выйти много хлопот. Прибавим к этому, что в феврале того же 1808 г. французские войска заняли еще и Рим.

В начале осени 1808 г. (17 сентября — 14 октября) в Эрфурте произошло знаменитое свидание французского и русского императоров, которое должно было показать собравшимся сюда королям, владетельным князьям, наследным принцам, министрам, дипломатам и полководцам, равно как всему миру, что новый политический порядок на континенте Европы поддерживается дружбой двух владык, поделивших между собою этот континент, чтобы одному взять Запад, а другому владеть Востоком. На эрфуртском съезде князь Рейнского союза раболепствовали перед Наполеоном, который, между прочим, чтобы еще раз унижить Пруссию, устроил охоту на зайцев на поле иенской битвы и пригласил на эту охоту принца Вильгельма, присланного прусским королем на съезд хлопотать об облегчении тяжких условий 1807 г. В Эрфурте был еще раз закреплен Тильзитский союз, и оба императора обязались не заключать мира с общими врагами без обоюдного согласия. Решено было, кроме того, обратиться к Англии с предложением мира на общем основании удержания договаривающимися сторонами тех владений, какие будут в их руках в момент заключения мира, но Англия отвергла это предложение, выразив вместе с тем свое недоумение, каким образом русский самодержец допускает, чтобы император французов мог низвергать законных государей с их престолов. Англия и теперь не шла ни на какие сделки с Наполеоном и, продолжая борьбу с французской гегемонией, по-прежнему помогала чем могла врагам держав, производивших мировой раздел. Между прочим, Англия стала поддерживать вспыхнувшее в Испании против французов восстание, которое заставило Наполеона предпринять осенью 1808 г. новое завоевание страны. С этою целью он сам должен был отправиться в мятежную Испанию, столица коей и увидела его в своих стенах 4 декабря¹.

1809 г. принес новое поражение Австрии. Это государство, смотревшее с завистью по отношению к настоящему и со страхом за будущее на возрастание французского могущества, решилось попытать счастья в освободительной войне за Германию, пользуясь примером, который давала Испания, тоже не хотевшая беспрекословно повиноваться французскому владычеству. В апреле Австрия двинула свои военные силы разом на Баварию, на Ита-

¹ Иосиф, вынужденный оставить Мадрид, вторично въехал в свою столицу лишь 22 января 1809 г.

лию и на герцогство Варшавское, но Наполеон, подкрепленный войсками Рейнского союза, отразил нападение и в середине мая был уже в Вене. Монархия Габсбургов, по-видимому, должна была разрушиться: венгры уже приглашались особой прокламацией восстановить свою былую самостоятельность и избрать себе нового короля. Вскоре затем французы переправились через Дунай и одержали победу при Ваграме (5–6 июля), за которой последовало Цнаймское перемирие (12 июля), бывшее лишь преддверием Венского, или Шенбрунского мира (14 октября). Австрия была страшно наказана за свою попытку, потеряв Зальцбург и некоторые соседние земли в пользу Баварии, Западную Галицию и часть Восточной с Краковом в пользу герцогства Варшавского и России и, наконец, земли на юго-западе (часть Каринтии, Крайну, Триест, Фриул и т. п.), составившие вместе с Далмацией, Истрией и Рагузой отдельное владение Иллирию под верховной властью Наполеона. Вместе с тем венское правительство обязалось примкнуть к континентальной системе. Эта война ознаменовалась народным восстанием в Тироле, который по заключении Венского мира был усмирён и разделён на три части между Баварией, Иллирией и королевством Итальянским. В остальной Германии война, начатая Австрией, тоже возбудила сильные надежды на скорое освобождение, но заключение Венского мира положило конец этим надеждам.

Наполеон был теперь наверху своего могущества. 16 мая 1809 г. в Шенбруне (под Веной) он подписал декрет, коим отменялась светская власть папы, после чего Церковная область была присоединена к Франции, и Рим был объявлен вторым городом империи. Австрия по Венскому миру должна была признать и эту перемену. Затем, разведшись с Жозефиной, Наполеон вступил в брак с дочерью австрийского императора Марией Луизой¹, и во время их бракосочетания (1 апреля 1810 г.) шлейф новой французской императрицы несли пять королев. Через год после этого (20 марта 1811 г.) у Наполеона родился сын, которому дан был титул короля Римского (*roi de Rome*). В эти годы между Венским миром и началом войны с Россией французская империя еще более расширила свои пределы новыми присоединениями. В июле 1810 г. Наполеон, недовольный своим братом Людовиком, плохо соблюдавшим континентальную систему, присоединил Голландию прямо к Франции, а затем включил в состав последней Гамбург, Бремен и Любек, герцогство Ольденбургское и другие земли между Эльбою и Рейном, а также швейцарский кантон Валлис с горной дорогой через Симплон. Теперь французская империя достигла наибольших размеров и вместе с вассальными и союзными государствами включала в себя почти всю Западную Европу. В состав империи Наполеона входили, кроме самой Франции, Бельгия, Голландия и полоса Северной Германии до Балтийского моря с устьями Рейна, Эмса, Везера и Эльбы,

¹ После неудачного сватовства в России. Об этом браке: *Meneval. Napoléon et Marie Louise*.

так что французская граница лишь на двести верст отстояла от Берлина, далее весь левый берег Рейна от Везеля до Базеля, некоторые части теперешней Швейцарии, наконец, Пьемонт, Тоскана и Папская область, тогда как другая часть Северной и Средней Италии составляли королевство Италийское, где государем был Наполеон, а дальше, уже по другую сторону Адриатического моря, на Балканском полуострове находилась принадлежавшая Наполеону же Иллирия. Как бы двумя руками, двумя длинными прибрежными полосами своих владений и с севера, и с юга охватывали владения Наполеона Швейцарию и Рейнский союз, в центре коего императору французов принадлежал город Эрфурт. Сильно обрезанная Пруссия и Австрия, граничившая с запада с Рейнским союзом и Иллирией, имели — первая на восточной своей границе, вторая на северной — великое герцогство Варшавское, состоявшее под протекторатом Наполеона и выдвинутое, кроме того, как французский аванпост против России. Наконец, в Неаполе царствовал зять Наполеона Иоахим I (Мюрат), в Испании — его брат Иосиф. Дания с 1807 г. была в союзе с Наполеоном. Соперницами Франции оставались только Англия и Россия, одна на море, другая на суше. Англия, сильная своим флотом, продолжала вести борьбу с Наполеоном, вторая после Венского мира стала сильно тяготиться преобладанием Франции, континентальной системой и самовластными поступками французского императора, когда он закончил подчинение себе Западной Европы заключением союза с Пруссией и Австрией, которые обязались помогать Франции значительными военными силами. Летом 1812 г. Наполеон двинул на Россию свою великую армию, нашедши еще союзников в лице поляков, надеявшихся на восстановление Речи Посполитой и потому охотно шедших на войну с «Москвой».

Нашествие на Россию было, по меткому выражению Талейрана, «началом конца». Дошедши до Москвы, в которую Наполеон вошел 2 (14) сентября, великая армия скоро вынуждена была начать отступление по разоренной дороге и испытать на себе, что значила народная война. Неудача Наполеона и пример успешной народной войны, вспыхнувшей в России, имели результатом восстание и всей Германии против французского владычества. Калишский союз Пруссии и России (25 февраля 1813 г.) послужил зерном новой европейской коалиции против Франции: к ней, прежде всего, примкнула Австрия, затем Англия. Трехдневная «битва народов» под Лейпцигом (16—18 октября) нанесла решительный удар Наполеону, после чего Рейнский союз стал распадаться и многие его члены начали переходить на сторону союзников, к которым в начале 1814 г. по Кильскому договору примкнула и Дания. Лишенные Наполеоном власти курфюрст Гессенский и герцоги Брауншвейга и Ольденбурга возвратились в свои владения. То же самое происходило позднее и в Италии, куда победоносно вторглись австрийские войска: они заняли Ломбардию, в Тоскану вернулся великий герцог Фердинанд, в Церковную область — папа. Между тем Наполеон отвер-

гал все условия мира, предлагавшиеся ему по настоянию Австрии. В самом начале 1814 г. союзные войска перешли французскую границу, а через три месяца (31 марта) в их власти была и сама столица наполеоновой империи. 4 апреля в Фонтенбло Наполеон отрекся было от престола в пользу своего сына, но союзники потребовали у него безусловного отречения, которое он и вынужден был подписать через несколько дней (11 апреля). Прежде, однако, чем остановиться подробнее на падении империи Наполеона¹, мы заключим конец этой главы общей характеристикой деспотического отношения Наполеона к поращенной Европе, а в следующих двух главах рассмотрим внутренние перемены, совершившиеся в разных государствах в первые пятнадцать лет XIX в. под прямым или косвенным влиянием только что перечисленных событий в сфере международных отношений.

Тот же самый деспотизм, который при Наполеоне господствовал внутри Франции, проявлялся и в его поведении по отношению ко всем странам, на которые только распространялись его власть или его влияние. От своих братьев, посаженных на престолы Неаполя, Голландии и Испании, и от государей, находившихся под его протекторатом, или даже только в союзе с ним, он требовал безусловного повиновения и некоторым из них советовал держать своих подданных (особенно новых подданных) в спасительном страхе. В последнем отношении особенно любопытны письма Наполеона к братьям и к вице-королю Италии. Везде вводились по его приказанию французские административные нравы и полицейские порядки, шпионство и доносы, вскрытие частной переписки и подслушивание разговоров, произвольная цензура и стеснения книжной торговли. Франция подчиняла, далее, союзные с нею государства всем тягостям континентальной системы, строгое выполнение которой мыслимо было лишь при неослабном полицейском надзоре и при помощи целой системы обысков, конфискаций, штрафов и других кар. Наконец, император требовал от союзников вспомогательных войск и денег, что тяжело ложилось на народные массы. Какой бы то ни было протест против французского ига строго преследовался и карался. Мы увидим еще, что некоторые лица, имевшие несчастье навлечь на себя неудовольствие Наполеона, не могли чувствовать себя безопасными даже в неподвластных Наполеону странах. Судьба герцога Энгиенского показывала, на что может решаться Наполеон. Когда в эпоху Рейнского союза нюрнбергский книгопродавец Пальм отказался назвать автора изданной им брошюры «Германия в глубочайшем своем унижении», то был схвачен по приказанию Наполеона, предан военному суду и приговорен к смертной казни чрез расстреливание. По-нятно, что при таком страшном деспотизме немыслимо было в странах Рейнского союза какое бы то ни было указание в литературе на печальное положение немецкой нации.

¹ Этому мы посвящаем ниже особые главы.

IX. Внутренние перемены в западноевропейских государствах в наполеоновскую эпоху¹

Внутреннее состояние государств Западной Европы при переходе из XVIII в. в XIX. — Значение наполеоновских побед для внутренней жизни западноевропейских народов. — Удар, нанесенный Наполеоном духовным княжествам и политическому феодализму. — Перемены в государственном быту. — Представительные учреждения. — Испанская конституция 1812 г. — Наполеонов кодекс за границами Франции. — Отмена крепостничества. — Просвещенный абсолютизм, Французская революция и наполеоновская эпоха. — Зарождение национальных движений XIX в.

Внутренняя история западноевропейских государств после начала Французской революции характеризуется преобладанием реакционных стремлений. Если в эпоху просвещенного абсолютизма в большей части стран, правительства коих вступили на путь внутренних реформ в духе идей века, между королевской властью и привилегированными сословиями, составлявшими консервативные элементы общества, отношения были более или менее натянутыми и эти консервативные элементы становились в оппозицию к правительству, то под влиянием Французской революции, направленной одинаково и против политического абсолютизма, и против социальных привилегий, произошло сближение между властью и привилегированными, и реформаторская деятельность правительств, задевавшая консервативные интересы, прекратилась или перешла прямо в политику реакционную². И без того просвещенным абсолютизмом сделано было слишком мало в смысле осуществления новых культурных и общественных идей, а потому когда французы в эпоху революции, консульства и империи производили свои завоевания, они повсюду встречали господство старых порядков, которые, однако, повсеместно начинали рушиться под влиянием новых отношений. Началось это

¹ К сожалению, внутренняя история Западной Европы в эту эпоху вообще и в частности история перемен, совершившихся в отдельных странах под влиянием французской гегемонии, разработана очень мало, что сказалось, между прочим, и на общих сочинениях, посвященных изображению эпохи, в которых вообще преобладает рассказ о дипломатических отношениях и военных событиях. Исключение нужно сделать только для внутренней истории Пруссии, о чем см. в следующей главе. Делая в настоящей главе общий обзор внутренних перемен в разных западноевропейских странах, мы останавливаемся лишь на самых важных фактах этой истории, притом только вскользь затрагивая крестьянский вопрос, которому посвящаем более подробное рассмотрение в последнем отделе тома. Что касается до литературы предмета, то указание на нее сделано выше, в главе II и VIII, хотя в ней преобладает история дипломатическая и военная.

² См. т. III, отдел о «просвещенном абсолютизме».

разрушение прежнего общественного быта еще во время революционных войн, продолжалось оно и при Наполеоне.

В эпоху просвещенного абсолютизма наиболее обостренными были отношения между государственной властью и консервативной оппозицией в различных частях Габсбургской монархии. Когда Иосиф II, этот характерный представитель просвещенного абсолютизма и революционер на троне, умирал в конце первого года Французской революции (20 февраля 1790 г.), в Бельгии и Венгрии происходило опасное для целостности монархии движение, и брату и преемнику Иосифа, Леопольду II, перед тем целую четверть века управлявшему Тосканой в духе просвещенного абсолютизма, предстояла трудная задача умиротворения недовольных и возмущившихся подданных. По тому, что Леопольд делал в Тоскане, можно было ожидать с его стороны продолжения политики Иосифа II, но новый император круто повернул назад, отменив некоторые реформы своего брата, сделав уступки старым привилегиям и вступив вообще на путь традиционной габсбургской политики. Права протестантов снова были стеснены; духовенству возвращено его прежнее значение в деле народного образования; новая система налогов, невыгодная для привилегированных, отменена; крепостное состояние снова было восстановлено, т. е., одним словом, самые важные начинания Иосифа II остались без последствий. В то же время Леопольд II пришел в столкновение с революционной Францией, и не умри он (1 марта 1792 г.) за несколько недель до объявления законодательным собранием войны его сыну и преемнику Францу II, проживи он еще несколько лет, и ему самому пришлось бы играть роль того воплощения контрреволюции, каким был Франц II. Этот последний вступил на престол 24 лет, но уже с весьма определившейся программой правительственной деятельности в духе абсолютизма и централизации, клерикальной и полицейской опеки над обществом, сохранения старых социальных привилегий и вмешательства в иностранные дела для повсеместного подавления политических движений под знаменем новых идей, выразившихся во Французской революции. В Австрии не было недостатка в реакционных элементах, которые и оказали поддержку новой политике; например, венгерские магнаты, стоявшие в оппозиции к Иосифу II, считали вместе с Францем II необходимою борьбу с Французской революцией. Последовавшая война с Францией страшно истощила Габсбургскую монархию в экономическом отношении, так что государственная казна стала жить только постоянными займами и самыми неумеренными выпусками бумажных денег: благосостояние населения и внутренняя сила государства приносились в жертву борьбе с ненавистной революцией. Во всю эту эпоху Австрия терпела поражение за поражением, и только после пресбургского мира среди австрийских государственных людей возникла мысль о необходимости — прямо ввиду новой борьбы с Наполеоном — заняться улучшением внутренних отношений. В общем, однако, Австрия предпочитала скорее терять про-

винции, чем предпринимать серьезную реорганизацию своего внутреннего быта. В Пруссии, как мы увидим¹, правительственная реакция наступила еще раньше, чем в Австрии. Фридрих-Вильгельм II, племянник короля-философа, вступивший на престол за три года до начала Французской революции, на первых же порах начал действовать в духе реакции против всего, что напоминало просвещенные взгляды Фридриха II. Революция только заставила его усилить эту реакционную политику. Поэтому Франц II, Фридрих-Вильгельм II и явились первыми бойцами монархической Европы против опасности, грозившей из Франции. Старый порядок в области социальных отношений, господствовавший в Пруссии и при короле-философе, оставался неприкосновенным и при его преемниках, пока иенская катастрофа не обнаружила всю его негодность даже с чисто политической точки зрения.

Во всех странах, где в XVIII в. действовала система просвещенного абсолютизма, равным образом происходила реакция. Привилегированные сословия, защищавшие вообще консервативные интересы, повсюду должны были эксплуатировать в свою пользу тот страх, который производила на правительства революция. В Португалии реакция антиклерикальным реформам Помбаля наступила еще задолго до событий 1789 г. Карл III, при котором в Испании действовали в духе новых идей Аранда и другие министры-реформаторы, в конце своего царствования уже находился под влиянием клерикалов, а за его смертью, последовавшей перед самым началом Французской революции (1788), наступила эпоха восстановления и в этой стране старых отношений. Недолго было сравнительно господство новых идей и в Неаполе, где одно время (в середине XVIII в.) действовал министр-реформатор Тавуччи: царствование Фердинанда IV было эпохой реакционного террора, особенно усилившегося под влиянием страха, нагнанного и на неаполитанское правительство французскими событиями. Страшными жестокостями ознаменовал Фердинанд IV свое возвращение в Неаполь после того, как рухнула основанная французами Парthenопейская республика². Упомянем еще, что совершенно такое же действие произвела Французская революция на Швецию, на Россию (в конце царствования Екатерины II и при Павле I) и на другие страны.

Все эти государства, в коих продолжали господствовать старые политические порядки и, кроме того, происходила реакция под влиянием страха перед революцией против политики просвещенного абсолютизма, были поочередно побеждены Францией. Наполеоновские войны со всеми их результатами в истории международных отношений не могли пройти бесследно и в истории культурно-социального быта отдельных стран. Французы и в эпоху Наполеона явились разрушителями старых порядков, на месте коих должны

¹ См. следующую главу.

² Colletta P. Storia del reame di Napoli dal 1734 sino al 1825; Castro. Storia d'Italia dal 1799 al 1814. См. в следующей главе о Гарденберге.

были воздвигаться порядки новые. Все, что наполеоновский режим сохранил из приобретений революции, и все, что было введено во Франции самим Наполеоном, должно было распространиться повсюду, где только признавалась власть французского правительства. Во вновь приобретенных владениях, в королевстве Итальянском, в государствах братьев Наполеона, в странах, признававших над собою его протекторат, отменялись старые учреждения и вводились новые по инициативе самого Наполеона. Франция своим внутренним порядком и внешним могуществом импонировала правительствам государств, остававшихся независимыми, благодаря чему французские учреждения казались многим государственным людям образцовыми¹. С другой стороны, патриоты, стремившиеся к освобождению народов от ига, которое на них было наложено чужеземным завоевателем, сами приходили к той мысли, что успешная борьба с внешним врагом совершенно невозможна без укрепления внутренних сил путем преобразований, а эти преобразования могли совершаться опять-таки только в просветительном и освободительном направлении, в духе идей, враждебных старым порядкам. Такого рода взгляды разделялись и государственными деятелями, ставившими поэтому снова на очередь вопрос о реформах, разделялись и некоторыми общественными кругами, видевшими необходимость такой деятельности, которая была бы направлена на внутреннее возрождение. Не нужно, наконец, забывать и национальных движений, вызванных грандиозной международной борьбой эпохи: и эти движения были соединены с разнообразными новыми стремлениями в области культурной и политической жизни.

Мы не будем излагать здесь внутреннюю историю отдельных государств в эпоху консульства и империи, а остановимся на крупнейших переменах вообще в их быту, разделив эти перемены на известные категории. Начнем с отношений политических.

Нам уже известно, что революция начала, а Наполеон довершил падение средневековой Священной Римской империи германской нации. По своему устройству Германия накануне Французской революции была самым отсталым государством в Европе, сохранив из времен средневекового политического быта то, чего вне Германии в это время уже нигде не существовало: церковные княжества и политический феодализм. В Средние века на всем пространстве монархии Карла Великого архиепископы и епископы сделались суверенными феодальными владельцами, но везде успехи государственного начала в его монархической или республиканской форме² положили конец существованию духовных княжеств. Исключение составляли, кроме Папской области, духовные княжества Германии, сохранившиеся в этой стране благодаря лишь тому, что она не достигла политического единства в то время, когда другие нации превратились в настоящие монархии.

¹ Вспомним у нас Сперанского.

² Городские общины Италии.

Немецкие духовные княжества пережили и кризис реформационной эпохи с ее секуляризационными стремлениями, и епископы-князья дожили в Германии до революционной бури. Из семи (а потом восьми и даже девяти) курфюрстов, стоявших во главе имперских князей в Германии, три курфюрста были духовные: архиепископы Майнцский, Кёльнский и Трирский, но, кроме того, существовало множество и других духовных князей с довольно значительными владениями (например, архиепископство Зальцбургское). В первые годы XIX в. владения немецких епископов и аббатов пошли на вознаграждение светских князей за их территориальные уступки, и впоследствии, в эпоху Реставрации, духовные княжества в Германии более уже не восстанавливались. Таким образом, в наполеоновскую эпоху окончательно завершился длинный процесс дефеодализации Католической церкви¹, в коем играли роль раньше и борьба городских общин против своих епископов как феодальных сеньоров, и рост королевской власти, и секуляризация церковных земель во времена Реформации, просвещенного абсолютизма и революции. Рядом с этим исчезновением духовных княжеств нужно поставить и ту секуляризацию церковной собственности, какая в эпоху Наполеона производилась в некоторых католических странах, находившихся под влиянием Франции.

Другим остатком средневековой старины в Германии был политический феодализм. Перед разрушением своим Священная Римская империя состояла из трех с половиной сотен крупных, средних и мелких владений (княжеств и вольных городов), не считая полутора тысячи имений имперского рыцарства, находившегося в непосредственных отношениях к императору. Мелкий князек или еще того более имперский рыцарь были настоящими помещиками с суверенными правами, как то было, например, во Франции в полный разгар феодализма. Падение средневековой империи сопровождалось медиатизацией великого множества княжеских домов, т. е. из непосредственных (иммедиатных) чинов империи они делались посредственными (медиатными), попросту превращались в подданных князей (вместе с имперскими рыцарями, которые равным образом не могли сохранить своего прежнего положения). Когда Священную Римскую империю заменил Рейнский союз, в нем числилось уже в пятнадцать раз меньше государств, чем их было раньше. Таким образом, в начале XIX в. было положено начало уничтожению немецкого «мелкодержавия». Раздробление Германии на отдельные княжества, совершившееся между серединой XIII и XVII вв., было совершенной политической аномалией в ту эпоху, когда везде происходило государственное объединение, хотя и в Германии делались попытки поднять государственную власть над феодальным партикуляризмом. Особенно силен был политический феодализм на западе Германии, где только, собственно говоря, и господствовали духовные княжества, мелкодержавие, воль-

¹ О феодализации церкви см. т. I.

ные города, имперское рыцарство, но именно здесь более всего и сказалось французское влияние. Правда, в эпоху Венского конгресса были восстановлены некоторые из княжеств, уничтоженных Наполеоном, но все-таки число отдельных государств в Германии и в 1815 г. было в десять раз меньшим, чем до падения средневековой империи.

Таким образом и в процессе разрушения политического феодализма Наполеон делал то, что делали государи Нового времени, откреплявшие политическую власть от крупного землевладения и соединявшие мелкие феодальные владения в более крупные государственные организмы.

Внутренний строй новых государств, основывавшихся Наполеоном, равным образом создавался по новому же плану и на развалинах старых отношений. Образцом для них служила наполеоновская Франция, в свою очередь, осуществлявшая во многих отношениях программу просвещенного абсолютизма. Некоторые немецкие историки последним именем и обозначают режим, господствовавший, например, в государствах Рейнского союза: действительно, по задачам своим и по приемам режим этот напоминает нам просвещенный абсолютизм. Во Франции вся разрушительная работа была совершена революцией, а Наполеону оставалось только соорудить новое здание на расчищенной уже почве. Не то мы видим в Германии, в Италии, в Испании, где подручникам и союзникам Наполеона, носившим титулы королей и великих герцогов, равно как окружавшим их французам, вышедшим из наполеоновской школы, или местным деятелям, убежденным в спасительности французских порядков, приходилось совершать и разрушительную работу: старые порядки отделялись от наполеоновской эпохи революцией, а тут эти порядки еще существовали и самим существованием своим мешали преобразованиям по французскому образцу. В этом отношении мы наблюдаем однородные явления во многих странах.

В Баварии¹, увеличенной новыми владениями и возведенной на степень королевства, министром-реформатором выступил савоец Монжеля (Монгелас), возведенный в 1809 г. в графское достоинство. Он поставил своею задачею слить в однородное целое все земли, из коих составилось новое государство, отменив в них старинные земские чины с их партикуляристскими стремлениями и построив всю администрацию на началах бюрократической централизации. Преобразовательной деятельности подверглись церковь (упразднение многих монастырей и секуляризация части церковной собственности), школа, финансы, судебная часть и т. п. Были, далее, отменены здесь привилегии дворянства; все граждане были привлечены к платежу налогов; предпринято было улучшение участи крестьян; введена веротерпимость; смягчена строгая духовная цензура и т. п. Во многих отношениях в католико-феодальной Баварии министр-реформатор совершал то же самое

¹ Для Германии вообще см.: *Perthes. Politische Zustände und Personen in Deutschland zur Zeit der französischen Herrschaft.*

и теми же приемами, что за двадцать лет перед тем Иосиф II делал в католическо-феодальной Австрии. В Вюртемберге деспотическим королем Фридрихом равным образом были ниспровергнуты старые порядки, отменены земские чины и сословные привилегии, уничтожены разные корпорации, конфискованы церковные имущества и водворена система бюрократической централизации и опеки по французскому образцу. Баден, где царствовал более гуманный Карл Фридрих, точно так же подвергся внутренним преобразованиям, имевшим результатом замену учреждений средневекового происхождения новыми все по тому же французскому образцу. В Вестфальском королевстве царствовал брат Наполеона Иероним, поставивший своей целью ввести и в этом государстве французские административные, судебные, финансовые и т. п. порядки с уничтожением привилегий и корпораций, равенством всех перед законом, веротерпимостью, уничтожением крепостничества; ему во всем этом помогали министры французского происхождения. Французские же государственные люди окружали и Иосифа Бонапарта в Неаполе. Здесь почва для реформ уже была подготовлена деятельностью Тануччи, особенно в церковной сфере, отчасти и в социальной. Дело Иосифа продолжал его преемник Иоахим I (Мюрат). Вместе с французским кодексом Иосиф ввел гражданскую равноправность, отменив личные и имущественные привилегии дворянства, майораты, отличия между разными видами собственности, феодальные повинности, налоговые изъятия и т. п. Власть духовенства была стеснена, и секуляризованные имущества монастырей были объявлены национальной собственностью (наравне с конфискованными землями эмигрантов). Королевство получило новое деление и администрацию по образцу французской. Были произведены также преобразования в области финансов, суда, войска. Народное образование, сильно запущенное в Неаполе, Иосиф также старался поднять соответственными мерами. Подобные же реформы должны были совершиться и в Испании, но здесь против французов вспыхнуло восстание, результатом коего была знаменитая конституция 1812 г., представляющая собою другую сторону французского влияния в эту эпоху.

Собирая вместе однородные черты из внутренней истории только что указанных и некоторых других стран, невольно сравниваешь их с тем, что представляет из себя система просвещенного абсолютизма XVIII в. в ее отношениях к церковным, сословным, административным, финансовым, судебным и т. п. порядкам. Между прочим, и в рассматриваемую эпоху сказалось нерасположение государственной власти к старым земским чинам с их провинциальным партикуляризмом и сословным консерватизмом. Просвещенный абсолютизм был против общественной самодеятельности, но, в сущности, и новый режим, установившийся в Баварии, Вюртемберге, Бадене, Вестфалии, Неаполе и других государствах, находившихся под влиянием Франции, будучи скопирован с французского, не допускал обществен-

ной самостоятельности. Тем не менее подобно тому, как наполеоновская Франция имела конституцию с подобием национального представительства, последнее вводилось, — хотя бы и на бумаге только, — и в указанных государствах, причем многие характерные преобразования, о коих сейчас шла речь, основывались именно на этих новых конституциях. Таким образом, наполеоновская Франция унаследовала от Франции революционной даже политику распространения представительных учреждений, чего не следует упускать из виду, рассматривая историю конституционных движений XIX в.

Когда революционная Франция основывала новые республики, она давала им конституции, составленные по образцу французской конституции III г.¹ В прокламации, изданной Наполеоном во время основания Цизальпинской республики, прямо было заявлено, что «Директория Французской республики дарует цизальпинскому народу свою собственную конституцию, плод просвещения самой образованной нации в Европе». И цизальпинской конституции была предпослана декларация прав и обязанностей; и в ней провозглашался принцип народовластия; и она устанавливала двухстепенные выборы; наконец, и тут законодательная власть была вручена двум советам (старейших и большому), а исполнительная — Директории из пяти членов. Когда Наполеон, будучи первым консулом, восстановил в Ломбардии, отвоеванной было врагами Франции, республику под именем Италийской, последняя получила новую конституцию, которая на этот раз была согласована с французской VIII г., причем должности первого консула соответствовала должность президента, избиравшегося на десять же лет. Равным образом с конституции III г. были списаны конституции, какие получили и другие республики, «дочери» республики Французской. Любопытно, что в Риме для обозначения конституционных властей были взяты классические названия: комиции — для первичных собраний, трибунат — для большого совета (соответствовавшего французскому совету пятисот), сенат — для совета старейшин, а директоры были заменены консулами, — названия, с коими мы встречаемся потом в наполеоновской конституции. Обращение самой Франции в империю имело своим результатом замену уцелевших в эту эпоху новых республик монархиями, к коим прибавились впоследствии и другие завоеванные Францией королевства братьев Наполеона. Эти наполеоновские создания были, равным образом, копиями с императорской Франции: те представительные учреждения, которые существовали в последней в силу императорской конституции, повторялись с большими или меньшими изменениями и в других монархиях, созданных Наполеоном. Ранее всего это было сделано по отношению к республике Италийской, превращенной в королевство Италийское и получившей государственное устройство, аналогичное французскому. В следующем году получила новую конституцию Голландия, превращенная в королевство, а также введено было

¹ Тексты их можно найти в известной Collection des constitutions par Dufau, Duvergier et Guadet (т. II), а также у Pollitz'a (Europäische Verfassungen).

аналогичное устройство и в Неаполе, отданном Иосифу Бонапарту, хотя в неаполитанской конституции были допущены уже значительные отступления от французского образца. В 1807 г. Наполеон создал королевство Вестфальское, равным образом получившее представительство. Введением конституции сопровождалось также воцарение Иосифа и в Испании в 1808 г. Нечего говорить, что все эти конституции не были результатом какого-либо общественного движения и не составляли действительных гарантий политической свободы: конституции эти давались народам победоносным полководцем, распоряжавшимся по своему усмотрению судьбами наций и тронов, да и реальное значение их не могло быть большим, чем во Франции, где императорская конституция была лишь своего рода политической декорацией абсолютизма исполнительной власти. Тем не менее принцип общественного участия в делах управления признавался в теории этими конституциями, и империя Наполеона, таким образом, содействовала распространению на материке представительных учреждений: королевства братьев Наполеона были в этом отношении наследниками республик, основывавшихся Французской революцией, как и императорская конституция была преемницей других конституций, вводившихся во Франции после 1789 г. Во всяком случае, абсолютизм в той форме, какую он имел при старом порядке, теперь устранялся, и подобие общественного участия в делах правления вводилось не в виде средневекового сословного представительства, а в виде более близком к представительству национальному. Политические перевороты этой эпохи сопровождались вообще падением и старой формы представительства сословного в тех частях Германии, где еще доживали свой век земские чины. Эти последние были именно уничтожены в Баварии и Вюртемберге. Хотя в первом из этих королевств введено было новое государственное устройство, коим обещалось созвание государственного и областных сеймов, но обещание это не было исполнено. Впрочем, если государственный сейм и был введен в королевстве Вестфальском, то, как и везде, он был лишь подобием народного представительства, так как, по существу, во всем действовал королевский произвол, опиравшийся на бюрократическую систему управления. Прибавим еще, что, учреждая герцогство Варшавское, Наполеон и в нем ввел конституцию, коей восстанавливался польский сейм.

Представительные учреждения возрождались к новой жизни в эту эпоху и в других государствах. Низвержение Густава IV и воцарение Карла XIII в Швеции сопровождалось введением новой конституции (1809), по которой представительство по-прежнему оставалось (до 1866 г.) сословным, разделенным на четыре палаты (дворянство, духовенство, горожане и крестьяне), но изменялось зато взаимное отношение между государственными властями к большей выгоде для представительства, стесненного актами 1772 и 1789 гг. В том же году Александр I ввел сословное представительство в Финляндии по образцу шведского. Но совсем уж новая конституция в эту эпоху

была выработана в Норвегии. Эта страна по Кильскому договору (14 января 1814 г.) должна была быть присоединена от Дании к Швеции, но она вошла со Швецией в сделку, сохранив за собою значение отдельного королевства под властью одного короля со Швецией. Когда датский король вынужден был уступить Норвегию шведскому королю, норвежское население отказалось подчиниться этой уступке, ссылаясь на то, что народ «не стадо», коим можно распоряжаться по произволу, и вот в Эйдгвольде было созвано учредительное собрание, в коем нашлись люди, проникнутые французскими демократическими идеями: они-то и составили новый государственный устав Норвегии. Норвежская конституция демократическая, напоминающая французскую конституцию 1791 г., так как, в принципе, она приняла одну палату и предоставила королю лишь задерживающее veto¹.

Особого рассмотрения заслуживает испанская конституция 1812 г. Ее происхождение напоминает происхождение норвежской. И эта знаменитая конституция возникла также на почве национального протеста против распоряжения народом, как стадом, и она была составлена в духе тех же демократических идей. Наполеон, посадивший своего брата на престол Испании, впервые в этой стране встретил против себя сильное народное движение, выразившееся в партизанской войне, какую вели против французской армии гверильясы², и в образовании местных союзов, или хунт, которые объединили свои действия в образовании общей центральной хунты (1808). Сначала в этом движении господствовало реакционное течение, стремившееся к восстановлению старого абсолютизма, но мало-помалу верх взяла либеральная партия, которая и стала во главе национальной войны против французского ига. Эта партия не только сумела оказать противодействие реакционным элементам хунты, но и вынудила временное национальное правительство (регентство) созвать в Кадиксе³ кортесы (24 сентября 1810 г.), которые и составили знаменитую конституцию 1812 г. Выборы в кортесы были произведены всеобщей подачей голосов во всех тех частях Испании, которые не были заняты французами, а из других частей, где население не могло выбрать депутатов, были назначены правительством тамошние уроженцы, переехавшие жить в Кадикс. В первом же заседании кортесов, образовавших из себя одну палату, регентство сложило с себя власть, и вожди собрания добились того, что кортесы провозгласили себя средоточием верховной власти нации, поручив, однако, исполнительную власть прежнему регентству. Испанские патриоты, боровшиеся против французов, были тем не менее одушевлены идеями Французской революции, и конституция 1791 г. с некоторыми принципами средневеко-

¹ Текст см. у Jäher'a и Moldenhauer'a. *Auswahl wichtiger Aktenstücke zur gesch. des XIX Jahrhunderts*, 1893.

² Подобно тому как и норвежцы стали было силой сопротивляться шведам.

³ Собственно, в небольшом портовом местечке на острове Леоне.

вого арагонского устройства послужила образцом для составления конституции 1812 г. Это создание кортесов получило впоследствии важное историческое значение, сделавшись в эпоху Реставрации лозунгом либеральных партий и в других романских странах¹. В основу нового государственного устройства Испании кортесы положили именно принцип народовластия, объявив, что лишь самому народу принадлежит учредительная власть. Начало разделения властей было строго проведено и в испанской конституции 1812 г.: законодательная власть вручалась кортесам вместе с королем, который пользовался правом инициативы и должен был предписывать исполнение законов, но был лишен абсолютного veto, а применение законов в гражданских и уголовных делах предоставлялось судам. Народ получал право посылать в кортесы, составлявшие одну палату, по одному депутату на каждые 70 тыс. жителей, но выборы не были прямыми, так как организованы были приходские, окружные и провинциальные избирательные хунты с довольно сложной системой избрания. Депутаты избирались на два года без права быть переизбранными в течение следующего двухлетия. Представителями нации не могли быть министры, члены государственного совета и придворные чины, хотя министрам и разрешалось присутствовать в кортесах во время прений (но не при голосованиях) и давать свои объяснения. Кортесам конституция предоставляла самые большие права и в законодательстве, и в финансовом управлении, равно как широкий контроль над министрами и вместе с тем участие в ратификации договоров с иностранными государствами. Далее, учреждалась особая «постоянная депутация» кортесов, состоявшая из семи членов: на нее была возложена обязанность блюсти неприкосновенность конституции и законов, доводя до сведения кортесов обо всех правонарушениях, а также обязанность созывать кортесы в чрезвычайные сессии во всех особенно важных случаях государственной жизни. Королевская власть, получившая значение лишь исполнительного органа, и тут была обставлена разного рода ограничениями. Например, король не мог распускать кортесы или отсрочивать их заседания, а кто посоветовал бы королю это сделать или помог бы ему в этом, тот должен был подвергнуться преследованию в качестве государственного изменника. Король, вступивший в брак без согласия кортесов, считался отказавшимся от престола. Кортесы могли вместе с тем исключать из права престолонаследия членов королевской фамилии, неспособных к управлению или запятнавших себя какими-либо поступками, за совершение коих они заслуживали бы потерять право на корону. Воспитание наследника престола было отдано равным образом под контроль кортесов. Король, наконец, должен был вообще действовать не иначе, как через ответственное перед кортесами министерство, и помимо этого, конституция учреждала при короле еще государственный совет, в со-

¹ См. у Дюфо (т. V), а также у Jäher'a и Moldenhauer'a.

став коего входили сорок членов, назначаемых самим королем не иначе, однако, как из тройного числа кандидатов, указанных кортесами, после чего лишить их должности мог только приговор верховного суда. По всем важным делам, особенно же по вопросам законодательства и внешней политики, т. е. когда, например, предстояло дать санкцию закону или объявить войну, или же заключить договор с иностранной державой, король обязан был выслушивать мнение государственного совета; этому же совету принадлежало право представлять тройное число кандидатов, из коих король должен был выбирать при всех назначениях на духовные и светские должности. Одним из видных пунктов этой либеральной конституции было, впрочем, объявление единой истинной католической веры национальной религией с прямым воспрещением всех других культов. Заметим еще, что этой конституции должны были подчиняться и испанские колонии. Американские владения Испании не захотели признавать правительства Иосифа и образовали местные хунты во имя короля Фердинанда VII, но под этим движением скрывались уже сепаратистские стремления: эти колонии давно тяготились испанским управлением, и даже уступки, сделанные в их пользу кортесами 1812 г., их мало удовлетворяли; когда же в 1814 г., как мы увидим, в Испании произошла реставрация абсолютизма, колонии уже прямо поставили себе задачу отделиться от метрополии для образования отдельных самостоятельных республик.

Переходим к переменам социального характера.

Весьма важное значение в деле уничтожения старого социального строя с его сословными привилегиями личного и вещного характера имело распространение вне Франции наполеонова кодекса. Наполеон сам придавал весьма большое значение распространению своего гражданского кодекса, бывшего выражением индивидуализма¹ нового времени с его сильными и слабыми сторонами. Понятное дело, что *code Napoléon* действовал на всем протяжении обширной империи до самых отдаленных ее пределов (вроде Иллирии), но, кроме того, он был принят в итальянских владениях самого Наполеона и его родни, в некоторых государствах Рейнского союза, каковы Баден, Вестфалия, равно как в герцогстве Варшавском² и т. п. Освящавший во Франции гражданское равенство новый кодекс вводил это равенство там, где феодализм и крепостничество создавали юридическое неравенство и даже прямую зависимость человека от человека. Крепостное состояние, в каком находилось во многих государствах масса сельского населения, было несовместимо с новым общественным строем и его выражением — гражданским кодексом, и французское владычество везде соединялось с освобождением личности крестьянина от рабской зависимости (хотя этим еще не

¹ Ср. т. III, где идет речь о том, как учредительное собрание проводило принцип личности в область гражданского права.

² Кодекс Наполеона и до сих пор действует в губерниях Царства Польского.

создавалась экономическая обеспеченность освобожденных крепостных). В XVIII в. для сельского населения Германии сделано было слишком мало законодательством отдельных государей, чтобы можно было говорить о каких-либо серьезных переменах или улучшениях в крестьянском быту перед тем политическим переворотом, который был результатом окончательного распада Священной Римской империи. Исключая то, что сделано было в Пруссии и Австрии при Фридрихе-Вильгельме I и Фридрихе II, при Марии-Терезии и Иосифе II, можно указать еще разве на такие факты, как отмена (но далеко не полная) крепостничества в Бадене при Карле-Фридрихе (1783), в Изенбурге при Вольфганге Эрнсте (1795), в Гогенцоллерн-Гехингене при вступлении на престол Германа-Фридриха (1798) или улучшение быта крестьян в Баварии при вступлении на престол Максимилиана I (1799). В Изенбурге уничтожение крепостного состояния было вынуждено необходимостью, ибо под влиянием Французской революции в этом княжестве в 1794 г. происходили крестьянские бунты против барщины. Настоящим образом уничтожение крепостничества началось в Германии, однако, только в эпоху французского господства. Во-первых, оно совершилось, разумеется, в тех немецких землях, которые по Люневильскому миру были присоединены к Франции. Во-вторых, после этого было бы в высшей степени трудно поддерживать крепостничество в соседних государствах Рейнского союза, тем более что союзным актом (12 июля 1806 г.) объявлялись уничтоженными все немецкие имперские законы, касавшиеся союзников и их подданных, и что в новых королевствах, великих герцогствах и т. п. стали вводиться французские порядки и, между прочим, местами был принят наполеонов кодекс. От членов Рейнского союза французский протекторат требовал величайшего напряжения экономических сил, и между самими правителями всех этих королевств и княжеств утвердился взгляд, по которому поднять материальную производительность населения могло лишь освобождение личности крестьянина, его труда и земли от рабской зависимости. Любопытно, что те члены Рейнского союза, по отношению к которым Наполеон был не так требователен, как к другим, и не делали ничего существенного для улучшения быта крестьян в своих владениях. В таком положении находились именно Вюртенберг, где начало крестьянской реформы относится только к следующему периоду (1817), и Саксония, в коей падение крепостничества совершилось еще позднее (1832).

Когда Наполеон создал для своего брата Иеронима Вестфальское королевство, то в конституцию (15 ноября 1807 г.), коею оно должно было управляться, включил статью, безвозмездно уничтожавшую в новом королевстве крепостное состояние. В начала следующего года (23 января 1808 г.) Иероним издал декрет, которым объяснялось, что безвозмездная отмена распространяется лишь на рабскую зависимость личности с произвольными барщинами и оброками, но что все повинности, имеющие значение платы за

уступленные крестьянам участки земли, должны подлежать выкупу, — распоряжение, напоминающее нам законодательство Французской революции в 1789—1791 гг.¹ Этот закон был дополнен другими, коими определялось применение общего принципа к разным категориям крестьянских повинностей. Упоминая об этом, нельзя не отметить, что Иероним считал нужным разрешать некоторые вопросы своего законодательства по отношению к сельскому быту в интересах землевладельцев, которых, очевидно, он не хотел против себя вооружать. Когда Вестфальское королевство пало, в нем фактически продолжали еще существовать прежние отношения, благодаря поспешности, с коею была введена реформа, и несогласованности между собой отдельных ее частей и вследствие того еще, что крестьяне не хотели выкупать своих земель, стремясь все повинности свои включить в категории отмененных безвозмездно, что породило множество судебных процессов. Те же явления, впрочем, наблюдаются и в других государствах Рейнского союза, где — на тех же притом принципах, как и в Вестфалии, — были изданы законы, отменявшие крепостную зависимость крестьян. В этом последнем деле по отношению к некоторым отдельным территориям инициатива принадлежала непосредственно самому Наполеону. Именно в 1808 г. он подписал в Мадриде декрет, уничтожавший крепостное состояние в великом герцогстве Бергском и в некоторых других немецких землях, каковы Эрфурт, Байреит и др. (Точно так же Наполеоном отменено было крепостничество и в великом герцогстве Варшавском, когда оно получало свое внутреннее устройство в 1807 г.) С другой стороны, не подлежит никакому сомнению, что без разгрома Пруссии, указавшего на непригодность старых порядков, которые господствовали в гогенцоллернской монархии, не подвинулось бы дело крестьянской реформы и в тех частях этой монархии, какие сохранились под властью Фридриха-Вильгельма III. В освобождении крестьян, предпринятом здесь в 1807 г., о чем подробнее мы будем говорить в своем месте, видели именно средство поднять монархию из ее упадка и возместить внешние потери внутренним усилением, ожидавшимся от улучшения крестьянского быта. Прежде всего это сделано было в Силезии, относительно коей у правительства было серьезное опасение, как бы освобождение не поспешили провозгласить французы, чтобы привлечь сельское население на свою сторону; но после такого шага прусскому правительству было бы уже прямо невозможно не распространить ту же меру и на другие провинции. Действительно, эдиктом 9 ноября 1807 г. Фридрих-Вильгельм III положил начало ликвидации крепостнических отношений в своем государстве, и это произошло даже раньше, чем во многих других немецких государствах, как, например, в Баварии и Нассау (1808), в Вестфалии (1808 и 1809), в Липпе-Детмольде (1809), в Шауенбург-Липпе и в шведской Померании (1810) и т. п. Прусская

¹ Подробнее о крестьянских реформах будет сказано в общем их обзоре (в IV отделе настоящего тома).

крестьянская реформа получила значение и вообще для Германии, после того как Пруссии, ставшей во главе национального движения, удалось содействовать освобождению немецкого народа от французского владычества.

Из этого краткого обзора внутренних перемен, совершившихся в разных странах Западной Европы в эпоху империи и под непосредственным влиянием наполеоновской Франции, можно также видеть, что между многими сторонами просвещенного абсолютизма, Французской революции и наполеоновского режима существует известное внутреннее родство. Эти три исторические явления, охватывающие собой вторую половину XVIII в. и начало XIX столетия, сходятся на общей почве отрицания старых культурно-социальных начал католико-феодального строя во имя принципов государства и изолированной личности. Правда, Французская революция присоединила еще к этим принципам принцип общественной самостоятельности, против которого одинаково вооружались и просвещенный абсолютизм, и на практике наполеоновский цезаризм; но с этим принципом сама уже революция потерпела поражение, чем, между прочим, и объясняется временное забвение его в наполеоновскую эпоху. Между тем все эти перевороты, коим подвергалась Западная Европа в течение четверти века от начала революции до падения империи Наполеона I, не могли пройти бесследно для национального и общественного самосознания, которое, конечно, должно было пробуждаться как вследствие французского деспотизма, тяготевшего над целыми народами, так и вследствие внутренних перемен, происшедших в отдельных странах и не могших не иметь просветительного и освободительного влияния. Национальные движения XIX в. своим исходным пунктом имеют поэтому Французскую революцию и империю Наполеона I, которые и положительным и отрицательным воздействием своим на народы вывели их из спячки, бывшей результатом культурной, социальной и политической реакции под знаменем клерикально-аристократического абсолютизма XVI и XVII вв.

Х. Разложение «старого порядка» и попытка реформ в Пруссии¹

Особый интерес прусской истории в наполеоновскую эпоху. — Результаты просвещенного абсолютизма Фридриха II. — Внутреннее разложение «старого порядка» в Пруссии. — Культурная реакция при Фридрихе-Вильгельме II. — Его отношение к революционной Франции. — Настоятельная необходимость преобразований в системе управления. — Социальные отношения Пруссии в начале XIX в. — Влияние Французской революции на Пруссию и прогрессивная партия в Пруссии. — Гарденберг и Штейн. — Условия, среди коих пришлось действовать обоим министрам-реформаторам. — Вопрос о представительстве в Пруссии. — Правительственные преобразования Штейна и Гарденберга. — Изменения, произведенные ими в социальном быту. — Реформа прусской армии. — Общее значение прусских реформ

Мы выделяем из общего рассмотрения перемен, происходивших во внутренней жизни западноевропейских народов в наполеоновскую эпоху, те преобразования, которые были произведены в Пруссии после разгрома этой монархии в 1807 г. На это имеются особые основания, касающиеся, во-первых, важной исторической роли Пруссии, а во-вторых, самого харак-

¹ Для предыдущей истории Пруссии см. т. III. Литература для этой и след. главы весьма значительная: *Rönne*. Das Staatsrecht der preuss. Monarchie, 1871; *Schulze*. Das preussische Staatsrecht, 1872; *Cavaignac*. La formation de la Prusse contemporaine, 1891; *Menzel*. Zwanzig Jahre preussischer Geschichte, 1849; *Philippson*. Gesch. des preuss. Staatswesens vom Tode Friedrichs des Grossen, 1880—1882; *Idem*. Gesch. des preuss. Beamtenthums vom Anfang des XVI Jahrhunderts bis auf die Gegenwart, 1884; *Cassel*. Friedrich Wilhelm II, 1886; *Hüffer H.* Die Kabinets-Regierung in Preussen und J. W. Lombard. 1891; *Duncker M.* Aus der Zeit Friedrichs des Gr. und Friedrich Wilhelms III, 1876; *Noack F.* Hardenberg und das geheime Cabinet Fr. Wilh. III. 1881; *Pertz*. Das Leben des Ministers von Stein. 1849—1855; *Lehmann*. Stein, Scharnhorst und Schön, 1877; *Idem*. Scharnhorst, 1886; *Seeley*. Life and times of Stein (есть и в нем. переводе, 1883—1887); *Ranke L. von*. Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers von Hardenberg. Hardenberg und die Gesch. des preuss. Staates von 1793 u. 1813; *Bodelschwingh*. Leben Vincke's; *Haym*. Wilhelm von Humboldt; *Klippel*. Das Leben von Scharnhorst, 1869. Соч. о Tiigenbund'e y Voigt'a (1850), Balrsch'a (1852), Lehmann'a (1867); *Meier E.* Die Reform der Verwaltungsorganisation unter Stein und Hardenberg, 1881; *Stern A.* Abhandlungen und Aktenstücke zur Gesch. der preuss. Reformzeit (1807—1815), 1885; *Kapp*. Die Bauernbefreiung in den älteren Theilen Preussens, 1887; *Mamroth*. Gesch. der preuss. Staatsbesteuerung (1806—1816), 1890; *Dieterici*. Zur Geschichte der Steuerreform in Preussen (1810—1820), 1875; Die Reorganisation der preussischen Armee nach dem Tilsiter Frieden, 1862 (Изд. истор. отделения прусс. генер. штаба); *Körke*. Die Gründung der University zu Berlin, 1860. На русском языке см.: *Назимов А.* Реакция в Пруссии, 1886 (сочинение посвящено эпохе 1848—1858 гг., но в нем есть и отдел об эпохе реформ при Штейне и Гарденберге); *Молчановский Н.* Цеховая система в Пруссии XVIII в. и реформа цехов при Штейне и Гарденберге; *Самарин*. Уничтожение крепостного права в Пруссии; *Bunner P.* Государственные идеи Штейна («Русская мысль», 1891, август). Конечно, этой эпохе посвящены большие отделы и в общих сочинениях Гейсера и Трейчке, Онкена и Флате и в истории Пруссии. См. также соч. K. Goette, названное ниже в примечании к главе XI.

тера реформ, предпринятых и отчасти выполненных в этом государстве, причем, наконец, большой интерес представляет и личность министра-реформатора барона Штейна. Недаром эпоха, о которой будет идти речь в настоящей главе, привлекла к себе внимание историков и послужила предметом довольно значительной литературы.

В XVIII в. произошло возвышение Пруссии, а к концу этого столетия стала намечаться и ее будущая роль объединительницы раздробленной Германии. В эпоху наибольшего унижения Германии Наполеоном на Пруссию, в которой были предприняты внутренние реформы, немецкие патриоты стали возлагать все свои надежды, и монархия Гогенцоллернов действительно стала играть первую роль во время «войны за освобождение» Германии от французского ига в 1813 г.: без внутренних преобразований она не могла бы подняться из своего падения, не могла бы сделаться центром национальной жизни всей Германии в момент решительной борьбы с Наполеоном. В истории прусских реформ есть и другая сторона. Просвещенный абсолютизм короля-философа Фридриха II прошел почти совершенно бесследно для политического и социального быта Пруссии. В конце этого царствования Мирабо указывал на необходимость реформ в Пруссии, говоря, что в монархии Фридриха II все держится на личности самого короля: умрет он, и первый серьезный толчок повлечет за собой разрушение сооруженного им здания. В начале XIX в. старый порядок в Пруссии находился действительно в полном разложении, и это сказалось на катастрофе, постигшей государство Гогенцоллернов: от Наполеона зависело даже совершенно его уничтожить, как это он сделал с другими немецкими государствами. Прусское правительство создало теперь необходимость внутренних преобразований, и судьба послала монархии замечательного государственного деятеля в лице барона Штейна, который взял на себя это трудное дело. В то самое, однако, время, когда в других странах внутренние перемены совершались под французским влиянием, по инициативе и по указаниям французского правительства или во французском духе, прусские реформы и происхождением своим, и характером указывали на иной источник, на иную государственную идею, нежели та, которая возобладала во Франции. Главный реформатор барон Штейн был ярым противником воззрений и учреждений Французской революции и наполеоновской империи: по его мысли, реформы, нужные для Пруссии, не должны были походить на французские порядки, и в этом заключается оригинальность предпринятых им преобразований. Тем не менее и в этих реформах проявилось освободительное влияние эпохи, и Пруссия лишь иным образом, нежели Франция, приступала к ликвидации «старого порядка», воплощавшегося в сословном строе общества и в формах полицейского государства. Вот это-то все, вместе взятое, и делает в высшей степени любопытной внутреннюю историю Пруссии в наполеоновскую эпоху.

Просвещенный абсолютизм Фридриха II имел значение главным образом в культурной жизни Пруссии, подготовив общество к восприятию просветительных идей века; но в сфере политической и социальной король-философ, наследник гогенцоллернских традиций, вдобавок благоволивший юнкерству, оставил неприкосновенными те порядки, которые ему самому оставлены были в наследство его предшественниками. Привилегированное и господствующее положение дворянства, приниженное и придавленное положение городского сословия, крепостное состояние, в каком находилось крестьянство, — все это были характерные черты старого порядка: Пруссия в этом отношении отнюдь не представляла исключения из общего правила, господствовавшего на материке Европы. Какою принял Фридрих II Пруссию от своих предшественников и какою оставил своим преемникам, такою она и дожила вплоть до иенской катастрофы, тем более что те два десятка лет, которые отделяют год смерти короля-философа от года наполеоновского погрома, были в истории Пруссии временем реакции против просвещения XVIII в. вообще, следовательно, временем, крайне неблагоприятным для каких бы то ни было внутренних преобразований в прогрессивном смысле. В XVIII в., в эпоху полного господства старых порядков, монархия Гогенцоллернов была своего рода образцовым государством, административные, финансовые и военные учреждения коего были нередко предметом зависти и подражания для других правительств, но сами по себе эти правительственные порядки были, конечно, далеки от совершенства, а тут еще после смерти Фридриха II они не только стали разлагаться (потому, между прочим, что власть попала в неумелые руки), но и перестали соответствовать новым условиям жизни и новым задачам управления. Вся государственная система Пруссии сводилась к господству бюрократии, руководимой притом не правильными учреждениями, а непосредственным и личным вмешательством самого короля даже в мелочи администрации, суда, финансов и военного хозяйства. В конце своей жизни сам Фридрих II признавался, что ему надоело царствовать над рабами. Его властный характер, его система управления, действительно, привели к тому, что под конец он окружен был только слепыми исполнителями его воли, лишенными инициативы и доверия к собственным своим силам. Фридрих II сам же не терпел около себя людей, имевших собственное мнение и собственную волю, и, во всем полагаясь исключительно лишь на одного себя, ко всей совокупности правительственных учреждений Пруссии, построенных на строгом бюрократическом начале, относился как к бездушному механизму, предназначенному лишь к тому, чтобы приводить в исполнение королевскую волю: конечно, иного отношения, как всеобщее раболепство, он и не мог ждать от своих помощников. Поэтому при господстве такой системы вырабатывалась в государственных людях Пруссии только способность повиноваться. Но эта способность вообще, однако, весьма скоро и бесследно исчезает, раз исчезает и лицо, владеющее искусст-

вом повелевать, умеющее только требовать от своих помощников и подчиненных одного пассивного исполнения чужой воли и не приучающее их более активным образом участвовать во власти. Фридрих II оставил, в сущности, неприкосновенной и ту военно-хозяйственную систему управления государством, которую унаследовал сам от своего отца, — систему полицейского государства с его канцелярщиной, бюрократической рутинной и бумажным делопроизводством, как не тронул ни в одном существенном отношении и социального строя старой Пруссии, не сократил дворянских привилегий, не облегчил положения крепостных крестьян. В сущности, Пруссия уже в царствование этого величайшего из своих королей носила в себе все зародыши разложения и упадка, и все в ней крепко держалось при самом Фридрихе II, лишь благодаря его замечательной личности, а при его преемниках — в силу одной инерции.

Королем-философом наследовал его племянник Фридрих-Вильгельм II, вступивший на престол за три года до начала Французской революции и царствовавший еще около двух лет после того, как Пруссия — первой из старых монархий — пошла на сделку с этой революцией, отстав от коалиции, дабы заключить с Францией сепаратный мир в своих собственных выгодах¹. Этот король был во многих отношениях совершенной противоположностью своего дяди, соединяя в себе — вместе с чувственностью, с низкими страстями и с распушенностью (особенно в своих отношениях к женщинам) — суеверную религиозность, переходившую в ханжество, и преклонение перед ходячей моралью, охранение коей даже как бы входило в число правительственных забот Фридриха-Вильгельма II. При этом он, опять-таки не по примеру философа-дяди, при всяком удобном случае заявлял полное свое отвращение к всему, что имело французское происхождение или носило французский характер. Образование, полученное им, было более чем поверхностным; а наконец, при своем предшественнике он, разумеется, не мог и на практике научиться трудному искусству управления. Вступив на престол, он более всего стал заботиться об охранении своей самостоятельности от посторонних влияний: этой-то самой слабостью короля именно и воспользовались разные проходимцы, чтобы, постоянно льстя и всячески потакая недальновидному монарху, незаметным для него самого образом забрать в собственные руки ведение дел. Фридриха-Вильгельма II окружали главным образом интриганы, обскуранты, вообще люди, так или иначе подходившие к суеверному настроению, ханжеству и реакционным его стремлениям. Один из его советников, Вельнер, сам бывший ренегатом рационализма, был личным врагом Фридриха II и принципиальным противником его системы, что очень нравилось королю; другой, Бишофсвердер, настоящий суевер и ретроград по природе, тоже как нельзя более соответствовал всему психическо-

¹ Базельский мир 1795 г.

му складу Фридриха-Вильгельма II. Если на чем-либо особенно сильно сказалось в Пруссии Фридриха II влияние просвещения XVIII в., так это было как раз на культурном состоянии общества, но именно характером культурной реакции и отличалось все царствование нового государя. В 1788 и 1792 гг. племянник короля-философа издал, например, эдикты, коими запрещались в Пруссии свобода совести и свобода печати: деисты, философы, богословы, имевшие собственные взгляды, должны были отказаться от возможности излагать свои теории с университетских и церковных кафедр или в книгах; даже чисто научные сочинения подлежали специальной цензуре официальных представителей той или другой отрасли знания, так что, например, книга или статья по медицине должна была до выхода своего в свет быть одобрена правительственными специалистами названной науки; наконец, при таком режиме политические вопросы и вовсе исключались из публичного обсуждения. Фридрих-Вильгельм II смутно сознавал недостатки правительственной системы своего дяди, но ни сам он, ни люди, его окружавшие, не были способны хотя бы только поддерживать эту систему: все, что заключало в себе зародыши возможного разложения последней, приводило в неумелых руках теперь уже к настоящему разложению. Король был во власти кружка фаворитов, интриговавших против министров, а эти, в свою очередь, интриговали против влиятельных частных советчиков короля. Интригою жило и все высшее общество, наружно, однако, считая более удобным для себя приспособляться к новому реакционному направлению, сообщавшемуся сверху всей духовной жизни страны. Понятно, что при таких условиях общественной жизни недовольных — и притом недовольных с очень разных точек зрения — в тогдашней Пруссии было великое множество: все оппозиционно настроенные элементы общества протестовали против антифранцузского направления, господствовавшего в официальных сферах, и протестовали действительным или только мнимым расположением к Франции, которую, наоборот, король ненавидел. Сам Фридрих-Вильгельм II, говоривший, что его ремесло — быть роялистом, отнесся, как известно, весьма враждебно к Французской революции и начал против нее войну на защиту старого порядка. Но он далеко был не таким человеком, чтобы выдержать эту свою роль до конца, особенно выдержать роль бескорыстного защитника монархического принципа и верного союзника государств, составивших коалицию для подавления революции: в 1795 г. он пошел на мировую с Французской республикой, уже наметившей тогда свою программу революционной пропаганды, показав тем самым пример и для других государей эпохи. Война, объявленная Фридрихом-Вильгельмом II революции, стоила Пруссии больших денег и, умирая в 1797 г., он, в довершение всех бед, оставил своему сыну Фридриху-Вильгельму III в наследство еще совершенно расстроенные финансы. В это время общее недовольство подданных прусской монархии достигло наибольшей степени, и потому весьма естественно, что

на новое царствование стали возлагаться большие надежды, как на наступление времени, когда должны были наконец произойти исправление всех недостатков прежнего режима и восстановление порядка в правительственном механизме, расшатанном правлением фаворитов.

Ожидания эти, однако, не сбылись. Сын и преемник Фридриха-Вильгельма II, отличаясь сам весьма замкнутым характером, и потому избегая личных сношений с министрами, продолжал вершить важнейшие дела в королевском кабинете, бывшем, в сущности, только простой инстанцией для докладывания дел, и руководясь при этом советами людей, нередко весьма плохо знавших эти дела и не перед кем не отвечавших за свои ошибки. Чтобы выйти из состояния полного внутреннего расстройств, Пруссии прежде всего надлежало преобразовать все центральное свое управление. Прежний тайный совет не объединял уже, как прежде, отдельных отраслей администрации, разделившись на совершенно самостоятельные департаменты (иностранных дел, юстиции и внутренних дел). Департамент внутренних дел, будучи образован Фридрихом-Вильгельмом I из соединения генерального военного комиссариата и генеральной дирекции финансов, назывался генеральной Директорией военных дел, финансов и доменов и был главным органом военно-хозяйственного управления Гогенцоллернов в XVIII в. Это учреждение, сделавшееся могущественным орудием централизации, не было, однако, достаточно согласовано с системой, продолжавшей господствовать в областном управлении, и вот в начале XIX в., вместо того чтобы идти к одной и той же цели, как генеральная Директория, так и местные органы центральной власти только тормозили деятельность друг друга, тем более еще, что в провинциях, не так давно бывших самостоятельными княжествами, существовали сильные партикуляристские стремления, находившие опору в местном сословном быту. Генеральной Директории в отдельных провинциях были подчинены лишь военные и доманиальные палаты¹, коим принадлежал преимущественно надзор над тем, как велось военное и доманиальное хозяйство; но рядом с этими палатами стояли ландраты, бывшие одновременно и представителями местного дворянства, и должностными лицами на государственной службе: ландраты назначались королем из дворян, рекомендованных дворянскими сословными собраниями, ведали вместе с особыми дворянскими комитетами делами этого сословия, председательствуя на его собраниях, а кроме того, являлись органами центральной власти в заведовании полицией, рекрутскими наборами, взиманием налогов и т. п. Генеральная Директория в XVIII в. все более и более отвоевывала почву у не зависимых от нее местных органов; но правительственная анархия, установившаяся при Фридрихе-Вильгельме II, была как нельзя более на руку представителям партикуляристских начал в старой системе областного управле-

¹ В одной из таких палат и работал одно время Фридрих II, будучи кронпринцем.

ния, тем более что между более мелкими административными единицами и центральным правительством уже не существовало почти никакой связи. В самом деле, в королевских доменах полиция отдавалась на откуп наравне с другими доходными статьями; в рыцарских поместьях существовала вотчинная полиция и юстиция с патронатом владельца над церковью и школой; в свободных крестьянских общинах полиция была в руках старост и шеффенов, избиравшихся сельским сходом или пользовавшихся своей властью по имущественному цензу, часто даже наследственно. Только «непосредственные» города, т. е. такие, которые не были частями доменов или не подчинялись наравне с большей частью крестьянских общин патримониальной власти владельцев рыцарских поместий, находились в самой полной опеке у генеральной Директории, у военных и доманиальных палат и у податных советников, поставленных над городскими магистратами; члены этих магистратов назначались правительством, причем упомянутые советники в дававшейся им инструкции сравнивались прямо с ротными командирами, обязанными насквозь знать каждого своего солдата. Одним словом, Пруссия «старого порядка» в рассмотренном отношении может быть поставлена совсем рядом с дореволюционной Францией, где также правительственные учреждения, обязанные своим происхождением централизаторской политике королей, не были вполне согласованы с тем, что эти же самые короли оставили нетронутым в провинциальном быту с его партикуляристскими традициями и учреждениями. Чисто правительственная реформа стояла поэтому в Пруссии начала XIX в. совершенно так же на очереди, как стояла она на очереди и во Франции, когда, например, за это дело думал было взяться Тюрго; но подобно тому как и во Франции той эпохи, так и в Пруссии начала XIX в. законодательство было бессильно перед стоявшей перед ним задачей ввиду расстройств самой законодательной власти. Последняя для того, чтобы правильно и успешно действовать, нуждается в соответственной организации; но XVIII в. вообще и просвещенный абсолютизм в частности характеризуются как раз полным почти отсутствием учреждений, специально приспособленных к законодательной деятельности. При монархах XVIII в. существовали, правда, тайные советы совещательного характера в делах правления и законодательства; но их роль не была упорядочена, притом же монархи весьма часто обходились и без их содействия, особенно же такие государи, как Фридрих II или Иосиф II. В Пруссии незадолго до смерти Фридриха II (1781) законодательные вопросы даже перестали рассматриваться королевским советом, перешедши в заведование особой комиссией, в которой эти вопросы могли возникать лишь более или менее случайно, да и то в зависимости от произвола того или другого администратора: эта комиссия скорее создана была как бы для того только, чтобы тормозить всякое начинание в законодательной сфере. Карл Август Струензе, старший брат знаменитого датского временщика, занимавшего важные места на прусской государственной службе между 1782 и

1804 г., сам бывший одно время членом генеральной Директории, а потом государственным министром и начальником акцизного и таможенного ведомства, так изображает трудность проведения каких-либо реформ при существовавшем тогда порядке вещей. «Желаете ли вы, — писал он, — убедить того, другого или третьего в существующих злоупотреблениях, вы увидите скоро, что это зависит от десяти владений (Staaten), двадцати коллегий, пятидесяти местных учреждений, ста привилегий и необозримого множества личных соображений... С этим, — прибавлял он, — никому не справиться, разве только поможет сильный толчок извне, или путаница в ведении дел достигнет до такого предела, когда люди перестанут понимать друг друга и придут к сознанию, что необходимо обратиться к более простым началам». Таким образом, та форма законодательства, которая существовала в Пруссии в начале XIX в., прямо была причиной бессилия самого правительства в деле исправления хотя бы важнейших только недостатков унаследованной от прежних времен системы; в этом отношении государственная власть в Пруссии находилась совершенно в таком же положении, в каком была и государственная власть во Франции перед революцией, благодаря тому, что законодательные начинания всегда тормозились со стороны наследственной магистратуры. Итак, Пруссия сильно нуждалась в коренной правительственной реформе: старая система, в которой не было ни вполне законченной централизации, там, где последняя была необходима, ни настоящего самоуправления, где оно продолжало еще действовать, была в начале XIX в. только источником путаницы и беспорядка во всех административных отношениях, да и сама законодательная деятельность государства окружена была такими усилиями, при которых оказывалось невозможным производить хотя бы даже частные только исправления в этой системе.

Одновременно с таким разложением в Пруссии старого правительственного порядка, представляющим вообще множество аналогий с разложением французской системы законодательства и управления накануне революции, обнаруживаются в Пруссии и другие явления, также напоминающие нам внутренние отношения во Франции перед переворотом 1789 г.: это были именно явления уже социального свойства. Фридрих II, как было уже сказано, не изменил существенным образом того общественного строя Пруссии, который был наследием феодальных времен. Мало того, выработанное по его инициативе, но опубликованное только при его преемнике общее земское право¹, закрепляло существование сословного неравенства в наиболее резких его формах, и это совершалось в то самое время, как прежние социальные отношения фактически во многом уже изменились. Как, однако, ни были разрознены между собой отдельные общественные элементы, благодаря противоположности их интересов и искусственной поддержке нера-

¹ Allgemeines Landrecht.

венства самим действующим правом, все сословия сходились между собой на общей почве недовольства правительством, опять-таки совершенно так же, как это было во Франции, где старый порядок был разрушен, собственно говоря, соединенными усилиями двух разных оппозиций — консервативной и либеральной. Дворянство, которое упомянутым общим земским правом ставилось во главе других сословий, было, между прочим, недовольно признанною в этом праве за принцип неотчуждаемостью рыцарских поместий и запрещением дворянам заниматься промышленностью и торговлей под страхом утраты дворянского звания. Высший слой бюргерства, состоявший из зажиточных и образованных семейств, которые нередко роднились с дворянскими фамилиями, самим законодательством выделялся из остальной массы городского населения в особый класс и получал разного рода привилегии, ставившие его в исключительное положение в среде всего бюргерства; но в то же время правительство принижало отдельных лиц этого слоя во всех тех случаях, когда они стремились стать в служебном или общественном отношении наравне с дворянами. Бюргер, поступивший в военную и гражданскую службу, не мог рассчитывать на такое повышение, как его товарищи — офицеры или чиновники — из дворян. Землевладелец бюргерского происхождения не пользовался правами помещика-дворянина и т. п. Прибавим к этому, что мелочная правительственная опека над городами и меркантилистическое вмешательство в промышленность и торговлю, главные занятия городского класса, также должны были порождать в нем недовольство таким порядком вещей, и как в дореволюционной Франции, где буржуазия, составлявшая в культурном и экономическом смысле один социальный слой с привилегированными сословиями, становилась в резкую к ним оппозицию и обращалась к низшим классам общества, в коих видела своих союзников, совершенно так же и прусское высшее бюргерство искало сближения со средними и низшими разрядами своего сословия, страдавшими от других сторон старого порядка.

Недовольство настоящим не могло не отразиться в прусском обществе некоторыми симпатиями к Французской революции, возникшими в известных кругах этого общества, тем более что в правление Фридриха II, друга французских философов XVIII в., общественные идеи, под знаменем коих был совершен переворот 1789 г., нашли сторонников и среди образованных людей, приветствовавших поэтому революцию как новую эру в истории человечества¹. Идеи XVIII в., проникшие даже в *Allgemeines Landrecht*, который поддерживал старый социальный строй Пруссии, господствовали в умах целого ряда правительственных лиц, каковы были Шен, ученик Канта, Гарденберг, Струензе, Вильгельм фон Гумбольдт² и др. В Пруссии уже начинала

¹ Cp.: *Un prussien en France en 1792. Lettres intimes de J. F. Reichard traduites et annotées par A. Laquiente*, 1892.

² О политической философии В. фон Гумбольдта речь будет идти впереди.

формироваться прогрессивная партия, и с самого начала царствования Фридриха-Вильгельма III прусская монархия как будто уже не прочь была вступить на путь преобразований, но очень робко, нерешительно, без ясно сознанный план, без выдающихся руководителей. Кучка людей, понимавших, хотя и не всегда ясно, необходимость реформ, конечно, ничего не могла сделать при той правительственной системе, которая господствовала в Пруссии, и с обществом, в коем были убиты дух инициативы, гражданское чувство, интерес к общему делу. В 1806—1807 гг. и дворянство, и горожане, и народная масса отнеслись как-то пассивно и равнодушно к полному почти крушению государства, возвеличенного в XVIII в. Фридрихом II: в эту бедственную эпоху прусское общество не обнаружило даже той «народной гордости», которая нередко служит суррогатом более действительной «любви к отечеству». Правда, в нем были еще здоровые элементы, в коих правительство потом и нашло опору; но их нужно было поднять, воодушевить, организовать, для чего необходима была какая-нибудь идея, способная произвести все это. Многим прусским патриотам казалось, что вывести государство из печального состояния можно было бы лишь теми же самыми средствами, коими пользовался враг, т. е. Франция, занявшая такое господствующее положение в Европе. Преклонение перед французскими идеями конца XVIII в. у некоторых прусских деятелей перешло в преклонение перед французскими порядками начала XIX столетия, и многим желательное преобразование Пруссии рисовалось в формах общества, созданного революцией, и управления им, организованного консульством и империей. Среди людей, смотревших на прусские отношения с такой точки зрения, выдающееся место принадлежало Гарденбергу.

Ганноверский уроженец, Гарденберг вступил в прусскую службу в 1790 г. и сразу занял на ней весьма видный пост. Во время первой революционной войны он был уже военным министром, а в 1795 г. в качестве прусского уполномоченного заключал в Базеле мир с Французской республикой. В 1804 г. он сместил Гаугвица в заведовании иностранными делами, но, навлекши на себя неудовольствие Наполеона, был в 1806 г. сменен опять тем же Гаугвицем, чтобы вернуться снова на пост министра иностранных дел после битвы при Иене, и опять лишь для того, чтобы оставить этот пост после Тильзитского мира. Несмотря на то что Гарденберг выступал во внешней политике как человек, враждебный Наполеону, он был проникнут французскими идеями и именно в том практическом их применении, какое им придал Наполеон. Наконец, он был, кроме того, сторонником экономических принципов Адама Смита, что также отразилось на его плане реформ. В 1807 г. он подал Фридриху-Вильгельму III записку, в коей советовал произвести полную перестройку прусского государственного и общественного быта на началах, осуществленных в тогдашней политической и социальной жизни Франции: Пруссия должна была получить народное представитель-

ство, но управление в ней должно было быть строго централизовано по наполеоновскому образцу; все привилегии должны были быть отменены, и дворянство должно было даваться лишь за заслуги; позорное пятно крепостничества должно было также быть уничтожено, и вместе с этим должны были быть устранены все стеснения, коим подвергались промышленность и торговля. Это была, в сущности, весьма простая и неоригинальная программа: всем традициям гогенцоллернской монархии противопоставлялся новый порядок вещей, как раз именно тот, который во Франции был создан учредительным собранием и консульством Наполеона и который Гарденберг рекомендовал теперь побежденной Пруссии заимствовать у своих победителей. В Пруссии тоже должна была совершиться революция, но только сверху, а не снизу, и создать этой революции предстояло то же самое, что и во Франции, — наследственную монархию с демократическими началами в основе. Все надежды свои Гарденберг возлагал, однако, не на самостоятельность нации, а на правительственное действие. Фридриху-Вильгельму III не пришлось, впрочем, удержать при себе Гарденберга. Считая этого министра одним из главных своих врагов, Наполеон потребовал во время заключения Тильзитского мира, чтобы король дал ему отставку, — и даже сам посоветовал королю взять на его место Штейна. Наполеон не знал, что его кандидат был как раз надеждою всех патриотов, негодовавших на двор за незадолго перед тем данную ему отставку. Как бы там ни было, Фридрих-Вильгельм III вынужден был обратиться к Штейну, который, будучи призван королем в последних числах сентября 1807 г., и взял на себя трудное дело управления расшатанным государством.

По своим политическим и социальным воззрениям Штейн был полной противоположностью Гарденберга: и к философии XVIII в., и к просвещенному абсолютизму, и к революции, и к наполеоновской системе управления он относился скептически и отрицательно, даже враждебно, но это его отношение не имело ничего общего с теми стремлениями, которые проявляла в XVIII в. консервативная оппозиция новым требованиям жизни и которые стали впоследствии проявляться клерикально-феодальной и абсолютистской реакцией. Штейн воспринял в свое политическое мирозерцание новые идеи века, коим был сначала чужд, и его правительственная программа с течением времени только все более и более расширялась, так что в начале текущего столетия он явился одним из наиболее замечательных реформаторов государственного и общественного быта, напоминающим в этом отношении великого современника нашего Гладстона. Вообще стоит коснуться биографии Штейна до 1807 г., когда он призван был к власти среди необычайных обстоятельств, какие переживала Пруссия после Тильзитского мира.

История внутренней жизни этого государственного человека действительно в высшей степени любопытна. Барон Штейн родился в 1757 г. в прирейнской Франконии. Происходя из имперского рыцарства, бывшего жи-

вым воплощением феодальной старины, Штейн воспитывался в самых аристократических и консервативных понятиях. В нем сильна была поэтому сословная гордость дворянина, а политическим идеалом его молодости была средневековая империя со своим свободным рыцарством, зависевшим только от императора и только ему обязанным службою. Шестнадцатилетним юношей Штейн поступил в Гёттингенский университет, где изучал право, политику и историю, а по окончании курса начал государственную службу. Представительницею дорогой ему идеи империи в Германии того времени была Австрия, которая поэтому в его глазах и имела все права на первенство. Как член сословия, относившегося всегда с большим недружелюбием к князьям, он предпочел начать свою деятельность на службе империи, а не какого-либо князя: он и сделался чиновником в Регенсбурге и Вецларе, где пребывали высшие учреждения империи¹. Только на опыте познакомявшись с деятельностью этих центральных установлений, Штейн разочаровался в своей основной политической идее и перешел на службу Пруссии (1780). Не следует, однако, думать, чтобы молодой потомок имперских рыцарей, всегда бывших в антагонизме с княжеским абсолютизмом, воспитанный притом в духе старинной религиозности, был поклонником правительственной системы и идей короля-философа. Совсем нет: Штейн сам в автобиографии своей объясняет этот переход на прусскую службу своим взглядом на Фридриха II как на защитника старого устройства и целостности империи. Прусский король только что помешал тогда планам Иосифа II на счет Баварии, и Штейн даже участвовал в образовании союза князей, который, как представлял это дело Фридрих II, должен был поддерживать неприкосновенность старого имперского устройства. К 1785 г. Штейн так уже успел зарекомендовать себя своими способностями, что Фридрих II послал его в Майнц с дипломатической миссией — склонить на свою сторону курфюрста-архиепископа, на службе коего находился отец Штейна. В следующих затем годах мы опять видим Штейна в роли прусского чиновника по управлению горными делами и государственными имуществами. Живя в прирейнских владениях монархии, он сначала много работал по проведению дорог и каналов, по добыванию каменного угля, по заведованию фабриками и т. п., а позднее, в эпоху революционных войн, он, кроме того, играл большую роль в деле снабжения армии провиантом и вообще во всей военной администрации. В 1796 г. Штейн получил высокий пост обер-президента всех вестфальских палат в Миндене. Это отдавало под его управление весьма значительную область, и он начал вводить в ней разнообразные улучшения. Ему же прусское правительство поручило заняться устройством управления в тех землях (Мюнстер и др.), коими монархия Гогенцоллернов вознаградила имперская депутация за потерю некоторых территорий при

¹ Имперский сейм и рейхскаммергерихт.

начинавшихся переделках границ между отдельными государствами Германии, и Штейн весьма умело выполнил порученное ему дело. Нужно заметить, что в западных частях прусской монархии лучше, чем в восточных, сохранилось местное самоуправление с сословным характером и что Штейн всегда пользовался его помощью. Осенью 1804 г. он был вызван в Берлин для того, чтобы стать во главе центрального финансового управления. В короткое сравнительно время он, сколько было возможно, улучшил финансы страны; но в Берлине многие относились с недоверием к его «вестфальским идеям», противоречившим традиции прусского бюрократизма. В столице государства Штейн очень скоро понял, что в Пруссии не все идет так, как следовало бы. Между прочим, он был недоволен и иностранной политикой кабинета. В 1806 г., незадолго до катастрофы, постигшей монархию, он написал для короля записку «О неудовлетворительной организации кабинета и о необходимости учредить конференцию министров», подвергнув в этой записке критике тогдашнюю систему управления и указав на то, что наиболее влиятельные члены кабинета должны были бы быть удалены. После иенской битвы Фридрих-Вильгельм III задумал было поручить Штейну, как человеку, не подвергшемуся общему упадку духа, пост министра иностранных дел, но Штейн поставил необходимыми условиями своего вступления в эту должность преобразование совета министров с устранением тайного кабинета и удаление советников, коими король особенно дорожил. Дело дошло до того, что Фридрих-Вильгельм III уволил Штейна, в приказе об его отставке (4 января 1807 г.) прямо поставив ему в вину и его гордость и упрямство, и его неповиновение высшей власти, и его желание делать все по-своему в чисто личных видах. Но мы уже видели, что через несколько месяцев в том же 1807 г. Штейн вторично был призван на министерский пост и на этот раз уже в роли руководящего деятеля в главнейших сторонах внутренней политики Пруссии. «Вестфальские идеи» были теперь пущены в ход, и нам нужно теперь ближе ознакомиться с этими идеями.

Штейна не коснулось рационалистическое направление философии XVIII в. В Гёттингенском университете, как было сказано, он, между прочим, изучал государственное право. Это занятие возбудило в нем большой интерес к историческому прошлому, тем более что среда, в коей он воспитывался, сама жила традициями германской старины. Антиисторический характер господствовавших в конце XVIII в. политических воззрений вызывал со стороны Штейна лишь критическое к себе отношение; впоследствии он называл это направление «метapolитикой», т. е. чем-то таким, что по отношению к политике есть то же самое, что для физики — метафизика, и в этом смысле он был весьма близок к наполеоновскому пониманию «идеологии». Практическая деятельность его на прусской государственной службе только способствовала развитию в нем человека дела, хорошо понимающего действительность со всеми ее реальными условиями и осуществимыми

требованиями: в положении Штейна есть поэтому нечто, напоминающее нам положение другого министра-реформатора, Тюрго, который, однако, по общему складу своих воззрений был гораздо больше человеком XVIII в., нежели Штейн. Прусский реформатор, пожалуй, напоминает нам еще двух французов XVIII столетия; оба эти француза были, как и Штейн, представителями феодального дворянства, и в них, как и в нем, сословное чувство соединялось с сознанием и тех обязанностей, которые налагало на дворянство его особое положение в государстве: мы имеем в виду Мирабо-отца и Монтескьё. С Мирабо-отцом, так называемым «другом людей», Штейн разделял уважение к старинным формам сословного самоуправления и заботы о материальном благосостоянии крестьянской массы, и подобно тому, как феодальная голова отца знаменитого трибуна не была совсем закрыта для наплыва новых общественных идей, так и Штейн, сохраняя уважение к традиционному строю государства, хотел, чтобы в эти формы вложено было содержание, более соответствующее требованиям нового времени. С другой стороны, подобно автору «Духа законов» Штейн не только отстаивал средневековое политическое и общественное устройство, каким его создала история, но и преклонялся перед английской конституцией, казавшейся ему родственною старинному быту его родины, ведь и Монтескьё сочетал в своей политической теории идеалы старофранцузской сословной монархии и современной ему английской конституции. Гёттингенский университет (в Ганновере, курфюрст которого был и английским королем), давший образование Штейну, до известной степени подчинялся английскому влиянию: сюда приезжали учиться английские студенты, сюда привозилось из Англии много книг, а это не могло остаться без влияния и на немецкую молодежь, учившуюся в Гёттингенском университете. История и политическая жизнь Англии весьма сильно заинтересовали Штейна еще в его молодые годы, а потом, уже состоя на прусской государственной службе, он и сам посетил Англию. В своем историческом представлении он соединял учреждения, развившиеся в Англии, с началами, действовавшими в отдаленную старину и на его собственной родине, поэтому сохранившиеся остатки этой старины получали в его глазах особое значение. Новые идеи общественного участия в государственной жизни и свободы, основанной на законности, казались ему прямым порождением начал, лежавших в основе древнего германского быта. Его, впрочем, мало увлекало в английской конституции то, что выдвигалось на первый план в «Духе законов» Монтескьё, но зато он особенно дорожил той стороной английского устройства, которая как раз совсем не обратила на себя внимания знаменитого французского писателя: он дорожил именно больше всего широкою общественною самодеятельностью в местных делах, т. е. дорожил местным самоуправлением, упущенным из виду автором «Духа законов». Притом и начать свою практическую деятельность Штейну пришлось главным образом в Вестфалии, где

пруссские порядки, основанные на абсолютизме, бюрократической централизации и полном устранении общественных сил от участия в управлении, не успели еще совсем уничтожить старое земское устройство. Далее, экономические взгляды Штейна сложились под влиянием уважения к таким старинным формам, как мелкое крестьянское хозяйство и цеховое производство, или как дворянские майораты и неделимые крестьянские участки, и вместе с тем под влиянием практических требований, которые были заявлены Адамом Смитом, хотя Штейн расходился с его чисто экономическим пониманием общества и в этом отношении не был, равным образом, похож и на Тюрго, как известно, устранявшим старую сословную и корпоративную организацию. Поэтому Штейн был и против экономической программы Гарденберга, отрешиваясь впоследствии от солидарности с этим «помешанным» новатором и его «вредными» планами. Правда, и он соглашался на введение в хозяйственную жизнь большей свободы, но он не хотел, чтобы оно разрушало старые общественные союзы, которые, по его мнению, охраняли своих членов от опасностей, грозивших отдельным лицам со стороны ничем не сдерживаемой конкуренции индивидуальных сил и интересов.

Так складывалось своеобразное историческое и общественное мирозерцание Штейна, шедшее вразрез с теми идеями, которые были наиболее популярны среди передовых людей его времени и в той Пруссии, с судьбами коей он связывал свою собственную судьбу. Идеи XVIII в. не только не имели над ним никакой силы, но он, по-видимому, даже не читал ни таких писателей, как Руссо и Мабли, слишком не соответствовавших складу и направлению его ума, ни даже Монтескье, с коим во многих отношениях он стоял на одной почве. Немудрено поэтому, что Штейн не разделял и увлечений Французской революцией, охвативших многих его соотечественников, и в его отношении к революции многое напоминает нам взгляды Берка. «Принципы 1789 г.» были для него порождениями несимпатичной ему «метapolитики», а то, что и с его точки зрения могло бы быть признано благом в реформах, произведенных революцией, казалось ему искаженным и запачканным кровавою подражанием английским образцам, имевшим для него чисто историческое происхождение в древнем германском быту. Когда началась эмиграция дворян из Франции, Штейн отнесся с сочувствием к этим, как он называл их, защитникам общественного порядка. Понятно, что развитие революционного террора еще более должно было отвратить Штейна от происходившего во Франции движения. Штейн, не могший со своей точки зрения сочувствовать абсолютизму, который нивелировал и обессиливал все классы общества, ставя их все на одну доску перед всемогущим государством и разрушая самостоятельность сословий и корпораций, очень хорошо разглядел в якобинизме Французской революции явление, родственное абсолютизму, так как и абсолютизм и якобинизм действовали во имя одной и той же отвлеченной идеи государства и одними и теми же насильственными средствами, не принимая

в расчет жизненных условий и попирая свободу и права общества. Штейн, конечно, в конце XVIII в. и не предчувствовал, что ему лично придется совершить в Пруссии многое такое, что входило в программу революции. Смотри на последнюю с только что указанной точки зрения, он и в империи Наполеона увидел лишь естественное завершение революции, которая сделалась для него в эпоху наполеоновского деспотизма еще более ненавистной. Особенно затронуло Штейна в его патриотизме то унижение, коему подверглась Германия под властью Наполеона, разрушившего старую немецкую империю, и потому в нем Наполеон встретил одного из самых заклятых своих врагов. В том самом году, когда Наполеон увенчивал возведенное им во Франции здание принятием императорской короны, Штейн, как было сказано, переходил на министерский пост в Берлине. Здесь он быстро освоился со всеми недостатками прусского бюрократического режима и понял, что если многое нужно было поставить в вину неспособным преемникам Фридриха II, то не менее виновата была и сама система управления: по его словам, эта система только подавляла свободное проявление деятельности личности и общественных сил и потому обрекала народ на вечное пребывание в состоянии детства, из коего нация и не могла никогда выйти благодаря постоянной опеке беспокойного и во все вмешивающегося правительства. Еще до катастрофы, постигшей Пруссию при Иене, в упомянутой выше записке Штейн указывал королю, что «Пруссия не имеет государственного устройства (*Staatsverfassung*), так как высшая власть не разделена в ней между главою и народными представителями»¹. Однако ввиду того, что земские чины были корпорациями отдельных провинций, недостаточно еще сплоченных в одно целое, и потому не могли оказывать влияния на общий ход дел, Штейн рекомендовал здесь необходимость по крайней мере правильной организации правительства (*Regierungsverfassung*). Эти-то вот «вестфальские идеи» Штейна и были несимпатичны для многих в Берлине, а к этому присоединялось еще нерасположение к личному характеру.

Штейн был человек сильной воли, неуклонно шедший к раз намеченной цели, не задумывавшийся перед препятствиями и не вступавший в компромиссы. Чувствуя свое умственное превосходство над другими людьми, часто мешавшими его планам, он, кроме того, в обращении с ними был нередко суров, резок, часто даже заносчив и вспыльчив, наводя прямо своего рода страх на людей более мягкого характера, хотя в нем, с другой стороны, совсем не было упрямства, и он умел выслушивать серьезные возражения и менял под их влиянием уже совершенно было принятые раньше решения. Такое отношение к людям создало Штейну немало недругов: эдикт, коим Штейну в начале 1807 г. давалась отставка, прямо ставил ему в вину некоторые черты его характера.

¹ Ср. слова Тюрго в записке Людовику XVI: *la France n'a point de constitution*.

И Гарденберг, и Штейн оба были правы, каждый со своей точки зрения: первый из этих государственных людей, уступая второму в умственной силе, в оригинальности, в энергии, лучше его, однако, понимал значение того гражданского равенства и общественного участия в законодательной власти, которые являлись одними из главных положительных «принципов 1789 г.», но зато Штейн яснее видел слабые стороны революции и ее результатов — разрушение живых общественных союзов, созданных историей, замену их искусственной системой, которая неизбежно приводила к централизации, устранение местного самоуправления и раздробление общества на индивидуальные силы, слишком слабые для отстаивания своей независимости от всемогущего государства и в борьбе между отдельными интересами социальных классов. Случилось так, что в чистом виде в Пруссии не были проведены ни программа Гарденберга, ни программа Штейна, но кое-что из обеих программ. Во-первых, Штейн слишком короткое время стоял во главе правления в Пруссии и был вынужден за время своего министерства осуществлять то, что было уже до него подготовлено людьми другого направления. Во-вторых, продолжать дело Штейна пришлось тому же Гарденбергу, который до известной степени был точно так же связан начинаниями Штейна. Гарденберг не обнаружил достаточной энергии, когда уже произведенные ими обоими реформы встретились с консервативной оппозицией, в которой уже был зародыш позднейшей реакции против нового курса прусской внутренней политики после 1807 г.

Штейн действительно оставался у власти слишком короткое время: он должен был снова выйти в отставку, но на этот раз уже потому, что своей деятельностью навлек на себя неудовольствие Наполеона, понявшего, куда клонились намерения министра-реформатора. В сентябре 1808 г. французская официальная газета («Moniteur») опубликовала одно перехваченное письмо Штейна, из коего Наполеон узнал самым ясным образом, чего хотел Штейн, ссылавшийся, между прочим, на народное восстание в Испании, как на пример, достойный подражания, и к этому письму сделала характерный комментарий, заключавший в себе прямое сожаление о прусском короле, окруженном такими неловкими и коварными министрами: это было, так сказать, первое предостережение по адресу Штейна и Фридриха-Вильгельма III. Затем в ноябре того же года бюллетень, извещавший об одной победе Наполеона над испанцами, упоминал опять о Штейне, которому, — сказано было там, — следовало бы посмотреть, к каким бедствиям приводят попытки народных масс оказывать сопротивление регулярной армии. После этого Штейн увидел, что ему нужно удалиться, и король принял от него просьбу об отставке (ноябрь 1808 г.). Таким образом, Штейн простоял во главе прусского правительства только с небольшим один год. Известно далее, что декретом 16 декабря 1809 г. Наполеон объявил бывшего прусского министра врагом Франции и Рейнского союза, его имущества конфискованными, а самого его подлежащим аресту повсюду, где только действовала власть импе-

ратора французов и его союзников: Штейн должен был оставить Пруссию, скрывался потом от французских сыщиков в разных городах Австрии, пока в 1812 г. не был вызван в Россию. Итак, министерство Штейна было слишком кратковременно. К тому же, выработав весьма определенные политические и социальные воззрения, он не мог, однако, только ими одними руководиться в своей правительственной деятельности: его идеи имели слишком личный характер в том смысле, что, как было уже сказано, не разделялись другими государственными деятелями, принадлежали ли эти деятели к консервативному, или к прогрессивному лагерю. Штейну поэтому нельзя было не считаться с планами и намерениями других деятелей вроде Гарденберга, тем более, повторяем, что некоторые реформы были уже подготовлены ранее его вступления в министерство. Наконец еще, ему пришлось действовать в эпоху, когда, помимо общей цели, какую он поставил своим преобразованиям, существовала еще другая задача, а именно задача поднять упавший дух нации, вернуть ей доверие к самой себе и подвинуть ее на отвоевание независимости и восстановление своей чести, а к этой цели вели, как Штейн это сам хорошо видел, и меры, предлагавшиеся другими государственными людьми, хотя многое в этих мерах, как влекущее за собою разрушение сословного начала, казавшегося ему необходимым в государственной жизни, представляло и весьма опасные, по его мнению, стороны. Вот почему Штейну суждено было проводить в жизнь и такие мероприятия, которые не вытекали из его собственной политической теории и даже носили на себе следы влияния Французской революции.

Штейн вообще не принадлежал к числу тех людей, которые, достигнув известного возраста и общественного положения, останавливаются в своем развитии. К концу своей министерской деятельности он убедился, что спасти Пруссию от гибели могло только народное восстание, подобное тому, которое началось в Испании; но вместе с тем он все более убеждался и в том, что и вообще новые начала жизни могли бы быть наиболее пригодными для внутреннего возрождения Пруссии. Ко времени, когда ему пришлось оставить заведование делами, относятся новые его планы и проекты, заключавшиеся отчасти в его воззваниях к народу, коим король отказал, однако, в подписи, отчасти в его прощальном письме к чинам администрации, получившем название его политического завещания. На Штейне как бы сказался всеильный дух времени, и он, например, высказывается уже в смысле установления полной равноправности граждан, введения одинакового для всех ценза в городском самоуправлении, установления подоходного налога, превращения армии из сословной в народную, уничтожения вотчинного суда и других следов старой власти помещиков над крестьянами и т. п., соединяя со всем этим идею национального представительства. Понятно, что такая программа была слишком широка для того, чтобы быть осуществленной в очень короткое время. И после удаления от дел, живя в изгнании,

Штейн думал только об одном — о народном восстании во всей Германии, но последняя представлялась ему теперь уже не в виде средневековой империи с ее старыми учреждениями, а в виде единой нации, которая требовала от составляющих ее общественных групп отречения от своих исторических прав во имя национальной идеи. Уже не одно испанское (а потом и тирольское) восстание служило для него в годы его изгнания примером того, как народы отстаивают свою свободу: противник философии XVIII в. и Французской революции начинает теперь сам ссылаться то на американскую революцию, то даже на пример самой революционной Франции, отстаивавшей себя в борьбе с целой европейской коалицией. Целью стремлений Штейна сделалось теперь прямо революционировать немецкую нацию против французского ига. Все, что мешало освобождению Германии, должно было быть, по его тогдашнему мнению, устранено, должны были быть устранены государи Рейнского союза, поддерживавшие Наполеона, дворяне и чиновники, не оказывавшие содействия народу или вступавшие в соглашение с врагом, и т. п.; исторические права отдельных династий теряли в его глазах всякое значение перед интересами всей нации. Он видел теперь непригодность старых имперских учреждений и невозможность их восстановления и, говоря о необходимости дать Германии государственное единство как условие независимости, ссылаясь на пример комитета общественного спасения, отстаивавшего единство и свободу Франции в борьбе с европейской коалицией.

Пораженный, с другой стороны, ролью католического духовенства в испанском восстании, он советовал и в Германии воспользоваться этой силой и даже стал сближаться с наиболее видными представителями Римской церкви, что даже породило ложные слухи о том, будто он сам совершил переход в католицизм. Таким образом, новая идея нации, имеющей безусловное право на политическое самоопределение, — идея, возникшая на почве рационалистической философии XVIII в. и воплотившаяся в фактах Французской революции, подчинила себе помыслы и деятельность человека, который предполагал сначала строить свое политическое здание исключительно на исторической основе и из одних только элементов «старого порядка».

После удаления Штейна некоторое время заведовал делами лишенный всякой инициативы и нерешительный барон Альтенштейн¹, но его министерство лишь усилило убеждение народа в том, что дело реформ должно было быть продолжено. В октябре 1810 г. Фридрих-Вильгельм III снова призвал к управлению Гарденберга (который потом и находился во главе управления до самой своей смерти в 1822 г.). Человек менее, нежели Штейн, даровитый и энергичный, он вдобавок встретил сильную консервативную оппозицию против своих начинаний, и это, несомненно, подейст-

¹ Cavaignac в сочинении своем об этой эпохе, названном выше, довел изложение событий до отставки Штейна, но, по-видимому, намерен продолжить свою интересную работу. См. его статью «Le ministère Altenstein-Dohna et la rentrée de Hardenberg» (*Revue des deux mondes*, 1894).

вовало ослабляющим образом на его преобразовательное рвение. Таким образом, уже Штейн оставил свой пост, не успев привести в исполнение задуманных преобразований; затем наступил в общей реформаторской деятельности прусского правительства двухлетний перерыв; наконец, за оставленное дело взялся опять Гарденберг, но он встретил настоящее сопротивление со стороны приверженцев «старого порядка», и в результате получилось то, что общая реформа Пруссии вышла односторонней, половинчатой, незаконченной. «Старый порядок» не был сокрушен, и то новое, что было введено в жизнь прусского государства благодаря обоим министрам-реформаторам, не было настолько сильно, чтобы избавить страну от возможности весьма сильной и весьма успешной реакции со стороны консервативных элементов общества. Этот результат нужно помнить, знакомясь с историей Пруссии в эпоху Реставрации.

Рассмотрим теперь подробнее как проекты Штейна и Гарденберга, так и самые реформы, которые были ими произведены.

Вскоре после заключения Тильзитского мира Штейн обратился к королю с запиской, в которой, повторяя свое прежнее мнение о необходимости реформы центрального правительства, он еще доказывал, что заведование местными делами следует отдать в руки местных же выборных представителей населения, подобно тому, как это делается в Англии, и что не мешало бы включить таких выборных и в областные правления, состоявшие из одних чиновников. Штейн указывал далее на то, что чиновничье заведование местными делами дорого стоит, часто оказывается малокомпетентным и вообще отличается рутинным формализмом, но особенно он имел в виду, что участие населения в заведовании местными делами отразилось бы благотворно на развитии общественного духа и содействовало бы установлению солидарности между обществом и правительством¹. На основах этой записки Штейн осенью того же года выработал план центральных и местных учреждений, которому в целом, однако, не суждено было осуществиться. Во-первых, некоторые важные части этого плана не нашли сочувствия среди других государственных людей, хотя бы и стоявших вообще за необходимость реформ: Штейн требовал именно, чтобы общественным элементам предоставлена была полнейшая самостоятельность в заведовании делами, имеющими только один местный интерес, и чтобы депутаты от земских чинов участвовали в областных правительственных учреждениях в качестве своего рода сведущих людей, которые могли бы притом и наблюдать за деятельностью этих учреждений; но многие этому противились. Во-вторых, Штейн думал начать с введения провинциального и муниципального самоуправления, тогда как другие государственные люди Пруссии находили, что такую реформу лучше было бы ввести после того, как страна получит национальное представитель-

¹ Ср. совершенно такие же соображения в плане Тюрго о муниципалитетах.

ство, и потому дело было отложено. Сам Штейн стоял также за необходимость государственных чинов, но характерно то, что он думал начать общую реформу с местного самоуправления и признал важность общегосударственного представительного учреждения лишь в конце своей министерской деятельности. Недаром и раньше в английских учреждениях, в коих он видел наиболее полное проявление германских политических начал, он выдвигал на первый план местное самоуправление, а не общегосударственное представительство. Мало того, Штейн задуманным им государственным чинам придавал характер чисто совещательного учреждения, которое доставляло бы правительству возможность пользоваться опытностью и влиянием представителей без малейшего ущерба для той самостоятельности, какую и раньше обладало центральное правительство, так что, например, прусское представительство, по его мнению, не должно было иметь права вотировать налоги, всегда, наоборот, составлявшего самую важную привилегию английского парламента и принятого потом в конституционную теорию и практику Французской революции. Можно сказать, что Штейн относился к абсолютизму почти так же, как Тюрго, который, удерживая неограниченную власть короля, стремился обновить французское правительство при помощи общественных сил; и прусский министр-реформатор, обращаясь к самостоятельности общества, видел в ней, прежде всего, необходимую для правительства помощь или опору, так как представители, по его плану, должны были давать советы центральной власти, делать ей предложения, ходатайствовать перед ней об удовлетворении различных нужд, да и сама эта власть могла поручать представителям исполнение тех или других государственных функций. Штейн именно предвидел, что уравнивание прав не уничтожит старой сословной розни и что усовершенствованная централизация только усилит старый абсолютизм правительства, но Гарденберг как раз не понимал ни того ни другого, и когда власть попала в его руки, то он ничего и не сделал для развития местных учреждений, начало коим было положено Штейном.

Административные реформы Штейна относятся уже концу его министерства, именно к ноябрю 1808 г. 19-го числа этого месяца появилось новое городовое положение (*Städteordnung*), за которым через пять дней (24 ноября) последовала реформа высшего управления (*Verordnung über die veränderte Verfassung der obersten Verwaltungsbehörden der Monarchie*). Города по новому положению получили самоуправление: гражданам дано было право избирать должностных лиц, заведовавших — под высшим надзором государства — городским хозяйством и разными общинными делами, именно благотворительностью, школами и даже до известной степени полицией. К сожалению, городская реформа не сопровождалась распространением тех же начал на сельскую и уездную жизнь. Затем была преобразована провинциальная администрация, но Штейн также и тут не успел ввести задуманное им земское самоуправление. Что касается до центральных учреждений, то, несмотря на

искажения, коим подверглась реформа Штейна при его преемнике, упомянутая *Verordnung* до сих пор еще лежит в основе внутреннего управления в Пруссии. Генеральная Директория была уничтожена, и во главе управления были поставлены пять министров (внутренних дел, финансов, иностранных дел, военный и юстиции), чем упрощено было все делопроизводство, разделенное прежде не по предметам, а по провинциям. Высшим учреждением в монархии с совещательным значением в законодательстве был сделан государственный совет, в состав коего должны были входить принцы, действительные или отставные министры и генералы, равно как другие лица, на которых пал бы королевский выбор. «Права и власть нашего короля, — писал Штейн в своем прощальном письме, — я всегда считал и не перестаю считать священными. Но для того чтобы эти права и эта неограниченная власть могли творить то добро, к которому только они способны, мне казалось необходимым доставить верховной власти средство узнавать желания народа и приводить в исполнение ее предначертания. Когда народ лишен всякого участия в делах государственного управления и даже лишен участия в заведовании своими местными делами, то он или равнодушно относится к правительству или в некоторых отдельных случаях становится в оппозицию к нему». Консервативным элементам прусского общества подобного рода идеи казались уступкой духу революции, изменой «старой честной бранденбургской Пруссии». Гарденберг, частью завершивший, частью видоизменивший начатые Штейном административные реформы, обратил особое внимание на вопрос о национальном представительстве. Уже прямо под его влиянием сам Фридрих-Вильгельм III в эдикте 27 октября 1810 г. пообещал самым положительным образом дать стране провинциальное и национальное представительство (*eine zweckmässig eingerichtete Repräsentation der Nation sowohl in den Provinzen als für das Ganze*). Привилегированные, недовольные Гарденбергом, — между прочим, за его стремление установить гражданскую равноправность, чем наносился удар податным изъятиям и феодальным правам дворянства, — стали оказывать оппозицию его начинаниям. Между тем в феврале 1811 г. Гарденберг созвал в Берлине собрание нотаблей (*Laqdesdeputiertenversammlung*), которое по своему преимущественно дворянскому составу далеко не соответствовало обещанному королем национальному представительству и, вместо того чтобы оказывать правительству поддержку, выступало только с самой упорной оппозицией. Гарденберг думал убедить сословных депутатов в необходимости уже сделанных и только еще предпринятых преобразований, но они лишь жаловались и нападали на ниспровержение всех исконных порядков: двое из них даже обращались к королю с весьма резким протестом, за что были посажены в крепость. Собрание, ничего не сделавши, было распущено. Обещание представительства было затем повторено королем еще раз в эдикте от 7 сентября 1811 г., и в апреле 1812 г. созваны были вновь нотабли в качестве временной

замены национального представительства (*interimistische Nationalrepräsentation*), но правительство продолжало свои реформы без этого собрания, имевшего еще менее значения, нежели первое. В числе этих реформ Гарденберга обращает на себя внимание попытка устроить уездную администрацию по наполеоновскому образцу. Уже эдиктом 27 октября 1810 г. Гарденберг изменил административную систему Штейна, рассчитанную на введение самоуправления, усилив принцип централизации, а 30 июля 1812 г. был издан эдикт о жандармерии (*Gensdarmarie-Edikt*), заключавший в себе целую систему уездного управления, которая должна была установить в Пруссии подобие наполеоновских префектур, что уже совсем должно было ниспровергнуть первоначальный план Штейна. Впрочем, этот последний эдикт не был приведен в исполнение¹.

Несмотря на недоконченность реформ Штейна и Гарденберга и несмотря на то, что между ними были даже внутренние противоречия, то, что было ими сделано для преобразования правительственных учреждений, не осталось бесследным, но результат всех их усилий был, в сущности, один. И Штейн, и Гарденберг считали нужным прежде всего создать силу, которая могла бы совершить все другие намеченные ими преобразования, и с этой целью они направили все свои усилия на улучшение самих правительственных учреждений. Они успешно разрешили свою задачу, внесши больше единства, стройности, порядка и энергии в деятельность центральных, провинциальных и уездных учреждений, но новая система, в конце концов, была только усовершенствованием старого порядка бюрократической централизации, так как введение самоуправления (за исключением городского) так и осталось простым проектом. В следующем периоде, когда в высших правительственных сферах возобладали консервативные элементы, обновленную административную машину воспользовалась как раз та реакция, которая тогда же помешала и осуществлению мысли о национальном представительстве, обещавшемся королем неоднократно и после низвержения Наполеона. Только города получили новое самоуправление, но если оно в довольно значительной степени и содействовало развитию городского благоустройства, то не дало тех результатов в деле политического воспитания нации, на которые рассчитывал Штейн, ибо, во-первых, было ограничено почти одною сферою хозяйства, а во-вторых, обособляло горожан от других сословий, что даже противоречило идее самого Штейна, стремившегося на почве совокупного участия в местных делах приучить отдельные сословия к солидарному общественному действию. Таким образом, правительственная система реформами Штейна и Гарденберга была усовершенствована, но сословный партикуляризм не был ими сломлен, а для общественной самодеятельности в новом духе почти ничего и не было сделано.

¹ Он даже формально был отменен в 1814 г.

Гораздо более важными были те реформы этой эпохи, которые совершены были в сфере социальных отношений. Вопрос об освобождении крестьян из крепостной зависимости был в Пруссии поставлен еще раньше вступления Штейна во власть: когда он был призван в управление государством, особой комиссией был уже изготовлен проект, который министру-реформатору пришлось только осуществить. Первое свидание Штейна с королем после возвращения его в Пруссию в 1807 г. состоялось 30 сентября, назначение его министром — 5 октября, а 9-го числа того же месяца уже появился эдикт, отменявший в Пруссии крепостное состояние. Мысль об этой мере принадлежала, между прочим, Гарденбергу, разделявшему новые социальные воззрения¹, но хотя Штейн, державшийся противоположных взглядов по вопросам сословного быта и политической экономии, думал, что за пользование землею крестьяне должны находиться в известной зависимости от помещиков, под условием в то же время ограждения от произвольного удаления со своих участков, тем не менее он понял, какое важное значение будет иметь проектированная мера для подъема народного духа. Считая безусловно необходимым для восстановления Пруссии вселить в народные массы дух патриотизма, он и начал свою реформаторскую деятельность с освобождения крестьян. Мало того, Фридрих-Вильгельм III, склоненный к этому шагу еще в августе, думал, однако, ограничить действие нового закона только двумя провинциями (Восточной и Западной Пруссией), но Штейн прямо настоял на том, чтобы мера была распространена на все вообще области монархии. Эдикт 9 октября 1807 г. уничтожал крепостничество во всем королевстве и отменял прежнюю исключительность дворянского землевладения, провозгласив свободу перехода земель из рук в руки. Этим эдиктом было положено начало решению крестьянского вопроса в Пруссии², так как вслед за тем и самим Штейном, а потом и Гарденбергом был издан целый ряд еще других распоряжений, касавшихся крестьянства и поземельного устройства Пруссии. Но, превратив крепостного крестьянина в свободного гражданина, прусская крестьянская реформа начала XIX в. не устроила его поземельного быта и не избавила его от вотчинной власти его бывшего господина. Исключив королевские домены, в коих крестьяне с личною свободою прибрели на правах полной собственности бывшие в их владении участки земли, мы можем сказать, что помещичьи крестьяне, коим было предоставлено самим, без государственного вмешательства и помощи совершать выкуп экономических тягостей, оставались по-прежнему в материальной зависимости от помещиков, тем более что владельцы рыцарских поместий, несмотря на намерение, выраженное в эдикте 25 февраля 1808 г., остались в полном обладании старой вотчинной полицией и юстицией. Немудрено, что крестьяне, обманувшиеся в своих надеждах, местами начинали бунтовать, чтобы добиться безвозмезд-

¹ Одним из главных деятелей в этом деле был еще Schöpn.

² См. подробности ниже, в последнем отделе этого тома.

ной отмены тягостей, продолжавших лежать на них по прежним поземельным отношениям. Во всяком случае, однако, первый удар феодальной не-свободе лица и земли в Пруссии был нанесен эдиктом 9 октября 1807 г., и впервые в Пруссии он же вводил начало гражданской равноправности. Рушился, далее, в это же время старый социальный и экономический быт и в городах благодаря отмене монополии и цеховых стеснений, а также провозглашению свободы торговли и промышленности¹ и т. п.; но и по отношению к бюргерству дело также не было доведено до конца. За дворянством все-таки были оставлены известные привилегии, хотя они и были переведены с личности дворянина на рыцарское поместье, впрочем, по первоначальному предположению в виде временной меры. Обладание рыцарским поместьем, сделавшееся доступным теперь и бюргеру, соединено было с правом вотчинного суда и полиции, с привилегированным представительством в местных сеймах и т. п., но бюргер, который не входил в состав класса «владельцев рыцарских поместий», как стали звать прежних помещиков-дворян, будучи во всем юридически уравнен с дворянином, не имел одинакового с ним политического значения. Правда, разрешением всем покупать какую угодно землю воспользовалось множество бюргеров, но все новые «владельцы рыцарских поместий» тотчас же начинали проникаться юнкерскими воззрениями и стремлениями; можно даже сказать, что благодаря притоку к дворянству новых сил из бюргерства теперь это сословие только окрепло, а все, что было сделано или предпринято против его старых привилегий в эпоху реформ, лишь заставило его теснее сплотиться, дабы образовать особую дворянскую партию. Выступив впоследствии на путь оппозиции против неприятных ей преобразований, она и играла роль одной из главных реакционных сил в Пруссии времен Реставрации. Несмотря, однако, на то, что социальный быт монархии Гогенцоллернов после эпохи реформ далеко не соответствовал мысли Штейна о солидарном действии сословий, как отдельных органов государственного тела, и еще менее осуществлял идею бессословного гражданства, которую вместе с другими передовыми людьми своего времени разделял Гарденберг, социальный феодализм, составляющий такую видную сторону старого порядка, впервые был потрясен в Пруссии именно Штейном и Гарденбергом, и если ими не все было осуществлено, то многое было намечено. Прусское правительство провозгласило в это время принцип всеобщей податной и воинской повинности, что уравнивало граждан в отбывании ими своих обязанностей по отношению к государству. Правда, на практике всеобщая податная повинность не получила полного развития, но после того, как принцип равенства был провозглашен самим правительством, привилегии, которые остались за владельцами рыцарских поместий, должны были казаться уже явной несправедливостью по отношению к другим классам об-

¹ См. подробнее в том же отделе, который указан в предыдущем примечании.

щества. Намерение Гарденберга отменить разные изъятия, коими пользовалось дворянство, главным образом и возбуждало против него оппозицию, о которой было говорено выше. Гораздо полнее была осуществлена идея всеобщей воинской повинности, подсказывавшаяся правительству прямой необходимостью реорганизовать армию после поражений, понесенных ею в 1806—1807 гг.

На военной реформе, совершенной в Пруссии в эпоху реформ, необходимо остановиться не только потому, что она входит как составная часть в общий план установления гражданского равенства между отдельными сословиями, и не только потому еще, что благодаря этой реформе Пруссия в короткое время организовала армию, которая дала ей возможность в 1813 г. вступить в успешную борьбу с Наполеоном, но и потому, что воинская система Пруссии была принята впоследствии и в других европейских государствах. Своим военным возрождением монархия Гогенцоллернов была обязана генералу Шарнгорсту, который после Тильзита был сделан председателем комиссии, учрежденной для преобразования армии (*Militärreorganisationskommission*). Когда во время войны за освобождение (1813) он умер, смертельно раненный в одном сражении, дело его продолжал генерал Гнейзенау, занимавший одно время в той же комиссии, но бывший вынужденным, подобно Штейну, покинуть Пруссию вследствие подозрений, какие он на себя навлек у французского правительства. Комиссия Шарнгорста, начавшего фактически играть роль военного министра¹, выработала общие положения системы, которые окончательно и были введены в жизнь в 1814 г. Старый способ пополнения армии вербовкой и рекрутскими наборами заменялся всеобщей воинской повинностью, одинаково обязательной для всех сословий. После Тильзитского мира Пруссия лишена была права держать более 42 тыс. войска, но ввиду борьбы за независимость стали брать молодых людей в солдаты на короткие сроки, чтобы, наскоро обучив их, отправлять домой как людей, уже достаточно подготовленных к военной службе, и заменять их новыми и новыми солдатами. Кроме действующей армии, таким образом, было подготовлено особое запасное земское ополчение (*Landwehr*). Вместе с этим было постановлено, что право на повышение по службе будет даваться не происхождением или продолжительным занятием должностей, но лишь образованием и заслугами. Наконец, были отменены прежние строгости военного устава, и все наказания, оскорбляющие личное достоинство солдата, были из этого устава исключены. Все это в соединении с чисто техническими нововведениями совершенно преобразило прусскую армию: войско, выступившее в войне 1813 г., уже не походило на то, которое было разбито за семь лет перед тем при Иене. Гораздо меньшим было влияние всеобщей воинской повинности на уравнивание общественных

¹ Одно время он занимал этот пост, но тоже должен был его оставить по требованию Наполеона I (1811).

классов: уже на первых порах дело не обошлось без значительных отступлений от принципа, но особенно впоследствии, в эпоху реакции, все еще крепко держался на практике старый порядок занятия офицерских мест исключительно одними дворянами.

Прусские реформы оказали весьма большое моральное действие и на остальную Германию. Упорядочив внутренние отношения государства, подняв дух населения, создав хорошую армию, они сделали из Пруссии надежду всей немецкой нации, тяготившейся французским владычеством, тем более что эти преобразования были совершены по свободной инициативе самого прусского правительства, а не были продиктованы ему победителем, и были еще произведены людьми, враждебно относившимися к Наполеону и за то подвергавшимися гонению с его стороны. Это моральное действие прусских реформ с особой силой сказалось в войне за освобождение 1813 г., когда обновленная Пруссия стала во главе национального движения, поставившего своею целью низвержение чужеземной власти. В числе причин, сокрушивших империю Наполеона, играло немалую роль одушевление немцев, а оно, до известной степени, было создано теми надеждами, какие были возбуждены в немецких патриотах реформами Штейна и Гарденберга.

XI. Внешняя и внутренняя оппозиция против империи Наполеона¹

Общие причины непрочности владычества Наполеона. — Отношение отдельных наций к Франции в эпоху империи. — Национальное возбуждение в Германии. — «Речи к немецкой нации», патриотическая литература и «Союз доблести». — Народные движения в Германии и война за освобождение. — Значение народных движений при Наполеоне. — Положение Наполеона внутри Франции. — Непрочность владычества Наполеона в самой Франции. — Причины недовольства Наполеоном во Франции. — Тяготы военного времени. — Континентальная система и экономический кризис. — Литературная оппозиция против Наполеона. — Предсказания о конце империи Наполеона. — Оппозиционное настроение общества в конце империи

В течение целых двадцати лет (1792—1812) все коалиции, составлявшиеся против революционной и наполеоновской Франции, оканчивались неудачей. Мы видели, что причинами этого были, во-первых, рознь, которая господствовала между правительствами, вступавшими между собой в союз для борьбы с Францией, а во-вторых, то, что народы, тяготившиеся старыми порядками или доведенные прежним режимом до совершенной почти безжизненности, или сами оказывали хороший прием французской армии или по крайней мере не оказывали ей достаточного сопротивления. В первый раз встретился Наполеон с настоящей народной войной только в Испании (1808), и вот на героическую борьбу испанской нации против иноземного владычества стали скоро ссылаться и в других странах как на пример, достойный подражания. В следующем году поднялось героическое народное восстание в Тироле под начальством Гофера, сумевшего — на короткое, правда, время — очистить страну от завоевателей, и тогда же сделаны были также первые попытки в Германии сбросить французское иго посредством народного восстания. В 1812 г. предпринятый Наполеоном поход на Россию и здесь возбудил народную войну, и неудача великой армии, которой пришлось отступать из Москвы в суровое время года, по разоренной дороге, среди враждебного населения, имела одним из своих результатов то, что в следующем 1813 г. национальное броже-

¹ Для истории войны за освобождение Германии кроме соч. Häusser'a, Krones'a (Gesch. Österreich im Zeitalter der franz. Kriege), Treitschke, Oncken'a и других более общих трудов, есть специальные работы: *Beitze*. Gesch. der deutschen Freiheitskriege (три тома, третье изд. 1864 г., четвертое в 2 т. 1882); *Droysen*. Vorlesungen über das Zeitalter der Freiheitskriege, 1886; *Oncken*. Österreich und Preussen im Befreiungskriege. 1876, 1879; *Metternich-Winneburg*. Oesterreichs Theilnahme an den Befreiungskriegen, 1887; *Charras*. Histoire de la guerre de 1813 en Allemagne, 1866 (есть и нем. перевод). См. также: *Goette R.* Das Zeitalter der deutschen Erhebung (1807—1815). 1891—1892. Последнее сочинение является началом задуманной автором истории Германии в XIX в. Укажем еще на *Clair S. André* Hofer et l'insurrection du Tyrol en 1809.

ние, уже ранее дававшее себя знать в Германии, перешло также в народный взрыв знаменитой «войны за освобождение». Правительства, которые раньше боролись с Наполеоном одними армиями, увидели, какую силу представляли из себя чисто народные движения против французов, и в борьбе своей с Наполеоном стали опираться на эту силу, поднимая народный дух либеральными обещаниями. Правительства поняли также, что лишь тесное единение государств поработанной Европы в состоянии будет привести к ее освобождению от тягостной французской гегемонии: в 1812 г. соединенная под властью Наполеона Европа шла покорять изолированную Россию, в 1814 г. уже изолированная Франция должна была покориться воле той же Европы, соединенной под предводительством России. Роли переменялись и не в этом только отношении. В 1793 г. Франция, переживавшая весьма тяжелый внутренний кризис, сумела отразить иноземное нашествие подъемом своих народных сил, но в 1814 и 1815 гг. она два раза подчинялась иноземному завоеванию после того, как побиты были ее армии: союзники, освободившие в 1813 г. Германию от Наполеона, не встретили во Франции народной войны, не встретили такого национального движения, какое происходило в 1808—1813 гг. в Германии, в Тироле, в России, в Германии. Франция 1814—1815 гг. оказалась обессиленной деспотизмом Наполеона гораздо более, чем могла за двадцать лет перед тем обесилить ее анархия революции. Наполеон понимал, на чем держалась его власть во Франции, и не считал возможным для себя ни вернуться в Париж побежденным¹, ни обратиться к нации, чтобы вызвать народную войну. Когда один генерал указал ему на возможность поднять нацию, он отказался от этого плана. «Химера! — воскликнул он. — Химера, заимствованная из воспоминаний о революции! Поднять нацию в стране, где революция уничтожила благородных и священников и где я же сам разрушил революцию!» В начале своего правления Наполеон, давший стране внутреннее успокоение, в котором она так нуждалась, был не только очень популярен, но и не встречал почти никакой оппозиции, но к концу его царствования внутренняя оппозиция против его режима сделала довольно значительные успехи, и первая серьезная внешняя неудача, постигшая империю, придала бодрости всем оппозиционным элементам. Таковы были внешние и внутренние причины, сокрушившие наполеоновскую империю: и в поработанной Европе, и в самой Франции, лишенной общественной свободы, деспотизм Наполеона в конце концов встретил сильную оппозицию, а эта внешняя и внутренняя оппозиция пошла под знаменем национальной и политической свободы, т. е. совершалась во имя идей, родственных «принципам

¹ В 1813 г. он говорил Меттерниху, предлагавшему посредничество Австрии между ним и русско-прусским союзом, следующее: «Ваши государи, рожденные на троне, не могут постигнуть тех ощущений, какие волнуют мою грудь; они возвращаются побежденными в свои столицы и остаются тем, чем были прежде, но я не могу ослабленным появиться среди моего народа, я должен оставаться великим, славным и достойным удивления».

1789 г.» В 1812 г. испанские патриоты, боровшиеся против Наполеона, вырабатывали известную либеральную конституцию; национальное движение в Германии усилено было либеральными обещаниями правительств; наконец, сам Наполеон в эпоху своего вторичного, стодневного царствования считал нужным изменить учреждения империи в либеральном духе. Настоящую главу мы и посвящаем общей характеристике внешней и внутренней оппозиции против владычества Наполеона, подготовившей падение империи.

Нет ни малейшей необходимости останавливаться над причинами того недовольства против Франции, которое господствовало в большей части европейских наций в эпоху наполеоновского владычества, причины этого недовольства были в том произволе, с каким Наполеон распоряжался целыми народами и государствами, в полном пренебрежении его к национальным правам и интересам, в деспотическом режиме, установлявшемся повсеместно, где только утверждалась его власть, в материальном разорении народов от тягостей войны, конскрипций, контрибуций и континентальной системы. В ненависти к Наполеону объединялись чувства культурных классов общества и народной массы, и одинаково враждебно относились к нему как консерваторы, вроде английских тори, испанских клерикалов, прусских юнкеров и т. п., для коих Наполеон был исчадием революции, так и либералы, видевшие в нем деспота, подавившего свободу и в собственной своей Франции, и за ее границами. Конечно, мотивы ненависти к Наполеону в разных странах были различные. Сильна была, например, ненависть к нему в Англии, и именно англичане проявили наибольшее упорство в борьбе с Францией в эту эпоху, но здесь причина такого отношения к владыке континента была иная, нежели, положим, в Испании или в Германии. Островное положение Англии делало ее недостижимой для Наполеона, и война с нею Франции, союзы, в которые против нее Франция вступала с другими государствами, континентальная система, направленная против английской промышленности и торговли, наносили Англии большой политический вред и материальный ущерб, тогда как Испании и Германии навязывалось уже прямо чужеземное иго, оскорблявшее национальный патриотизм их населений, лишавшее их политической независимости, уничтожавшее в обеих странах то, что жители их считали — верно или неверно, это другой вопрос — своей внутренней свободой. Правда, с другой стороны, у Наполеона вне Франции были и сторонники, но редко они бывали искренни и оставались верными ему до конца. История международных отношений в эпоху консульства и империи указывает на то, что отдельные правительства дружили с Наполеоном, пока его боялись или надеялись извлечь из союза с ним выгоду, и это, значит, были союзники не очень-то надежные. Особенно государи Рейнского союза, благодетельствованные Наполеоном, крепко его держались, ибо их собственная власть покоилась на могуществе французского императора; но эти союзники не могли противиться до конца настроению своих собственных подданных и

требованиям последней коалиции, образовавшейся против Наполеона. Из европейских наций одни только поляки искренне были расположены к Наполеону, веря, что он рано или поздно восстановит их родину. С самого падения Речи Посполитой польские патриоты возлагали все свои надежды на Францию — сначала на победоносную революцию, потом на еще более победоносную империю — и шли сражаться под французскими знаменами; но Наполеон только эксплуатировал польский патриотизм, привлекая поляков на свою сторону, пугая Россию призраком восстановления Польши, но в действительности не обнаружив серьезного намерения это сделать. Национальная независимость какого бы то ни было народа слишком противоречила всей политике Наполеона, предпочитавшего иметь дело с правительствами, с которыми он делился завоеванными населенными и которые он вознаграждал целыми территориями, не справляясь с желанием их жителей. Поляки в своем исключительном положении еще могли мечтать о том, что Наполеон восстановит их политическую независимость, но не могли видеть в нем восстановителя свободы другие народы. Даже в Италии, привыкшей к раздроблению и иноземному господству, в это время начинает пробуждаться мысль о национальном единстве и независимости, осуществление коей в конце концов должно было направиться против Франции¹.

Эта почти всеобщая национальная оппозиция против французского владычества имела далеко не одинаковое значение в истории отдельных стран, где продолжали между собой бороться консервативные и прогрессивные стремления. Такую борьбу мы наблюдаем, например, в Испании, где в 1812 г. победило либеральное течение, что и выразилось в знаменитой конституции, составленной кадикскими кортесами. Шла внутренняя борьба и в Италии, где подготавливалось уже тогда карбонарское движение, проявившее всю свою силу в эпоху Реставрации. Но Испания и Италия были нации в культурном отношении отсталые сравнительно с Германией, которая с середины XVIII в. развила у себя глубокую и богатую духовную жизнь, выразившуюся в процветании философии, литературы и науки, вследствие чего подъем народного духа в этой стране в эпоху борьбы с иноземным владычеством соединился со многими культурными явлениями, невольно останавливающими на себе внимание историков². Не касаясь здесь всей культурной жизни Германии за этот период, мы остановимся лишь на фактах, свидетельствующих о национальном характере тогдашнего духовного движения.

Немцы XVIII в. наименее заслуживают упрека в национализме. Напротив того, немецкая культура прошлого столетия отличается характером кос-

¹ Об итальянских отношениях эпохи будет сказано ниже по поводу политической борьбы двадцатых годов.

² О культурной жизни Германии речь будет в других отделах, и там будут сделаны указания на литературу. Очерк развития национального самосознания в Германии представляет книжка Lévy-Bruhl'я «L'Allemagne depuis Leibnitz», 1890.

мополитическим. Это, между прочим, сказалось и на том увлечении многих образованных немцев Французской революцией, в котором довольно значительную роль играло представление об универсальном значении революции, о наступлении новой эры для всего человечества. Космополитическим настроением были проникнуты в Германии величайшие умы эпохи, и если уже тогда зарождались — в области литературы — некоторые явления, коим суждено было впоследствии развиться в своего рода национальную исключительность, то одной из главных причин такой перемены было пробуждение чувства народности под влиянием иноземного владычества. В этом отношении весьма характерен пример философа Фихте, стоявшего сначала на точке зрения «всемирного гражданства» (*Weltbürgerthum*), а потом сделавшегося родоначальником теоретического национализма, который развился в XIX в. не в одной Германии. Совсем в духе космополитических стремлений XVIII в. он высказывался еще в 1804—1805 гг., отвечая (в «*Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters*»¹) на вопрос о том, где находится отечество истинно просвещенного европейца. По его мнению, это прежде всего вообще Европа, а в частности наиболее просвещенное в данную минуту государство: нам не должно быть дела до того, что тот или другой народ останавливается в своем развитии, приходит в упадок или опережается другими, ибо только для земнородных отечество — в почве, в реках и в горах, — так пусть же они и остаются гражданами павшего государства, удерживая в своих руках предмет любви своей, в который они вложили все свое счастье, но родственный солнцу дух непреодолимо обращается в ту сторону, где свет и вселенная. «И в этом всемирно-гражданском чувстве (*Weltbürgersinn*) мы можем быть совершенно спокойными за себя и за своих потомков до конца дней относительно деяний и судеб отдельных государств». Это космополитическое настроение как рукой сняло с Фихте, когда вспыхнула война Пруссии с Наполеоном. Философ жалел, что не может идти сражаться, и высказывал намерение сделаться светским проповедником в армии, чтобы речами своими воодушевлять солдат. В 1807 г. он пишет диалог о патриотизме и противоположном ему настроении, в коем выступает на первый план идея отечества и уже не в смысле только отечества прусского, а в смысле национального единства всей Германии. В зиму с 1807 на 1808 г. Фихте читал в Берлине в форме публичных лекций свои знаменитые «Речи к немецкой нации» (*Reden an die deutsche Nation*), сильно содействовавшие подъему патриотического духа немцев. В этих речах он обращается «к немцам, просто к немцам, игнорируя разделяющие их различия, которые были созданы несчастными обстоятельствами в едином народе», и обращается, приглашая их сделаться

¹ Это сочинение Фихте известно отечественному читателю под названием «Основные черты современной эпохи». Русский перевод был впервые издан в Санкт-Петербурге в 1906 г. Современное издание: *Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи* / Пер. с нем. // Фихте И.Г. Соч.: В 2 т. СПб.: Мифрил, 1993. С. 359—619. — *Прим. ред.*

единой нацией, чтобы найти свою свободу. Любовь к отечеству Фихте определяет здесь как любовь к вечному, ибо кто в земной жизни не видит вечных начал, у того может быть отечество на небесах, но он не имеет отечества на земле, земное отечество есть лишь у того, кто обладает сознанием народности, как вечного сосуда божественного духа. Мало того, Фихте стремится доказать, что к настоящему пониманию высших начал мысли и жизни способны только немцы, у коих религия, философия, государство являются одухотворенными, тогда как чужие народы относятся ко всему этому внешним образом, понимают все это только механически. Этот пример обращения философа-идеалиста из «гражданина вселенной» в немецкого патриота отмечает собой поворот, происшедший вообще в немецком образованном обществе под влиянием иноземного завоевания. Фихте, между прочим, указывал на необходимость реформы воспитания, которое одно только поможет вывести нацию из ее печального положения. Одним из важных дел прусского правительства в эпоху реформ было основание (1809) Берлинского университета¹, в котором читали лекции кроме Фихте и другие выдающиеся профессора и который много содействовал пробуждению в обществе патриотизма. Во главе нового университета стал гуманный и либеральный Вильгельм фон Гумбольдт. У Фихте проповедь национального патриотизма смягчалась еще его идеальным настроением, но у других деятелей эпохи подобная проповедь прямо переходила в своего рода травлю романских наций, как это мы видим у известного «отца гимнастики» (Turnvater) Яна, который считал нужным телесными упражнениями воспитать здоровое поколение для борьбы с французами, а к ним он относился с совершенно изуверской ненавистью. Вражду к романской расе проповедовал и Арндт в своем сочинении «Дух времени», которое тоже немало способствовало пробуждению в немецком обществе национального чувства. Эпоха войны за освобождение создала в Германии, наконец, целое направление патриотической лирики, представителями коей были Кернер, автор сборника «Лиры и меч» (*Leier und Schwert*), убитый в одной стычке в 1813 г.; Уланд, соединявший с патриотизмом либеральные стремления, коим остался верен до конца жизни; Арндт, друг Штейна, спасавшийся от наполеонова гнева в Стокгольме и в самой Германии — под чужим именем; Рюккерт, один из деятелей немецкого романтизма, и др. В этом национальном движении особое значение приобрел так называемый «Союз доблести» (*Tugendbund*), возникший в 1808 г. в Пруссии в числе других тайных обществ, ставивших своей задачей духовное и политическое возрождение Германии. Основателем «Тугендбунда» был кёнигсбергский профессор Леман, членами его были — ученые, военные, чиновники; Штейн с Шарнгорстом оказывали ему свое содействие. Хотя число членов союза не превосходило 350, однако французская полиция и реакционная партия в са-

¹ *Köpke*. Die Gründung der königlichen Friedrich-Willhelms Universität zu Berlin.

мой Пруссии относились к нему подозрительно, и по требованию правительства союз должен был прекратить свое существование. Французы приписывали ему гораздо большее значение и сильно его побаивались, тем более что он имел членов в таких частях Германии, где в 1809 г. начинались уже антифранцузские движения.

Хотя главным центром патриотических проявлений после 1807 г. сделалась Пруссия, где тогда же совершалась и преобразовательная деятельность правительства, первые вспышки против французов произошли в других местах. Уже в 1809 г. в отдельных частях Германии замечались признаки будущей войны за освобождение. В этом году Австрия, начиная войну с Наполеоном, прямо ставила ее целью свободу немецкого народа, но Австрия в то время была изолирована и побита. В том же году поднялось восстание в Тироле, но и оно было усмирено. Наконец, опять-таки в 1809 г. во многих местах Северной Германии, особенно в Вестфальском королевстве, замыслились, готовились и даже начинались восстания против французов: известен, между прочим, безумно героический план майора Шилля, овладевшего Штральзундом, чтобы сделать из него опорный пункт восстания, но погибшего при взятии этого города врагами; известен также не менее смелый поход на Вестфалию герцога Брауншвейгского с «черным легионом мести», окончившийся, однако, неудачей, после чего герцог должен был спастись в Англии, и т. д. Все подобные попытки вообще в это время подавлялись французами с успехом, и виновники, попадавшие в их руки, подвергались казни. Наполеон был, однако, встревожен таким настроением немцев и спешил окончить войну с Австрией, дабы «не быть окруженным тысячею Вандей». Под влиянием общей ненависти к Наполеону в это время один молодой человек из Наумбурга, Фридрих Штапс, сделал попытку убить Наполеона в Шенбрунне, но был схвачен, признался на допросе в своем намерении и был приговорен к смертной казни. Все это были предупреждения по адресу Наполеона, да и недаром однажды писал ему его брат, король Вестфальский: «Брожение достигло высшей степени; принимаются и поддерживаются самые безрассудные надежды; ставят себе за образец Испанию, и поверьте, когда начнется война, страны между Рейном и Одером будут театром большого восстания, ибо должно опасаться крайнего отчаяния народов, коим более нечего терять».

После неудачи русского похода Наполеона Германия действительно поднялась против французского владычества. Движение началось в Пруссии, где еще в конце 1812 г. генерал Йорк, находившийся под начальством Макдональда, заключил на свой страх таурогенскую конвенцию с русским генералом Дибичем и прекратил борьбу за дело Франции, что вызвало неудовольствие в Берлине. Далее, по мысли Штейна, в Кёнигсберге в начале февраля собрались земские чины Восточной и Западной Пруссии, которые решили организовать провинциальное ополчение для борьбы с врагом не-

мецкого народа и выбрали особую комиссию для заведования этим делом, что равным образом не понравилось Фридриху-Вильгельму III, не доверявшему общественной инициативе: несмотря даже на то, что сейм постоянно выражал ему свои верноподданнические чувства, король постановлений сейма не утверждал. Это, впрочем, не помешало жителям провинции организовать восстание. Между тем, после перехода русских войск за границу, прусскому правительству пришлось выбирать между союзом с Францией и союзом с Россией. После долгих колебаний Фридрих-Вильгельм III решился на последний и именно ввиду начинавшегося народного восстания, которое с трудом сдерживалось властями. Штейн, живший с весны 1812 г. в Петербурге и склонивший Александра I к исполнению давно задуманного прусскими патриотами плана освобождения Германии, немало содействовал тому, что между Пруссией и Россией в феврале 1813 г. был наконец заключен в Калише договор. В марте он был дополнен договором Бреславским, касавшимся вопроса об управлении немецкими землями, которые будут освобождены от французов¹. Страшное воодушевление овладело пруссаками, особенно после того, как в марте король объявил войну Франции и обратился с воззванием к своему народу. Это и другие воззвания (между прочим, калишское воззвание Кутузова от имени обоих союзных государей) сильно содействовали взрыву национального чувства, тем более что в прокламациях этих говорилось о независимости народов, об их праве распоряжаться собственной своей судьбой, о силе общественного мнения, перед которой должны преклоняться государи, и т. п.

Штейн был одним из главных вдохновителей таких обращений к немцам вообще и к населению отдельных частей Германии (Саксонии, Вестфалии и т. п.). Между тем Шарнгорст организовал в Пруссии милицию (ландвер) и поголовное ополчение (ландштурм), но, кроме того, образовались еще добровольческие отряды из немцев, вовсе не бывших прусскими подданными; на популярную войну шли профессора, учителя, студенты, чиновники, молодые дворяне, купцы, ремесленники, крестьяне. Из Пруссии движение перешло в другие немецкие земли, и прежде всего в Саксонию, король которой был одним из самых верных Наполеону членов Рейнского союза. Народное движение, конечно, сдерживалось в государствах Рейнского союза правительствами, бывшими на стороне Франции, здесь даже предписывалось служить благодарственные молебны по случаю одерживавшихся Наполеоном побед; но мало-помалу и эти государи должны были примкнуть к антифранцузскому союзу, когда последний сделался более грозной силой после присоединения к нему Швеции, Англии и Австрии (последней по Рейхенбахскому договору). Одной из первых отстала от Наполеона Бавария, обеспечив за собой (по Ридскому договору с Австрией)

¹ Для этого из уполномоченных России и Пруссии составлен был совет под председательством Штейна, бывшего русским уполномоченным.

свои суверенные права и территориальную неприкосновенность или по крайней мере равноценное вознаграждение в случае каких-либо уступок. После знаменитой трехдневной битвы под Лейпцигом (16–18 октября), имевшей результатом отступление французской армии к Рейну, началось быстрое распадение Рейнского союза. Король Саксонский был взят под стражу; Вестфальское королевство рушилось, и в Ганновере восстановлено было прежнее правление; курфюрст Гессенский и герцоги Брауншвейгский и Ольденбургский вернулись в свои владения; великое герцогство Франкфуртское перестало существовать; Вюртемберг, Баден, Гессен-Дармштадт, Нассау тоже заключили с Австрией договоры и передали свои войска в распоряжение союзников, и этим государям, равно как и другим членам Рейнского союза, было обещано сохранение их владений и верховных прав, вопреки совету Штейна, мечтавшего о национальном единстве Германии. Так в 1813 г. рушились наполеоновские учреждения в Германии, как рушились затем и его итальянские создания. В ночь на 1 января 1814 г. часть прусской армии под начальством Блюхера переправилась через Рейн, служивший в это время границей Франции, а через две недели Дания вынуждена была (по Кильскому договору 14 января) отказаться от союза с Францией, уступив Швеции Норвегию, а Англии — Гельголанд.

Правительства, вступавшие в борьбу с Наполеоном, не смогли сделать того, что сделали народы. Правительства долгое время вели политику, которая раздражала народные чувства, будучи всегда готовы не только помириться, но даже и вступить в союз с Наполеоном ввиду каких-либо вознаграждений или выгод в будущем; они силою подавляли проявления ненависти к поработителям и, не доверяя общественным движениям и народным силам, опирались исключительно на чиновничье управление и на армии, и только героическое сопротивление испанцев в первый раз заставило правительства обратить внимание на то, чем могла бы быть народная война. Без этой национальной оппозиции против владычества Наполеона, без народной войны, какую он встретил в Испании и в России и какая вспыхнула потом в Германии, едва ли могли бы что-либо сделать против Франции те дипломатические и военные средства, которые пускались против нее в ход европейскими правительствами с самого начала Французской революции. Народные движения увлекли европейских государей на совершенно новый путь в борьбе со всемирной монархией Наполеона, и один этот путь оказался ведущим к цели.

Но против Наполеона поднялась не одна внешняя оппозиция: внутри Франции тоже не все обстояло благополучно, и единению правительств с народами Наполеон в 1814 г. был не в состоянии противопоставить и со своей стороны такое же единение.

Положение Наполеона в самой Франции не отличалось достаточной прочностью: меры чрезвычайной полицейской предосторожности, какие принимались его правительством, свидетельствуют о том, что это хорошо

понимал сам Наполеон. Он не всегда и не во всем доверял генералам своей армии, заподозривая их в честолюбии; он боялся народных движений, в коих видел прямую опасность для своей власти; он страшился вернуться в свою столицу побежденным, зная хорошо, что это уронило бы его престиж. После 18 брюмера, когда Франция, утомленная смутами предыдущего десятилетия и прежде всего стремившаяся к спокойствию, к внутреннему умиротворению и упорядочению государственной и общественной жизни, с надеждой и доверием взирала на генерала Бонапарта, положение его было гораздо прочнее, нежели в конце империи, когда внутренний деспотизм и непрерывные внешние войны дали себя почувствовать очень тяжело нации, которая еще так недавно делала героические усилия ради завоевания свободы. В начале консульства к Наполеону примкнули совершенно искренне и бескорыстно многие люди, видевшие в нем спасителя Франции от внутренней анархии и от опасности, грозившей стране извне, но с течением времени около Наполеона стали группироваться люди, преследовавшие главным образом личные цели, готовые служить всякому, кто имел возможность дать им власть, почет и богатство, но вместе с этим бывшие не прочь и изменить своему господину, если бы это представляло выгоду или если бы дела их господина пошли дурно. Впереди Наполеона и ждала действительно измена со стороны людей, коим он вверял самые важные дела; да и учреждения, им созданные, раболепствовали перед ним, пока он был велик и непобедим, чтобы отвернуться от него, едва он потерял славу непобедимого полководца и перестал быть опасным своим врагам. Все чувствовали во Франции, что основанный Наполеоном порядок держался исключительно на нем одном: сам император должен был удостовериться в этом еще в 1812 г. Во время русского похода в Париже распространился ложный слух о смерти императора, и этим воспользовался старый республиканский генерал Мале (Malet), чтобы произвести государственный переворот с целью низвержения империи Наполеона. Уже раньше этот генерал навлек на себя подозрение полиции и был даже арестован, но в ночь с 23 на 24 октября он бежал из-под караула, явился в казармы, где объявил солдатам о смерти «тирана», увлек за собой часть гарнизона и приступил к организации временного правительства, рассчитывая уже и на дальнейшие успехи, когда сам был схвачен, предан со своими сообщниками военному суду и приговорен к смертной казни¹. Для успеха своего дела Мале пустил в ход поддельный сенатус-консульт, отменявший империю во Франции, и наполеоновские доносчики довели до сведения своего господина, будто в предприятии и на самом деле были замешаны некоторые сенаторы. По

¹ Кроме близких по времени сочинений об этом эпизоде Lemare (Malet, 1814), Lapon'a (Histoire de la conjuration de Malet, 1814) и Histoire des sociétés secrètes de l'armée (1815), см.: Hamel. Hist. des deux conspirations de Malet, 1873. Весьма важные сведения об этом заговоре имеются в недавно (1893) вышедшем втором томе мемуаров Пакье, который был в эту эпоху префектом полиции.

поводу этого заговора составилось немало легенд, указывавших на то, что публика верила в возможность и даже легкость совершения нового государственного переворота, Наполеон был страшно раздражен при известии об этом покушении, о том, что заговорщикам легко поверили даже некоторые представители военной и гражданской власти и что публика осталась довольно равнодушной к дерзости, с какой было начато это предприятие. «Что же, — восклицал он, — разве здесь все дело в одном человеке, а учреждения и присяга ничего не значат?» В действительности так и было: при той системе, которую водворил во Франции Наполеон, все держалось одним человеком, но вдобавок и человек-то этот мало-помалу сам терял почву под ногами.

В начале консульства французская нация, истомленная революцией, возлагала на Наполеона все свои надежды; в конце империи та же нация, обманутая во многих из этих надежд, чувствовала себя уже утомленной режимом, который она приветствовала за полтора десятка лет перед тем. Отчасти тяжелые налоги, падавшие на население, но особенно постоянные коскрипции, лишавшие тысячи семейств работников во цвете лет, бедствия, коим подвергалась экономическая жизнь страны из-за строгостей континентальной системы со всеми ее последствиями, с одной стороны, а с другой — недостаток общественной свободы, административный произвол, строгий полицейский надзор за всеми проявлениями духовной жизни, — все это действовало раздражающим образом на отдельные классы общества, смотря по господству в них того или другого материального или культурного интереса, и все это подготовляло почву для возникновения если не систематической оппозиции, то таких явлений, дальнейшее развитие коих неминуемо должно было получить прямо оппозиционный характер. Мы видели уже, что признаки недовольства Наполеоном проявились в эпоху его брака с Марией-Луизой и созвания в Париже национального собора, даже среди духовенства, для восстановления власти коего во Франции так много было сделано конкордатом. В 1809 г. и Наполеону пришлось наказать нескольких кардиналов за неповиновение, а в 1811 г. — поспешить закрыть заседания собора. Но это столкновение с духовенством было лишь одним из симптомов начинавшегося общего недовольства.

Революция отменила во Франции все косвенные налоги ввиду того, что при старой монархии они были весьма непопулярны и что по экономической теории того времени для государства было бы достаточно одного только поземельного налога. В 1799 г. Директория думала было ввести соляной налог, но старый габель¹ был еще до такой степени жив в народной памяти, что советы пятисот и старейшин отвергли сделанное в этом смысле предложение. Наполеон решился на восстановление косвенных налогов, продолжавших быть непопулярными в стране: таковы были налоги на вино (1804), на

¹ Габель (*gabelle*) — соляной налог во Франции. Был введен в XIV в., отменен в 1790 г.; вызывал многочисленные народные волнения. — *Прим. ред.*

соль (1806), причем соляной налог был через короткое время повышен вдвое, на пиво (1808), а в 1810 г. была восстановлена табачная монополия государства. С другой стороны, в эпоху революции было весьма плохо организовано взимание налогов, вследствие чего накопилось много недоимок, но Наполеон еще на первых порах консульства организовал эту часть финансового управления, и в казну поэтому должны были совершаться усиленные поступления. Если, несмотря на постоянные вооружения и грандиозные войны, которые вел Наполеон, Франция не была разорена вконец одними налогами и правительству удавалось все-таки, в общем, сводить концы с концами в своем бюджете, то это объясняется системой Наполеона добывать посредством войны деньги, необходимые для продолжения этой самой войны, налагая контрибуции на занятые страны, заставляя побежденные государства платить большие суммы, привлекая к отбыванию воинской повинности по отношению к Франции ее союзников: без такой системы Франция была бы совершенно не в состоянии выдержать страшное напряжение платежных сил, какого требовала столь продолжительная война со всеми европейскими государствами. Наполеон даже заботился о том, чтобы его войны не казались разорительными для Франции в денежном отношении, но когда одних реквизиций в иностранных краях оказалось недостаточно, Наполеон в 1805 г. решился обратиться к одной компании финансистов за получением вперед налогов, которые только должны были еще поступить в казну через год, равно как за получением вперед субсидии, которую Франции обязалась выплачивать Испания. Операция вышла крайне неудачной; кампания потребовала помощи со стороны государственного банка, оказавшегося вынужденным растратить свои металлические запасы, и, наконец, дело не обошлось без банкротства нескольких крупных домов, что навело немалый страх на финансовых дельцов вообще. Только австрийская контрибуция, полученная по Пресбургскому миру, вывела тогда Наполеона из очень затруднительного положения, а в следующие годы из прусской, польской и вестфальской контрибуций он даже устроил особую кассу, которая авансировала поступление налогов, так как без этого средства государство жить более не могло. После русского похода правительству пришлось волей-неволей сразу повысить многие налоги, но население столь неохотно их выплачивало, что в 1814 г. прямые налоги, несмотря на свое повышение, дали казне гораздо менее, чем давали прежде. Для сокращения расходов в 1813 г. уменьшили жалованье чиновникам на 25 %, что создало тоже немало недовольных.

Гораздо еще сильнее чувствовалась населением тяжесть военной службы. По закону 1798 г. раз призывали к военной службе «класс» двадцатилеток, все французы, которым исполнилось двадцать лет, шли под ружье. Эту систему Наполеон в 1804 г. заменил жеребьевкой, при которой поступали в военную службу лишь молодые люди, вытянувшие известные номера, да и то каждому конскрипту разрешалось заменить себя наемным лицом. На са-

мом деле, весьма скоро Наполеон перешел, однако, не только к взятию под ружье целых «классов» известного года, но даже вынужден был призывать «классы» следующих годов или людей, которые в предыдущее годы не попали на службу: так в 1813 г. взяли весь «класс» 1815 г., т. е. юношей 18 лет, но вместе с тем не избавились идти под ружье и люди «класса» 1803 г., и еще в довершение всего солдат, отслуживших свой срок, продолжали удерживать в их полках, требовали от откупившихся отбывания службы лично или поставки новых заместителей или заставляли вновь откупаться за деньги. Буржуазия платила большие деньги, чтобы избавить свою молодежь от конскрипции, а молодые люди из недостаточных классов общества спасались бегством, прятались в лесах и даже составляли банды, чтобы сопротивляться жандармам, которые ловили уклоняющихся от военной службы. Хотя победы императора и льстили национальному тщеславию французов, хотя большие контрибуции и обогащали казну, что делало излишним увеличение налогов, тем не менее нация начинала сильно тяготиться вечной войной. Уже в 1805 г. громадное большинство французов было против войны, а когда в следующем году война возобновилась с прежней силой, уже очень многие стали сомневаться в том, чтобы иностранная политика императора действительно соответствовала интересам Франции. Нация начинала прямо охладевать к военной славе, и, например, по одному свидетельству, даже разгром Пруссии при Иене особенно большого впечатления в Париже не произвел. Наполеоновские шпионы, следившие за общественным настроением, стали отмечать все более и более фактов, ясно говоривших о том, что постоянной войной во Франции начинали тяготиться, и Наполеон старался всю вину сваливать на иностранцев, которые мешали-де ему посвящать все свои силы исключительно благу своего народа. Каждый раз, как он заключал новый мир, для Франции это было большой радостью, как, наоборот, известие о новой войне встречало в обществе всякий раз одну тревогу. В 1811 г. число лиц, уклонявшихся от военной службы, достигало уже до 80 тыс. человек, а для того, чтобы найти охотника идти в солдаты за другого, нужно было заплатить 8 тыс. франков. Против уклоняющихся в 1811 г. были даже приняты особенно строгие меры: например, за беглецов должны были отвечать их семьи, их знакомые, у которых они ели, пили или ночевали, наконец, сами общины, к коим они принадлежали, да и ответственность была весьма тяжелая, а именно нужно было содержать на свой счет несколько солдат, пока тот или другой беглец не подчинится закону. Особенно после неудач в Испании стало сильно развиваться общее отвращение к войне, хотя правительство старательно скрывало настоящие цифры французских потерь во время народной войны на Пиренейском полуострове. Впрочем, скрыть истину было трудно: с 1808 г. по май 1812 г. из 600 тыс. человек, посланных в Испанию, осталось лишь около 300 тыс. В 1812 г. в Париже уже настолько сильно раздался народный ропот, что Наполеон поспешил ранней весной переехать

со своим двором в Сен-Клу. Только при существовании такого настроения и можно объяснить себе происшедшую осенью того же года попытку Мале низвергнуть империю. Так как взрослое население страны шло в военную службу, то в некоторых местах полевые работы исполнялись одними женщинами и детьми и вдобавок нередко без лошадей, при помощи заступа и лопаты, как это было даже официально засвидетельствовано в 1814 г.

Ко всему этому присоединялось еще неудовольствие на континентальную систему. Мы видели¹, как Наполеон посредством этой системы, к которой должны были примкнуть все государства материка, чтобы нанести удар английской промышленности и торговле, думал заставить Англию смириться перед Францией и как последовательное проведение этой системы приводило его к необходимости новых территориальных захватов и к новым политическим столкновениям. В числе причин, создававших империи врагов за ее границами, немалую роль играла эта система, разорявшая целые страны, которые извлекали те или другие выгоды из торговли с Англией. От континентальной системы страдало и само население Франции, что даже прямо заставляло Наполеона смягчать для империи в некоторых отношениях строгости системы. Но особенно важно то, что применение этой системы привело страну к весьма тяжелому экономическому кризису 1811 г., который поселил неудовольствие против Наполеона в значительной части буржуазии. На этих двух фактах, т. е. на континентальной системе и на кризисе 1811 г., стоит остановиться несколько подробнее.

В 1806 г. Наполеон решил закрыть весь европейский континент для английской торговли. Уже на другой день после битвы при Иене он издал декрет, отдававший армии все английские товары, какие только будут найдены в городах Северной Германии. 21 ноября в Берлине был подписан Наполеоном другой декрет, объявлявший Британские острова в состоянии блокады: всякая торговля с ними запрещалась; письма и посылки с английскими адресами подлежали конфискации, равно как и все английские склады на территории империи и ее союзников; той же участи подвергались все английские товары; английским кораблям закрывался доступ в европейские порты; всякий английский подданный объявлялся военнопленным. Правда, у Наполеона не было средств в точности исполнить этот декрет, чтобы на самом деле прекратить всю морскую торговлю и лишить Европу английских и колониальных товаров, к коим она привыкла, но насколько возможно было, эта континентальная блокада (*blocus continental*) тем не менее осуществлялась, нанося страшный вред не одной, впрочем, Англии, но и Франции, и государствам, находившимся с нею в союзе под условием соблюдения этой системы. Эта мера сильно раздражала народы, которые так или иначе терпели от прекра-

¹ *Kiesselbach*. Die Kontinental Sperre in ökonomisch-politischen Bedeutung. 1850; *Clement*. Histoire protecteur en France, 1854; *Levi L.* Hist. of british Commerce, 1872; *Beer*. Gesch. des Welthandels im XIX Jahrhundert.

щения торговли с Англией. Все, что Европа получала оттуда и из колоний и к чему привыкло население материка, как то: сахар, хлопчатая бумага, кофе, табак, чай, пряности, необходимые для промышленности красящие вещества, аптекарские товары (например, хинин), а в Швеции даже соль, привозившаяся морем, — все это делалось недоступным населению стран, примкнувших к континентальной системе, недоступным по своей редкости или дороговизне. С другой стороны, должна была почти совсем прекратиться вывозная торговля по морю таких громоздких предметов, как железо, строевой лес и т. п. Желая во что бы то ни стало утвердить систему, Наполеон должен был дополнять первоначальные свои распоряжения новыми мерами, вводя, между прочим, разного рода строгости (вроде обысков с целью нахождения запрещенных товаров); но всякое новое притеснение только делало систему еще более ненавистной. Правда, во Франции и на юге колониальные продукты старались заменить разного рода суррогатами (кофе — цикорием, тростниковый сахар — виноградным сиропом или свекловичным сахаром), тем не менее и здесь лишения всякого рода давали себя чувствовать. Само правительство оказалось вынужденным делать изъятия из общего правила, продавая за большие деньги так называемые «лицензии» (licences), т. е. частные разрешения вывозить некоторые французские товары в Англию (хлеб, вино) и привозить во Францию из Англии разные продукты, бывшие в ходу во французской промышленности и потому крайне ей необходимые (красящие вещества, рыбий жир и т. п.). Эти «лицензии», однако, поощряли развитие контрабанды, бывшей своего рода протестом против запретительной системы Наполеона. Для французского правительства борьба с контрабандой в эту эпоху представляла предмет постоянных и усиленных забот, тем более что к контрабанде целые населенные (например, особенно в Голландии до и после ее присоединения к Франции) прибегали просто-напросто потому, что иначе им нечем было бы жить. Требуя от союзников строжайшего соблюдения системы, Наполеон у себя во Франции все более и более расширял «лицензии», позволяя по ним ввозить подконец всякого рода колониальные товары, а так как вместе с тем поступали на рынок и проданные самим правительством с аукциона товары, захваченные французскими крейсерами или конфискованные у контрабандистов, то для контрабанды тем еще легче делалось снабжать купцов английскими продуктами. В 1810 г. Наполеон обложил все колониальные товары, каков бы ни был способ их поступления в продажу, пошлиной в 50 % их стоимости и объявил, что все склады таких товаров на расстоянии от границ империи более близком, чем четырехдневный путь, будут признаваемы за тайные и подлежат конфискации. В том же году другим декретом он приказал сжигать все произведения английских мануфактур, а третьим декретом того же года учреждал специальную юрисдикцию с повышенными наказаниями (клеймение, каторга, даже смертная казнь) для борьбы с контрабандистами и их сообщниками и устанавливал большие награды доносчикам,

таможенным чиновникам и стражникам за каждую конфискацию. Конечно, чиновники и солдаты усердствовали, производили обыски в складах и лавках и жгли контрабанду, отчего, конечно, терпели не англичане, продававшие свой товар за деньги, а французские купцы, платившие эти деньги. Тем не менее контрабанда процветала: тайно ввезенным товаром торговать было выгоднее, так как купец мог в таком случае удержать у себя все, что пришлось бы заплатить за «лицензии» и сверх того в виде пятидесятипроцентной пошлины. Более всего, в конце концов, страдали покупатели таких товаров, которым за все приходилось платить втридорога. Понятно, что население Франции роптало на континентальную систему совершенно так же, как и население других стран.

Своей запретительной системой Наполеон думал не только убить английскую торговлю, но и создать монополию для французской промышленности. Например, конфисковав в Швейцарш все колониальные товары, он запретил в то же время вывозить из этой страны в Италию ткани местного производства, а из Италии затруднен был вывоз в Швейцарию и Германию шелковых материй, дабы лионские фабриканты, выделявшие такие же материи, не имели конкурентов. «Лицензии» на ввоз во Францию хлопчатой бумаги, индиго и т. п. давались также ради доставления французским фабрикантам необходимых в промышленности продуктов, причем имелось в виду, что французские фабрики будут работать на весь континентальный рынок, закрытый для английских товаров. Французские капиталисты, действительно, бросились производить на весь европейский рынок, не приняв в соображение ни того, что постоянные войны подрывали покупательные средства населения на всей материке, ни того, что страшное вздорожание всех продуктов, привозившихся из колоний, само по себе делало их покупку довольно-таки недоступной большинству прежних потребителей, ни того, наконец, что и вне Франции началась усиленная в сравнении с прежним временем фабрикация тех же предметов, производством коих занялись теперь французские капиталисты. Результатом было общее перепроизводство со всеми его последствиями: товаров наготовлено было много, но сбыт их был крайне плохой; предприниматели, не выручая затраченных денег, оказывались несостоятельными должниками, и банки, ссужавшие им большие суммы, не получая от них в срок выданных ссуд, по своим обязательствам тоже прекращали платежи; промышленники поневоле закрывали свои фабрики или сильно сокращали свое производство, а это самым бедственным образом отражалось на судьбе рабочего класса, лишавшегося заработка. Сначала Наполеон думал остановить кризис, оказывая поддержку разорявшимся фабрикантам из государственного казначейства, но вскоре убедился, что правительственные ссуды были не в состоянии помочь беде. Боясь восстания голодной народной массы, Наполеон постарался занять лишенных заработка пролетариев военными заказами и т. п., но и это не могло устранить бедствия. Причина зла лежала в самой

континентальной системе, и это многие очень хорошо понимали, но Наполеон ничего не хотел слушать. 25 марта 1811 г. к нему явилась депутация от торговой палаты с целью изложить свои взгляды относительно печального положения дел и средств, коими можно было бы его исправить, но Наполеон не дал депутатам говорить: оборвав их с самого начала, он стал им доказывать все благодеяния континентальной системы, ради поддержания которой, по его словам, он пойдет, если то будет нужно, на Ригу, на Москву, на Петербург.

В то время как одни были недовольны политикой Наполеона, поскольку она наносила ущерб материальным интересам и даже оказывалась в экономическом отношении прямо разорительной, другие порицали правительственную систему императора с точки зрения принципов личной и общественной свободы. Правда, полиция, цензура и шпионы делали свое дело и не допускали никаких оппозиционных проявлений, но едва только после 1812 г. империя стала колебаться на главной своей основе — военном могуществе, которому приходил конец, — как оппозиция стала проявляться смелее и даже достигла успеха среди тех людей, которые благоговели перед Наполеоном, когда он еще не знал неудач 1812, 1813 и 1814 гг.

Весьма сравнительно немногие деятели эпохи находились во все время консульства и империи в оппозиции наполеоновскому режиму. Среди писателей эпохи лишь очень небольшая группа держала себя вдали от официальных льстецов, но зато это была наиболее заметная группа по своему влиянию на общество, начинавшее тяготиться деспотизмом империи¹. Одним из независимых писателей был Шатобриан, книга коего «Дух христианства», вышедшая в свет в одном году с заключением конкордата, весьма много содействовала оживлению католицизма во Франции². Сначала Шатобриан относился к Наполеону очень хорошо, посвятил ему свою книгу и принял от него должность секретаря французского посольства в Риме, но после убийства герцога Энгиенского он оставил службу Наполеону. Совершив затем путешествие на Восток, он в 1807 г. приобрел в собственность газету «Меркурий», но одна неосторожная статья, получившая большой, хотя и негласный успех, имела своим последствием закрытие газеты, и Шатобриан был еще счастлив тем, что сам не попал в тюрьму. Наполеон все еще, однако, подумывал о том, чтобы привлечь Шатобриана снова на свою сторону, и даже согласился на его избрание в члены Института (1811). По заведенному порядку при приеме в число академиков Шатобриан должен был произнести речь. Наполеон потребовал рукопись речи к себе на предварительный просмотр, но был страшно ею рассержен, и так как автор не хотел делать в ней никаких изменений, то не только не мог состояться его прием, но ему не позволили даже остаться жить в Париже. Где только можно было, после этого Шатобриан старался всячески вре-

¹ Указания на труды по истории литературы в эпоху империи будут сделаны в другом месте.

² Об этом подробнее см. ниже.

доть империи, особенно когда начал понимать, что час ее крушения близок. Зимой 1813/14 г. он провел в Париже и готовил к печати свой знаменитый памфлет «О Буонапарте и о Бурбонах», вышедший в свет 30 марта 1814 г., за несколько дней до окончательного падения империи. Это сочинение, содержащее в себе страстный обвинительный акт против Наполеона, по словам Людовика XVIII, сделало для реставрации Бурбонов гораздо больше, чем целая армия.

С такой же, если не с большей еще непримиримостью к империи относилась тоже весьма замечательная писательница эпохи г-жа Сталь, бывшая центром целого либерального кружка. Каково бы ни было ее первоначальное отношение к генералу Бонапарту, в первом консуле и императоре, она, дочь Неккера и поклонница «принципов 1789 г.», не могла не видеть «тирана», лишившего Францию свободы. Г-жа Сталь была весьма близка с либерально настроенным Бенжаменом Констаном, которого Наполеон после 18 брюмера поместил в трибунате. Бенжамен Констан с самого начала стал в оппозиционное отношение к Наполеону. Уже в январе 1800 г. он произнес речь о «занимающейся заре тирании». Тогда же он предвидел, что после этого салон г-жи Сталь, где была подготовлена эта оппозиционная речь, опустеет. Так и случилось: г-жа Сталь в тот же день пригласила к себе гостей, но гости не явились, прислав хозяйке извинительные записочки. За ее салоном, кроме того, стали присматривать как за довольно подозрительным местом, и его хозяйке не всегда было удобно жить в Париже. В 1802 г. этот салон сделался уже прямо своего рода центром оппозиции против первого консула, и затем в течение всего периода консульства и империи г-жа Сталь только и мечтала о возможности падения Наполеона, хотя бы для этого потребовалось поражение французских армий. С этого же момента начались те преследования, коим подвергалась г-жа Сталь со стороны Наполеона. Она была выслана из Парижа, и ей запрещено было даже приближаться к столице. После этого она совершила путешествие в Германию, о которой написала целую книгу, сделавшуюся одним из наиболее знаменитых ее произведений. Хотя книга и была пропущена предварительной цензурой, продажа ее была запрещена, когда она была отпечатана, и все ее экземпляры были истреблены. Сама г-жа Сталь должна была жить в ссылке, в своем имении на берегу Женевского озера, ей было даже недозволено писать и принимать гостей. Положение ее сделалось здесь до такой степени нестерпимым от полицейского надзора, что она предпочла уехать (1812) в Россию, это «последнее убежище угнетенных». Еще в ссылке начала она тайком писать свои «Десять лет изгнания», книгу, в которой вылилось все, что накопилось в ее душе против империи. В падении Наполеона она видит единственное средство спасения Франции, Европы, человечества и возлагает все свои надежды на коалицию государей против узурпатора прав человечества. В Петербурге г-жа Сталь познакомилась с другим врагом Наполеона — с Штейном, которому прочитала главу об

энтузиазме из своей книги о Германии. И здесь, как потом и в Стокгольме, и в Лондоне, она только и жила мыслью о скором падении империи.

Наполеон недаром боялся либеральной оппозиции. Мы еще увидим, что в 1815 г., во время вторичного своего владычества, он считал нужным, хотя бы чисто внешним образом, обратиться к либеральным принципам, узнав, какую силу они снова приобрели над умами. С этой целью он тогда стал даже пользоваться услугами Бенжамена Констан, бывшего с самого начала консульства его противником. Этот политический деятель и писатель прославился еще во времена Директории сочинениями, написанными против анархии и деспотизма. Принятый Наполеоном в трибунат, он в 1802 г. был устранен из числа его членов за оппозиционный характер своих речей и статей и даже удален из Парижа. Когда наполеоновский поход в Россию окончился неудачей и когда в Германии, где проживал в то время Бенжамен Констан, началась война за освобождение, и он выступил против Наполеона со страстным памфлетом под заглавием «*De l'esprit de conquête et de l'usurpation*»¹. Таким образом, почти одновременно, когда империя стала склоняться к упадку, против нее началась совершенно невозможная раньше литературная оппозиция, и именно время-то было самое благоприятное для того, чтобы враждебные Наполеону сочинения могли оказывать влияние на общественное мнение Франции.

Завоевательная политика Наполеона давно уже тревожила многих людей более проницательных, нежели народная масса, а бедствия иностранного нашествия, коим Наполеон подверг страну, пробудили в лучших из них чувство национальной чести, заставившее их наконец раскрыть глаза на то, чем, в сущности, была эта империя, так долго ослеплявшая нацию блеском внешних побед. «Начало конца» предвидел в 1812 г. не один Талейран, да и раньше 1812 г. уже предсказывалась возможность катастрофы. Уже во время провозглашения империи Камбасерес говорил Лебрену: «У меня есть предчувствие, что то, что строят теперь, прочно не будет. Мы вели войну с Европой, чтобы навязать ей республики, как дочерей республики Французской, а теперь мы будем вести войну, чтобы дать ей монархов, сыновей или братьев нашего, и дело кончится тем, что Франция, истощенная войнами, падет под тяжестью этих безумных предприятий». Или вот что еще говорил морской министр Декрес генералу Мармону, когда последний был сделан маршалом: «Хорошо, Мармон, вот вы и довольны, потому что вас сделали маршалом. Вы все видите в розовом свете. Но хотите ли вы, чтобы я сказал вам правду и отдернул занавес, за которым скрывается будущее? Император рехнулся, совсем рехнулся; всех нас, сколько нас есть, он заставит полететь кувырком, и все это кончится страшной катастрофой»². В 1813 г. в парижских салонах, где до того

¹ В духе завоевания и узурпации. — *Прим. ред.*

² В только что вышедшем II томе мемуаров Паке рассказывает, что нечто подобное Декрес говорил в 1812 г., еще в самом начале русской кампании, автору мемуаров, в то время префекту полиции.

времени боялись громко порицать правительство, о положении дел говорили уже совершенно свободно, и хотя тогдашнему министру полиции (Ровиго) это было хорошо известно, он делал вид, что ничего не знает, ибо, сам уже не веря в прочность империи, не хотел компрометировать себя какими-либо строгостями. В первый раз в 1813 г., открывая сессию законодательного корпуса, Наполеон был озабочен вопросом, все ли будет благополучно. На тронную речь императора сенат отвечал льстивым адресом, но комиссия законодательного корпуса, которой было поручено составить ответ этого собрания на тронную речь, поступила совсем иначе: предложенный ею проект адреса императору был, собственно говоря, критикой всей его политики и приглашением вернуться на путь законности. Доклад комиссии о порученном ей деле законодательный корпус в заседании своем 30 декабря постановил напечатать большинством 223 голосов, против 31: в этом документе Наполеону напоминалось о необходимости восстановления личной и общественной свободы и политических прав нации. Узнав об этом, но не имея в руках текста доклада, Наполеон в тот же день распорядился, чтобы ему был доставлен из типографии первый корректурный оттиск и чтобы без его разрешения не было выпущено ни одного экземпляра; когда же он познакомился с самим содержанием доклада, то приказал задержать все его экземпляры и решил распустить законодательный корпус. Декрет об этом появился в «Монитер» 1 января 1814 г., и в тот же день император давал прощальную аудиенцию сенату и законодательному корпусу, обратившись к последнему с очень резкой речью. Она сильно оскорбила депутатов, а роспуск законодательного корпуса лишал императора поддержки национального представительства в тот самый момент, когда неприятель уже вступал на территорию самой империи. Депутаты, оставшиеся в Париже, не скрывали причины внезапного прекращения сессии, и то же делали в провинции те из депутатов, которые в первых числах января разъехались по домам, причем текст доклада в рукописи ходил по рукам и производил сильное впечатление на умы.

Буржуазия, не говоря уже о дворянстве, никогда искренне не примирявшемся с империей, обвиняла Наполеона в том, что, имея полную возможность заключить мир, он не делал этого и вел страну к окончательному разорению. Корреспонденция префектов и полицейские донесения из провинции начала 1814 г. были полны указаниями на оппозиционное настроение высших и средних классов общества, но простой народ возлагал еще ввиду неприятельского нашествия все свои надежды на непобедимого императора. Однако народ этот сам не проявил того подъема духа, который характеризовал настроение французской нации за двадцать лет перед тем, когда ей тоже грозило иностранное нашествие: союзников в 1814 г. не встретила во Франции народная война.

XII. Падение империи, «Сто дней» и Венский конгресс¹

Наполеон и европейская коалиция в 1813 и 1814 гг. — Низложение и отречение Наполеона от престола. — Первая реставрация. — Наполеон на острове Эльбе. — Возвращение Наполеона. — «Сто дней». — Дополнительный акт. — Ватерлоо. — Стремления французской нации в эпоху падения империи. — Венский конгресс и его создания. — Общее значение Венского конгресса. — Конец первого периода истории XIX в. — Значение этого периода в истории Западной Европы

В 1813 г. государи, соединившиеся против Наполеона, еще делали попытки склонить его к заключению мира, но он отвергал их предложения. Во время довольно продолжительного перемирия (4 июня — 10 августа 1813 г.), заключенного между союзниками и французской армией, Австрия, тогда еще не приступавшая к союзу с Россией и Пруссией, пыталась склонить Наполеона к миру, но он объявил австрийскому уполномоченному князю Меттерниху, что он не может вернуться побежденным в свою столицу. Наполеон не соглашался ни на какие условия и продолжал борьбу, несмотря на все поражения от коалиции, которая все более и более росла вследствие новых и новых присоединений к русско-прусскому союзу, и несмотря на истощение, в какое была приведена Франция, страстно желавшая притом конца этой непрерывной войны со всей Европой. Прежде чем решиться перенести театр войны в империю, союзники еще раз сделали попытку склонить Наполеона к миру, предложив ему обладание Францией в ее «естественных границах», т. е. между Рейном, Альпами и Пиренеями, с возвращением полной независимости Германии, Голландии и Италии и восстановлением династии Бурбонов в Испании. Эти условия сделались известными публике, и в декабре 1813 г. в Париже только о том и говорили, что эти условия нужно принять, а при дворе, в обществе, среди приближенных Наполеона составилось мнение о необходимости убедить его в том, что это было бы единственным средством спасения. В этом смысле действовали и министры (между прочим,

¹ Недавно вышли в свет интересные работы Henry Houssaye под заглавием «1814» (двадцатое издание в 1894 г.) и «1815» (1893). Последняя работа в первом томе доведена до момента отъезда Наполеона на войну в 1815 г. и будет закончена в двух томах. Для истории кампании 1815 г. см. также соч.: Quinet, Charras и др. *Helfert. J. Murat, seine letzten Kämpfe und sein Ende*, 1878. Для дипломатической истории эпохи, открывающейся Венским конгрессом, см. новейший труд: *Debidour A. Histoire diplomatique de l'Europe depuis l'ouverture du congrès de Vienne jusqu'à la clôture du congrès de Berlin*. T. I. La Sainte-Alliance. Paris, 1891. О самом Венском конгрессе, кроме старых изданий De Pradt'a (1815), Klüber'a (1816), Flissan'a (1829) и др., *Angeberg-Capefigue. Le Congrès de Vienne: et les traités de 1815—1863*; *Duncker A. Der Freiherr von Stein und die deutsche Frage auf dem Wiener Congresse*, 1873; *Schmidt W.A. Geschichte der deutschen Verfassungsfrage während der Befreiungskriege und des Wiener Kongresses* (издано А. Stern'ом), 1890. Наконец, см. книгу проф. Даневского, указанную ниже.

министры внутренних дел и финансов), но Наполеон стоял на своем и, только узнав, какое дурное впечатление на публику произвел его уклончивый ответ, постарался сделать вид, что и сам он хочет мира. В глубине души он мириться на таких условиях не хотел: слишком унижительными казались они для его самолюбия, слишком опасными для его престижа в самой Франции, в которой ему грозили после такого мира, по его мнению, лишь одни внутренние затруднения. Союзники в начале 1814 г. вступили во Францию в то самое время, как падало французское владычество в Голландии и Италии, где зять Наполеона Мюрат стал тоже во враждебные к нему отношения. Еще раз в середине февраля союзники предлагали Наполеону мир, хотя тогда, по-видимому, уже окончательно было решено низложить Наполеона, и только боязнь встретить во Франции народную войну заставляла союзников не бросать мысли о заключении мира; но Наполеон после каждой новой удачи делался несговорчивее. Поражение французской армии при Арсис-сюр-Об (20–21 марта) открыло союзникам дорогу на Париж. Наполеон организовал тогда регентство с императрицей во главе и поручил столицу Франции своему брату Иосифу, сделав его главным начальником национальной гвардии; но и Мария-Луиза, и Иосиф удалились из Парижа в виду приближавшегося неприятеля. 30 марта союзники взяли приступом господствующие над Парижем высоты Монмартра, а на другой день победители торжественно вступали уже в беззащитную столицу Франции. Затем 1 апреля последовало объявление сенатом низложения Наполеона и образование временного правительства. Наполеон, находившийся в это время со своей гвардией в Фонтенбло, узнав об отложении маршала Мармона, которому Иосиф передал свои полномочия при отъезде из Парижа, 4 апреля отрекся от престола в пользу своего сына, но союзники потребовали от него безусловного отречения, которое он и подписал 11 апреля после того, как его покинули и люди, бывшие к нему наиболее близкими (Бертье, Ней, Удино и др.). Через несколько дней после этого (20 апреля) Наполеон должен был распрощаться со своей гвардией и отправиться на остров Эльбу, отданный в его владение, куда он и прибыл на английском корабле 4 мая, на другой день после того, как Людовик XVIII торжественно въехал в Париж. В первые дни апреля 1814 г. Париж был наводнен брошюрами, летучими листовками, карикатурами, направленными против Наполеона. Императору было известно враждебное к нему отношение южных департаментов, через которые ему предстояло проезжать, и он даже боялся, что его умертвят во время путешествия. В Оранже ему действительно пришлось слышать крики: «Смерть тирану!»; в Авиньоне требовали выдачи «корсиканца», чтобы его утопить, и Наполеон из предосторожности должен был переодеться в иностранный мундир; в Оргоне народ приволок виселицу и бросился к карете, в которой везли Наполеона, и только русский уполномоченный, граф Шувалов, сопровождавший его в ссылку, удержал толпу от насилия.

История так называемой первой реставрации Бурбонов будет рассмотрена нами после и в другой связи. Отметим здесь только главнейшие даты этой эпохи: 3 мая Людовик XVIII совершил свой въезд в Париж; 30 мая был заключен Парижский мир, коим Франция ограничивалась пределами 1792 г.; 4 июня король подписал конституционную хартию; 1 ноября собрался в Вене знаменитый конгресс, который должен был дать Европе новое устройство после столь длинного периода внутренних потрясений и международных столкновений, нарушивших все прежние отношения. 1 марта 1815 г. Наполеон, тайно покинув Эльбу, высадился близ Канна и 20-го числа был уже в Париже, откуда Бурбоны вынуждены были бежать при известии о его приближении. Непрочность первой реставрации объясняется крайним недовольством народа и армии тем направлением, какое приняла политика Бурбонов и возвратившихся с ними эмигрантов: и те и другие в изгнании «ничему не научились и ничего не позабыли», как отозвался о них Наполеон, и вернувшись во Францию, задумали восстановить в ней старые, дореволюционные порядки, наделав при этом массу политических ошибок и тем заставив народ и армию принять Наполеона как избавителя от ненавистного ига, которое на них собирались наложить. Бурбоны, восстановленные на престоле лишь благодаря иностранному нашествию, имели сравнительно очень мало сторонников в нации: за них были дворянство и отчасти буржуазия, но масса городского и сельского населения относилась к ним с чувством некоторой враждебности, ибо весьма сильно распространена была боязнь, что с Бурбонами и эмигрантами вернутся, в конце концов, старые порядки, феодальные права, десятина и т. п., а собственники бывших национальных имуществ опасались, что у них, пожалуй, отнимут и приобретенные ими земли. Особенно недовольна была наполеоновская армия, к которой и Бурбоны относились с большим недоверием; это недовольство должно было тем более возрасти, что значительная часть офицеров была уволена в отставку или переведена на половинный оклад. Вообще правительство первой реставрации как бы нарочно делало все, что только можно было делать, дабы усилить недоверие и недовольство народной массы и армии. В течение всего этого времени там и сям происходили волнения и бунты, и этому очень много содействовало поведение роялистов, уже приступавших к насильственному восстановлению старины в провинциях. В армии не верили, что дело Наполеона кончено, и беспрестанно возникали слухи, что он оставил Эльбу, что он высадился во Франции, что он бунтует Италию, что он набирает войско в Турции, что он идет во главе австрийских войск, дабы заставить силою признать права своего сына, короля Римского; нередко в казармах, на смотрах раздавались виваты в честь императора. Свои страхи и свои надежды солдаты передают народной массе. Префектам и военным властям беспрестанно приходилось отмечать случаи недовольства Бурбонами в городах, деревнях и отдельных отрядах войска. В это же время появилось великое множество разного рода изображений Наполеона — медалей, статуэток

и т. п., и плакард¹ с надписями вроде следующих: «Радуйтесь, друзья великого Наполеона! Он опять скоро будет с нами. Роялисты уже трепещут», «Да здравствует император! Он был и он будет!», «Проснитесь, французы! Наполеон пробуждается». Этот культ павшего властелина был не чем иным, как порождением народной ненависти к реставрации: нация дорожила социальными приобретениями революции, и при мысли, что может быть восстановлено старое общественное неравенство, она готова была опять идти за Наполеоном. Мало-помалу опасения за все то, что из наследия революции было удержано Наполеоном, и за конституционную хартию, дававшую стране свободу, но сделавшуюся предметом страстных нападок со стороны роялистов, начали волновать и буржуазию, которая сначала относилась к реставрации с сочувствием и доверием. В буржуазии снова получила силу идея политической свободы, а конституционная хартия 1814 г. обещала эту свободу, но буржуазия начинала мало-помалу плохо верить в то, что хартия удержится. Памфлеты против Наполеона стали даже понемногу исчезать из продажи, и появилась на сцену оппозиционная пресса. Вместе с этим наполеоновские маршалы и генералы, перешедшие на службу Людовика XVIII, подвергались оскорблениям со стороны старой придворной знати и равным образом все более и более раздражались против роялистов. Мало того, начинали уже возникать заговоры против Людовика XVIII; в этих заговорах участвовали люди весьма различных партий, и для них весь вопрос был в том, чтобы устранить Бурбонов, а там будет видно, что делать. В феврале 1815 г. уже сильно сомневались в том, чтобы такой порядок вещей мог долго просуществовать. Наполеон явился в марте как раз вовремя, чтобы воспользоваться всеобщим недовольством Бурбонами и вернуть себе власть над Францией.

С мая 1814 г. Наполеон жил на Эльбе, разлученный с женой и сыном, под надзором держав, продолжавших опасаться его честолюбия. Он и здесь был еще страшен: и на Венском конгрессе уже поговаривали о том, что недурно было бы сослать его куда-нибудь подальше, на остров Святой Елены или на какой-либо из Азорских островов; иные даже думали, что напрасно вообще его оставили в живых. На первых порах Наполеон, по-видимому, мирился со своей судьбой и деятельно занялся устройством своего маленького владения, проявив в этом деле свою обычную энергию. Он долго поджидал приезда Марии-Луизы с сыном, но бывшая императрица, как известно, весьма скоро утешилась с графом Нейппергом. Французское правительство не высылало ему денег, которые обязалось выплачивать в силу трактата, заключенного в Фонтенбло, и это со стороны Людовика XVIII было большой неосторожностью, ибо, судя по секретным донесениям, посылавшимся с Эльбы в Париж и Вену, Наполеон остался бы навсегда жить на этом острове, раз бы имел достаточно денег для своих широких затей. Слухи о том, что его хотят сослать куда-

¹ Placard (*фр.*) — объявление, афиша, плакат. — *Прим. ред.*

нибудь подальше или даже сделать что-нибудь худшее, достигли и до него, и он принял меры, чтобы обезопасить свою резиденцию (Порто-Ферайо) от внезапного нападения. Доходили до Наполеона и другие слухи: от приезжих, из писем, из газет он знал, что положение Людовика XVIII непрочно, что Франция недовольна, что на Венском конгрессе начались раздоры держав из-за дележа добычи. Наполеон принял решение вернуться во Францию, но держал его в секрете до середины февраля 1815 г.

1 марта Наполеон с небольшим отрядом высадился на юге Франции. Еще в Порто-Ферайо он составил и напечатал¹ три прокламации в красноречивом стиле времен революции. В одной он обращался к армии, которой говорилось, что солдаты не были побеждены врагом, что поражение Франции было следствием измены, что армии будет возвращена ее слава. В прокламации к французскому народу сказано было то же самое насчет измены, и отречение от престола объяснялось самопожертвованием во имя блага родины. «Я, — продолжал Наполеон, — был возведен на престол по вашему выбору, и все, что сделано без вас, незаконно. Вот уже двадцать пять лет, как у Франции есть новые интересы, новые учреждения, новая слава, которые могут быть обеспечены лишь национальным правительством и династией, возникшей среди этих новых обстоятельств. Пусть государь, который царствует над вами, посаженный на мой престол силою армий, опустошивших нашу территорию, ссылается на принципы феодального права, но он может обеспечить честь и права лишь небольшой кучки лиц, врагов народа, который за эти двадцать пять лет осуждал их во всех национальных собраниях... Французы! в изгнании своем я услышал ваши жалобы и желания: вы требовали возвращения правительства, выбранного вами и потому единственно законного». В особой прокламации к населению департаментов *des Hautes et Basses Alpes*² Наполеон повторял свое обещание сохранять свободу и равенство, приобретенные за двадцать пять лет перед тем. На пути в Париж маленький отряд все более и более возрастал от присоединявшихся к нему солдат и народа, и поход Наполеона превратился в триумфальное шествие: исполнилось пророчество одной из прокламаций, что орел его пролетит от колокольни к колокольне до башен Парижской Богоматери. Ничто не могло остановить этого похода Наполеона, и выславшиеся против него войска переходили на его сторону. Маршал Ней, обещавший привезти Наполеона в Париж в клетке, присоединился к нему точно так же со всем своим отрядом.

Известие о высадке Наполеона, переположившее правительство Людовика XVIII, было принято буржуазией со страхом и негодованием и примирило ее с Бурбонами, ибо буржуазия за возвращением Наполеона предвидела теперь возобновление войны, хотя сама же раньше, недовольная Людовиком XVIII, не прочь была, чтобы Наполеон вернулся. Настроение буржуазии

¹ См.: Houssaye. 1815. I, 189, 203–205.

² Департаменты Верхних Альп. — *Прим. ред.*

рельефнее всего выражалось в палате депутатов, которая по конституции 1814 г. состояла из представителей наиболее зажиточного класса общества. Палата решилась поддерживать дело короля, но в то же время хлопотала об утверждении либеральных принципов. В защиту Бурбонов и конституционной свободы стали появляться газетные статьи и брошюры. Одна из них называлась «О невозможности установления конституционного правления с военным вождем и в особенности с Наполеоном», а в другой («*Le cri de la Fracne*») было сказано: «Чего тебе нужно? Если ты на основании наших политических дебатов вообразил, что мнение нации находится в противоречии с ее правительством, то знай, что эти прения присущи каждому недеспотическому правлению и что в них заключается его сила и безопасность». Мнения генералов разделились, и некоторое разделение заметно было в парижском населении. В провинциях, наоборот, большинство радовалось возвращению императора, хотя и здесь к радости примешивался страх перед повторением иностранного нашествия. Роялисты весьма быстро потеряли голову, и уже 10 марта началась их эмиграция из Парижа, возбудив в населении его нечто вроде паники. Один план нелепее другого предлагался королю: то Людовик XVIII в открытой коляске и в сопровождении кавалькады из всех членов палаты пэров и палаты депутатов должен был ехать навстречу Бонапарту, то советовали превратить Тюильри в цитадель и запереться там с тремя тысячами солдат и съестными припасами на два месяца и т. п. 19 марта Людовик XVIII с такой поспешностью выехал из дворца, что забыл в своем кабинете письма от Талейрана из Вены и секретный трактат, заключенный против России. 20 марта прежние наполеоновские сановники и придворные сами собой возвратились на свои места, оставленные за год перед тем, и в тот же самый день Наполеон был уже в Тюильри, буквально внесенный туда народною толпою.

Это восстановление империи не было, как уверяли впоследствии роялисты, актом чисто военного своеволия: восстановление империи совершил, хотя и при помощи армии, народ, который видел в возвращении Наполеона гарантии того, что главные приобретения революции будут за ним сохранены. В сущности, почти везде на пути Наполеона в Париж крестьяне и рабочие переходили на его сторону ранее солдат: в самый день своего въезда в Париж император говорил, что стоило бы ему только захотеть, и он явился бы в столицу во главе семидесяти тысяч вооруженных крестьян. Один префект прямо заявлял, что это было какое-то возобновление сцен революции. Да и Наполеон заговорил теперь языком революции: его обращения к населению городов, лежавших на пути в Париж, были направлены против эмигрантов, желавших возвращения себе национальных имуществ, и против дворян, мечтавших о восстановлении привилегий и феодальных прав, и содержали в себе заявления о том, что его, наполеоновы, права покоятся на правах народных, что сам он только первый гражданин, что он вышел из революции. Населением Франции действительно овладевало революционное движение. Организовались федерации и клубы для

«защиты свободы», для «борьбы с инквизицией монахов и тиранией дворян», для «защиты прав человека» и т. п. Один из приближенных Наполеона сказал ему однажды: «Я боюсь, как бы не произошла новая революция, которая еще раз подвергнет Францию террору и проскрипциям». На улицах Парижа опять стали раздаваться звуки революционных песен и появился красный колпак. Газетная и брошюрная пресса снова заговорила языком революционной страсти, советуя изгнание дворян, конфискацию их имущества, раздел последних между общинами и армией, возвращение к якобинизму и к террору ради спасения отечества. Наполеон видел настроение массы и сравнивал его с той всеобщей и страстной ненавистью к духовенству и дворянству, какая была в начале революции. «Мне, — говорил он, — стоит только сделать знак или, вернее, только посмотреть сквозь пальцы, чтобы дворяне были перебиты во всех провинциях, но я не хочу быть королем жакерии». Ни сам Наполеон, ни его правительство не желали восстановления в новой форме якобинской диктатуры, хотя, по мнению многих, только одна она и могла спасти Францию, тем более что народное возбуждение стало сильно ослабевать после того, как всем сделалось ясно, что Франции не миновать новой войны со всей Европой. Наполеон, в сущности, желал установить ту самую власть, какою пользовался до своего падения, но теперь он встретился и среди правительственного персонала, и среди высших военных чинов, и среди общества с сильным либеральным течением: в 1815 г. он со всех сторон — и в частных разговорах, и в официальных адресах — слышал постоянно совет или даже приглашение отказаться от абсолютной власти. Ему говорили об этом так настойчиво, что приходилось прямо выбирать только между демократической диктатурой «короля жакерии» и конституционной монархией. Уже в начале апреля Наполеон занялся вопросом о введении во Франции либеральных учреждений, а пока старые власти, существовавшие в силу конституций VIII, X и XII гг., уже становились в независимое положение по отношению к его личной воле, которой так недавно еще беспрекословно повиновались. Еще раньше (24 марта) Наполеон отменил цензуру, чем широко воспользовались авторы политических брошюр, коих с 24 марта по 20 июня вышло около 800 самых различных направлений — роялистических, демагогических, наполеонистических, но больше всего либеральных. Вот что, например, писалось в последних: «О Наполеон! Твоя судьба будет зависеть от твоей будущей системы. Постарайся ограничить свою власть. Все будет потеряно, если ты станешь подражать самому себе». «Нам нужны гарантии. Ваши прежние конституции ничего не стоят и всеми презираются». «Вам уже нельзя восстановить режим 1805 г. Франция хочет быть свободной. Завтра, вместо подданных, вы найдете только мятежников, если вы не дадите свободы». Чуть не ежедневно Наполеон получал по несколько проектов новой конституции, и многие верили слуху, будто император отречется от престола, чтобы провозгласить республику. Наполеону, конечно, нельзя было не считаться с таким направлением общественного мнения.

Еще по дороге в Париж, в Лионе, 13 марта Наполеон издал декрет о созвании в чрезвычайное собрание «майского поля» (*Champ de Mai*) департаментских избирательных коллегий «для изменения конституции империи в интересе и по воле нации». Он хотел собрать на Марсовом поле в Париже эти коллегии (всего чуть не тридцать тысяч человек), чтобы предложить им утверждение новой конституции, не подвергая ее обсуждению депутатов. Что конституция должна была быть составлена в либеральном смысле, это было ясно для всех политиков того времени. Уже сам наполеоновский сенат 6 апреля 1814 г. составил было либеральную конституцию, которую должен был принять Людовик XVIII, но последний заменил сенатскую конституцию своей хартией 4 июня 1814 г., тоже составленной в либеральном духе: Наполеону нельзя было выступить с чем-нибудь менее либеральным. Для выработки проекта конституции он образовал особую комиссию, и в число ее членов попал Бенжамен Констан¹, несмотря на то что после известия о бегстве Наполеона с о. Эльбы он был в числе авторов памфлетов, направленных против «тирана». В 1814 г. Бенжамен Констан сделался одним из главных вождей либералов, и к его голосу прислушивались все сторонники конституционного режима. Наполеон, который торопился окончить дело, затягивавшееся в комиссии, пришел наконец к мысли, что лучше всего будет поручить его одному лицу и что наиболее подходящим для этого лицом был бы популярный среди либералов теоретик конституционного правления. Бенжамен Констан принял предложение и выработал проект, который, по меткому замечанию Шатобриана, был улучшенной хартией Людовика XVIII². Образцом нового государственного устройства была английская конституция, указывавшаяся и другими членами комиссии как главный образец. Законодательная власть вручалась императору и двум палатам — наследственной палате пэров и выборной палате представителей, и законодательной власти предоставлялся широкий контроль над властью исполнительной, в лице ответственных министров, причем лишь палаты могли объявлять осадное положение в случае внутренних смут. Специальные статьи гарантировали личную неприкосновенность, свободу культов, свободу прессы, право петиций и т. п. В своем проекте Бенжамен Констан счел нужным совершенно умолчать о прежних наполеоновских конституциях, но император настоял на том, чтобы новая конституция была издана как «дополнительный акт» (*acte additionnel*) к конституциям VIII, X и XII гг., с которыми она, конечно, не имела ничего общего. Во вступлении к этому «дополнительному акту» Наполеон ссылаясь на то, что и раньше в его учреждения вносились усовершенствования, но что лишь ввиду необходимости их упрочения он откладывал введение «установлений, более специальным образом предназначенных для охраны свободы граждан».

¹ См. его «*Memoires sur les Cent-Jours*».

² В том же смысле высказался и Сисмонди в брошюре «*Examen de la constitution française*». Мы еще познакомимся ниже (в главе XIV) с конституционной теорией Бенжамена Констана.

Целью «дополнительного акта» в этом вступлении прямо ставилось «сообщить правам граждан все необходимые гарантии, дать самое широкое применение представительной системе, облечь посредствующие учреждения желательным влиянием и властью — словом, соединить высочайшую степень политической свободы и личной безопасности с силой и централизацией, необходимыми для внешней безопасности государства и для достоинства короны». В заключение от имени французского народа объявлялось, что он не допустит ни возвращения Бурбонов, ни восстановления феодального дворянства, сеньориальных прав, десятин, привилегированного и господствующего культа, ни какого бы то ни было покушения на бесповоротность продажи национальных имуществ. И Наполеон, не желавший созвания собрания, которое сделало бы «дополнительный акт» предметом обсуждения, и члены конституционной комиссии, находившие нужным скорейший переход от диктатуры к конституционному режиму, признали необходимым немедленное обнародование новой конституции (22 апреля 1815 г.), причем народ приглашался ее вотировать. Благодаря установившейся во Франции свободе прессы, «дополнительный акт» сделался предметом самого горячего обсуждения, предметом и защиты, и нападок в многочисленных газетных статьях и брошюрах. Большинство было недовольствено с разных точек зрения новой конституцией: настоящие наполеонисты были недовольны уступками либерализму, либералы — отдельными статьями акта и тем, что все-таки прямо и просто не были отменены прежние сенатус-консульты, народ — установлением наследственной пэрии, а более всего нарушением обещания созвать для изменения учреждений империи собрание «майского поля», где за голосом народа было бы признано самостоятельное значение. Народную массу мало интересовали подробности акта, и она согласилась бы на гораздо менее либеральную конституцию, лишь бы только все совершилось при ее участии, прямо по ее воле. Уже через два дня после обнародования «дополнительного акта» Наполеон говорил Бенжамену Констану, что с конституцией дело стóит плохо. Бенжамен Констан заметил, что конституции плохо верят, что нужно ее привести в действие. «Как! — возразил Наполеон. — Прежде, нежели она принята! Скажут, что я насмехаюсь над народом». Бенжамен Констан стал доказывать, что никто этого не скажет, когда народ увидит, что он свободен, что у него есть представители, что император сложил с себя диктатуру. Созвать палаты было и советом большинства приближенных к Наполеону лиц, но, по-видимому, он только для того и согласился дать конституцию, чтобы избежать необходимости созвать собрание. Лишь после долгого сопротивления император 1 мая обнародовал декрет о выборах представителей, которые должны были составить палату после принятия конституции народом. Между тем вотирование «дополнительного акта» окончилось, и 1 июня был объявлен результат: 1 532 527 голосов утвердительных, 4802 — отрицательных, но особенно велико было число воздержавшихся от подачи голоса. Выборы были

для Наполеона менее благоприятны: они произведены были не прямо народом, а избирательными коллегиями империи, которые раньше сами были выбраны под сильным административным давлением и состояли из людей контрреволюционного направления, из примирившихся с империей роялистов, из землевладельцев, богатых промышленников или коммерсантов и т. д., т. е. из представителей общественных классов, бывших в 1815 г. не особенно расположенными к Наполеону. Среди 629 членов палаты было наполеонистов человек 80, радикалов около 30 или 40, а все остальные 500 человек были либералы разных оттенков, противники Бурбонов, но в то же время сторонники империи лишь под условием отнятия у Наполеона всякой власти.

Наполеон не хотел совсем не исполнить своего обещания относительно «майского поля», и на 26 мая созданы были в Париж делегаты от избирательных коллегий для подведения итогов под всенародным голосованием и присутствия на торжестве, которое должно было совершиться на Марсовом поле. Торжество это, напоминавшее революционный праздник федерации и прежние наполеоновские раздачи армии знамен, состоялось 1 июня. Все ожидали чего-то необыкновенного, но все дело ограничилось пышными и бессодержательными фразами речи императора: разочарование было всеобщее. Наконец, 3 июня собралась палата представителей и выбрала своим председателем сенатора Ланжюине, бывшего одним из составителей сенатского акта 1814 г. о низложении Наполеона. Вновь назначенные пэры тоже старались всячески показать, что они не будут иметь ничего общего с раболепным наполеоновским сенатом. Для нового направления политической жизни было великим торжеством заявление, сделанное самим Наполеоном в речи 7 июня перед обеими палатами. «Прошло уже три месяца, — сказал он, — с тех пор, как обстоятельства и доверие народа облекли меня неограниченной властью. Ныне исполняется самое сильное желание моего сердца: мною начинается конституционная монархия. Люди бессильны перед задачей определять судьбы народов; одни учреждения в состоянии их упрочить». Но замечательно, что всем этим заявлениям Наполеона тем на менее не доверяли: в их искренности сомневались, подозревали императора в задних мыслях, говорили, что он обманывает народ, продолжали жаловаться на его деспотизм. Со своей стороны Наполеон то падал духом и даже нередко плакал, то, наоборот, раздражался и говорил, что он не Людовик XVI, что он не позволит адвокатам диктовать ему законы или бунтовщикам отрезать ему голову. 11 июня Наполеон должен был выслушать ответные адреса палат, в коих представители и пэры старались преподать императору уроки. Наполеон был оскорблен этим и в своей речи советовал палатам не уподобляться византийцам, которые сделались посмешищем потомства, занимаясь пустячными прениями, когда варвары тараном разбивали ворота города. Сравнение это обидело палаты. 12 июня Наполеон уехал на войну с европейской коалицией, не желавшей допустить его вторичного царствования. Франции грозило новое нашествие,

но ни сам Наполеон, ни лица, его окружавшие, не хотели воспользоваться для борьбы с врагом тем новым подъемом народного духа, который опять стал обнаруживаться в мае и июне: народное возбуждение принимало чересчур революционный характер.

Известие о появлении Наполеона во Франции произвело сильное впечатление на государей и министров, собравшихся на Венском конгрессе. Разлад на конгрессе между Англией, Францией и Австрией, с одной стороны, и Россией и Пруссией — с другой, чуть было не поведший к войне, не мог помешать государям, низложившим Наполеона, снова соединиться, и несмотря на миролюбивые уверения Наполеона начать опять войну с целью его низложения. Решительный бой произошел при Ватерлоо, 18 июня, где французская армия, предводимая самим императором, была разбита англо-прусским войском под начальством Веллингтона и Блюхера. В Париже Наполеона ждало новое поражение: 22 июня палата представителей потребовала у него отречения от престола в пользу сына, который и был провозглашен императором французов под именем Наполеона II. Скоро, однако, под стенами Парижа появились победоносные войска союзников. Наполеон бежал в Рошфор, думая спастись в Америке, но здесь был захвачен англичанами и сослан на остров Святой Елены. (Здесь он занялся составлением своих мемуаров и умер 5 мая 1821 г.) Во Франции снова водворились Бурбоны, на этот раз поддержанные силой иностранных войск.

История «Ста дней», этого заключительного эпизода империи, показывает, к чему стремилось в эту эпоху громадное большинство французской нации. Она давно жаждала мира после непрерывного периода войн, и желая прежде всего только мира, в 1814 г. не проявила большой энергии в защите империи, пассивно подчинившись восстановленным Бурбонам. Но народ во Франции желал, кроме того, еще и сохранения в неприкосновенности всех приобретений революции, которые за ним обеспечивались империей, но которым Реставрация, наоборот, стала грозить своей реакционной политикой: одного этого было достаточно, чтобы народная революция помогла Наполеону снова захватить власть в свои руки. С другой стороны, уже до первого падения империи против нее — главным образом среди буржуазии — зародилась либеральная оппозиция, а в 1815 г. стремление к политической свободе, считавшейся тоже одним из главных приобретений революции, обнаружило всю свою силу, заставив Наполеона согласиться на введение либеральной конституции. Либералы 1815 г., конечно, хорошо знали характер Наполеона и потому продолжали относиться к нему с недоверием. После Ватерлоо они потребовали у него отречения от престола, надеясь сами спасти Францию и утвердить в ней свободное государственное устройство. В конце концов, оказывалось, что империя Наполеона во французской нации была популярна, поскольку ограждала социальный строй, созданный революцией, и наоборот, лишена была поддержки со стороны образованных и зажиточных

классов общества, поскольку была отрицанием той политической свободы, которая должна была быть тоже одним из приобретений революции. Но после вторичного низложения Наполеона вопрос о правительстве Франции решен был уже не палатами, думавшими действовать в качестве единственного законного авторитета страны, а иностранцами, вторично восстановившими династию Бурбонов. 20 ноября 1815 г. союзные монархи заключили с Людовиком XVIII второй парижский мир, по которому Франция должна была вернуться к границам 1790 г., выплатить 700 млн франков вознаграждения за военные издержки и в течение пяти лет содержать в 17 пограничных крепостях полтора ста тысяч союзного войска.

Европейская коалиция, образовавшаяся против Франции в 1813 г., не распалась, как это случалось с прежними коалициями, и довела свою задачу до конца, разрушив завоевательную империю Наполеона I и освободив Европу. Еще 1 ноября 1814 г. в Вене открылся знаменитый конгресс, которому предстояло установить в Европе новый порядок вещей на развалинах наполеоновского владычества. Возвращение Наполеона во Францию не только не остановило работ конгресса, но даже заставило покончить начинавшийся среди его союзников разлад, и 9 июня 1815 г. в своем «заключительном акте» (acte final) конгресс мог уже подвести общие итоги под своими постановлениями. Можно сказать, что руководящими принципами конгресса были следующие: возвращение законных династий на отнятые у них престолы (принцип легитимизма); устранение, по возможности, старых республик (каковы были Венеция, Генуя, Голландия и имперские города в Германии); вознаграждение государств, которые наиболее способствовали низвержению Наполеона, и наказание стран, оставшихся в союзе с Наполеоном; создание на границах Франции более сильных второстепенных государств, которые могли бы составить против нее известного рода оплот, и, наконец, совершенное отрицание национального начала, равно как других культурных особенностей населения тех стран, дележом коих занимались дипломаты Венского конгресса. Из-за желания Александра I получить все великое герцогство Варшавское, занятое русскими войсками в 1813 г., и из-за желания Пруссии приобрести всю Саксонию, король коей был одним из наиболее ревностных союзников Наполеона, чуть было не возникла война, так как Австрия, Франция и Англия противились и тому и другому; в конце концов Александр I должен был удовольствоваться лишь большей частью великого герцогства (без Познани и Галиции), а Фридрих-Вильгельм III — только половиной Саксонии.

Территориальные изменения, произведенные Венским конгрессом, были следующие. К Австрии были присоединены Галиция¹, Тироль, Зальцбург, Ломбардия и старая территория Венеции («Ломбардо-Венецианское королевство»), а также Далмация («Королевство Иллирия»). Россия вышла

¹ Краков был объявлен вольным городом под протекторатом Австрии, Пруссии и России. См.: Попов Н. История вольного города Кракова.

из борьбы увеличенную Царством Польским, Финляндией и Бессарабией. Пруссия получила обратно немецкие области, утраченные по Тильзитскому миру, а кроме того, приобрела Познань, половину Саксонии, герцогство Клев-ве-Берг и побережья Среднего и Нижнего Рейна, где прежде были владения духовных курфюрстов. Голландия и Бельгия были соединены, чтобы служить оплотом против Франции на северо-западе, в одно Нидерландское королевство, государю коего, Вильгельму Оранскому, было предоставлено еще германское герцогство Люксембург. К этим владениям примыкала прирейнская Пруссия, а позади ее возведенный в королевство и расширенный Ганновер, возвратившийся под власть законного своего государя. Бавария тоже была усилена присоединением к ней Пфальца. К Швейцарии были присоединены кантоны Валлис, Женева и Невшатель (последний под верховной властью короля Пруссии), и территория швейцарской федерации была объявлена на вечные времена нейтральною. На юг от нее восстановлено было королевство Сардинское, возвращенное королю Виктору-Эммануилу и расширенное отдачей ему территории прежней республики Генуэзской и Савойи. Таким образом, против Франции с востока был устроен своего рода кордон. Дания утратила Норвегию, которая соединилась со Швецией. Испания была возвращена Фердинанду VII, отпущенному из плена еще самим Наполеоном, а Португалия снова подчинилась Браганцскому дому. В Италии была произведена реставрация старых династий. В северной ее части, кроме королевств Сардинского и Ломбардо-Венецианского, присоединенного к Австрии, были созданы небольшие герцогства (Модена, Лукка, Парма) для членов австрийского и бурбоно-испанского домов¹. В Средней Италии восстановлено было великое герцогство Тосканское, доставшееся брату австрийского императора Фердинанду, и возвращены были папе все прежние части церковной области. Мюрат, ценой измены Наполеону удержавшийся в 1814 г. на неаполитанском престоле, в эпоху «Ста дней» вздумал было начать войну с Австрией с целью объединения и независимости Италии, но был побежден (и впоследствии расстрелян за новую попытку восстания), а Неаполь, соединенный с Сицилией в одно королевство Обеих Сицилий, достался снова прежнему королю Фердинанду. Заметим еще, что Ионические острова, превращенные в республику, были отданы под протекторат Англии, что укрепило ее господство на Средиземном море.

Что касается до устройства, какое получила Германия на Венском конгрессе, то о нем подробнее будет сказано ниже. Отметим здесь только то, что и в Германии была произведена реставрация некоторых государей, лишившихся власти при Наполеоне, но что духовные княжества, громадное большинство мелких владений и имперские города (кроме четырех) восстановлены не были, благодаря чему в Германии осталось 38 независимых

¹ Парма была отдана жене Наполеона Марии-Луизе.

владений, вместо трех с половиной сот, существовавших в XVIII в. Все эти государства (одна империя, пять королевств, одно курфюршество, семь великих герцогств, десять герцогств, десять княжеств, одно ландграфство и четыре вольных города) образовали из себя так называемый Германский союз с особым союзным сеймом под председательством Австрии.

Постановления Венского конгресса были делом дипломатов, опиравшихся на право сильного, думавших только о количествах квадратных миль или душ, но не обращавших внимания на культурные условия соединяемых разъединяемых территорий, лишь бы в каждом данном случае было надлежащее «вознаграждение», состоящее из какой-либо территории с известным населением. Руководясь принципом легитимизма в отношении к старым династиям, конгресс совершенно игнорировал права национальностей. Стремление немцев к национальному единству совершенно не было уважено при переустройстве Германии. Италия не только была оставлена при прежнем раздроблении, но вдобавок была отдана частью под непосредственное владычество, частью под опеку Австрии. Образование из Голландии и Бельгии Нидерландского королевства было, в сущности, установлением господства голландцев над бельгийцами. Александр I мечтал о восстановлении под своей властью польской национальности, но и поляки были разделены между четырьмя государствами (Австрия, Пруссия, Россия и вольный город Краков). Русская Галиция возвращена была снова под власть Австрии. Греческие патриоты вздумали было обратиться к конгрессу с просьбой о возрождении их национальности, но дипломаты настояли на том, чтобы греческий вопрос даже совсем и не поднимался на конгрессе. Обращаясь, таким образом, с национальностями, Венский конгресс шел, в сущности, по стопам Наполеона, который, в свою очередь, лишь применял к международным отношениям принципы, бывшие в ходу еще при старом порядке. Новое устройство, которое получила Европа в 1815 г., должно было, по мысли главных правительств, сделаться залогом мира и равновесия между державами, и хотя уже через 15 лет после подписания заключительного акта дело Венского конгресса стало разрушаться¹, тем не менее на долгое время международный мир в Европе был действительно обеспечен, пока уже во второй половине XIX в. объединение Италии и Германии не нанесло окончательного удара главным созданиям Венского конгресса. Государственные люди 1815 г. не обращали никакого внимания на принцип национальности, но именно развитие этого самого принципа и подкопало порядок, созданный на Венском конгрессе, как раз в то время, когда и в Италии, и в Германии, долгое время живших в полном внутреннем раздроблении, проявились первые признаки стремления к национальному объединению. Французская революция провозгласила принцип национального самоопределения, сделав из прав человека вывод в смысле существования естественных и свя-

¹ Отделение Бельгии от Голландии в 1830 г.

щенных прав нации: Венский конгресс возвращался к старому взгляду, отрицавшему за нациями какие бы то ни было самостоятельные права.

Венским конгрессом оканчивается первый период в истории XIX в., период разрушения Европы «старого порядка», и начинается второй период, период борьбы двух начал, которые стали оспаривать друг у друга результаты победы над империей Наполеона. С 1789 по 1815 г. много произошло перемен во Франции и в остальной Европе: образовались общественные силы и наметились общественные направления, поставившие своей задачей отстоять и повести далее эти перемены, но сторонники новых культурных, социальных и политических начал встретили сопротивление со стороны других общественных элементов, которые взглянули на катастрофу Наполеона как на момент, наиболее благоприятный для восстановления начал «старого порядка». Законные династии, возвратившиеся в свои столицы или избавившиеся от наполеоновской опеки, духовенство и дворянство, имея во главе эмигрантов или не покидавших отечества представителей консервативной оппозиции (вроде прусского юнкерства), смотрели на победу Европы над Наполеоном как на победу своих принципов над революционными началами, и Венский конгресс как нельзя более соответствовал такому пониманию общего положения дел. Но Европа слишком многое пережила за четверть века революционных и наполеоновских войн, чтобы возможным было возвращение к *status quo ante*¹: Наполеон, как бы то ни было, консолидировал во Франции и распространил вне Франции многие приобретения революции и содействовал — положительным и отрицательным образом — пробуждению национального самосознания, стремления к свободе, желания общественных перемен в духе гражданского равенства.

Мы не говорим здесь о тех экономических последствиях, какие должны были иметь войны, раздиравшие Европу в течение целой четверти века: об этом речь будет идти впереди. После Венского конгресса европейским государствам предстояло отдохнуть от столь продолжительного периода войн и залечивать раны, нанесенные материальному их благосостоянию. Войны эти стоили Европе очень дорого и людьми, и деньгами, не говоря о том, что от этих войн страдали земледелие, промышленность, торговля и что эти войны страшно увеличили государственные долги, легшие потому тяжелым бременем и на последующие поколения. И правительства, и народы желали теперь прежде всего мира, и вот охрана мира, предупреждение всего, что могло бы его нарушить, подавление беспокойных элементов сделались предметом особенных забот со стороны государей, министров и дипломатов. На почве этого настроения Реставрация весьма скоро перешла в реакцию, и начался второй период западноевропейской истории XIX в.

¹ То есть *status quo ante bellum* (лат.) — положение, существовавшее до войны. — *Прим. ред.*

Эпоха Реставрации

XIII. Происхождение и характер реакционных стремлений эпохи¹

Реакционный характер Реставрации. — Реакция в XVI–XVII и XIX вв. — План последующего изложения. — Вопрос о генезисе реакционных стремлений эпохи. — Генезис реакции вообще. — Влияние Французской революции на зарождение реакционных стремлений. — Важность более подробного ознакомления с культурной реакцией. — Осуждение философии XVIII в. — Оживление религиозности и католицизма. — Шатобриан и «Дух христианства». — Романтизм. — Космополитизм и национализм. — Рационализм и историческая школа. — Изменение взгляда на происхождение государства. — Реакционные политические теории во Франции и в Германии (Бональд, Жозеф де Местр, Людвиг Галлер и Адам Мюллер)

Эпоха, наступившая в истории Западной Европы после падения империи Наполеона I, носит название эпохи Реставрации. Ближайшим образом это название относится к истории Франции, где в 1814 г. была восстановлена на престоле династия Бурбонов, и обозначает собой все время царствования этой династии до июльского переворота 1830 г., снова ее низвергнувшего, но термину «реставрация» можно придавать и более общий смысл. Бурбоны были восстановлены не на одном французском престоле: в предыдущую эпоху были лишены своих владений, кроме того, Бурбоны итальянские и испанские, равно как другие династии, и они точно так же были возвращены на свои престолы. Эта

¹ То, о чем идет речь в этой главе, разработано главным образом в историях философии, литературы и политических учений. Кроме общих курсов по истории философии (например, Шwegлера, Бауера, Льюиса, Вебера, Фулье, Ибервега-Гейнце, Фалькенберга, Ланге, существующих в русских переводах), в которых обыкновенно или совсем не отмечается, или отодвигается на самый задний план важный в культурном отношении переворот во французской философии; об этом самом перевороте см.: *Ferraz*. Histoire de la philosophie pendant la Révolution, 1889; *Idem*. Histoire de la philosophie en France au XIX siècle; *Taine*. Les philosophes classiques du XIX siècle en France, 1857 и новые издания; *Ravaisson*. La philosophie française au XIX siècle. По истории литературы особенно см., кроме общих пособий (А. Штерна, Корша и Кирпичникова): *Brandes*. Die Hauptströmungen der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts, 1872 и след. (перевод с дат.; есть и русский перевод); *Schmidt J.* Gesch. der franz. Literatur seit Ludwig XVI; *Nettement*. Hist. de la littérature française sous la restauration; *Albert P.* La littér. franç. au XIX siècle; *Idem*. Les origines du romantisme; *Gautier T.* Histoire du romantisme; *Faguet*. Études littéraires sur le XIX siècle; *Hettner*. Die romantische Schule; *Haym*. Die romantische Schule (есть русский перевод); *Шахов А.* Французская литература в первые годы XIX в., 1875; *Он же*. Очерки литературного движения в первую половину XIX в., 1894. По истории политических учений см. общие соч.: *Fichte I. H.* (Die philosophischen Lehren von Recht, Staat und Sitte); *Bluntschli* (Gesch. des allgemeinen Staatsrechts und der Politik, русский перевод 1874); *Janet P.* (Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale), *Чичерина* (История политических учений), *Franck'a* (Reformateurs et publicistes) и др. Сочинения более частного характера будут указываться в своих местах. О сочинениях по истории философии истории указания в моих «Основных вопросах философии истории».

реставрация легитимных династий, собственно говоря, началась еще в 1813 г. в Германии после лейпцигской битвы, когда под охраной союзников возвратились в свои земли лишенные Наполеоном владений курфюрст Гессенский и герцоги Брауншвейгский и Ольденбургский, а в Ганновере была восстановлена власть английской династии. В 1814 г. была произведена реставрация Бурбонов, кроме Франции, в Испании и Неаполе, реставрация Савойского дома в Сардинии, Браганцской фамилии в Португалии, папы в Церковной области и принца Оранского в Голландии. Восстанавливались при этом не только легитимные династии, но и целые государства, которые или были совсем уничтожены Наполеоном, или сильно уменьшены в своих границах. Кроме того, со старыми династиями возвращались на родину эмигранты, тоже стремившиеся к восстановлению своих прав и своего прежнего положения. Наконец, почти повсеместно реставрация законных царствующих домов сопровождалась сильной реакцией против всего, что совершилось во время их отсутствия: реакция эта ставила своею задачею реставрацию старых порядков, существовавших в отдельных странах до начала переворотов. Мы еще будем иметь случаи на примерах из истории разных государств познакомиться с этой стороной Реставрации, сообщающей эпохе характер крайней реакции против всего, что было сделано во времена французского владычества. В частности, это была реакция абсолютизма против обнаружившихся в ту эпоху стремлений к политической свободе, реакция феодализма против социальных преобразований, совершившихся во времена революции и при Наполеоне; реакция католицизма против вообще нового культурного движения, произведенного «просвещением» XVIII в. В эпоху просвещенного абсолютизма отношения между государственной властью и привилегированными сословиями были иногда довольно-таки натянутыми, и просвещенный абсолютизм, в общем, был направлением антиаристократическим и антиклерикальным; но революция, направившаяся одинаково против абсолютизма и привилегий, и империя Наполеона, наносившая удар одинаково и легитимным династиям, и привилегированным сословиям, сблизили между собой исторических носителей государственной власти и прежние консервативные элементы общества, а этот их союз поставил своей задачей реставрацию «старого порядка», каким он был, пока его не касались еще просвещение XVIII в., просвещенный абсолютизм, революция и Наполеон. Одним словом, после падения империи началась сильная реакция вообще против предыдущего исторического движения, против всех новых начал мысли и жизни, выставленных как философией XVIII в., так и движениями, которые шли под знаменем ее идей. Эта реакция была одновременно и культурной, и социальной, и политической, что указывает на ее сложность, и совершалась не в одной какой-либо стране, а во всех странах Европы и не только опять-таки во внутренней истории этих стран, но и в истории международных отношений эпохи, что указывает на существование у этой реакции причин, во всяком случае довольно-таки общих.

Реакция, начавшаяся в 1814 г., напоминает нам другую реакцию в истории Нового времени, — реакцию, возникшую в середине XVII в. против предыдущего исторического движения, которое выразилось в гуманизме и Реформации¹. В истории Западной Европы за последние четыре века начало немецкой Реформации около 1520 г. и начало Французской революции в 1789 г. имеют значение двух переворотов, получивших общеевропейское значение, и притом не только находящихся между собой в известном внутреннем родстве, но и стоящих даже в генетической связи. Оба переворота получили общеевропейское значение благодаря тому, что были вызваны не одними местными причинами, но и причинами более общего характера, и в обоих переворотах, равно как в движениях, их подготовивших и их вызвавших, мы видим проявление одного и того же принципа — культурно-социального преобразования на новых началах, причем XVIII в. явился во многих отношениях лишь наследником гуманизма и передового протестантизма. И вот в обоих случаях со стороны старых основ духовного и общественного быта совершается реакция, которая как в середине XVI в., так и в начале XIX столетия возводит в принцип возвращение истории назад, к отжившим свое время формам быта, восстановлению «старого порядка». Наиболее крайние и последовательные реакционеры начала XIX в. отрицали не только все, что произошло после 1789 г., не только, далее, «философию XVIII в.» с ее влиянием на государственную жизнь в эпоху просвещенного абсолютизма, но и все те явления, против которых вооружалась еще реакция XVI в., т. е. и Реформацию, и Ренессанс, — и, отрицая все это, выставляли, как положительный идеал, культурный и социальный быт средневековой эпохи. Одним из главных органов католической реакции XVI в. и вместе с тем одним из ее произведений был, как известно, орден иезуитов. Дух XVIII в. выразился, между прочим, в уничтожении этого ордена, сначала изгнанного из отдельных стран, а потом и вообще отмененного папской буллой; дух реставрационной эпохи, наоборот, выразился в восстановлении иезуитского ордена папой Пием VII в силу буллы «*Sollicitudo omnium*», изданной 7 августа 1814 г. Эта реставрация иезуитизма придавала известного рода оттенок реакционным стремлениям эпохи. Иезуиты снова явились во все католические страны, всюду стремясь захватить в свои руки народное образование, везде стараясь раздувать религиозный фанатизм. У правительств того времени и у привилегированных сословий они находили поддержку, так как действовали в духе не только культурной, но и политическо-социальной реакции. Наконец, со стороны курии и иезуитов снова сделан был натиск и на протестантизм: в то время как иезуиты сеяли религиозные раздоры, Рим оживил деятельность «коллегий для пропаганды веры», и папа в этом смысле в 1821 г. даже издал особую буллу (*Provida*

¹ См.: Философия культурной и социальной истории Нового времени. Гл. VII. (Имеется в виду сочинение Н.И. Кареева «Философия культурной и социальной истории Нового времени» (2-е изд.: СПб.: М.М. Стасюлевич, 1902). — *Прим. ред.*)

solersque). Таким образом, в культурной сфере реакция начала XIX в. руководилась принципами католической реставрации XVI столетия, вызванной религиозной реформацией. Параллельно с этим совершалось попятное движение и в сфере социально-политической в направлении к тому тесному союзу абсолютизма с привилегиями, который характеризует «век Людовика XIV», когда окончательно сформировался «ancien régime»¹. Одним словом, европейская реакция начала XIX в. жила традициями Средних веков и «старого порядка» и представляла собой возобновление той реакции, с которой тесно связаны имена Игнатия Лойолы, Филиппа II, Людовика XIV и т. п. В обоих случаях реакция началась не тотчас же после того, как совершились новые движения: от выступления Лютера до появления на сцене Лойолы прошло около двадцати лет, от начала революции до усиления реакции — тоже целая четверть века. В обоих случаях старые силы были застигнуты врасплох новыми движениями, и в обоих случаях старые силы могли перейти в наступление лишь тогда, когда новые движения ослабели. Ослабели, но не исчезли: подобно тому как, начиная с середины XVI в., всю культурную и политическую историю Западной Европы в течение довольно продолжительного времени можно сгруппировать около одного основного явления — борьбы реставрированного католицизма с протестантизмом, так и в XIX столетии с 1815 г. на долгое время основным фактом делается борьба реакции с новым движением, которое можно обобщить под названием либерализма. Нашей ближайшей задачей в изложении истории эпохи Реставрации и будет прежде всего дать общие характеристики реакционных и либеральных стремлений эпохи, показать потом, как эти стремления столкнулись на почве международных отношений, и, наконец, изобразить борьбу реакции и либерализма во внутренней истории главнейших западноевропейских наций. Итак, нам предстоит прежде всего иметь дело с общей характеристикой реакции, но для лучшего понимания ее сущности на первое место мы должны поставить вопрос о генезисе реакционных стремлений эпохи.

Вопрос этот решался бы очень просто, если бы все дело заключалось лишь в стремлениях одних представителей старого порядка. Принимая в расчет, что уже попытки просвещенного абсолютизма реформировать общественный строй вызвали против себя консервативную оппозицию, и что, с другой стороны, правительства оказывали и раньше противодействие общественной самодеятельности, мы легко объясним, откуда ведет свое начало социальная и политическая реакция против революции. Мы, далее, должны также понять, почему произошло сближение между представителями «старого порядка» политического и «старого порядка» социального, раз вспомним, что революция была направлена против обоих этих порядков. Наконец, нетрудно указать и на то, что застигнутые сначала врасплох, старые

¹ См.: *Философия культурной и социальной истории Нового времени*. Гл. VII и VIII.

силы должны были мало-помалу прийти к мысли о необходимости внутренней своей реорганизации. Но этим вопрос не исчерпывается. Дело еще в том, что в некоторых отношениях реакция реставрационной эпохи была подготовлена и наполеоновской эпохой. Оставляя в стороне социальные следствия революции, которые консульством и империей были консолидированы внутри Франции и распространены вовне, наполеоновский режим был реакционным и в культурном, и в политическом смыслах, поскольку был направлен против духовной и общественной свободы. В частности, Наполеон восстановил пришедшую в упадок организацию католицизма и создал заново такую административную систему, которая лишь увеличивала правительственную опеку над обществом, почему французская Реставрация не захотела отказываться ни от конкордата, ни от префектов. Но можно идти еще далее: и наполеоновский режим сделался возможным лишь благодаря тому, что еще с середины 1794 г. в самом обществе началась реакция против «философии XVIII в.», против демократических принципов 1789 г., против увлечения свободой, и вот эта-то сторона дела заслуживает особого внимания. Клерикально-аристократическая реакция реставрационной эпохи была лишь третьим фазисом в истории более общей реакции, начавшейся сначала в буржуазии после 9 термидора и продолжавшейся затем в наполеоновском режиме. И особенно важно то, что реакции буржуазная и наполеоновская имели происхождение в том самом обществе, которое сделало революцию, тогда как реакция реставрационной эпохи имела происхождение в тех общественных элементах, против коих, наоборот, эта революция была сделана. Понятно, что последняя реакция была непримиримее, не шла на компромиссы с революцией, но именно потому, что таково было ее происхождение, ее стремления нам яснее и самый генезис ее не включает в себе ничего такого, что представляло бы какую-либо трудность. Сложнее вопрос именно о реакции, так сказать, вышедшей из недр самого движения.

До сих пор в исторической науке не существует сколько-нибудь разработанной теории «акций» и «реакций», обозначаем этими терминами движения вперед и движения попятные¹. Вся история складывается из действий и противодействий, и в каждую отдельную эпоху берут перевес то действия, то противодействия (опять-таки понимаем эти слова в условном смысле). Обыкновенно периодам движения вперед предшествуют разложение старых отношений, делающее их крайне неустойчивыми, и выработка новых идей, под знаменем коих потом движения и совершаются. Само движение и состоит именно в разрушении старого и в попытках установления новых отношений. Что все общественные элементы, заинтересованные в сохранении старого, оказывают консервативную оппозицию, могущую потом перейти в реакцию (как оборона переходит в наступление), это понятно само собой; но

¹ См.: Философия культурной и социальной истории Нового времени. (Вопросом об этой теории мы думаем заняться в IV томе «Основных вопросов философии истории».)

что попятное движение возникает среди общественных элементов, принимающих участие в переворотах, вот это и требует особого объяснения. Обыкновенно все движения, подобные Французской революции, бывают в самом начале своем сильны не только тем, что не могут встретить энергичного отпора со стороны разлагающегося старого порядка, но и тем, что сосредотачивают на себе надежды великого множества людей разных общественных положений. В такое время редко кто бывает в состоянии предвидеть, что многие из поставленных задач не будут разрешены, многие цели не будут достигнуты, многие идеалы не будут осуществлены, и что, наоборот, могут получиться совсем неожиданные следствия, вдобавок еще следствия с той или другой точки зрения прямо нежелательного свойства: по мере того как движение развивается и, с одной стороны, не оправдывает всех надежд, какие на него возлагались, а с другой — порождает еще явления, оказывающиеся нежелательными, прежний энтузиазм к движению начинает сменяться разочарованием и опасениями, а это мало-помалу у движения отнимает его прежнюю силу: идеи, во имя коих движение происходило, подвергаются скептической критике; подмечаются их слабые стороны, ускользавшие от внимания до проверки их на опыте; указываются сделанные ошибки и отыскиваются средства к их исправлению, причем нередко наиболее полезным считается возвращение назад; падает, наконец, вера в значение личных усилий в деле общественного переустройства и т. п. Все это не только ослабляет движение, но создает и весьма удобную психологическую почву для реакции — и именно для реакции в недрах той самой части общества, которая принимала участие в движении. Французская революция была встречена с восторгом почти всеми мыслящими людьми во всех странах, ибо в ней видели начало новой эры, но понятно, что когда начались грабежи, убийства, казни, когда все должно было склониться перед деспотизмом сначала революционного правительства, а потом счастливого полководца, то людьми, которые приветствовали это начало новой эры, должно было овладеть разочарование: идеям XVIII в. нанесен был удар применением их на опыте, оказавшемся неудачным. С другой стороны, в движении приняли участие люди, которые готовы были за ним идти до известной только границы. Революция напугала не одних представителей «старого порядка», но и людей, сначала безбоязненно бросившихся в движение, не предвидевших, что оно может обратиться и против них самих. Любопытно, что первый пример сопротивления власти подали во Франции сами привилегированные, но они отшатнулись от революции, как только она задела их привилегии. То же самое случилось и с буржуазией: она шла вперед, находясь притом во главе общественного движения, пока оно не выдвинуло на первый план пролетариат, начавший сознавать свои особые интересы; тогда и в буржуазии возникло попятное движение, но ей уже не удалось занять в последнем передовое положение, так как теперь заняла его армия со своим счастливым полководцем

во главе. Буржуазная реакция объясняется разочарованием в великих «принципах 1789 г.», не осуществивших возлагавшихся на них надежд, объясняется страхом перед новыми переменами, которые могли быть произведены уже против буржуазии, объясняется, наконец, еще как сознанием того, что в ближайшем прошлом сделано было немало ошибок, так и естественным утомлением после столь сильного возбуждения. Разочарование коснулось и городских рабочих: они долго поддерживали якобинский режим, обещавший им улучшение их судьбы, но режим этот не выполнил, да и выполнить не мог этого обещания. Среди низших классов и городского, и сельского населения не было стремления к политической свободе: они поддерживали буржуазию лишь до той поры, пока общими силами разрушали старый общественный строй, а затем их дороги разошлись, и буржуазия, сама содействовавшая установлению военной диктатуры, была уже бессильна перед новой властью, которая опиралась на широкую демократическую основу всенародного избрания. Вера в демократический принцип себя не оправдала: народовластие не осуществило свободы, оно приводило только или к анархии, или к деспотизму. Вот таким-то образом реакционные стремления и стали зарождаться в тех общественных кругах, где верили в философию XVIII в., где приняты были с энтузиазмом принципы 1789 г. и где революция находила сначала небольшое количество сознательных сторонников. Реакционное настроение французского общества во второй половине 90-х гг. прошлого века доказывается многими фактами. Во-первых, о нем свидетельствуют многие современники, и один из них¹ даже очень хорошо формулировал, откуда взялось это настроение, заметив, что революция пошла далее, нежели мог допустить господствующий класс, который, не довольствуясь противодействием увлечениям и крайностям, попытался прямо назад. Во-вторых, то же самое можно видеть, обратив внимание и на то, какие газеты были в это время самыми распространенными, популярными и влиятельными и что печаталось в этих газетах. «*Journal des Débats*» и «*Mercure*» внушали читателям недоверие к философии XVIII в., ставили ей в вину преступления революции, говорили о необходимости религии в смысле общественной узды, изображали «старый порядок» более мягкими чертами и особенно хвалили книжки, которые шли вразрез со всеми воззрениями предыдущей эпохи. Таким образом, уже в исходе XVIII в. под влиянием революции несомненно зарождалась культурная реакция против идей, направлявших революцию, а наполеоновский режим, бывший крайне неблагоприятным для свободной деятельности в области философии, науки и литературы, создавал притом и внешние условия, удобные для такой реакции.

Выше было уже сказано, что реакция, наступившая в 1815 г., была одновременно и культурная, и социальная, и политическая. С фактами реак-

¹ Бенжамен Констан в соч. «*Des réactions politiques*» (1797).

ции социальной и политической мы познакомимся из истории той борьбы, которую вели между собой два основные направления эпохи как на арене международных отношений, так и внутри отдельных государств, а потому в дальнейшем мы ограничимся лишь одной реакцией — культурной, и вот на каких основаниях. Взяв на себя задачу общей характеристики реакционных стремлений эпохи, мы лучше всего достигнем своей цели, если представим те идеи, в коих эти стремления нашли свое теоретическое выражение. Далее, культурная реакция в разных своих направлениях является фактом общим в истории духовной жизни и представителей «старого порядка», и сторонников нового общественного строя, так что она более или менее характеризует все общество, взятое в целом, а не отдельные его классы, хотя, конечно, в аристократии реакционные стремления эпохи выразились ярче, нежели в буржуазии. Мы увидим даже, что в самом либерализме нельзя не обнаружить влияния общей культурной реакции против идей XVIII в. Наконец, к числу идей, составляющих духовную культуру общества, относятся, конечно, и политические теории, изложение коих осветит перед нами и феодально-легитимистическую реакцию в ее основных стремлениях. Есть и еще одна причина, заставляющая нас остановиться подробнее на реакции культурной. В ней необходимо именно различать две стороны: одна была, так сказать, фанатическим ретроградством, стремившимся вернуть общество к средневековому мирозерцанию, но другая сторона представляла лишь протест против односторонних и неверных воззрений XVIII в. во имя начал более верных, хотя бы и получавших одностороннее же применение. Правда, обе стороны культурной реакции против общего духа XVIII в. иногда едва одна от другой отделимы, но если первой в конце концов не удалось остановить дальнейшего исторического движения, то это движение вместе с тем довольно многим было обязано как раз другой стороне реакции, обратившей внимание на слабые стороны философии «просвещения». В области практической деятельности пример Штейна, человека, выросшего на старых традициях, очень хорошо может пояснить, как могла возникнуть вообще более благотворная реакция против многого ошибочного, что заключала в себе философия XVIII в. и Французская революция, — реакция, вносившая свои поправки в не вполне верно направленное дело исторического прогресса.

Обыкновенно во всех изложениях истории философии весь ее интерес в конце XVIII в. и первой трети XIX в. сосредоточивается на движении немецкой мысли, выразившемся главным образом в философии Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, и не обращается внимания на французскую философию этой эпохи, которая действительно не создала за этот период времени ни одной значительной и влиятельной системы — со значением и влиянием в истории развития философии как таковой. Но ведь и «французская философия XVIII в.», как ее называют, едва отмечается и вообще подробно не изла-

гается в историях философии, а между тем как для историка культуры, так по своему практическому влиянию и для историка общественных перемен она имеет громадную важность¹. Какие бы направления ни принимала, начиная с Канта, немецкая философия в своем отвлеченном развитии, изменения во французской философии, происшедшие за то же время под непосредственным влиянием исторической жизни, имеют с культурной точки зрения не меньший, если иногда даже не больший интерес. Для нас ввиду той задачи, которую мы поставили себе в этой главе, важно отметить реакцию против «просвещения» XVIII в., а для нее наиболее характерными представителями явятся писатели, в философском смысле имеющие гораздо менее значения, нежели главные мыслители эпохи.

Культурной реакции XIX в. предшествовала та оппозиция, которую еще в XVIII в. встречало тогдашнее «просвещение» со стороны некоторых писателей. Наиболее знаменитым оппонентом против философов прошлого столетия выступил еще Руссо, коему суждено было играть роль политического революционера и, наоборот, культурного реакционера. Господству разума, характеризующему Просвещение XVIII в., Руссо противопоставил господство чувства и веры и уже тем самым стал подготавливать реакцию против рассудочной философии своей эпохи. Многие явления культурной реакции XIX в. имеют поэтому в Руссо своего главного родоначальника, но и он не стоял особняком в своей оппозиции «просвещению» прошлого столетия. Подобно тому как английская философия прошлого столетия вызвала против себя оппозицию со стороны шотландской школы², во главе которой стоял Рид (1710—1796), оказавший, в свою очередь, большое влияние на французских философов начала XIX в., так и в Германии уже Гердер³ и Якоби (1743—1819) боролись против основного направления «просвещения» XVIII в. Рид, например, исходил из понятия определенных, не подлежащих доказательству, непосредственно верных, самоочевидных истин (*self-evident truths*), данных во внутреннем опыте и требующих безусловной в себя веры, раз человек хочет достигнуть какого-либо познания: эти истины Рид называл началами здравого смысла (*principles of common sense*) и, в сущности, проповедовал непогрешимость наивного сознания, чем и думал разрушить скептицизм своего времени. Он-то и произвел наиболее сильное впечатление на французских философов начала XIX в.

Настоящая реакция против философии XVIII в. началась во Франции после революции и под ее прямым влиянием. Сенсуализм и материализм, господствовавшие в этой философии во второй половине XVIII в., были теперь отвергнуты и притом не за доказанную их ложность, а за испытан-

¹ См. о неважности французского просвещения XVIII в. в философском смысле и о важности его в истории культуры и общественного движения т. III.

² О ней соч. М'Cosh'a, Seth'a и др.

³ О нем соч. Найм'a, переведенного и по-русски. Гердер родился в 1744 г., умер в 1803 г.

ную неблагонадежность. При Наполеоне в Париже особенно выдвинулись в качестве философов Ройе Коллар (1873—1845) и Мэн-де-Бيران (1766—1823), из коих первый играл потом видную политическую роль при реставрации¹. Ройе-Коллар был в 1811 г. сделан профессором философии в Сорбонне, где и выступил против сенсуализма Кондильяка. Он сам вращался в воззрениях этой школы, но скептицизм и материализм, вытежавшие из сенсуализма, не соответствовали тому настроению, которое господствовало в душе Ройе-Коллара, воспитанного в строгой религиозности и уважении к установленному порядку. Случайно ему попалось одно сочинение Рида, и оно сразу сделалось для него целым откровением: учение о самоочевидных истинах давало теоретическое обоснование его вере и любви к порядку. Задачей своего преподавания он и поставил «подрезать сомнение в корне, найти нечто выше сомнения, дисциплинировать ум, дать основу для морали, а через нее для спокойствия и порядка». Наполеон остался весьма доволен вступительной лекцией Ройе-Коллара, ибо, как он сказал Талейрану, его обрадовало «возникновение новой философии, очень серьезной и выгодной в том отношении, что она может освободить Францию от идеологов, убивши их на месте своим рассуждением». Говоря это, Наполеон думал, что новая философия будет служить опорой для его деспотизма, но на самом деле эта философия, как мы увидим, сделалась своего рода моральной опорой умеренного либерализма следующей эпохи. Мэн-де-Бيران равным образом начал философствовать под влиянием Кондильяка, но перешел к спиритуализму и идеализму, обратившись, по собственному его выражению, «к внутреннему свету, к духу истины (*esprit de vérité*), светящему в глубинах души». Характерная черта этой новой философии заключалась в потребности подчинить мышление морали, разум — чувству. С особой силой проявилось такое стремление в учении главного французского философа эпохи реставрации, Виктора Кузена (1792—1867), который, объявив скептицизм учением безнравственным, в психологии интересовался лишь разумом и свободой в их отношении в морали, в эстетике выдвигал на первый план выражение моральной красоты, а в идеях Бога и бессмертия души видел лишь опору и санкцию нравственности². Будучи учеником Ройе-Коллара и Мэн-де-Бирана, Кузен основал так называемую эклектическую школу философии, стремившуюся соединить то, что казалось истинным в разных системах, но чисто в культурном отношении особенно характерным было то, что под конец философия у Кузена получила значение скорее борьбы с вредными учениями, чем искания истины, и что поэтому Кузен проповедовал необходимость более тесного союза философии

¹ О Ройе-Колларе см. Philippe и Barant, о Мэн-де-Бирани соч. Naville и Gérard. О сенсуализме и материализме см. т. III.

² О Кузене и его философии см. соч. Fuchs'a, Aulard'a, Alaux, Paul Janet, Secretan'a, Mignet и др.

с религией. Эта реакция против сенсуализма, скептицизма и материализма XVIII в., выразившаяся в учении трех названных философов, характеризует собой французскую философию до середины XIX в., когда и против нее началась оппозиция. Но рядом с этой реакцией, которую можно назвать — по окончательной ее формулировке — эклектико-спиритуалистической, во Франции развивалось другое реакционное течение, исходным пунктом коего было теологическое подчинение разума вере, откровению и церковному авторитету. Главными представителями этого направления были Бональд, Жозеф де Местр и Ламеннэ, о коих подробнее будет идти речь в другой связи. Если философскую реакцию Ройе-Коллара, Мэн-де-Бирана и Кузена можно объяснить из тех же причин, которые создали реакционное течение в буржуазии, отнюдь не ставившее своей задачей реставрацию давно оставленных учений, то теологическая школа боролась против духа XVIII в. на почве именно средневековых традиций, совершенно так же, как делала это и социальная реакция возвратившихся во Францию эмигрантов. Для Бональда откровение являлось единственным принципом всякого познания. Жозеф де Местр был настоящим родоначальником французского ультрамонтанства XIX в. Ламеннэ начал свою деятельность с того, что отверг человеческий разум, направив против него все доводы скептицизма, но лишь для того, чтобы основать достоверность высших истин католицизма на новом критерии — всеобщем согласии (*consentement universel*).

XVIII в. стремился в своей философии к реализму и критике, философия первой половины XIX столетия, наоборот, отличается наклонностью к идеалистическому догматизму; в последнем отношении немецкая философия в лице Фихте, Шеллинга и Гегеля уклонилась от дороги, открытой для ее развития «Критикой чистого разума» Канта. В учении Фихте уже в значительной мере преобладают моральные и богословские элементы, а с течением времени его философия все более и более принимает религиозный характер. В философии Шеллинга над ясной мыслью господствовала фантазия, и философ даже кончил прямо мистикой. Гегель завершил собой развитие этого общего направления философии: лишь после падения его системы началось возвращение ко многим забытым началам XVIII в. и, между прочим, к критицизму Канта¹. Все это весьма характерно для культурной истории начала XIX в. Сопоставляя эти факты и многие другие, которые можно найти в любом из более подробных руководств по истории философии, мы не можем не признать, что против общего духа XVIII в. совершилась некоторая общая реакция: критика, скептицизм, неверие прошлого столетия уступают место признанию авторитетов, догматизму, вере; чувство начинает играть в философии особенно важную роль, после того как, по-видимому, должно было начаться бесконечное господство разума. Это была своего рода религиозная

¹ Об этих отношениях мы предполагаем подробнее говорить в V томе, где соберем основные черты философского и научного движения XIX в.

реакция против исключительно светского направления, характеризующего «просвещение» XVIII в. Последнее было, как известно, возрождением гуманистического движения XIV—XVI вв. с его секуляризационными стремлениями, но подобно тому, как реформация и католическая реставрация были своего рода реакцией против светской культуры гуманизма, так и «просвещение» XVIII в. с его нередко антирелигиозным характером сменилось возрождением религиозности, которая принимала притом весьма различные образы и виды, начиная с ретроградного изуверства католических фанатиков и кончая благородным идеализмом людей, думавших сделать из религии основу духовного и общественного прогресса.

Этому оживлению религиозности в западноевропейском обществе весьма много содействовали, — если только иногда не прямо производили это оживление, — Французская революция и потрясения наполеоновской эпохи. Религиозность народных масс, конечно, не была затронута вольномысленной философией XVIII в., и если для них были тягостны десятины, сеньориальные права и привилегии духовенства, то последнее не переставало оказывать влияния на духовную жизнь этих масс. Преследования, которым революция подвергла Католическую церковь, только оживили религиозное чувство народа, чем духовенство впоследствии, конечно, воспользовалось для укрепления своего влияния. Вне Франции происходило то же самое: в католических странах сельское население видело во французах и в местных революционерах врагов церкви и оказывало нередко противодействие и тем и другим, причем национальная оппозиция против «безбожных» французов принимала благодаря этому и религиозный характер. Взрывы католического фанатизма, с которыми приходится встречаться в эту эпоху, были подготовлены тем, что события революции и ее продолжения при Наполеоне задевали религиозное чувство масс. В духовенстве равным образом под влиянием тех же событий оживлялась религиозность: гонения укрепляли веру; опасность, коей подвергалась церковь, заставляла более ревностно служить ее интересам; потеря духовенством прежнего значения в обществе (в качестве привилегированного сословия, обладавшего громадными материальными средствами) естественно приводила многих его членов к убеждению в том, что сохранить влияние на общество можно лишь путем строгого исполнения предписаний религии. В XVIII столетии многие принимали духовный сан лишь потому, что с церковными должностями были соединены громадные доходы, — общественная жизнь эпохи создала тип светского аббата, довольно равнодушного к делам веры, — но после революции принятие духовного сана стало делом убеждения, что придало другой характер всему клиру. До 1789 г. французское духовенство было настроено галликански, но гражданское устройство духовенства в эпоху революции, преследования, коим в это время подвергались священники, и наполеоновский конкордат, дававший церкви бюрократическую организацию, убили это более свобод-

ное настроение французского клира и заменили его ультрамонтанской привязанностью к Риму. Так, события эпохи оживляли религиозность вообще и в частности католические чувства в народных массах и в духовенстве. На образованные классы общества, и вообще на светских людей, эти события действовали таким же образом. Вольнодумство XVIII в. не охватывало широко всех общественных кругов и там, где, по-видимому, господствовало, нередко было скорее направлением напускным, так сказать, модным, чем делом серьезного убеждения. Конец XVIII и начало XIX в. выставили ряд писателей, вынесших из дореволюционной еще эпохи нетронутыми католические верования и чувства: значит, вольнодумство не охватывало собой всего общества. С другой стороны, бывали, конечно, случаи временного отступления от верований, в которых каждый воспитывался с детства, но при первом серьезном испытании свободомыслие уступало место настроению, привитому религиозным воспитанием. Для всего общества, взятого в массу, события революции были именно такого рода серьезным испытанием: она слишком потрясала ум, воображение, слишком сильно действовала на чувство, заставляя содрагаться сердца при виде стольких бедствий, ужасов, поражений, чтобы все это не могло не отразиться на судьбе нередко модного и более или менее поверхностного вольнодумства. Уже в конце XVIII в. можно отметить факты возвращения к религии людей, которые еще незадолго перед тем готовы были хвастаться своим неверием. Если люди, никогда не терявшие своей веры, вызывались, так сказать, событиями эпохи к проповеди о необходимости обращения к религии, столь долго находившейся в пренебрежении, то и для того, чтобы проповедь их могла иметь успех, те же события создавали весьма удобную почву в общественном настроении эпохи. Конечно, это обращение к религии могло иметь в своей основе разные мотивы, но результат был один и тот же, было ли именно это обращение вызвано внутренней потребностью душ, до глубины потрясенных страшными событиями эпохи, или же вызывалось соображениями политического свойства, в силу которых религия была нужна как лучшая опора общественного порядка. Несомненно, что в оживлении религиозности, характеризующем эпоху, действовало и то и другое, т. е. и душевное настроение, порожденное зрелищем совершавшихся событий, и сознание того, что религия представляет из себя великую консервативную силу, необходимую для поддержания общественного порядка. Наполеоновский конкордат, как мы видели, был порождением именно этого последнего сознания, но для нас теперь важнее как раз другая сторона в этом оживлении религиозности. Революция и наполеоновские войны потрясли не одни только внешние порядки прежних политических и социальных отношений: не менее сильно они потрясли еще и души людей, вывели их из прежнего равновесия, подорвали в них идеи, имевшие раньше над ними силу, наполнили их новыми чувствами. Конечно, гораздо легче представить все внешние перемены, произведенные событиями эпохи, чем все те

изменения в мыслях, верованиях, чувствах и настроениях, которые были результатом непосредственного влияния, какое самое зрелище этих событий произвело на людей даже наименее впечатлительных. Во всяком обществе и во всякую эпоху существует известная духовная атмосфера, складывающаяся из великого множества проявлений господствующего в обществе настроения, из проявлений иногда довольно трудноуловимых в их отдельности, но в совокупности представляющих из себя, наоборот, нечто довольно определенное. Эта атмосфера охватывает отдельных людей и целые общественные группы и кладет на них свой особый отпечаток, и кто наиболее соответствует данному общественному настроению и испытывает на себе ранее и сильнее других влияние создающейся этим настроением духовной атмосферы, тот и пользуется в данную минуту наибольшим успехом. Писатели, произведения коих в то или другое время наиболее популярны, влиятельны и авторитетны в широких кругах общества, являются в этом отношении превосходными показателями того, какое настроение в обществе преобладает. Уже особенный успех одного какого-нибудь литературного произведения может служить признаком времени, но еще более должно для историка иметь значение такого признака времени целое литературное направление, раз оно в данную эпоху является господствующим и задает тон духовной жизни общества. С этой точки зрения нам следует бросить общий взгляд на некоторые наиболее характерные явления литературной истории начала XIX в.

В апреле 1802 г. во Франции произошло весьма важное литературное событие, совпавшее по времени, — на что тогда же было обращено внимание, — с торжественным празднованием заключения конкордата. Событием этим был выход в свет сочинения Шатобриана¹ под заглавием «Дух христианства». Автор этого сочинения, которому тогда было около 35 лет, происходил из старой дворянской фамилии и получил свое образование в Бретани, откуда был родом. Уже в детстве обнаруживал он религиозное настроение: когда, например, в 1780 г. он приступил к первому причащению, он проявил такую набожность, что его мать видела уже в нем будущего священника. Шатобриан не сделался, однако, духовным. Мало того, его коснулся дух времени, а начало революции подействовало на него даже в благоприятном смысле. «Благородные чувства, — признавался он сам впоследствии, — лежавшие в основе наших первых смут, подходили к независимости моего характера, а естественное отвращение, какое я чувствовал ко двору, содействовало этой моей склонности. Революция меня увлекла бы, если бы она не сопровождалась преступлениями: когда я в первый раз увидел, как несли голову на пике, я отступил назад». Шатобриан, находясь в 1789 г. в Париже, видел взятие Бастилии и переезд Людовика XVI в этот город после событий

¹ О нем см. соч.: *Villemain*. M. de Chateaubriand, sa vie, ses écrits, son influence littéraire et politique sur son temps; *Sainte-Beuve*. Chateaubriand et son groupe littéraire sous l'empire; *Marcellus*. Chateaubriand et son temps; *De Lescure*. Chateaubriand (в серии «Les grands écrivains français») и др.

5—6 октября: эти события отвратили его от революции. Но он не хотел защищать и «старый порядок», как не пожелал принимать участие в движении, и скоро уехал в Америку, перед которой многие французы той эпохи благоговели как перед страной истинной свободы. Шатобриан сам в это время был большим поклонником свободы и долго, например, еще считал себя счастливым, что ему удалось видеть Вашингтона. Из Нового Света его вызвали известия о событиях, происшедших на родине летом 1791 г., но он явился сюда лишь для того, чтобы эмигрировать, хотя и не разделяя при этом фанатизма настоящих представителей «старого порядка». Затем Шатобриан появился в Лондоне, где в 1797 г. издал свое первое литературное произведение под заглавием «Исторический, политический и моральный опыт о древних и новых революциях в их отношениях к Французской революции наших дней». Впоследствии эту книгу, в которой Шатобриан хотел осмыслить события, совершившиеся во Франции, обвиняли в общей нечестивости направления, и, действительно, в это время ее автор еще испытывал на себе влияние скептического духа XVIII в. и не разрешил своих сомнений возвращением к христианству. Он обвинял философов за то, что они низвергают религию родной страны, отнимая у народа благочестие и не давая ему никакой новой опоры нравственности и приглашал их бросить такое направление, в сущности, весьма жестокое. «Не отнимайте, — восклицал он, — последней надежды у несчастного, ибо разве велика беда, что это — иллюзия, раз иллюзия эта облегчает ему тяжелое бремя его существования?» Конечно, это не было правоверной точкой зрения на религию. Но Шатобриан скоро возвратился к настоящей вере, имевшей всегда большую над ним власть, хотя и поколебленной на время вольномысленным влиянием XVIII в. В 1798 г. умерла его мать, и эта смерть произвела на него сильное впечатление, тем более что г-жа Шатобриан была очень огорчена направлением своего сына. Получив известия о горестном событии и о том, что старуха перед смертью очень желала, чтобы Шатобриан отказался от своих заблуждений, он, по собственным его словам, заплакал и стал верить (*j'ai pleuré et j'ai cru*). Натура Шатобриана была поэтическая, сентиментальная, мечтательная, и вот все его прежние сомнения разрешились в пользу безусловной истинности той религии, в которой он был воспитан: совершилось одно из тех «обращений», примерами коих полна эпоха. Уже в 1798 г. он задумал написать книгу «О поэтических и моральных красотах христианской религии и ее превосходстве над всеми культами земли», из которой и возник «Дух христианства». Последствия переворота 18 брюмера открыли почти настежь двери Франции для эмигрантов, и в числе первых возвратившихся в 1800 г. на родину был Шатобриан, который тотчас же сблизился в Париже с представителями консервативного направления в литературе и периодической печати и стал пописывать в модном в то время «Меркурии». Уже своим романом «Атала, или Любовь двух дикарей в пустыне», написанным для прославления

ния христианства и изданным в 1801 г., Шатобриан обратил на себя большое внимание, и в обществе с нетерпением стали ожидать появления возвышенной друзьями Шатобриана книги о красотах христианства. Успех только что названной «Atala», объясняющийся новым настроением общества, которое стало отворачиваться от рассудочной литературы XVIII в. и начало искать того, что говорило бы прежде всего его чувству, его потребности верить, его фантазии, — был прямо поразительный: в течение одного года вышло пять изданий этого произведения; его переводили на иностранные языки; ему начали подражать; о нем писались статьи в газетах и даже издавались отдельные брошюры в панегирическом тоне, хотя появлялись и памфлеты вроде «Новых святых» революционного поэта и бывшего члена Конвента Мари-Жозефа Шенье, осмеявшего, кроме Шатобриана, и других представителей возрождавшегося католицизма, между прочим, и знаменитого Лагарпа, который незадолго перед тем перешел в католицизм. Шатобриан положительно сделался самым модным писателем, и публика с тем большим нетерпением ждала выхода в свет его новой книги, что о ней говорили как о сочинении, направленном главным образом против вольнодумства XVIII в. В один и тот же день, 18 апреля 1802 г., на который приходилась тогда Пасха, в соборе Парижской Богоматери было совершено торжественное богослужение по случаю заключения конкордата и появилась в «Меркурии» статья одного из друзей Шатобриана о выходе в свет давно ожидавшегося «Духа христианства, или Красот христианской религии», поступившего в продажу несколькими днями раньше. Совпадение не было случайным, на что указывалось и в статье «Меркурия», да и предисловие самого Шатобриана самым ясным образом свидетельствовало о том, что автор книги радовался восстановлению католицизма и благоговел перед человеком, совершившим это великое дело. Время выхода книги в свет было действительно выбрано самое подходящее для того, чтобы произвести сенсацию, а с другой стороны, успеху книги содействовали и литературные друзья Шатобриана (между ними Бональд, о коем речь будет идти впереди) и духовенство, среди которого автор «Духа христианства» нашел многочисленных приверженцев. Первый консул тоже стал оказывать свое покровительство Шатобриану, и последний посвятил прямо ему второе издание книги. Известно, что лишь после казни герцога Энгийенского Шатобриан стал в оппозиционное отношение к Наполеону.

На первой странице каждого из пяти томов «Духа христианства» Шатобриан поместил в виде эпиграфа следующие слова Монтескье: «Удивительная вещь христианская религия, которая, по-видимому, имеет своим предметом блаженство в загробной жизни, и здесь на земле, кроме того, доставляет нам благополучие!» Главная мысль Шатобриана та, что христианство (с коим он отождествляет католицизм) из всех религий самая лучшая для цивилизации и что главное ее достоинство заключается в ее красоте: это — религия самая поэтическая, самая художественная, наиболее благоприятствующая гению,

хорошему вкусу, литературе и искусствам, давая удивительные образцы поэтам и художникам; религия самая человечная, развивающая в людях нравственные влечения и содействующая их свободе; религия, коей цивилизация обязана всеми своими приобретениями, начиная от земледелия и кончая науками. Сам Шатобриан говорит, что в его мыслях не было писать на эту тему сухое богословское рассуждение, которое, пожалуй, и читать не стали бы, и действительно, в «Духе христианства» читатели находили прежде все то, чем только может автор действовать на их чувство и воображение. Шатобриан взглянул на христианство с эстетической точки зрения и эстетическими же средствами стремился достигнуть своей цели — передать читателю свое поэтическое отношение к религии и свое настроение, которое у него беспрестанно меняется, делаясь то спокойным и созерцательным, то грустным и мечтательным, то торжественным и восторженным. Красивые фразы, удачные обороты речи, искусно подобранные сочетания слов или умело выбранные эпитеты заменяют в этой книге действительную аргументацию. В «Духе христианства» нашло выражение (и нужно прибавить, что во Франции это было чуть не первое выражение) новое настроение, столь отличное от настроения XVIII в. с его «классическим стилем», именно настроение романтическое. Между прочим, Шатобриан идеализирует здесь при всяком удобном случае добрые старые времена, когда господствовал католицизм, идеализирует монашество, монастырскую жизнь, рыцарство, патриархальные отношения феодализма, — одним словом, восхваляет те Средние века, которые для людей XVIII в. были временами «готического» варварства. Для него особенно было важно то, что католицизм служит живой связью между поколениями и поддерживает в жизни общества традиции, шедшие из самых отдаленных времен, и тем самым связывает их в одно нераздельное целое. Настаивая на уважении к традициям, «Дух христианства» ясно стремился сделаться своего рода противоядием против разрушительной философии XVIII в. Контрреволюционный характер книги, конечно, не укрылся от понимающих читателей, и многие в этом именно и полагали все ее значение, сами стремясь положить в основу общественного порядка религию, для которой Шатобриан и создавал почву в сентиментально-эстетическом настроении общества, только что пережившего революцию. Шатобриан не ограничился одним «Духом христианства» для доказательства своей мысли об эстетическом превосходстве христианства над другими религиями. В 1809 г. он издал знаменитую свою поэму «Мученики», в коей изобразил поэтически борьбу христианства и язычества в III и IV вв. н. э.

Появление «Духа христианства» Шатобриана имело важное значение не только в общекультурном отношении, но и в отношении чисто литературном. На рубеже XVIII и XIX вв. во Франции подготовлялось новое литературное направление, формулировавшее свои эстетические идеи и позже получившее название направления романтического. XVIII в. в области

поэзии был веком классицизма, в литературном же отношении не только революция, но и даже наполеоновское время должны быть отнесены еще к классической эпохе, хотя уже в самом начале консульства успех Шатобриана свидетельствовал о том, что литературные вкусы сильно изменились. Романтизм, который, таким образом, приходил на смену классицизму, не был, однако, явлением местным, исключительно французским. Напротив того, это новое направление подчинило себе все национальные литературы эпохи, и как раз не Франция шла впереди этого движения. Настоящей родиной романтизма была Германия, из которой шли новые влияния на другие страны, но сколько бы в истории распространения романтизма ни действовали пример и подражание, возникновение однородных стремлений в разных литературах эпохи было результатом действия общих причин и потому может быть рассматриваемо как одно из проявлений общей реакции, совершавшейся в духовной жизни против «философского» XVIII в. Здесь было бы неуместно определять романтизм с чисто литературной точки зрения как новое поэтическое направление, ставшее в резкую противоположность к классицизму и стремившееся заменить его эстетический кодекс своим собственным: с такой точки зрения противоположность обоих направлений обыкновенно выясняется в сочинениях по истории литературы, в которых только и может быть дана полная характеристика романтизма и со стороны его формы, и со стороны содержания. Мы укажем только на то, что рассудочной отвлеченности, логической правильности, ясности мысли и прозрачности выражения классиков романтики противопоставили необузданность фантазии, полный произвол поэта, силу чувства, переходящую в страстность, и метафорическую фразеологию. Для нас, однако, не это важно, а важно особенно то, что в культурном и социально-политическом отношениях романтизм сделался одним из проявлений, а вместе с тем и одним из органов реакции, хотя бы и безусловно. Начиная с гуманизма, получившего характер классического возрождения, западноевропейские литературы стали мало-помалу порывать свои связи со старыми национальными традициями феодально-католической эпохи, с ее рыцарством и монашеством, с ее романами приключений и благочестивыми легендами. Произошел процесс вымирания этих традиций, и в век Людовика XIV — сначала во Франции, а потом и на всем Западе — восторжествовал классицизм, который и держался затем через все XVIII столетие. Никогда презрение к «готическому» варварству, под которое подводилось все средневековое, не было так всеобщее и так сильно, как в век Просвещения: и в поэзии, и в философии, и в науке, и в историографии писатели XVIII в. были учениками и последователями древних, совершенно игнорируя средневековую литературу, средневековую жизнь. Один из существенных признаков романтизма, взятого не только со специально-литературной точки зрения, но и как явления общественного,

заключался именно в том особом интересе, с каким романтики стали относиться к средневековой старине. Самый романтизм был своего рода реставрацией средневековой поэзии, откуда и название нового направления, как возвращения к старым литературным традициям, да и в более широком смысле он был явлением, родственным многим другим сторонам совершавшейся в эту эпоху реакции. Романтизм, несмотря на свой общеевропейский характер, был, можно сказать, национально-исторической реакцией против космополитическо-рационалистического направления XVIII в.: романтики вдохновлялись родным прошлым, противопоставляя его тем общечеловеческим и отвлеченным началам, которые проповедовала литература «философского века». Романтизм с его средневековыми симпатиями, равно как национализм, питавшийся традициями родной старины, и исторический интерес к «готическому» прошлому, о коих будет еще идти речь, выросли, так сказать, на общей почве, и этой почвой была реакция против космополитического классицизма и антиисторического рационализма, характеризующего XVIII в. в области литературы и философии. Кроме того, романтические, исторические и националистические симпатии к Средним векам находятся в тесном родстве с реакционными политическими теориями эпохи, рекомендовавшими возвращение к формам средневекового катoliko-феодального быта. Философия XVIII в. и Французская революция были высшим моментом в истории того процесса, который постепенно разрушал культурные и социальные формы Средних веков, и вот реакция против «просвещения» и революции стала именно под знамя средневековых принципов. Нельзя, однако, безусловно утверждать, чтобы романтизм и исторический интерес к национальному прошлому служили только целям клерикально-аристократической реакции: такое явление наблюдается преимущественно в Германии, тогда как во Франции, — что мы еще увидим в своем месте, — и романтическая поэзия, и исторический интерес к Средним векам (равно как эклектический спиритуализм) стали служить либеральным стремлениям эпохи.

Романтизм, взятый с чисто литературной своей стороны, имел свой особый характер в каждой стране в отдельности. То же самое можно сказать и о его культурном и политическом значении, бывшем неодинаковым в отдельных странах. Нигде вообще его основные черты не проявились с такой резкостью и рельефностью, как в Германии; благодаря этому составилось даже мнение, будто отсюда-то он и был заимствован в другие страны. Несомненно, что в Германии романтизм, — здесь же, кстати, получивший и свое название, — развился раньше, чем где бы то ни было, что здесь он формулировал свои теоретические положения еще в конце XVIII в. и, на самом деле, до некоторой степени повлиял в начале XIX в. на французскую литературу, но несомненно также и то, что уже в сентиментальном направлении Руссо зарождалось в самой же Франции направление, родствен-

венное романтизму, и что общественное настроение, которое благоприятствовало во Франции романтизму, было результатом действия внутренних причин, которые и без внешнего влияния должны были породить явления, аналогичные немецкому романтизму. Собственно говоря, для французов долго оставались совершенно неизвестными даже самые важные явления духовной жизни Германии, пока с ними не познакомила своих соотечественников г-жа Сталь¹ своей знаменитой книгой «О Германии»; книга же эта появилась в свет лишь в 1813 г. в Англии, так как первое ее издание было истреблено наполеоновской полицией. Г-жа Сталь поставила своей задачей показать французам, что представляла из себя современная Германия, ее литература, философия и религия. В культурном и политическом отношении г-жа Сталь развилась под влиянием идей XVIII в., но на нее сильное впечатление произвели стремления немецких романтиков, метафизиков и богословов и немецкий энтузиазм. Ее книга «О Германии» оказала немалое влияние на однородные стремления во Франции, сделавшись первым значительным проводником немецкого влияния на французское общество. Г-жа Сталь первая популяризировала само название романтизма во французской литературе, дав направлению такое определение: «Я смотрю на классическую поэзию как на поэзию древних, и на романтическую, как на такую, которая некоторым образом связана с преданиями рыцарства. Это разделение совпадает с двумя великими эпохами мира, относясь ко временам до и после установления христианства». Книга г-жи Сталь, как и все вообще, что выходило из-под ее пера, имела успех в обществе, а между тем сочувствие автора было несомненно на стороне культурных течений, враждебных философии XVIII в. и родственных направлению Шатобриана. Настоящим образом французский романтизм расцвел, впрочем, только в двадцатых годах, когда получил своего вождя, поэта и теоретика в лице Виктора Гюго.

В Германии то, что можно назвать романтическим направлением, не только охватило собою область поэзии, но и проникло в философию и теоретическую политику. Настоящим философом романтизма был Шеллинг². Его учение, как известно, принимало разные образы и виды, но особенно любопытно то, что в нем наиболее видную роль в конце концов стала играть фантазия. В противоположность идее исторического прогресса, выдвинутой просвещением XVIII в., Шеллинг стал утверждать, что человечество когда-то стояло на высшей ступени, было вполне совершенным, а теперь находится в упадке. Его влекло к изучению первобытного мира и мифологии, к которым он относился, однако, фантастически, с полной верой в глу-

¹ *Sainte-Beuve*. Portraits littéraires; *Lady Blennerhasset*. Frau von Staël, 1888–1889 (французский перевод Dietrich'a: М-me de Staël et son temps, 1890); *Dejob*. М-me de Staël et l'Italie, 1890; *Sorel A.* М-me de Staël, 1890.

² *Noack L.* Schelling und die Philosophie der Romantick, 1859. Кроме того, весьма большая специальная литература.

бокий смысл и истинность мифологических сказаний¹. В качестве поэтов, критиков, философов и публицистов романтизма особенно еще прославились братья Шлегели, Август (1767–1845) и Фридрих (1772–1829), из которых последний перешел (в 1803) в католицизм, — одно из знаменитых «обращений» эпохи. Здесь не место характеризовать всю деятельность обоих братьев, в коей было немало важного и в литературном, и в научном смысле, мы отметим только некоторые черты деятельности обоих глав романтической школы, свидетельствующие о их реакционности. Подобно тому как Шеллинг искал высшей мудрости в первобытном мире, братья Шлегели обратились к Востоку, к Индии, язык которой и «мудрость» сделались предметом их изучения. Август Шлегель еще в 1802 г. заявлял, что, по его мнению, Европа слишком низко пала, чтобы быть способной к религии, и что серьезная революция может начаться лишь в Азии, где еще существует настоящий энтузиазм. В 1808 г. Фридрих Шлегель издал книгу «Ueber die Sprache und Weisheit der Indier»². «На Востоке, — говорит он здесь, — мы должны искать самого высокого романтизма в смысле наиболее глубокой и всепроникающей фантазии, и, черпая непосредственно из первоначальных источников, мы найдем слишком бедным тот южный зной, который нас поражает в испанской поэзии». Фридрих Шлегель прославляет индийскую литературу и философию и доходит до восторга, изображая индийских аскетов: он их ставит даже в образец для подражания христианам. Старший брат, через которого, между прочим, г-жа Сталь знакомилась с немецкой литературой, признавался в том, что к католицизму его влекло «художественное предрасположение» (*la prédilection d'artiste*): протестантизм был, действительно, слишком сух и бледен для людей, прежде всего стремившихся к фантастическому, за коим готовы были обращаться даже к Древней Индии. У Фридриха Шлегеля это стремление соединялось еще с самыми реакционными политическими взглядами. В 1828 г. он читал в Вене свои знаменитые лекции по философии истории, изданные в двух томах в следующем году, бывшем уже последним в его жизни. Вся история нового времени представлялась этому романтику не чем иным, как отклонением от истинного пути, с коего Европа сошла благодаря гуманизму и протестантизму: его идеал — Средние века, когда во главе общества стояли папа и император, и рыцарство объединяло народы моральными узами. Недаром был он поклонник Австрии за ее католический и феодальный консерватизм. Это сожаление об утраченном блаженстве средневековой эпохи, когда католицизм являлся

¹ Например, в этом смысле написано его сочинение (1815) «О божествах Самофракии». Другим философом романтизма был богослов Шлейермахер, который основывал религию не на сознании, а на смутном личном чувстве.

² Книга Ф. Шлегеля «О языке и мудрости индийцев». Фрагмент этого сочинения в переводе Ю.Н. Попова см.: Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. Т. 2. М.: Искусство, 1983. С. 261–273. — *Прим. ред.*

верховным принципом жизни, господствовавшим в философии, литературе и над государством, — черта довольно распространенная среди немецких романтиков, благодаря чему и стали происходить случаи переходов из протестантизма в католицизм¹. Следует указать еще, что одной из отличительных черт немецкого романтизма, особенно в эпоху Реставрации, сделалась проповедь квиетизма, общественного индифферентизма, исключительного погружения в личную жизнь, да и то по общему характеру движения — в жизнь одним чувством, одной фантазией, одним созерцанием: литература отворачивалась от действительности, признавая в ней лишь одну пошлость, и если пыталась воздействовать на жизнь, то разве только в смысле возвращения ее ко временам господства чувства и фантазии.

В романтизме необходимо видеть еще и своего рода национальную реакцию против космополитического классицизма. Особенно в Германии литературный классицизм был чужим, заимствованным извне направлением, да и реакция против него началась здесь еще в XVIII столетии. События начала XIX в. только усилили в Германии национальную оппозицию против космополитизма предыдущего столетия: например, мы видели уже, что зрелище того унижения, в каком находилось немецкое отечество вследствие французского владычества, подействовало на философа Фихте, бывшего еще незадолго до поражения Пруссии «гражданином вселенной», а под влиянием событий 1806—1807 гг. превратившегося в пламенного немецкого патриота. Раньше нам и вообще уже пришлось указывать на то, как Французская революция и наполеоновское владычество содействовали пробуждению национального начала. Теперь мы осветим это же самое явление с другой стороны.

Философия XVIII в. была, как известно, философией космополитической: она интересовалась человечеством, игнорируя, что человечество складывается из национальностей, из коих каждая имеет ведь свою индивидуальность, свою физиономию, свой характер, свое прошлое. «Просвещение» XVIII в. в каждом отдельном лице видело только «человека и гражданина» с известными прирожденными ему «естественными правами», забывая, что каждый такой «человек и гражданин» является, кроме того, и членом известной национальности, из которой природа и история сделали нечто непохожее на другие национальности. Далее, Французская революция провозгласила свои принципы чисто отвлеченным образом, и это сказалось на ее космополитическом характере: на сцене появились «ораторы человеческого рода», подобные Клоотцу, и родилась мысль о перевороте, который должен был охватить весь мир. Когда началось применение к жизни идей этой космополитической революции, действительность оказалась далеко не соответ-

¹ Одним из первых панегиристов средневекового католицизма как великой исторической силы, которую сокрушили протестантизм и философия XVIII в., был романтический поэт Гарденберг, более известный под именем Новалиса (1772—1801). Эту мысль он выразил в отрывке «О христианстве» (1801).

ствовавшей отвлеченным теориям XVIII в. «Человечество» оказалось далеко не таким однородным, каким представляли его себе просветители XVIII в., но разделенным на национальности, со стороны которых и всесветная революция, и всемирная монархия Наполеона начали встречать отпор, и вот против универсальных просветительных начал стали выдвигаться национальные традиции, сделавшиеся потом весьма скоро своего рода подспорьем для внутренней клерикально-аристократической реакции. Вера в то, что у человека как такового есть естественные права и что все народы должны жить между собой в братском союзе, составляет, конечно, весьма сильную сторону философии XVIII в., и раз этой вере должно принадлежать историческое будущее, национализм XIX в., противопоставивший общечеловеческим принципам начала национальной особенности и международной вражды, был одним из наиболее печальных проявлений реакционных стремлений этого времени. Но у космополитизма XVIII в. была и слабая сторона: он игнорировал национальность как один из крупнейших фактов в истории человечества, а потому не мог правильно и понимать ее, видя же в личности лишь «человека и гражданина» вообще, не мог выработать уважения к национальному принципу, поскольку в нем выражается коллективная душа народа и поскольку вследствие этого он делается дорогим личности, чувствующей себя не только гражданином и человеком, но и членом известной национальности¹. Вся предыдущая история попирала законные права национальностей; в этом отношении и политика завоеваний и разделов, и просвещенный абсолютизм, и Французская революция, и империя Наполеона, и Венский конгресс одинаково отрицали права национальностей, хотя, с другой стороны, если в XIX в. права эти и стали защищаться с принципиальной точки зрения, то последняя была лишь применением к коллективной личности народа той идеи, которую философия XVIII в. провозгласила для личности индивидуальной. Но дабы это сделалось возможным, нужно было, чтобы мысль признала существование национальности как факта, имеющего свои основы в природе и истории. Отвлеченное человечество XVIII в. оказалось в действительности несуществующим, и тем самым обнаружился, благодаря столкновению с действительностью, важный пробел во взглядах предыдущего столетия на человека, на общество, на государство, на историю; этим пробелом было именно понятие национальности. Одним из первых литературных произведений, выставивших на первый план интерес к национальным особенностям, была уже раньше упоминавшаяся книга г-жи Сталь «О Германии», в которой она старается дать характеристику немецкого народного духа, указать на то, чем отличается он от национального гения французов, и объяснить эти различия из местных и исторических причин. Книга г-жи Сталь писалась как раз во время наибольшего национального возбуждения немецкой нации, проявившегося и в

¹ Ср. «Философия культурной и социальной истории нового времени». См. также: *Laurent. Etudes sur l'histoire de l'humanité, passim.*

знаменитых «Речах к немецкой нации» Фихте, о которых нам уже приходилось упоминать раньше. Этот интерес к национальному вопросу, впервые обнаружившийся в начале XIX в., имел двоякое значение: с одной стороны, подготавливалось более верное понимание исторической жизни человечества и лучше обосновывался принцип права народов на национальную самобытность и свободу; а с другой — к сожалению, национальный принцип соединялся нередко с реакцией против всего, что было общечеловеческого и прогрессивного в идеях XVIII в., и эта-то вторая сторона в эпоху Реставрации получила в жизни неизмеримо более важное значение, чем первая.

Одновременно с национальным началом против отвлеченного космополитизма XVIII в. выдвинулось и начало историческое, и притом как в области общественной жизни, так и в теоретическом сознании. «Просвещенный абсолютизм» во второй половине XVIII в., Французская революция и империя Наполеона одинаково исходили из отрицания исторических прав во имя прав естественных, во имя права личности и во имя права государства, хотя последнее было, в большинстве случаев, лишь правом сильного. Привилегии Католической церкви и феодального дворянства, коим наносились удары со стороны просвещенного абсолютизма, революции и Наполеона, покоились на праве историческом и на том же праве покоился королевский абсолютизм: против привилегий XVIII в. выставил идею естественного равенства людей и идею абсолютной власти государства над всеми элементами общества, а против неограниченности королевской власти — естественное право нации на верховенство в государстве. Основная тенденция Реставрации заключалась, наоборот, в непризнании того, что шло под знаменем естественного права, и именно во имя тех же самых исторических прав, на которых покоились социальные привилегии и политический абсолютизм: в этом-то и заключалась вся суть легитимизма, как принципа Реставрации. Параллельно с этим поворотом в области фактов совершался поворот и в области идей. Рационализм XVIII в. был направлением, по самому существу своему, глубоко антиисторическим: отрицая авторитет веры во имя прав разума, он в то же время утверждал исключительное господство разума на счет прав опыта и наблюдения в деле реального знания. В своей политической философии XVIII в. исходил из абстрактных понятий и строил свои системы общества и государства путем дедукции, обращаясь к истории лишь за примерами для иллюстрации положений, полученных без какого бы то ни было участия со стороны данных исторического опыта или выводов из исторических наблюдений. Догматическим построениям XVIII в. недоставало прежде всего научности, заключающейся в осторожном и критическом установлении, исследовании и комбинировании фактов, ибо философский век полагался только на одну силу мысли, без того эмпирического материала, который дается опытом и наблюдением, дается фактическим материалом истории. XIX в. в этом отношении далеко ушел вперед, поставив социальные

науки на твердое основание истории¹, а это обращение к истории характеризует уже само начало XIX столетия как время наиболее сильной реакции против идей XVIII в. Мы соберем здесь несколько однородных и одновременных фактов, указывающих на то, что в рассматриваемую эпоху рационалистическая политика предыдущего столетия утратила кредит и что на первый план стало выдвигаться историческое изучение, но прежде скажем вообще, что в этом обращении к истории, как и в постановке национального вопроса, были две стороны с весьма различным значением для дальнейшего развития мысли и самой жизни. С одной стороны, создавалось новое научное движение, коему предстояло получить важное прогрессивное значение в истории культуры и политики XIX в., с другой — историческое направление, подобно философскому идеализму и романтической литературе, служило целям реакционной реставрации, проповедуя чрезмерное уважение к историческим традициям. Впрочем, последнее относится преимущественно к Германии: во Франции блестящая историческая литература двадцатых годов была проникнута, наоборот, идеями тогдашнего либерализма. В дальнейшем мы остановимся главным образом на реакционных тенденциях исторического изучения.

В тех явлениях, о коих будет теперь идти речь, необходимо различать пробуждение интереса к средневековому прошлому западноевропейских народов и внесение исторической точки зрения в понимание человеческой жизни и общественных отношений. Обращение историков к изучению Средних веков, бывших для просветителей XVIII столетия временами «готического» варварства, совершенно недостойными внимания, стоит в самой тесной и непосредственной связи с романтизмом. Романтики были первыми историками средневековой старины. В этом отношении во Франции важное значение имели «Мученики» Шатобриана, которые произвели самое сильное впечатление на бывшего в то время еще школьником Огюстена Тьерри, будущего историка Средних веков во Франции, и под влиянием которых находился другой историк, Гизо, вместе с Тьерри проливший совершенно новый свет на эпоху. Правда, обоих их впоследствии заинтересовали в истории Средних веков борьба за свободу и развитие представительных учреждений, но у других писателей, интересовавшихся Средними веками, выступали на первый план интересы и стремления клерикально-аристократической реакции. И историческая точка зрения, выдвинувшаяся в литературе первых десятилетий XIX в., равным образом была навеяна общим поворотом, происходившим в умственной жизни общества, хотя и она не принимала непременно реакционного характера. Одним из первых авторов, ставших на эту точку зрения, была представительница либерализма, г-жа Сталь, весьма рано подметившая зарождение нового отношения к вопросам жизни и даже вызвавшая опасение, как бы это новое отношение не впало в односторон-

¹ Подробнее это будет рассмотрено в V томе. Там же указания на историографическую литературу.

ность. В 1800 г. вышло в свет сочинение г-жи Сталь «О литературе в ее отношениях к общественным учреждениям», в котором она поставила себе задачу — проследить взаимодействие между литературой, с одной стороны, и религией, нравами и законодательством, с другой стороны, т. е. наметила историческое отношение к литературным произведениям, которые раньше рассматривались исключительно с какой-либо чисто теоретической точки зрения. Историческим смыслом отличается и ее книга «О Германии», в коей она объясняет исторически особенности немецкого национального духа. Г-жа Сталь вполне ясно и отчетливо понимала, в чем состоял начинавшийся поворот в исторической точке зрения, и об этом свидетельствуют собственные ее слова: «XVIII в. провозглашал свои принципы слишком безусловно, а XIX столетие, может случиться, будет слишком покорно объяснять факты. XVIII в. верил в абсолютную природу вещей, XIX будет верить в одни обстоятельства. Один хотел предписывать будущему, другой ограничится изучением человечества». Общий характер воззрений г-жи Сталь, верившей в исторический прогресс, конечно, не мог мириться со слишком большой покорностью перед фактами, но то, что в этом смысле она говорила как о возможности, противоположной смелому взгляду XVIII в., в действительности и произошло в немецкой исторической школе. Мы не касаемся здесь великого научного значения трудов этой школы¹, чтобы отметить лишь общий ее консервативный дух. Воззрения ее родоначальников (Нибура, Савиньи и Якова Гримма) сложились под влиянием неудачи, какая постигла революционную попытку перестроить все общество по началам разума. Изучая историю, право, язык и народный быт, они обратили внимание на устойчивость традиционных культурных и социальных отношений и считали совершенно бессмысленным делать попытки изменения исконных форм народного быта, проповедуя поэтому уважение к национальным преданиям и к существующим порядкам, упорный консерватизм и недоверие к новизне; преклонение перед фактом и пренебрежение к идее были, так сказать, самыми характеристическими чертами исторической школы, и именно с такой точки зрения она смотрела на главные вопросы немецкой действительности в эпоху Реставрации. Мы еще увидим из отдела об эпохе Реставрации в Германии, какие аргументы выдвигала немецкая историческая школа против реформ, коих требовали более либеральные элементы общества, но сущность этих аргументов сводилась к одному: раз историческое прошлое народа не вырабатало того, чего требуют в данную минуту во имя той или другой идеи, значит, и надобности в этом нет никакой. Такая точка зрения была весьма благоприятна для тогдашних реакционеров, и они действительно ссылались на историческое начало, когда дело шло о восстановлении старины и об устранинии всего того, что отдавало Французской революцией.

¹ И это тоже будет рассмотрено в V томе.

В этой реакции против рационализма XVIII в. зародилась одна из важнейших идей XIX в., идея органического развития языка, права, государства, столь противоположная идее XVIII в. о сознательном и произвольном создании их человеком. Рассматривать, как это произошло, мы здесь не будем, так как удобнее это будет сделать в связи с историей научных идей XIX в.¹, а пока достаточно указать лишь на то, что новое воззрение на историю, по которому в ней люди ничего или почти ничего не значат, а все или почти все зависит от обстоятельств, было отчасти результатом того разочарования в творческих силах личности, которое должно было наступить после революции. Революция должна была казаться дерзким восстанием лжемудрствующего человека против вековых порядков, созданных Богом или историей, и учение о том, что человек произвольно может здесь что-либо изменять, было объявлено революционным. С особенным усердием антиреволюционная литература набросилась на учение о договорном происхождении государства, ставившее государство в зависимость от людского произвола. XIX в. вообще отверг эту теорию, столь популярную в предыдущем столетии, но не нужно забывать, что первые удары теории этой были нанесены писателями реакционной школы, которые и первыми высказали мысль о возникновении государства путем чисто органического развития. Но писатели реакционной школы имели в виду не сколько то, чтобы заменить ложное учение учением более верным, сколько противопоставить доктрине, ведущей к революции, доктрину, которая поддерживала бы установленный порядок. Мы и остановимся теперь на главных представителях реакционной политической литературы начала XIX столетия, тем более что они в свое время были весьма влиятельны и могут быть даже названы оракулами, к голосу которых прислушивались все сторонники восстановления старины.

Этих политических оракулов реакции было два француза и два немца: Бональд, Жозеф де Местр², Людвиг Галлер и Адам Мюллер, и все они уже до начала Реставрации в сочинениях своих формулировали главные ее принципы. Бональд (1754—1840) был происхождения аристократического, учился у монахов, служил на военной службе и, вышедши в отставку, жил провинциальным дворянином в своем родном углу. В эпоху революции он эмигрировал и поселился в Гейдельберге. В 1796 г. он издал свое сочинение «Теория политической и религиозной власти в гражданском обществе, основанная на умозрении и истории», но Директория не пропустила его во Францию. После 18 брюмера Бональд послал экземпляр этой книги первому консулу, который вычеркнул его имя из списка эмигрантов. В первые годы XIX в. Бональд играл весьма видную роль среди писателей, подвизав-

¹ Мы коснулись этого предмета в сочинении «Сущность исторического процесса и роль личности в истории», а подробнее остановимся в V томе.

² *Sainte-Beuve*. *Causeries de lundis*; *Idem*. *Portraits littéraires*; *Paulhan*. *Joseph de Maistre et sa philosophie*, 1893; *Descostes*. *J. de M. avant la révolution*, 1893.

шихся на попрание полемики с идеями XVIII в. В это время вырабатывался во Франции гражданский кодекс, и одним из жгучих вопросов, обсуждавшихся в печати, был вопрос о разводе, допущенном революционным законодательством: Бональд выступил с целой книгой по этому вопросу, самым решительным образом высказавшись против развода, вносящего разложение не только в семью, но и в государство. Сочинение имело успех в обществе, но кодекс удержал развод, и только в 1816 г. Бональду, уже в качестве члена палаты депутатов при Реставрации, удалось провести отмену закона о разводе. В 1802 г. Бональд издал третье свое сочинение под заглавием «Первобытное законодательство», доставившее ему большую известность. В это время он находился в дружбе с Шатобрианом и разделял с ним влияние на общество, искавшее душевного успокоения после бурь революции. Позднее к Бональду обращались два раза с весьма почетными предложениями: быть воспитателем сына короля голландского Людовика, потом сына самого Наполеона; но оба раза он отклонил сделанные ему предложения, как несогласные с его политическими убеждениями. В эпоху Реставрации Бональд выступил одним из наиболее ревностных поборников абсолютизма, клерикализма и эмигрантских притязаний. Во всех своих сочинениях Бональд стоял на средневековой точке зрения. Человек прежде всего сосуд страстей и похотей и потому требует постоянного обуздания. Отсюда необходимость религиозных и светских авторитетов. Чем они сильнее, тем лучше, а потому нужно противиться всему, что их ослабляет. Личная свобода — великое зло, и ее нужно всячески стеснять. Бональд поэтому обращается к правительствам, приглашая их для укрепления людей «стеснять сердца их, действовать наперекор их влечениям». Религиозный и светский авторитеты воплощаются у Бональда в духовенстве и в дворянстве, коим принадлежит церковное и государственное служение. По его мнению, все беды пошли от того, что церковь и армия стали демократизироваться и начал разлагаться средневековой строй жизни. Бональд был именно сторонник кастического устройства общества, корпоративного быта, установленных раз навсегда общественных положений и порядков, строгих рамок, в которые должна бы быть поставлена личная жизнь и деятельность. Вся Новая история предается им проклятию, и лучшим подтверждением правильности своих рассуждений он считает Французскую революцию. Политическая теория Бональда сделалась особенно популярной среди эмигрантов Реставрации, когда сам Бональд с возвращением легитимной монархии мог вздохнуть свободнее, хотя и тут его сильно смущала конституционная хартия 1814 г., казавшаяся ему вредной уступкой духу времени.

Жозеф де Местр (1754—1821) был сверстник Бональда. Потомок древней графской фамилии в Савойе, воспитанный в строгом благочестии, он в 1792 г. покинул родину, не желая подчиниться революционному французскому правительству, присоединившему в этом году Савойю к Франции.

В 1800 г. он получил придворную должность от сардинского короля и вскоре после того уехал сардинским посланником в Петербург, где и оставался до 1817 г. Как и Бональда, его заставила взяться за перо революция. Живя с 1792 г. в Швейцарии, он в 1796 г. издал «Размышления о французской революции», в коих событие это рассматривается как наказание Божье за грехи, и особенно за вольнодумство XVIII в. Для де Местра она даже чудесное божеское попущение: эту мысль он доказывает тем, что в своем бурном шествии революция увлекает всех людей, которые думают ей сопротивляться. В этом же сочинении де Местр высказал мысль, что конституция не может быть механическим продуктом, приложимым к любой нации, ибо она должна быть лишь результатом органического развития. «Конституция 1795 г., — говорит он еще, — как и ее предшественницы, создана для человека, но в мире нет “человеков”». В своей жизни я видел французов, итальянцев, русских и т. п. Благодаря Монтескьё, я даже знаю, что бывают персияне, но что касается до человека, то, право, я никогда в своей жизни его не встречал». Самым замечательным произведением де Местра была его книга «О папе», изданная в 1819 г. Это — целая теория папской власти; но автор становится здесь не столько на богословскую, сколько на политическую точку зрения, доказывая необходимость непогрешимого и неограниченного в своей власти папства для того, чтобы было кому поддерживать в Европе мир и спокойствие внутри отдельных государств и в международных отношениях, разрешая безапелляционно все споры и раздоры, противоречия и недоразумения, охраняя права монархов от народных революций, права народов — от деспотизма правительств и т. п. Жозеф де Местр признается, что если бы сам он был даже и атеистом, но будь у него только в руках власть, он непременно издал бы основной закон государства, предписывающий считать папскую власть непогрешимой. При этом он ссылаясь, как и другие реакционеры, на Средние века, когда папство, действительно, господствовало над народами. Впрочем, сам Жозеф де Местр плохо верил в свою собственную теорию: например, его крайний легитимизм в 1804 г. не мог примириться с фактом путешествия папы Пия VII в Париж на коронацию Наполеона, и вот он называл папу «жалким первосвященником», которому остается только унизиться до «ничтожного полишинеля». Подобно Бональду, и Жозеф де Местр смотрит на человека как на сосуд страстей и похотей, как на существо, греховное по самой своей природе, а потому должествующее подвергаться постоянно наказанию: Бог вечно карает человека и для этого особым актом своей воли он в человеческом обществе создал палача. Такую именно теорию развил Жозеф де Местр в своих знаменитых «Петербургских вечерах», имевших весьма значительный успех, между прочим, благодаря своей привлекательной форме.

Людвиг Галлер и Адам Мюллер проповедовали подобные же идеи в Германии. Первый из них (1768–1854) принадлежал по происхождению к одной

из патрицианских фамилий Берна, но революция заставила его покинуть родину, и он сделался самым отъявленным врагом всего, что напоминало революцию. Он был из числа тех протестантов, которые, подобно Фридриху Шлегелю, перешли в католицизм, т. е. и Людвиг Галлер был тоже одним из тогдашних «обратившихся». В 1808 г. Галлер издал сочинение под заглавием «Handbuch der allgemeinen Staatenkunde», за которым в 1816 г. последовал первый том «Восстановления государственоведения» (*Restauration der Staatswissenschaft*), сочинения, оконченного в шести томах лишь в 1834 г. и имевшего в свое время выдающийся успех. В своих сочинениях Галлер вооружается, как и представители французской реакционной школы, против учения об общественном договоре, находя его революционным. Например, он критикует теорию естественного состояния, предшествовавшего возникновению гражданского общества, доказывая, что уже семья, существующая не в силу договора, представляет из себя общество. Искусственному созданию людей, каким представляется общество рационализму XVIII в., Галлер противопоставляет установленный самим Богом естественный закон, в силу коего власть принадлежит сильнейшему, а слабейший должен повиноваться. Это не значит, оговаривается Галлер, чтобы сильнейшему было все позволено, ибо есть и над ним стоящая воля Божья, которая запрещает злоупотребление властью. Поэтому единственной сдержкой власти он признает религию, так как все другие гарантии ему кажутся недостаточными: установление народного контроля над властью есть, в сущности, установление новой власти, над которой должно было бы установить еще контроль и т. д. без конца. Галлер смотрел, далее, на пользование государственной властью как на право, принадлежащее государям в виде их собственности, полученной ими по милости Божьей: смотреть на это пользование как на отправление общественной должности — значит или допускать деспотизм, оправдывающий все действия правителей в качестве представителей общего блага, или признавать революцию, исходящую из того принципа, что верховная власть принадлежит народу, который только вручает ее государю. Галлер рядом с властью признает и самостоятельные права подданных, которые должны быть уважаемы государями, будучи сами охраняемы религией, но это не суть «естественные права» философии XVIII в., а права исторические, т. е. права сословий, корпораций и т. п. Он был большим поклонником средневековых форм общества и государства, и вообще находил, что социальные и политические отношения Нового времени были плодом искусственного, а потому и революционного происхождения. Его идеал — исторически, т. е. вполне естественно, сложившееся патримониальное (вотчинное) княжество, основанное на независимом землевладении. Политическая теория Галлера — одна из наиболее замечательных идеализаций, выросших на феодальной почве монархии сословной, потому что, признавая права и за подданными, он не приписывал своему государю неограниченной власти, а требовал еще участия во властвовании со

стороны государственных чинов. И тут Галлер стоял за старые сословные формы и высказывался против искусственных конституций нового происхождения. Наконец, он был сторонником уже совершенно в ту эпоху исчезнувших духовных княжеств, что особенно, конечно, гармонировало с его католическим мирозерцанием. В общем, на такой же точке зрения, в сущности, стоял и Адам Мюллер, для которого, как и для Галлера, важно было создать политическое учение, противоположное идеям XVIII в. В своих лекциях, читанных в 1808—1809 гг. и изданных под заглавием «Элементы государственного искусства», и он противопоставлял идеям предыдущего столетия, как революционным, естественный порядок, созданный самим Богом, утверждая, что в основе общественного быта должна лежать религия, и указывая на средневековый католико-феодальный строй как на лучшее воплощение этого порядка. Его государство есть тоже государство сословное: в обособленных сословиях воплощаются отдельные жизненные начала политического быта народов, а живым объединением противоположности этих начал служит живое лицо монарха. С течением времени Мюллер все более и более склонялся к тому, чтобы в основу политической науки класть главным образом чисто богословские воззрения, и мысль о необходимости такого исходного пункта он развивал в своем сочинении с характерным заглавием, указывающим на само содержание трактата: «О необходимости теологического основания для совокупности наук политических». Это второе сочинение Мюллера вышло в свет в 1819 г. Не забудем, что уважение к средневековым учреждениям было и исходным пунктом политической философии Штейна, но и вспомним вместе с тем, что выводы его были иные, чем у представителей реакционной школы.

XIV. Общая характеристика либерализма в эпоху Реставрации¹

Взгляд на прогресс у реакционеров и у либералов. — Индивидуализм в обоих направлениях. — Либерализм и представительные учреждения. — Влияние общей реакции против XVIII в. на характер либерализма. — Буржуазный оттенок либерализма этой эпохи. — Связь либерализма с идеалистической философией. — Исторические занятия с либеральной точки зрения. — Взаимные отношения либерализма и романтизма. — Проникновение либерального духа в реакционный лагерь. — Зависимость принципов либерализма от индивидуалистических стремлений XVIII в. — Политические писатели либерального лагеря (В. фон Гумбольдт и Бенжамен Констан). — Национальные различия в либерализме

Одной из идей, которую XVIII в. завещал следующему столетию, была идея исторического прогресса, уже во второй половине XVIII в. полагавшаяся в основу философского рассмотрения истории человечества. Писатели прошлого столетия почерпали веру в прогресс не только из своего идеализма и оптимизма, но и из рассмотрения действительного хода истории, особенно за последние столетия. Из крупных писателей один только Руссо, бывший вообще предшественником культурной реакции XIX в., не только не верил в прогресс, но даже прямо утверждал, что человечество портится в моральном и политическом отношениях. Мы только что видели, что реакционные мыслители начала XIX в. точно так же не разделяли веры в прогресс: для романтиков вроде Фр. Шлегеля, для сторонников католико-феодалного быта вроде Бональда, де Местра, Галлера и Мюллера наше время было временем упадка, их идеал был в Средних веках, а Шеллинг и его школа даже верили в изначальное совершенство человечества, утраченное в развитии исторической жизни. Это отрицание прогресса является характерным признаком наиболее реакционных учений XIX в., как, наоборот, с верою в прогресс были связаны все либеральные воззрения эпохи. И тут приходится начинать с г-жи Сталь. В своем сочинении «О литературе», вышедшем в свет в 1800 г., т. е. через каких-нибудь пять-шесть лет после знаменитого «Наброска исторического изображения успехов человеческого разума» Кондорсе, г-жа Сталь указывает на то, что идеи и учреждения человечества находятся, хотя и в медленном, но постоянном и непрерывном совершенствовании (*perfectibilité*); прогресс нового времени она ставит в зависимость от приобретений, сделанных в Средние века, которые у просветителей XVIII в., наоборот, как бы вычеркивались из истории прогресса. Эта основная мысль книги г-жи Сталь очень не понравилась представителям зарождавшейся реакции, ибо,

¹ Указания на общую литературу см. в начале главы XIII, а также в следующих главах.

по их объяснению, учение о совершенствовании, покровительствуя страсти к новизне, порождает-де революционные стремления, а так как люди всегда были одними и теми же, то нет никаких оснований под предлогом улучшений заводить еще новые смуты. К числу людей, высказывавших неудовольствие по поводу идеи о совершенствовании, принадлежал и Шатобриан. Отношение к идее прогресса, действительно, до известной степени, может служить признаком большей реакционности или большего либерализма стремлений этой эпохи. Все, что в эпоху Реставрации не шло рука об руку с реакцией, верило в прогресс и выражало эту веру, стремясь подыскать для нее разумные основания. Можно указать на целый ряд писателей двадцатых годов XIX столетия, излагавших с разных точек зрения учение о прогрессе¹. Гизо в своих лекциях по «Истории цивилизации в Европе» (1828) объявляет, что предмет истории есть развитие цивилизации, т. е. «улучшения гражданской жизни, общества, отношений людей между собою», с одной стороны, и «улучшения жизни индивидуальной самого человека, его способностей, чувств, идей». При этом Гизо говорил еще, что в основе прогресса лежит развитие личности, влекущее за собой и внешние перемены, ибо личность ощущает потребность перенести свое чувство во внешний мир, осуществить свою мысль вне себя. «Лишь это побуждение, — говорит он, — вызывало деятельность великих реформаторов, и великие люди, совершившие мировые перевороты после того, как они совершили переворот в самих себе, действовали лишь под влиянием этого же чувства». Мы увидим в другом месте, что с тогдашними политическими либералами веру в прогресс разделяли и представители положительной науки, и авторы социальных утопий двадцатых годов². Наконец, упомянем еще, что в двадцатых же годах Гегель создавал свою «Философию истории», тоже проникнутую идеей прогресса: хотя Гегель и не был либералом, но и не принадлежал к крайним реакционерам, представляя собой скорее консервативное направление, не чуждавшееся идеей века. По представлению Гегеля, история есть развитие всемирного духа (Weltgeist), который постепенно приходит к сознанию, что его сущность есть свобода: в древних восточных деспотиях свободен был один, а права других были неизвестны; в классическом мире свобода была привилегией некоторых; в христианском мире свободны все, ибо тут только явилось сознание о том, что в свободе заключается внутренняя сущность духа³.

Другое отличие прогрессивных учений эпохи от реакционных заключалось в том, что последние высказывались против принципа личности, из ко-

¹ См. нашу статью «История и философское значение идей прогресса», помещенную в «Сев. Вестн.» за 1891 г.

² См. в последнем отделе этого тома.

³ Указания на литературу по «философии истории» Гегеля см. в наших «Основных вопросах философии истории», из новейших сочинений укажем: Barth. Die Hegelsche Geschichtsauffassung.

его исходил либерализм. Тяготение реакционеров к Средним векам, когда развитие личного начала в культурной, социальной и политической жизни было стеснено¹, объясняется их взглядом на человека как на существо, которое не может быть предоставлено самому себе; которое должно быть заключено в известные, по возможности, самые тесные рамки; которое, наконец, необходимо держать под постоянной опекой властей духовного и светского характера. Все успехи цивилизации Нового времени вытекают из большого развития личности в последние столетия сравнительно со Средними веками², и это очень хорошо сознавалось передовыми умами эпохи Реставрации. Например, Гизо, давший прекрасное для своего времени определение прогресса, одну из наиболее существенных сторон цивилизации видел в культурном росте личности, в расширении ее прав, в увеличении ее свободы. Этот-то индивидуализм и был, так сказать, самой глубокой основой направления, получившего название либерализма. Можно сказать поэтому, что либерализм, формулировавший свои принципы главным образом в двадцатых годах XIX в., был естественным продолжением более ранних культурных и политических движений, в которых только играла какую-нибудь роль индивидуальная свобода, провозглашалась ли она во внутренней жизни духа (в сфере совести и мысли), или во внешних отношениях общества и государства. Как реакционные стремления были тесно связаны с идеями и бытовыми формами Средних веков, не дававшими простора личному развитию, так либерализм являлся наследником гуманизма, протестантизма, просвещения XVIII в., «принципов 1789 г.», поскольку все они вели к культурной и политической эмансипации личности. Принципиальная борьба между либерализмом и реакцией была поэтому борьбой между свободой личности, с одной стороны, и стремлением к возможно большему ограничению личных прав, с другой стороны, как в культурной, так и в политической жизни. Либерализм стоял за свободу совести, за свободу мысли, за свободу философского исследования, за свободу слова, за свободу печати, за гарантию личной неприкосновенности, за уважение к человеческому достоинству, за естественные и прирожденные права личности, которые требуют уравнивания всех и в правах гражданских, тогда как реакция проявляла вероисповедную нетерпимость, вражду к свободе мысли и научного исследования, стремление к стеснению слова и печати, пренебрежение к личности как таковой, вне известных социальных категорий, принадлежность к коим в глазах реакционеров только и сообщала индивидууму те или другие права.

С этим отстаиванием прав личности либерализм соединял стремление и к политической свободе в смысле участия общества в государственной жизни посредством представительных учреждений. Повсеместно на материке Европы старые сословно-представительные учреждения, выросшие на поч-

¹ См. выше, а также вообще т. I.

² Мысль эту мы развили в «Философии культурной и социальной истории Нового времени».

ве средневековых социальных и политических отношений, или исчезли, или пришли в упадок, уступив без борьбы или после долгой борьбы господство абсолютизму. В одной Англии парламент, возникший одновременно с континентальными сословно-представительными учреждениями, развился в большую политическую силу и организовал свободное государство. В 1789 г. Франция сделала попытку основать свой политический быт на началах представительной системы, и с этого момента возникает на западе Европы история конституционного движения, мало-помалу приведшая к установлению во всех государствах Запада представительного образа правления. Во Франции конституции 1791, 1793 и 1795 гг. были представительные, и тот же принцип, хотя и в своеобразном применении, был положен в основу наполеоновских конституций 1799, 1802, 1804 и 1815 гг., да и хартия 1814 г. тоже давала Франции представительство. В республиках, которые были основаны французами в конце XVIII в., и в королевствах братьев Наполеона, в государствах Рейнского союза, в герцогстве Варшавском равным образом вводились представительные учреждения. В 1809 г. в Финляндии Александр I признал существование сословного сейма; в 1812 г. кортесы в Кадиксе выработали знаменитую испанскую конституцию, и в том же году под английским влиянием введена была конституция в Сицилии; в 1814 г. получила конституцию Норвегия, а в следующем году конституция дарована была Александром I и Царству Польскому. Мы видели, наконец, что вопрос о национальном представительстве ставился и в Пруссии в эпоху ее реформ и войны за освобождение. Реакция, наступившая после падения Наполеона, была неблагоприятна для представительных учреждений. Во Франции многие эмигранты смотрели на хартию 1814 г. с крайним недоброжелательством; в Испании реставрация Фердинанда VII сопровождалась отменой конституции 1812 г.; сицилийская конституция 1812 г. равным образом была устранена, когда произошло восстановление королевства Обеих Сицилий; представительство было уничтожено и в других местах, где оно было введено французским владычеством; в Германии брал перевес принцип абсолютизма, и все обещания прусского правительства относительно введения национального представительства так и остались неисполненными. В эпоху Реставрации главной целью политических стремлений либерализма сделалось введение представительных учреждений, где их не было, защита их от реакции, где последняя им грозила, и изменение конституционных законов в смысле расширения свободы, если с точки зрения либералов эти законы не давали достаточной свободы. Устанавливая эту связь между либерализмом и представительными учреждениями, мы тем самым должны признать, что история либерализма тесно связана с историей Французской революции. Но из этого еще не следует, чтобы либерализм эпохи Реставрации ничем не отличался от «принципов 1789 г.» и чтобы в культурном отношении между либерализмом этой эпохи и духом XVIII в. не было никакой разницы.

Общая реакция против XVIII в. в начале нового столетия отразилась именно и на характере либерализма. Французская революция совершалась под знаменем идеи народовластия и имела характер демократический, главным же ее вдохновителем был Руссо со своей теорией общественного договора. Не нужно думать, что эту теорию осудили в начале XIX в. одни представители реакционных стремлений: она, как мы увидим, потеряла кредит и у передовых политиков эпохи. Неудача, какая постигла применение народовластия, оказавшегося на практике лишь орудием демагогии или опорой деспотизма, нанесла сильный удар демократическим идеям XVIII в., так что в общем либерализм эпохи Реставрации отличался недоверием к демократии. Подобно тому как реакционные стремления характеризуют преимущественно дворянство, либерализм делается отличительной чертой буржуазии и сам принимает буржуазный оттенок. Кроме того, порывается и та связь, в какой идея свободы находилась с наиболее характерными сторонами философии XVIII в., и либерализм принимает известную окраску от спиритуалистической философии, исторического изучения и романтизма, являющихся продуктами общей реакции против XVIII в. с его сенсуализмом, пренебрежением к истории и рассудочным направлением в литературе. Отдельные стороны этого влияния Французской революции на изменение либеральных стремлений заслуживают особого рассмотрения.

Либерализм, требующий культурной и политической свободы, в социальном отношении может получать разную окраску — аристократическую, буржуазную или демократическую, смотря по тому, требуется ли эта свобода лишь для того или другого общественного класса или для всего народа. Вполне последовательным бывает лишь либерализм демократический, поскольку из принципа индивидуальной свободы логически вытекает принцип равного для всех права; но культурные и политические принципы не всегда последовательно проводятся в требованиях и поведении партий, и это происходит под влиянием социальных интересов, участвующих в образовании партий. Родоначальником французского либерализма был Монтескьё, но он, как известно, был сторонником аристократических привилегий, будучи сам стародворянского происхождения. Либерализм «принципов 1789 г.» был, наоборот, демократическим, поскольку в начале революции наиболее влиятельные представители ее стремлений не делали различия между буржуазией и народом, исходя из демократической идеи нации. Мало-помалу, однако, между буржуазией и народом образовалась целая пропасть, и первая в своих стремлениях стала отделять себя от второго. Здесь нужно, однако, различать двоякого рода отношения: с одной стороны, действовал классовый эгоизм, который заставлял буржуазию то отказываться от политической свободы, то организовывать последнюю на началах высокого ценза; но с другой стороны, у защитников культурных и политических принципов либерализма после неудачного опыта с народовластием возникло убеждение, что при-

знание политических прав за всем населением страны, не дорожающим благами свободы, не умеющим ею пользоваться и легко поддающимся увлечению, отзывается самым гибельным образом на политической свободе. В этом соображении было много справедливого, и даже составилось такого рода представление, будто политическая свобода несовместима с демократическим строем государства: доказательство этому видели в Англии, хотя Америка могла бы служить опровержением такому взгляду¹. И вот благодаря указанным причинам либерализм эпохи Реставрации порывает ту связь, в какой находились между собой идеи политической свободы и демократии, и вследствие этого принимает характер буржуазный. Теоретики либерализма двадцатых годов XIX в., довольно верно понимавшие, что при тогдашних условиях политическая свобода не могла иметь прочной опоры в демократии, были убеждены, однако, что и для блага народной массы нужно только то, в чем прежде всего нуждались зажиточные и образованные люди, т. е. культурная и политическая свобода. Многие из них искренне верили, что ради той пользы, которую должен получать народ от существования этой свободы, нужно сосредоточить политические права нации лишь в общественных классах с известным имущественным и образовательным цензом. Вообще, тогдашние либералы думали, что свобода — единственное средство против всяких общественных зол: они или слишком мало обращали внимания на вопросы экономического быта, или разделяли веру экономистов XVIII в. в гармонию интересов, устанавливающуюся в силу свободной конкуренции между индивидуумами или общественными классами². В этом отношении они делали теоретическую ошибку, но у программы экономической свободы в смысле невмешательства государства в промышленную жизнь народа нужно различать две стороны. Этого невмешательства либералы требовали просто в силу последовательного проведения принципа свободы во всех сферах жизни — в области духовной культуры, в области политики и точно так же в области экономических отношений, как бы не понимая, что свобода в последней области влечет за собою угнетение слабого сильным и тем самым оказывается благоприятной лишь для меньшинства, поставленного в лучшие материальные условия жизни. С другой стороны, буржуазия, наоборот, хорошо понимала выгоду этого невмешательства, так как устранение каких бы то ни было препятствий для ее капиталистических стремлений давно уже входило в ее социальную программу, и раз найден был принцип, которым оказывалось возможным прикрывать своекорыстные вожеления, принцип этот не только пускался в ход, но даже объявлялся существенной принадлежностью либерализма. Из этого всего, однако, не следует, будто либерализм имел чисто классовое происхождение: буржуазия, как общественный класс, разделявший либеральные принципы и составлявший главную силу либеральной

¹ Мы вернемся к этому в V томе по поводу политических идей Токвиля.

² См. в последнем отделе настоящего тома.

партии, лишь придавала этим принципам известную окраску, суживая их применение на практике, но сами принципы эти — индивидуальная свобода и представительная система — не заключали в себе ничего специально буржуазного. Между тем впоследствии либерализм вообще стали обвинять в исключительно буржуазных стремлениях, что, к сожалению, внесло немало путаницы в понимание исторических отношений и самой общественной жизни¹. Нужно отличать либерализм от либералов: первый есть совокупность известного рода принципов; вторые, представляя собой известные социальные интересы, придавали этим принципам не всегда то применение, которое должно было бы вытекать из существа этих принципов. Ярким примером этого может служить то, что французские либералы, вопреки принципу свободы, были сторонниками самой строгой административной централизации, ибо система местного самоуправления, как они верно рассчитывали, усиливала бы только землевладельческое дворянство.

Реакция против XVIII в. сказалась на либерализме эпохи Реставрации (имеем в виду либерализм французский) и в других отношениях. Прежде всего в области философии он отказался от сенсуализма XVIII в., чтобы основать себя на спиритуализме. Когда во Франции явилась эта новая философия, Наполеон приветствовал ее, думая, что она будет поддерживать его деспотическую систему. «Император ошибается, — говорил по этому поводу Талейран, — ибо Декарт еще менее мирится с деспотизмом, нежели Локк. Учение о душе благоприятно для свободы совсем в другом смысле, нежели учение о преобразованном ощущении: для приверженцев этой теории моральное сопротивление силе есть не что иное, как благородная непоследовательность, для нас же оно — неупустительный долг». Ройе-Коллар, один из родоначальников французского эклектизма, был вместе с тем видным деятелем в рядах либеральной партии эпохи Реставрации. Виктор Кузен, сделавшийся главным представителем этой философии, всегда проповедовал уважение к принципу свободы. В 1815 г. он занял кафедру в Сорбонне; в своей вступительной лекции он приглашал слушателей во имя патриотизма принять его учение, которое одно только может спасти отечество. «Слишком долго, — говорил он, — искали мы свободы на путях рабства. Мы хотели быть свободными с моралью рабов. Нет, статуя свободы не стоит на пьедестале интереса, и не сенсуализму (*philosophie de la sensation*) с его мелочными правилами создавать великие народы. Поддержите французскую свободу, еще не успевшую упрочиться и колеблющуюся среди окружающих нас могил и развалин, — поддержите ее моралью, которая утвердила бы ее на вечные времена». Говоря о сенсуализме, Кузен заметил еще, что эта философия могла родиться лишь под сенью версальских удовольствий и для нравственной

¹ В книге А. Шахова (см. выше), которую можно рекомендовать как пособие по истории литературы в первой половине XIX в., мы находим иногда несколько одностороннее освещение либерализма.

распушенности старой монархии с ее произволом, но что молодая свобода нуждается и в иной философии. В своих лекциях Кузен и старался выводить из своего морального учения и необходимость политической свободы, и представительный образ правления.

Важно, далее, еще и то, что французский либерализм двадцатых годов стал основывать себя не на одном умозрении, но и на историческом изучении. XVIII в. отличался вообще антиисторическим характером и, в частности, полным незнанием Средних веков. Реакция против такого направления сказалась в образовании исторической школы и романтического или клерикально-феодального увлечения Средними веками. Во Франции историческая школа — не в пример тому, что произошло в Германии, — стала служить делу либерализма, и интерес к Средним векам, между прочим, поддерживался здесь стремлением исследовать историю свободы во Франции, историю третьего сословия, которое поддерживало свободу, историю представительных учреждений вообще и в частности английского парламента, а для всего этого нужно было обратиться к изучению Средних веков, к которому, кроме того, влек и художественный интерес: Огюстена Тьерри привели к историческим занятиям Средними веками «Мученики» Шатобриана и романы Вальтера Скотта; «История крестовых походов» Мишо (1812–1817) стоит тоже в связи с художественным увлечением Средними веками, равно как и «История герцогов Бургундских» Баранта (1824), представляющая из себя пересказ средневековых хроник. В 1821 г. для занятия средней историей была основана *école des chartes*. В эпоху Реставрации история Франции с либеральной точки зрения рассматривалась как история борьбы свободы, представительницей коей являлось среднее сословие, с феодальным дворянством и абсолютной монархией. «Во Франции, — писал Огюстен Тьерри, — только два класса людей: эти два класса стоят друг против друга, и со всех сторон люди пергаменов вооружаются против людей индустрии». Гизо смотрел на Французскую революцию как на решительную битву, которую дали поработенные своим поработителям. Чем же занимаются французские историки этой эпохи? Во-первых, историей третьего сословия, освобождения городских общин, борьбы буржуазии за свободу: таковы «Письма об истории Франции» О. Тьерри (1827) и известные отделы «Истории цивилизации во Франции» Гизо (1828); тогда же некоторым образом было положено начало для более поздних «Собрания неизданных памятников по истории третьего сословия» и «Опытов по истории образования и успехов третьего сословия» О. Тьерри. Во-вторых, эпоха интересовалась историей представительных учреждений и Англии, как страны, где представительная система получила наибольшее развитие. Гизо, получивший в 1812 г. кафедру истории в Сорбонне, издал уже в 1816 г. сочинение «О представительном правлении и современном состоянии Франции», а в 1821–1822 гг. исторический труд под заглавием «История представительного правления», вслед за

тем посвятил себя специальному изучению английской революции («Собрание мемуаров» 1823 и след. и «История английской революции» 1827–1828). В эти же годы О. Тьерри издал свою «Историю завоевания Англии норманнами» (1825), где рассказана история и английского парламента, а Арман Каррел написал «Историю контрреволюции в Англии» (1827), заключавшую в себе рассказ о реставрации Стюартов и о перевороте 1689 г. В-третьих, в то же самое время и точно так же с точки зрения либеральной оппозиции были написаны первые истории Французской революции Тьера (1823–1827) и Минье (1823), чем было положено начало историческому изучению этой эпохи¹. Рассматривая французскую историческую литературу эпохи Реставрации, мы не можем не обратить внимания на то, что вся она стоит в теснейшей связи со стремлениями тогдашнего либерализма, и это интересно именно в двух отношениях: с одной стороны, политическим стремлениям, опиравшимся в XVIII столетии на отвлеченную философию, подыскивается теперь историческая основа, и история привлекается к разрешению политических вопросов, которые раньше решались чисто рационалистическим путем (если не считать одного Монтескьё, который, например, сам, однако, не знал историю английской конституции), а с другой стороны, из этого можно видеть, что историческая наука XIX в. с самого начала стала служить и прогрессивным общественным течениям.

Либерализм стал в довольно близкое отношение и к романтизму, и не только в том смысле, что существовал романтизм с либеральным направлением, но и в том, что сам либерализм принимал романтический оттенок. С таким оттенком он является нам именно в Германии, и это делается тем более нам понятным, если мы примем в расчет, что сам немецкий романтизм был в некоторых своих проявлениях проповедью индивидуализма в области веры, чувства и поэтического творчества². Во Франции торжеству романтизма немало содействовала г-жа Сталь, в лице же Виктора Гюго³, сделавшегося к концу периода главным представителем и даже вождем романтиков, французская романтическая школа совершила даже прямую эволюцию от реакции к либерализму. Сын наполеоновского генерала, служившего в Испании, и ревностной легитимистки, всегда остававшейся верной традициям старины, Виктор Гюго усвоил политические воззрения своей матери и проникся ненавистью к империи. Ему было только двенадцать лет, когда совершилась первая реставрация, но он уже понимал ее значение и приветствовал ее столь же горячо, как и его мать. Четырнадцать лет он даже написал трагедию, изображавшую символически возвращение

¹ Большая часть названных исторических трудов существует в русских переводах. О значении этих трудов см. в соч. Петрова «Национальная историография во Франции, Германии и Англии», 1861.

² Об этом см. ниже, в главе о Германии.

³ О Гюго см. соч. Barbou, Bire (Victor Hugo avant 1830), Dupuis, Rivet, Swinburne, Paul Stapfer.

Бурбонов. Вскоре после того в особом стихотворении он прославил восстановление статуи Генриха IV, так что первые его произведения отличались самым искренним роялизмом. Это обратило на него внимание роялистов и двора; в числе людей, отнесшихся к нему с большой симпатией, был и сам Шатобриан. В предисловиях к сборникам своих стихов Виктор Гюго имел обыкновение формулировать взгляды свои на поэзию, и вот в одном из первых таких сборников он заявил, что философия XVIII в. одинаково враждебна и поэзии, и религии и что поэзия должна быть тесно связана с монархическими началами и религиозными верованиями. Этим Виктор Гюго вполне верно характеризовал свое собственное творчество, поскольку оно вдохновлялось католицизмом и легитимизмом вообще, а в частности реставрацией Бурбонов, рождением герцога Бордоского (двоюродного внука Людовика XVIII), походом французской армии для подавления испанской революции, коронацией Карла X в Реймсе и т. п. С летами, однако, у него это настроение стало исчезать, и к концу эпохи Реставрации он уже стал сильно проникаться либерализмом. В 1827 г. в предисловии к своему «Кромвелю» Виктор Гюго прямо приводил параллель между старым порядком и либерализмом в политике и классицизмом и романтизмом в литературе, объявив себя приверженцем нового направления. «Романтизм, — по его определению, — это — либерализм в литературе» (*le romantisme, c'est le libéralisme en littérature*). С середины двадцатых годов вообще романтизм занял во Франции боевое положение, хотя ополчался главным образом против отживавшего свой век классицизма, т. е. вел чисто литературную борьбу. Любопытно, что благодаря этому на новое направление стали обращать внимание либералы, и один из наиболее влиятельных журналов второй половины двадцатых годов, «Le Globe», занимавшийся пропагандой либеральных политических идей, в то же время сделался одним из органов литературной романтической школы. Так началось сближение между либерализмом и романтизмом, которое тоже придавало известный оттенок тогдашнему либерализму, тем более что Французская академия, державшаяся старых литературных правил и консервативных политических идей, весьма резко выступала против дерзких новаторов, какими выказали себя романтики. Либералов и романтиков сближали идея свободы творчества и свободы искусства, полемический задор против представителей старого порядка в литературе и политике, культ непокорной личности, воздвигнутый в поэзии Виктора Гюго, и защита индивидуальной свободы, бывшая одним из главных лозунгов политического либерализма. Вместе с тем классицизм, когда-то вдохновлявший теоретиков политической свободы и практических республиканцев времен революции, утратил прежнее свое значение: уже не у героев древности училось поколение, сделавшее революцию 1830 г., как нужно защищать свободу, а у средневековых баронов и горожан, у «круглоголовых» английской революции. Обращение Виктора Гюго к «Кромвелю» в то

время, когда и Гизо писал свою «Историю английской революции», не было простой случайностью.

Мало того, есть примеры, так сказать, проникновения либеральных стремлений в реакционный лагерь. Мы еще увидим, что во Франции роялисты, относившиеся враждебно к хартии 1814 г., не только с ней примирились, но даже делали защитниками политической свободы, когда последняя была им нужна для проведения их культурных и социальных стремлений¹. Крайности реакции иногда прямо заставляли иных консерваторов сближаться с либералами и признавать законность некоторых их требований. Самый интересный пример эволюции реакционера в либеральном смысле представляет литературная деятельность Ламеннэ (1782—1854). Ламеннэ в начале его литературной карьеры недаром ставят рядом с Бональдом и де Местром². Еще при Наполеоне он вступил на литературное поприще крайним клерикалом в своих «Размышлениях о государстве и церкви во Франции» (1808), уничтоженных всемогущей полицией империи. В начале Реставрации Ламеннэ сделался священником и в 1817 г. издал первый том своего «Опыта о равнодушии в деле веры» (*Essai sur l'indifférence en matière de religion*), оконченного в 1823 г. Он очень хорошо понимал, что возвращение общества к религии было вызвано соображениями политического свойства, а также известного рода сентиментальностью и влечениями эстетического свойства, но что настоящей веры в обществе не было, и вот эту-то настоящую веру он и задумал насадить и укрепить среди равнодушных современников. Ламеннэ — противник разума и науки, ибо они обманчивы: одна только религия и именно католицизм содержит истину. Вместе с де Местром он стоял за авторитет непогрешимого папства, доказывая, что лишь одно признание этого авторитета может спасти общество от смут, на которые оно обречено. Основу истинности католицизма он видел во всеобщем его признании (*consentement universel*). Разного рода натяжками он доказывал, что изначальное откровение, данное Богом человечеству и чище всего сохранившееся в католицизме, не затерялось окончательно и в языке: по его представлению выходило, будто поэты и язычники, сами того не сознавая, в сущности, тоже признают папский авторитет. В двадцатых годах Ламеннэ издал еще сочинения «О религии в отношении к политике и гражданскому порядку» и «Успех революции и война против церкви», где он является крайним клерикалом, допускающим государство лишь в качестве придатка к церкви, вполне ей подчиненного. Участвуя в консервативных газетах того времени, он именно с такой точки зрения смотрел и на самую монархию Бурбонов, а потому у него стали происходить неприятные столкновения с правительством, которые мало-помалу привели его к оппозиции

¹ В этом отношении особенно любопытна деятельность Виллеля, министра в конце царствования Людовика XVIII и начале царствования Карла X.

² См. выше. О Ламеннэ см. соч. Paul Janet, Spuller'a (1892), Alfred Rousset (1892) и др.

под знаменем идеи свободы. Именно он прямо объявил, что либерализм есть восстание христианского духа свободы против светского деспотизма. После польской революции в 1830 г. Ламеннэ с несколькими единомышленниками основал даже газету («L'Avenir») в защиту свободы церкви. «Мы, — было сказано в программе этого издания, — приветствовали все революции, которые были уже совершены, мы приветствуем все революции, какие еще придется сделать» (toutes les révolutions à faire). Газета защищала свободу печати и свободу преподавания и требовала, чтобы церковь была вполне независима от государства, чтобы духовенство не брало казенного жалования, но и не получало и приказаний от правительства. Папа осудил стремление либерального католицизма, и в следующем периоде Ламеннэ пошел еще далее, сделавшись даже защитником идеи народовластия¹.

Мы нарочно собрали вместе некоторые черты из культурной истории эпохи Реставрации, чтобы показать, как тогдашний либерализм соединился с разными другими течениями, возникшими на почве общей реакции против духа философии XVIII в., с философским идеализмом, с историческим интересом к Средним векам, с романтическим отрицанием «просвещения», наконец, даже с возрожденным католицизмом, т. е. с течениями, не только возникшими на почве реакции, но в очень многих случаях соединявшимися с разного рода стремлениями к восстановлению отживших культурных и социальных отношений. Во всем этом сказалось влияние общего духа времени на один из наиболее основных исторических процессов Нового времени. В начале главы мы видели, что либерализм и реакция отличались между собой главным образом в своих отношениях к внутренней и внешней свободе личности: в то время как реакция ее стесняла и пыталась не только остановить историческое движение, которое совершалось в пользу индивидуальной свободы, либерализм, наоборот, был защитой этой свободы и продолжением всех освободительных движений Нового времени. Эти движения были направлены против средневековых католицизма и феодализма, но точно так же были направлены и против всепоглощающей государственности Нового времени, присвоившей себе абсолютное право над человеческой личностью². В конце XVII в. Локк в своем «Трактате о правительстве» на основании философии естественного права дал весьма ясную формулировку личной свободы в ее отношениях к государству, ограничив до последней крайности функции правительства. Индивидуалистические стремления XVIII в. нашли первое свое теоретическое выражение в этом сочинении английского мыслителя, а первое применение на практике — в Декларации прав человека и гражданина и в разных законах учредительного собрания, коими оно думало

¹ См. в V томе, где будет идти вообще речь о демократическом и социалистическом католицизме более поздней эпохи.

² См. во многих местах I, II и III томов, а также «Философии культурной и социальной истории Нового времени».

установить и утвердить наибольшую свободу личности. Если отвлечься от всех влияний места и времени, налагавших на либерализм реставрационной эпохи известный характер, то он явится не чем иным, как продолжением тех стремлений, представителями коих были Локк, Монтескьё, Мирабо и некоторые другие деятели учредительного собрания, а впоследствии жирондисты, тоже относившиеся с большим уважением к принципу индивидуальной свободы. Но особенно в политической теории либерализма интересно ограничение до последнего минимума функций государства во имя наибольшей личной независимости, в коей и полагается сущность новой свободы, в отличие от античного мира. Мы остановимся на двух либеральных деятелях и писателях эпохи, которые яснее всего выразили эту сторону либерализма. Один из них был Вильгельм фон Гумбольдт, другой Бенжамен Констан.

Вильгельм фон Гумбольдт¹ родился в 1767 г. Ему было только двадцать два года, когда вспыхнула Французская революция, и, как на весьма многих молодых людей того времени, она произвела и на него сильное впечатление: в 1789 г. он даже нарочно ездил в Париж, чтобы «посмотреть на похороны французского деспотизма». Человек громадной эрудиции и большого философского ума, стоявший притом в весьма близких отношениях ко многим замечательным людям эпохи, он с 1802 г. занимал видные посты на прусской государственной службе, был в числе сторонников Штейна, содействовал много возникновению Берлинского университета, представлял вместе с Гарденбергом Пруссию на Венском конгрессе, а в эпоху Реставрации был короткое время министром внутренних дел и пытался провести в Пруссии конституцию. В числе его многочисленных сочинений есть одно, заслуживающее особого внимания, это его «Идеи для попытки определения границ деятельности» (*Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen*). Написанное в 1792 г., оно увидело свет лишь в 1851 г.: в свое время оно не могло появиться в печати, а потом и сам автор несколько изменил свои взгляды. Тем не менее оно заслуживает быть рассмотренным теперь, так как является очень характерным для истории либеральных идей с конца XVIII в. Мы увидим, что, в сущности, Вильгельм фон Гумбольдт понимал отношения между личностью и государством и границы деятельности последнего совершенно так же, как и главный теоретик либерализма в двадцатых годах, Бенжамен Констан. Гумбольдт исходил из идеи высших целей существования отдельного человека, полагая, что они сводятся к гармоническому развитию его сил; первым же условием для достижения этой цели является у него свобода, без коей немыслимы ни самостоятельное развитие личности, ни самобытное усвоение личностью того, что выработано другими. Отсюда он считал идеальным лишь такое людское общежитие, в коем личность развивается из себя и для себя, претворяя в свое собственное достояние все за-

¹ Haym. Wilhelm von Humboldt, 1856; Maier E. Wilh. v. Humboldt. Lichtstrahlen aus seiner Briefen.

имствованное извне. Государство поэтому должно прежде всего заботиться лишь об устранении препятствий к такому развитию, установляя общую безопасность: в этом чисто отрицательном определении деятельности государства Гумбольдт сходится с Локком. На наш взгляд, у государства могут быть и положительные задачи — содействие общему благополучию, но все правительственные заботы о населении, о его пропитании, о промышленности, о помощи бедным и т. п. Гумбольдт прямо отрицал, находя попечение правительства о материальном благосостоянии граждан даже вредным. По его мнению, государственное вмешательство, налагая на все печать однообразия, уничтожает свободное проявление индивидуальных сил, что только препятствует внутреннему развитию, а с другой стороны, вечная опека приучает граждан к апатии и индифферентизму, не говоря уже о том, что слишком широкие задачи, вытекающие из таких забот, требуют больших материальных издержек и отвлекают от более произвольной работы слишком много умственных сил, создавая в то же время ведение дел бюрократическим, чисто механическим порядком. Правда, есть такие цели жизни, которые могут быть достигнуты лишь путем объединения индивидуальных сил, но для этого, говорит Гумбольдт, существуют свободные товарищества, к коим, конечно, каждый волен примыкать или не примыкать, каковой свободы нет уже по отношению к государству. Притом он отдавал предпочтение мелким ассоциациям перед крупными, ибо только в небольших товариществах человек сохраняет свою личность, не делается простым орудием для достижения известных общих целей, не поглощается окончательно массой. Цель государства Гумбольдт видел поэтому исключительно в ограждении общества от опасностей: сущность государства заключается в установлении неограниченной власти, а без нее действительно нельзя обойтись в деле охранения безопасности. Но и тут Гумбольдт считал нужным определить границы собственно деятельности государства, ибо без этого весьма легко и в данной области дойти до требований, осуществление коих было бы равносильно совершенному уничтожению свободы граждан. Против внешних врагов государствам приходится вести войны, но только в народных ополчениях возможно чувство свободы и гражданское воспитание, постоянные же армии превращают людей в машины, исполняющие волю своих предводителей. В деле охранения безопасности от внутренних врагов государство может или ограничиваться простым пресечением преступлений, или заботиться об их предупреждении, или же добиваться того же посредством воспитания, религии, цензуры нравов, т. е. действуя на сам характер граждан. Гумбольдт — противник государственного вмешательства в дело воспитания граждан. Пример древности не указ: в античных государствах за стеснения, вытекавшие из такого вмешательства, гражданин вознаграждался такой свободой, какая в наши времена совсем неизвестна, а затем ведь Новое время тем и отличается от древности, что требует проведения в жизнь личного начала, тогда как общественное вос-

питание налагает печать однообразия на молодежь; кроме того, оно сообщает всем направление, нужное лишь для поддержания данного порядка, чем подавляются многие стороны человеческой природы. Далее, попечение государства о религии всегда влечет за собой покровительство лишь известным учениям в ущерб другим и грозит свободе совести. Вера есть внутреннее дело души, и лишь тогда действие веры плодотворно, когда она основана на духовной свободе, которая одна только и способна выработать в народе крепость духа и способность к энергической деятельности. Назначение пастырей и порядок общественного богослужения должны быть изъяты из области государственного вмешательства и предоставлены самой религиозной общине. Что касается до исправления нравов путем правительственной цензуры, то и тут Гумбольдт стоит за невмешательство, так как всякое принуждение к этой области делает из народа толпу рабов, прокармливаемую своим господином. Притом вмешательство в частную жизнь создает массу ненужных столкновений и вместе с тем великое множество неизбежных при такой системе проступков. И в деле мер, клонящихся к предупреждению преступлений, Гумбольдт советовал большую осторожность, дабы не ограничивать без особой надобности индивидуальную свободу разного рода полицейскими запрещениями. В области вопросов гражданского и уголовного права он стремился провести тот же индивидуалистический принцип. В своем трактате Гумбольдт особенно не распространяется о наилучшем государственном устройстве, но кое-что говорит вообще и об этой стороне политического вопроса. Устройство государства не должно служить препятствием свободному развитию народа, и та форма может быть названа самой лучшей, которая предоставляет государству самое незначительное влияние на граждан и в то же время научает их уважать чужое право и горячо любить собственную свободу. Гумбольдт не скрывает, что он начертывает идеал, к которому должно стремиться, но который едва ли когда-либо может быть вполне осуществлен. Всегда приходится сообразовываться с существующими условиями, но, во всяком случае, главная задача государственного человека заключается в том, чтобы постепенно расширять свободу и готовить людей к умению ею пользоваться путем развития в людях самостоятельности. Каждая эпоха имеет свою задачу, а потому следует предоставить господствующему направлению высказаться до конца, отнюдь же не идти против него. По мере того как люди начинают тяготиться старыми узами, нужно эти узы снимать, сохраняя до поры до времени лишь те стеснения, против которых еще не протестует сама жизнь. Впоследствии Гумбольдт во многом изменил свои взгляды, но в общем он остался одним из представителей либерализма и в эпоху Реставрации.

Гораздо более еще ярким представителем либерализма в двадцатых годах был Бенжамен Констан, с деятельностью которого до 1815 г. мы уже знакомы. После вторичного падения Наполеона Бенжамен Констан, сделавшийся его сотрудником при изменении старых конституций империи,

должен был оставить Францию, но в 1816 г. ему позволено было вернуться в Париж, а в 1819 г. он был выбран в палату депутатов, где и прославился своими речами по конституционным вопросам. В 1816–1820 гг. он издал собрание своих работ по представительному образу правления под заглавием «Курс конституционной политики»¹, а в 1829 г., за год до своей смерти (1830), — сборник мелких статей под заглавием «*Mélanges de littérature et de politique*». В предисловии к своему «Курсу» Бенжамен Констан говорит, что издает собрание сочинений, написанных ввиду тех или других временных обстоятельств, но заключающих принципы, приложимые по всем правительственным формам. Многие обстоятельства изменились, но одно осталось неизменным: это — «потребность, какую чувствует нация в свободе, и желание нации пользоваться гарантиями, которые гражданам должны давать все политические учреждения, какие бы названия они ни носили». Книга имела громадный успех в свое время и не потеряла значения и впоследствии, что доказывается многими ее изданиями²: недаром один из позднейших издателей «Курса»³ назвал его «учебником свободы» (*manuel de la liberté*). Действительно, главная идея, которой служил Бенжамен Констан, была идея свободы. Сам он на склоне дней своих в предисловии к «*Mélanges de littérature et de politique*» говорит, что он «целых 40 лет защищал одно и то же, а именно свободу, свободу во всем — в религии, в философии, в литературе, в промышленности, в политике», т. е. «торжество личности над властью, желающей управлять посредством насилия, и над массами, предъявляющими со стороны большинства право подчинения себе меньшинства». Его взгляд на свободу был прямо противоположен учению Руссо и Мабли. Будучи сам воспитан на классицизме и представляя из себя хорошего знатока древности, — что он доказал своим исследованием «*Du polythéisme romain*»⁴, — даже преклоняясь перед античной свободой, он, однако, восставал против восстанавливаемых систем Греции и Рима, к чему стремились политические теоретики XVIII в., ибо, по его мнению, эти системы заключали в себе прямые причины ошибок и всех крайних увлечений революции. Он очень хорошо понимал сущность новой свободы в отличие от свободы древней. «Свобода в античных республиках, — говорит он, — состояла более в деятельном участии в общем властвовании, нежели в спокойном пользовании личной независимостью, и даже для обеспечения этого участия чувство личной независимости, в известной степени, приносилось в жертву. Новые государства

¹ Полное заглавие: *Collection complète des ouvrages publiés sur le gouvernement représentatif et la constitution actuelle, ou Cours de politique constitutionnelle par M. Benjamin Constant.*

² Pagès'a в 1836, Laboulaye в 1861 г. и в 1872 г. и др.

³ Laboulaye, сам написавший книгу «О государстве и его пределах», существующую и в русском переводе. Своему изданию «Курса конституционной политики» Лабулэ предпослал превосходную статью о политических идеях Б. К., существующую и в русском переводе («Юрид. Вестн». 1882).

⁴ Римское многобожие (*фр.*). — *Прим. ред.*

заменили непосредственное народовластие народным представительством, в силу чего каждый, не пользуясь непосредственно властью, ею и не наслаждается. Но зато люди Нового времени, чтобы быть счастливыми, не нуждаются ни в чем, кроме полной независимости во всем, что относится к сфере их деятельности, к их занятиям, предприятиям и фантазиям». «Индивидуальная свобода, — говорит Бенжамен Констан в другом месте, — есть цель всякого соединения людей: на ней покоится общественная и частная нравственность; на ней основываются промышленные расчеты. Без нее для людей нет ни мира, ни достоинства, ни счастья». Эта личная свобода имеет разные виды: Бенжамен Констан защищает каждый вид индивидуальной свободы и в отдельности. Во главе всего он полагает свободу религиозную и стоит за невмешательство государства в дела веры. Он вооружается против учения Руссо о гражданской религии, открывшего широкое вмешательство государства в личную свободу в делах веры. «Мысль человека, — говорит он, — есть наиболее священная его собственность, будет ли она истиной или заблуждением». Власть никогда не должна возбуждать преследования против религии, даже считая ее опасною. Государство имеет право карать только преступные действия, если они обязаны своим происхождением какому-нибудь вероучению. Однако Бенжамен Констан признавал необходимым, чтобы государство оплачивало духовенство всех исповеданий, имеющих сколько-нибудь многочисленных последователей. Второй вид свободы — свобода воспитания. В этом деле Бенжамен Констан предоставлял правительству лишь охрану и надзор, устранение препятствий и проложение путей, но власть не должна была тормозить дела и давать ему какое-либо исключительное направление. Третий вид — свобода печати, в которой Бенжамен Констан видел одну из главных гарантий личной свободы, причем он требовал, чтобы преступления по делам печати судились присяжными. Наконец, он защищал еще неограниченную свободу собственности и промышленности¹. В последнем отношении он *de facto* был защитником интересов капитализма, стремившегося к тому, чтобы государство не вмешивалось в отношения между предпринимателями и рабочими. С другой стороны, только представителям земельной и промышленной собственности он давал политические права, потому что, по его мнению, лишь досуг, независимость и образование позволяют вообще делать хороший выбор представителей. Таким образом, Бенжамен Констан вносил в свои взгляды буржуазный оттенок, высказывая еще и то опасение, что неимущие могли бы воспользоваться своими политическими правами для захвата собственности. Впрочем, в данном случае политический писатель выражал свое личное убеждение, а не подделывался под интересы буржуазии. Совсем даже наоборот: выше было уже объяснено, почему либеральная буржуазия была против децентрализации, а между тем

¹ Взгляды Бенжамена Констана на этот предмет будут рассмотрены особо в другом месте.

Бенжамен Констан в силу своего основного принципа требовал развития местной жизни на началах свободы, критикуя ту крайнюю централизацию, которую установил Наполеон для целей своего деспотизма. По вопросу о наилучшем государственном устройстве Бенжамен Констан был большим поклонником английской конституции, хотя и находил неудобным рабски ее копировать. В 1814 г. он издал «Размышления о конституциях и гарантиях», где, в сущности, рекомендовал Франции такую конституцию, которая ничем не отличалась от хартии Людовика XVIII. Сначала он стоял, как и Монтескьё, за двухпалатную систему, с тем чтобы одна палата была наследственной, но впоследствии именно в своих «Мемуарах о ста днях» (1829) он высказал мнение, что во Франции эта система неприменима, и события 1830 г., уничтожившие наследственность пэров, подтвердили его мысль. Он обращал главное внимание на то, чтобы конституция не только провозгласила принцип свободы личности, но и законным образом эту свободу гарантировала на самом деле. По мнению Бенжамена Констана, все действительные гарантии сводятся к свободе печати, подчиненной одному суду присяжных, к ответственности не только министров, но и низших агентов администрации, к многочисленному и независимому представительству.

Мы остановимся подробнее лишь на конституционной теории Бенжамена Констана, ограничиваясь сказанным выше относительно разных видов свободы индивидуальной.

Бенжамен Констан вооружался против теории народовластия, т. е. «верховенства (*suprématie*) общей воли над всякою частною волею». «Отвлеченное признание верховенства народа, — говорит он, — ничего не прибавляет к полноте свободы индивидуумов, а если этому верховенству придают широту, которой оно не должно иметь, свобода может быть потеряна, несмотря на этот принцип и даже прямо в силу этого принципа... Когда говорят, что верховенство народа безгранично, то создают и помещают в человеческом обществе степень власти, которая слишком обширна сама по себе и которая есть зло, в чьих бы руках она ни находилась... Ошибка тех, которые в своей вполне искренней любви к свободе приписали верховенству народа неограниченную власть, проистекает из способа, коим они вырабатывали свои политические взгляды. В истории они встречались со случаями, когда немногие или одно лицо, обладая громадной властью, делали много зла, но их гнев был направлен против обладателей власти, а не против нее самой. Вместо того чтобы ее разрушить, они только постарались ее переместить... Несомненно, что в обществе, основанном на верховенстве народа, ни одно лицо, ни один класс не имеет права подчинить остальных своей частной воле, но совсем ложно и то, будто общество в целом имеет над своими членами верховную власть без границ... Есть сторона человеческого бытия, которая по необходимости остается личной (*individuelle*) и независимой и которая по праву не подлежит общественной компетенции. Верховная власть существует лишь в ограниченном и отно-

сительном смысле. Руссо не признал этой истины, и из его заблуждения возник его *Contrat social*, на который так часто ссылались в пользу свободы, но который был орудием всех родов деспотизма... Границы власти должны быть установлены справедливостью и правами отдельных лиц. Воля целого народа не может сделать справедливым то, что несправедливо. Представители нации не имеют права делать то, чего не имеет права делать сама нация... Конечно, недостаточно еще отвлеченного ограничения верховенства. Нужно еще найти основы политических учреждений, которые, таким образом, комбинировали бы интересы разных представителей власти (*dépositaires de la puissance*), чтобы им было выгодно самым очевидным образом, на самое долгое время и с наибольшей уверенностью в своей прочности оставаться каждому в границах своих прав... Кроме того, когда известные принципы вполне и ясно обоснованы, они как бы сами гарантируют свое существование. Очевидность создает в свою пользу общее мнение, которое в конце концов побеждает. Раз признано, что верховная власть не беспредельна, т. е. что на земле не существует безграничной власти, никто и никогда не станете требовать себе такой власти».

Так смотрел Бенжамен Констан на верховную власть, опровергая «ложную метафизику» Руссо. Между приведенными мыслями отметим идею взаимного уважения конституционных властей. Таких властей он насчитывал пять: власть королевскую, исполнительную, представительную, судебную и муниципальную. Не касаясь последней, т. е. органов местного самоуправления, коему Бенжамен Констан придавал большое значение, и не говоря еще о судебной власти, остановимся только на трех первых. Бенжамен Констан различает в монархической власти два элемента: «власть исполнительную, облеченную положительными прерогативами, и власть королевскую, которая покоится на воспоминаниях и религиозных преданиях». Нужна сила, которая устанавливала бы согласие между исполнительной, законодательной и судебной властями в случаях столкновений между ними, и нужно, чтобы эта сила находилась вне этих трех властей и занимала по отношению к ним нейтральное положение. «Конституционная монархия, — говорит Бенжамен Констан, — имеет то преимущество, что создает эту нейтральную власть в особе короля, окруженной воспоминаниями и традициями и облеченной силой мнения, которое и есть основа ее политического значения. Настоящий интерес такого короля совсем не в том, чтобы одна власть ниспровергла другую, но в том, чтобы все они одна другую поддерживали, были между собой в единодушии и солидарно действовали. Законодательная власть находится в представительных собраниях с санкцией короля, исполнительная власть — у министров, судебная — в трибуналах... Среди этих властей король занимает нейтральное и посредствующее положение без всякого прямого интереса расстраивать равновесие и, наоборот, имея интерес его поддерживать. Разумеется, так как люди не всегда повинуются своему прямому интересу, нужно принять известные предосторожности, чтобы королевская власть не могла

действовать на другие власти, и в этом заключается разница между монархией абсолютной и конституционной». Установив этот принцип, Бенжамен Констан показывает, как он применяется в английской конституции: для него такая нейтральная власть есть необходимое условие правильной свободы. Король назначает и смещает исполнительную власть. Его санкция необходима для того, чтобы постановления представительных собраний имели силу закона. Он может отсрочивать законодательные собрания и распускать то из них, которое выбирается народом. «Не может быть свободы ни в одной большой стране, — говорит Бенжамен Констан, — без представительных собраний, облеченных законными и сильными прерогативами; но и эти собрания сами не без опасности, а потому в интересах самой свободы нужны верные средства, чтобы предупредить злоупотребления властью. Если не положить пределов власти представителей народа, они уже не защитники свободы, а кандидаты на тиранию, а когда тирания уже явилась, она тем ужаснее, чем больше число тиранов. При конституции, часть коей состоит из национального представительства, нация лишь тогда свободна, когда существует сдержка для ее депутатов». Королевское veto может иметь силу лишь против отдельных законов, но не против общей тенденции собрания: нужен роспуск собрания с назначением новых выборов, что для народа вовсе не есть оскорбление: это — апелляция к его правам во имя его интересов, раз только выборы свободны, потому что без свободы выборов нет и представительной системы. Наконец, королю Бенжамен Констан дает право назначения судей, право помилования, право войны и мира, и особа короля объявляется священной и неприкосновенной. Что касается до исполнительной власти, то, по конституционной теории Бенжамена Констан, она принадлежит министрам. «Наследственный монарх может и должен быть неответственным», ответственность несут министры, и она притом не должна разрушать ответственности их агентов, что, прибавляет Бенжамен Констан, особенно нужно помнить во Франции. Представительная власть заключается в двух палатах, из коих одна наследственная, другая выбирается народом, и обеим им сообща с исполнительной властью должна принадлежать законодательная инициатива. Бенжамен Констан особенно настаивал на том, чтобы обе власти пользовались законодательной инициативой. Представительное собрание должно выражать народные нужды, ибо представители знают эти нужды, но к чему им послужило бы это знание, если бы они лишены были права инициативы? Но и у правительства есть нужды, а потому инициатива должна принадлежать и министрам: без нее они были бы рабы. Кроме того, он стоял еще за парламентское министерство, коего тщетно добивался Мирабо для конституции 1791 г. «Министры, — говорит он, — могут быть членами представительных собраний, и члены этих собраний могут сделаться министрами, подчиняясь переизбранию»¹. В этом он видит боль-

¹ Как в английской конституции.

шие выгоды и высказывает мнение, что, быть может, такое допущение именно и сохранило английскую конституцию. «Если члены представительных собраний не будут иметь возможности участвовать в правительстве, как министры, нужно опасаться, как бы они не стали смотреть на правительство как на своего естественного врага». Вообще он совершенно верно понял основной принцип парламентарного министерства: «Соединяя лиц, но не переставая различать власти, устанавливают гармоническое правление вместо того, чтобы создавать два вооруженных лагеря». Бенжамен Констан требовал еще, чтобы члены представительной власти не получали жалованья, ибо если установить плату (*salaire*) за их труд, пожалуй, эта плата для них сделается главным. «Я, — говорит он, — не люблю слишком большого имущественного ценза (*les fortes conditions de propriété*) для отправления политических должностей. Независимость — понятие относительное: раз у человека есть необходимое, достаточно иметь возвышенную душу, чтобы обходиться без излишнего. Однако желательно, чтобы представительные должности занимались вообще людьми если и не богатыми (*opulente*), то, по крайней мере, достаточного (*dans l'aisance*) класса. Их положение выгоднее, их образование лучше, их ум свободнее, их понимание быстрее и яснее схватывает вещи. Бедность имеет свои предрассудки, как и невежество». Помня уроки революции, Бенжамен Констан требовал еще, чтобы депутаты не могли быть изгоняемы и исключаемы из собрания. Он доказывал при этом, что согласное действие (*le concours*) всех этих властей еще не узаконяет нарушения судебных формальностей. Наконец, Бенжамен Констан ставит конституцию выше конституционных властей¹, ибо они сами существуют только в силу конституции. «Во время нашей революции, — говорит он, — наши правительства часто высказывали притязание на право нарушать конституцию ради ее спасения, но конституционное правительство тотчас же перестает существовать, как только перестает существовать конституция, а она более не существует, раз она нарушена». Бенжамен Констан различает поэтому между конституционными законами и законами простыми. «Все, что относится к границам и сферам ведения властей, к политическим и индивидуальным правам, не составляет части конституции и может быть изменено совокупным действием короля и обеих палат». Нужно, чтобы конституция ограничивалась самым необходимым и не заключала в себе мелочей, которые вечно будут нарушаться: надо предоставить установление подробностей свободному действию конституционных властей. «Конституции, — говорит Бенжамен Констан, — редко создаются волею людей. Их создает время; они входят в жизнь постепенно и незаметным образом. Однако, — прибавляет он, — бывают обстоятельства, — и мы находимся (1814) именно в таком положении, — которые делают неизбежным создание конституции, но в таком случае огранич-

¹ То есть не признает той «деспотической власти», которая принадлежит английскому парламенту (см. т. III). См. об этом еще ниже, в главе XXI.

тесь самым необходимым, дав простор времени и опыту», лишь бы не были нарушены принципы представительства, личной неприкосновенности, свободного проявления мысли и независимости судебной власти.

В заключение этой главы укажем на то, что либерализм не представлял какой-нибудь однообразной догмы: были либералы монархисты и республиканцы, конституционные и революционные, централисты и федералисты, космополиты и националисты, католики и протестанты и т. д. В каждой отдельной стране либерализм получал особую окраску и соединялся с особыми местными, вернее, национальными стремлениями. У народов, не имевших самостоятельного национального существования или государственного единства, либерализм соединялся со стремлением к освобождению или объединению. Этим особенно отличается либерализм у немцев, у итальянцев, у поляков. Испанские либералы стремились к возвращению конституции 1812 г.; французские — к изменению хартии 1814 г. или к перемене династии: английские — к парламентской реформе и т. д.

В разных странах либерализм имел опору в разных классах общества, где в среднем сословии, а где и в дворянстве (шляхта в Польше, декабристы в России), но нередко он искал опоры в армии, которая в таких случаях даже и делалась орудием политических революций.

XV. Священный союз, южнороманские революции и конгрессы¹

Общий взгляд на международное положение после 1815 г. — Беспринципность международной политики в XVIII в. и принцип легитимизма. — Особое положение Австрии и политическая программа Меттерниха. — Александр I и его роль в эпоху конгрессов. — Г-жа Крюденер. — Священный союз и его значение. — Начало легитимизма на Венском конгрессе. — Ахенский конгресс. — Крайности реакции в Испании и Италии. — Революции 1820—1821 гг. — Конгрессы в Троппау-Лайбахе и Вероне. — Подавление неаполитанской и пьемонтской революции Австрией. — Реакция в Италии. — Внутренняя борьба в Испании и французское вмешательство. — Причины неудачи южнороманских революций

Главный интерес западноевропейской истории в период с 1815 по 1830 г. сосредоточивается на борьбе между двумя противоположными культурными и политическими направлениями, которые только что нами были рассмотрены. К борьбе между реакцией и либерализмом можно приурочить не только события внутренней истории отдельных стран, но и всю международную политику эпохи. Французская революция застала старую Европу врасплох. Монархические государства вооружились против революции, которая грозила сделаться всесветной, но они не сумели прочно соединиться для того, чтобы совокупными силами отстоять принцип, во имя коего проповедовали крестовый поход против Франции. В 1795 г. Пруссия, заключив с республикой мир в Базеле, показала пример, которому стали подражать и другие государства: у всех у них собственные интересы стояли выше общего принципа, и правительства пошли на сделки с революцией, раз отсюда извлекалась или ожидалась та или другая выгода. Не иначе поступали евро-

¹ По истории международных отношений в эту эпоху, кроме общих сочинений и специальных трудов по истории дипломатии, равно как тех, которые будут указываться ниже, см. еще разные руководства по международному праву (по-русски проф. Ф.Ф. Мартенса). *Brockhaus*. Das Legitimitäts-Princip, 1868; *Bianchi*. Storia documentata della diplomazia Europea in Italia; *Гр. Камаровский*. Начало невмешательства, 1874; *Даневский В.* Системы политического равновесия и легитимизма и начало национальности в их взаимной связи, 1822 (в книге проф. Даневского есть еще отдел и о Венском конгрессе); *Flahe*. Das Zeitalter der Restauration und Revolution, 1883 (у Онкена). По истории Испании см. книги *Raynald'a*, *Baumgarten'a* (Geschichte Spaniens vom Ausbruch der französischen Revolution), *Hubbar'a* (Hist. contemporaine de l'Espagne), *А. Трачевского* (история Испании в XIX в.) и др. История Италии в XIX в. *Sorin*, *Reuchlin*, *Ferrari*. Histoire des révolutions d'Italie, 1858; *Giacometti*. La question italienne du 1814 à 1860, 1893. Наконец, целый ряд историй Италии с 1814 г. на итальянском языке (*Монтанелли*, *Фарини*, *Ла-Фарина*, *Бьянки*, *Ангелли* и др.). Заметим, что в настоящей главе мы лишь вскользь касаемся южнороманских революций, так как более подробная внутренняя история Италии отлагается до V тома настоящего труда.

пейские державы по отношению к Наполеону, как наследнику внешней политики революции, пока в 1813 г. не составила, наконец, прочная коалиция против Франции и Наполеон не был низвергнут. То, чего европейские державы не смогли сделать в 1793 г., сделано было ими в 1813 г.: образовалась общеевропейская коалиция, проявившая большое единодушие и достигшая целей, которые себе поставила. В 1814 г. она низложила Наполеона и созвала в Вене конгресс для полюбовных соглашений насчет будущего устройства международных отношений, а в 1815 г. благополучно довела это дело до конца и вторично низложила Наполеона. В том же 1815 г. был, кроме того, заключен между государями России, Австрии и Пруссии союз, получивший название «Священного», и скоро другие государства примкнули к этому союзу. Мир был не только восстановлен, но и обеспечен на будущее время. Действительно, между христианскими народами Европы мир установился на весьма продолжительный период — до начала восточной войны 1853—1856 гг. Когда вспыхнула эта война, Бокль, писавший в то время свою «Историю цивилизации в Англии», объяснил происхождение войны тем, что отсталая Россия напала на отсталую Турцию: иначе, думал английский историк, войны не могло бы быть, — до такой степени продолжительный мир после 1815 г. приучил к мысли о невозможности новых войн. Но в этот же мирный период европейской истории тем не менее на Западе происходили потрясения революционного характера — в начале двадцатых, в начале тридцатых и в конце сороковых годов, и эти потрясения сопровождались вмешательством держав во внутренние дела стран, подвергшихся революции. Особенно единодушно и сильно было такое вмешательство в двадцатых годах. В это время произошли революции в Испании, Неаполе, Португалии и Пьемонте, заставившие европейские правительства собираться на новые конгрессы, на коих Австрия и Франция и были уполномочены подавить южнороманские революции. В 1830 г. вмешательство имело уже более мирный характер, а венгерская революция 1848 г. была подавлена лишь односторонним действием России. В настоящей главе мы и рассмотрим, во-первых, возникновение Священного союза, заключенного с целями миролюбивого улаживания международных столкновений, но сделавшегося вместе с тем органом общеевропейской реакции, во-вторых, революции, вызванные в южнороманских странах крайностями реакции, и в-третьих, конгрессы, на которые в эту эпоху («эпоха конгрессов», 1814—1822 гг.) собирались монархи, их министры и дипломаты для рассмотрения европейских дел и противодействия революционным стремлениям.

В самом образовании Священного союза нельзя не видеть своего рода реакции против политики XVIII в. Дело в том, что до начала Французской революции европейские правительства смотрели на перевороты, совершавшиеся в отдельных странах, исключительно с точки зрения своих частных выгод, не обращая внимания на те принципы, во имя которых совершался

тот или другой переворот. В иностранную политику держав даже с особой силой въелось общее правило: всячески содействовать смутам в соседнем или соперничающем государстве, благодаря чему, например, абсолютные монархии противились усилению королевской власти в таких странах, где последняя была слаба и где раздоры аристократических партий делали сильную внешнюю политику невозможной. В этом отношении особенно характерично, что если в XVIII в. державы вмешивались в чужия дела, то не во имя поддержания у соседей того политического принципа, который господствовал в их собственной жизни, а ради достижения тех или других практических целей. Лишь Французская революция заставила державы впервые соединиться для защиты принципа, но мы уже говорили, что старая беспринципная политика, вошедшая в нравы и обычаи правительств, и тут взяла перевес над идеей союза во имя поддержания принципа, и что так дело продолжалось в течение всей наполеоновской эпохи. Священный союз был порожден реакцией против беспринципности внешней политики XVIII в.: первой мыслью, которая его вызвала, было то, что необходимо признать известные принципы международных отношений и защищать эти принципы постоянным союзом государств. Венский конгресс должен был положить конец эпохе международных лиг, образовывавшихся преимущественно для нападения на более слабых и раздела их владений. По решению этого европейского ареопага каждый государь должен был владеть тем, что за ним признано было здесь другими, как его законное достояние, а так как наиболее сильные члены союза, низложившие Наполеона, были притом очень хорошо «вознаграждены», то им и оставалось только желать упрочения на будущие времена порядка вещей, установленного на конгрессе. После четверти века постоянных войн чувствовалось утомление и всеобщее желание мира; охранить же его лучше всего мог союз, только что низложивший Наполеона и разделивший по-новому Европу; международный порядок, созданный на Венском конгрессе, был результатом соглашения держав, считавших себя вполне удовлетворенными распределением вознаграждений, и вот для охраны этого порядка опять-таки наилучшим средством являлся опять-таки постоянный союз. Какие бы ни были побуждения инициатора Священного союза, императора Александра I, сделанное им предложение, так сказать, вытекало из потребности в мире и сохранении установленного международного порядка, какую более или менее ощущали все правительства, а так как грозить этому порядку могли разве только новые революции, то в конце концов новый союз должен был против них главным образом и направиться. Кроме того, в международной политике не могла не отразиться внутренняя реакция, происходившая в отдельных государствах. Принцип легитимизма, игравший видную роль на Венском конгрессе при устройстве общеевропейских дел и сделавшийся в то же время основным принципом реакции во внутренних отношениях отдельных государств, должен был не-

избежно стать и лозунгом международного союза, поставившего своей задачей охрану существующего порядка и предотвращение новых потрясений. В этом более или менее были заинтересованы все государства, но сильнее всего была заинтересована Австрия. Политика этой державы всегда отличалась консервативностью, кроме короткого перерыва при Иосифе II: Австрия была хранительницей клерикально-аристократических и абсолютистских традиций и интересов, а стремление создать единую империю из конгломерата разных национальностей и государств должно было всегда заставлять династию Габсбургов опасаться каких бы то ни было движений среди ее подданных. Как единая империя Австрия возникла лишь в наполеоновскую эпоху, но Габсбургам еще только предстояло осуществить в действительности эту идею унитарного государства. Для этого нужно было время и нужно было, чтобы извне ничто не мешало внутренней работе в этом направлении. Национальные стремления среди немцев, итальянцев и поляков, возбужденные событиями предшествующей эпохи, были для Австрии наиболее неприятны и опасны: под властью Габсбургов были именно и немцы, и итальянцы, и поляки, которые легко возбуждались тем, что происходило у их одноплеменников — в Германии, в самостоятельных итальянских государствах, в Царстве Польском. Вот почему Австрия сделалась главной противницей конституционного движения и самой сильной опорой реакции во всей Германии; вот почему она хлопотала о поддержке реакции во всей Италии и первая встревожилась неаполитанской революцией, которую потом и подавила; вот почему, наконец, она с неудовольствием отнеслась и к тому, что Александр I не просто инкорпорировал Польшу в состав Российской империи, а создал из нее особое царство и даже дал ему конституцию. Таким образом, кроме общих причин, действовавших во всех государствах в пользу поддержки принципа легитимизма, у Австрии существовали еще особые интересы, заставлявшие ее желать проведения легитимных начал в международных отношениях. В Австрии явился и государственный человек, который сделался, так сказать, главным вождем реакционной политики, и внутренней, и внешней. Это был знаменитый Меттерних.

Князь Меттерних¹ в молодых годах еще начал играть роль на дипломатическом поприще. На раштадтском конгрессе 1797—1799 гг. мы в первый раз встречаемся с двадцатипятилетним Меттернихом в качестве посланника вестфальской имперской графской коллегии, а с 1801 г., когда ему еще не было тридцати лет, он уже представлял Австрию сначала в Дрездене, потом (с 1803 г.) в Берлине и (между 1806 и 1809 гг.) при дворе Наполеона, которому сумел угодить приятным обращением и покладливостью характера. После битвы при Ваграме Меттерних был сделан австрийским министром ино-

¹ *Hormayr*. Kaiser Franz und Metternich, 1848; *Schmidt-Weissenfels*. Fürst Metternich, 1860; *Beer*. Fürst Klemens Metternich, 1877; *Mazade C. de*. Un chancelier d'ancien régime. Le règne diplomatique de M. de Metternich, 1889; *Надлер*. Меттерних и европейская реакция.

странных дел. В 1813 г. он старался своим посредничеством прекратить борьбу союзников с Наполеоном, которого склонял к принятию мирных предложений. В 1814 и 1815 гг. он был одним из наиболее влиятельных деятелей Венского конгресса, и с этого времени начинается та первенствующая роль, какую он играл в дипломатии, имея при себе в качестве правой руки своей известного Генца¹, в шутку прозванного *Untermetternich*'ом. В двадцатых годах Меттерних был сделан канцлером, а потом президентом министерских конференций по внутренним делам. Эти должности он занимал потом вплоть до 1848 г., неизменно и неуклонно придерживаясь крайне реакционного направления во внутренней и внешней политике. Свою дипломатическую ловкость Меттерних сумел проявить еще в эпоху господства Франции. Все его искусство заключалось в том, чтобы с терпением выжидать наступления благоприятных обстоятельств и уметь вовремя пользоваться ими. В эпоху падения Наполеона и Венского конгресса он сумел именно воспользоваться обстоятельствами к наибольшей выгоде для Австрии, сумел поднять ее международное значение и получить для нее достаточное количество «вознаграждений». Будучи с головы до ног человеком «старого порядка», он должен был раньше терпеть существование многих вещей, имевших революционное происхождение, но когда началась реакция против революции и всех вызванных ею изменений, он мог вполне проявить свои настоящие симпатии и основать всю свою дальнейшую политику на одном принципе легитимизма. Из всех тогдашних государственных людей он полнее других воплощал в себе принцип реакционной политики и неуклоннее, чем кто-либо, проводил его на практике. Вот почему после 1815 г. он был не просто австрийским министром иностранных дел, а, так сказать, руководителем международной политики во всей Европе. Император Франц I² должен был особенно дорожить таким министром. Он сам был человек замкнутый и бесстрастный, до педантизма преданный идее порядка и дисциплины, абсолютист до мозга костей и сторонник патриархального управления государством, веривший притом, подобно одному из своих предков³, в то, что Австрии принадлежит господство над миром до скончания веков. Поэтому Меттерних действовал в полном единодушии со своим государем, который, как и он сам, весьма подозрительно относился к национальным движениям, вызванным борьбой с Наполеоном. Либерализм, в какой бы форме он ни проявлялся, был Меттерниху ненавистен: Штейн, хлопотавший в эпоху войны за освобождение и во время Венского конгресса о единой и свободной Германии, казался ему настоящим якобинцем, император Александр I — чем-то вроде якобинца, и даже к его идее о Священном союзе Меттерних отнесся

¹ О нем: Haym (в *Allgem. Enc. Эрша и Грубера*), Schmidt-Weissenfels (1859), Mendelssohn-Bartholdy (1867), Fournier (Gentz und Cobenzl) и др.

² Соч. о нем: Gross-Hoffinger'a (1835), Normayr'a, Meynert'a (1872) и др.

³ Фридрих III, о чем см. т. I.

сначала даже весьма неблагосклонно. Такой человек, конечно, должен был сделаться опорой реакционеров во всех странах, а под его умелой рукой Священный союз прямо превратиться в орган реакции международного характера, тем более что само содержание акта этого союза как нельзя более соответствовало стремлениям реакции, с каким бы недоверием на первых порах ни относился Меттерних к этой «затее», бывшей личным делом Александра I. Склонить русского императора на сторону своей политики было одной из главных задач Меттерниха после 1815 г., особенно ввиду того значения, какое получила тогда Россия в международных делах Европы.

Последняя борьба с Наполеоном после неудачи его в России в 1812 г. действительно велась, так сказать, под нравственным предводительством России. Александр I довел успешно до конца дело освобождения Европы от владычества императора французов и после этого особенно хлопотал о том, чтобы и на будущее время сохранить европейский мир. Роль миротворца стала для него особенно заманчивой: у него-то и возникла мысль о необходимости тесного союза между монархами для полюбовного разрешения международных споров и о превращении конгрессов в своего рода постоянное учреждение для дальнейшего поддержания мира и согласия держав. Уже это одно давало возможность реакционной политике иметь на своей стороне Россию, но к тому же и в самой России началась после 1815 г. отчасти вследствие внутренних причин, отчасти под иностранным влиянием, весьма сильная реакция, которой подчинился и Александр I¹. Стремление к поддержанию порядка, установленного на Венском конгрессе, и мира между державами, с одной стороны, а с другой — реакционное направление, принятое и русским правительством, заставляли Александра I все более и более входить в виды Меттерниха, причем русский император начал считать себя связанным вдобавок условиями им самим придуманного Священного союза. Но когда последний только заключался, русский император был в совершенно ином настроении. Родившись еще в эпоху господства французской философии, в числе поклонников которой находилась его бабка, он получил по указанию последней воспитание в духе идей века. Насколько его действия соответствовали его либеральным заявлениям, другой вопрос, но около 1815 г. он думал, что его задачей должна быть поддержка конституционных учреждений, и на этом он основывал свою тогдашнюю политику, желая сделать ее популярной в общественном мнении Европы. Последняя борьба с Наполеоном, на которого смотрели как на деспота и тирана, оживила повсеместно стремление к свободе; сами правительства к тому же надавали своим подданным обещаний в этом смысле. Все это не могло не действовать на Александра I, тем более что в годы окончательной развязки с Наполеоном он находился под сильным влиянием Штейна. Присоединяя к

¹ Пытин А. Общественное движение в России при Александре I, 1885 (2-е изд.).

России Финляндию в 1809 г., Александр I сохранил за нею шведское государственное устройство. В 1814 г. он настоял, чтобы Франция получила от Людовика XVIII конституционную хартию. В 1815 г. он сам даровал конституцию Царству Польскому, несмотря на то что это не особенно нравилось Австрии и Пруссии, у коих были тоже польские подданные. В Германии и Италии Александр I равным образом тоже благоприятствовал конституционным учреждениям. Еще в 1818 г., открывая варшавский сейм, он в своей тронной речи просил новых подданных доказать, что либеральные учреждения не суть опасное обольщение, и выразил надежду распространить эти учреждения на все земли, подвластные его скипетру. Дальнейшие события показали, что Александр I был очень мало способен оставаться конституционным монархом: уже первая оппозиция, какую встретили на варшавском сейме правительственные предложения, наполнила его сердце горечью, охладила его к конституционным учреждениям и сблизила его с реакционерами, указывавшими на опасность либеральной политики. Но это явилось уже после, а в 1815 г., когда заключен был Священный союз, Александр I находил еще возможным покровительствовать либерализму: недаром же Меттерних заподозрил и сам Священный союз в либеральных стремлениях. С этой точки зрения нельзя смотреть на акт Священного союза, как на составленный прямо в реакционных целях. Но была в этом деле, впрочем, и другая сторона, действительно роднившая этот акт с общими стремлениями реакции. Натура Александра I была вообще весьма сложная, и между его нередко противоречивыми свойствами довольно заметно выдвигается своеобразная мечтательность, склонность к мистической религиозности. События 1812 г. очень сильно подействовали на него в этом направлении — особенно пожар Москвы, «осветивший его душу». Вместе с известным адмиралом Шишковым он стал усердно читать Библию: они толковали некоторые ее места как бы в смысле пророчеств о совершившихся событиях и нередко при этом плакали. О настроении Александра I в 1815 г. много говорит и его дружба с известной пиелисткой, баронессой Крюденер¹, в то время пожилой уже дамой, которая также участвовала в создании Священного союза. Урожденная Фитингоф, по матери внучка фельдмаршала Миниха, она восемнадцати лет вышла замуж за сорокалетнего вдовца, барона Крюденера, посланника в Пруссии, потом в Венеции. Супруги рано рассорились, и баронесса вела некоторое время рассеянную жизнь в Париже, имела роман с одним офицером и даже думала о разводе с мужем; потом еще раз ездила в Париж, где издала свой роман «Валерия», доставивший ей известность, чему она сама содействовала выдумкой модных костюмов à la Valérie. Овдовев и состарившись, г-жа Крюденер ударилась в мистику и пиетизм. В 1806 г. мы видим ее в качестве сестры милосердия в Берлине, где она сблизилась с королевой Луизой.

¹ О ней см.: *Eynard* (1849), *Capefigue*. La baronne de Krüdener et l'empereur Alexandre I, 1866.

В Карлсруэ она познакомилась с Гортензией Богарне, женой Людовика Бонапарта, но отсюда она была удалена великим герцогом за свое странное поведение в роли религиозной проповедницы. После падения Наполеона она разными аллегориями предсказала его возвращение, вторичное его царствование и окончательное низложение. Это сделалось известным Александру I, и при личном свидании г-жа Крюденер произвела на него сильное впечатление. Они жили одновременно в Гейдельберге, а после Ватерлоо — в Париже, вместе молились, читали, беседовали на религиозные и политические темы. Г-жа Крюденер стала придавать миссии Александра I религиозный характер, применяя к нему выражения из Апокалипсиса, называла его основателем тысячелетнего царства, ангелом мира и т. д. Как раз в это-то время Александр I обдумывал план общего союза государей и ей, как ближайшему своему другу, показал проект союза, на котором она и поставила заголовок «La Sainte Alliance». Когда Александр I уехал в Петербург, баронесса Крюденер поселилась в Швейцарии, где раздавала деньги бедным, миссионерствовала, писала брошюры на темы христианского социализма, пока не была вывезена через Германию в Россию. Здесь в 1821 г. она заступалась перед императором за греков, восставших против турецкого деспотизма, но настроение Александра I тогда уже коренным образом изменилось.

Священный союз был заключен монархами России, Австрии и Пруссии в Париже 26 сентября 1815 г. По старому стилю в этот день (14 сентября) празднуется Воздвижение креста Господня: Александр I нарочно выбрал именно этот день для подписания договора, долженствовавшего иметь религиозное значение. Ввиду краткости этого акта и характерности самой его редакции мы приводим здесь его целиком¹.

«Во имя Пресвятой и Неразделимой Троицы, Их Величества, император австрийский, король прусский и император российский, вследствие великих происшествий, ознаменовавших в Европе течение трех последних лет, наипаче же вследствие благодетельных, которые Божью Провидению было угодно излить на государства, коих правительства возложили свою надежду и упование на единого Бога, восчувствовав внутреннее убеждение в том, сколь необходимо подлежащий державам образ взаимных отношений подчинить высоким истинам, внушаемым законом Бога Спасителя, объявляют торжественно, что предмет настоящего акта есть открыть пред лицом вселенной их непоколебимую решимость, как в управлении вверенными им государствами, так и в отношениях ко всем другим правительствам, руководствоваться не иными какими-либо правилами, как заповедями сея святыя веры, заповедями любви, правды и мира, которые, отнюдь не ограничиваясь приложением их к частной жизни, должны

¹ Полное собрание законов, № 25943. Французский подлинник в первой части IV тома «Собрания трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами» проф. Ф.Ф. Мартенса.

ют, напротив того, непосредственно управлять волею царей и водительствовать всеми их деяниями, яко единое средство, утверждающее человеческие постановления и вознаграждающее их несовершенства».

«На сем основании их величества согласились в следующих статьях:

«Статья I. Соответственно словам священных писаний, повелевающих всем людям быть братьями, три договаривающиеся монарха пребудут соединены узами действительного и неразрывного братства и, почитая себя как бы единоземцами (*compatriotes*), они во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь (*assistance, aide et secours*); в отношении же к подданным и войскам своим они, как отцы семейств, будут управлять ими в том же духе братства, которым они одушевлены, для охранения веры, мира и правды (*justice*)».

«Статья II. Посему единое преобладающее правило да будет, как между упомянутыми властями, так и подданными их: приносить друг другу услуги, оказывать взаимное доброжелательство и любовь, почитать всем себя как бы членами единого народа христианского, поелику три союзные государя почитают себя аки постановленными от Провидения (*comme délégués par la Providence*) для управления тремя единого семейства отраслями, а именно Австриею, Пруссиию и Россиею, исповедуя таким образом, что Самодержец (*Souverain*) народа христианского, коего они и их подданные составляют часть, не иной подлинно есть, как Тот, Кому собственно принадлежит держава (*la puissance*), поелику в Нем едином обретаются сокровища любви, ведения и премудрости бесконечные, т. е. Бог, наш Божественный Спаситель, Иисус Христос, Глагол (*le Verbe*) Всевышнего, Слово (*la Parole*) жизни. Соответственно с сим, их величества с нежнейшим попечением убеждают своих подданных со дня на день утверждаться в правилах и деятельном исполнении обязанностей (*de se fortifier chaque jour davantage dans les principes et l'exercice des devoirs*), в которых наставил человека Божественный Спаситель, аки единственное средство наслаждаться миром, который истекает от доброй совести и который един прочен».

«Статья III. Все державы, желающие торжественно признать изложенные в сем акте священные правила (*les principes sacrés*), и кои почувствуют, коль нужно для счастья колеблемых долгое время царств (*des nations trop longtemps agitées*), дабы истины сии впредь содействовали благу судеб человеческих, могут всеохотно и с любовью быть приняты в сей Священный союз».

«Написан втрое и подписан в Париже, в лето благодати 1815-ое 14 (26) сентября. — Франциск. Фридрих-Вильгельм. Александр».

Таков знаменитый документ, получивший столь печальную известность в истории XIX в. Непохожий ни по содержанию своему, ни по форме на международные трактаты, он рассматривался впоследствии специалистами дипломатии и международного права с разных точек зрения, и в то время, когда одни специалисты не отказывали ему в значении настоящего трактата,

другие видели в нем, наоборот, лишь простую декларацию подписавших его трех монархов. Меттерних в своих мемуарах¹ рассказывает, что Александр I в первый раз говорил о заключении Священного союза лично с Францем I и Фридрихом-Вильгельмом III. Ни тот ни другой сначала не видели ничего хорошего в этой затее. Австрийский император, передавая Меттерниху собственноручный документ Александра I, прямо об этом и заявил своему министру. Прочитав рукопись, Меттерних тотчас же увидел в ней лишь «филантропическую затею под покровом религии», увидел, что в ней нет предмета для заключения трактата между государями и что, кроме того, в документе были положения, которые «с религиозной точки зрения могли быть дурно истолкованы». Франц I велел Меттерниху поговорить об этом деле с прусским королем, но и Фридрих-Вильгельм III сказал, что предложение русского императора ему не нравится, прибавив, однако, что отвергнуть его было бы неудобно. Оба они нашли поэтому нужным сделать в тексте несколько изменений, но и с изменениями, замечает Меттерних, документ не особенно был по вкусу Францу I. Затем в качестве уполномоченного обоих монархов австрийский дипломат отправился к Александру I и с большим трудом убедил его в необходимости кое-что изменить в проекте, а кое-что и совсем из него выкинуть. Между прочим он указывал на неблагоприятные толкования, коим должно будет подвергнуться «это, по меньшей мере, бесполезное предприятие». После этого, несмотря на нерасположение свое к проекту (*malgré l'éloignement naturel que lui inspirait le projet*), Франц I подписал документ. «Вот, — говорит Меттерних, — история Священного союза, который даже по мысли своего виновника должен был быть лишь простой моральной манифестацией, а в глазах других двух государей, давших свои подписи, не имел и этого значения». Меттерних решает даже прибавить, будто «впоследствии о Священном союзе никогда больше не заходило да и заходить не могло речи между кабинетами». «Одни партии, враждебные государям, — продолжает он, — лишь и ссылались на этот акт, пользуясь им, как оружием, для того, чтобы набросить тень подозрения и клеветы на самые чистые намерения своих противников». Меттерних утверждает далее, что «Священный союз вовсе не был основан для того, чтобы ограничивать права народов и благоприятствовать абсолютизму и тирании в каком бы то ни было виде. Этот союз, — говорит он еще, — был единственно выражением мистических стремлений императора Александра и приложением к политике принципов христианства. Мысль о Священном союзе возникла из смеси либеральных идей, религиозных и политических... Никто, — заключает Меттерних свой рассказ, — лучше меня не знает всего того, что относится к этому пустому и трескучему документу» (*ce monument vide et sonore*). Тем не менее впоследствии австрийский министр весьма искусно эксплуа-

¹ Mémoires documents et écrits divers laissés par le prince de Metternich, chancelier de cour et d'état. T. I. C. 210–212.

тировал этот «пустой и трескучий документ». Отчасти для того, чтобы сделать удовольствие Александру I, отчасти присоединяясь к самой мысли, положенной в основу акта, под ним подписались впоследствии и другие европейские государи (король французский, король испанский и т. п.); и только принц-регент английский, заменявший сумасшедшего Георга III, отказался от сделанного ему предложения формальным образом примкнуть к союзу, указав на то, что договор был заключен прямо государями и ими же подписан, тогда как британская конституция требует, чтобы трактаты были подписаны ответственными министрами. Это, впрочем, не помешало и английской политике того времени быть реакционной — в духе Священного союза. Уклонился от подписания документа и папа, заявив, что ему нечего присоединяться к принципам, которые он всегда признавал. За этими исключениями Священный союз был признан всеми государствами, даже Швейцарией и немецкими вольными городами. Только один турецкий султан, как государь нехристианский, не был допущен в члены союза.

Такой успех идей, положенных в основу Священного союза, объясняется тем, что само содержание этого акта как нельзя более соответствовало настроению тогдашних правительств. Собственно говоря, содержание документа, составленного Александром I, отличалось крайней неопределенностью и было настолько растяжимо, что практические выводы из него можно было делать разные, но в то же время общий дух документа благоприятствовал именно стремлениям реакции. В акте Священного союза мы видим полнейшее смешение идей, относящихся, в сущности, к разным категориям — религии, морали, права и политики, но, во всяком случае, религия и мораль вытесняют право и политику из тех отношений, где последние должны были бы собой все определять. Документ исходил из легитимистического принципа о божественном происхождении власти государей и делал отсюда вывод, что между государями и народами отношения должны быть чисто патриархальными: одни должны управлять в духе «религии, мира и справедливости», а другим остается лишь повиноваться, так как о правах подданных документ совсем умалчивал. С другой стороны, международный союз в этом акте рассматривался как одна и та же христианская нация, т. е. возобновлялась чисто средневековая точка зрения, созданная папским католицизмом, причем государи за себя и за свои народы обещали друг другу помощь и поддержку. Документ, однако, не определял точным образом, когда и каким образом они должны исполнять свои союзные обязанности, касающиеся помощи и поддержки, а это умолчание открывало возможность толкования акта в том смысле, что помощь и поддержка обязательны во всех тех случаях, когда подданные начнут отказывать в повиновении своим законным государям. Практическое применение Священного союза было именно таково; это как нельзя яснее формулировал сам же его виновник, Александр I, в разговоре своем с французским уполномоченным на Веронском конгрессе, Шатобриан-

ном. «Я, — сказал ему русский император, — покидаю дело Греции потому, что усмотрел в войне греков революционный признак времени. Что бы ни делали для того, лишь бы стеснить Священный союз в его деятельности и заподозрить его цели, я от него не отступлюсь. У каждого есть право на самозащиту, и это право должны иметь также и монархи против тайных обществ; я должен защищать религию, мораль и справедливость». В этом заявлении уже ясно проглядывает основная мысль эпохи — мысль о борьбе с революцией под знаменем легитимизма, ибо, рассматривая распрю между христианами-греками и их государем, принадлежавшим к религии, враждебной христианству, как бунт мятежных подданных против своего законного монарха, Александр I уже совершенно упускал из виду христианский характер Священного союза и имел в виду лишь необходимость подавления революции, каково бы ни было ее происхождение. Таким образом, если в намерения Александра I и г-жи Крюденер в 1815 г. вовсе не входило создать международный союз для противодействия политической свободе, то созданный по их мысли Священный союз в конце концов все-таки сделался главным орудием общеевропейской реакции против стремления народов к свободным политическим формам.

Для международной реакции найден был и принцип — поддержание легитимных правительств. Этот принцип уже применялся на Венском конгрессе, хотя и с значительными отступлениями в пользу другого принципа, а именно политического равновесия, идеей коего жила дипломатия XVIII в. Первым защитником начала легитимизма явился на Венском конгрессе французский уполномоченный Талейран. Он рекомендовал именно «поставить, как основание будущего спокойствия Европы, принципы, которые одни только могли обеспечить внутреннее спокойствие держав и воспрепятствовать в сношениях между державами тому, чтобы последние не находились исключительно под господством силы». Для этого он находил нужным «освятить принцип законности правительств», ибо, доказывал он, «лишь легитимные правительства могут быть прочными, незаконные же, имея поддержку только в силе, падают сами собою, как только исчезает эта поддержка, предоставляя нации на жертву революциям». «Всякое легитимное право, — писал он в своей ноте к Меттерниху, — должно быть сделано священным, всякое же честолюбие или несправедливое предприятие должно найти свое осуждение и вечное препятствие к своему осуществлению в выраженном признании и в формальной гарантии тех самых принципов, долгим и печальным забвением которых была революция». Венский конгресс, однако, не руководился чистым принципом легитимизма, ибо во многих отношениях он действовал на основании права завоевания, но особенно на основании политического равновесия, стремясь упрочить мир искусным распределением сил между европейскими государствами. Но если державы не руководствовались на Венском конгрессе одним принципом легитимиз-

ма, то после того, как территории были окончательно перераспределены между ними, этот принцип действительно делается уже руководящим, акт же Священного союза дал ему впервые своеобразную санкцию. Если первая реставрация Бурбонов во Франции имела еще некоторое подобие свободного призвания Людовика XVIII французской нацией, то вторая реставрация была совершена союзниками уже прямо во имя принципа легитимизма. С течением времени принцип этот делал все большие и большие успехи, пока, наконец, не выработались теория и практика насильственной поддержки существующего порядка во всей Европе от имени международного союза, в котором по теории должны были участвовать все государства.

В программу этого союза с самого начала входили периодические конгрессы. 20 ноября 1815 г. четыре державы, игравшие наиболее видную роль в низложении Наполеона — Австрия, Англия, Пруссия и Россия, — заключили договор, в силу коего, предвидя возможность во Франции новой революции, которая сделалась бы опасной и для внутреннего спокойствия всей Европы, обязывались оставаться в союзе и после выведения их войск из Франции и «возобновлять в определенные сроки собрания для рассмотрения общих дел и мер, каковые в каждый данный момент были бы признаны наиболее благодетельными для спокойствия и благосостояния народов и мира всей Европы». Этим договором Франция была, так сказать, взята под опеку Священного союза. Между тем уже в 1817 г. испанский король Фердинанд VII просил у Священного союза помощи против возмущившихся испанских колоний в Америке, а в начале 1818 г. Александр I приглашал другие державы принять коллективные меры против этих колоний, причем русский посланник при мадридском дворе смотрел сквозь пальцы на все неистовства испанской реакции, хотя в то же самое время в других странах, к неудовольствию Австрии, Пруссии и даже Англии, русское правительство поддерживало еще либеральные стремления. Реакционные министры Австрии, Англии и Пруссии в это время старались действовать на Александра I, чтобы склонить его на свою сторону, тем более что в Германии не улеглось еще движение, вызванное войной 1813 г.¹, и, кроме того, в середине 1818 г. брат Людовика XVIII и его наследник граф д'Артуа прислал русскому императору секретную ноту, в коей представлял Францию чуть не накануне новой революции. Осенью 1818 г. собрался конгресс в Ахене, на котором четверной союз (Австрия, Англия, Пруссия и Россия) решил очистить французскую территорию от иностранной оккупации и принять Францию, как пятую великую державу, в свой союз. Так образовалась знаменитая пентархия, которая отныне — в случае внутреннего согласия, — конечно, имела полную возможность навязывать свою волю второстепенным государствам, хотя в составленном на конгрессе протоколе (15 ноября) и

¹ О вартбургском празднике 1817 г. см. в следующей главе.

было сказано, что названные державы никогда не станут вмешиваться в чужие дела, если на то не будет формального приглашения со стороны заинтересованного государства. В особой декларации великие державы, кроме того, заявляли во всеобщее сведение, что все усилия соединенных между собой монархов будут клониться лишь к тому, чтобы содействовать миру и внутреннему благосостоянию государств и «пробуждению религиозных и моральных чувств, власть коих была значительно ослаблена бедствиями последних времен». Генц, эта правая рука Меттерниха, игравший роль секретаря конгресса, очень хорошо выразил общий характер совещаний в следующих строках: «Здесь вовсе не поднимались вопросы ни о формах правления, ни о представительной системе, ни о поддержке или изменении дворянских привилегий, ни о свободе печати, ни о чем таком, что касается интересов религии. Все старательно избегали того, чтобы дать пищу зложелательству или нескромности, включая в документы признания или заявления, которые каждый хранил в глубине души, но провозглашение которых могло бы вызвать неуместные толкования или враждебные нападки. Сделали гораздо лучше. Государи (австрийский, прусский и русский) и их министры поняли то, что им подсказывал их общий интерес. Они живо почувствовали необходимость взаимного доверия и более тесного соглашения, чем то, какое могли бы установить договоры; они пожертвовали второстепенными интересами и заставили умолкнуть все другие соображения перед высшим долгом — предохранить власть от крушения, спасая народы от их же собственных заблуждений. Не заключая лишних обязательств, они вполне и совершенно сошлись на том, как действовать во время бури». События двадцатых годов показали, что Генц верно понял значение ахенского конгресса¹.

Мы не станем говорить здесь о событиях 1819 г. в Германии, подавших повод к сильной репрессии против всякого либерализма в этой стране и усиливших реакционную политику Священного союза², и остановимся лишь на южнороманских революциях и на конгрессах, созывавшихся для решения вопроса об этих революциях.

Посмотрим прежде всего, какие причины вызвали политические смуты на Пиренейском и Апеннинском полуостровах в начале двадцатых годов. Вопрос этот не представляет больших трудностей, так как совершенно ясно, что означенные революции были не чем иным, как прямыми следствиями крайностей той реакции, которая произошла в Испании и Италии после восстановления старых отношений.

Война с французами в Испании продолжалась до самого падения империи Наполеона с переменным счастьем для обеих сторон. В самой испанской нации образовались в это время две партии: либеральная и реакционная («раболопная»), и между ними началась борьба. После того как либералы взяли

¹ *De Pradt. L'Europe aprs le congrs d'Aix-la-Chapelle.*

² Убиение Коцебу и карлсбадские постановления, о чем см. в следующей главе.

верх и составили конституцию 1812 г., духовенство стало в самые враждебные отношения к либералам, стараясь поселить в народе недоверие к их конституции. Правительство Иосифа Бонапарта упразднило в Испании монастыри, а либеральные кортесы не только не думали их восстанавливать, но уничтожили еще некоторые налоги, произвольно установленные духовенством в свою пользу. Инквизиция точно так же была упразднена Наполеоном, и кортесы не сочли нужным ее восстановить. На почве этих вопросов между либералами и «сервилами» возникли раздоры, грозившие перейти в общее междоусобие. Герцог Веллингтон, явившийся с английским войском для оказания помощи испанцам и одно время имевший значительный успех, поддерживал либералов, но в то же время предсказывал, что после освобождения Испании от чужеземной власти новая конституция едва ли доставит стране внутренний мир: слишком уже резко стояли друг против друга две партии, из коих одна стремилась к восстановлению всех старых порядков, а другая с чисто якобинским фанатизмом хотела утвердить, наоборот, господство новых политических и общественных принципов. Внутренняя борьба все более и более обострялась, и в начале 1814 г., когда происходили выборы в кортесы, та страстность, с какою враждебные партии в газетах и на собраниях нападали одна на другую, предвещала еще новые потрясения. Между тем Веллингтон одержал победу над французами и даже вторгся в Южную Францию. Наполеон отпустил тогда Фердинанда VII из плена, и законный король Испании вернулся в свое королевство, освободившееся наконец после нескольких лет отчаянного сопротивления французам от иноземного владычества. Вступая на испанскую территорию, Фердинанд VII обратился к регентству с письмом, в коем обещал признать все, что сделано было кортесами, как согласное якобы и с его намерениями. Либералы были в восторге от такого заявления и везде по пути короля устраивали ему торжественные народные праздники. Абсолютисты и клерикалы, наоборот, пустили в ход все какие у них были средства, чтобы убедить короля в необходимости отменить конституцию 1812 г. и с нею другие нечестивые и вредные распоряжения «врагов религии и отечества». Они указывали Фердинанду VII на то, что и народ, и войско также желают восстановления старых порядков в государстве и церкви. Еще по дороге в столицу, в Валенсии, 4 мая 1814 г. король издал манифест, коим закрывал заседания кортесов, собравшихся в Мадриде, и объявлял декреты кортесов недействительными, как изданные небольшой партией, насильно захватившей власть, но вместе с тем обещал ввести новую, более умеренную конституцию. Накануне своего въезда в Мадрид он даже велел арестовать около тридцати наиболее видных либералов, а затем составил министерство из самых крайних реакционеров. Громадное большинство испанской нации с восторгом приветствовало восстановление абсолютизма. Либералы повсеместно стали подвергаться насмешкам, оскорблениям и угрозам, тем более что духовенство старалось представить либералов как сторонников французских нечестивых

идей, как врагов веры и отечества. Фердинанд VII окончательно убедился в том, что ничто ему не может помешать в полной реставрации старины, и не обращал внимания на предостережения английского правительства, советовавшего ему быть осмотрительным и сдержанным. В Испании началась полная реакция. Духовенству и дворянству были возвращены прежние их привилегии с изъятием от налогов. Монастыри и инквизиция были восстановлены на прежних основаниях, и иезуитам был открыт доступ в страну. Все реформы, совершенные французами и кортесами, при этом, конечно, отменялись, а на виновников этих реформ, на всех состоявших на службе у Иосифа Бонапарта или державших сторону либеральных кортесов, как на «офранцузенных» (*afrancesados*) воздвигнуто было страшное гонение. Великое множество либералов было заключено в тюрьмы, где их подвергали пыткам и истязаниям; начались казни либералов иногда целыми десятками за один раз; имения заключенных и казненных конфисковывались. Кто только мог, спасался бегством за границу. Другие в отчаянии бросались на путь заговоров и восстаний, но заговоры открывались, попытки восстаний подавлялись, виновников казнили, и все это лишь усиливало жестокость реакции. С другой стороны, правительство всячески награждало ренегатство, и под влиянием страха перед шпипнством, доносами, домашними обысками, арестами, политическими процессами, тюрьмами и казнями многие либералы перешли тогда на сторону реакции и стали доказывать свою преданность королю особым усердием в деле подавления либерализма. Фердинанд VII, преданный грубой чувственности и вполне опутанный своими придворными советниками, проявил в это время всю жестокость своего нрава. Иностранные послы не переставали советовать ему большую умеренность, но он очень хорошо понимал, что соперничество держав из-за исключительного влияния при мадридском дворе не позволит им принять какие-либо коллективные меры, и он не ошибался. Например, в то самое время как посланники России в Германии и Италии поддерживали еще либеральные принципы, русский посланник при Фердинанде VII, исполняя предписания Александра I, сильно желавшего иметь Испанию на своей стороне, не обращал ни малейшего внимания на то, что делалось тогда испанским правительством. Между тем новые правители Испании заботились только об искоренении либерализма и о восстановлении старины. Все остальное было в крайнем упадке и расстройстве — и администрация, и финансы, и армия, и судебная часть, и народное образование, и промышленность, и торговля. Тяжесть реакционного режима все более и более давала себя чувствовать, и первые неудачи заговоров и восстаний не охладили надежд на то, что лишь тайные общества¹, опирающиеся на недовольную армию, будут в состоянии освободить Испанию от клерикальной и абсолютистской тирании.

¹ Заметим вообще, что в эпоху Реставрации повсюду были очень распространены тайные общества. *De la Hodde. Histoire des sociétés secrètes; Duchamp. Les sociétés secrètes et la société.*

Реакция совершалась и в Португалии. Во время наполеоновских войн Браганцская династия покинула Лиссабон и поселилась в Бразилии, где и осталась после того, как в Португалии были восстановлены ее права. Португальцы были очень недовольны тем, что их король, живя в Бразилии, как бы превратил тем самым их королевство в провинцию, зависящую от колонии, и что лиссабонское регентство должно было во всем подчиняться английскому главнокомандующему, лорду Бересфорду, собственно говоря, на самом деле и управлявшему королевством. Поэтому и в Португалии образовалась либеральная партия, стремившаяся путем тайной организации и пропаганды подготовить восстание против англичан и введение свободных учреждений. Эта партия нашла успех и в армии, и когда несколько португальских полков отказались отправиться по зову короля в Бразилию, лорд-наместник решил положить конец замыслам либералов. В данном случае он получил поддержку со стороны духовенства, которое всячески вооружало народ против либералов («масонов»). Между прочим, при помощи регентства оно распространяло в массах населения катехизис, доказывавший необходимость абсолютизма и инквизиции. В 1817 г. было совершено в Португалии несколько казней, а в 1818. г. изданы законы против политических клубов, тайных обществ и какой бы то ни было либеральной агитации в речах, в печати и т. п. Но недовольство росло, а тайные общества не прекращали своей деятельности, рассчитывая, как и в Испании, главным образом на брожение, происходившее в армии.

Аналогичные явления представляет нам и внутренняя жизнь Италии. Отдельные части последней подверглись гораздо большему еще действию Французской революции и наполеоновского режима, чем государства Пиренейского полуострова. Здесь под влиянием всех перемен, каким подвергался Апеннинский полуостров, возникла даже мысль об объединении всей Италии в одно королевство. Идея эта имела многочисленных приверженцев особенно среди молодежи, служившей под знаменами Наполеона, и между членами тайного общества «угольщиков», или карбонариев¹. Можно было думать, что Наполеон, назвав своего сына «королем римским», предполагал превращение всей Италии в отдельное королевство. Зять Наполеона, Мюрат, царствовавший в Неаполе, был этим очень недоволен и в эпоху падения империи вступил в сношения с врагами своего шурина, надеясь при их содействии осуществить в свою пользу мысль о едином итальянском государстве. Известно, что это ему не удалось. В 1814 г. в большей части Италии совершилась реставрация легитимных династий, и само существование Мюрата в качестве короля Неаполя подверглось сомнению. В 1815 г. в эпоху «Ста дней» он сделал новую попытку образования единой и конституционной Италии, но потерпел поражение и должен был бежать сначала в Южную Францию,

¹ См.: *Sainte-Edme*. Constitution et organisation des carbonari; *Nô C.* Les carbonari.

потом на остров Корсику. В Неаполе австрийцы восстановили Фердинанда IV, но Мюрат все еще надеялся на возвращение к власти. Осенью 1815 г. он сделал дерзкую попытку снова овладеть короной, но был взят в плен и казнен¹. Неаполитанское правительство, вступив на путь реакции, скоро навлекло на себя своим деспотизмом ненависть патриотов, которые в Мюрате, наоборот, стали видеть мученика за идею единой и свободной Италии, все более и более входившую теперь в сознание образованных классов общества. Венский конгресс утвердил реставрацию легитимных династий в Италии и, собственно говоря, предал весь полуостров в руки Австрии, а последняя поставила своей задачей всячески препятствовать проявлению во всей Италии национальных и конституционных стремлений. В Ломбардо-Венецианском королевстве, присоединенном к Австрии, французские учреждения и порядки были заменены австрийскими и управление вверено было немецким чиновникам, причем вся общественная жизнь была подчинена строгому полицейскому надзору, а печать — самой реакционной цензуре. Австрийская система управления распространилась и на другие итальянские государства, как то: Тоскану, Парму, Модену и Церковную область. Но особенно интересно бросить взгляд на реакцию в королевствах Неаполитанском и Сардинском, где в начале двадцатых годов и произошли революционные движения.

Французы дважды свержали Фердинанда IV с престола. В первый раз это случилось в 1799 г., когда Неаполь был превращен в Парthenопейскую республику, но тогда французское господство было кратковременно, и вернувшись в том же году Бурбоны начали жестокую реакцию против всего, что произошло за время их отсутствия. Потом королевство было снова завоевано французами и получило короля из рук Наполеона, сначала в лице его брата Иосифа, затем в лице Мюрата. За весь период этого второго французского владычества в Неаполе Фердинанд IV жил в Сицилии под защитой английского флота. Здесь он также начал вооружать против себя население самыми дикими мерами, направленными против возможности измены, но английский посланник и начальник всех английских гарнизонов в сицилийских городах, лорд Бентинк, настоял на отмене произвольных мер и на созвании государственных чинов, которые выработали бы новую конституцию. Фердинанду IV пришлось подчиниться, и в 1812 г. Сицилия получила новую конституцию, составленную по образцу английской и утвержденную сыном короля Франческо, коему по настоянию Бентинка король передал власть якобы вследствие своего нездоровья. В 1815 г. Фердинанд IV вернулся в Неаполь, приняв старый титул короля Обеих Сицилий, который и был признан за ним Венским конгрессом. Своей задачей он поставил слить воедино Неаполь и Сицилию, до того времени управлявшиеся отдельно, и в качестве монарха объединенного королевства стал титуловаться как Фердинанд I. Вместе с

¹ Об этом см. соч. Helfert'a, указанное выше.

этим он заключил формальный договор с Австрией, коим обязывался не допускать у себя порядков, несогласных с основными принципами неограниченной монархии или с началами, положенными в основу управления итальянских провинций Австрии. Поэтому во всех своих действиях Фердинанд I руководствовался указаниями из Вены, и с отменой сицилийского парламента в королевстве Обеих Сицилий водворился настоящий абсолютизм, во всем копировавший австрийские образцы. Так как мстительная супруга Фердинанда I королева Каролина умерла еще в 1814 г., а сам король не отличался личной жестокостью, то на первых порах реакция в Неаполе не принимала еще крайнего характера. Можно даже сказать, что король, подражая в этом отношении Людовику XVIII, сдерживал рвение дворянства и духовенства в их стремлении к реставрации старины. Отчасти действовал тут и страх перед новой революцией, особенно ввиду дерзкой попытки Мюрата, и благоразумие предписывало некоторую осторожность. Мало-помалу, однако, и здесь реакция приняла такой же характер, как и в остальных частях Италии. В 1818 г., в силу конкордата с папой, Фердинанд I отменил все церковные реформы, произведенные французами, более чем удвоил число епископов, восстановил монастыри, ввел снова духовные суды и духовную цензуру и т. п. С другой стороны, правительство с большим недоверием относилось ко всем офицерам и чиновникам, служившим Мюрату, и очень многих уволило в отставку. Как и в других южнороманских государствах, и в Неаполе реакция совершенно расстроила администрацию, судопроизводство и финансы страны, чем возбудила против правительства население, охотно уходившее в шайки бандитов, которые особенно усилились в это время. Недовольные элементы общества все более и более примыкали теперь к тайной организации карбонариев, старавшейся пропагандировать свои идеи о просвещении и свободе особенно среди недовольной армии. Произошла реакция и в Сардинском королевстве, король которого после присоединения Пьемонта к Франции до 1814 г. проживал на острове Сардинии, получая пенсию от английского правительства. Едва он вернулся в Турин, как и сам он, и местное дворянство начали уничтожать следы французского господства и восстанавливать старину, как будто Пьемонт 1814 г. должен был быть таким, каким Виктор-Эммануил его оставил за несколько лет перед тем. Здесь дело доходило даже до того, что отменялись решения судов, постановленные во время отсутствия короля, и объявлялись незаконными браки, заключенные по кодексу Наполеона. Кроме того, предписывалось, например, носить платье прежнего покроя; решено было не исправлять дорог, проложенных французами; хотели было разрушить мост через По, построенный по повелению Наполеона; ботанический сад, заведенный французами в Турине, был прямо уничтожен; преподаватели учебных заведений, назначенные французским правительством, увольнялись. Во главе этой реакции стояли духовенство и эмигранты, требовавшие возвращения всех конфискованных у них имений.

Само австрийское правительство советовало Виктору-Эммануилу умерить пыл своих советников: реакция хватала через край даже в глазах Меттерниха. Среди населения такие меры вызывали сильное неудовольствие, тем более что благодаря соседству с Францией и долговременному нахождению под ее властью Пьемонт более других частей Италии подчинялся действию новых идей, происходивших из Франции. Они были весьма сильны преимущественно среди офицеров, служивших под знаменами Наполеона, и в учащейся молодежи. На сторону либералов склонялся и предполагаемый наследник престола принц Кариньянский, родственник короля, не имевшего, равно как и брат его, мужского потомства; ввиду свободных идей принца реакционеры думали уже об изменении закона о престолонаследии в пользу моденского герцога, бывшего зятем Виктора-Эммануила.

Таким образом, и на Пиренейском, и на Апеннинском полуостровах с 1814 г. совершилась абсолютистическая и клерикально-аристократическая реакция под знаменем легитимизма. Своей жестокостью повсюду она вооружила против себя либеральные круги общества, а неумелое хозяйничанье реакционеров весьма скоро привело в полное расстройство все внутренние дела, что стало тяжело отзываться и на народных массах. В числе недовольных повсеместно была и армия: на нее особенно стали рассчитывать тайные общества, которые начали организовываться более или менее повсеместно с целью произведения государственных переворотов. Нужно, однако, заметить, что народные массы, особенно сельское население, находились под сильным влиянием духовенства, а потому в нем либералы не находили достаточной поддержки.

В 1820 и 1821 гг. на Пиренейском и Апеннинском полуостровах последовал целый ряд революций: в январе 1820 г. — в Испании, в июле того же года — в Неаполе, а также и в Сицилии; в августе — в Португалии, наконец, в марте следующего года — в Пьемонте.

Дело началось в Испании. Мы уже упоминали, что испанские колонии в Южной Америке проявили стремление к независимости. В 1808—1814 гг. они не хотели признавать ни Иосифа Бонапарта, ни кортесов, а когда произошла реставрация Фердинанда VII, то не желали вернуться и в прежнее положение по отношению к метрополии. Фердинанд VII рассчитывал на то, что ему поможет усмирить мятежные колонии Священный союз, и Александр I склонялся к этой мысли; на Ахенском конгрессе даже заходила речь об опасности, какую представляли для монархического принципа политические движения в американских колониях, принявшие прямо республиканское направление. В 1819 г. испанское правительство решилось, наконец, предпринять экспедицию в Южную Америку и с этою целью стянуло армию к Кадиксу, где сосредоточен был и флот, который должен был отвести ее в Новый Свет. Армия, плохо получавшая жалованье и не особенно охотно смотревшая на предполагавшуюся экспедицию, была очень недо-

вольна, а политические агитаторы, воспользовавшись тем, что отправление кораблей замедлилось вследствие некоторых неисправностей, начали деятельно привлекать на свою сторону офицеров с целью составления заговора. Во главе задуманного предприятия стали двое военных — Рафаель Риго и Антонио Квируга, но заговор был открыт, и Квируга взят был под стражу. Тогда Риго решился действовать один. 1 января 1820 г. он собрал свой отряд, прочитал ему конституцию 1812 г. и потребовал, чтобы солдаты принесли присягу на верность этому основному закону государства. Затем он арестовал главнокомандующего со всем его генеральным штабом и освободил Квиругу, который после этого и принял на себя главное начальство. Инсургенты обратились к народу с манифестами от имени «национальной армии», приглашая его свергнуть иго деспотизма и ввести конституцию, но народ сначала не принимал никакого участия в восстании, и «пронунсиamento» получило быстрый успех только в одних войсках. При помощи армии либералы стали повсюду устраивать конституционные хунты (союзы), захватывавшие власть в отдельных городах, прогонявшие прежних чиновников и выпускавшие на свободу заключенных в тюрьмах инквизиции. Правительство совершенно растерялось. Когда и в столице обнаружилось волнение умов, Фердинанд VII вынужден был присягнуть конституции 1812 г. и заменить придворных и духовных на всех важнейших должностях либералами. 9 июля собрались в Мадриде кортесы, в коих немедленно образовалась радикальная партия, получившая название «экзальтированной» (*exaltados*): ее образцом были якобинцы, и она решилась прямо действовать крайними средствами. В первый же год революции была уничтожена инквизиция, дворец которой в Мадриде был разрушен самим народом, были опять уничтожены и монастыри, причем их имуществами завладело государство, была ограничена компетенция епископских судов, исчезли старые аристократические привилегии и т. п. Фердинанд VII разыгрывал роль конституционного короля, в глубине души ненавидя и конституцию, и все декреты, изданные кортесами, и самих либералов, как «экзальтированных», так и «умеренных» (*moderados*). Но против революции мало-помалу образовалось противодействие, во главе коего стало духовенство. Оно объявило веру в опасности, а короля пленником у безбожных либералов и стало организовывать вооруженное сопротивление кортесам, так называемую «армию веры». Скоро испанская нация разделилась на два крайние лагеря, и между ними началась ожесточенная борьба.

Известие об испанской революции произвело сильное впечатление на неаполитанских карбонариев. Они тоже имели сторонников среди недовольных военных: между ними особенно выдвигался генерал Гульельмо Пепе, когда-то отличившийся на службе у Мюрата и потому бывший в подозрении у правительства. Салернские карбонарии составили декрет о назначении его главнокомандующим и вождем революции, но он некоторое

время колебался примкнуть к движению. Между тем в ночь с 1 на 2 июля стоявшие в Ноле кавалерийские поручики Морелли и Сильвати провозгласили конституцию, двинулись оттуда с небольшим отрядом на Авеллино и увлекли за собой тамошний гарнизон и гражданские власти. После этого Пепе дал согласие взять на себя главное начальство над инсургентами, поставившими теперь своей задачей вынудить у короля введение испанской конституции, о которой, впрочем, большинство не имело почти никакого понятия. Против мятежников король выслал войско под начальством генерала Барраскозы, но он сам принадлежал к либеральной партии, да и не полагался на верность солдат королю, так как начавшееся в Ноле движение весьма быстро охватило все государство и армия поддавалась общему увлечению. Фердинанду I осталось только уступить. Сначала он думал ограничиться одними неопределенными обещаниями, но когда волнение, произведенное карбонариями в самой столице, достигло до королевского дворца, он поспешил передать правление наследнику престола, герцогу Франческо Калабрийскому, который 7 июля и объявил введение в королевстве Обеих Сицилий испанской конституции. Через день после этого (9 июля) Пепе вступил во главе мятежного войска в Неаполь, а еще несколько дней спустя и сам король торжественно присягнул на верность конституции (13 июля). С материка движение перешло на остров Сицилию: в середине июля революция вспыхнула и в Палермо, где произошли сцены самой дикой анархии, а оттуда революция распространилась и на другие города. В Сицилии образовалось временное правительство под начальством князя Виллафранка, которому, однако, не удалось успокоить расхोdivшиеся народные страсти. В Неаполе известие о палермских событиях принято было с неудовольствием. В Сицилию было послано неаполитанское войско для усмирения народных волнений и подчинения острова, обнаружившего стремление к самостоятельности, общей конституции. Распря между двумя главными частями королевства сильно ослабляла либеральную партию. Наконец остров был покорен, и 1 октября 1820 г. в Неаполе был открыт общий парламент.

В августе вспыхнула революция и в Португалии. Она началась 23-го числа в Оporto, где главным действующим лицом явился полковник Сепульведа. Опираясь на недовольных офицеров и солдат своего отряда, он учредил временное правительство под председательством графа Сильвейры: оно должно было управлять страной от имени отсутствовавшего короля и созвать немедленно кортесы для составления конституции. Примеру Оporto последовали Лиссабон и другие города, всюду отказывая в повиновении английским военачальникам. В начале 1821 г. в столице государства собрались кортесы и выработали (9 марта) конституцию, которая своим радикализмом превосходила даже испанскую конституцию 1812 г. Около того же времени и Бразилия потребовала у короля Иоанна VI конституцию, на что он отвечал обещанием ввести и здесь то государственное устройство, какое будет выра-

ботано лиссабонскими кортесами. После этого он оставил Рио-де-Жанейро, назначив правителем Бразилии сына своего, дона Педро, и возвратился в Лиссабон, где и утвердил составленную кортесами конституцию.

Последним в ряду этих революционных движений был либеральный переворот в Пьемонте, но он совершился уже после того, как австрийцы двинулись усмирять неаполитанскую революцию. Пьемонтские либералы поставили себе целью объединить Италию на основе все той же испанской конституции 1812 г. Руководил ими майор гр. Сантароза, который в начале марта 1821 г. вошел в сношения с либеральным принцем Карлом-Альбертом Кариньянским, предполагаемым наследником престола, предложив ему провозгласить Виктора-Эммануила королем Северной Италии и объявить войну Австрии. Между тем заговорщики отправились в разные города (Алессанрию, Пиньеролу, Верчелли), где стояли гарнизоны, увлекли их за собой, провозгласив испанскую конституцию и королевство Итальянское и назначив временную юнту для заведования делами Италии, пока не будет созвана национальная юнта¹. Вскоре за тем инсургенты завладели Турином, но это случилось уже как раз в то время, когда сардинский уполномоченный на Лайбахском конгрессе, граф Сан-Марсано, приехал в столицу королевства и объявил Виктору-Эммануилу, что от его имени он обязался перед конгрессом не допускать в Италии введения конституционного образа правления. Король тогда отрекся от престола (13 марта) в пользу своего брата, жившего в то время в Модене, а до его приезда назначил регентом принца Кариньянского, ведшего себя до этой минуты крайне нерешительно. Хотя под давлением либералов принц и согласился на введение испанской конституции, но ни за что не хотел начинать войны с Австрией. Узнав от нового короля, бывшего большим поклонником Меттерниха, что в его глазах все либералы — изменники и преступники, и получив от него прямое приказание отправиться в Наварру, где находились войска, не примкнувшие еще к революции, принц Кариньянский тайком оставил Турин (21 марта) и объявил потом из Наварры, что протестует против насилия, которое над ним было совершено, слагает с себя регентство и приглашает войска оставаться верными королю.

Все эти революции сильно встревожили Священный союз. Уже в марте 1820 г. Александр I предложил, чтобы пять держав приняли какое-либо решение для восстановления порядка в Испании, хотя бы для этого пришлось прибегнуть к силе. Ни Англия, ни Австрия, однако, не давали на это согласия, опасаясь, что подавление испанской революции лишь усилит франко-русское влияние на Пиренейском полуострове; мнение Меттерниха поддержал и прусский двор. Дело приняло, однако, другой характер,

¹ От *junta* (*исп.*), *junctus* (*лат.*), от *jungere* — соединять. Высшее политическое собрание в Испании, состоящее из выборных лиц для оперативного разрешения особо важных государственных вопросов. — *Прим. ред.*

когда вспыхнула революция в Неаполе. Тут уже прямо были затронуты интересы самой Австрии: она во что бы то ни стало должна была подавить неаполитанскую революцию, иначе национальное итальянское движение могло бы распространиться на ее собственные владения в Италии. Уже в августе и сентябре 1820 г. венское правительство стало стягивать войска в Ломбардо-Венецианское королевство, не скрывая цели, с какой это делалось, тем более что можно было сослаться на прямой договор короля Обеих Сицилий с Австрией, коим он без согласия венского двора обязывался не вводить конституции в своих владениях. Но Меттерних все-таки хотел — для большей верности — действовать по уполномочению всей Европы, а для этого, хотя бы только ради формы, нужно было созвать конгресс пяти держав. Конгресс действительно собрался осенью же (октябрь) 1820 г. в Троппау, куда кроме уполномоченных великих держав съехались государи Австрии, Пруссии и России. Целью этого конгресса было определить точно общее начало, на основании коего союзные правительства имели бы право вмешиваться во внутренние дела других государств, и немедленно применить это начало к Неаполю. Меттерних употребил все свое искусство, чтобы склонить русского императора на свою сторону, и, между прочим, воспользовался известием об одном случае нарушения в Петербурге военной дисциплины (бунт в Семеновском полку против невозможного командира), чтобы запугать Александра I. Результатом переговоров на конгрессе было принятие Австрией, Пруссией и Россией знаменитого протокола, в коем прямо утверждалось право вмешательства в дела чужого государства ради охранения Европы от преступной заразы (*la contagion du crime*) революций. Существенное содержание этого протокола сводится к трем пунктам. Во-первых, объявлялось, что государства, «которые во внутреннем своем устройстве подверглись, вследствие мятежа (*par la révolte*), изменениям, угрожающим своими последствиями другим государствам, этим самым перестают быть составной частью европейского союза до тех пор, пока их положение не представит гарантий законного порядка и прочности». Вторым пунктом державы из уважения к власти каждого законного правительства (*l'autorité de chaque gouvernement légitime*) и к проявлениям его свободной воли обязывались «отказывать в своем признании всем изменениям, совершенным путями незаконными». Наконец, третий пункт гласил следующее: «Если государства, в коих подобным образом совершаются такие перемены, возбуждают в других странах опасения неизбежной опасности по своему близкому соседству и если союзные державы будут в состоянии иметь на них серьезное и благотворительное воздействие, они употребят, для возвращения их в среду союза, предварительно дружественные усилия, а затем принудительную силу, если бы употребление этой силы оказалось неизбежным». Таковы были принципы протокола, а применение их заключалось в статьях 4, 5, 6 и 7, коими оправдывалось в случае надобно-

сти занятие Неаполитанского королевства австрийскими войсками. Александр I, все еще не желавший казаться гонителем свободы, дал свое согласие на это вмешательство, рассчитывая, что после восстановления власти неаполитанского короля последний сам дарует своим подданным разумную хартию. Меттерних был, однако, против такого толкования шага, который должна была сделать Австрия. С другой стороны, английский министр Кэстльри, сторонник политики Меттерниха, вполне сочувствовал предприятию, как имевшему за себя специальный трактат о невведении конституции и, кроме того, вызывавшемуся необходимостью охранить от революции итальянские земли Австрии, но зато он вооружился против декларации, возводившей вмешательство в принцип: Австрия могла-де на свой страх действовать в Италии, и мешать ей никто не будет, но из этого еще не следовало, по его мнению, чтобы вообще европейский союз должен был всюду поддерживать лишь известные политические порядки. Кроме того, Англия продолжала противиться плану России относительно вмешательства в испанские дела, а оно непременно должно было бы произойти, раз был бы принят общий принцип. Наоборот, Кэстльри стоял за подавление неаполитанской революции, дабы восстановить в Италии прежнее положение Австрии и не дать там усилиться французскому влиянию. Франция тоже отказалась присоединиться к протоколу. Когда решение трех держав было опубликовано, Англия и Франция даже протестовали против принципа вмешательства, но чисто теоретическим образом: никто при этом не думал мешать Австрии делать свое дело.

В 1821 г. конгресс из Троппау был перенесен в Лайбах, куда пригласили приехать и короля Обеих Сицилий. Неаполитанский парламент согласился на эту поездку Фердинанда I после того, как он поклялся, что будет отстаивать на конгрессе конституцию. На время его отсутствия регентом королевства был сделан наследник престола Франческо Калабрийский, который тоже старался представлять себя сторонником конституции. На самом деле Фердинанд I ехал в Лайбах для того, чтобы просить военной помощи. При первой возможности он снял с себя карбонарский значок, носившийся всеми приверженцами конституции, и перестал скрывать свои настоящие воззрения. Когда в Неаполе сделалось известным, что тремя державами было решено двинуть на королевство австрийскую армию, там решили сопротивляться. В других частях Италии тоже произошло движение, имевшее своей целью отстаивать независимость нации против Австрии, и в Пьемонте, как мы видели, вспыхнула даже революция. Лайбахский конгресс был сильно встревожен таким настроением итальянцев, но за решение конгресса были все итальянские государи, приглашенные тоже участвовать в лайбахских совещаниях. Уже в феврале австрийская армия из Ломбардо-Венецианского королевства через Тоскану и Папскую область прошла до неаполитанской границы, в Неаполе же между тем принц-регент сделал все, чтобы облегчить

австрийцам занятие королевства. 7 марта близ Риети Пепе потерпел поражение и должен был спастись бегством, а 22 марта австрийцы вступали уже в самую столицу. Неаполитанцы не обнаружили ни энергии, ни дисциплины, и успех австрийцев был одним из самых легких. Как раз в это самое время разразилась революция в Пьемонте, но известие о вступлении австрийцев в Неаполь подорвало и здесь веру в собственные силы. 8 апреля Сантароза, взявший на себя роль военного диктатора, потерпел поражение от соединенного сардино-австрийского войска под Наваррой, и скоро после того Турин и Алессандрия были заняты победителями. 12 мая в Лайбахе подписана была декларация дворов российского, австрийского и прусского, осуждавшая «гнусное» возмущение в Пьемонте, устроенное «развратными людьми» против «просвещенного правления под властью мудрого государя и кротких отеческих законов», а 27 июля три названные державы заключили еще особую конвенцию с Сардинией для оккупации этой страны австрийскими войсками.

Абсолютизм немедленно был восстановлен и в Неаполе, и в Пьемонте. Меттерних добился своего, и Австрия начала вместе с отдельными правительствами страшнейшую реакцию против либерализма. В каком направлении совершалась эта реакция, можно видеть из мемуара, который в конце 1820 г. Меттерних представил Александру I. Причину зла он усматривал именно в слабости и бездеятельности правительств и в том, что средние классы общества заражены вредными идеями. «Зло, — писал он, — распространилось, главным образом, между средними классами общества; настоящий народ вынужден к работам слишком продолжительным и положительным, чтобы мог броситься в отвлеченности и горделивые мечты». Репрессия началась с Ломбардо-Венецианского королевства. При первом же известии о неаполитанской революции здесь немедленно приняты были меры самого строгого полицейского надзора, начались крайние цензурные стеснения, произведены были многочисленные аресты. Между патриотами, посаженными в австрийские тюрьмы, особенно прославился тогда Сильвио Пеллико. В 1819 г. он основал в Неаполе газету «Il Conciliatore»¹, но в следующем году, по подозрению в сношениях с карбонариями, был арестован и посажен в тюрьму сначала в Венеции, потом в Шпильберге. В заключении он провел десять лет, описав впоследствии свои тюрьмы в знаменитом сочинении («Le mie prigioni»²), переведенном на многие европейские языки и доставившем автору всесветную известность³. В Неаполе реакция совершалась при деятельном участии австрийских войск, остававшихся в стране три года, и приняла еще более жестокий характер, чем даже в 1799 г. Казням почти не было конца, несмотря на провозглашение четырех полных амнистий. Громадное

¹ «Посредник» (ит.). — Прим. ред.

² «Мои темницы» (ит.). — Прим. ред.

³ Chiala. Vita di Silvio Pellico, 1852; Bourdon. Silvio Pellico, sa vie et sa mort, 1868.

количество неаполитанцев поплатилось еще ссылкой на галеры, тюремными заключениями, изгнанием. Против карбонаризма были пушены в ход все средства уголовной репрессии. То же самое происходило и в Пьемонте. Но несмотря на это, идея единства и свободы Италии продолжала делать успехи в нации, и тайные общества (особенно в Папской области) не прекращали своей деятельности. Одним из лозунгов итальянских патриотов сделалось теперь «*fuori i tedeschi*». («Вон немцев!»)

За Неаполем и Пьемонтом очередь дошла и до Испании. Монархи, совершившие восстановление абсолютизма в Италии, решили собраться в следующем году на новый конгресс для принятия мер и против испанской революции, ибо пришли к тому заключению, что не будет спокойствия в Европе, пока в Мадриде действует конституция кортесов. За все это время в Испании происходила внутренняя борьба, сопровождавшаяся анархией. Власть здесь мало-помалу перешла в руки «экзальтированных», думавших, подобно якобинцам, управлять посредством террора, но против них на защиту «алтаря и трона» стали действовать банды «армии веры», которые в борьбе с либералами проявили такую же энергию, как и партизаны (гверильясы) во время французского нашествия. В Сео-де-Ургеле клерикалы и «сервилы» образовали даже антиреволюционное регентство, объявившее короля в плену и вступившее в сношения с иностранными державами. Французское правительство помогало испанским легитимистам организовывать отряды в пограничных с Францией провинциях. Сам Фердинанд VII в июле 1822 г. сделал даже попытку низвергнуть конституцию посредством военной контрреволюции, но потерпел поражение: 7 числа гвардия совершила открытое восстание против нового порядка вещей, но другие войска высказались против этой попытки и подавили восстание на улицах Мадрида, изрубив множество гвардейцев перед самым дворцом. Лицемерный король, сам подготовивший контрреволюцию, счел нужным поблагодарить победителей и для виду совершенно перейти на сторону «экзальтированных», а между тем тайно стал склонять европейские державы к тому, чтобы они вмешались и в испанские дела, как это уже было сделано по отношению к Италии. О том же просило державы и упомянутое регентство, которое вынуждено было, благодаря победам конституционного войска над «армией веры», осенью 1822 г. спасаться во Францию.

На Лайбахском конгрессе Александр I окончательно подчинился Меттерниху. Он поклялся здесь употреблять все средства для подавления революций, предлагал послать на помощь Австрии в Италии русские войска и торжественно заявил свое неодобрение греческим инсургентам, начавшим войну за освобождение от турецкого ига. Испанские дела продолжали занимать державы и после Лайбахского конгресса, тем более что и в испанской Америке усилилось революционное движение, а тут еще в январе 1822 г. и греки, восстанию коих против турок весьма сочувствовали либералы всех национальностей, созвали свое национальное собрание, которое вотирова-

ло (13 января) совершенно демократическую конституцию и провозгласило (27 января) независимость Греции. В середине октября 1822 г. в Вероне собрался новый конгресс, на котором кроме монархов Австрии, Пруссии и России присутствовали еще короли Сардинии и Обеих Сицилий, великий герцог Тосканы, герцог Моденский и герцогиня Пармская, не считая дипломатов разных государств (между прочим представителей Англии, Франции и папы). На Веронском конгрессе Александр I настоял на том, чтобы Франция совершила экзекуцию в Испании, хотя тогдашнее французское правительство не особенно этого хотело: он даже предлагал в помощь Франции русские войска. Дело здесь доходило даже до того, что Александр I в уклончивости парижского двора готов был усматривать преступное сообщничество с испанской революцией и не скрывал, что будет держать себя по отношению к Франции соответственно с ее двусмысленным поведением. Веронский конгресс обратился к испанскому правительству с требованием изменить конституцию в более монархическом смысле, но в Мадриде на это отвечали гордым отказом. Тогда иностранные посланники оставили Испанию (январь 1823). Вслед за тем, в апреле 1823 г. французы вступили в Испанию, не встретив сильного отпора со стороны конституционной армии, но зато всюду находя поддержку со стороны «апостолических» банд. Притом некоторые испанские генералы и прямо изменяли национальному делу. 24 мая французская армия заняла Мадрид, откуда кортесы еще заблаговременно удалились на юг (в Севилью, а потом в Кадикс), взяв с собой и короля, и министров. Скоро вся страна была в руках иностранной армии, пришедшей восстановить в Испании абсолютизм. Кортесы некоторое время защищались еще в Кадиксе, но наконец, вынудив у короля манифест об общей амнистии, они должны позволить своему пленнику удалиться во французский лагерь, осаждавший Кадикс, и объявили себя распушенными (29 сентября). Не очень полагаясь на обещания Фердинанда VII, члены кортесов поспешили спастись в Гибралтар под охрану Англии. В Испании после этого совершилась реставрация абсолютизма и всех старых учреждений (кроме инквизиции) и началась, как и в Италии, жесточайшая реакция, открывшаяся казнью Риего и других революционеров. Французские генералы старались смягчить «отеческое сердце» Фердинанда VII, но если бы король и захотел слушаться советов об умеренности, то ему не дала бы это сделать «апостолическая» партия, которая, опираясь на простой народ, поставила своей задачей окончательно истребить «безбожный» либерализм. В том же 1823 г. военная контрреволюция восстановила абсолютизм и в Португалии, где равным образом произведена была реакция. Революция на всем Пиренейском полуострове была, таким образом, подавлена, но зато Испания и Португалия должны были отказаться от своих колоний в Америке, где в это время основались новые республиканские государства и одновременно с ними конституционная империя Бразильская.

Итальянская и испанская революции были подавлены не только вследствие превосходства военных сил Австрии и Франции, за которыми стоял Священный союз, но и потому, что не имели достаточной внутренней силы. Либералы и на Апеннинском, и на Пиренейском полуостровах в двадцатых годах действовали главным образом путем тайных обществ и, опираясь преимущественно на войско, но события показали, что армия была плохой опорой политической свободы и что одни тайные общества без поддержки со стороны народных масс не в силах были упрочить конституционный образ правления. Народ обнаруживал, правда, признаки недовольства, принимал участие в движении, но без ясно осознанной цели, и даже приветствовал восстановление привычного ему абсолютизма, вооруженный в большинстве случаев против либералов за антиклерикальное направление их политики. В народных массах, руководимых духовенством, политическая и культурная реакция находила поэтому весьма прочную опору, и лишь благодаря равнодушию масс австрийцам в Италии и французам в Испании не представляло большого труда привести в исполнение решения Священного союза, который, подавив революционные движения в южнороманских странах, хотел остаться и на будущее время стражем консервативных интересов во всей Европе. Внутренняя реакция, совершавшаяся во всех государствах, не исключая и Англии, лишь поддерживала международную политику Священного союза, и силу последней испытали на себе не только Италия и Испания, но и Германия, которая также должна была обращать на себя особое внимание князя Меттерниха.

XVI. Победа партикуляризма и реакции в Германии¹

Главные вопросы немецкой истории после войны за освобождение. — Вопрос о единстве Германии и образование Германского союза. — Вопросы об общегерманском законодательстве и о таможенном союзе. — Вопрос о представительных учреждениях в Германии. — Противоположность между Южной и Северной Германией. — Южногерманские конституции и северногерманская реакция. — Реакционная роль Австрии. — Движение среди университетской молодежи и репрессивные меры правительств. — Торжество реакционных стремлений. — Карлсбадские постановления, Венский заключительный акт и очищение сейма. — Реакция в Пруссии и вопрос о прусской конституции. — Политическая философия Гегеля. — Судьба некоторых прусских патриотов в эпоху реакции

В национальном движении, охватившем Германию во время «войны за освобождение», необходимо различать три стороны. Во-первых, это был взрыв народного патриотизма против иноземного господства, стремление к национальной независимости. На этом чувстве и в этой цели сходились громадное большинство немцев. Цель была достигнута, и в настроении немецкой нации в виде осадка после бурного периода борьбы осталось известного рода нерасположение к французам и к их идеям, что было сильно на руку романтической реакции, проповедовавшей возвращение к родным началам средневековой старины. Во-вторых, в эпоху борьбы с Францией в некоторых передовых умах возникла и окрепла мысль о необходимости национального объединения Германии, но мысль эта не вошла еще во всеобщее сознание и встретила сопротивление со стороны немецких государей, противопоставивших новой национальной идее свои старые династические права. Единая Германия сделалась, однако, таким же идеалом будущего для немецких патриотов, каким для патриотов итальянских

¹ Для этой главы, кроме литературы, приведенной выше, и тех сочинений, которые будут указаны ниже, см.: *Wirth*. Geschichte der deutschen Staaten von der Auflösung des Reichs bis zum 1830, 1847—1850; *Treitschke*. Deutsche Geschichte im XIX Jahrhundert, 1879 и след. (в трех томах это сочинение доведено до 1830); *Duncker*. Stein und die deutsche Frage auf dem Wiener Kongresse, 1873; *Schmidt A.* Geschichte der preussisch-deutschen Unionsbestrebungen seit Friedrich dem Grossen, 1851; *Schmidt W.A., Stern A.* Geschichte der deutschen Verfassungsfrage während der Befreiungskriege und des Wiener Kongresses, 1890; *Kaltenborn*. Geschichte der deutschen Bundesverhältnisse und Einheitsbestrebungen, 1857; *Fischer*. Die Nation und der Bundestag. 1880; *Ilse*. Geschichte der deutschen Bundesversammlung, 1861. Кроме того, ниже будут сделаны указания на истории отдельных стран, явлений, событий и т. п. из этой эпохи в Германии. В издании Jäger'a и Moldenhauer'a «Auswahl wichtiger Aktenstücke zur Geschichte des XIX Jahrhunderts» (1893) помещено целиком или в выдержках несколько важных документов, относящихся к истории Германии.

сделалась единая Италия. В-третьих, национальное движение той эпохи сопровождалось стремлением и к политической свободе. Французская революция и наполеоновские перевороты в Германии разбудили в известных классах общества чувство политической свободы; явились и государственные люди, находившие необходимым введение представительства как единственного средства обновить государственную жизнь; сами правительства во время борьбы с Наполеоном давали подданным конституционные обещания, поселяли в народах надежды на либеральные преобразования. Но в эпоху реставрации лишь в пятнадцати средних и мелких государствах Германии были введены представительные учреждения, да и то наполовину в форме средневековых земских чинов, причем ни Австрия, ни Пруссия, ни Саксония, ни большая часть великих герцогств, герцогств и княжеств не ввели у себя даже сословного представительства. Борьба за конституцию сделалась в Германии тоже одной из злоб дня, вследствие чего на внутреннюю жизнь немецкой нации и могли впоследствии произвести такое потрясающее впечатление Июльская и Февральская революции во Франции в 1830 и 1848 гг. Уже в начале двадцатых годов немецкое национальное движение с либеральными стремлениями было подавлено, между прочим, благодаря особой бдительности Австрии, взявшей на себя роль руководительницы реакции и во всей Германии. Пруссия, сделавшаяся благодаря Фридриху II передовой страной в культурном отношении, приступившая при Штейне и Гарденберге к обновлению своего социального и политического быта, ставшая в годы последней борьбы с Наполеоном во главе общенемецкого движения и придавшая ему либеральный оттенок, конечно, не могла дойти до таковой реакции, какая совершалась в Австрии, но и она повернула на путь строгого консерватизма и подпала влиянию Меттерниха не только в делах международного характера, поддерживая на конгрессах в Ахене, Троппау, Лайбахе и Вероне принципы Священного союза, но и в делах, касавшихся Германии, где солидарность венского и берлинского дворов составляла прямо решающую силу. Вот почему, говоря об эпохе Реставрации в Германии, можно характеризовать это время как период более или менее полной победы реакции. С этой точки зрения мы и рассмотрим главнейшие факты немецкой истории от Венского конгресса до Июльской революции.

Начнем с вопроса об объединении Германии. Мысль о необходимости прекратить губительное разделение немецкой нации между многими государствами, в коем справедливо видели одну из главных причин ее унижения, явилась весьма естественно в эпоху борьбы с Наполеоном. Одним из первых сторонников идеи национального единства Германии был Штейн, но ее разделяли с ним весьма немногие немцы: ее осуществлению препятствовал вековой сепаратизм, который был особенно силен на юго-западе, в Баварии, Бадене, Вюртемберге. Когда, наконец, после неудачи Наполеона в 1812 г.

Штейн увидел, что близок час освобождения Германии, он уже решил для себя вопрос о будущем ее устройстве. В молодости он был рьяным приверженцем средневековой империи, но она доказала свою несостоятельность, и потому Штейн не думал уже о ее восстановлении. Ему казалось, однако, что общим желанием всех немцев было дать Германии такое устройство, при котором она была бы сильна своим единством, как это было до распада страны на княжества. Старый недруг деспотических князей, он не мог относиться иначе, как с ненавистью к государям Рейнского союза, которые раболепствовали перед Наполеоном, помогли ему разгромить Австрию в 1809 г. и «поддерживали свое существование кровью и достоянием своих подданных». Не доверяя этим «титованным рабам», он в то же время не рассчитывал и на то, чтобы Австрия или Пруссия осуществили его заветную мечту. Свои взоры в 1812 г. он обращает на Россию и, вызванный в Петербург, представляет Александру I мемуар о будущем устройстве Германии. В этом документе Штейн доказывал, что и для всей Европы было бы очень важно устранить причины слабости Германии. Главная причина — окончательное раздробление, созданное «злополучным» Вестфальским трактатом, тем самым, который Штейну во времена «союза князей» казался, наоборот, лучшей гарантией *der deutschen Libertät*¹. Полезнее всего было бы устроить из Германии одну монархию с единой верховной властью и, конечно, с гражданскими и политическими правами, которые должны принадлежать каждому свободному народу; но Штейн сознавал, что это было бы очень трудно сделать. Оставалось два способа: или разделить всю Германию между Австрией и Пруссией, передав одной из них императорский титул, или, чего легче всего было бы достигнуть, оставить, кроме Австрии и Пруссии, еще несколько государств, но поставить их прямо в подчиненное положение в делах внешней политики. Скрепя сердце, Штейн готов был согласиться и на эту последнюю комбинацию. Если в 1813 г. Александр I перенес войну с Наполеоном в Германию, то это произошло отчасти по настоянию Штейна, который в это время стал играть весьма видную роль в качестве русского уполномоченного в комиссии, учрежденной для управления немецкими землями, отнятыми у Наполеона. Тут впервые увидел Штейн, как трудно было осуществить единство Германии. Считая всю Германию своим отечеством, он становился выше местных интересов, но пруссаки стали обвинять его, что он изменяет монархии, у которой находился сам прежде на службе, а вне Пруссии говорили, что он слишком тянет в сторону Берлина, пользуясь влиянием своим на русского царя. Во время известного перемирия с Наполеоном Штейн подал союзникам мемуар, в коем советовал сделать из Австрии и Пруссии первостепенные державы и вполне подчинить им другие немецкие государства с восстановлением императорского достоинства в Германии в пользу Австрии и с образо-

¹ Немецкой свободы (нем.). — Прим. ред.

ванием общенемецкого национального представительства; но тут уже он встретил сильную оппозицию со стороны Меттерниха, которому, конечно, все не нравилось в этом «революционном» плане. Штейн настаивал на том, чтобы государи Рейнского союза, как орудия наполеоновского деспотизма в Германии, были объявлены изменниками и чтобы подданные их были призваны к восстанию, но Меттерних, наоборот, стал переманивать этих государей на свою сторону, обещая им заранее сохранение за ними их владений и полноты верховной власти, т. е. сохранение всего того, что им было дано Наполеоном. На этом условии члены Рейнского союза стали вступать в союз с Австрией к великому негодованию Штейна, видевшего в таком обороте дела разрушение всех своих политических планов. Это не помешало, однако, Штейну и во время Венского конгресса хлопотать о том, чтобы хоть скольконибудь поправить дело. Когда обсуждался (между прочим и в печати) вопрос о восстановлении в Германии императорского достоинства, Штейн написал в этом смысле мемуар, в котором доказывал необходимость передать это достоинство Австрии: своим проникательным умом он понял — и весьма ясно выразил мысль свою в мемуаре, — что Австрия, не в пример Пруссии, территориально тесно связанной с Германией, имеет тенденцию к тому, чтобы отделиться от Германии, и на этом-то основании он и требовал установления особой между ними связи в виде немецкого императорства, которое было бы передано Австрии. Проект этот не был принят: Пруссия не допускала такого возвышения своей соперницы, Австрия же готовилась иным путем взять на себя первенствующую роль в Германии.

Таким образом, вопрос о национальном объединении был только поставлен, но решение его в том смысле, в каком то было желательно Штейну и немногим патриотам, оказалось невозможным. Против единой Германии были соперничавшие между собой Австрия и Пруссия, были государи Рейнского союза, ведшие себя, заметим, довольно двусмысленно во время стодневного владычества Наполеона, были сами баварцы, вюртембергцы, гессенцы, ганноверцы и «другие народы», были даже, наконец, некоторые патриоты, которые находили, что разделение Германии на несколько государств являлось гарантией свободного развития национальной жизни, чего не могло бы быть при единообразии, какое должно было бы установиться при политической централизации. Последнюю мысль высказывал еще Фихте в своих «Речах к немецкой нации», а в 1814 г. формулировал Тибо в брошюре «О необходимости общего гражданского права для всей Германии», где, доказывая необходимость юридического объединения немецкой нации путем создания общего гражданского кодекса, он восставал против объединения политического. Но если бы даже все «народы» Германии и все немецкие патриоты действительно желали объединения, Венский конгресс не исполнил бы их желания: на этом конгрессе принцип легитимизма склонялся только перед идеей политического равновесия и перед правом силь-

ного и ни в каком случае не мог бы быть принесен в жертву идее нации, т. е. идее, по происхождению своему революционной. Меттерних называл Штейна даже прямо якобинцем и приходил в ужас, когда тот говорил о низложении государей во имя прав немецкой нации, которой государи эти изменили, вступив в союз с ее притеснителем, или когда указывал на необходимость общегерманского национального представительства. И Меттерних, и Штейн, как противники Французской революции, были представителями «старого порядка», но в «старом порядке» были разные стороны, а потому как отношение их к идеям века, так и их политическая роль были столь между собою несходны. Но если в сфере политики идея национального объединения Германии потерпела полную неудачу, то это не помешало ей пустить глубокие корни в сознании мыслящей части общества и найти убежище в литературе: мы встречаемся с этою мыслью уже в «Духе времени» Арндта, в патриотической лирике времен «войны за освобождение», в публицистике и в произведениях научной и философской мысли последующей эпохи. Если Штейн ссыался на «всеобщее желание» немцев, то именно потому, что был введен в заблуждение этой литературой, которую принимал за голос всей нации, а не сравнительно небольшого числа ее интеллигенции. Любопытно, что для большинства немецких публицистов 1813—1815 гг., писавших о необходимости объединения Германии, вопрос казался легким, но скоро им всем пришлось разочароваться. В начале 1815 г. один из писателей, стоявших за восстановление немецкого императорства для Австрии, издал составленный в форме разговора памфлет под заглавием «Империя и император»: в нем были выведены австриец, пруссак, саксонец, католик и т. п.; все они только спорят между собой, причем уже высказывается мысль, что вопрос может быть разрешен лишь «кровью и железом», и даже намечается будущая роль Пруссии. Мы еще увидим, какие формы принимало в Германии стремление к национальному единству после 1815 г., а теперь посмотрим, какое устройство получила она на Венском конгрессе.

Мы не будем подробно останавливаться на всех перипетиях в решении той трудной задачи, какую представляло из себя устройство Германии на Венском конгрессе. Из-за желания Пруссии получить всю Саксонию, завоеванную у ее короля, наполеонова союзника, равно как из-за желания России удержать за собой все великое герцогство Варшавское, чуть было не вспыхнула новая война. Но саксонский вопрос был только самым острым для Германии: существовала и масса других, которые улаживались с трудом. Когда, однако, все территориальные перераспределения были утверждены, оставалось решить вопрос о том, в какие же отношения будут поставлены друг к другу немецкие государства. По этому предмету споров было без конца. Сначала дело рассматривалось комиссией из представителей Австрии, Пруссии, Баварии, Вюртемберга и Ганновера, но согласовать все интересы было трудно: например, баварский уполномоченный во имя «баварской национальной

гордости» протестовал против предположения лишить отдельные государства Германии права войны и союзов с иностранными державами; ганноверский уполномоченный назвал «султанизмом» систему управления, принятую в странах бывшего Рейнского союза; Вюртемберг даже прямо вышел из состава этой комиссии, и комиссия распалась. Мелкие немецкие государи также были очень недовольны тем, что их отстранили от совещаний, и они снова возбудили дело, потребовав, чтобы и их допустили к участию в решении вопроса. Только возвращение Наполеона с острова Эльбы заставило поторопиться с окончанием дела и из отдельных проектов с разными урезками, оговорками, протестами был наконец выработан союзный акт (*die deutsche Bundesakte*), который и был принят 8 июня 1815 г.

Германский союз (*der deutsche Bund*) был международным соединением суверенных государств для внешней и внутренней безопасности, и в состав его вошло 38 государств, в числе коих были: одна империя, пять королевств, одно курфюршество, семь великих герцогств, по десяти герцогств и княжеств и, наконец, четыре вольных города¹. Под безопасностью разумелось ограждение Германии от нападения извне и сохранение мира между отдельными членами союза внутри, но лишь в редких случаях союз мог принимать меры для поддержания спокойствия в отдельных государствах, вошедших в его состав. Интересы членов Германского союза были весьма неодинаковы и часто прямо противоположны. Во-первых, в состав союза, и притом лишь частью своих владений, входили две великие державы в общеевропейском значении слова — Австрия и Пруссия, которые имели каждая свою особую традиционную политику и с которыми трудно было считаться не только мелким государствам союза, но и средним вроде Баварии, Саксонии и т. п. Во-вторых, в союз допущены были два иностранных государя, а именно король голландский (по Люксембургу) и король датский (по Голштинии). В-третьих, Юго-Западная Германия обнаруживала явную тенденцию к сепаратизму (Баден и

¹ В этом списке отмечены курсивом государства, в которых были введены представительные учреждения между 1814 и 1824 гг.

Одна империя — Австрия.

Пять королевств: Пруссия, *Бавария*, *Ганновер*, Саксония, Вюртемберг.

Одно курфюршество: *Гессен-Кассель* (Кургессен).

Семь великих герцогств: *Баден*, *Гессен-Дармштадт*, Мекленбург-Шверин, Мекленбург-Стрелиц, *Саксен-Веймар*, Люксембург и Ольденбург.

Десять герцогств: *Саксен-Мейнинген*, *Саксен-Кобург*, Саксен-Гота, *Саксен-Гильбурггаузен*, Ангальт-Дессау, Ангальт-Кетен и Ангальт-Бернбург, *Нассау*, *Брауншвейг*, Гольштейн.

Десять княжеств: Гогенцоллерн-Гехинген, Гогенцоллерн-Зигмаринген, Шварцбург-Рудольштадт, Шварцбург-Зондерсгаузен, Рейс старшей и Рейс младшей линии, Липпе-Детмольд, *Липпе-Шаумбург*, Бюксбург, *Вальдек*, *Лихтенштейн*.

Четыре вольных города: Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Любек, Бремен.

В 1817 г. к союзу примкнуло еще ландграфство Гессен-Гомбург.

Указания на литературу по истории средних и мелких государств можно найти в «*Uebersicht ber die Geschichte der Mittel- und Kleinstaaten bis 1815*» в *Handbuch der deutschen Geschichte* von Bruno Gebhardt, 1892 (II, p. 461—494).

Вюртемберг даже не сразу вступили в союз), и вообще все государи союза стремились отстоять свою независимость, причем вдобавок между средними и мелкими тоже обнаруживался своего рода антагонизм. Союзный акт не устанавливал вообще никакой высшей власти над правительствами отдельных государств, к которой могло бы стать в непосредственные отношения все народонаселение страны. Носителями союзной власти были сами же правительства, вступавшие между собой в соглашение через уполномоченных на союзном сейме (Bundestag), и им давались определенные инструкции относительно защиты интересов каждого отдельного правительства. Те права, какие по отношению к князьям и имперским городам все-таки еще принадлежали центральным учреждениям Священной Римской империи, не были восстановлены в пользу союзного сейма, и в этом смысле новое устройство Германии еще менее осуществляло политическое единство нации, чем старый имперский строй. Союзный сейм, заседавший с 1815 г. во Франкфуртена-Майне, еще более, чем старый сейм имперский, был простым международным конгрессом для тридцати восьми государств, — каждое было вполне самостоятельно. Союзный акт провозглашал даже равноправность всех членов союза, т. е. и крупных, и средних, и мелких, хотя степень их участия в сейме и не была сделана одинаковой. Лишь 11 государств именно получило по одному полному голосу, а остальные (мелкие) все вместе пользовались шестью собирательными голосами. Мелкие государства были недовольны таким распределением голосов и, согласившись на то, чтобы оно было оставлено для решения обыкновенных дел (тесный совет, *engerer Rath*), настояли на том, чтобы по делам особой важности каждый член имел по меньшей мере один самостоятельный голос и чтобы дела эти решались в особом, полном собрании сейма (Plenum). Такими делами признаны были изменения в союзном устройстве, требовавшие единогласного решения, и вопросы о войне и мире, которые могли решаться лишь большинством $\frac{2}{3}$ голосов. В Plenum'e Австрии и пяти королевствам принадлежало по четыре голоса, шести государствам — по три, трем — по два, остальным — по одному. Требование единогласия по вопросам о внутреннем устройстве союза in Pleno¹, а по некоторым делам и в «тесном совете» делало совершенно невозможным его дальнейшее развитие и тормозило деятельность сейма по самым иногда важным вопросам, какие только волновали в то время немецкую нацию. Это устройство страшно разочаровало всех мыслящих людей в Германии. Союзный сейм сразу сделался учреждением непопулярным, да и сам он был поставлен в полную невозможность делать что-либо для нации в ее целом: во-первых, он ведал только делами внешней и внутренней безопасности союза, не касаясь вопросов политической, социальной, культурной и экономической жизни нации, предоставленной усмотрению и частным соглашениям

¹ В полном составе (лат.). — Прим. ред.

отдельных правительств, а во-вторых, и в той области, которая была поручена его ведению, он оказывался бессильным что-либо сделать благодаря введению в его решения принципа «*iberum veto*»¹. Наконец, союзное устройство не осуществляло и стремления к национальному представительству.

Кроме вопроса о политическом единстве Германии были подняты в это время еще два вопроса, касавшиеся объединения Германии — именно в отношениях юридическом и экономическом. Знаменитый в свое время юрист Тибо², прославившийся «Системой пандектного права» (1803) и занимавший с 1805 г. кафедру в Гейдельбергском университете, в 1814 г. написал брошюру «О необходимости общего гражданского права для Германии», в которой, восставая против политического объединения страны, требовал создания для всех немцев единого гражданского кодекса взамен того правового хаоса, какой представляли собой старые германские законы, основанные на чужом, римском праве. Эта мысль не нашла сочувствия в правительствах Германии, и против нее восстал другой юрист, еще более знаменитый, бывший основателем исторической школы права, профессор только что основанного Берлинского университета Фридрих Карл фон Савиньи³, впоследствии (с 1817 г.) член государственного совета в Пруссии и министр юстиции сороковых годов. В том же 1814 г. он издал брошюру под заглавием «О призвании нашего времени к законодательству и правоведению», в которой доказывал, что по произволу совершенно невозможно создать гражданский кодекс, ибо право точно так же, как язык, как нравы, как политическое устройство, является лишь продуктом исторической жизни народа, органически развиваясь из основ, положенных в самом народном духе. В Германии вследствие особенностей ее истории жизнь выработала развитие местного права, и это право нужно оставить, не заменяя его искусственно созданным общим гражданским кодексом.

Другим вопросом был вопрос о таможенном союзе⁴. Каждое немецкое государство имело на своих границах таможи, что — при разнообразии вдобавок таможенных законов и тарифов — донельзя стесняло торговлю, а если к этому присоединить еще то обстоятельство, что многие государственные территории были череполосные или представляли из себя анклавов в чужих владениях, то все неудобства такого порядка вещей сделаются особенно понятными. Союзный акт обещал обсудить вопрос об устранении этих неудобств, но дело это вперед не подвинулось ни на один шаг. Между тем после

¹ Буквально «свободное место» (*лат.*). С XVI до конца XVII в. в польском сейме право свободного протеста, в силу которого один возражающий член сейма мог сделать недействительным постановление сейма. — *Прим. ред.*

² *Baumstark*. Anton Friedrich Justus Thibaut, 1841.

³ Биографии его написаны *Stintzing*'ом (1862), *Rudolf*'ом (1863), *Bethmann-Hollweg*'ом и др.

⁴ О нем соч. *Robolsky* (1862), *Dittmar*'а (1867—1868), *Aegidi* (*Aus der Vorzeit des Zollvereins*, 1865), *Festenberg-Packish*'а (1869), *Weber*'а (1871) и др. Ср.: *Zimmerman*. *Geschichte der preussisch-deutschen* 'Handelspolitik, 1892.

того, как Пруссия законом 1818 г. улучшила свою обветшалую таможенную систему, за экономическое объединение Германии высказались два видных экономиста, Фридрих Лист и Небениус¹, но их проповедь не имела успеха. Более всего страдала от ненормального порядка вещей Пруссия. В 1818 г. она уничтожила у себя внутренние таможи, но положение ее от этого значительно не улучшалось. Прирейнские владения Пруссии отделялись от главной части монархии Ганновером, Гессен-Касселем, Гессен-Дармштадтом, Франкфуртом-на-Майне, а кроме того, в ее владения врезывались Ольденбург, ангальтские герцогства и т. п. Недовольные законом 1818 г. соседние с Пруссией государства (особенно Гессен-Кассель) вступили с ней в таможенную войну. Все, однако, более или менее страдали от такого положения и должны были искать из него выхода. В 1819—1821 гг. Пруссия и Саксония вели переговоры относительно торгового плавания по Эльбе, приведшие к уменьшению пошлин. В то же время (1820) южногерманские и некоторые среднегерманские государства вступили между собой в переговоры по таможенному вопросу, но не имевшие никакого успеха, и только между Баденом и Гессен-Дармштадтом состоялось — да и то на короткое время — некоторое соглашение в 1824 г., за коим в 1828 г. последовал договор между Баварией и Вюртембергом. Но это были все-таки исключительные союзы, даже весьма ревниво относившиеся друг к другу. Более важное значение подобные попытки получили позднее, когда дело попало в руки главным образом Пруссии. Еще в 1819 г. она заключила таможенный союз с Зондерсгаузеном. С 1822 г. к ней уже примыкали Рудольштадт и Бернбург с некоторыми веймарскими частями, а в 1828 г. в состав союза вступили Гессен-Дармштадт (на шесть лет), Ангальт-Дессау и Ангальт-Кетен, к великому неудовольствию Баварии с ее южным союзом. Тогда между прусским и баварским союзами образовался еще третий, к которому примкнули Саксония, Гессен-Кассель, Ганновер, Франкфурт, Бремен и др. Так как этот союз был направлен и против прусского, и против баварского, то в следующем 1829 году Пруссия и Гессен-Дармштадт, с одной стороны, и Бавария — с другой, так сказать, протянули друг другу руки через третий союз и заключили между собой особый договор на 12 лет. Связующим звеном между восточным и западным союзами явились Саксен-Мейнинген, Саксен-Гота и Мекленбург, примкнувшие к Пруссии и Баварии и даже начавшие строить у себя новые дороги для товарного движения. Это сильно повредило среднегерманским государствам, союз их распался, и вот в 1831 г. Гессен-Кассель перешел на сторону Пруссии почти одновременно с Вюртембергом, который раньше не соглашался приступать к союзу. Окончательно, однако, таможенный союз (Zollverein) организовался лишь в следующем периоде, причем сделался первообразом и политического объединения Германии, совершенного Пруссией в 1866 и 1871 гг.

¹ О последнем соч. Beck'a (1886).

Хотя в 1815 г. в Германии и одержал победу сепаратизм, тем не менее мысль о политическом объединении немецкой нации была заявлена, стала входить в сознание общества, и политическое объединение Германии уже начинало подготавливаться на почве общей национальной культуры и экономических интересов.

С вопросом об объединении Германии был тесно связан вопрос о представительных учреждениях. Знакомясь с разными дипломатическими и публицистическими проектами устройства Германии в эпоху Венского конгресса, мы постоянно встречаемся с мыслью о необходимости народного представительства. Прусский проект (Гарденберга с дополнениями Штейна) в пятичленной комиссии Венского конгресса заключал в себе мысль об организации для всей Германии общего законодательного собрания из владетельных князей, имперских чинов, представителей вольных и медиатизированных городов и даже, как хотел Штейн, земских чинов, а в отдельных государствах предполагалось ввести земские чины с правом участия в законодательстве и вотирования налогов; за подданными же должны были быть обеспечены личная свобода, свобода переселения из государства в государство, свобода собственности, общее гражданское и уголовное право, свобода печати, свобода преподавания и т. п. Меттерних был недоволен либерализмом этого проекта, и Гарденберг, желая угодить влиятельному дипломату, не настаивал на подробностях своего плана. Представители других королевств тоже возражали против статей о земских чинах; один только ганноверский уполномоченный, противник «султанизма» государей Рейнского союза, еще кое-как защищал земские чины. На их сторону, по-видимому, готовы были стать и мелкие государи, протестовавшие против пятичленной комиссии. В начале 1815 г. Вильгельм фон Гумбольдт представил на рассмотрение членов конгресса новый проект, в коем тоже предлагалось участие представительства в делах правления, но Меттерних внес свой контрпроект, в коем о земских чинах упоминалось лишь мимоходом, а права подданных сильно стеснялись. Когда, наконец, был выработан союзный акт, в него была внесена коротенькая статья (§ 13) о земских чинах. Первоначально она была отредактирована таким образом, что «во всех странах союза должно быть введено земское представительство», окончательно же явилась в такой редакции, что это представительство во всех странах союза «будет существовать»¹: благодаря замене слова «должно» словом «будет», статья утрачивала характер обязательности. Нужно заметить, что самое выражение «landesständische Verfassung»² могло быть истолковано различно по своей недостаточной определительности: могло оно значить и введение конституции в новом смысле, т. е. в смысле народного представительства, и восставление старых земских чинов, т. е. представительства сословного, и могло, наконец, значить и просто установление областного представительного

¹ In allen Bundesstaaten wird landesständige Verfassung stattfinden.

² Земельное представительство (нем.). — Прим. ред.

самоуправления, — как кому было угодно понять слишком неясно выраженное обещание § 13 союзного акта. Из 34 (с 1817 г. из 35) монархических государств Германии двадцать — и между ними Австрия, Пруссия и Саксония — не ввели у себя представительства, а из остальных пятнадцати, исполнивших обещание указанного параграфа, больше половины ограничилось восстановлением старых земских чинов, которые пришли в совершеннейший упадок еще в эпоху Тридцатилетней войны. Притом парламентарные и сословные конституции вводились в этих пятнадцати государствах в течение целых десяти лет (1814—1824), после чего наступил перерыв в шесть-семь лет (1824—1831) до взрыва Июльской революции в Париже, которая, как известно, не прошла совсем бесследно и для Германии. В том, что не все государства сдержали обещание относительно *landesständische Verfassung*, в том, что правительства, исполнившие его, большей частью разрешили вопрос далеко не в либеральном смысле, и в том, наконец, что в двадцатых годах почти совсем прекратилось введение конституций, нельзя, конечно, не видеть одного из признаков победы в Германии реакционных стремлений австрийской политики¹.

Замечательно, что конституции в новом смысле были введены главным образом в Юго-Западной Германии. Бавария, Вюртемберг, Баден и Гессен-Дармштадт (между прочим, попарно вступавшие между собой в таможенные союзы в двадцатых годах) составили из себя компактную территорию с конституционным устройством, по соседству с Францией (на западе) и Швейцарией (на юге), тогда как на восток и на север от этой территории продолжал господствовать абсолютизм². Притом в этих четырех немецких государствах конституции были введены почти одновременно в какие-нибудь два-три года (1818—1820), и вне указанной территории новое устройство получили лишь три небольших саксонских герцогства (Саксен-Веймар, Саксен-Кобург и Саксен-Мейнинген), которые не могли, конечно, играть

¹ Помещаем в двух столбцах список конституций, введенных в Германии до 1830 г., причем в левом столбце перечислены государства со старым сословным представительством, во втором — государства с представительными учреждениями нового типа. Всего 15 государств из 38 получили конституции, причем старые введены были в 8 государствах, новые — в 7.

1814. Нассау.

1816. Шаумбург Липпе. Саксен-Веймар.

— Вальдек.

1818. Гильбурггаузен. Бавария.

— Лихтенштейн Баден.

1819. Ганновер. Вюртемберг.

1820. Брауншвейг. Гессен-Дармштадт.

1821. Кургессен. Саксен-Кобург.

— Саксен-Мейнинген.

Кроме того, в 1829 г. был издан общий основной закон для Гильбурггаузена и Саксен-Мейнингена, соединившихся еще в 1826 г.

Конституции большей части государств см. у Дюфо, Дювержье и Гаде, у Пелитца (см. выше) и др. Выдержки помещены в сборнике Иегера и Мольденгауера (см. выше).

² *Jerchenfeld. Die bayerische Verfassung und die Karlsbader Beschlüsse*, 1883.

значительной роли в союзе. Оставляя в стороне эти три владения, мы должны объяснить, почему именно Юго-Западная Германия ранее всего выступила на путь конституционного развития. Эти государства, находясь по соседству с Францией, подвергались всегда более или менее ее влиянию, первыми вошли в состав Рейнского союза и произвели у себя полнее, чем где бы то ни было в другом месте, внутренние преобразования в духе французских учреждений. На Венском конгрессе более, нежели другие государства, Бавария и Вюртемберг отстаивали неприкосновенность суверенитета отдельных немецких государей, противясь в то же время обязательному введению земских чинов, предпочитая решить потом этот вопрос, хотя бы и в самом либеральном смысле, но только по собственной инициативе. Отстаивая свою самостоятельность, ради уже простого противодействия объединительным стремлениям южногерманские правительства захотели выделиться из остальной Германии и противопоставить Австрии и Пруссии с их абсолютизмом свои конституционные учреждения, которые заставили бы их подданных еще более дорожить местной независимостью. Между тем старые земские чины восстанавливать не приходилось по той простой причине, что они находились бы в полном противоречии с теми преобразованиями, какие в этих государствах были произведены в эпоху Рейнского союза. Земские чины представляли собой феодализм и областной партикуляризм, а в южногерманских государствах в 1807—1813 гг. по образцу Франции нанесен был удар аристократическим притязаниям и введена была строгая централизация, что не допускало восстановления старых чинов, с коими сами же эти правительства находились прежде в борьбе. Государи Юго-Западной Германии, расширявшие свои владения и повысившиеся в ранге, благодаря Наполеону, вообще не могли сочувствовать реставрации старины, ибо последняя была бы равносильна для них отказу от сделанных приобретений за счет всех медиатизированных имперских чинов, и вот против притязаний с их стороны лучшим средством казалось этим государям опереться на народное представительство, которого требовало притом и более развитое общественное мнение. Совсем другое представлял север Германии. Большая часть тамошних князей при Наполеоне была лишена своих владений, часть коих была непосредственно присоединена к Франции, а другая вошла в состав королевства Вестфальского. На севере Германии в 1814—1815 гг. поэтому производилась реставрация, которой не было на юге, и весьма естественно, что северонемецкие правительства должны были относиться совершенно иначе ко всем происшедшим переменам и новым идеям, чем на юге. Государи, вернувшиеся в свои владения, сочли первой задачей своею уничтожить все, что было сделано во время их отсутствия французскими правителями. Они восстанавливали старые формы абсолютизма и привилегии дворянства, а если и вводили *landesständische Verfassung*, то воскрешая средневековое представительство привилегированных корпораций и классов с их консер-

вативными интересами и даже прямо реакционными стремлениями. Если исключить великие державы, входившие в состав Германского союза, т. е. Австрию и Пруссию, о коих речь будет идти особо, то вся Германия и представится нам резко разделенной на две части: на юге сохранились перемены, совершенные под влиянием Франции, и введены были новые конституции, на севере произошла реакция и восстановлен был абсолютизм. При поддержке Австрии и Пруссии, конечно, Северная Германия должна была получить перевес над Южной, и конституционные учреждения, введенные в последней, не получили надлежащего развития.

Баварская конституция, введенная в 1818 г., действует с некоторыми изменениями и в настоящее время. Она объявляла свободу совести с точным разграничением сфер ведения государства и церкви, свободу мнений с закономерными ограничениями возможных злоупотреблений ею, равноправность всех подданных по отношению к занятию государственных должностей, всеобщую воинскую повинность, равенство всех перед законом, беспристрастие и скорость судопроизводства, равномерное обложение, восстановление общинного самоуправления, представительство всех классов граждан (*eine Standschaft hervorgehend aus allen Klassen der im Staate ansässigen Staatsbürger*) с правом участия в законодательстве и вотирования налогов (*mit den Rechten des Beirats, der Zustimmung, der Willigung und der Beschwerdeführung etc.*) и, наконец, гарантию конституции против произвольных изменений, хотя с возможностью внесения в нее улучшений. Конституция эта устанавливала в Баварии собрание государственных чинов (*die allgemeine Versammlung der Stände*), состоящее из палаты государственных советников (*die Kammer der Reichsräte*) и палаты депутатов (*die Kammer der Abgeordneten*): в состав первой входили достигшие совершеннолетия принцы, высшие сановники, два архиепископа, главы княжеских и графских фамилий, бывших прежде имперскими, один епископ, назначенный королем, президент протестантской генеральной консистории и другие наследственно или пожизненно назначенные королем члены, а членами второй палаты должны были быть землевладельцы с вотчинной юстицией (*gutsherrliche Gerichtsbarkeit*) и депутаты университетов, католического духовенства, городов и местечек и землевладельцев — по одному депутату на 7000 семейств. Король обязывался созывать собрания государственных чинов по крайней мере раз в три года, а в случае роспуска собрания должен был в течение трех месяцев назначить новые выборы. Аналогичную конституцию получил Вюртемберг. Король этого государства, Фридрих I, в эпоху Рейнского союза отличался крайним деспотизмом, а после низложения Наполеона примкнул с большой неохотой и позже других к Германскому союзу. Теперь у него уже не было той могущественной поддержки, какую он имел в Наполеоне, и чувствуя, что недовольство подданных против него все возрастает, он еще в январе 1816 г. издал манифест, в коем обещал в скором времени дать стране предста-

вительную конституцию (*eine Verfassung und ständische Repräsentation*), о введении которой он будто бы думал еще с 1806 г. Она была уже готова к марту. Несмотря на то что конституция эта была довольно либеральна, особенно ввиду деспотического нрава короля, старые земские чины ее отвергли, требуя восстановления прежнего устройства. Тогда король в августе того же 1815 г. составил второй проект конституции, еще более либеральный, но так до самой своей смерти (в 1816 г.) ему и не удалось прийти к соглашению со своими подданными, и лишь при его сыне, Вильгельме, введена была (1819) новая конституция. Она устанавливала две палаты — господ (*Kammer der Standesherrn*) и депутатов с составом, довольно близким к составу палат баварских. Самой либеральной была, однако, конституция баденская, октроированная¹ в 1818 г. Между Баварией и Баденом было немало счетов, и великий герцог Карл, не желая оставаться позади соседа, дал своим подданным конституцию, составленную вполне по образцу хартии Людовика XVIII. Эта конституция провозглашала принципы личной свободы и гражданского равенства и давала сравнительно широкие права представительству, организованному по двухпалатной системе. В первой палате должны были заседать кроме принцев и глав аристократических фамилий (*standesherrlichen Familien*) католический епископ, одно протестантское духовное лицо, восемь выборных депутатов дворянства, два депутата университетских и лица, приглашенные великим герцогом, а вторую палату должны были составлять депутаты городов и округов. Для выборов депутатов устанавливалась двухступенная система: депутатов выбирали особые выборщики. Право избрания — активное и пассивное — было представлено всем баденцам, достигшим двадцатипятилетнего возраста и значащимся в числе граждан и занимающим какую-либо должность в избирательном округе; но для того, чтобы быть выбранным в депутаты, требовался от избираемого известный ценз. В Гессен-Дармштадте конституция была результатом народного требования, хотя по форме и вводилась как бы по собственному изволению великого герцога. Двухпалатное представительство было введено и здесь, но дармштадтская вторая палата состояла лишь из представителей дворянства и шести наиболее важных городов².

Несмотря, однако, на введение в южногерманских государствах конституционных учреждений, и здесь нельзя не отметить существования множества реакционных явлений. Баварский конкордат с римской курией (1817) предоставлял католическому духовенству громадные права и влияние, находившиеся в полном противоречии с духом Нового времени. С другой стороны, едва только баварский сейм стал обнаруживать признаки самостоятельности, как сам король Максимилиан-Иосиф стал тормозить его деятельность, пользуясь раздором, возникшим между отдельными сословиями. Его преемник (с 1825) Людвиг I, любитель, знаток и покровитель изящных искусств

¹ То есть пожалованная королем, октроированная (остроее — *фр.*). — *Прим. ред.*

² Саксен-Веймарская конституция отличалась характером весьма либеральным.

и романтики, в качестве наследного принца высказывал либеральные мысли по политическим вопросам, но в то же время отличался особой приверженностью к католицизму. Исполненный противоречий, он в начале своего царствования предпринял некоторые либеральные реформы и в то же время стал помогать церковной реакции, руководимой романтиком и ретроградом фон Шенком. Все правление Фридриха I Вюртембергского, умершего в 1816 г., было временем очень странным в том отношении, что либеральная конституция, составленная этим деспотическим королем, как было сказано, встретила оппозицию во имя исторического права старых земских чинов, существовавших в стране до 1805 г.¹ Та же консервативная оппозиция продолжалась и в начале царствования либерального Вильгельма I, и конституция, которая, наконец, была введена в 1819 г., имела гораздо менее либеральный характер, нежели проекты Фридриха I и его сына. В Бадене великому герцогу Карлу наследовал (с 1818) его дядя Людвиг, служивший прежде в прусской армии, пристрастившийся на этой службе к солдатчине и вдобавок подпавший под влияние Меттерниха. Новое правительство вступило в борьбу с конституционными учреждениями и стало на сеймах двадцатых годов заявлять, что органические законы могут быть издаваемы без участия сейма, что утверждение бюджета сеймом не есть еще закон для правительства, что сейм не имеет права определять расходы на армию и т. п. Мало того, великий герцог жаловался в Вене на баденские чины и просил Меттерниха защитить его от их «нахальства». Путем страшного давления на выборы в 1825 г. Людвигу I удалось добиться вполне покорной палаты, которая произвела в конституции несколько реакционных изменений. В Гессен-Дармштадте правительство также вмешивалось в выборы и преследовало либеральных депутатов.

Еще более полную картину реакции представляет нам Северная Германия. Саксония продолжала сохранять в своем государственном быту дореволюционные порядки, так как возведение ее Наполеоном на степень королевства и присоединение к Рейнскому союзу не сопровождалось никакими внутренними переменами. Фридрих-Август и после 1815 г. придерживался той системы управления, которая существовала еще при его вступлении на престол в 1768 г., а его преемник (с 1827) Антон I допустил даже иезуитов в Саксонию и вообще сильно покровительствовал католической пропаганде в этой протестантской стране². Реставрация старой династии в Ганновере сопровождалась отменой всех новых порядков: французские учреждения и законы были заменены прежними с возобновлением негласного судопроизводства, пыток и т. п.; дворянские привилегии восстановлены; законы в пользу крестьян объявлены недействительными; снова были введены таможи между отдельными провинциями и т. п. Правда, Ганновер получил (1819) консти-

¹ Об отмене их см. выше. Раньше они были в постоянной борьбе с правительством (см. т. III).

² Известно, что династия, царствующая в Саксонии, приняла католицизм еще в конце XVII в.

туцию, но она была составлена в старом феодальном духе и, выдвигая вперед дворянство, не ограничивала чисто бюрократического управления страной. В Брауншвейге при малолетнем герцоге опекунское правление английского принца-регента еще сдерживало несколько реакцию (хотя тоже отменило введенные французами реформы), но едва герцог достиг совершеннолетия (1823), как началось чисто тираническое управление и этой землей, доведшее до резкого столкновения между государем и земскими чинами и даже до вмешательства союзного сейма. В Гессен-Касселе престарелый курфюрст Вильгельм I, отличавшийся деспотизмом, скупостью и мелочностью, введший даже снова парики и косы, которые вышли из употребления, признал недействительным все, что случилось после его удаления из страны, лишил новоприобретенных прав и должностей всех лиц, которые служили вестфальскому режиму, и восстановил все старые порядки, какие господствовали до 1806 г., начав вместе с тем всеми правдами и неправдами выжимать деньги из своих подданных. Обязавшись по договору 1813 г. возвратить прежние права земским чинам, он вынужден был собрать их, но рассорился с ними (1815—1816) и, распустив собрание, правил потом самовластно. Хотя его сын Вильгельм II (с 1821) и восстановил сейм, но прежняя система не подверглась никакому существенному изменению. Мекленбург, бывший в XVIII в. страной наибольшего развития феодализма, в эпоху Реставрации был снова приведен в свой прежний вид, и, быть может, нигде так тяжело не приходилось крестьянству от реакции, как именно в Мекленбурге, где вся власть находилась в руках заносчивого и корыстолюбивого дворянства. Отмена французских законов и восстановление абсолютизма с некоторым оттенком патриархальности совершены были и в реставрированном Ольденбурге. Что касается до Нассау, составившегося более чем из 25 владений, которые были самостоятельными в конце XVIII в., то здесь введены были земские чины еще в 1814 г., но более точное определение их прав и деятельности было отложено; правительство воспользовалось этим, чтобы собрать сейм лишь в 1818 г. и то лишь больше для формы, так как все важнейшие дела герцогское правительство решало без всякого участия сейма. Наконец, даже в вольных городах (за исключением одного Франкфурта-на-Майне) были восстановлены устарелые учреждения времен Священной Римской империи.

Этих наиболее важных примеров достаточно, чтобы убедиться в том, как сравнительно мало осталось в учреждениях и законах отдельных германских государств — следов тех переворотов, которым Германия подверглась в эпоху французского владычества, если не считать тех перемен, какие были произведены во всей Германии, как едином целом (уничтожение Священной Римской империи, духовных владений, громадного большинства мелких княжеств, почти всех имперских городов и всего имперского рыцарства), и исключить Юго-Западную Германию, где французское влияние сказалось довольно сильно. Общий тон этой реакционной политике

задавали великие державы, Австрия и Пруссия, из коих первой принадлежало притом председательство в союзном сейме.

Австрия¹ вышла победительницей из всех потрясений конца XVIII и начала XIX в. Четыре раза она должна была заключать унижительные мирные договоры; два раза ее столица сдавалась победителю; у нее отнимались громадные провинции; наконец, австрийский государь вынужден был сложить с себя корону Священной Римской империи, — и тем не менее, благодаря военным и дипломатическим усилиям, монархия Габсбургов в 1816 г. была в более выгодном положении, чем прежде. Чересполосица ее владений была уничтожена, и государственная территория ее округлилась. В 1792 г. Австрия владела 640 кв. км с 24 млн населения, а в 1815 г. территории ее составляли почти 670 кв. км, а население доходило до 28 млн. Мы уже видели, какое положение заняла Австрия в Италии, где ей отдано было королевство Ломбардо-Венецианское, а на престолах Тосканы, Модены и Пармы сели члены Габсбургской династии, после же подавления неаполитанской и пьемонтской революции и остальные области попали под опеку венского двора. Но Австрия заняла, кроме того, первенствующее положение и в Германском союзе, как самое населенное немецкое государство, хотя для этого потребовалось ввести в состав союза и земли с преобладающим славянским элементом, в которых, впрочем, была усилена германизация². Все это делало Австрию одной из первенствующих держав в международной политике Европы, чему немало содействовало и то, что за двадцатилетний период войн венское правительство создало сильную армию, которая поддерживала и внешний престиж монархии, и внутренний порядок. Причины чисто консервативного направления австрийской политики после 1815 г. нами были уже указаны, когда шла речь о возникновении общеевропейской реакции, в которой Австрии пришлось играть руководящую роль по части изобретения репрессивных мер: для венского правительства было важно, чтобы и немцы, и итальянцы, и поляки за ее границами сидели смирно и не смущали ее немецких, итальянских и польских подданных. Если разнокалиберный состав населения монархии и представлял своего рода неудобство, то в нем же была для правительства и выгодная сторона. «Мои народы, — говорил Франц I французскому посланнику, — чужды друг другу, но тем лучше. Они не подвергаются одновременно одной и той же болезни. Когда во Франции начинается горячка, она овладевает всеми. Я посылаю венгров в Италию, а итальянцев в Венгрию. Каждый стережет своего соседа. Они не понимают друг друга и друг друга ненавидят. Из их антипатии друг к другу рождается порядок, и их взаимная ненависть служит основанием общего мира». Мы познакомились уже и с самим монархом, и с его министром: понятно, какой порядок завели

¹ Литература указана выше.

² О германизации в Австрии и о возрождении угнетенных ею национальностей речь будет идти в V томе.

они в Австрии после 1815 г. Франц I любил придавать своему абсолютизму характер патриархальности, что умиляло простаков и было поводом славословия для льстецов. На самом деле под внешним видом патриархальности скрывались подозрительность, страсть к наущничеству, жестокость, соединенные с презрением к отдельным народностям империи и ненавистью к просвещению, к науке, к литературе. В Австрию были выписаны Фридрих Шлегель, Адам Мюллер и другие люди таких же убеждений, и это были наиболее заметные умственные силы габсбургской столицы; вместе с тем полиция и цензура наблюдали за тем, чтобы в страну не ввозилось «вредных» книг и даже «опасных» частных писем. Свой взгляд на образование Франц I высказал коротко и ясно преподавателям лайбахской гимназии в 1821 г.: «Держитесь старины, ибо только она одна и хороша. Если нашим предкам с ней было недурно, зачем нам поступать иначе? Теперь в ходу новые идеи, но я их не одобряю и никогда не одобрю... Ученых мне не нужно, мне нужны только верные подданные. Приготавливать их — вот в чем вся ваша обязанность. Кто мне служит, тот должен понимать, что я приказываю. Кому это не по силам или у кого новые идеи, пусть лучше убирается, иначе я его прогоню». Поэтому он запрещал своим подданным ездить учиться за границу, читать книги, изданные за границей или такие, которые были доступны раньше в таких областях, как Ломбардо-Венецианское королевство. В собственных учебных заведениях правительство всячески стесняло преподавание философии и истории и поощряло лишь такие науки, в коих не было и быть не могло никаких «опасных» идей. Оно главным образом поддерживало замкнутые дворянские и военные школы или чисто специальные и профессиональные училища, с подозрением относясь к университетам. Низшая школа была вполне предоставлена нетерпимому и малообразованному католическому духовенству. Вместе с этим правительство вообще оказывало всевозможное покровительство духовенству, иезуитам, монахам всяких орденов, поскольку они стремились господствовать над светским обществом, хотя вместе с тем правительство не только ревниво оберегало себя от каких бы то ни было притязаний церкви на господство над государством, но стремилось во всем подчинить ее себе и своим агентам. Ультрамонтаны даже жаловались, что правительство все еще держится деспотической системы Иосифа II, и это было верно. И с дворянством государственная власть держалась такой же политики, т. е. всячески охраняла привилегии этого сословия и власть его над сельской массой, но ревниво следила за тем, чтобы дворянство не пользовалось никаким значением, как единая корпорация с политическими правами. Об общем представительстве, хотя бы даже в старой сословной форме, в Австрии и речи не заходило, но если правительство и сохранило или восстановило в отдельных провинциях земские чины — с преобладанием на них представителей духовенства и дворянства и с исключением из представительства народной массы, кроме горожан, — то, в сущности, сеймы (Postulatenlandtage),

на которые собирались местные сословные представители, не имели никакого значения даже в областной жизни, так как все управление находилось в руках бюрократии. Несмотря, однако, на механическую централизацию, которой были подчинены самые несходные между собой провинции империи, между ними были учреждены пограничные линии с заставами и таможами; они стали уничтожаться лишь в 1825 г., да и то не для Венгрии, остававшейся отделенной от других частей монархии и впоследствии¹. Одним словом, Австрия сохраняла в полной неприкосновенности основные черты «старого порядка». На его поддержку и в остальной Германии она также употребляла все свои усилия, и старания ее увенчались полным успехом, тем более что если отдельные немецкие правительства и отстаивали себя от всяких поползновений Австрии вмешиваться в их внутренние дела, то это отнюдь не препятствовало им действовать заодно с венским правительством каждый раз, когда дело шло о поддержке или усилении культурной, социальной и политической реакции.

В исходе второго десятилетия XIX в. либеральное движение в Германии приняло довольно своеобразный характер и, выразившись главным образом в стремлениях университетской молодежи, вызвало целый ряд репрессивных мер, одним из главных инициаторов коих был Меттерних².

Немецкие патриоты были страшно разочарованы и огорчены исходом венского конгресса и началом почти повсеместной реакции. Недовольство общим направлением немецкой политики проникло в учащуюся молодежь, которая была сильно взволнована всеми событиями этой эпохи, начиная с войны за освобождение. Еще в 1811 г. в Берлине некто Ян (Jahn) открыл для молодежи гимнастическое заведение, исходя из той идеи, что здоровый дух может быть лишь в здоровом теле, и что, только развив в себе дух и тело, немецкая нация в состоянии будет сбросить с себя иноземное иго. В то же время он выступил и как публицист, поставивший своей задачей обновить в молодежи национальный патриотизм, но в этой проповеди Яна было гораздо больше громких фраз и нелепых порывов, чем определенных идей; его «тевтонизм» нередко впадал даже в карикатурность: недаром по окончании войны он советовал оставить между Францией и Германией полосу земли для разведения на ней дремучего леса, в котором жили бы одни лишь дикие звери, чтобы оградить, таким образом, немцев от французского влияния. Как

¹ О борьбе венгерского сейма с австрийским правительством в эту эпоху речь будет идти в V томе.

² Для последующего см.: *Pröhle-Euler*. Jahns Leben und Wirken, 1881; *Keil*. Geschichte des jenaischen Studentenlebens, 1858; *Idem*. Die Gründung der deutschen Burschenschaft in Jena; *Schmid*. Das Wesen der Burschenschaft, 1880; *Rabany*. Kotzebue, sa vie et son temps, 1893; *Ilse*. Geschichte der politischen Untersuchungen; *Idem*. Protokolle der deutschen Ministerialkonferenzen zu Wien, 1860; *Lerchenfeld*, *Weech*. Zur Geschichte der Ministerialkonferenzen von Karlsbad und Wien, 1865; *Aegidi*. Aus dem Jahre 1819, 1861; *Idem*. Die Schlussakte der Wiener Ministerialkonferenzen, 1860; *Münch F*. Erinnerungen aus Deutschlands trübster Zeit, 1873.

«отец гимнастики» (Turnvater) и ненавистник французов, Ян имел успех среди молодежи, понимавшей тевтонизм именно в смысле внешней грубости и крайнего национализма. В войне 1813 г. Ян принял весьма деятельное участие, а в 1817 и 1818 гг. читал в Берлине с большим успехом лекции о немецкой народности. Культурное реакционерство, заключавшееся в проповеди Яна, заставило некоторых ученых вооружиться против односторонности его направления, и по этому случаю произошла даже полемика, в которой были задеты и политические вопросы. Это сильно затронуло гимнастические общества молодежи, к тому времени распространившиеся из Берлина и в другие места. Правительства, с неудовольствием смотревшие на все, что только могло нарушить сонный покой, в каком они хотели держать нацию, закрыли тогда гимнастические общества. Сам Ян, как «демагог», был посажен в тюрьму, в которой провел около шести лет (1819—1825), а когда его выпустили, то он все-таки не имел уже более права жить в Берлине и городах, где были университеты и гимназии. По-видимому, Ян участвовал в образовании иенского бурсачества (Burschenschaft), которое, во всяком случае, находилось в связи с гимнастическими союзами, вызванными к жизни Яном. Основана была эта Burschenschaft в 1815 г. несколькими иенскими студентами, принимавшими участие в войне за освобождение в одном отряде с Яном. Целью их союза было противодействовать партикуляристическим стремлениям отдельных землячеств (Landmannschaften) во имя общегерманского патриотизма и придать студенческой жизни более серьезный характер, заменив кутежи и буйства — интересами научными, нравственными и религиозными. В то самое время как немецкие либералы старших поколений являлись поклонниками английских и французских политических учреждений, университетская молодежь под влиянием романтической литературы и патриотической лирики была теперь проникнута особым уважением ко всему немецкому и к родной своей старине, отличаясь в то же время религиозностью, принимавшей иногда характер какой-то восторженности. Лозунгами студенческого союза, охватившего собой все протестантские университеты и получившего правильную организацию, были «свобода, честь, отечество», и на первых порах в этом союзе патриотически и романтически настроенной молодежи не было решительно ничего «политического», в тесном смысле этого слова. Центром движения была Иена, находившаяся во владениях великого герцога Саксен-Веймарского, который дал своим подданным либеральную конституцию с довольно значительной свободой печати. В Иене, равно как в самом Веймаре, выходило несколько газет с оппозиционным направлением: «Oppositionsblatt»¹ Линднера, «Немезида» и «Staatsverfassungsarchiv»² Людена, «Изида» Окена, «Друг народа» (впоследствии «Патриот») Людвига Виланда и др. Немецкие правительства были недовольны таким направлением веймарской

¹ «Журнал оппозиции» (нем.). — Прим. ред.

² «Конституционный архив» (нем.). — Прим. ред.

прессы: скоро представился и повод принять репрессивные меры против университетов и печати.

В 1817 г. протестантская Германия должна была отпраздновать трехсот-летний юбилей реформации. Иенское студенчество пригласило приехать в Вартбург на 18 октября (день лейпцигской битвы 1813 г.) товарищей из всех протестантских университетов для того, чтобы вместе отпраздновать юбилей реформации с годовщиной Лейпцигского сражения и устроить товарищеское вече. На торжество собралось 468 студентов из 12 университетов, и в нем приняли участие некоторые профессора. В самом начале праздника было сделано предложение о сожжении реакционных книг, но оно было отклонено. Характер собрания был религиозно-патриотический: молились, пели священные гимны, произносили речи, которые были больше похожи на церковные проповеди, и т. п. Но в празднике, несомненно, была и политическая сторона, хотя не ей все-таки принадлежало преобладание. Один студент по фамилии Риманн произнес длинную речь, в которой говорил об обманутых надеждах народа и благодарил Карла-Августа Саксен-Веймарского, как единственного государя, сдержавшего свое обещание. Кроме того, было пропето несколько либеральных песен, а известным реакционерам провозглашено было «*pereat*»¹. Только уже по окончании праздника некоторые из его участников устроили костер, в который стали бросать макулатуру, выкрикивая при этом названия таких сочинений, как «*Souveränität und Staatsverfassung*»² Ансильона, «13 статья союзного акта» Дабелова, «Восстановление государственных наук» Галлера, «История германской империи» Коцебу, «Германомания» Саула Ашера и т. п., а потом полетели в костер капральская палка и фальшивые солдатские косы, как эмблемы старого деспотизма. На другой день студенты совещались об организации всеобщего немецкого бурсачества и об основании студенческой газеты, но совещания эти не имели уже политического характера. Реакционная печать забила, однако, в набат по поводу вартбургского праздника, и венский двор послал великому герцогу, владения коего были центром агитации, представление по поводу всего происшедшего. Мало того, вартбургский праздник сделался предметом совещаний на Ахенском конгрессе, на котором молдавский уроженец Стурдза, состоявший на русской службе, представил особый мемуар о состоянии Германии (*Memoire sur l'état actuel de l'Allemagne par M. de S., conseiller d'état de S. M. de toutes les Russies*). Германия, находящаяся в сердце Европы, изображалась здесь как охваченная революционным движением, и указывались причины этого движения: «1) всеобщее перемещение лиц и целых классов, как прямой результат Французской революции; 2) туманность (*le vague*) и дезорганизация революционных идей, сделавшихся первой по-

¹ *Pereat mundus et fiat justitia (лат.)* — Правосудие должно совершиться, хотя бы погиб мир. — *Прим. ред.*

² «О суверенитете и конституции» (нем.). — *Прим. ред.*

требностью страждущего человечества и ставших вследствие этого главным орудием страсти и заблуждения; 3) постоянно возрастающие недостатки народного просвещения, дошедшие до последней крайности, вследствие чего даже самая современная система законодательства и администрации совершенно против них бессильна». Главное зло поэтому в немецких университетах, этих «готических обломках средневековой эпохи, не соответствующих учреждениям и потребностям нашего века», этих «хранилищах (repertoires) всех заблуждений века» и т. п. Вывод из всего этого делался один: нужно уничтожить все академические привилегии и подчинить университеты строжайшей регламентации и самому бдительному надзору. На Карла-Августа, которого Меттерних называл «старым буршем»¹, европейская дипломатия произвела настолько сильное давление, что он вынужден был в своем маленьком владении ограничить свободу прессы.

Нападки реакционной прессы на «тевтонских якобинцев» и репрессивные меры, последовавшие за вартбургским праздником, все более и более раздражали молодежь, и тогда в ее среде возникло на самом деле революционное брожение. В числе патриотов, сражавшихся во время войны за освобождение и прославившихся своими воинственными песнями, были два брата Фоллены, из коих один (Карл) в 1818 г. сделался приват-доцентом в Гиссене, откуда переселился в Йену. Здесь около него сгруппировался кружок так называемых «безусловных» (Unbedingten), мечтавших о немецкой республике, прославлявших убийство тиранов и находивших нужными «подвиги» и «жертвы» для достижения великой цели. Под влиянием идей и стремлений этого кружка один студент, Карл Занд, отличавшийся крайней патриотической экзальтацией и несомненно большим тщеславием, задумал совершить какой-либо подвиг, требовавшийся, по его мнению, для блага родины. Своей жертвой он выбрал состоявшего на русской службе немецкого писателя Коцебу, нападавшего на молодежь в своем издании («Litterarische Wochenblatt»²), проповедовавшего вообще обскурантизм и реакцию и заподозренного в шпионстве. 23 марта 1819 г. Занд напал на Коцебу и заколол его кинжалом, немедленно затем сделал попытку самоубийства, но был схвачен и в следующем году казнен. Коцебу был крайне непопулярен в немецком обществе, и общественное мнение сложилось в пользу Занда, в котором стали видеть мученика за национальное дело. Около того же времени один аптекарский ученик, Ленинг, сделал (неудавшееся, впрочем) покушение на жизнь Ибелля, президента нассауского правления, и покончил с собой в тюрьме.

Все это усиливало реакцию. Меттерних предложил немецким правительствам принять общие меры для борьбы с революцией, якобы уже охва-

¹ Наименование члена студенческой корпорации в немецких университетах. — *Прим. ред.*

² Литературный еженедельник (нем.). — *Прим. ред.*

тившей чуть не все земли Германии¹. В июле 1819 г. он имел свидание с прусским королем в Теплице и совершенно перетянул его на свою сторону; находившийся тут же Гарденберг не оказал достаточной энергии. Здесь между Австрией и Пруссией состоялся договор, или «пунктуация», имевшая своим предметом обуздание печати и университетов. Великие немецкие державы не доверяли союзному сейму, находя его немного либеральным, а потому задуманное дело было поручено министерской конференции, собравшейся в августе и сентябре того же года в Карлсбаде и состоявшей из представителей Австрии, Пруссии, Ганновера, Саксонии, Мекленбурга, Баварии, Бадена, Нассау и Вюртемберга; своим секретарем она имела «правую руку» Меттерниха, Генца. И Меттерних, и Генц воспользовались этим собранием, дабы истолковать § 13 союзного акта в том смысле, что под *landesständische Verfassung* нужно разумеать не представительные учреждения французского образца, как иноземные, демократические, революционные по своему происхождению и характеру, а родные, чисто германские, сословные, исторически сложившиеся земские чины. Вюртемберг протестовал против этого, и решение дела было отложено до новой министерской конференции в Вене. Зато в Карлсбаде были приняты (20 сентября) знаменитые постановления (*Karlsbader Beschlüsse*), коими предписывалось учредить строгий надзор над университетами и над преподаванием профессоров с увольнением и непринятием вновь на службу тех из них, которые будут читать лекции, несогласные с общим характером этих постановлений, а также надзор над поведением студентов, над их собраниями и т. п.; кроме того, повсеместно вводилась цензура, особенно для газет и брошюр. Наконец, еще в Майнце для расследования революционных происков была учреждена особая центральная комиссия (*Centraluntersuchungskommission*) из представителей Австрии, Пруссии, Баварии, Ганновера, Бадена, Нассау и Дармштадта. Таким образом, для реакционных целей в Германском союзе создавалась теперь новая власть. Бавария приняла карлсбадские постановления с оговоркой относительно своих суверенитета, конституции и законов, но эта оговорка не могла иметь никакого значения, раз Австрия и Пруссия действовали солидарно. Вюртемберг пошел даже дальше: не желая подчиниться постановлениям, умалявшим его независимость, он искал поддержки у русского императора, но Александр I, связанный с Австрией и Пруссией Священным союзом, одобрил политику Меттерниха в этом деле. Майнская центральная следственная комиссия действовала десять лет совершенно независимо от союзного сейма, утвердившего, однако, ее существование. Направление комиссии было прямо ретроградное: она ставила в вину даже принадлежность к тугендбунду, начав свои исследования с 1806 г.; студенческие кружки отождествлялись ею с карбонарскими заговорами; члены

¹ В действительности в это время в некоторых местах происходили антиеврейские беспорядки.

комиссии прямо держались таких правил, что расследовать нужно не только действия, но и помыслы и что нечего основывать заключения на фактах и уликах, когда можно приходить к истине и путем внутреннего убеждения или исторической вероятности; был даже сочинен никогда не существовавший Männerbund¹, основанный, будто бы, для ниспровержения всех существующих порядков. Понятно, что обыскам, арестам, тюремным заключениям и т. п. почти не было конца и многие немцы тогда стали уезжать за границу, во Францию и в Швейцарию, даже в Америку. Но эта реакция только усиливала в либералах республиканские и французские симпатии, в то же время все сильнее и сильнее отвращая Южную Германию от Пруссии, игравшей довольно видную роль в этой репрессии духовной свободы нации. До чего доходила реакция, можно видеть из запрещения, например, «Речей к немецкой нации» Фихте. Но дело еще не окончилось применением одних карлсбадских постановлений. 25 ноября 1819 г. Меттерних собрал новую министерскую конференцию в Вене из представителей всех немецких государств в составе тесного совета сейма, и к 24 мая 1820 г. эта конференция выработала новые постановления, которые были приняты полным составом сейма 8 июля под названием Венского заключительного акта (Wiener Schlussakte), имеющего обязательную силу наравне с союзным актом 1815 г. Меттерних хотел в этом документе провести принцип строгого абсолютизма, но сделать ему это не удалось, ибо даже абсолютистические правительства Центральной Германии восстали против вмешательства Австрии и союзной с ней Пруссии во внутренние дела других немецких государств. Основная тенденция Венского заключительного акта, в коем, однако, было немало противоречивого, заключалась в том, чтобы отстоять неограниченную власть правительств и усилить действие центральной власти лишь ради помощи местным правительствам в борьбе с либерализмом. Несмотря на реакционный характер акта, он предписывал, чтобы ни в одном государстве не остался неисполненным параграф 1815 г., говорящий о landesständische Verfassung (§ 54). Но вместе с тем другие два параграфа (57 и 58) акта гласили следующее: «Так как германский союз состоит, за исключением вольных городов, из суверенных государей, то вся государственная власть должна быть сосредоточена в руках главы государства, и потому суверен местную конституцией (landständische Verfassung) может быть обязан прибегать к содействию чинов лишь при пользовании известными правами своей власти. Суверенные государи, — сказано далее, — соединенные в союзе, никоим образом не могут быть препятствуемы или ограничиваемы в исполнении своих обязанностей по отношению к союзу». Наконец, в заключительном акте провозглашался и тот принцип, что в случае просьбы о помощи у союза со стороны кого-либо из государей, встретившего опасное для внутреннего

¹ Мужской союз (нем.). — Прим. ред.

спокойствия сопротивление со стороны подданных, союз должен как можно скорее помогать восстановлению порядка.

Для полного торжества реакции в Германии Меттерниху после карлсбадских постановлений и Венского заключительного акта оставалось только произвести перемены в личном составе союзного сейма, в котором представители Вюртемберга, Баварии, Гессен-Касселя, Гессен-Дармштадта, Бремена и некоторые другие противодействовали австрийской и прусской политике, отстаивая местную независимость, даже противопоставляя великим, но лишь полунемецким Австрии и Пруссии свою настоящую, или чистую Германию¹. Душой этой оппозиции был вюртембергский уполномоченный Вагенгейм, против которого Меттерних и направил главным образом подготовленное им «очищение» сейма. Вернувшись с Веронского конгресса, он в январе 1823 г. пригласил в Вену нескольких государственных людей одинакового с ним образа мыслей и предложил им рассмотреть общее положение дел Германии. По его представлению, от либерализма и демократизма Южной Германии грозила опасность и другим немецким государствам, тем более что уже и в сам союзный сейм проникла оппозиция, и вот именно все это нужно было уничтожить. Вюртембергский король думал было отстоять своего уполномоченного, но великие державы отозвали из Штутгарта своих представителей, и король, против которого высказалась и Россия, должен был уступить; за ним пошли и другие государи, уполномоченные которых обнаруживали самостоятельность на сейме. С 1823 г., благодаря новым назначениям в духе меттерниховской политики, союзный сейм сделался послушным орудием венского правительства, продолжившего в 1824 г. действие карлсбадских постановлений, которые сначала были объявлены лишь временными, и превратившего теперь сам сейм в учреждение высшего полицейского надзора.

Этой общей реакции подверглась и Пруссия². В эпоху реформ Штейна и Гарденберга и войны за освобождение на это государство немецкие патриоты возлагали все свои надежды, и даже еще во время Венского конгресса надежды эти не были еще поколеблены, но чем более Пруссия подчинялась политике Меттерниха, тем все более и более начинала расти к ней ненависть в других немецких землях и, между прочим, особенно на юге Германии, где явилась даже мысль об исключении ее вместе с Австрией из союза, в коем должны были остаться лишь «настоящие» и «конституционные» немецкие страны. Конечно, участвуя в Священном союзе, выступая за одно с Австрией и Россией на конгрессах по общеевропейским делам, поддерживая реакци-

¹ Цели этой оппозиции были выражены в составленной по поручению самого вюртембергского короля публикации под заглавием «Manuskript aus Süd-Deutschland» (1820).

² Указания на литературу см. выше, и кроме того: *Stern A. Die preussische Verfassungsfrage und Altenstein's Reise im Jahre 1817, 1893; Sailer. Der preussische Staatsrath und seine Reactivirung, 1884.*

онную политику Меттерниха в Германии, Пруссия не могла в своей внутренней жизни следовать каким-либо иным принципам, нежели тем, коими руководствовались Священный союз и Меттерних. Притом недостатка во внутренних элементах для реакции в Пруссии, конечно, не было: на путь реакции толкали правительство — дворяне, которые уже оказывали раньше консервативную оппозицию реформам и планам Штейна и Гарденберга; затронутые в своих интересах, они сплотились для борьбы и нашли поддержку в тех бюргерах, которые благодаря новым законам понакупили себе бывших рыцарских имений и весьма скоро заразились предрассудками и стремлениями землевладельческого класса; да и починка старой, пришедшей в негодность правительственной машины, произведенная Штейном и Гарденбергом, лишь усилила действие бюрократического элемента в Пруссии. В то же самое время другие реформы, рассчитанные на то, чтобы вызвать к жизни народные силы и создать в Пруссии общесословное местное самоуправление, или совсем не были приведены в исполнение, или были остановлены на полдороге, благодаря чему дворянско-чиновничья реакция в Пруссии и не могла встретить надлежащего отпора со стороны других общественных сил. Сам король Фридрих-Вильгельм III по складу своего ума, по своему характеру, по традициям своей династии был более всего склонен к консерватизму, а потому общий легитимистический дух реакции не мог, конечно, не отозваться и на нем. Крайне мнительный и нерешительный, он понимал представительные собрания не иначе как нечто, в сущности, весьма опасное, даже революционное. После Венского конгресса в Пруссии поэтому дело реформ было брошено, и начался поворот назад. Правда, Гарденберг продолжал представлять собой в высших сферах Берлина по-прежнему либеральные идеи, но у него не было достаточной энергии для того, чтобы проводить эти идеи в жизнь, тем более что характер у него был вообще покладистый, и вдобавок еще он думал, что время реакции будет непродолжительно и что скоро наступит более благоприятный момент для проведения реформ. Впоследствии вся задача Гарденберга ограничивалась лишь тем, чтобы не допустить полной отмены реформ 1807-го и следующих годов. Во внешней политике к тому же Гарденберг после Ахенского конгресса подчинился влиянию меттерниховской системы, особенно благодаря тому, что поставленный им в министры иностранных дел граф Бернсдорф оказался человеком малоспособным и склонным к реакции.

Главным внутренним вопросом в Пруссии, как и в других немецких государствах того времени, сделался вопрос о конституции. Фридрих-Вильгельм III в эпоху борьбы с Наполеоном не раз высказывал намерение дать своему народу представительство, и мысль о необходимости конституционного правления поддерживалась на Венском конгрессе и Гарденбергом, и Штейном, который, хотя и не имел официального положения на конгрессе, тем не менее пользовался известным влиянием. Мало того, 22 мая 1815 г.

прусский король, желая утвердить взаимное согласие королевской власти и народа и «дать прусской нации залог своего доверия», издал декрет, в коем обещал народу конституционную хартию (*eine schriftliche Urkunde, als Verfassung des preussischen Reiches*). Сущность этого декрета сводилась к следующему: § 1. «Должно быть образовано представительство народа». § 2. С этой целью должны быть восстановлены или вновь введены сообразно с потребностями времени провинциальные чины (*Provinzialstände*). § 3. «Из провинциальных чинов выбирается собрание палаты представителей (*Die Versammlung der Repräsentantenkammer*), местопребывание коей должно быть в Берлине». § 4. Деятельность представителей страны (*Landesrepräsentanten*) распространяется на совещания по предметам законодательства, касающимся личных и имущественных прав граждан с включением обложения. § 5 предписывал немедленно образовать правительственную комиссию, которая по § 6 должна была заняться организацией провинциального и общегосударственного представительства и выработкой конституционной хартии (*Verfassungsurkunde*). Приведение в исполнение этого декрета возлагалось на государственного канцлера (Гарденберга), который и должен был председательствовать в означенной комиссии, имевшей собраться 1 сентября 1815 г.¹ На самом деле, однако, комиссия собралась только 7 июля 1817 г. Гарденберг еще раз заявил тогда о намерении короля даровать Пруссии представительство с совещательным голосом, а для того чтобы узнать мнение отдельных провинций и познакомиться с местными учреждениями, несколько государственных людей было послано объехать разные части прусской монархии. Сведения, собранные таким путем, оказались не особенно важными и вместе с тем противоречивыми. Сам Гарденберг в начале 1818 г. посетил прирейнскую Пруссию, где местное дворянство вручило ему адрес, направленный против введения конституции и очень понравившийся кронпринцу, но в то же время подан был и другой адрес с содержанием диаметрально противоположным. Пока дело шло таким образом, Фридрих-Вильгельм III все более и более колебался, особенно под влиянием известий о внутренней борьбе, происходившей в южногерманских государствах, а вартбургский праздник и совсем напугал короля. Таким настроением Фридриха-Вильгельма III с успехом пользовалась сильная придворная партия, стремившаяся во чтобы то ни стало помешать введению представительства. Она указывала на то, что в 1814 г. Пруссия получила 5,5 млн подданных, от которых нельзя ожидать прусского патриотизма, и успокаивала короля, не желавшего нарушить данное слово, ссылаясь на то, что, как отец, любящий своих детей, он должен исполнять лишь те обещания, которые послужат к их благу. Главными деятелями этой партии были: министр полиции (впоследствии министр двора) князь Виттгенштейн; шурин короля принц Карл-Мекленбург-Стрелицкий; советник министерст-

¹ Интеремистическое национальное представительство (см. выше) было распущено летом 1815 г. Оно тоже просило короля о скорейшем введении земских и государственных чинов.

ва иностранных дел Ансильон¹, бывший воспитатель кронпринца и автор нескольких сочинений, написанных в весьма консервативном духе, сам примыкавший к исторической школе, и др. Заметим, что видным противником представительства был и сам глава исторической школы Савиньи. Еще резче высказывался против конституции и великий историк Нибур². Меттерних поддерживал эту партию, и когда виделся с Фридрихом-Вильгельмом III на Ахенском конгрессе, то отговаривал его от введения в Пруссии центрального представительства. С другой стороны, сторонники представительства не были согласны между собой, отстаивая одни — сословное начало, другие (и в их числе Вильгельм фон Гумбольдт) — представительство в новом смысле. Фридрих-Вильгельм III благодаря этому постоянно колебался и, не переставая при каждом удобном случае заявлять о своем намерении ввести представительство, в сущности, все более и более подчинялся реакции. В последнем отношении любопытен королевский указ 2 января 1819 г., в коем, с одной стороны, повторялись заявления о представительстве и защищались произведенные уже реформы от обвинения их в том, будто они были созданы простой страстью к новизне и революционными стремлениями, а с другой — говорилось о необходимости чрезвычайных мер для прекращения смуты, о строгом надзоре за преподаванием, об упорядочении прессы и т. п. Двойственному характеру этого указа соответствовала вообще вся противоречивая политика короля: в то самое время как прусское правительство внутри страны запрещает либеральные книги, стесняет свободу печати, преследует людей с независимым образом действия, поддерживает австрийские предложения к Теплице, а также участвует в составлении карлсбадских постановлений для распространения репрессивных мер на всю Германию, в это самое время в число министров (для земских и общинных дел) вступает Вильгельм фон Гумбольдт, решительный сторонник конституции, и комиссия по выработке нового государственного устройства по-прежнему продолжает свои занятия. Правда, в самой этой комиссии весьма скоро возникла борьба между государственным канцлером Гарденбергом и Вильгельмом фон Гумбольдтом, — между прочим, сильно вооружившимся против карлсбадских постановлений, — и Гумбольдт был даже вынужден вместе с некоторыми единомышленниками своими выйти из министерства, тем не менее вопрос о введении конституции с очереди все-таки не снимался. Гарденберг не покидал мысли о введении провинциальных и государственных чинов, причем по его плану члены общего сейма должны были выбираться на провинциальных сеймах, и компетенция сейма с чисто совещательным лишь голосом должна была ограничиваться только некоторыми предметами (тогда как Гумбольдт стоял за

¹ См. выше. Кроме того, в числе реакционных писателей прославился в это время Шмальц, имя которого фигурировало на вартбургском празднике, как один из самых завязанных врагов свободы.

² Во Франции историческая школа служила, наоборот, либерализму.

непосредственные выборы, за решающий голос и за более широкую компетенцию). Мало того, вскоре после отставки Гумбольдта, 17 января 1820 г. Фридрих-Вильгельм III издал декрет о государственном долге Пруссии, в коем опять подавалась надежда на введение представительства. Объявляя о том, что правительство не намерено делать новых долгов, декрет заключал в себе одну весьма важную оговорку: «Буде же государство впредь ради собственных надобностей или для удовлетворения потребностей общего блага будет поставлено в необходимость обратиться к новому займу, то произойти это может не иначе как лишь при участии и гарантии со стороны будущего представительного собрания» (*nur mit Zuziehung und unter Mitgarantie der künftigen reichsständischen Versammlung*).

События 1820 г. на Пиренейском и Апеннинском полуостровах снова действовали на Фридриха-Вильгельма III в самом неблагоприятном для введения представительства смысле. На конгрессе в Троппау Меттерних опять уговаривал прусского короля отказаться от своих планов, и, вернувшись в Берлин, Фридрих-Вильгельм III образовал новую комиссию для рассмотрения этого вопроса, назначив в нее противников Гарденберга и поставив во главе всего этого дела кронпринца. Пока Гарденберг оставался еще в Италии, комиссия кронпринца, — который, будучи поклонником романтики и реакционного учения Галлера, находил самым лучшим восстановить провинциальные земские чины с преобладанием дворянства, — пришла к тому заключению, что в общем представительстве Пруссия пока не нуждается, и обратилась к королю с просьбой созвать новую комиссию с участием сведущих людей из провинций для обсуждения вопроса о провинциальных чинах. Несмотря на протест Гарденберга (вскоре после этого и умершего, 1822 г.), король согласился на это предложение, и вновь составленная под председательством кронпринца комиссия с провинциальными сведущими людьми (*mit erfahrern Männern aus jeder Provinz*) выработала, наконец, закон 5 июня 1823 г. о провинциальных чинах. В этом законе уже прямо говорилось, что вводимые учреждения задуманы «в духе старинного немецкого устройства» (*im Geiste der ilteren deutschen Verfassungen*) и вместе с тем именно в этих-то самых провинциальных чинах нация приглашалась видеть тот «залог доверия», о коем говорилось раньше при обещании общегосударственного представительства. Каждая провинция получала свои особые чины с совещательным, а по некоторым вопросам и решающим — при королевском утверждении — голосом, а состоять собрания чинов должны были из представителей строго разграниченных сословий с самым очевидным преобладанием дворянства над горожанами и крестьянами. Во всех восьми провинциях, получивших наконец местные сословно-представительные собрания в 1823 и 1824 гг., насчитывалось около 625 членов, из коих на долю дворянства приходилось до 300, на долю горожан приблизительно 200, а на долю сельского населения — 124.

Таков был исход конституционной борьбы в Пруссии в 1815–1823 гг. И здесь реакция одержала победу, хотя нужно заметить, что Фридрих-Вильгельм III все-таки и впоследствии не соглашался на то, чтобы уничтожить все реформы, какие были произведены Штейном и Гарденбергом, а в прирейнской Пруссии — французами, и даже сам сдерживал слишком реакционные стремления государственного совета¹. После 1823 г. в Пруссии наступила «классическая пора бюрократизма», и дальнейшая внутренняя история этого государства в рассматриваемый период ничем существенно не отличалась от внутренней истории других немецких государств, в коих одержала победу культурная, социальная и политическая реакция.

В Пруссии вообще не было недостатка и в теоретиках реакционных и консервативных идей. Нигде идеи прусской реставрации не нашли такого полного выражения, как в философии Гегеля². Конечно, определением системы Гегеля как «наукообразной хранильницы духа прусской реставрации» нет никакой возможности охватить всю философию этого знаменитого мыслителя и выразить громадное ее значение в истории философских и научных идей XIX в.³; тем не менее, становясь лишь на точку зрения отношения Гегеля к общественным вопросам эпохи, мы можем признать, что его философия действительно имела именно такое значение. Гегель по происхождению не был пруссаком. Он родился (в 1770 г.) в Штутгарте и учился в Тюбингенском университете. В Берлин он переехал, чтобы занять кафедру в тамошнем университете, лишь сорока восьми лет, в самом начале Реставрации (1818), и здесь только сделался поклонником прусских порядков. В нем вообще была довольно сильна способность приспособления к окружающим условиям, т. е. своего рода оппортунизм. В свое время он преклонялся перед Наполеоном. Будучи директором нюрнбергской гимназии (1808–1816), он усиленно внедрял в молодые умы своих воспитанников баварский патриотизм. В 1817 г., занимая кафедру в Гейдельберге, он написал сочинение в защиту либеральных реформ тамошнего правительства, довольно благосклонно относясь вообще к стремлениям и «вюртембергского государства». Приехав в Берлин, он во вступительной лекции, прочитанной в университете, сделал намек уже на то, что существует сродство и внутреннее согласие между прусским государством и его философией. Гегелю было около двадцати лет, когда вспыхнула Французская революция; сначала он ею увлекся было, но в нем мало-помалу утвердился взгляд на вещи, диаметрально противоположный каким бы то ни было стремлениям улучшать общественную жизнь путем осуществления тех

¹ Последний был учрежден в 1817 г.

² Литература о Гегеле громадная. Отметим здесь только некоторые сочинения: *Haym. Hegel und seine Zeit*, 1857 (есть сокращенный русский перевод Соляникова, 1861); *Rosenkranz K. Hegel als deutscher nationalphilosoph*, 1870; *Köstlin K. Hegel in philosophischer, politischer und nationaler Beizehung*, 1870; *Градовский А.* Политическая философия Гегеля (Ж. М. Нар. Просв., CL часть).

³ Об этом речь будет идти в V томе.

или других отвлеченных идей. В 1801 г. он определенно высказывал уже следующее: «Мысли, содержащиеся в этом сочинении, могут при их обнародовании иметь только одну цель и действие — понимание того, что есть, а вместе с тем, служа орудием для образования более спокойного взгляда на вещи, дать возможность с большим терпением переносить соприкосновение с этим пониманием. Не оттого мы страдаем и волнуемся, что есть то, что есть, но потому, что оно не таково, каким бы должно было быть. Но когда мы понимаем, что оно именно таково, каким быть должно, т. е. не есть произведение случая и произвола, то признаем, что оно как раз таково, каким и должно быть». Эти строки могут служить хорошим комментарием к знаменитому положению Гегеля: «Что разумно, то действительно, а что действительно, то и разумно». «Философия, — писал Гегель другой раз, — есть исследование разумного, а следовательно, есть вместе с тем понимание современного и действительного, а не поставление несуществующего и выходящего за пределы мира и имеющего место лишь в мечтах пустого разглагольствования. Цель философии заключается не в том, чтобы построить государство, каким оно должно быть, но в том, чтобы понять государство, как оно есть». Немудрено поэтому, что, издавая в 1821 г. свою «Философию права», Гегель нашел сказать в предисловии нечто и в оправдание карлсбадских постановлений, которые были направлены прямо против свободного изложения результатов свободного исследования путем печати и путем преподавания с кафедры. С этой же точки зрения мы поймем и общий смысл его философии истории, лекции по которой он читал в Берлинском университете в двадцатых годах¹. Гегель изображает все прошлое человечество с самой оптимистической точки зрения и произносит похвалы настоящему как завершению всемирно-исторического процесса; настоящее же это воплощается для него в германском мире вообще, в частности же в протестантизме и прусском государстве.

Философия Гегеля в берлинский период его жизни сделалась модной и заслужила особое покровительство со стороны правительства. «Без сомнения, — говорит один из биографов Гегеля², — многим из живущих (писано в 1857 г.) памятно то время, когда все знания питались от роскошно убранного стола гегелевой мудрости, когда все факультеты толпились в передней философского факультета с целью хотя бы что-нибудь усвоить себе из возвышенного рассмотрения абсолютного бытия и из неуловимой гибкости прославленной гегелевой диалектики; когда всякий был или гегелевым последователем, или варваром, идиотом, отсталым человеком, презренным эмпириком; когда, наконец, само государство считало себя безопасным и прочным оттого, что старик Гегель построил его на началах разумности и необходимости... Должно со всею живостью представить себе восторженность и уверенность гегельянцев 1830 г., которые с глубокой серьезностью

¹ См. в I томе наших «Основных вопросов философии истории».

² Гайм.

предлагали вопрос: что будет составлять дальнейшее содержание всемирной истории после того, как всемирный дух (Weltgeist) достиг в гегелевой философии своей последней цели — познания самого себя?» Понятно, что при такой тенденции философии Гегеля прусское правительство должно было особенно хлопотать об ее распространении, и со своей стороны и Гегель полемизировал против тех, которые находили не все благополучным в «образцовом государстве интеллигенции», каким он объявил Пруссию.

Между прусской государственностью и гегелевой философией действительно было известного рода внутреннее родство. Гегель преклонялся перед античной идеей государства, поглощающего личность, и перед проявлениями сильной власти, господствующей над обществом. Наполеон был для него довольно долго чуть не воплощением «всемирного духа», потом же этим воплощением сделалась Пруссия: и наполеоновская империя, и реставрационная Пруссия были для него действительно высшими формами государства, этого земного бога Гегеля. Он не находил, с чем только сравнивать Пруссию, дабы возвеличить ее похвалами. Он уподоблял ее, например, государству Платона, в коем властвуют наилучшие и наиболее знающие, и роль таких «философов», правящих государством, у него играли чиновники, как люди, имеющие требуемые для своего дела знания. Прусские полицейские порядки он сближал, например, с той величественной силой, при помощи коей римское государство подчиняло себе граждан, дабы сделать их свободными. Гегелю пришлось высказываться по политическим вопросам в то самое время, когда шли толки о прусской конституции, и ввиду возможности представительства он не мог не дать и ему места в своей политической теории. Но он весьма своеобразно понимал значение представительства. Другие говорили, что представители народа лучше, нежели правительство, понимают общие интересы и потребности, но, по мнению Гегеля, народ-то как раз и есть именно та часть государства, которая не знает, чего хочет. Значение представительства с публичностью прений он уподоблял государственной газете, служащей в качестве исправительницы общественного мнения, в убеждении народа в том, что им хорошо править. Притом чины должны представлять не народ, как совокупность единиц, а великие интересы промышленности, торговли, сельского хозяйства и лишь под условием чисто совещательного голоса. Или вот как толковал Гегель значение суда присяжных: в деле правосудия важно сознание обвиняемого, но когда преступник запирается, за него могут сознаться присяжные, и в этом заключается их настоящее значение, а вовсе не в том, чтобы народ мог создавать право из собственного чувства и суждения.

В то самое время как Гегель до самой своей смерти (1831) был любимцем правительства, люди иного образа мыслей были не у дел. Штейн, скончавшийся в одном году с Гегелем, жил частным человеком, хотя и продолжал интересоваться общественными делами, равно как изучением

истории¹. Во время преследования демагогов была даже заподозрена его благонамеренность. В совершенном отстранении от дел почти все последние 16 лет своей жизни (1819—1835) провел и Вильгельм фон Гумбольдт, после того как вынужден был оставить министерство². Геррес, во время войны за независимость проявивший большую энергию и патриотизм, должен был прекратить издание своей газеты «Рейнский Меркурий», отстаивавшей конституцию и свободу печати, а потом за свое сочинение «Германия и революция» вынужден был покинуть родину. Отец гимнастики Ян был посажен в тюрьму по доносу какого-то гимназиста, передавшего какие-то изменнические его изречения.

Во второй половине двадцатых годов реакция уже везде в Германии достигла полного господства.

¹ *Meyer. Der Freiherr von Stein und die Monumenta Germaniae historica*, 1875. Дело идет об основании общества для изучения древнейшей истории Германии и о названном издании.

² В 1830 г. он был сделан членом государственного совета.

XVII. Реставрация и установление конституционной монархии во Франции¹

Международное положение Франции при Реставрации. — Значение эпохи Реставрации во внутренней жизни Франции. — Борьба старой и новой Франции в 1814—1830 гг. — Взаимные отношения аристократии, буржуазии и народа в эту эпоху. — Возобновление стремления к политической свободе. — Проект сенаторской конституции. — Хартия 4 июня 1814 г. — Общие условия общественной свободы во Франции в эпоху Реставрации. — Судьба конституционной монархии во Франции. — Сравнение Французской революции с Английской, делавшееся в эпоху Реставрации. — Отношение французской конституции к английской

Историческое движение, потрясшее всю Западную Европу в конце XVIII и начале XIX в., вышло из Франции, и Франция играла главную роль во всех тех переворотах, которым подверглись все западноевропейские государства, кроме Англии, в это время. Коалиция, низвергшая Наполеона, продолжала относиться к Франции подозрительно и в начале Реставрации. При территориальных распределениях на Венском конгрессе имелось в виду оградить Европу от новых опасностей со стороны беспокойной французской нации усилением на ее границах второстепенных государств. Договором 20 ноября 1815 г. четыре великие державы (Австрия, Великобритания, Пруссия и Россия) обязались наблюдать за внутренним спокойствием во Франции, в которой были даже размещены союзные войска; они оставались здесь до 1818 г., когда Ахенский конгресс освободил Францию от иностранной оккупации. Лишь на ахенском же конгрессе Франция была принята в число полноправ-

¹ В виде скатых пособий по истории Реставрации во Франции (притом в русском переводе) можно рекомендовать соч. Рохау и Эрнеста Доле (Очерк истории Реставрации, предпосланный «Истории Франции в XIX в.» Л. Грегуара в русском переводе М. В. Лучицкой). Вообще литература по истории Реставрации весьма обширна, но многое в ней устарело (Capefigue, Dareste, Lacretelle, Lamartine, Lubis, Wachsmuth и др.): *Vualabelle. Hist. ides deux restaurations, 1847 и след.*; *Viel-Castel. Histoire de la restauration, 1860—1878*; *Duvergier de Hauranne. Hist. du gouvernement parlementaire en France, 1862 и сл.*; *Houssaye, Daudet E. La terreur blanche. Episodes et souvenirs de la réaction dans le midi en 1815, 1878*; *Thureau-Dangin. Le parti libéral sous la restauration, 1888* (2-е изд.); *Idem. Royalistes et républicains, 1888* (2-е изд.). В этой книге см. отдел под заглавием: *L'extreme droite et les royalistes sous la restauration*; *Bardoux. La bourgeoisie française (1789—1848), 1880*; *Challamel. Histoire de la liberté en France depuis 1789*; *Cronier. Hist. du droit municipal depuis la Restauration; Nettement. Hist. de la littérature française sous la Restauration*; *Hillebrand K. Die Julirevolution und ihre Vorgeschichte, 1881*. Во II и III томах Мемуаров Пакье, из коих последний том только что вышел (в 1894 г.), рассказываются события первой Реставрации и самого начала второй.

ных членов европейского союза, но и после этого отношение французского правительства к заявленному Австрией, Пруссией и Россией принципу вмешательства давало повод главным державам Священного союза относиться с недоверием к ее поведению. На Веронском конгрессе Австрия, Пруссия и Россия даже произвели на Францию давление, чтобы заставить ее произвести экзекуцию в Испании, сделав притом лишь одну уступку французскому правительству: оно желало, чтобы, по крайней мере, для видимости оно могло действовать как бы по собственной инициативе, а не по приказанию конгресса. В 1823 г. Франция, которая считала в конце XVIII в. своим призванием освобождать народы, посылала, наоборот, армию для восстановления клерикально-аристократического абсолютизма в соседнем государстве. В этом факте выразилась победа международной реакции и над Францией. Но в то же время из всех народов европейского материка одна лишь французская нация в эту эпоху, несмотря и на внутреннюю реакцию, пользовалась политической свободой, и лишь во Франции в двадцатых годах либерализм получил наиболее полное развитие¹. Внутри Франции реакция не могла одержать такой победы, как в других странах континента, а это обстоятельство имело не только значение для самой Франции, но и оказывало свое влияние на соседние государства. Если реакционные правительства продолжали с опасением смотреть на успехи французского либерализма, то, наоборот, оппозиционные элементы общества в разных странах главным образом именно во французских учреждениях и идеях искали руководства, возлагая притом чуть не все свои надежды на парижских либералов. Немудрено поэтому, что когда борьба реакции и либерализма, повсеместно кончившаяся победою первой, во Франции разрешилась новой революцией, то революция эта немедленно же нашла отклик везде, где только существовало недовольство установленным порядком вещей, в Бельгии и Польше — против Голландии и России, к коим они были присоединены, в Италии и Германии — против правительств, подчинявшихся меттерниховской реакции.

Независимо от общеевропейского значения борьбы между реакцией и либерализмом во Франции, внутренняя история Франции представляет и самостоятельный интерес. Во-первых, здесь в 1814 г., благодаря реставрации Бурбонов и возвращению эмигрантов, встретились лицом к лицу два общества: новое, пережившее революцию и империю, и старое, в течение целой четверти века находившееся в отсутствии и явившееся теперь на родину с намерением восстановить прежние политические и общественные порядки, тогда как громадное большинство нации не желало вернуться к этим порядкам. Во-вторых, Франция в 1814 г. получила хартию, превратившую ее в конституционную монархию. Первая попытка установления во Франции конституционной монархии окончилась неудачей. Неудача постигла и попытку превра-

¹ Ввиду этого, делая общую характеристику либерализма, мы имели в виду главным образом Францию.

щения Франции в республику. Затем на полтора десятка лет страна лишилась какой бы то ни было свободы, и лишь после падения империи представилась возможность установить опять настоящий конституционный режим. В общем, новая попытка была удачной: хартия 1814 г. с некоторыми изменениями, произведенными в ней в 1830 г., просуществовала тридцать четыре года, т. е. такой большой срок, какого не выдержал ни один другой режим во Франции¹. В этом смысле установление здесь конституционной монархии было удавшимся опытом перенесения на континент английского парламентарного режима. В-третьих, благодаря тому, что в конституции 1814 г. (и ее видоизменение 1830 г.) выразилось недоверие к демократическим идеям предыдущей эпохи, период Реставрации (а также и июльской монархии) был временем устранения народных масс от участия в политической жизни. На сцену выдвигаются теперь правящие классы, и между ними-то главным образом и происходит борьба: землевладельческая аристократия представляет собой реакцию, промышленная и торговая буржуазия является представительницей либерализма, который благодаря этому и сам принимает буржуазный характер. В этой борьбе интересы народной массы отходят на задний план, но зато тогда же зарождается новое направление, которое, отделяя себя от либерализма, именно эти интересы выдвигает на первый план². В 1830 г. буржуазия при помощи народа одержала победу над клерикально-аристократической реакцией, и последняя потом уже не могла играть такой роли во внутренней жизни страны, как в период между 1814 и 1830 гг.

Уже в XVIII в. стояли друг против друга две Франции — Франция «старого порядка», абсолютной монархии, католической реакции и социальных привилегий и Франция новых идей, имевших своим содержанием политическую свободу, культурный прогресс и гражданское равенство. В 1789 г. между двумя этими Франциями — старой и новой — началась борьба не на живот, а на смерть, называемая Французской революцией, борьба, из коей победительницей вышла Франция новая. Хотя последняя не достигла всего того, к чему стремилась в 1789 г., и в 1799 г. в ней было положено начало порядку вещей, в котором восстанавливались многие черты дореволюционной старины, тем не менее старая Франция была сокрушена, и победа новой выразилась в том, что многие представители старых начал жизни признали власть человека, который в глазах наиболее непримиримых врагов нового порядка был только революционным узурпатором. Уже в XVIII в. положение правительства во Франции между двумя противоположными оппозициями — консервативной и либеральной — было в высшей степени затруднительным, и нужно было

¹ Конституция 1791 г. существовала менее года, конституция 1793 г. совсем не действовала, конституция III г. — около пяти лет, наполеоновские конституции — 14 лет, Вторая республика (1848—1852) — четыре года, Вторая империя (1852—1870) — 18 лет, Третья республика (получившая конституцию в 1875 г.) существует пока лишь четверть века.

² О последнем явлении будем говорить в другой связи в последнем отделе настоящего тома.

проявить величайшую государственную мудрость, чтобы удержаться на известной высоте над противоборствующими течениями общественной жизни. Революция разделила общество на две совершенно непримиримые части, и лишь благодаря эмиграции непримиримых сторонников «старого порядка» и падению наиболее крайних представителей революции, якобинцев, возможны сделались попытки соединения воедино Франции новой с Францией старой. Первые попытки в этом направлении сделаны были еще в эпоху Директории, но они не могли состояться; затем Наполеон поставил своей задачей, отворив перед эмигрантами дверь на родину, примирить их с новым порядком вещей, и это до известной степени ему удалось. Но это было лишь временным перемирием, вынужденным обстоятельствами.

Борьба старой и новой Франции была, в сущности, борьбой между аристократией и буржуазией. Так понимали ее смысл сами современники и между ними историки, которые в лице Огюстена Тьерри и Гизо сильно интересовались прошлым третьего сословия. «Нашими предками, — писал первый из них в 1817 г., — были те ремесленники, которые основали городские общины и создали первое представление о новой свободе». «Мы, — говорит он в другой раз (1820), — сыны третьего сословия; третье сословие вышло из городских общин; городские общины были убежищем сервов; сервы были побеждены во время завоевания» (т. е. завоевания Галлии франками). «В течение тринадцати веков, — писал также Гизо в *"Du gouvernement de la France depuis la Restauration"*¹ (1820), — Франция заключала в себе два народа, народ победителей и народ побежденных. В течение тринадцати веков народ побежденных боролся, чтобы сбросить с себя иго народа победителей. Наша история есть история этой борьбы. В наши дни была дана решительная битва. Она называется революцией. Результат революции не подлежит сомнению: прежний побежденный народ сделался народом-победителем. В свою очередь, он покорила Францию... Но, — продолжает Гизо, — можно было предвидеть, что народ, побежденный во время революции, не примирится со своим поражением и не потому, чтобы поражение это заставляло его самого подчиниться положению, которое он некогда навязал побежденным. Теряя привилегии, он находил право и, лишаясь господства, мог найти вознаграждение в равенстве. Но большим массам людей не дано таким образом отказываться от людской слабости, и их мысль всегда на очень далекое расстояние отстает от необходимости. Все, что сохраняло или возвращало прежним обладателям привилегий луч надежды, должно было толкать их к попытке возвращения себе этих привилегий. Реставрация не могла не произвести такого действия. Старые привилегии в падении своем увлекли и трон, и вот явилась мысль, что восстановленный трон поднимет вместе с собой и привилегии... Этот народ привилегий существует между нами; он живет, говорит, движется, действует, оказывает влияние от одного конца Фран-

¹ Правительство Франции в период Реставрации (фр.). — Прим. ред.

ции до другого. Сильно уменьшенный и рассеянный Конвентом, то ободряемый, то сдерживаемый Наполеоном, лишь только прекращается террор или деспотизм, он снова появляется на сцену, занимает свое место и начинает работать над возвращением себе всего, что было им потеряно... Мы, — замечает еще Гизо, — победили старый порядок, и победа всегда будет на нашей стороне, но нам еще долго придется вести борьбу. Кто желает во Франции конституционного порядка, выборов, палат, публичной трибуны, свободы печати, всех видов общественной свободы, должен отказаться от мысли, будто в этом беспрерывном и столь оживленном проявлении всего общества контрреволюция может остаться немой и бездействовать». Так понял — и совершенно верно понял — положение, созданное во Франции реставрацией, один из наиболее видных французских историков, бывший в то же время и политическим деятелем. Между старой Францией, представленной главным образом эмигрантами, и Францией новой, которую преимущественно представляла собой буржуазия, более всего выигравшая от революции, сделки быть не могло. Эмигранты «ничему не научились и ничего не позабыли»; в восстановлении легитимной монархии они, естественно, видели торжество своего дела, желая, конечно, вместе с тем получить от своей победы и осязательные результаты, требуя именно награды за верность свою старой династии, находя, наконец, вполне естественным, чтобы люди, изменившие верноподданническому долгу, были за это наказаны. Всего этого представители старой Франции думали сначала достигнуть посредством восстановления абсолютизма. «Оппоненты Французской революции 1789 г., — писала в 1817 г. г-жа Сталь в своих "Considerations sur la revolution française"¹, — дворяне, духовные, магистратура не уставали твердить, что не нужно было никакого изменения в правительстве, ибо существовавшие тогда посредствующие корпорации хорошо исполняли свою роль, не допуская деспотизма², а теперь они за деспотизм как за восстановление будто бы старого порядка. Эта непоследовательность в принципах есть последовательность в интересах. Когда, — объясняет далее г-жа Сталь свою мысль, — привилегированные ограничивали королевскую власть, они были против произвольной власти короны, но когда нация сумела занять место привилегированных, они соединились с королевской прерогативой и составляют всякую конституционную оппозицию, всякую политическую свободу в виде какого-то бунта». Знаменитая писательница очень верно подметила стремление реакционной партии в первые годы Реставрации, но, в сущности, весьма скоро и роялисты — как стала называться реакционная партия, — увидели, какую силу они будут иметь, благодаря конституции, раз палаты, а через них и правительство будет в их руках. Например, один из видных деятелей эпохи Реставрации, Виллель³, живший во время революции вне Франции, а по

¹ Заметки о Французской революции (фр.). — Прим. ред.

² Идея Монтескье, т. III.

³ Он был министром в 1822—1827 гг.

возвращении на родину в 1803 г. не желавший служить империи и потому все время до ее падения остававшийся частным человеком, в 1814 г. написал по поводу обещания Людовика XVIII дать конституцию очень резкую по своему тону брошюру, в коей доказывал необходимость восстановления абсолютной монархии; но, попав в палату депутатов (1815), он с самого же начала понял, что при помощи конституции можно будет еще лучше достигнуть целей своей партии, а потому и сделался одним из приверженцев конституционного режима, как отличного орудия в политической борьбе. Мы увидим, что, добываясь власти, реакционеры пользовались именно той самой хартией, в которой видели сначала опасную уступку революционным началам, и что они нередко становились в прямую оппозицию к королевской власти, если она не разделяла их стремлений. Занятие такой позиции реакционной партией заставляло либералов тоже главным образом стремиться к захвату власти путем парламентских же выборов (хотя в первые годы Реставрации не отвергались и революционные пути). Вот почему парламентская борьба получила во Франции в эту эпоху весьма важное значение. Но так как при существовании весьма высокого ценза для избирателей и еще более высокого для депутатов в палату могли попадать лишь самые богатые люди — землевладельцы и капиталисты, то вся эта парламентская борьба была лишь отражением того антагонизма, который существовал в общественной жизни между аристократией и буржуазией. Либеральные публицисты и историки так и понимали происходившую тогда борьбу. В течение тринадцати веков, писал еще Гизо, «во Франции существовало всегда два положения, два общественных класса, глубоко различные и неодинаковые, которые никогда не смешивались между собой и никогда не находились друг с другом в состоянии единства (union) и мира, которые, наконец, никогда не прекращали своей борьбы, один — для завоевания прав, другой — для удержания за собой привилегий». Совершенно в том же смысле Огюстен Тьерри говорил, что во Франции существуют два класса людей: люди пергаменов и люди индустрии.

Нам уже выше приходилось говорить о буржуазности французского либерализма в эпоху Реставрации. Буржуазия вовсе не стремилась к тому, чтобы понизить высокий избирательный ценз, и вся политическая борьба по вопросу о цензе в эту эпоху сводилась к желанию реакционной партии дать преобладание землевладению над промышленностью и торговлей. Противопоставляя себя аристократии, буржуазия в то же время отделяла себя и от народа. Один из видных представителей либерализма, Арман Каррель¹, упрекал крайнюю правую за то, что она «ищет какую-то нацию помимо той, которая читает газеты, возбуждается парламентскими дебатами, владеет капиталами, управляет промышленностью, имеет в своих руках землю» и этой «нации» он противопоставлял массу, «которая мало что смыслит». За несколько дней до

¹ См. статью о нем в начале русского перевода его «Истории контрреволюции в Англии».

Июльской революции другой либерал, Одиллон Барро, говорил своим политическим единомышленникам, что если они будут побеждены, то народ не воспрепятствует их казни. Предсказание это оказалось неверным, ибо народ-то и помешал победе реакции над либерализмом в 1830 г. Если по самой сущности своих стремлений либерализм эпохи Реставрации был, так сказать, рассчитан на удовлетворение людей с независимыми материальными средствами и развитыми умственными потребностями и реакция грозила как материальным, так и духовным интересам этих людей, то и народная масса имела свои причины относиться с неприязнью к реакции, поскольку опасалась восстановления феодальных прав, десятин и старого неравенства. Успех Наполеона после его бегства с Эльбы и объясняется главным образом тем, что народная масса приветствовала возвратившегося императора как спасителя тех приобретений революции, которые ей особенно были дороги. Поэтому можно сказать, что не одна только буржуазия, но и народ являлись одинаково противниками той социальной реакции, которая была главной целью стремлений эмигрантов, хотя бы представители этой реакции и стояли вместе с буржуазией на одной и той же политической почве конституционализма, а вместе с народными массами, особенно в провинции — на одной и той же почве реакции культурной, выразившейся в успехах, какие сделали в эпоху Реставрации клерикализм и католическая нетерпимость.

Империя Наполеона имела в своей основе демократический принцип всенародного избрания: Наполеон сделался первым консулом на десять лет, получил пожизненную власть и, наконец, принял императорский титул в силу народных голосований, или так называемых плебисцитов. Возвратившись с Эльбы, он прибегнул к такому же средству, чтобы санкционировать новые учреждения, которые должна была получить Франция. Организация политической свободы на демократических началах, задуманная в 1789 г., не удалась, и самая политическая свобода в 1799 г. была принесена буржуазией, сначала более всего к ней стремившейся, в жертву соображениям иного порядка. К концу империи, однако, как мы видели уже, во французском обществе снова зародилось стремление к политической свободе, выразившееся в возникновении либеральной оппозиции, с которой Наполеон не мог уже не считаться после возвращения своего с Эльбы. Низложение Наполеона в 1814 г. сенатом и законодательным корпусом прямо мотивировалось тем, что он нарушал свободу французского народа и «конституционный договор». Мы еще рассмотрим, каким образом совершилась реставрация Бурбонов, а пока не можем не отметить того, что эта реставрация без либеральной конституции была немыслима. Само временное правительство, образовавшееся после первого низложения Наполеона, выработало новую монархическую конституцию, которая 6 апреля 1814 г. была принята и обнародована сенатом, желавшим, чтобы Людовик XVIII, «свободно призываемый на трон Франции» (статья 2), был тем самым вынужден признать новые учреждения. Отдавая исполнительную власть

в руки короля (5), эта конституция постановляла, что законы будут издаваться с общего согласия короля, сената и законодательного корпуса (6), причем члены сената должны были сделаться несменяемыми и наследственными, сохранив за собой прежние дотации и сенатории (7), а законодательный корпус должен был впредь ежегодно собираться сам собою (*de droit*) 1 октября, хотя и с возможностью быть распускаемым под условием, однако, назначения новых выборов в течение трех месяцев (10). Далее, конституция гарантировала неприкосновенность сенаторов и членов законодательного корпуса (13), — равно как независимость судебной власти, — и разрешала членам обеих палат делаться министрами (14). Объявляя особу короля священной и неприкосновенной, конституция требовала далее, чтобы все правительственные акты подписывались министром, который и отвечал бы за всякое посягательство на законы, на общественную и индивидуальную свободу, на права траждан (21). В отдельных статьях гарантировались свобода культов и свобода совести (22), полная свобода печати (23), спокойное обладание национальными имуществами (24), право личных петиций к властям (26), одинаковый для всех доступ к разным гражданским и военным должностям (27). Наконец, предполагалось, что эта конституция будет подвергнута народному принятию: лишь после этого Людовик XVIII должен был бы объявить, что и он принимает конституцию, принести ей присягу в верности, а затем уже и быть провозглашенным королем французов (29). Эта сенаторская конституция, — посредством коей, между прочим, члены наполеоновского сената хотели обеспечить за собой и даже за своими потомками свои места и доходы, — была именно выражением либеральных стремлений, обнаружившихся во французском обществе в эпоху падения империи. Хотя Людовик XVIII отверг мысль о призвании его на престол свободным актом французского народа под условием принятия конституции, тем не менее он вынужден был сам дать конституционную хартию (4 июня 1814 г.), и хотя в последней он стремился всячески сгладить революционное происхождение ее принципов, все-таки данная им хартия, в сущности, очень мало отличалась от конституции, обнародованной сенатом: Людовик XVIII не принял в свою конституцию лишь демократических принципов, сохраненных конституцией сената в заявлениях о призвании его на престол народной волей и об утверждении конституции народом, не принял и избрания членов законодательного корпуса наполеоновскими избирательными коллегиями. Во всем остальном Людовик XVIII сохранял в своей хартии главные постановления сенаторской конституции.

Нам нужно теперь ближе познакомиться с содержанием этой конституции, которою Франция управлялась до 1830 г.

В своей хартии «Людовик, Божьей милостью король Франции и Наварры», объявлял, что «Божественное провидение, призвав его снова в его владения после долгого отсутствия, возложило на него великие обязательства». «Конституционная хартия, — сказано было далее в этом документе, — требо-

валась современным состоянием государства; мы ее обещали и теперь публикуем. Мы принимали во внимание, что, хотя во Франции вся власть вполне заключалась в особе короля (*bien que l'autorité tout entière résidât en France dans la personne du Roi*), наши предшественники никогда не отказывались вносить изменения в пользование ею (*en modifier l'exercice*), смотря по менявшимся обстоятельствам», — и вот в доказательство этой мысли в хартии сделаны были ссылки на разные учреждения прежних королей, не имевшие сами по себе конституционного значения, кончая ордонансами Людовика XIV, «мудрость коих ничто еще не могло превзойти». Таким образом, Людовик XVIII связывал свою хартию не с конституционными законами, ведущими свое начало из революции, а со старинными учреждениями, с коими на деле хартия не имела ничего общего. «Мы, — прямо заявлял Людовик XVIII, — искали принципов конституционной хартии во французском характере и в достопочтенных памятниках веков минувших. Так мы увидели в возобновлении пэрии учреждение истинно национальное, которое должно быть посредствующим звеном между всеми воспоминаниями и всеми упованиями, служа связью между старыми и новыми временами. Мы заменили палатою депутатов прежние мартовские и майские поля и палаты третьего сословия... Стремясь, таким образом, снова соединить звенья цепи времен, разорванной вследствие печальных уклонений, мы изгладил из нашей памяти, — как хотели бы, чтобы можно было изгладить и из истории, — все бедствия, удручавшие наше отечество во время нашего отсутствия». На самом деле, конечно, хартия 1814 г. являлась продуктом именно тех самых событий, изгладить которые из своей памяти желал бы Людовик XVIII, но никак не была естественным продолжением ордонансов Людовика XIV. С другой стороны, в хартии подчеркивалось, что давалась она «добровольно и в силу свободного проявления королевской власти». Что хартия 1814 г. имела содержанием своим развитие принципов, действовавших во время революции, это можно видеть уже из первых же ее параграфов, коими признавались во Франции гражданское равенство (1–3), индивидуальная свобода (4) со свободой совести (5) и печати (8), равно как законность владения бывшими национальными имуществами (9) и запрещалось преследовать кого бы то ни было за то, что он высказывал или голосовал до реставрации (10): в первых двенадцати статьях, названных изложением «публичного права французов», в сущности, были провозглашены главные начала гражданского равенства и личной свободы, к установлению коих стремилось и учредительное собрание.

Хартия 1814 г. учреждала во Франции конституционную монархию по образцу английской¹. В сравнении с конституцией 1791 г. хартия Людовика XVIII является гораздо более монархической². «Особа короля священна и неприкосновенна. Его министры ответственны. Королю одному принадле-

¹ Ср. последующее с конституционной теорией Бенжамена Констана.

² Ср. изложение конституции 1791 г. (т. III) и изложение испанской конституции 1812 г.

жит исполнительная власть (13). Король есть верховный глава государства, начальствует сухопутными и морскими силами, объявляет войну, заключает мирные, союзные и торговые договоры, назначает на все должности государственного управления и издает регламенты и ордонансы для исполнения законов и безопасности государства (14). Законодательная власть отправляется совместно королем, палатой пэров и палатой депутатов от департаментов (15). Король один предлагает законы (16); но и палаты имеют право просить короля предложить закон (19). Король один санкционирует и обнародует законы (22). Назначение пэров Франции принадлежит королю. Их число неограниченно: он может изменять их звания, назначать их пожизненно или наследственно по своему усмотрению (27), причем по праву своего рождения члены королевской фамилии и принцы крови суть непременно пэры (30). Прения в палате пэров не публичны (32). Хартия 1814 г. предоставляла лишь будущему закону определить организацию выборов в палату депутатов (35), но устанавливала срок полномочий в пять лет с обновлением состава палаты каждый год посредством выхода из нее одной пятой части членов (36). От депутата требовалось два условия: по крайней мере, сорокалетний возраст и платеж прямого налога в размере тысячи франков (38). «Если бы, — говорится далее, — в департаменте не нашлось пятидесяти лиц означенного возраста и платящих, по крайней мере, по тысяче франков прямых налогов, то это число будет дополнено наиболее обложенными (*les plus imposés*) лицами, хотя бы и ниже указанной нормы, и они будут иметь право быть избираемыми наравне с первыми». Этот депутатский ценз был так высок, что во всей Франции было лишь около 15 тыс. человек, удовлетворявших этому требованию, и вместе с тем лишь около 90 тыс. человек, которые могли быть избирателями, ибо хартия 1814 г. давала избирательное право только таким лицам, которые достигли тридцатилетнего возраста и платили, по крайней мере, триста франков в виде прямых налогов (40). Прибавим, что закон 1820 г. установил двойное голосование (*le double vote*), бывшее особенно выгодным для наиболее богатых: окружные коллеги выбирали 258 депутатов, а затем коллегии департаментские, состоявшие из четвертой части всех избирателей, плативших наивысшие подати, выбирали еще 172 депутата. Так как (по тому же закону 1820 г.) депутаты должны были безвозмездно исполнять свои обязанности, то участие в законодательстве сделалось настоящей монополией богатства. Председатели избирательных коллегий назначались королем (41). По меньшей мере половина депутатов должна была быть из местных жителей департамента (42). «Заседания палаты депутатов, — говорилось далее в хартии, — публичны, но достаточно желания пяти членов, чтобы палата превратилась в секретный комитет (44). Ни один налог не может быть установлен или взимается, если на него не было дано согласия обеих палат и королевской санкции (48). Король ежегодно созывает обе палаты; он их отсрочивает и может распустить палату депутатов от департаментов, но в таком случае он должен созвать новую в те-

чение трех месяцев» (50). Министры могли быть членами палаты пэров и палаты депутатов (54). Палата депутатов имела право обвинять министров и представлять их палате пэров, которая одна только и могла их судить (55). Особый отдел конституции был посвящен судебному ведомству, которое сохранялось в том виде, в каком существовало в 1814 г. (59, 60, 61), причем хартия сохраняла суд присяжных (65) и гражданский кодекс (68) и объявляла несменяемость судей, назначенных королем (58). Наконец, в отделе хартии об «особых правах, гарантированных государством» обращают на себя внимание статьи о том, что военные, находящиеся на службе и в отставке, сохраняют свои чины и содержание (69), что прежнему дворянству возвращаются, а за новым (т. е. наполеоновским) сохраняются титулы без всяких, однако, привилегий (71) и что орден Почетного легиона будет также удержан (72). Первая палата депутатов должна была состоять из членов последнего законодательного корпуса (75). Хартия оканчивалась словами: «Дано в лето Благодати 1814, нашего же царствования в девятнадцатое».

В сравнении с конституциями империи эта пожалованная королем (октроированная, *ostroyee*) хартия была серьезной гарантией общественной свободы и общественного контроля. Благодаря наследственности палаты пэров, ее члены могли пользоваться независимостью по отношению к королевской власти. Хотя хартия говорила еще о пожизненных пэрах, но впоследствии ордонанс 19 августа 1815 г. установил наследственность пэрии как общий закон для этого учреждения. Палата депутатов состояла из выборных представителей нации, тогда как члены наполеоновского законодательного корпуса назначались правительством. Правда, впоследствии правительство нашло, что ежегодные выборы пятой части депутатов слишком волнуют страну, и принятый в 1824 г. палатами закон установил семилетний срок для депутатских полномочий с полным обновлением всей палаты через каждые семь лет, но это ничуть не уменьшило ее независимости по отношению к королевской власти. Притом нужно заметить еще, и пэры, и депутаты могли подвергаться судебному преследованию лишь с согласия соответствующей палаты (ст 52). Наконец, хартия установила ответственность министров и вотирование налогов и законов палатами. Мы уже говорили, что Наполеон по возвращении с Эльбы нашел нужным внести изменение в конституцию империи: изменения эти, составившие содержание так называемого «дополнительного акта», были, в сущности, не чем иным, как воспроизведением главных установлений хартии 1814 г. — наследственной палаты пэров, избирательной палаты депутатов и ответственного министерства. Вообще, таким образом, конституция Людовика XVIII была вполне либеральной по сравнению с наполеоновским режимом и обеспечивала действительным образом общественную свободу. Правда, уничтоженное при Наполеоне право ассоциаций и собраний не было восстановлено, но хартия 1814 г. восстанавливала право петиций (ко-

торые по 53-й статье хартии могли быть подаваемы и обоим палатам). Далее, хартия 1814 г. провозглашала свободу печати, хотя, на самом деле, по временам (1814, 1817, 1820, 1823 гг.) палаты и восстанавливали цензуру, впрочем, большей частью только на год, в промежуточные же периоды печать пользовалась свободой, и даже издавались законы, весьма благоприятные для ее свободы. Самым либеральным из таких законов был закон 17 мая 1819 г.; он уничтожал цензуру и предварительное разрешение на издание газет, подчинял преступления по делам печати суду присяжных, разрешал журналистам доказывать фактами и тоже перед судом присяжных справедливость обвинений, коим подверглись бы в печати официальные лица, и т. п. Последующие законы (1822 и 1828 гг.) были уже менее благоприятны для печати, хотя и ими уничтожалась цензура. Во всяком случае, по сравнению с наполеоновским режимом периодическая пресса во Франции в эпоху Реставрации была поставлена в весьма выгодные условия, благодаря чему журналистика во Франции при Людовике XVIII достигла цветущего состояния и получила большое влияние¹. Главный недостаток тогдашней периодической печати заключался в том, что она, так сказать, существовала только для богатых: розничной продажи не существовало, а подписка стоила очень дорого. Кроме того, палаты, состоявшие из богачей, прямо даже содействовали дороговизне газет законом о залоге и о штемпеле, в силу чего предпринять издание газеты мог только человек, обладавший большими средствами для внесения залога, а цена каждого экземпляра увеличивалась вследствие оплаты его штемпельным сбором. Это вполне, однако, гармонировало с буржуазным характером свободы, установившейся во Франции в 1814 г. Далее необходимо отметить, что благодаря незыблемости судей, провозглашенной конституцией, французская магистратура весьма скоро возвратилась к своим старым традициям борьбы против ультрамонтанства и сопротивления правительственному произволу. Реставрация сохранила судебную организацию и кодексы Наполеона, опиравшиеся на законы революции, но возвратила судьям независимость положения, что было одной из важных гарантий общественной свободы. Сама же конституция запрещала еще установление чрезвычайных судов (63) и конфискацию имущества (66). Хотя в области религиозной и сделаны были попытки возвращения к старым строгостям, но они не имели ни малейшего успеха. Таким образом, в общем, Реставрация должна была признать многое из того, что впервые было намечено или создано революцией².

¹ *Hatin*. Histoire de la presse en France; *Nettement*. Histoire du Journal des Débats. Оживлению прессы много содействовали и технические усовершенствования в типографском деле.

² Наполеоновский конкордат оставался в силе, хотя в 1817 г. сделана была попытка заменить его новым: уже состоялось соглашение с папой, но правительство не решалось подвергнуть новый конкордат обсуждению в палатах. Вся наполеоновская административная система тоже была удержана.

Благодаря хартии 1814 г. Франция в эпоху Реставрации сделалась самым свободным государством на материке Европы; но в олигархическом характере этой свободы заключалась причина непрочности парламентарной монархии, установленной ею во Франции. Если бы даже и не произошло революции 1830 г., сопровождавшейся переменой династии и некоторыми изменениями в самой хартии, — но в то же время только усилившей политическое значение буржуазии, — такая монархия, какую устанавливала во Франции эта хартия, должна была сделаться предметом демократической оппозиции, которая, заимствуя свои принципы из революционной и наполеоновской традиции, естественно и необходимо получала характер или республиканский, или бонапартистский. В эпоху Реставрации движения, имевшие такой характер, были еще весьма слабы, тем более что республиканцы давно потерпели поражение, из коего долго не могли подняться, а наполеонисты, особенно после 1815 г., не могли также иметь большого успеха, но зато движения эти усилились в следующем периоде, и в 1848 г. народ низверг буржуазную июльскую монархию, чтобы основать демократическую республику, уступившую место, как и Первая республика, цезаризму, опиравшемуся на демократию. В эпоху Реставрации, повторяем, демократические стремления не имели большой силы; оппозицию реакции составляла главным образом буржуазия, которая была поставлена хартией 1814 г. в весьма выгодное положение и которой бороться приходилось лишь за существование этой самой хартии и всех гарантированных ею культурных, социальных и политических отношений. Мы много раз говорили, что с конца XVIII в. французская буржуазия боялась преимущественно двух вещей — возвращения «старого порядка» и возобновления демократического режима, но последнего опасаться в 1814—1830 гг. не приходилось, ибо оно ничем не давало себя знать; оставалось, таким образом, бороться с представителями «старого порядка». Подобно тому как крайности реакции в Испании и Италии вызвали революционные движения двадцатых годов, и во Франции новая революция сделалась возможной лишь вследствие того, что реакция захотела идти напролом. Но эта новая революция в глазах вождей французского либерализма эпохи Реставрации должна была быть повторением не первой французской революции, а второй английской. Так оно и случилось, ибо июльский переворот лишь упрочил во Франции действие принципов конституционной хартии 1814 г., не изменив ни организации государственной власти, ни взаимного отношения между общественными классами.

В эпоху Реставрации французы очень часто сравнивали свою революцию с Английской, так как внешнее сходство между обеими само собой бросалось в глаза. В самом деле, и в Англии, и во Франции была совершена казнь короля (1649 и 1793 гг.); и там, и здесь устанавливалась на время республика; и там, и здесь, однако, власть захватывалась полководцами (Кромвелем и Наполеоном), которые вводили военный деспотизм; и там, и здесь, наконец, происходили реставрации. Либералы и буржуазия, довольные хартией 1814 г., думали

сначала, что французская реставрация должна содержать в себе те выгоды, которые Англии доставлены были реставрацией Стюартов в 1660 г. и революцией 1688 г., т. е. возвращение законного порядка и упрочение политической свободы, но после того как Бурбоны показали, что они «ничему не научились и ничего не позабыли», аналогию между английской и французской историей стали проводить и дальше: английскую конституцию упрочила лишь вторая революция, имевшая своим следствием перемену династии, и того же самого стали ожидать и желать для Франции. «Мы, — признается, например, Гизо, сам изучавший историю Английской революции, — только и думали о революции 1688 г., об ее успехе, о прекрасном и свободном правительстве, которое она основала». Несомненно, ввиду современных отношений и Арман Каррель написал в 1827 г. свою «Историю контрреволюции в Англии»: он тоже прославлял переворот 1688 г. и оправдывал его той именно «контрреволюцией», которая наступила в Англии с реставрацией Стюартов и с которой реакция во Франции представляла много родственных черт. Вообще в эпоху Реставрации Англия, как страна, политические учреждения коей доказали свою пригодность на вековом опыте, оказывала большое влияние на политическую жизнь Франции. Мы видели, что конституционная теория Бенжамена Констана была не чем иным, как зеркалом фактических отношений, господствовавших в государственном строе Англии, но, кроме того, английская же конституция послужила образцом и для сенаторской конституции 1814 г., и для хартии Людовика XVIII, и для «дополнительного акта» Наполеона. Тем же объясняется и интерес к истории Англии вообще и в частности ее парламента, который в эту эпоху обнаружили французские либеральные историки. Нужно, однако, прибавить, что среди либералов образовалась небольшая фракция так называемых доктринеров (Ройе-Коллар, Гизо и др.), которые, сравнивая французскую конституцию с английской, отдавали предпочтение первой: например, Ройе-Коллар¹ думал, что правительственная власть во Франции сосредоточивается в руках короля и что установление министерства, которое было бы ответственно перед большинством палаты, было бы равносильно упразднению монархического принципа.

В следующих двух главах мы рассмотрим, в чем выразились во Франции реакционные стремления и как происходила здесь борьба между реакцией и либерализмом — в связи со взаимными отношениями парламентских партий.

¹ Ср. учение Бенжамена Констана о королевской власти.

XVIII. Реакционная политика во Франции при Людовике XVIII

Как произошла первая реставрация Бурбонов? — Людовик XVIII и принцы. — Общий характер первой реставрации. — Как совершилась вторая реставрация? — Выборы 1815 г. — Белый террор. — Слабость либеральной партии в палате депутатов при Людовике XVIII. — Поведение и стремления ультрароялистов при министерствах Деказа, Ришелье (втором) и Виллеля. — Предметы политической борьбы в палатах

Когда союзники окончательно постановили низложить Наполеона, у них еще не было определенного решения вопроса о том, кем заменить низложенного императора, а глава коалиции, Александр I, не раз высказывался в том смысле, что Франция сама должна распорядиться своей будущей судьбой. Говорить это было, конечно, легко, но трудно было, чтобы среди тогдашних обстоятельств нация могла действительно свободно и единодушно высказать свой взгляд на этот вопрос. Победенная Франция была в руках завоевателей, которые, конечно, не могли дать ей полной свободы, ибо, например, они совершенно устраняли вопрос об империи, а затем и политические люди Франции были разделены на партии, из коих ни одна не была достаточно сильна, чтобы являться выразительницей мнения всей страны или по крайней мере большинства нации. Более всего шансов имели Бурбоны, ибо за них был все-таки принцип, были исторические права, но первоначально Александр I был очень не расположен к Бурбонам. Оба брата последнего короля Франции, граф Прованский, именовавшийся Людовиком XVIII, и граф д'Артуа, будущий Карл X, не раз и прежде обращались к русскому императору с предложениями своих услуг в борьбе с Наполеоном (в 1805—1807 и 1812—1813 гг.), но Александр I отклонял их предложения, полагая, что союз с Бурбонами скорее повредит, чем поможет его делу ввиду той ненависти, которая существовала к падшей династии во Франции. Роялистам нужно было поэтому прежде всего уговорить Александра I, представив ему, что вся нация желает восстановления законной династии, и вот теперь у них нашелся союзник в лице Талейрана, давно уже видевшего, что империя не устоит и что нужно подумать о будущем — да и о себе, устраивая это будущее. Талейран воспользовался слухом, будто под Елисейский дворец, где в 1814 г. должен был остановиться Александр I, подведена была мина, и предложил свой дом русскому императору. Здесь-то и было решено восстановить Бурбонов, ибо, как говорил Талейран, одни они были принципом, а все остальное могло быть только интригой. Когда наполеоновские маршалы явились к Александру и стали настаивать на том, чтобы провозгласить императором «короля римского» под регентством его матери, пришло известие о переходе

французской армии на сторону союзников, и русский император мог уже решительно заявить им, что одни только Бурбоны соответствуют интересам Франции и видам Европы. Затем наполеоновский сенат решил призвать «свободною волею французского народа» Людовика XVIII на престол Франции, обязав его принять конституцию, а Александр I, со своей стороны, поддержал сенат в его решении установить во Франции конституционную монархию. Он даже поехал на встречу к Людовику XVIII в Компьень, чтобы лично уговорить его согласиться на требование сената, но законодательный корпус поторопился также отправиться на поклон к Людовику XVIII как законному своему королю, и после этого шага уже не могло быть речи о принятии условий сената.

Так была совершена реставрация Бурбонов при полном молчании нации, если не считать нескольких роялистических манифестаций, которые и выставлялись перед Александром I как выражение общественного мнения и воли нации в том смысле, будто бы «вся Франция желает Бурбонов». На самом деле они были до такой степени чужды стране, как если бы в ней никогда не царствовали (слова Веллингтона), и их так мало знало новое поколение, как если бы они были, по выражению Шатобриана, детьми китайского императора. Едва одна десятая населения искренне приветствовала Бурбонов, три десятых признали реставрацию из одного расчета, а остальное население, т. е. более половины, смотрело на возвращение старой династии с недоверием и даже с враждебностью, которые были особенно заметны в народных массах, и даже, пожалуй, в деревнях еще более, чем в городах. Сильно тревожились, между прочим, и владельцы национальных имуществ, а их было все-таки около трех миллионов. Сторонниками Бурбонов по расчету явились главным образом политические деятели, финансисты, литераторы, коммерсанты, промышленники, военные и чиновники, сохранявшие свои места и содержание и т. п., хотя многие из этих людей были недовольны тем, что конституционная хартия была не принята, а октроирована.

В 1814 г. Людовику XVIII было уже шестьдесят лет, из коих более трети он провел в изгнании¹, не смея даже во время владычества Наполеона выбирать себе место жительства, только одна Англия, в конце концов, давала ему безопасный приют. В течение целых девятнадцати лет, протекших со дня смерти его несчастного племянника, носившего у эмигрантов имя Людовика XVII, он ни на одну минуту не сомневался в своем праве на престол Франции и не раз думал, что вот-вот скоро наступит момент, когда это право будет осуществлено. Время это наконец пришло, и Людовик XVIII возвратился на родину с похвальным намерением умиротворить несчастную страну установлением в ней либерального режима вроде английской конституции, с которой он познакомился во время своего долговременного пребывания в

¹ Он эмигрировал из Франции в 1791 г.

Англии. Новый король Франции вовсе не был фанатиком «старого порядка», но он был горд своим королевским саном и не хотел царствовать иначе как в силу своего династического права. Человек глубоко эгоистичный, он думал только о том, чтобы спокойно дожить последние свои годы в почете, к которому он относился в высшей степени ревниво, и будучи к старости человеком болезненным и даже дряхлым, он, быть может, потому и находил весьма хорошим английский режим, что при нем все хлопоты и неприятности, соединенные с пользованием властью, падают на министров, которые могут подвергаться самым жестоким нападкам, причем последние отнюдь не задевают особы самого монарха. Основной мыслью Людовика XVIII было примирить старую и новую Францию, но у него не было для этого надлежащих условий — ни в его собственном характере, не отличавшемся настойчивостью, ни в условиях ближайшей среды, которая его окружала. В сущности, он всегда бывал уступчив по существу дела, стараясь лишь о том, чтобы при этом спасены были внешние формы, среда же, его окружавшая, отличалась, наоборот, крайним упорством и постоянно производила на него давление в пользу восстановления «старого порядка». Людовик XVIII был бездетен, и наследником его был его брат граф д'Артуа, отец двух сыновей — герцога Ангулемского, женатого на своей кузине, дочери Людовика XVI, страстной и фанатичной ненавистницы революции, и герцога Беррийского, который тоже женился впоследствии, но был в 1820 г. убит, оставив жену беременной будущим герцогом Бордоским. Граф д'Артуа эмигрировал еще в 1789 г. и был настоящим главой непримиримых эмигрантов, наиболее деятельным участником всех комбинаций, направлявшихся против революционного правительства или против Наполеона. Это был настоящий фанатик контрреволюции, организовавший в своем pavillon de Marsan¹ — с первых же дней Реставрации — будущую ультрароялистическую партию, которая была недовольна уступчивостью короля по отношению к новой Франции. Абсолютист, клерикал, друг эмигрантов, мечтавших о возвращении привилегий, граф д'Артуа нередко самым резким образом нападал на брата, один раз рассерженный Людовик XVIII пригрозил ему даже, что поставит бюст Наполеона на камине своего кабинета. Граф д'Артуа отказался присутствовать на заседании, где была провозглашена хартия. Своим приближенным и даже депутатам, к нему являвшимся, он давал самые неосторожные обещания: «Будем пока довольствоваться тем, что есть, а за будущее уже я вам ручаюсь». Он скоро сделался надеждой не одних только дворян, но и клерикалов, так как сам придерживался строгого католицизма и впоследствии сделался душой так называемой «конгрегации» — организации, в состав коей вошли все клерикальные элементы высших классов общества и стали играть особенно видную роль иезуиты. Если старший сын наследника

¹ Имеется в виду павильон Марсан, расположенный на территории Тюильрийского дворца. — *Прим. ред.*

престола отличался при недалеком уме только вспыльчивостью и грубостью, то невестка графа д'Артуа, герцогиня Ангулемская, была совершенно под стать своему свекру. Что касается до герцога Беррийского, то этот молодой принц, бойкий и развязный, думал только об удовольствиях и очень радовался, что может командовать в армии. Хотя вообще он больше был расположен к реакционерам, но мирился с положением и, желая снискать популярность у солдат, в буквальном смысле слова «обезьянничал», как выражались солдаты, с «маленького капрала». Принцы были вообще очень непопулярны в Париже, а тут они еще задумали совершить объезд разных частей Франции, во время которого наделали массу бестактностей: например, граф д'Артуа спрашивал у префектов и у мэров, что думают они о возвращении национальных имуществ их законным владельцам. Поэтому и в департаментах принцы весьма скоро снискали одно только крайнее к себе нерасположение. Вернулись с королем и семьей его брата во Францию равным образом и принц Конде, и герцог Бурбонский (дед и отец герцога Амьенского), эти настоящие обломки «старого порядка»; вернулся и герцог Орлеанский, сын «гражданина Филиппа Эгалитэ»¹, сам когда-то член якобинского клуба, сражавшийся за революцию при Вальми и Жемаппе. Уже раньше в эпоху республики его имя произносилось, как возможного кандидата на престол, и потому в 1814 г. он был для Бурбонов человеком подозрительным, хотя и держал себя крайне осторожно; над ним был даже установлен своего рода тайный надзор. Несмотря на то что этот принц старался не выдвигаться, он сделался весьма популярным среди буржуазии и либералов, а когда против Бурбонов стали составляться заговоры, многие из них задумывались прямо в пользу герцога Орлеанского, хотя и без всякого в них участия с его стороны.

Вернулись с Бурбонами и наиболее непримиримые из эмигрантов, которые не хотели воспользоваться милостью Наполеона. Этих возвратившихся дворян было тысячи три или четыре, но с ними заодно стали действовать и ранее вернувшиеся во Францию эмигранты, да и многие дворяне, не покидавшие родины в эпоху революции. Правда, и среди роялистов встречались сторонники конституционного режима, — и их потом главным образом поддерживало правительство Людовика XVIII, — но громче всего говорили, требовательнее всех были и более всего заставляли себя бояться те роялисты, коим впоследствии было присвоено название ультрароялистов (*les ultras*). Они ненавидели хартию, лишавшую их прежних привилегий, желали восстановления старых порядков, заявляли самые клерикальные требования, особенно же добивались возвращения конфискованных у них и перешедших в другие руки имений, и сначала они ожидали, что все важнейшие граж-

¹ Луи Филипп (II) Жозеф, герцог Орлеанский, с 1792 г. был известен как Филипп Эгалите (*фр.* Philippe Egalité), поскольку во время Французской революции примкнул к революционерам, отказался от титула и стал «гражданином», приняв фамилию Egalité (равенство). — *Прим. ред.*

данские и военные должности будут переданы им и что люди, служившие революции и узурпатору, с позором будут прогнаны. Людовик XVIII не желал идти так далеко; кроме того, и внешние обстоятельства вынуждали его составить министерство из государственных людей, выдвинувшихся в эпоху революции и при империи. К сожалению, это министерство было образовано из самых разнородных элементов, начиная с Талейрана и кончая людьми, видевшими в парламентарном строе лишь переход от империи к восстановлению абсолютной монархии, настоящим же влиянием на короля пользовался один только его любимец Блака́, старавшийся лишь о том, чтобы не терять королевской милости: не даром этот режим получил название «отеческой анархии» (*anarchie paternelle*). Эмигранты с графом д'Артуа во главе и некоторые министры Людовика ничего не сделали для того, чтобы расположить народ и армию в пользу нового порядка вещей. Напротив, они как бы нарочно делали все, чем только могли раздражать и вооружать против себя и народную массу, и солдат, и буржуазию, и низших и высших офицеров армии. В несколько месяцев 1814—1815 гг. Бурбоны сумели добиться одного — вызвать в нации сожаление о Наполеоне и тем подготовить ему восторженный прием при возвращении его с острова Эльбы.

В самом начале Реставрации (7 июня) новый начальник полиции Беньо — по желанию двора, но без ведома министерства — издал распоряжение о праздновании воскресного дня, запрещавшее всякую работу, торговлю и перевозку тяжестей в течение всего дня, а также предписывавшее закрывать рестораны, кафе и т. п. во время богослужения под страхом штрафов от 100 до 500 франков. Другим распоряжением (10 июня) он запретил в праздник Тела Господня с 8 час. утра до 3 час. пополудни движение по улицам экипажей ввиду церковных процессий, которые решено было восстановить на улицах Парижа. Столичное население увидело в этом нарушение религиозной свободы, и потому применение распоряжений Беньо встретило сопротивление со стороны многих рабочих, лавочников и т. п. Около того же времени отдельные бюро муниципальной благотворительности стали требовать от своих клиентов свидетельство о говении. Со своей стороны, духовенство стало придавать слишком политическую окраску заупокойным обедням, которые были отслужены по Людовике XVI и Марии-Антуанетте во всех городах Франции, так как при этом произнесены были проповеди с проклятиями против всех, кто только принимал участие в революции, покупал бывшие церковные имущества и т. п. И впоследствии своими постоянными проповедями на эту же тему духовенство держало в вечной тревоге покупателей национальных имуществ; нередко бывало и так, что им священники прямо отказывали в таинстве причащения даже на смертном одре. Была также масса недовольных и мерами, вызванными простой необходимостью, каковыми были сокращение штатов разных министерств, уменьшение численности армии и т. д., что вынуждалось именно печаль-

ным положением финансов. Особенными врагами реставрации сделались отставные офицеры и офицеры на половинном содержании (*à la demi-solde*), тем более что это не помешало Людовику XVIII восстановить старую королевскую гвардию (*la Maison militaire du roi*), на содержание коей было ассигновано 20 млн франков и доступ в которую был открыт исключительно роялистам. Такое начало очень тревожило громадное большинство нации, и ее очень пугало то, что эмигранты и вообще бывшие дворяне повсеместно держали себя в высшей степени надменно, проповедовали о необходимости возвращения национальных имуществ их прежним владельцам и грозили всем, кто не держался их образа мыслей. Роялистическая пресса — газеты и брошюры — действовала в том же направлении. Наконец, король, граф д'Артуа, герцогиня Ангулемская получали петиции о возвращении национальных имуществ, и потребовалось особое постановление палаты депутатов (образовавшейся из членов последнего законодательного корпуса), чтобы успокоить владельцев национальных имуществ ссылкой на то, что их распродажа была санкционирована конституциями III и VIII гг. и новой конституционной хартией. И в следующие месяцы правительство продолжало совершать одну бестактность за другой, унижая орден Почетного легиона раздачей его за самые ничтожные услуги людям сомнительной репутации, поручая караулы у Тюильрийского дворца наемным швейцарцам и т. п. Положение Людовика XVIII становилось все более и более затруднительным, тем более что сами эмигранты начали на него нападать за то, что он не осуществлял всех их надежд; они называли его прямо «королем якобинцев». С другой стороны, и либералы (например, Бенжамен Констан, Лафайет и др.) объявляли, что свободе грозит опасность, и целый ряд либеральных газет переходил в прямую оппозицию правительству. Между новой и старой Францией завязывалась борьба, а правительство не умело стоять на высоте своей задачи. Например, по вопросу о возвращении эмигрантам нераспроданных еще имений оно держало себя не так, как Наполеон, видевший в этом лишь средство умиротворения, а подчеркивало другую сторону дела — вознаграждение за непоколебимую верность, а в палатах это вызывало страстные прения партий. Людовик XVIII, боявшийся оппозиции пуще огня, тотчас же отменял некоторые распоряжения или брал назад предложения своих министров, раз замечал, что они вызывают неудовольствие в палатах. Что было еще хуже для Людовика XVIII, так это разные слухи о возможности чуть ли не новой варфоломеевской ночи, которую замышляло, будто бы, правительство в годовщину смерти Людовика XVI: при таком настроении парижского населения самые незначительные происшествия получали иногда значение чуть ли не событий первостепенной важности. Например, отказ духовенства хоронить одну популярную актрису повел к серьезным уличным беспорядкам, и многие потом были убеждены, что только эти беспорядки,

показавшие силу народа, заставили его недругов отказаться от новой варфоломеевской ночи. Нужно, однако, заметить, что в основе этих слухов все-таки кое-что было, ибо между роялистами встречались настоящие фанатики, которые были бы не прочь устроить что-либо в этом роде. Приверженцы графа д'Артуа составляли даже заговор с целью потребовать у короля отмены хартии и созвания старых парламентов, а в случае его отказа — заключить его в тюрьму, вынудив у него отречение в пользу брата. Но в то же время составлялись заговоры и в противоположном смысле. Один из них был устроен Фуше: будучи отвергнут Бурбонами, которым он несколько раз предлагал свои услуги, он задумал совершить их низложение и привлечь на свою сторону Талейрана. Сначала обратились было к герцогу Орлеанскому, а после его отказа стали думать о провозглашении Наполеона II.

Первая реставрация продолжалась менее года. Наступило второе, «стойкое» владычество Наполеона. Но и восстановление империи было непрочным. Созванные Наполеоном палаты¹ после Ватерлоо вынудили у него отречение и образовали временное правительство (в состав коего вошли Карно и Фуше), возбудив вместе с тем вопрос о престолонаследии: Бурбонов уже никто не хотел; либеральная партия выставила было герцога Орлеанского, и только то соображение, что он непременно откажется от короны, заставило палаты признать императором Наполеона II. Но победители на этот раз не хотели вступать в какие-либо соглашения ни в пользу герцога Орлеанского, ни в пользу Наполеона II, ни относительно других кандидатов, которых тогда называли², и несмотря на то что палата депутатов занялась (в начале августа 1815 г.) выработкой новой конституции, без всяких разговоров восстановили вторично Людовика XVIII на престоле под охраной штыков союзной армии (что, конечно, было крайне оскорбительно для национального чувства французов). С другой стороны, за два дня до своего возвращения в Париж Людовик XVIII вынужден был дать аудиенцию «цареубийце» Фуше, который разыгрывал тогда роль главы временного правительства и старался уверить короля, что своими действиями много способствовал восстановлению Бурбонов. Мало того, когда Людовик XVIII по возвращении своим в Париж занялся составлением министерства, то в состав последнего вместе с Талейраном, которому было возвращено заведование иностранными делами, вошел и Фуше в качестве министра полиции — к великому негодованию роялистов. Впрочем, оба они ненадолго удержались во главе правительства, ибо выборы, произведенные для восстановления палаты депутатов³, дали ультрароялистическое большинство, и через несколько времени Фуше, отправленный в Дрезден в звании французского посланника, был осужден в качестве «цареубийцы» на вечное изгнание. Во главе министерств-

¹ По дополнительному акту.

² Принца Оранского и даже короля Саксонского.

³ Палата пэров в это время была сделана наследственной.

ва был поставлен знаменитый герцог (дюк, как у нас его звали) Ришелье, в эпоху империи живший в России и находившийся на русской службе в должности генерал-губернатора Новороссийского края.

«Сто дней» показали Людовику XVIII, что значило не давать отпора притязаниям ультрароялистов. В манифесте, с которым он обратился к нации, он должен был признаться, что его правительство могло делать ошибки и делало их на самом деле. В оправдание свое король приводил то соображение, что бывают времена, когда самые чистые намерения оказываются недостаточными для надлежащего направления политики. «Один опыт, — говорилось далее в королевском воззвании, — мог научить, но он не потерян. Я намерен, — продолжал Людовик XVIII, — дать хартии все гарантии, какие только могут обеспечить ее благодетания. За последнее время говорили о восстановлении десятин и феодальных прав. Нечего опровергать эту басню. Если покупщики национальных имуществ тревожились, довольно было хартии, чтобы их успокоить». Кроме того, Людовик XVIII обещал амнистию за все, что случилось в то время, когда он вторично должен был покинуть отечество. Но если сам король считал нужным соблюдать умеренность, и в этом намерении поддерживали его министры, то ультрароялисты думали иначе, и их мстительные чувства получили тем большее значение, что победу на выборах в палату почти повсеместно одержали самые рьяные представители клерикально-аристократической реакции. Вторичное нашествие иностранцев, вызванное восстановлением империи, унижительный мир, коему должна была подвергнуться Франция, произвели страшное озлобление против наполеонистов, и вот избиратели 1815 г. под влиянием этого чувства посылали в палату главным образом людей, которые резче других выражали свое негодование против империи. Когда Людовик XVIII потребовал от обеих палат присяги на верность хартии, некоторые пары даже воспротивились этому требованию.

Людовик XVIII не исполнил своего обещания относительно забвения прошлого; между прочим, не без влияния иностранных держав еще министерство Талейрана—Фуше составило список лиц, которые должны были подлежать суду за измену, а затем, смотря по вине, подвергнуться казни или изгнанию. Начались политические процессы, из которых особенно много шума наделал процесс маршала Нея¹, приговоренного к смертной казни и расстрелянного, несмотря на свое раскаяние. В разных частях Франции происходили казни, составлялись приговоры об изгнании, ссылке, заключении в тюрьму и т. п. Ультрароялистическая палата и родственные ей элементы общества делали все, что от них зависело, чтобы придать второй реставрации характер самой жестокой и мстительной репрессии, а правительство не обнаружало достаточной силы, чтобы не допустить реакции принять крайние

¹ О нем сочинение Welschinger'a.

размеры. Палата весьма охотно вотиrowала законы, уничтожавшие гарантии личной свободы в пользу полицейского произвола, налагавшие строгие наказания за мятежные возгласы, устанавливавшие в каждом департаменте чрезвычайные комиссии, или превотальные суды, которые судили в последней инстанции все политические преступления и немедленно приводили свои приговоры в исполнение. Одновременно во многих местах ультрароялисты организовали особые комитеты для того, чтобы повсюду захватывать власть в свои руки. Роялистические префекты и другие местные власти арестовывали, ссылали, предавали суду, лишали должностей и т. п. целые десятки тысяч «неблагонамеренных», издавали разные деспотические распоряжения, не оказывали сопротивления народным беспорядкам, когда последние направлялись против наполеонистов, либералов и т. п. Духовенство громило с кафедр покупателей национальных имуществ, сторонников революции, протестантов. Роялистические волонтеры, составлявшие отряды для борьбы с Наполеоном, ультрароялистические комитеты, образовавшиеся для захвата в свои руки всех местных дел, простые грабительские шайки и случайные толпы нафанатизированной черни в течение нескольких месяцев 1815—1816 гг. господствовали над мирным и беззащитным населением, убивая и грабя наполеонистов и либералов, протестантов и мусульман (в Марселе) и совершая другие насилия над всеми неблагонамеренными — с точки зрения крайней реакции — людьми. Все эти факты, напоминающие собой революционные ужасы 1793—1794 гг., получили в истории название «белого террора» (*la terreur blanche*), так как совершались под белым знаменем Бурбонов. Правительство оказывалось бессильным против этого реакционного террора, тем более что многие даже думали, будто, действуя в духе крайней реакции, они лишь исполняют волю короля и его министров. Так как само правительство возбудило немало политических процессов и внесло в палаты несколько репрессивных предложений, то весьма легко могло показаться, что оно должно было одобрять и этот взрыв роялистического фанатизма, особенно ввиду того, что многие префекты — кто по убеждению, кто под давлением ультрароялистических комитетов, кто из желания угодить предполагаемым видам правительства — сами содействовали этой насильственной реакции, и так же поступали многие судьи. Хотя хартия и устанавливала несменяемость судей, гарантировавшую их независимость, положение это получило такое толкование, что правом несменяемости должны пользоваться лишь судьи, назначенные королем или утвержденные им в своей должности, а между тем с этим утверждением правительство нарочно медлило, смещая притом наиболее неподатливых. Министры, не будучи в состоянии прекратить террор, думали было выйти в отставку, но Людовик XVIII просил их остаться, ибо, говорил он, если бы ему пришлось заменить их вождями большинства палаты депутатов, то число жертв этого террора было бы в сто раз еще больше. Ультрароялистическая палата действительно находила Ришелье

и его товарищей слишком умеренными, а в самом короле видела даже прямо «коронованного якобинца». Если местные реакционные элементы, производившие «белый террор», действовали, как многие думали, в согласии с центральной властью, то никак не с королем и министерством Ришелье, а именно с ультрароялистической палатой, получившей в истории название «бесподобной» (*la chambre introuvable*).

Это название палаты 1815—1816 гг. дал ей сам Людовик XVIII, когда она на первых порах во всем шла навстречу правительству. Но скоро между последним и ультрароялистическим большинством первой произошел конфликт. Вожди этого большинства составили проект закона, в силу которого масса лиц должна была поплатиться жизнью или свободой за свои политические убеждения или прежние действия, правительство же, наоборот, внесло в палату закон об амнистии, которая была обещана в королевском манифесте, хотя обещание это было уже нарушено. С великим трудом удалось министерству провести этот закон, чтобы положить конец казням, изгнаниям и тюремным заключениям, но ультрароялисты, с неудовольствием подчинившиеся необходимости такого закона, настояли на том, чтобы все «цареубийцы», приставшие к Наполеону после его бегства с острова Эльбы, были приговорены к вечному изгнанию. «Бесподобная» палата вообще поставила своей задачей «восстановить все то, что было низвергнуто учредительным собранием», и, в частности, ее клерикальное направление выразилось в том, что она уничтожила введенный революцией и удержанный кодексом Наполеона развод и задумала возратить духовенству его прежнее положение в обществе, отдав ему ведение метрических книг, восстановив церковное землевладение и т. п. Первая сессия «бесподобной» палаты, открытая в начале октября 1815 г., продолжалась более полугода — до конца апреля 1816 г. Во время парламентских вакаций из министерства был устранен министр внутренних дел Воблан, который принадлежал к числу политических единомышленников графа д'Артуа и большинства палаты. Хотя правительство в следующие месяцы продолжало еще действовать с известной строгостью, но эта строгость не была так велика, чтобы вполне удовлетворить ультрароялистов. Особенно их раздражала отставка, данная Воблану, человеку их партии, и вся их ненависть обрушилась на министра полиции Деказа, который все более и более подчинял Людовика XVIII своему личному влиянию, хотя в то же время, если кто из министров и отдавал приказания в смысле мер против «врагов государства», бывших на руку «белому террору», так это именно делал Деказ. Одно уже то, что Деказ занимал раньше место секретаря у матери Наполеона, никак не могло быть ему прощено ультрароялистами, и он это хорошо знал. Ришелье и его товарищи предвидели, что едва возобновится сессия палаты, как начнется кампания против министерства, но Ришелье не решался на роспуск палаты, которого, наоборот, требовал Деказ. Иностранная дипломатия не без тревоги смотрела на

готовившийся конфликт и советовала Людовику XVIII поддерживать свое министерство против палаты, которая своими крайностями могла бы снова скомпрометировать положение; иностранные дворы вели даже переговоры о необходимости роспуска палаты, но это вмешательство во внутренние дела Франции только оскорбляло короля, относившегося вообще крайне щепетильно к своей независимости, хотя и он сам чувствовал неудобство своего положения при такой палате и не мог не знать, что ее реакционное направление сильно возмущало общественное мнение. Кроме того, Людовик XVIII боялся поссориться со своим братом, который был весьма доволен общим духом палаты. Тем не менее Деказу в конце концов удалось убедить и Ришелье, и самого короля в необходимости выбирать между эмигрантами, все более и более делавшимися опасными своим ненасытным властолюбием, и остальной Францией, которая все с большим и большим недоверием взирала на будущее. Король и министры держали свое решение в тайне до того самого момента, когда был, наконец, подписан приказ о роспуске палаты. Вечером 5 сентября у графа д'Артуа собрались его приверженцы и рассуждали об открывающейся через месяц сессии палат, которая передаст власть уже в их руки, когда к графу д'Артуа явился Ришелье и объявил о только что подписанном роспуске палаты. Наследник престола сначала не хотел было верить, чтобы такое важное решение было принято без его ведома, и немедленно отправился к брату, чтобы настоять на отмене решения, но совсем не был принят королем, который нарочно лег раньше спать и не велел никого к себе пускать. На другой день королевское распоряжение было опубликовано, и было с радостью встречено громадным большинством нации, не исключая и умеренных роялистов: роспуск «бесподобной» палаты был принят именно как признак того, что правительство решилось вступить на путь мирного и свободного развития. Одни ультрароялисты негодовали: многие из них — и с ними сами принцы — сгоряча грозили уехать в Англию, оставив короля на произвол судьбы; одна дама велела удалить бюст Людовика XVIII из своего салона на чердак; Шатобриан написал в защиту распушенной палаты книгу («Монархия по хартии»), где доказывал, что лишь то направление, коего держалась эта палата, соответствовало интересам королевской власти; в публику был нарочно пущен слух, что король подписал роспуск палаты под давлением иностранных дворов и т. п.

Такова в общих чертах внутренняя история первых двух лет Реставрации. В эти годы вполне обрисовались стремления реакционной партии, в особенности то, что было сделано в эпоху «белого террора» и «бесподобной» палаты, на долгое время наносило удар либерализму. Вторая реставрация, произведенная иностранными державами, была победой легитимизма над либеральными стремлениями: под влиянием поднявшего снова голову роялизма в 1815 г. назначены были на места префектов люди, принадлежавшие большей частью к реакционерам, а известно, какую силу да-

вала правительству наполеоновская административная централизация, с которой реставрация, конечно, и не думала расставаться. С другой стороны, события «Ста дней» были так живы в памяти Людовика XVIII и его министров, что им действительно приходилось задумываться над вопросом, не требуют ли сами интересы монархии, чтобы реакции был положен конец. Деказ, игравший наиболее видную роль в роспуске палаты, сделался героем дня в общественном мнении, но тем с большей ненавистью стали к нему относиться ультрароялисты.

После того как вошла в действие конституция 1814 г., «бесподобная» палата была уже третьей палатой, считая наполеоновский законодательный корпус, превратившийся по хартии в палату депутатов, и, наконец, палату депутатов по дополнительному акту, распущенную Людовиком XVIII в 1815 г. Новые выборы, произведенные через несколько недель после роспуска «бесподобной» палаты, дали министерству умеренное большинство на шестьдесят голосов. По хартии палата должна была обновляться каждый год посредством выхода одной пятой части членов и замещения их новыми. В первый раз такое обновление палаты произошло вследствие выборов в сентябре 1817 г., на которых ультрароялисты потеряли 11 мест, а либералы приобрели 13, но и после этого либеральная партия насчитывала в своем составе лишь 25 депутатов, которым волей-неволей нельзя было вести собственную политику и оставалось только поддерживать сравнительно умеренное министерство Ришелье. На частных выборах 1818 г. либералы приобрели еще двадцать новых членов, между коими были Лафайет, генерал Гренье, бывший членом последнего временного правительства, и Манюэль, заседавший в палате «Ста дней» и ратовавший там после отречения императора за его сына Наполеона II; эти выборы даже встревожили монархов и дипломатов, собравшихся на Ахенском конгрессе. Выборы 1819 г. происходили под влиянием известия о карлсбадских постановлениях и либералы приобрели опять большое число новых голосов, но и после этого число их в палате доходило лишь до 90 (из 257). Особенно сильное впечатление было тогда произведено избранием знаменитого аббата Грегуара, одного из первых конституционных епископов и члена Конвента, одобрявшего казнь Людовика XVI. В 1820 г. был введен новый избирательный закон, дававший наиболее богатым избирателям право присылать еще лишних 172 депутата сверх 458, выбиравшихся обыкновенным порядком, причем по крайней мере половина налога, дававшего избирательный ценз, должна была уплачиваться в виде поземельной подати. Результатом этого было то, что частные выборы, происходившие в октябре этого года, дали решительный перевес ультрароялистам, заседавшим в палате 1815 г., а либералы имели теперь лишь около 80 мест (из 430). С этого момента ультрароялистам принадлежало решительное преобладание в палате. Осенние выборы 1821 г. были также весьма благоприятны для этой партии: из 88 новых депутатов около 60 принадлежало к крайне правой. Но особенно была значительна

победа ультрароялистов на выборах 1822 г. В марте 1823 г. они решились даже исключить из палаты Манюэля, возражавшего против испанской экспедиции, силой вывели его из зала заседаний и не допустили чтения протеста, подписанного лишь 62 депутатами, которые после этого все удалились из заседания и более не являлись в палату во все продолжение сессии. Палата эта была распущена 24 декабря 1823 г. ввиду задуманной реформы избирательного закона, по которой срок депутатских полномочий предполагалось продлить до семи лет, притом без ежегодных частичных выборов для обновления палаты. Выборы в палату 1824 г. происходили под сильным административным давлением и с прямыми правонарушениями: многих либералов произвольно вычеркивали из списков и заносили в списки, наоборот, роялистов, не имевших никакого права на такое занесение. Поэтому в палате 1824 г. либералов было только 18 человек, а средняя партия, или так называемый центр, состояла лишь из четырех человек. Эта палата была распущена до срока 5 ноября 1827 г., а для новых выборов был назначен самый короткий срок, дабы оппозиция против правительства не могла подготовиться к избирательной борьбе, но этот расчет министерства, как мы еще увидим, не оправдался.

Не нужно, однако, думать, что во весь этот период преобладания ультрароялистов в палатах они поддерживали правительство. Наоборот, большей частью они находились к нему в самой резкой оппозиции, тогда как либералы нередко оказывались в числе сторонников правительства. Либералы, или, как их чаще звали, индипенденты, поддерживали, например, Ришелье. Этот министр дал между тем Ахенскому конгрессу обещание сблизиться с ультрароялистами, которым и решил пожертвовать Деказом, но когда последний вышел из министерства, а с ним удалились и некоторые другие члены и когда Ришелье обратился к вождям ультрароялистов с предложением войти в министерство, они поставили ему самые невыполнимые условия, вследствие чего он вынужден был отказаться от составления нового министерства и выйти в отставку. Ввиду услуг, оказанных Франции бывшим министром, в обеих палатах сделано было предложение дать ему от имени нации денежную награду, так как у Ришелье не было состояния, соответствовавшего его имени и политическому положению, но ультрароялисты встретили это предложение такими обидными возражениями, что, хотя национальная награда герцогу и была вотирована в размере 50 тыс. ежегодной ренты, он пожертвовал ее на благотворительные учреждения. Преемником Ришелье сделался Деказ, но уже с самого начала и к нему ультрароялисты стали в оппозицию. Новый министр посоветовал королю назначить 61 нового пэра для того, чтобы ослабить постоянную оппозицию палаты пэров; в новые члены этой палаты большей частью были назначены прежние наполеоновские маршалы, генералы и гражданские сановники (март 1819 г.), но недовольные этим ультрароялисты стали говорить о предании министерства суду, хотя оно ничем не нарушило кон-

ституции и законов. На частных выборах 1819 г. около сотни гренобльских ультрароялистов, видя провал своего кандидата, даже подавали голос за «цареубийцу» Грегуара, говоря, что скорее будут вотировать за якобинца, чем за министерского кандидата. Избрание Грегуара, не утвержденное, впрочем, палатой, заставило самого Деказа искать сближения с ультрароялистами, но партия эта требовала полного подчинения ей правительства. Ненависть крайне правой к этому министру выразилась во всей своей силе по поводу убийства герцога Беррийского, племянника Людовика XVIII. 13 февраля 1820 г. один фанатический ремесленник, по имени Лувель, зарезал молодого принца при входе в оперный театр, думая этим преступлением сделать невозможным продолжение династии Бурбонов, в которой только от этого младшего сына графа д'Артуа и ожидали потомства¹. Со стороны многих ультрароялистов это преступление встречено было злорадством, и на другой же день один из членов палаты депутатов сделал предложение обвинить Деказа в соучастии в преступлении Лувеля. Между тем Деказ поторопился внести проект уже известного нам избирательного закона (о двойном голосовании), а с ним проекты двух законов, из коих один разрешал министерству без суда сажать в тюрьму лиц, заподозренных в злоумышлениях против членов королевской фамилии или против государственной безопасности, а другой устанавливал над газетами цензуру и вводил требование предварительного разрешения на издание каждой газеты. Эти меры должны были удовлетворить сторонников реакции, но граф д'Артуа и герцогиня Ангулемская вынудили у Людовика XVIII отставку Деказа, получившего после титул герцога и пост посланника в Лондоне.

После отставки Деказа первым министром опять сделался Ришелье, который и провел в палатах законы, предложенные его предшественником. После победы ультрароялистов на выборах 1820 г. в состав министерства вошли в качестве министров без портфелей три члена этой партии и между ними известный Виллель, но так как они не могли проводить стремлений своей партии, благодаря сравнительной умеренности Ришелье, то вышли в отставку перед самым открытием сессии палаты (1821—1822 гг.). Это страшно вооружило ультрароялистов против правительства, и они тотчас же по открытии палат начали свои враждебные действия по отношению к министерству, задев при этом самого короля. Именно в своей тронной речи Людовик XVIII заявил, что между Францией и другими государствами царствует доброе согласие, а в ответном адресе своем палата выразила надежду на то, что это согласие «не куплено на счет чести нации и достоинства короны»: в данном случае соединились и роялисты, негодовавшие на то, что честь подавления революций в Неаполе и Пьемонте выпала не на долю Франции, и либе-

¹ Жена герцога Беррийского в то время была уже беременна и вскоре родила сына, которому был дан титул герцога Бордоского. Лувель был казнен. На суде выяснилось, что он действовал на собственный страх.

ралы, которые были недовольны пассивностью французского правительства, дозволившего Австрии вмешаться в итальянские дела. Людовик XVIII был страшно оскорблен, узнав о содержании адреса, и долгое время колебался, принять ли ему этот адрес, но наконец принял, хотя и сказал при этом несколько горьких слов депутации палаты. Многие даже думали, что палата будет распущена, но король этого не сделал. Наоборот, сама ультрароялистическая палата довела, наконец, Ришелье и его товарищей до необходимости подать в отставку. По указанию графа д'Артуа Людовик XVIII назначил (15 декабря 1821 г.) их преемников из ультрароялистов, поставив во главе нового министерства Виллеля, который уже давно был парламентским вождем партии. В сессию 1822 г. палата устранила предложенное еще Ришелье установление цензуры на пять лет, но согласилась на то, чтобы на издание газет требовалось королевское дозволение, чтобы больше не разрешалось на суде доказывать справедливость обвинений и обличений официальных лиц, чтобы строжайшим образом запрещены были нападения на религию и церковь и т. п.

Таким образом, министерство Виллеля ознаменовало себя с самого начала проведением реакционного закона о печати, а во внешней политике оно стало в самое резкое отношение к испанской революции. Конечно, и Ришелье не сочувствовал этой революции, но он советовал Фердинанду VII подчиниться совершившимся фактам, изменив лишь конституцию 1812 г. в духе французской хартии. Виллель и министр иностранных дел в его министерстве Монморанси, когда-то сражавшийся вместе с Лафайетом в Америке, действовавший заодно с Мирабо и Сиесом в учредительном собрании, принимавший участие в знаменитом ночном заседании 4 августа 1789 г., впоследствии эмигрировавший, а теперь стоявший в лагере непримиримых врагов революции, начали даже оказывать поддержку врагам испанской конституции. Французское правительство отправило на Веронский конгресс самого Монморанси и с ним Шатобриана, сменившего Деказа на посту французского посланника в Лондоне. Оба они были сторонниками насильственного подавления испанской революции, но Виллель, считавший нужным соблюдать строжайшую экономию в финансах и приберегать армию на случай обострения восточных дел — ввиду греческого восстания, был против войны, опасаясь еще, что со стороны испанцев можно будет встретить сильное сопротивление, как при нашествии Наполеона, и полагаясь на то, что внутренняя реакция в Испании сама сделает свое дело. Французским уполномоченным поэтому дана была инструкция действовать с величайшей осторожностью, и сам Людовик XVIII стоял за то же, но Монморанси и Шатобриан своими действиями на конгрессе сильно скомпрометировали независимое положение Франции в этом деле — хотя Шатобриан и старался представить Виллелю, будто он сам всячески хлопочет против войны. Результатом этого была отставка Монморанси и поручение министерства иностранных дел Шатобриану. Ультрароялисты давно уже были недовольны

тем, что Виллель действует недостаточно энергично в испанском деле, а теперь, после отставки Монморанси, пришли в страшное негодование. Многие из них накупили себе билетов на заем в 80 млн франков, заключенный регентством в Сеу-де-Ургеле, и не желали, чтобы вследствие окончательной победы конституционной партии их деньги пропали даром. Между тем Франция по примеру других держав отозвала своего посланника из Мадрида после того, как там не согласились на потребованные державами изменения в конституции, но, в сущности, Виллель искал какого бы то ни было повода объявить Францию вполне удовлетворенной, лишь бы не вести войны. Ультрароялисты решили тогда низвергнуть Виллеля как изменника, и тогда, чтоб удержаться у власти, Виллель потребовал у палаты депутатов чрезвычайного кредита в 100 млн франков для войны с Испанией и разрешения призвать резервы. Таким образом, антиреволюционная экзекуция в Испании была делом ультрароялистической партии против правительства, не желавшего войны. Страсти партии до такой степени в то время разгорались, что она решилась исключить из палаты депутата Манюэля, осмелившегося говорить против войны, несмотря на то что на такой шаг она не имела ни малейшего права. Победа французской армии над испанскими революционерами совершенно опьянила ультрароялистов чувством достигнутого успеха. Виллель не имел уже более силы сопротивляться партии, доказавшей на деле свою энергию и решимость, и вот он стал подумывать о том, чтобы отделаться от самой опасной фракции ультрароялистов: с этой-то целью в конце 1823 г. он распустил палату, назначив новые выборы, которые в начале следующего года, как мы видели, были произведены — при помощи префектов — в смысле благоприятном для министерства. В новой палате сначала не было ультрароялистической оппозиции, но она мало-помалу снова организовалась, и были случаи, когда Виллеля поддерживали немногочисленные либералы палаты. В общем, и теперь ультрароялисты стояли на стороне министерства лишь тогда, когда оно проводило реакционные законы. Выборами 1827 г., давшими победу (хоть и неполную) либералам, окончилось господство ультрароялистической партии, стоявшей большей частью в оппозиции к правительству.

Когда Виллеля в начале 1828 г. сменил Мартиньяк, ранее сам отличившийся в качестве ультрароялиста, и ввиду победы либералов и оппозиционного настроения страны отказался от реакционной политики своего предшественника, ультрароялисты опять очутились в оппозиции, но и на этот раз правительство нашло, наоборот, сочувствие у либералов. Ультрароялистическая партия только и думала о том, как бы низвергнуть этого министра.

Из этого краткого очерка истории тех отношений, в каких находилась роялистическая партия к правительству почти во все время Реставрации, можно видеть, что она вовсе не была партией гювернаментальной, во что бы то ни стало отстаивавшей правительство, равно как либералы вовсе не были

постоянными оппонентами власти. Обе партии, в конце концов, стояли на почве конституции и одинаково видели в политической свободе средство для проведения в жизнь своих принципов и защиты классовых интересов. Обе партии сталкивались между собой по разным вопросам, между коими, как уже приходилось видеть, играли роль вопросы о свободе прессы и об избирательном законе¹. Но борьба шла и из-за других предметов. В 1817 г. ультрароялисты добивались возвращения духовенству оставшихся непроданными прежних церковных и монастырских имуществ. В 1818 г. они очень волновались по поводу реорганизации армии, при которой военный министр принял на службу до тысячи бывших наполеоновских солдат и уволил многих офицеров из эмигрантов по их неспособности к военной службе. В 1820 г. между ультрароялистами и либералами происходили споры по поводу увеличения пенсии, которое правительство хотело сделать из особого фонда, для разных пенсионеров, в числе коих были люди, служившие, с одной стороны, революции и Наполеону, с другой — делу Бурбонов в Вандее и в эмиграции. В начале двадцатых годов внешняя политика точно так же разделяла ультрароялистов и либералов. Когда крайняя правая достигла торжества при Виллеле, она поставила себе задачей отдать народное образование в руки духовенства; городские и сельские школы по ее настояниям были переданы в руки монахов (*frères de l'école chrétienne* или *frères-ignorantins*). Знаменитый ориенталист Сильверст де Саси, сам благочестивый роялист, лишился даже своего места в главном совете учебного ведомства за то, что не соглашался на передачу всего образования духовенству. Великим магистром университета сделано было одно духовное лицо. В то же время устранялись «неблагонамеренные» преподаватели и заменялись новыми. Составлялись и новые учебники в духе реакции: известно, например, руководство по истории патера Лорике, в котором Наполеон превращался в генерала Бонапарта, главнокомандующего войсками Людовика XVIII. Ройе-Коллару и Гизо было запрещено чтение лекций. В Гренобле за либерализм был закрыт юридический факультет, и та же судьба временно постигла медицинский факультет и Высшую нормальную школу в самом Париже. В то время либеральная оппозиция была бессильна что-либо сделать. Этим же крайне реакционным направлением отличалась внутренняя жизнь Франции и в начале царствования Карла X, который сам принимал живейшее участие в делах ультрароялистической партии. Таков был общий характер французской реакции, которая, как мы видим, представляет массу родственных черт с реакцией, происходившей в других странах в ту же самую эпоху.

¹ Известно, что эти два предмета составляли содержание и знаменитых ордонансов Карла X, приведших к июльской революции.

XIX. Борьба французского либерализма против реакции

Реакционные стремления Карла X. — Раскол среди реакционеров. — Ослабление реакции при Мартиньяке. — Падение министерства Мартиньяка и назначение Полиньяка. — Два периода в истории либеральной партии в эпоху Реставрации. — Заговоры первого периода. — Конституционные либералы. — Либерализм в литературе и в периодической прессе. — Симптомы оппозиционного общественного настроения при Карле X. — Конфликт 1830 г.

Мы познакомились с главными событиями царствования Людовика XVIII, за исключением ряда фактов, относящихся к истории антибурбонской агитации того же периода, которые рассмотрены будут ниже в другой связи. В 1824 г. Людовик XVIII умер и ему наследовал его брат: ультрареакционная партия имела теперь своего короля, но с другой стороны, и либерализм в эту эпоху делает большие успехи. Крайняя реакция, представителем которой был Карл X, отвратила от него часть умеренных роялистов, да и среди самих ультрароялистов начался раскол, вызванный чрезмерными притязаниями клерикалов, которые в новом короле видели как бы своего вождя. Это только содействовало вступлению в палату более умеренных элементов и усилению либерального меньшинства. С другой стороны, либералы, действуя посредством печатного слова, все более и более овладевали общественным мнением страны. Если оппозиционные элементы в царствование Карла X и оставили политику конспиративных приключений, то это отнюдь не мешало происходить довольно частым и внушительным манифестациям, из коих правительство могло бы хорошо видеть, что реакция, наступившая после убийства герцога Беррийского, содействовала только оживлению общественного сочувствия к либерализму. Если в царствование менее реакционного Людовика XVIII французский либерализм должен был оставить поле борьбы в руках своих врагов, то, наоборот, при настроенном в духе крайней реакции Карле X либерализм, так сказать, оправляется после всех нанесенных ему поражений и делается весьма значительной политической силой. В настоящей главе мы и будем иметь в виду преимущественно ту роль, какую играл либерализм в истории реставрационной эпохи, и хотя нам предстоит теперь излагать историю царствования Карла X, но нам придется вернуться к некоторым фактам и из истории предыдущего десятилетия.

Карлу X было уже 67 лет, когда он вступил на престол. Принимая поздравления от обеих палат, он заявил, что употребит всю власть свою для утверждения конституции, и это произвело хорошее впечатление, хотя приверженность нового короля к старым формам все-таки внушала опасение. Уже раньше министерство Виллеля задумало возбудить законодатель-

ным порядком два вопроса в пользу церковной партии, идеи которой разделял сам Карл X. Закон, уничтожавший во Франции монастыри, не был отменен, а между тем за десять лет реставрации открылось их немалое число вместе с иезуитскими учреждениями, коим тоже не полагалось по закону существовать во Франции, и вот теперь министерство сделало предложение, чтобы женские монастыри, которые могли быть открываемы каждый раз лишь в силу специального закона, дозволено было открывать только по одному королевскому повелению. Это предложение не прошло, да и с большим трудом прошел суровый закон о святотатстве, в защиту коего Бональд говорил, что предавать святотатцев смертной казни значит только отсылать их к их естественному судье, т. е. к самому Богу. Этот закон, ни разу, впрочем, не применявшийся на практике, возбудил сильное негодование в публике. Сам Карл X между тем особенно хлопотал о вознаграждении эмигрантов за конфискованные во время революции имения, которые были распроданы и потому не могли быть возвращены своим прежним владельцам. Ультрароялисты ссылались в споре с либералами по этому вопросу на их собственный принцип, запрещавший конфискацию имущества, и указывали еще на то, что вознаграждение эмигрантов лишь упрочит владение новых собственников. Но либералы спрашивали, почему же не распространить право получить вознаграждение и на потомков протестантов, имения коих конфисковались после уничтожения нантского эдикта, тем более что большая часть имений, конфискованных в революцию, сама составила из более ранних конфискаций. Наконец, возражали либералы, в революцию пострадали не одни эмигранты, да они и вознаграждены уже достаточно тем, что сделано было для них не только правительством Реставрации, но и Наполеоном. Самые рьяные из ультрароялистов были недовольны министерским проектом о денежном вознаграждении в 1000 млн, с каковой целью должны были быть выпущены на эту сумму государственные облигации, и требовали, чтобы эмигранты получили обратно самые имения, у них конфискованные. После долгих и бурных прений министерский проект был принят палатами и утвержден королем (1825 г.). В том же самом году Карл X торжественно короновался в Реймсе, возобновив при этом все средневековые церемонии вплоть до возложения своих рук на золотушных больных для их исцеления. В то самое время как Виктор Гюго воспевал эту коронацию, настоящий народный поэт тогдашней Франции, Беранже, писал «Le sacre de Charles-le-Simple»¹, в коей осмеивал всю эту церемонию. В народе на Карла X смотрели крайне неблагоприятно за его связи с духовенством и «конгрегацией», и даже составила легенда, будто король сам иезуит и по временам, надевая монашеский капюшон, дает отчет своему духовному начальству о том, как пользуется сво-

¹ Сатира «Святой Карл Простак» (фр.). — Прим. ред.

ей властью во славу и во благо ордена. Влияние духовенства и иезуитов на Карла X было и на самом деле весьма значительно. Поэтому, чувствуя свою силу, клир теперь поднял голову и начал действовать с крайней нетерпимостью: духовенство стало отказывать актерам в христианском погребении, не хотело благословлять браков с протестантами, обращало насильно в католицизм протестантских детей и т. п. Торжественное празднование юбилейного года дало повод тоже многим проявлениям религиозного фанатизма. Любопытно еще, что Карл X встретил сопротивление даже со стороны палаты пэров, когда задумал провести аристократический закон о майорате, противоречивший принципу равенства детей одних и тех же родителей. Когда пэры отвергли составленный в этом смысле законопроект, Париж, а за ним и провинциальные города отпраздновали это событие иллюминацией.

Клерикальный характер, какой приняла реакция при Карле X, встретил оппозицию даже среди самих ультрароялистов. В господствующей партии образовался глубокий раскол, который, конечно, только ослаблял реакционную партию, ибо между ее клерикальной и светской фракциями началась борьба, от которой мог выиграть только либерализм. И действительно, как в парламентских прениях, так и в печати стали заодно выступать и консервативные оппоненты клерикализма, и либералы, видевшие в культурной реакции новую опасность, с которой перед этим им еще не приходилось встречаться. В 1826 г. вышла в свет «Записка о религиозной и политической системе, которая приведет к разрушению религии, общества и трона», написанная графом Монлозье. Автор этого памфлета был семидесятилетний старик, в эпоху революции прославившийся своей оппозицией против конфискации церковной собственности и против гражданского устройства духовенства, эмигрировавший потом за границу, а в 1819 г. выступивший как отчаянный феодал. В своей записке он напал на клерикалов, назвав их «все захватывающей и властолюбивой партией, ползущей во мраке по указаниям иезуитов, незаконной и безыменной конгрегацией, вторгающейся во все части светского правительства, подделывающейся к магистратуре, подчиняющей себе министров, присваивающей себе и от себя распределяющей все милости, продающей в Риме традиционные вольности галликанской церкви, готовой, наконец, посредством приверженцев своих, находящихся во всех сферах правительственной власти, поработить даже самую королевскую власть, чтобы возратить под опеку мрачной и нетерпимой церкви народ, утративший религию, но вместе с тем доведенный до самого грубого суеверия». Эта партия, говорит еще Монлозье, вносит всюду развращение. Шпионство, бывшее прежде денежным ремеслом низких людей, прославляется как добродетель и награждается даже дворянством; конгрегация завладела ремесленниками и занялась приисканием лакеев и горничных, коим стала выдавать свои одобрения. Она завела даже кабаки, в коих прода-

ют вино по дешевой цене и упившихся гостей наставляють в благочестии и т. п. Pamфлет Монлозье имел громадный успех, выдержав несколько изданий и сделавшись справочной книгой для членов обеих палат, которые вели борьбу с клерикализмом. У министра духовных дел вынуждено было признание, что правительство терпит существование противозаконного общества. Королевский верховный суд на формальное донесение Монлозье о существовании во Франции иезуитов сделал постановление о противозаконности этого существования. Две либеральные газеты были привлечены к суду за антицерковное направление, но суд их оправдал. Зато духовенство, негодовавшее на свободу печати и на независимую юстицию, было утешено тем, что три профессора антиклерикального направления (между ними Вильмен и роялист Мишо) лишились своих мест и что епископ Страсбургский Тарен, написавший по примеру других епископов пастырское послание, наполненное яростной бранью против либералов, был назначен воспитателем маленького внука короля. Под влиянием всей этой истории министерство Виллеля выработало проект весьма сурового закона против свободы прессы, который, будучи принят палатой депутатов, встретил, однако, сопротивление в палате пэров и был взят правительством обратно.

После выборов 1827 г. и перехода министерства от Виллеля к Мартиньяку¹ началось ослабление этой реакции и даже уничтожение некоторых мер, принятых в реакционный период середины двадцатых годов. По хартии 1814 г. (статья 43) президент палаты депутатов назначался королем из пяти кандидатов, представлявшихся самой палатой: в 1827 г. из пяти кандидатов двое были литераторы, и один из них, именно Ройе-Коллар, по представлению министерства, желавшего расположить в свою пользу общественное мнение, был назначен президентом. Затем Мартиньяк настоял на том, чтобы в тронной речи были обещаны уступки. Карл X все это делал очень неохотно и не без некоторого сопротивления. Уже на первом заседании новых министров король заявил им, что расстался с Виллелем с крайним сожалением, прибавив к этому, что общественное мнение, очевидно, обманулось насчет этого министра. «Его система, — сказал король, — моя система». Между тем Мартиньяк именно и не хотел держаться этой системы, осужденной общественным мнением. Если тем не менее Мартиньяку удавалось склонять Карла X к принятию тех или других неприятных решений, то лишь посредством угрозы выхода в отставку. Сама новая палата в ответном адресе осудила министерство Виллеля, включив в адрес следующие строки по поводу обещанных уступок: «Франция с глубоким вниманием прислушивалась к памятным словам. Она требует от исполнителей вашей воли только одного, именно чтобы благодеяния ваши действительно приводились в исполнение. В своих жалобах она обвиняет прискорбную систему, превращающую их ча-

¹ Daudet E. Le ministère de Martignac, 1875.

сто в иллюзию». Карл X был этим крайне раздражен, и министрам стоило великого труда отговорить короля от роспуска палаты, указав на возможность восстания, которое было бы трудно подавить. Сами ультрароялисты, окружавшие короля, советовали ему до поры до времени вооружиться терпением. Благодаря этому Мартиньяку и сделалось возможным провести несколько законов, нашедших сочувствие в общественном мнении, но встреченных враждебно ультрароялистами. И вот опять на стороне министерства, которое состояло из умеренных роялистов, были либералы, а ультрароялисты снова делали правительству оппозицию. Пользуясь поддержкой либералов и умеренных консерваторов, Мартиньяк провел законы, из коих один обеспечивал свободу выборов от административного вмешательства, другой облегчал положение печати посредством отмены королевского дозволения на издание газет и права правительства вводить в случае надобности цензуру путем королевских повелений, а третий уничтожал «черный кабинет», где производилась перлюстрация частной переписки. Кроме того, Мартиньяку удалось настоять еще на одном важном деле. Вопрос о духовных школах (*petits séminaires*) и иезуитах, давно служивший предметом спора в палатах и в печати, требовал решения, а между тем Карл X, несмотря даже на желание Виллеля подвергнуть расследованию это дело, не давал на то своего согласия. Мартиньяк, устранив религиозную и политическую сторону вопроса, поручил исследовать его с чисто юридической точки зрения особой комиссии из членов обеих палат. Комиссия нашла, что многие из духовных училищ были основаны без разрешения и даже вопреки законам и что некоторые из них, в коих притом учились молодые люди, вовсе не готовившиеся к принятию духовного сана, были содержимы иезуитами. Тогда министерство вынудило у Карла X два ордонанса, подчинявшие иезуитские школы государственному надзору в лице университета¹, под условием непринадлежности их преподавателей к какой бы то ни было неразрешенной конгрегации, и запрещавшие во всех церковных школах вообще иметь более двадцати тысяч воспитанников, причем директора этих училищ, назначаемые архиепископами и епископами, должны были утверждаться королем и в воспитанники могли приниматься только юноши, прямо готовящиеся к духовному званию. Эти ордонансы встречены были со стороны духовенства самыми яркими нападениями; в числе нападавших был Ламеннэ, который, как нам уже пришлось видеть, по этому поводу стал на точку зрения либерализма, как «восстания христианского духа свободы против деспотизма светской власти, опирающейся на силу». И другие клерикалы, и многие ультрароялисты стали указывать на то, что ордонансы противоречат конституции, которая обеспечивала свободу вероисповедания и доступ всем французам ко всяким должностям, и начали требовать безусловной свободы обучения. Большинство оппонентов

¹ О значении этого слова во Франции см. выше. Университету принадлежала учебная монополия.

королевского распоряжения нападало на него, однако, с другой точки зрения, обвиняя правительство в том, что оно вступило в союз с безбожием и революцией, хотя все дело сводилось, в сущности, к установлению правительственного контроля над школами духовенства и к принятию мер против конкуренции этих школ с государственными в деле приготовления воспитанников к светским профессиям. Клерикальные реакционеры сравнивали самого Карла X с гонителем церкви Диоклетианом¹. Епископы протестовали — и в таких резких выражениях, что сын короля, герцог Ангулемский, жалел, что он не был королем, когда читал протест архиепископа Парижского, в противном случае сидеть бы архиепископу в Венсенском замке. Иезуиты, не пожелавшие подчиниться университету, закрыли свои школы и покинули Францию. Правительство, однако, выхлопотало у папы Льва XII официальное заявление о том, что ордонансы не затрагивали духовной власти.

Этот эпизод указывает на то, что клерикалы и ультрароялисты готовы были на самую резкую оппозицию против власти, раз последняя не шла с ними рука об руку. В эпоху Реставрации, таким образом, повторялось то, что случалось еще и при старой монархии: ультрароялизм был не чем иным, как возрождением консервативной оппозиции, какую в XVIII в. встречало правительство со стороны духовенства и дворян каждый раз, как отказывалось быть орудием их сословных интересов. Известно, что правительству перед революцией было очень трудно иметь дело с двумя оппозициями — с оппозицией консервативной и с оппозицией либеральной, но в эпоху Реставрации правительство в большинстве случаев находило поддержку в либералах всегда, когда против него восставали ультрароялисты. Между тем Мартиньяк выработал проект нового закона о местном самоуправлении. Реставрация оставила в силе наполеоновскую систему назначения членов генеральных советов по предложению префекта министром, а муниципальных советников — самим префектом, Мартиньяк же задумал заменить эту систему системой избирательной. Об этом проекте возвестила страну тронная речь, которой была открыта сессия палат в начале 1829 г. Либералы приветствовали восторгом эту речь, но роялисты отнеслись к ней весьма враждебно, усмотрев в ней новую уступку гибельному духу революции. Узнав, что сам король совершенно несогласен с содержанием тронной речи, правая воздержалась даже от голосования ответного адреса и решила отвергнуть проект Мартиньяка. Карл X был даже в заговоре против своего министерства, подбивая роялистов не давать согласия на новые законы о муниципальном и департаментском самоуправлении. Тем более Мартиньяку нужно было искать поддержки у либералов, но последние сделали большую политическую ошибку, не поддержав в данном случае министерство. В этом вопросе самым странным образом перепутались идеи и инте-

¹ Римский император с 284 по 305 г. — *Прим. ред.*

ресы. Хотя министерским проектом местное избирательное право отдавалось лишь самому небольшому числу лиц, наиболее обложенных, и тем самым должно было быть весьма выгодным крупным землевладельцам, так как расширило бы их влияние на местную жизнь, тем не менее роялисты видели в восстановлении местных выборов применение революционного принципа, не согласного с монархическим порядком. С другой стороны, либералы, коим в силу самого принципа свободы нужно было бы хлопотать о введении самоуправления, стояли, наоборот, на точке зрения централизации, отчасти не доверяя местным силам общества, находившимся под влиянием представителей крупного землевладения, отчасти вследствие того, что разделяли убеждение в спасительности наполеоновской централизации. Между прочим, либералы не только не думали добиваться какого бы то ни было расширения круга деятельности генеральных советов, но даже считали необходимым совсем уничтожить это учреждение как совершенно будто бы лишнее в общей системе администрации. Вместе с другими поправками к законопроекту Мартиньяка комиссия, его рассматривавшая, внесла и такое предложение, но министерство на это не соглашалось и по принципу, и ввиду того, что король не пошел бы ни на какие изменения в законе, лишь бы только этим затруднить его принятие. Так как за поправку тем не менее высказалось большинство, составившееся из либералов и роялистов, то Мартиньяк по желанию Карла X взял свои проекты назад. Либералы тотчас же стали раскаиваться в том, что сыграли в руку королю и реакционерам, но дело было уже непоправимо. Роялисты ликovali, и Карл X был тоже очень рад поражению Мартиньяка. В глубине души он всегда был против этого министерства, но считал себя вынужденным его терпеть, так как оно, по его мнению, оправдывалось составом палаты, теперь же, после поражения Мартиньяка, представилась возможность дать ему отставку. В продолжение некоторого времени король еще держал у власти прежнее министерство, хотя отставки его настойчиво требовала вся ультрароялистическая пресса, и вместе с этим ультрароялисты в обеих палатах не переставали буквально его травить при каждом удобном и неудобном случае. Поражение министерства совершилось 8 апреля, сессия палат была закрыта 31 июля, и лишь 8 августа «Монитор» объявила о назначении нового министерства. Мартиньяк и его товарищи узнали из городских слухов о готовившейся им отставке только тогда, когда новый кабинет был уже составлен: старые министры один за другим отправлялись к королю и говорили ему об опасности той политики, которой он намеревался следовать, но им всем была дана отставка, и при прощании их даже не поблагодарили. Министерство Мартиньяка, которое, несомненно, было предано интересам монархии, было, в сущности, низвергнуто людьми, называвшими себя защитниками этой самой монархии, на этот раз они имели на своей стороне самого короля.

Во главе нового министерства, менее чем в один год доведшего Бурбонов до потери престола, был князь Юлий Полиньяк. Он вместе с Карлом X (графом д'Артуа) участвовал в эмиграции, был замешан в заговоре Жоржа Кадуалая, в начале второй реставрации выдвинулся, как самый рьяный ультрароялист, отказавшись даже принести присягу хартии. Таково было в общих чертах прошлое этого первого министра, которого Карл X пытался еще, но безуспешно — ввести в состав кабинета Мартиньяка, так как последний и слышать не хотел о таком товарище. В обществе смотрели на Полиньяка как на человека умственно ограниченного и малоспособного, преданного друга иезуитов и духовенства, сторонника абсолютизма. Полиньяк получил портфель министерства иностранных дел, но не был сделан президентом совета министров ввиду того, что в состав министерства вошел — в качестве министра внутренних дел — глава ультрароялистов в палате депутатов — Лабурдоннэ, бывший грозой всех министерств, которые не шли по дороге крайней реакции. Незадолго перед этим Полиньяк, желая защитить себя от обвинения в абсолютистическом образе мыслей, заявлял в палате пэров о своей преданности хартии, да и Карл X не думал о ниспровержении конституции, рассчитывая управлять впредь при помощи ультрароялистического министерства, которое опиралось бы на такое же большинство палат. Тем не менее возможность резкого столкновения королевской власти с представительством принималась в расчет и самим Карлом X, и новыми его министрами. Однажды король даже спросил нового военного министра Бурмона, человека бывшего весьма непопулярным за свою измену Наполеону при Ватерлоо, можно ли будет положиться на войско в случае каких-либо затруднений со стороны палаты. Ответ Бурмона был утвердительный, но Карлу X не понравилась его оговорка, что войско пойдет за правительством ради всякой цели, согласной с хартией. Король заметил, что как ни дурна эта хартия, он не намерен ее нарушать. Мы увидим еще, какое впечатление произвело на Францию назначение нового министерства. Многие прямо ждали государственного переворота, и лишь тогда, когда увидели, что Полиньяк ничего не предпринимает, несколько стали успокаиваться. «Г. де Полиньяк, — писала в это время одна газета, — человек, у которого есть уверенность и храбрость. Лично он даже давно решился, но он не знает только — на что. Он готов сделать все, но он ищет, что же ему нужно сделать».

До назначения Полиньяка ультрароялисты были в постоянной оппозиции правительству, теперь правительство попадало прямо в их руки, и оно довело Францию до новой революции. Излагая историю парламентской борьбы между реакцией и либерализмом до 1829 г., мы имели в виду главным образом отметить тот общий факт, что вплоть до падения министерства Мартиньяка ультрароялизм имел характер не абсолютистической реакции, а консервативной клерикально-аристократической оппозиции против всех министерств, которые не желали идти по пути крайних требований реак-

ции, чем, наоборот, либералы ставились в необходимость поддерживать эти самые министерства. Но либерализм боролся против реакции и вне палат, и вот тут борьба его с реакцией во всех ее проявлениях имела характер гораздо более решительный, чем в палате депутатов, где либералы никогда не имели большого количества представителей и даже после выборов 1827 г. могли играть роль лишь благодаря поддержке со стороны умеренных роялистов (так называемых «отпавших»). Мы и перейдем теперь к общей истории либеральной партии в эпоху Реставрации, ибо только деятельность либералов вне палаты депутатов, роль либерализма в жизни общества и в периодической прессе может нам объяснить подготовку переворота 1830 г.

В истории либеральной партии после второй реставрации нужно вообще различать два периода — до и после 1824 г., что совпадает с разделением всей эпохи между царствованиями Людовика XVIII и Карла X. После вторичного возвращения старой династии прежнее отношение к ней либералов изменилось прямо во враждебное, и многие из них, проводя параллель между английской и французской историей, стали говорить о неизбежности повторения во Франции Английской революции 1688 г. Общий фон либерального настроения составляла ненависть к восстановленной династии. «По отношению к правительству Бурбонов, — писал в сентябре 1830 г. («Пятнадцатилетняя комедия») Арман Баррель, поклонник второй английской революции, — у всех независимых людей было только одно поведение — враждебное. Вся политика, как для прессы, так и для оппозиции в палате, всегда состояла в том, чтобы хотеть того, чего правительство не желало, отвергать всякое предлагаемое им благодеяние как нечто скрывающее измену — словом, сделать для него невозможным какое бы то ни было управление, дабы оно пало, и действительно такова была причина его падения». Хотя поведение либералов в палате рисуется в этих словах не совсем точно, тем не менее слова эти, в общем, довольно верно передают чувство, какое внушали к себе Бурбоны либерально настроенным кругам общества. Лишь при таком настроении и возможны были те заговоры и попытки восстаний, которыми полна история царствования Людовика XVIII. Если при Карле X революционные движения прекращаются, заменяясь чисто легальной борьбой во имя хартии, то значительно усиливаются либеральные демонстрации, имеющие для историка значение предвестий Июльской революции. Мы еще увидим, чем объясняется такая перемена в истории французского либерализма той эпохи.

Между либералами образовались с самого начала два оттенка: одни были либералы конституционные, другие революционные. Так как первые нередко сознавали свое бессилие, то не пренебрегали помощью вторых, а эти последние, тоже не доверяя своим собственным силам, искали поддержки и у первых. Вообще либеральные газеты эпохи Реставрации постоянно проповедовали необходимость единения всех антиреакционных групп, между прочим, настаивая на том, чтобы левый центр и крайняя левая держались заод-

но и чтобы левый центр не отпадал к правому центру, т. е. к умеренным консерваторам. В эпоху Реставрации либеральная партия в палате депутатов выдвинула немало замечательных деятелей, каковы Ройе-Коллар, Бенжамен Констан, Лафайет и др., и некоторые из либералов палаты (особенно Лафайет) прямо принимали участие в тайных обществах, ставивших себе целью низвержение Бурбонов. Заговоры, составлявшиеся в эту эпоху, весьма напоминают нам итальянский карбонаризм и военные революции, бывшие тогда в ходу, так как в этом политическом движении участвовало также немало и недовольных военных наполеоновской эпохи. Сами революционеры разделялись еще на конституционных монархистов, желавших только перемены династии и изменений в хартии, на наполеонистов и на республиканцев. Нередко, однако, они действовали сообща, лишь бы только добиться низвержения Бурбонов, не загадывая вперед.

Первый такой заговор был организован в Дофинэ гренобльским адвокатом Дидье еще в 1816 г. Отважный роялист в эпоху революции, примкнувший потом к империи, он в 1814 г. сделался горячим защитником Реставрации, но очень скоро в ней разочаровался. Пользуясь популярностью имени Наполеона среди солдат и крестьян, он составил тайное общество, уверив многих, что Австрия будет поддерживать возведение на престол Наполеона II, настоящим же его кандидатом был герцог Орлеанский. Дидье сделал попытку овладеть Греноблем, но местные власти были предупреждены вовремя, и нападение заговорщиков было отбито. Многие за это заплатились жизнью, и в их числе был сам Дидье, успевший было бежать в Савойю, но схваченный здесь сардинским правительством, которое и выдало его Франции; в числе казненных находился один десятилетний мальчик. Кроме того, в 1816—1817 гг. было еще несколько мелких заговоров, из коих иные чуть ли не были устроены самими шпионами, таким способом открывавшими неблагонамеренных людей. Между тем тайные общества организовывались и на самом деле. В Париже, например, существовала особая «Уния» (Union), поставившая своею целью распространять либеральные сочинения, поддерживать оппозиционные газеты и влиять на выборы; к этому обществу примкнуло немало людей из образованной и зажиточной буржуазии. Около двух лет существовало рядом с ним, преследуя те же цели, но совершенно явное Общество друзей свободы печати, в состав коего входили герцог Броль, Лафайет, Манюэль и др., но оно скоро было закрыто правительством. Тогда некоторые из его членов (главным образом Лафайет) продолжали все-таки свою деятельность в тайном «комитете действия» (*comité d' action*), руководившем обществом, поставив своею целью содействовать перемене династии. Одно из предприятий этого комитета заключалось в следующем. В 1817 г. жившие в Брюсселе враги Реставрации, в числе коих были и старые члены Конвента, составили план возведения на французский престол принца Оранского

(сына нидерландского короля) и даже обратились за содействием к Александру I, который отвечал отказом. Дело тем не менее оставлено совсем не было, и через два года сам принц вошел в сношение с «комитетом действия», дав ему обещание вступить во Францию во главе нидерландского войска, провозглашая при этом освобождение ее от Бурбонов и присоединение к ней Бельгии. Лафайет поддерживал этот план, но король нидерландский узнал об интригах своего сына, удалил его из страны и тем расстроил весь замысел. Реакция, наступившая после убийства герцога Беррийского, только усилила революционное брожение, и летом 1820 г. в Париже по поводу министерских проектов, грозивших свободе, было уже немало уличных столкновений народа с полицией. Против решения палат, дававшего министерству право произвольного ареста неблагонадежных лиц, совершенно явно образовалось особое общество с целью оказания помощи как арестованным, так и их семействам, а в нем опять видную роль — с Лафиттом, Казимиром Перье, Одилоном Барро и Войе д'Аржансоном — играл Лафайет. Общество это было скоро закрыто, но революционные его элементы с Лафайетом и Войе д'Аржансоном образовали тайный «управляющий комитет» (*comité directeur*), который стал хлопотать о подготовке народного и военного восстания. Комитет вошел в сношение с недовольными офицерами и унтер-офицерами (*sous-officiers*) парижского гарнизона, и даже был выработан план восстания: в ночь с 19 на 20 августа (1820) предполагалось овладеть Венсенским замком, учредить в нем временное правительство и оттуда призвать народ к низвержению Бурбонов. Простая случайность (взрыв пороховой башни в замке) помешала предприятию. Правительство, напав на след заговора, начало по этому поводу процесс, который происходил в палате пэров; но доискаться до того, кто были главные виновники, так-таки и не сумели. Эта неудача не охладила заговорщиков, у которых перед глазами был тогда успех военных переворотов в Испании и Неаполе. Когда в 1821 г. умер Наполеон, не только одни бонапартисты, но даже и монархисты, и республиканцы стали эксплуатировать оставленную им в войске память, чтобы вооружить офицеров и солдат против Бурбонов. В этом году действовали главным образом два тайных общества. Одно из них образовалось в самом Париже и приняло организацию и само название (*charbonniers*) от итальянских карбонариев, а другое имело свой центр в Сомюре и называлось обществом «рыцарей свободы». Последнее было по преимуществу военным и насчитывало от 30 до 40 тыс. приверженцев. Что касается до парижских карбонариев, то в состав их союза входила главным образом молодежь, в среде коей были выдвинувшиеся впоследствии уже на ином поприще Бюшез и Базар. Они обратились за помощью к Лафайету, и он охотно стал во главе этой организации; вместе с ним в «верховную венту», составлявшую правление карбонариев, вступили и некоторые члены «управляющего комитета». Парижская и сомюрская организации вскоре соединились вместе; было по-

становлено низвергнуть Бурбонов, после чего учредительное собрание должно было решить вопрос о том, кому передать власть: между заговорщиками были приверженцы и республики, и Наполеона II, и герцога Орлеанского; Лафайет мечтал о республике вроде Северо-Американской; Манюэль — о восстановлении конституции 1791 г.; были и сторонники испанской конституции 1812 г. В конце 1821 и начале 1822 гг. в разных местностях Франции вспыхнули военные бунты, но не имели успеха. Лафайет сам поехал было в Эльзас, где предполагалось провозгласить временное правительство. В нем Лафайет должен был играть видную роль, но он не успел доехать до Бельфора, — бывшего одним из главных пунктов предполагаемого восстания, — как тамошний заговор был открыт. Старому генералу пришлось спасаться бегством. Приверженцы Лафайета сожгли на берегу Рейна его карету, чтобы скрыть все следы его участия в деле. Дело кончилось тем, что многих заговорщиков переловили и предали суду, вследствие чего состоялось несколько приговоров к многолетнему тюремному заключению и даже к смертной казни. Во время процессов, возбужденных этими революционными попытками, очень часто произносилось имя Лафайета и других либеральных деятелей. Поэтому ультрароялистическая печать страстно требовала судебного преследования против всех членов карбонарской «верховной венты», но у правительства не было против них настоящих улик, а либеральные депутаты, — из коих многие знали о заговорах, но не одобряли их или лично только не хотели принимать в них участия, — отстаивали в палате Лафайета и других от обвинения их ультрароялистами, называя эти обвинения клеветой. И эта новая неудача не охладила еще революционного рвения. Когда стали поговаривать о войне для подавления испанской революции, в армии возникло нерасположение «к походу с попами и монахами» против конституции и свободы, а тут еще распространился слух, будто правительство нарочно удаляет из страны военные силы, дабы открыть более свободный доступ во Францию для новой иностранной коалиции из-за Рейна, которая якобы должна была положить конец конституционному режиму и в самой Франции. Парижский революционный комитет воспользовался этими обстоятельствами, чтобы возобновить свою деятельность. Начались новые военные заговоры, и, быть может, они-то и заставили правительство — для предупреждения новых попыток восстания — двинуть армию на Испанию. На этот раз заговор заключался в том, чтобы армия отказалась идти на Испанию и направилась на Париж, как то говорилось и в солдатской песенке Беранже с припевом: «налево-кругом», сделавшейся весьма популярной среди солдат. Именно по ту сторону испанской границы французскую армию должен был встретить отряд беглецов под начальством полковника Фавье (Fabvier) с императорскими орлами и трехцветными знаменами и увлечь своим видом солдат, после чего французская армия должна была повернуть назад. Некоторые генералы и офицеры, отправлявшиеся в Испа-

нию, были посвящены в этот план и обещали свое содействие. Но и из этого тоже ничего не вышло, ибо французский авангард прибыл к пограничной реке Бидассоа раньше, чем Фавье успел сделать все приготовления к встрече. Потеряв несколько человек убитыми пушечным выстрелом, пущенным по приказанию одного генерала, Фавье должен был обратиться в бегство. Легкие успехи в Испании покрыли французскую армию славой и под белым знаменем Бурбонов. Армия теперь примирилась с династией, один из членов коей (герцог Ангулемский) был притом главнокомандующим в этой экспедиции. Наконец, военные были недовольны тем, что во всех прежних заговорах попадались в качестве виновных только их товарищи, тогда как настоящие зачинщики оставались безнаказанными. Вскоре и сами революционные либералы увидели, что ни одна из их попыток ни к чему не приводила, и отказались от дальнейшего продолжения революционной деятельности, тем более что не находили сочувствия и поддержки со стороны конституционных либералов. Действительно, такие люди, как Ройе-Коллар или Бенжамен Констан, отказывались от участия в каких бы то ни было нелегальных действиях, и их взгляд разделялся другими либеральными деятелями. Гизо¹, занимавший в эпоху Реставрации кафедру истории в Сорбонне (с перерывом в эпоху министерства Виллеля) впоследствии писал, что «ни действия правительства, ни его планы не нарушали прав и интересов страны и не угрожали им в столь сильной степени, чтобы оправдывать такое настойчивое стремление к ниспровержению существующего политического строя. Все великие учреждения, — продолжает он, — оставались неприкосновенными; общественные вольности продолжали развиваться, несмотря на нападки на них; законный порядок ни в чем не был нарушен; страна благоденствовала и развивалась. Были, правда, — замечает он, однако, — были причины, вызывавшие правильную и открытую оппозицию, но не было ни одной, оправдывавшей заговор и революцию». Так смотрели на дело и многие другие конституционные либералы. Как бы там ни было, после неудачи с заговором во время испанской войны путь революции был оставлен, и лозунгом всех либералов сделалась легальная оппозиция в палатах и в прессе в защиту хартии 1814 г. и основывавшейся на ней свободы. С деятельностью либералов в палате мы отчасти познакомились. Прибавим, что им нередко приходилось в замечательных речах, к которым прислушивалась вся Франция, отстаивать принципы личной и общественной свободы и протестовать против крайностей реакции. Небольшая группа либералов, к коей принадлежали герцог де Броль и Ройе-Коллар² и примыкал Гизо, составила из себя особую партию доктринеров, стремившуюся примирить требования свободы с требованиями порядка и конституционный режим — с сильной правитель-

¹ О нем см.: *Witt M. de. Guizot dans sa famille et avec ses amis*, 1880; *Simon J. Thiers, Guizot, Rémusat*, 1885, и др.

² *Barante. Vie politique de Royer Collard.*

ственной властью: они представляли собой умеренный либерализм, главным проводником идей которого в прессе и сделался Гизо. Гораздо более разнообразными и деятельными были те проявления либерализма, которые существовали в тогдашней французской литературе.

В эпоху Реставрации, особенно в двадцатых годах, либеральная часть французского общества выдвинула целый ряд замечательных писателей на разных поприщах литературы — писателей, которые оказывали большое влияние на образованные общественные круги и в числе которых было несколько человек, могущественно действовавших на публику и живым словом в качестве популярных лекторов. Это было время эклектической философии, основывавшей политическую свободу на моральном чувстве; время либеральной историографии, занимавшейся средневековой борьбой горожан за свободу и ростом третьего сословия, возникновением представительных учреждений и развитием английского парламента, изображением политической борьбы в Англии в XVII в. и оправданием Французской революции; время превращения роялистического реакционного романтизма в романтизм либеральный и прогрессивный; время, когда в политической литературе все более и более выяснялся принцип свободы и, наконец, как мы еще увидим, время возникновения новых социальных учений, — одним словом, время весьма живое, когда вся умственная деятельность нации носила на себе глубоко общественный характер. Весьма видную роль играла в эту эпоху и либеральная публицистика, находившаяся в самом тесном сродстве с философией, историографией и изящной литературой своего времени, не говоря уже о ее близости к политическим теориям эпохи. Несмотря на неблагоприятные условия, в какие по временам реакция ставила периодическую прессу, последняя делала свое дело и приобретала все большее и большее влияние на умы, воспитывая общество в идеях свободы и законности. Некоторые периодические издания двадцатых годов имеют по своему влиянию особенно важное значение с общеисторической точки зрения. Правительство не могло не считаться с тем значением, какое приобрела пресса, и Виллель делал даже попытку скупить за государственный счет возможно большее количество оппозиционных (либеральных и ультрароялистических) газет, для чего потребовалось несколько миллионов, которые были взяты из секретного фонда и из средств министерства двора. Виллелю удалось таким путем приобрести несколько изданий крайней правой, хотя в одном случае он встретился с прямым сопротивлением: именно ультрароялист Мишо, главный собственник и редактор «*Quotidienne*»¹, не согласился на предложенную ему сделку и был насильственно изгнан из редакции, но пожаловался в суд, и последний восстановил его во всех его правах. Попытка создать правительственную прессу не была, однако, особенно удачной, и в самый

¹ «Ежедневная газета» (фр.). — *Прим. ред.*

неудобный момент для оппозиционной печати, именно при действии закона 1822 г. — у шести наиболее важных правительственных органов подписчиков было лишь 14 тыс., тогда как шесть наиболее видных оппозиционных газет расходились путем подписки в количестве, превышавшем 40 тыс. экземпляров. Преследуемые перед судом, оппозиционные газеты, нередко случалось, оправдывались; зато в случаях наложения наказаний правительство иногда прибегало к излишним строгостям: известен, например, наделавший много шума поступок с адвокатом Магаллоном, редактором «Альбома», который, будучи приговорен к тюремному заключению, при переводе из одной тюрьмы в другую был закован в общие кандалы с одним каторжником.

Не имея возможности останавливаться на характеристике хотя бы только наиболее видных либеральных газет эпохи, мы отметим лишь два издания, особенно важные для характеристики стремлений тогдашнего либерализма. В 1824 г. стал выходить в свет «Le Globe»¹, сразу занявший весьма влиятельное положение в образованном обществе. Это было издание, в котором участвовало главным образом молодое поколение, воспитавшееся уже в духе новых идей: в области философии сотрудники «Le Globe» придерживались эклектического спиритуализма Кузена, в области поэзии и критики это были приверженцы романтизма, с моральными же и эстетическими воззрениями обеих школ они соединяли либеральные стремления и то понимание Французской революции, представительницей которого в первые годы Реставрации была г-жа Сталь. Но особенно важна была «Le National»², основанная в январе 1830 г. Тьером, Минье и Арманом Карпелем. Первые два из них были авторы известных историй Французской революции, последний написал «Историю контрреволюции в Англии». Тьер после окончания своего труда задумал большую историю цивилизации и для этой цели не только изучал разные науки, но даже собирался предпринять кругосветное плавание с капитаном Лапласом, но когда Полиньяк был сделан министром, он остался, говоря, что теперь дело не в том, чтобы заниматься наукой, а в том, чтобы вести борьбу. Задачей нового органа либеральной прессы было всячески содействовать низвержению династии Бурбонов, но не для основания республики, а для передачи короны герцогу Орлеанскому. «Le National» старалась выводить из хартии такие следствия, при которых легитимному правительству оставалось бы только прибегнуть к государственному перевороту. Это новое либеральное издание заняло совсем другое положение, чем «Le Globe», не шедший так далеко в своих политических стремлениях, тем более что «Le National» была противником и романтической школы. Известно, какую роль эта газета и ее редактор Тьер играли в перевороте 1830 г. Общее значение либеральной печати заключалось в том, что она поддержи-

¹ «Глобус» (фр.). — Прим. ред.

² «Всенародная» (фр.). — Прим. ред.

вала в обществе недоверие к Бурбонам. Ея характер был боевой. Таким же характером в эту эпоху отличалась еще деятельность двух весьма популярных писателей — Беранже и Курье. Первый — настоящий народный поэт Франции — в своих песенках, быстро распространявшихся в самой разнообразной публике, был живым воплощением недовольства легитимизмом и клерикализмом, которые он и подвергал своей остроумной, чисто вольтеговской насмешке¹. Два раза в двадцатых годах он по приговору суда за свои сборники песен сидел в тюрьме (в первый раз три, во второй девять месяцев) и заплатил более 10 тыс. франков штрафа. В том же антибурбонском и антиреакционном направлении действовал и замечательный памфлетист эпохи Поль-Луи Курье. Это был в молодости один из воинов революции, сражавшихся за свободу народов. В 1816 г. он выступил против реакции, давшей себя, как известно, уже хорошо знать около этого времени. «Авторитет, — писал он тогда, — вот великое слово во Франции. В других местах ссылаются на закон, у нас — на авторитет. Конечно, это не есть авторитет ни соборов, ни отцов церкви, ни того еще менее юрисконсультов, но это авторитет жандармов, который почище всякого другого». Он иронизировал (1819) над хартией по поводу произвола префектов: «Когда вас засадят, хартия вас не вытащит (из тюрьмы). Там вы вволю можете намечтаться об индивидуальной свободе». Равным образом он нападал на феодальные предрассудки и притязания дворянства, на нетерпимость и ханжество духовенства, на традиции легитимизма и т. п., отзываясь вместе с тем и на все мелкие злобы дня. За свои смелые памфлеты ему не раз приходилось защищаться перед судом и даже подвергаться, как и Беранже, наказанию. После его смерти (1825) его сочинения были изданы в Брюсселе (1826), а потом и в Париже (1828), продолжая пользоваться громадной популярностью. Между прочим, Курье пользовался каждым удобным случаем, чтобы показывать народу, какая еще у него остается надежда: этой надеждой настоящей свободы и для Курье был герцог Орлеанский, которого он всегда изображал в самом выгодном свете по сравнению со старшей линией Бурбонов.

Либеральные публицисты двадцатых годов постоянно поддерживали, как было сказано выше, недовольство Бурбонами, и так как почти вся либеральная пресса или наиболее, по крайней мере, влиятельная часть ее стояла главным образом на точке зрения конституционной монархии, то, понятно, идея о перемене династии была довольно распространенной в обществе. При Людовике XVIII делались даже попытки осуществления этой мысли путем революционных заговоров, но с 1824 г., как мы видели, попытки этого рода прекратились, тем более что либералы стали все более и более проникаться взглядом доктринеров, которые, высказываясь за «дух, выросший из революции», были, однако, решительными противниками «революционного духа».

¹ О чем соч. Arnold, Janin и др.

После прекращения заговоров с целью совершения военного переворота наполеонисты перестают играть роль в политике, да и республиканцы тоже ступшевыаются, а у либеральной оппозиции является новая тактика — при каждом удобном случае показывать правительству, что хартия 1814 г. имеет массу защитников и что нация прежде всего требует строгого соблюдения конституции. Во второй половине двадцатых годов вообще довольно часто представлялись поводы для разных либеральных манифестаций. Осенью 1825 г. Париж с особым почетом хоронил генерала Фуа, бывшего одним из наиболее видных представителей либеральной партии в палате депутатов: в процессии участвовала весьма внушительная масса народа, а в пользу семьи покойного была открыта национальная подписка, давшая целый миллион. Когда палата пэров отвергла проект закона о майоратах, в Париже это событие было отпраздновано иллюминацией. В 1827 г. умер один либеральный пэр, восьмидесятилетний герцог Ларошфуко-Лианкур, которого очень не любил Виллель, и опять решено было на похоронах этого деятеля устроить либеральную манифестацию. Полиция хотела помешать задуманной демонстрации, и дело дошло до свалки, во время которой гроб упал на мостовую, что привело в негодование и все общество, и саму палату пэров. В это время Виллель проводил самые реакционные законы против печати; боясь после такого происшествия — отвержения закона палатой пэров, министерство взяло назад свой проект, и это снова было отпраздновано в Париже и других городах иллюминациями, фейерверками, торжественными шествиями с музыкой и пением. Вскоре после этого Карл X делал смотр национальной гвардии на Марсовом поле. Короля приветствовали с восторгом за взятие назад министерского проекта, но к крикам *Vive le roi!* — примешивалось немало и криков *Vive la charte!*¹ Когда один национальный гвардеец решился чуть не в лицо королю повторить последние слова, Карл X нахмурился, что не прошло незамеченным для кричавшего. «Разве вас оскорбляет, что приветствуют конституцию?» — спросил он. «Я, — отвечал ему на это король, — приехал сюда для того, чтобы выслушивать приветствия, а не наставления», — и вся национальная гвардия единодушно закричала: «Да здравствует король!» Карл X в конце концов был так доволен смотром, что, вернувшись домой, приказал одному из приближенных составить дневной приказ с выражением королевского благоволения к национальной гвардии. Король не знал еще, что после его отъезда две принцессы (герцогини Ангулемская и Беррийская), присутствовавшие на смотре в коляске, были освистаны при криках «Долой министерство! Долой иезуитов!». С теми же криками и с криком «Долой Виллеля!» часть национальной гвардии прошла мимо отеля министра. После этого обе принцессы, и особенно Виллель, настояли на том, чтобы Карл X распустил национальную гвардию: 30 апреля в этом смысле и появился королевский ордонанс, кото-

¹ Да здравствует король! Да здравствует хартия! (фр.) — Прим. ред.

рый послужил поводом для произнесения в палате нескольких резких речей, но почему-то не произвел большого волнения в народе. Осенью того же 1827 г., как было сказано выше, происходили общие выборы в палату депутатов, бывшие весьма выгодными для либералов. Такой результат был достигнут благодаря, между прочим, обществу «Aide-toi, le ciel t'aidera»¹, которое было основано раньше с целью оказывать влияние на выборы в оппозиционном смысле. Когда в Париже сделалось известным, что в самой столице одержали победу все оппозиционные кандидаты, это было отпраздновано шумным восторгом. Была устроена иллюминация, и народ начал выбивать стекла во всех неосвещенных окнах; потом дело дошло до попыток сооружения баррикад и уличных схваток с полицией и войсками. Это обстоятельство указывало на революционное настроение парижского населения. Министрство Мартиньяка сумело несколько успокоить страсти, но едва только министром был назначен Полиньяк, как тотчас же не только в Париже, но и в провинции все более и более стал проявляться оппозиционный дух. В разных городах стали основываться общества сопротивления налогам на случай уничтожения хартии, а проезд Лафайета через некоторые местности превратился в настоящий триумф, причем говорились речи и предлагались тосты, заключавшие в себе уже угрозы. Правительство начало ряд процессов против обществ сопротивления, но суды большей частью оправдывали эти общества, не находя их противными конституции, или налагали на них самые легкие наказания за оскорбление правительства заподозрением его в противоконституционных замыслах. Оправдан был судом и «Journal des Debats» за статью по случаю назначения Полиньяка, оканчивавшуюся восклицаниями: «Бедная Франция! Бедный король!»

В 1830 г. дело дошло, наконец, до конфликта между династией и нацией. Не излагая здесь истории этого конфликта, напомним лишь главнейшие факты. 2 марта Карл X открыл сессию палат тронной речью, в которой заключалась несомненная угроза представительству. Палата депутатов отвечала на нее адресом, содержащим в себе горькие упреки и принятым, несмотря на свое содержание, 221 голосом против 181. На другой день после представления адреса Карлу X (18 марта) была объявлена отсрочка заседаний палат до 3 сентября, но через два месяца (16 мая) появился королевский ордонанс, распускавший палату и назначавший новые выборы, и вместе с тем сам король обратился к нации с жалобой на распущенную палату. Все — 221 — депутаты тем не менее были переизбраны, и к ним прибавилось еще несколько оппозиционных депутатов. Карл X решился тогда распустить и эту новую палату прежде, нежели она успела собраться, назначить новые выборы, своей властью изменив избирательный закон в пользу представителей крупного землевладения, и уничтожить свободу печати. 26 июля с таким

¹ «Помогай себе, и Небо тебе поможет» (фр.). — *Прим. ред.*

именно содержанием были обнародованы три ордонанса, вызвавшие в следующие дни (27, 28, 29 июля) народное восстание, за которым последовало падение легитимной монархии и возведение на престол герцога Орлеанского под именем Людовика-Филиппа, короля французов. Июльская революция 1830 г. получила не только местное, но и общеевропейское значение, отразившись сразу на ходе событий в нескольких европейских государствах и, между прочим, в самой Англии, в которой предыдущие континентальные перевороты не производили никаких конституционных изменений¹.

¹ Мы предполагаем начать V том «Истории Западной Европы в Новое время» с общего обзора состояния Западной Европы перед Июльской революцией, чтобы перейти потом к рассказу о самом этом событии и к рассмотрению его влияния вне Франции.

XX. Происхождение английской реакции конца XVIII и начала XIX в.¹

Англия и Французская революция. — Особое положение Англии в Западной Европе в Новое время. — Революция 1789 г. и ее английские прецеденты. — Господство олигархий в Англии. — Состав английского парламента. — Подкупы при выборах в члены парламента и необходимость парламентской реформы. — Общий взгляд на историю английских политических партий. — Преобладание торийской партии в конце XVIII и начале XIX в. — Отношение англичан к Французской революции. — «Размышления о революции во Франции» Берка. — Внутренний застой в Англии под влиянием Французской революции. — Очерк войны Англии с Францией. — Влияние войны на взаимные отношения английских партий

В истории той культурной и политической реакции, которая была вызвана Французской революцией, должна занять место и Англия, несмотря на то что история этой страны, в общем, так сказать, разошлась с историей континентальных государств. Во внутренней жизни Англии XVIII в. не существовало тех явлений, составляющих существенные черты так называемого «старого порядка» в других странах Западной Европы, и потому революция, которая была направлена против явлений, в Англии не существовавших, казалось бы, и не должна была бы вызывать против себя реакции в недрах английского общества. В самом деле, континентальный «старый порядок» был соединением политического абсолютизма с социальным феодализмом, в Англии же не было ни того ни другого; можно даже сказать, что революция переделывала государство и общество на континенте именно в том самом направлении, которое должно было приблизить их к английскому политическому и общественному строю, и вот, несмотря на это, реакция против Французской революции возникла и в Англии. И то и другое требует объяснения, почему именно, во-первых, революция не должна была вызывать в Англии таких же точно опасений, какими встретила этот переворот вся остальная Европа, и почему, во-вторых, тем не менее и в Англии революция произвела переполох, приведший и эту страну к сильной внутренней реакции.

¹ См. т. III. *Green*. History of the English people, 1880 (вторая половина IV т.; есть французский и русский переводы); *Pauli* (см. выше); *Reynald* (см. выше); *May J. Ersquine*. Constitutional history of England (изложение начинается с 1760 и доходит до 1860 г.; есть переводы французский и немецкий); *Spencer-Walpole*. History of England from the conclusion of the great war of 1815; *Rémusat*. Études sur l'Angleterre au XVIII siècle (здесь есть довольно много о влиянии Французской революции на Англию); *Chevillon A.* Sydney Smith et la renaissance des idées liberales en Angleterre au XVIII siècle, 1894; *Теккепей*. Четыре Георга. Кроме того, есть сочинения по экономической истории Англии в эту эпоху, которые указываются в своем месте в следующем отделе настоящего тома (гл. XXII).

Французская революция, разрушавшая сословный строй общества и неограниченную королевскую власть в государстве, — эти две самые основные стороны «старого порядка», — в конце концов осуществляла или стремилась осуществить то, что в Англии давным-давно составляло главный закон социальной и политической жизни. Англия не знала в XVIII в. «старого порядка» в том смысле, в котором мы употребляем это слово по отношению к другим странам Западной Европы. В предыдущие периоды истории, начиная еще со Средних веков, Англия не выработала у себя такого сословного строя, какой существовал на материке, и гражданское равенство в тесном значении слова — равенство перед законом — установилось в Англии задолго до того времени, когда на материке к нему обнаружилось особенно сильное стремление. То бессословное гражданство, которое во Франции основано было революцией и отсюда, благодаря революционным войнам и владычеству Наполеона, стало распространяться и в других странах, в сущности, было не чем иным, как тем общественным строем, какой был выработан в Англии всей ее предыдущей историей. На материке Западной Европы в социальном смысле мы различаем при «старом порядке» привилегированное дворянство, сильное, кроме сословных прав, своей поземельной собственностью, средний класс общества (буржуазию), поставленный в менее благоприятное положение, и народную массу, находившуюся в прямой юридической зависимости от привилегированных, которые обладали феодальными правами и даже пользовались властью господ над крепостными, но для Англии пришлось бы установить несколько иную классификацию, так как дворянства в континентальном смысле в ней не существовало, буржуазия не была принижена перед обладателями крупной поземельной собственности, а сельская народная масса была юридически вполне свободна по отношению к крупным землевладельцам. Благодаря отсутствию сословных перегородок в общественном быту еще в исходе Средних веков, и благодаря тому, что пользование политическими правами в виде права избирать в парламент представителей основано было на имущественном цензе, здесь представители крупного землевладения, являвшиеся на материке обладателями главных социальных привилегий, и представители промышленности и торговли, на материке занимавшие подчиненное положение в обществе, сливались в один социальный класс, сильный экономически и политически господствующий, но в то же время юридически ничем не отличавшийся от остальной народной массы, поскольку именно английская история не выработала чисто сословного права, какое господствовало на материке. Если между двумя главными частями господствующего класса — землевладельцами и капиталистами — и существовало известное соперничество, то оно не было соперничеством людей, обладавших разными правами, соперничеством дворянина и плебея, а соперничеством людей с разными экономическими интересами, извлекавших доход из разных источников, вследствие чего эти интересы во многих случаях могли приходить в

столкновение между собой. Мало того, в Англии представители промышленности и торговли не только сравнивались с представителями землевладения, но даже получили над ними, до известной степени, преобладание, и английская буржуазия еще в XVIII в. уже занимала то положение, которого, например, французская буржуазия стала добиваться лишь во время революции. Итак, то, что в социальном отношении лишь революция начала производить на материке, в Англии уже было совершено предыдущим историческим развитием ее общественного строя, и с этой стороны принципам 1789 г. в Англии делать было совершенно нечего. Если тем не менее и здесь революция вызвала опасения, то, как мы это еще увидим, основания этих опасений были совсем иные, нежели те, которые заставляли привилегированных на материке относиться с ненавистью и страхом к французским событиям конца XVIII в.

И в политическом отношении Англия занимала особое положение среди других европейских наций. В этом государстве не только не выработалось сословного строя, ликвидация коего началась на материке в XVIII столетии, но и не мог установиться тот политический абсолютизм, который одержал победу в большей части континентальных стран и против которого вместе с сословными привилегиями, с ним сросшимися, направлено революционное движение эпохи. То, к чему Франция в политическом отношении стала стремиться перед революцией и что последняя должна была в ней осуществить, в Англии опять-таки было уже весьма прочным приобретением ее государственной жизни. Чтобы отстоять свою политическую свободу от покушений со стороны абсолютизма, в XVII в. торжествовавшего почти повсеместно на материке, английский народ должен был на расстоянии одного полувека (1640—1689) пережить две революции, хотя из борьбы, возникшей на этой почве, он и вышел победителем. В XVIII столетие Англия перешла, вполне обеспечив на будущее время свою политическую свободу, в то самое время, когда на материке царил абсолютизм, и в первой половине этого века еще более усовершенствовала свои политические учреждения. В эпоху полной дезорганизации на материке законодательной власти английский парламент как учреждение законодательное функционировал совершенно правильно, несмотря на многие свои недостатки, а благодаря возникновению парламентского министерства, и установились в Англии нормальные отношения между законодательной и исполнительной властями. Возведенная в степень закона ответственность министров обеспечивала нацию от возможности такого произвола, с каким правительства других стран пользовались своей властью в эпоху «старого порядка». Наконец, в то самое время, когда на материке были совершенно подавлены личная и общественная свобода, в Англии, благодаря господству права, сделавшемуся основным принципом ее государственной жизни, и отдельная личность, и все общество пользовались весьма широкой свободой. Известно, какое значение получила поэтому Англия для французов XVIII в., как страна индивидуальной и политической

свободы, и что многие начала «просвещения» XVIII в. были ими заимствованы прямо из английской литературы конца XVII и начала следующего столетий. Истинный родоначальник французского либерализма, Монтескьё, был поклонником английской конституции и сделался первым пропагандистом ее принципов в современном ему обществе. Среди деятелей революции было также немало сторонников английского государственного устройства: Мирабо, например, особенно ясно понимал хорошие стороны парламентарного министерства. Составители конституции 1791 г., не подражая слепо тому, что представлял из себя политический строй Англии, тем не менее хотели перенести во Францию многие начала, лежавшие в основе именно этого самого строя. Но особенно важное значение получила английская конституция в глазах либералов начала XIX в.: достаточно указать на то, что по ее образцу были составлены в 1814 и 1815 гг. три новые конституции для Франции¹, что вообще конституционные теории той эпохи основаны были почти исключительно на изучении действующего государственного права Англии, как это можно видеть из изложения политического учения Бенжамена Констана, и что, наконец, либеральные историки двадцатых годов с особенным усердием занимались исследованием происхождения и развития английских государственных учреждений. В конце концов, следовательно, Французская революция, — поскольку она стремилась заменить абсолютизм, царивший на континенте, конституционной монархией, которая в Англии давным-давно была уже общепризнанным фактом, — не должна была бы в Англии вызывать никакой тревоги, а между тем, повторяем, и здесь революция вызвала большие опасения, хотя, как увидим, именно и не с той точки зрения, которая господствовала в абсолютных монархиях материка.

Благодаря тому что в Англии XVIII в. мы не встречаем существенных и основных черт континентального «старого порядка» и что потому Французская революция не могла иметь для ее общественного и государственного строя такого же значения, какое она должна была получить по отношению к социальным и политическим порядкам материка, история Англии во всю эту эпоху и стоит совершенно особняком, тем более что островное положение королевства ограждало его от иноземного нашествия во время революционных и наполеоновских войн. Англия не знала просвещенного абсолютизма, характеризующего континентальную историю второй половины XVIII в., ибо тут он был невозможным, да и делать ему, пожалуй, было бы нечего. В Англии, далее, не произошло под влиянием Французской революции и никакого переворота, подобного тем, какие совершились в некоторых странах материка. Сюда не являлись также революционные армии или наполеоновские солдаты, чтобы низвергать старые учреждения и заменять их новыми, как это делалось во многих континентальных государствах. Война

¹ Сенаторский проект, хартия Людовика XVIII в. и дополнительный акт.

с Наполеоном не имела, наконец, для англичан ни той цели, ни того характера, которые она должна была получить у народов, попавших под французское иго на материке¹, и Англии не было поэтому что восстанавливать после того, как произошло падение империи, ибо уцелели в эту бурную революционную и военную эпоху и царствовавшая в стране династия, и существовавшие в стране учреждения, и отношения и, наконец, все принадлежавшие стране владения, — не то, что было вообще в остальной Западной Европе. Вот почему до сих пор, излагая историю внутренних — социальных и политических — перемен, совершавшихся на Западе в эпохи просвещенного абсолютизма, Французской революции и владычества Наполеона, мы совершенно могли обходить Англию молчанием. Это не значит, конечно, чтобы за все указанное время внутренний быт Англии не подвергался никаким переменам. Совсем нет: мы еще увидим, что и здесь совершились весьма важные общественные изменения, но это были изменения иной категории, нежели те, с какими мы доселе имели дело, излагая историю конца XVIII и начала XIX в., — именно изменения чисто экономические, отнюдь не зависевшие от новых политических и юридических идей, которые лежали в основе новых порядков «просвещенного абсолютизма», Французской революции и наполеоновской империи. Реакция во Франции, Германии, Италии, Испании, с историей коей мы имели дело до сих пор, была, как мы старались показать, реакцией именно против всего того, что пережито было этими самыми странами, но чего Англия-то как раз, наоборот, и не переживала. Казалось бы, что ввиду всего этого мы и не должны были бы встретиться с таким историческим фактом, как реакция в Англии, и тем не менее с фактом этим мы встречаемся. Дело в том, что во Французской революции, кроме только что указанных сторон, были и такие, которые тоже грозили установившемуся в Англии социально-политическому строю, и это, конечно, не могло не отразиться на отношении к революции общественных элементов, подвергавшихся какой бы то ни было опасности в случае победы новых идей, тем более что в стране и раньше существовало сильное консервативное течение, которое должно было только усилиться ввиду возможности каких-либо потрясений и переворотов под влиянием и по примеру Французской революции.

Революция 1789 г. началась во имя отвлеченных принципов естественно-го права и сразу приняла резко демократический характер. В этом отношении она напоминает нам некоторые явления первой английской революции, хотя, как известно, последняя начата была во имя исторических прав английского народа, нарушавшихся королевской властью, и притом начата была тогдашними правящими классами, которые, таким образом, лишь отстаивали уже ранее существовавшие права, подвергавшиеся опасности со стороны

¹ См. выше, гл. XI (первая половина).

абсолютизма, вовсе не думая о полной перестройке государственного быта на основании каких бы то ни было абстрактных теорий. Правда, во время первой английской революции произошло и чисто демократическое движение и заявлены были политические принципы, основывавшиеся на совершенно отвлеченных соображениях, но этому движению не удалось удержаться, новые же идеи или были осуществлены только вне Англии, в ее колониях, или получили лишь чисто теоретическое развитие (между прочим повлияв и на французскую политическую мысль XVIII в.). Реставрация 1660 г. восстановила в Англии ее прежние социально-политические отношения, далекие от какой бы то ни было демократии, а вторая революция, окончательно обеспечившая в Англии торжество политической свободы, была, в сущности, лишь переменной династии, сопровождавшейся, правда, созданием новых гарантий свободы, но без каких бы то ни было изменений в прежнем общественном и государственном строе. Из двух сил, боровшихся между собой в XVII в. за преобладание в политической жизни страны, теперь окончательный перевес получил парламент, а корона должна была поступиться многими своими прежними правами, но тот государственный строй, который утвердился в Англии XVIII в., был вообще более проникнут духом консервативной и, так сказать, аристократической революции 1688 г., чем духом первой революции с ее субверсивными и демократическими стремлениями. И в Англии после первой революции произошла реакция — реакция исторического права против всяких нововведений и реакция правящих классов против демократических принципов, и под ее влиянием вторая революция, отнюдь, поэтому не была в каком бы то ни было смысле возобновлением революционного движения середины XVII в. Правящие классы Англии в течение всего XVIII в. отличались большим консерватизмом, и вот уже с этой стороны Французская революция, объявлявшая войну всем историческим началам, не могла найти сочувствия в наиболее влиятельных слоях английского общества, как, с другой стороны, антирелигиозный характер Французской революции всего менее соответствовал духу английской нации, у которой наиболее радикальная революция совершалась под религиозным знаменем. Но особенно неприятно должен был действовать на правящие классы Англии демократический дух Французской революции. Несмотря на политическую свободу, какая здесь установилась, Англия XVIII в. была очень и очень далека от идеала равенства, провозглашенного философией XVIII в. и Французской революцией. Правда, в английском бессословном обществе не было привилегированного дворянства в континентальном смысле, но в государственной жизни страны на первом плане стоял правящий класс, бывший, в сущности, настоящей олигархией. В том великом целом, которое составляло из себя монархия, все было организовано к выгоде незначительного меньшинства на родонаселения. Англия, Шотландия и Голландия, вместе взятые, господствовали над колониями, и эгоистическая политика метрополии имела своим

результатом даже отпадение от Англии колоний в Северной Америке, основавших самостоятельную республику Соединенных Штатов как раз на демократических началах первой английской революции. Вдвоем Англия с Шотландией, слившейся с нею воедино в начале XVIII столетия, угнетали Ирландию, которая в конце этого века сделала было попытку восстания в союзе с революционной Францией, но была побеждена и лишилась своего парламента (1800), после чего ее представители — да и то из одних лишь протестантов — стали заседать в лондонском парламенте, продолжавшем по-прежнему угнетать ирландское католическое население. Наконец, внутри самой Англии господствовала настоящая олигархия.

Английский парламент не был ни сословным представительством в средневековом смысле, ни представительством национальным в том значении, в каком это слово было понято в эпоху Французской революции. Английский парламент сделался, благодаря составу обеих своих палат, представительством интересов известных классов общества с совершенным устранением из этого права остальной народной массы. Делился он, как известно, на две палаты, которые в течение всей английской истории в громадном большинстве случаев выступали совершенно солидарно: с одной стороны, это объясняет нам отчасти, почему в Англии не победил абсолютизм, повсюду извлекавший выгоду из сословной розни, а с другой — это само объясняется тем, что общественная жизнь Англии не выработала резких сословных рамок, а потому верхняя и нижняя палата вовсе не были отдельными представительствами каких-либо враждебных сословий. Палата лордов, наследственные члены которой могли пополняться новыми назначениями по воле короля, давно уже утратила характер учреждения, представлявшего собой одну землевладельческую аристократию, потомков феодальных баронов, ибо лордами часто делались вообще знаменитые люди, отличившиеся на войне и в дипломатии, в судебной деятельности или в нижней палате, в промышленности и торговле. Притом палата лордов никогда не представляла из себя учреждения замкнутого, никогда не стояла вне связи с тем, что находилось вне ее. Младшие сыновья и братья лордов, равно как их сестры, которые выходили замуж не за одних лордов, — были уже обыкновенными смертными, и благодаря тому палата лордов была тесно связана с благородной, но не титулованной джентри¹, с людьми разных выдающихся общественных положений, с богатыми капиталистами и т. п., не говоря уже о том, что лорды имели в обществе еще весьма значительную клиентелу² в виде юристов, медиков, зажиточных фермеров и т. п. Таким образом, верхняя палата была не только привилегированной корпорацией, с которой притом никак нельзя сравни-

¹ Джентри (*англ. gentry*) — мелкопоместное дворянство в Англии. — *Прим. ред.*

² Клиентела (*лат. clientele*) — совокупность клиентов какого-либо патрона; форма социальной зависимости, характерная для повседневных взаимоотношений в условиях рабовладельческого строя в Риме и полисах Римской империи в III—I вв. до н. э. и I—V вв. н. э. — *Прим. ред.*

вать привилегированные сословия материка, но играла еще роль большого представительного учреждения, настоящего воплощения аристократического влияния и аристократических интересов в стране. Нижняя палата наполнялась представительствами графств и городов. В графствах правом избрания пользовались фригольдеры¹, имевшие сорок шиллингов дохода, что создавало сравнительно с городами довольно большое число избирателей, находившихся, однако, очень часто в зависимости от лендлордов, а в городах, менее зависевших от лордов, зато число лиц, пользовавшихся правом представительства, было самое незначительное, да и не все города пользовались этим правом. Во-первых, избирательные порядки установились в Англии еще в Средние века, когда многих позднейших городов еще не было, тогда как другие, наоборот, после того пришли в упадок, и вот в то самое время, как первые не посылали представителей в парламент, вторые, напротив, продолжали пользоваться этим правом. Уже в середине XVII в. на это несоответствие было обращено внимание, и один из революционных парламентов произвел реформу, дав право представительства более значительным городам, его не имевшим, и лишил его все «гнилые местечки» (rotten borough), но Реставрация 1660 г. восстановила старые права. В «гнилых местечках» избирателей было очень мало, и, конечно, они вполне зависели от местного крупного землевладельца. С другой стороны, и в больших городах право голоса при выборах в члены парламента принадлежало очень незначительному числу жителей, хотя бы при этом существовало и великое разнообразие местных законов. Например, в Бекингеме и Бюдли этим правом пользовались балы² и 12 нотаблей, в Бате — мэр, 10 ольдерменов³ и 24 члена городского совета, в Сольбери — мэр и корпорация из 56 лиц. Если такое ограничение избирательного права не было установлено законом, то существовало фактически по той простой причине, что нередко в городе вообще было мало лиц, которые удовлетворяли бы условиям избирательного ценза. Например, в Гаттоне право это принадлежало всем фригольдерам и платящим налоги, но их было только семь человек, в Тэвстоне — всем фригольдерам, коих было, однако, только десять. Вот почему в 1793 г. в Англии и Уэльсе 70 членов парламента представляли 35 местностей, совсем почти не имевших избирателей, 90 членов — 46 местностей, в коих было менее 50 избирателей в каждой, 37 членов — от 19 местностей, где цифры избирателей не доходили до 100. В этом же самом году в нижней палате у герцога Норфолька было 11 зависевших от него членов, у лорда Лонсдэля — 9, у лорда Дерлингтона — 7, у герцога Ретленда, маркиза Бекин-

¹ Фригольдеры (англ. freeholder < free свободный + holder держатель) — пожизненные или наследственные держатели земли в феодальной Англии; фригольдерами могли быть феодалы, горожане, крестьяне. — *Прим. ред.*

² Ср. с французским словом bailli — королевский чиновник, осуществляющий административную и судебную власть в области, крупном городе. — *Прим. ред.*

³ Ол(ь)дермен (англ. olderman — старейшина) — в Англии член совета графства и городского совета. — *Прим. ред.*

гема и лорда Каррингтона — по 6. Где тот или другой местный землевладелец не мог оказать прямого давления на избирателей, там пускался в ход подкуп избирателей, и этим средством пользовались, чтобы попадать в нижнюю палату, преимущественно богатые коммерсанты, обогатившиеся колониальной торговлей (набобы), платя громадные деньги во время выборов и затем преследуя уже исключительно личные цели или служа своим классовым интересам. Как известно, депутаты, между прочим, сами торговали своими голосами, и у министров даже вошло в обычай составлять в свою пользу большинство посредством подкупов. Избрание в депутаты в графстве Йорк стоило 150 тыс. фунтов стерлингов, в Нортгэмптоне — 30 тыс., а корпорация Оксфорда продала однажды герцогу Мальборо и графу Абиндону представительство бурга Леджершоля за 9 тыс. Аналогичные порядки господствовали в Шотландии и Ирландии. Например, в шотландской столице Эдинбурге избирателей было только 33, а в ирландских городах Бельфасте, Карло, Вексфорде и Слиго — лишь по 12 нотаблей, пополнявших свои коллегии посредством кооптации. Весьма естественно, что при таких условиях палата общин представляла собой лишь самое незначительное меньшинство. В 1780 г. целая половина нижней палаты была послана в парламент менее чем шестью тысячами избирателей, а в 1793 г. 157 членов были безусловно назначены 84 лицами, а около 150 были выбраны благодаря покровительству 70 влиятельных лиц, так что более 300 членов были посланы в палату 154 патронами, в числе коих были сорок пэров. Или вот другие данные из начала XIX в.: в 1816 г. из 658 членов нижней палаты независимых было 171, а остальные 487 назначены были патронами; в 1821 г. 350 членов получили свои места в палате общин благодаря влиянию и деньгам 180 лиц. Дело дошло до того, что даже честным людям, стремившимся к парламентской деятельности, не оставалось иного средства, как покупать себе места в палате. Известный английский юрист и парламентский оратор, сэр Самюэль Ромильи, ездивший в 1789 г. в Париж и познакомившийся там с Мирабо, которому он объяснял английскую конституцию, однажды получил от принца Уэльского предложение парламентского места, но отклонил предложение, прямо объявив принцу, что покупает себе другое «из любви к собственной независимости и для общего блага». «Пока, — писал Ромильи в 1805 г., — будет только два класса представителей бургов, такие, которые покупают себе места, и такие, которые отправляют свою священную должность по чужой прихоти и чуть не как слуги других лиц, конечно, не может быть никакого сомнения, к какому классу следует принадлежать. Всякий, кто, считая себя способным оказывать услуги стране, в крайнем пуританизме предпочел бы остаться вдали от парламента, нежели вступить в него с таким нарушением конституционной теории, — был бы, так сказать, нравственно суеверным человеком и совершенно неспособным к каким бы то ни было общественным должностям». «Этот обычай покупать места, — писал он еще в 1807 г., — очень гнусен, и,

однако, это единственный путь для такого человека, как я, для того чтобы вступить в парламент, сохраняя свою независимость. Войти туда народным избранником нельзя при теперешнем состоянии представительства; войти при помощи какого-либо вельможи и вотировать по его приказанию — значит сделаться совсем зависимым человеком; остается, следовательно, только занять свое место, пожертвовав частью своего достоинства. Правда, — прибавляет он, — большинство покупающих места делают это как денежную спекуляцию: для них это — политическая торговля, ибо они покупают себе места и продают свои голоса».

Весьма естественно, что лучшие люди страны не могли не желать положить конец такому печальному состоянию общественной нравственности и такой дурной организации избирательного права. С 1770 г. в течение двадцати семи лет семь раз поднимается в парламенте вопрос об избирательной реформе, и каждый раз, конечно, проекты, предлагавшие реформу, терпят поражение со стороны членов парламента, для которых принять реформу значило бы наложить на самих себя руки. В 1770 г. предложение реформы сделано было лордом Чатамом, в 1776 г. — Вилькзом, в 1780 г. — герцогом Ричмондом, который требовал ежегодных выборов, всеобщей подачи голосов и введения избирательных округов одинаковой величины; затем в 1785 г. вопрос был поднят опять Питтом, в 1790 г. — Флудом (Flood) и, наконец, в 1793 и 1797 гг. — Греем. Но последние три предложения реформы принадлежали уже тому времени, когда демократическая революция во Франции настраивала английские правящие классы крайне реакционно, и лишь через двенадцать лет, в 1809 г., Бердетом было опять возобновлено предложение парламентской реформы. Известно, однако, что и после этого Англии пришлось ждать почти целую четверть века до осуществления этих требований, ибо лишь в 1832 г., да и то под влиянием июльской революции, была произведена первая парламентская реформа. Весьма естественно, что английская олигархия, господствовавшая в парламенте и противившаяся каким бы то ни было изменениям в выгодной для нее системе, должна была отнестись с крайней враждой к демократизму Французской революции, особенно после того, как парижские демагоги задумали господство столичной черни. Не забудем еще, что и в местном самоуправлении, получившем в Англии такое широкое развитие, господствовали опять-таки эти же олигархические элементы общества. Чтобы иметь право быть выбранным в мировые судьи (*justice of the peace*), нужно было удовлетворять условию весьма высокого ценза, а должность эта давала всякому в нее избранному большие права не только судебного, но и полицейско-административного характера. Наконец, мы еще увидим, какой важный переворот совершался в эту эпоху в экономической жизни Англии. Правящие классы не могли и здесь не обращать внимания на признаки недовольства народных масс и не бояться, как бы идеи демократической революции в соседнем государстве не проникли в

низшие классы английского народа и не произвели среди народных масс того же действия, как и во Франции.

Уже в этом одном заключалась возможность реакционного отношения английского общества к Французской революции. Еще более сделается нам понятно это отношение, когда мы обратим внимание на характер той партии, которая была в данную эпоху у власти, и познакомимся со стремлениями королей, царствовавших в Англии в рассматриваемое время.

Начало двух великих партий, попеременно господствовавших в английском парламенте и через конституционное министерство направлявших внутреннюю и внешнюю политику страны, относится еще к очень давним временам. В разные эпохи они являются перед нами с разными наименованиями и с не вполне сходными из одной эпохи в другую стремлениями, но то, что их разделяло, долгое время было, в сущности, одно и то же — различное понимание королевской прерогативы и привилегии парламента. В середине XVII столетия в парламенте произошло разделение между кавалерами и круглоголовыми. Хотя обе партии были на самом деле одинаково конституционно-монархическими и различались между собой главным образом неодинаковым пониманием взаимных отношений между королевской властью и народным представительством, тем не менее кавалеры могли незаметно переходить в абсолютистов, отрицавших за парламентом какие бы то ни было права, как, с другой стороны, «круглоголовые» довольно близко примыкали к республиканцам, совершенно отрицавшим королевскую власть. Это разделение, лишь наиболее резкие формы коего мы видим в абсолютистических стремлениях Стюартов и республиканизме индипендентов, это разделение между защитниками королевской прерогативы и привилегии парламента возродилось в эпоху Реставрации Стюартов в новой форме, когда образовались партии тори¹ и вигов². Известно, что первая из этих партий стояла на точке зрения божественного происхождения королевской власти, супрематии короны и пассивного повиновения, тогда как другая признавала происхождение королевской власти из народной воли, отстаивала права парламента и допускала активное сопротивление в случае нарушения правительством законов страны. Ни тори не были абсолютистами, ни виги не были республиканцами, т. е. обе эти партии были опять-таки партиями монархическими, но несомненно то, что на общей почве конституционной монархии одни являлись консерваторами, другие, наоборот, представляли собою начала либеральные. переворот 1688 г., совершившийся в духе принципов, вы-

¹ Тории, или тори (*от англ. tory*) — политическая партия в Англии (XVII—XIX вв.), представлявшая интересы крупных землевладельцев-дворян; предшественница современной партии консерваторов. — *Прим. ред.*

² Виги (*англ. whig*, ед. ч.) — политическая партия в Англии (XVII—XVIII вв.), выражавшая интересы торговой и финансовой буржуазии, предшественница либеральной партии XIX—XX вв. — *Прим. ред.*

ставленных вигами, конечно, должен был дать перевес этой партии, которой и принадлежало господство в английской политической жизни в первой половине XVIII в. В это время виги установили и ввели в жизнь принцип парламентарного министерства, в силу которого кабинет начал представлять собой взгляды не короны, а большинства палаты общин, хотя бы часто и поддерживавшегося искусственным образом. Во время господства вигов тории находились в оппозиции, но, ведя борьбу с господствующей партией, эта оппозиция нередко сама пользовалась аргументами, заимствованными из идейного арсенала противников, и мало-помалу, таким образом, усваивала некоторые принципы противоположного лагеря.

Преобладанию парламента в первой половине XVIII в. много способствовало то обстоятельство, что оба первые Георга не обнаруживали ни способности, ни склонности к самостоятельному вмешательству в государственные дела. В 1760 г. на английский престол вступил Георг III, совсем еще молодой человек, воспитанный в принципах строгого торизма, малообразованный, разыгрывавший роль короля добрых патриархальных времен, и вот с самого же начала своего царствования он поставил себе задачу сломить вигское правление, дабы самому иметь более решающее значение в делах внутренней и внешней политики. Достигнуть этого ему удалось лишь в 1770 г., когда Георг III назначил на пост первого министра лорда Норта, разделявшего воззрения торийского меньшинства палаты и сделавшегося послушным орудием в руках короля. Это министерство, пускавшее в ход чрезвычайные меры и запугивавшее оппозицию, привело Англию к потере американских колоний. Когда в 1782 г. оно пало, король должен был снова править с ненавистными ему вигами, пока новые выборы 1784 г. не доставили короне полной победы над вигистской олигархией и во главе министерства не стал Питт Младший, чем открывается эпоха почти непрерывного господства ториев вплоть до самого 1830 г. Новая господствующая партия, однако, не отказалась от кабинетного правления, введенного вигами. Падение вигов объясняется, между прочим, той непопулярностью, которую они стяжали, благодаря деморализации, внесенной ими в общественную жизнь развитой системой подкупов. Потеря нравственного авторитета и политическое крушение вигов повели к внутреннему разложению партии, а тут еще вскоре случились два события, оказавшиеся тоже крайне неблагоприятными для вигов. В 1788 г. Георг III заболел весьма серьезной душевной болезнью, и хотя скоро выздоровел, но болезнь стала к нему возвращаться, пока он не впал (в 1811 г.) уже в безнадежное помешательство, заставившее учредить регентство. Больной король был более не страшен со своим стремлением к усилению влияния короны: торийские министры могли теперь с большей самостоятельностью вести свои дела, а принц-регент, впоследствии (с 1820 г.) король Георг IV, своим скандальным поведением никоим образом уже не мог, конечно, поднять королевский авторитет в глазах подданных.

Для вигов было важно, что и Георг IV держался торийской политики. Другим событием, еще более неблагоприятным для вигов, была Французская революция, заставившая массу английского общества встать под охранительную власть торизма. Сам Питт¹, который до Французской революции думал об управлении страной в духе внутренней свободы и даже предложил парламентскую реформу, чтобы сломить вигистскую олигархию, — увлекся теперь идеей борьбы с Французской революцией и не только счел нужным ввести систему репрессивных мер внутри страны, но даже сделался врагом парламентской реформы, которая им же была предложена. Вместе с тем среди самих вигов произошел раскол: в то время как одни из них, имея во главе Фокса, относились к революции сочувственно, отождествляя ее дело с делом свободы и просвещения в самой Англии, другие (и их было большинство) перешли на сторону Питта и поддерживали его в войне с революцией и в его внутренней политике, принявшей прямо реакционный характер. Благодаря этому изменился и самый характер обеих великих партий: если до начала Французской революции тори были защитниками прерогативы короны, а виги поддерживали принципиально права парламента, фактически же правящую олигархию, то с Французской революции значительно обессиленные виги сделались преимущественно партией реформ, тогда как тори превратились в ярых и непримиримых защитников существующего порядка вещей. Страх пред революцией сблизил скоро с ториями громадное большинство правящих классов, и все это придало внутренней политике Англии на долгое время характер реакционный.

Лишь весьма незначительное меньшинство образованных людей отнеслось в Англии сочувственно к Французской революции. В той ненависти к ней, которую проявило английское общество, действовало и национальное соперничество, и стремление французов вмешаться во внутренние дела Англии, и антирелигиозный характер, какой приняла революция, и те жестокости, которыми она сопровождалась, а когда между Англией и республикой началась война, то парижские революционеры сделались предметом ненависти и в качестве опасного внешнего врага. Это смешанное чувство на первых же порах нашло свое выражение в знаменитом памфлете Берка (Burke) «Размышления о революции во Франции» (*Reflexions on the revolution in France*), вышедшем в свет в 1790 г. и сразу сделавшемся необычайно популярным в английском обществе. Автор этой книги², человек, обладавший недюжинными знаниями, большим литературным талантом и необыкновенным красноречием, в 1765 г. сделался членом парламента, где явился защитником американских колонистов от произвольной власти английского парламента, доказывал необходимость полной свободы парламента от закулисных влияний, отстаивал свободу печати, суд присяжных,

¹ Macauley. Life of Pitt и др.

² Macknight. Life and times of Burke, 1861; Morley. Edmund Burke, 1867 и др.

веротерпимость, ратовал в пользу уничтожения тех торговых стеснений, коим подвергалась Ирландия, и т. п. Тем удивительнее должно было бы показаться то ожесточение, с каким Берк напал на революцию, если бы мы не знали, во-первых, что он всегда ненавидел Францию и что, во-вторых, он был либералом лишь в английском консервативно-аристократическом смысле. Подобно Штейну¹ он явился защитником исторической традиции и прав прошлого против чисто отвлеченного характера принципов 1789 г., и потому в его критике Французской революции мы находим, с одной стороны, много верного, с другой, наоборот, массу взглядов, подсказанных враждой и предрассудками. Своей целью он поставил доказать своим соотечественникам, что те из них, которые более или менее сочувствовали Французской революции, в сущности, относились с одобрением к идеям и поступкам, находившимся в совершеннейшем противоречии с принципами «славной» революции 1688 г.: этим способом он хотел восстановить англичан против увлечения новизной. Берк достиг своей цели. Хотя против его книги было написано несколько возражений, из коих некоторые отличались значительной силой, тем не менее его «Размышления» сделались руководящей книгой не только для ториев, но и для многих вигов: последние начали под ее влиянием переходить на сторону торийской реакции. В конце концов, почти все английское общество стало смотреть на Французскую революцию глазами Берка, так что его взгляд надолго утвердился в английских правящих классах. С этой точки зрения его «Размышления» заслуживают большого внимания при выяснении происхождения английской реакции конца XVIII и начала XIX в.

В Англии в 1789 г. не было недостатка в либералах, указывавших на то, что и английская конституция основывается на принципе народовластия, который тогда прилагался к возрождению Франции: Берк с особенной силой и вооружился против такого мнения. Самым соблазнительным аргументом защитников Французской революции была, далее, ссылка на вторую английскую революцию, но Берк старался отстранить эту ссылку, сам, однако, отнюдь не опираясь на старо-торийский принцип божественного права королей и парсивного повиновения. Пусть в 1689 г. возведение на престол Вильгельма III было нарушением правильного порядка престолонаследия, но это случайное отклонение (*occasional deviation*) не должно быть возводимо в принцип. Притом, в данном случае, изменение правильного порядка было применено лишь к виновной стороне (*the peccant part*) без какого бы то ни было переворота в целом политического бытия Англии — под предлогом создания совершенно нового порядка вещей из первичных элементов общества. Признавая в обществе действие закона сохранения (*principle of conservation*), Берк допускал в нем существование и начала исправления (*correction*), но

¹ См. выше, где мы уже сравнивали Штейна с Берком.

лишь под условием крайней необходимости и по возможности с наименьшим отклонением от установленного порядка: ведь в 1688 г. в Англии на дело взглянули так, как будто за предполагаемым отречением Иакова II трон сделался вакантным и потому доступным ближайшему наследнику, сам же этот частный случай не был возведен в общее правило. Самая мысль о создании (*fabrication*) нового правительства наполняла Берка «отвращением и ужасом», ибо все, чем народ владеет, есть достояние его предков: ведь и основным принципом английской конституции всегда было поддерживать свободу, завещанную предками, дабы передавать ее потомству вместе с жизнью и собственностью. Лишь уважение к предкам умеряет пользование свободой, которая сама по себе всегда стремится выйти из законных границ своих, — и охраняет пользующихся ею от наглости выскочек, сделавшихся свободными лишь со вчерашнего дня, таким образом, прибавляет Берк, английская свобода становится настоящим благородством (*a noble freedom*). Французы тем и виноваты, что отказались от благородного наследия предков. Берк, впрочем, сознается, что государственное устройство (*constitution*) Франции находилось в упадке, но не разрушать его было нужно, а лишь произвести починку этого старинного и почтенного здания, тогда как вместо этого французы стали строить здание совершенно новое — на началах метафизической и отвлеченной свободы, делающей невозможным какое бы то ни было общество. «Мы, — говорит Берк, — требуем своих вольностей не как прав людей вообще, а как прав людей Англии... Мы, — замечает он еще, — решились беречь установленную церковь, установленную монархию, установленную аристократию, установленную демократию, каждую в той степени, в какой она существует, но отнюдь не в большей». Франция вступила на совершенно иную дорогу, и вот, лицемерно оплакивая могущество старой монархии, которую он, в сущности, ненавидел, Берк пророчит Франции печальное будущее. «Я, — восклицает он, — мысленно пробегаю карту Европы и нахожу на ней большое пространство, ничем не занятое, — это как раз то место, где когда-то была Франция!» Но Французская революция казалась Берку опасной не для одной только своей родины: она, говорит он, подводит мину под все правительства, чтобы и их взорвать, а мина эта называется «правами человека». Нападая на это построение «профессоров метафизики», быть может, «метафизически и верное, но ложное морально и политически», критик Французской революции дает, однако, и сам перечисление прав, принадлежащих, по его мнению, всем людям, и по существу дела вся его формулировка отличается от знаменитой «декларации» лишь тем, что он не признает верховенства нации. В своем памфлете Берк является, наконец, не только сторонником политической реакции против Французской революции, но и выразителем мнений реакционного характера и в культурном отношении, так как он ополчился еще против веры XVIII в. в силы индивидуального разума. «Доля разума, — говорит он, — отпущенная на каждого отдельного человека, весьма ничтожна, и каждый сделал

бы лучше, если бы стал черпать из общей сокровищницы, из достояния, накопившегося веками. Многие из наших философов, вместо того чтобы разрушить предрассудки толпы, стараются постигнуть мудрость предрассудков, в них заключающуюся. Раз они ее открывают, они считают более благоразумным сохранить предрассудок вместе с истиной, в нем скрытой, нежели отбросить в сторону скорлупу предрассудка для того, чтобы оставить при себе только чистую истину». По мнению Берка, предрассудок может действовать на волю, тогда как абстрактная идея будто бы бессильна по отношению к воле.

Книга Берка, как говорили сами французы, наделала им много вреда в общественном мнении Англии. В ней действительно отразились все национальные предрассудки англичан, так как для многих из них почти не было никакого различия между французами, папистами, иезуитами и якобинцами: все это были только природные враги Англии. Но более всего правительство и правящие классы были враждебно настроены против революции, конечно, вследствие ее демократического характера. Результатом такого настроения было то, что на очень долгое время в Англии сделалось невозможным какое бы то ни было движение вперед в области политики. Через двадцать почти лет после начала революции Ромильи, на которого нам уже приходилось ссылаться, писал, например, следующее в своем дневнике (1808): «Если кто-либо желает составить себе настоящее понятие о несчастных последствиях, которые имела для нашей страны Французская революция и последовавшие за ней ужасы, то пусть попытается провести какую-нибудь законодательную реформу на либеральных и гуманных началах. Он увидит именно, не только какая бессмысленная боязнь перед переменами овладела громадным большинством его соотечественников, но и какой жестокий дух в них господствует». Любопытна также характеристика английского общества в начале XIX в., сделанная впоследствии (1839) Сиднеем Смитом, занимавшим высокие должности в англиканской церкви. «Это время, — вспоминает он, — было ужасно для всех, которые, имея несчастье разделять либеральные идеи, были достаточно честны, чтобы не изменять им ради высоких судейских или духовных должностей. Карьера без выхода; каноники, деканы, епископы, все эти distinguished ренегаты, перешагнувшие через вас, чтобы занять наиболее видные церковные места и помогать ковать оковы для католиков и диссидентов, и такая же надежда на вигистское правительство, какая может быть относительно оттепели на Новой Земле, — вот какие наказания есть для либеральных мнений... В Англии всегда называли наглецом человека, который, не имея пятидесяти или шестидесяти фунтов дохода, смеет иметь собственное суждение о важных предметах. В это время на его голову сыпались все клички, которые были придуманы по поводу французской революции: якобинец, левеллер¹, атеист, социинанин, поджигатель, цареубийца, это были еще из наиболее лю-

¹ От *англ.* *levelers* (букв.: уравниатели) — радикально-демократическая мелкобуржуазная группировка в период буржуазных революций XVII в. — *Прим. ред.*

безных. Сказать что-либо о ханжестве обоих Георгов (III и IV) или об ужасной тирании, под игом которой стонала католическая Ирландия, значило прямо сделаться парией, подвергнуться общественной опале, Говорить против скандальной медленности судопроизводства, против жестокости законов об охоте, против деспотизма богатей и страданий бедных, это было изменой против плутократии, а за это жестоко можно было поплатиться». Понятно, что при таком общественном настроении главный политический вопрос, выдвинутый предыдущей эпохой, вопрос о парламентской реформе не мог двигаться вперед, и кличка «якобинец» очень легко применялась и к тому, кто осмеливался заявлять о негодности существовавшей тогда избирательной системы.

Рассматривая внутреннюю историю Англии в эпоху Французской революции и наполеоновского владычества, нельзя, далее, упускать из виду, что за все это время Англия находилась в войне с Францией. Это обстоятельство имело весьма важное значение, и, в общем, последствия войны были крайне неблагоприятны для внутреннего развития страны. Борьба с внешним врагом, во-первых, отвлекала общественное внимание от внутренних дел и выдвигала на первый план людей прежде всего стремившихся оградить национальные интересы Англии, которые во внутренних делах страны совпадали с интересами правящих классов: несомненно, война точно так же, как и страх перед революцией, задерживала поэтому общественное развитие и консолидировала господство правящих классов, стоявших во главе этой борьбы за национальное существование. Во-вторых, война вела к повышению налогов увеличению государственного долга Англии, к вздорожанию жизненных припасов и т. д., что очень печально отзывалось на положении низших классов общества, вообще в то время переживавших тяжелый экономический кризис¹, а народные волнения, бывшие необходимым результатом экономических невзгод, в свою очередь, лишь вызывали со стороны правительства репрессию, которая, разумеется, задерживала развитие в стране свободы и благосостояния. Конечно, война доставила стране и большие выгоды, так как в конце концов Англия из этой войны вышла победительницей, но это не были выгоды в смысле культурного и социального прогресса: утверждение господства Англии на морях, территориальные приобретения, ею сделанные, и т. п. не только не мешали внутренней реакции, но даже скорее ее поддерживали, ибо льстили национальной гордости англичан и усиливали значение правительства и господствующих классов не только ввиду достигнутых ими успехов, но и благодаря тому, что увеличивали их материальное могущество.

Отделив изложение внутренней истории Англии от изложения истории континентальных стран, мы сделаем теперь то же самое и по отношению к внешней политике Англии в эпоху революционных и наполеоновских войн и окончим эту главу о происхождении английской

¹ Об этом подробнее будет сказано ниже (см. гл. XXV).

реакции общим очерком внешней политики Англии в конце XVIII и начале XIX в.

Почти с начала революционных войн до самого конца войн империи Англия находилась в борьбе с Францией, что составляет двадцать два года войны, если не считать кратковременного замирения в 1802—1803 гг. после Амьенского договора. Кроме того страха, который английскому правительству и господствующему классу внушала революция, в этой борьбе со стороны Англии играло большую роль опасение за те интересы, коим могла вредить завоевательная политика Франции. Питт, собственно говоря, с большой неохотой смотрел сначала на возможность войны с Францией, но потом был увлечен общей паникой и даже видел в войне лучшее средство остановить в самой Англии распространение французских принципов. Между прочим, для Англии было крайне невыгодно завоевание французами Голландии, о нейтралитете которой Питт особенно настойчиво хлопотал до начала войны. Раз, однако, война возгорелась, конец ее предвидеть было довольно трудно, тем более что в отношении между обеими враждующими сторонами впутаны были первостепенные колониальные и торговые интересы. Мало-помалу в войне между Англией и Францией эти интересы выступили даже на первый план. Благодаря превращению Голландии в Батавскую республику, которая вступила в тесный союз с Францией, Англия имела возможность напасть на богатые голландские колонии и захватить их в свои руки (мыс Доброй Надежды, остров Цейлон, Ява, некоторые Молуккские острова), но в то же время Англия должна была поддерживать своими субсидиями континентальные европейские государства, находившиеся в борьбе с Францией, а это обходилось Англии очень дорого: налоги в ней страшно увеличились, государственный долг сильно возрос, и вместе с этим приняла угрожающие размеры народная нищета от дороговизны хлеба, ввозившегося в Англию извне в большом количестве, хотя, конечно, нельзя признать верным мнения, будто на эту войну нужно возложить ответственность за фатальную борьбу классов, составляющую одно из наиболее важных затруднений теперешней английской внутренней политики, т. е. за антагонизм между рабочими и предпринимателями¹. Англии приходилось не только противодействовать революции, но и спасать саму себя. Попытка французов возмутить Ирландию против Англии представляла для последней весьма значительную опасность, тем более что Кампо-Формийский мир совершенно изолировал Англию, лишив ее последнего союзника на материке, Австрии, ведшей войну на английские деньги. Имея свой собственный флот и распоряжаясь флотами Батавской республики и Испании, Франция при поддержке со стороны ирландского восстания, действительно, была для Англии весьма страшна, и англичанам нужно было напрячь все

¹ Мнение, между прочим, Green'a. Hist. of the english people, IV, 377 (изд. 1880).

силы, чтобы предотвратить опасность. Когда ирландское восстание было подавлено, Франция задумала вредить Англии в Индии, с каковой целью и была снаряжена египетская экспедиция Наполеона. Из всех этих затруднений Англия выходила с большим успехом: она в это время сокрушила батавский флот, долженствовавший помогать ирландскому восстанию, что упрочило ее господство над голландскими колониями, попытка же Наполеона создать Англии затруднение в самой Индии, где против английского владычества восстала мусульманская Мисорская держава, точно так же не удалась, дав лишь Англии подходящий повод сокрушить и эту враждебную ей силу. Таким образом, англо-французская война захватила и самые отдаленные страны — европейские колонии в Африке и на островах Тихого океана, Индостан, а потом, как мы еще увидим, и Америку¹. Морское и колониальное могущество Англии к концу XVIII в. только возросло; английская мировая торговля от этого необычайно выиграла, что, в свою очередь, давало британскому правительству возможность поддерживать денежными средствами врагов Франции на материке Европы. Уже в самом начале консульства Наполеон думал о том, чтобы сокрушить Англию, нанося удары ее торговле: в эпоху Люневильского договора торговля с Англией была уже воспрещена, кроме самой Франции, в Голландии, в Италии, в Испании, а эта последняя принудила и Португалию прервать торговые сношения с Англией, т. е. уже около 1801 г. намечалась будущая континентальная система. Когда Англия овладела островом Мальтой, захваченным было французами, и сделалась властительницей Средиземного моря, Наполеон, желая выиграть время и приготовиться к новой войне с ней, предложил ей мир, и она охотно приняла это предложение², дабы спокойно выждать более благоприятной международной комбинации на материке и снова начать борьбу, как только можно будет найти надежных союзников. Обе стороны сделали уступки, причем Англия возвратила Франции и ее союзникам большую часть захваченных колоний. Но этот мир был непродолжителен: через год война возобновилась, чтобы не прекращаться уже до падения империи. Перед Англией опять возникала опасность французского вторжения, когда Наполеон устроил в Булони лагерь на стотысячную армию и стал готовиться к высадке в Англии. Британское правительство с Питтом во главе сделало новую попытку занять Наполеона войной на континенте, и эта попытка удалась: благодаря новым английским субсидиям образовался австро-русский союз против Наполеона, и почти в одно и то же время, как Наполеон побил Австрию и Россию при Аустерлице, Англия при Трафальгаре уничтожила весь французский флот, после чего могла уже беспорно владычествовать на море.

Мы видели раньше, как возникла континентальная система, посредством коей Наполеон думал сокрушить торговую силу Англии. Собственно

¹ Подобное явление характеризует и англо-французские столкновения в середине XVIII в.

² Амьенский мир 1802 г.

говоря, берлинскому ноябрьскому декрету 1806 г. предшествовало со стороны самой Англии объявление всех берегов, принадлежавших Франции и ее союзникам, в состоянии блокады. Нам уже известно также, как печально отразилась континентальная система на малых нейтральных государствах; между прочим, Англия потребовала у Дании передачи ей на время войны всего флота, и когда Дания отказала, англичане бомбардировали Копенгаген и захватили все датские корабли со всеми его запасами. Английская торговля от континентальной системы, конечно, весьма страдала; вся выгода стала переходить на сторону Америки как нейтрального государства, что было крайне неприятно влиятельному торговому классу Англии. Не желая допустить, чтобы Америка вытеснила английскую торговлю, британское правительство объявило, что будет захватывать все корабли, идущие в порты континентальных государств, раз они не будут заходить в английские порты, на что Наполеон ответил аналогичным же декретом по отношению ко всем кораблям, шедшим из Англии или в Англию и ее колонии (1807). Хотя Северо-Американские Штаты, получавшие из Англии массу товаров, тоже запретили всякую торговлю с Европой в своих портах, но скоро (1809) должны были ограничить это запрещение лишь Англией и Францией, а потом через год объявить, что если одна из этих двух держав отменит свое запрещение, то американское правительство воспретит торговлю только с другой стороной. Первым воспользовался этим предложением Наполеон, чтобы привлечь и Соединенные Штаты на свою сторону (1811), и в этом отношении имел успех, ибо американское правительство весной 1812 г. захватило все английские корабли, находившиеся в американских гаванях, а летом того же года даже объявило Англии войну, которая окончилась лишь с прекращением вообще «великой войны» (the great war), как названа была в Англии эта действительно гигантская борьба ее против Франции и ее союзников.

Наполеон решил завладеть Испанией и Португалией, между прочим, имея в виду захватить их обширные колониальные владения, опираясь на которые легче было побивать Англию и на море. Английское правительство решилось тогда действовать против Наполеона на самом материке, послав на помощь испанским инсургентам военные отряды, один из коих был под начальством Веллеслея (позднее герцог Веллингтон). На Пиренейском полуострове в 1808-м и следующих годах англичане наносили французской армии немало поражений, пока, наконец, не очистили от французов сперва Португалию, потом Испанию. В 1814 г. Веллингтон переходил даже через Пиренеи и доходил до самой Тулузы, когда за отречением Наполеона война пришла к концу. Когда в 1815 г. Наполеон бежал с острова Эльбы, опять-таки Англия помогла большой суммой денег новой коалиции против воцарившегося вновь Бонапарта, и при Ватерлоо окончательно победили Наполеона союзные англо-прусские войска под начальством Веллингтона и Блюхера.

Из этой борьбы с Наполеоном Англия вышла со страшно возросшим государственным долгом, но и с весьма большими приобретениями. Давно уже владея Гибралтаром, а на Венском конгрессе получив Мальту и протекторат над Ионическими островами, — коим дана была весьма либеральная конституция, — Англия упрочила свое положение на Средиземном море. С другой стороны, упрочено было ее влияние и на Немецком море¹ благодаря приобретению Гельгоlanda и потере Пруссией своих владений на берегах этого моря, а также и вследствие того обстоятельства, что Ганновер соединился снова с Англией под одним и тем же скипетром. Наконец, Англия удержала в своих руках многие французские и голландские колонии, коими она завладела во время войны с Наполеоном. Все это только увеличивало морское, колониальное и торговое значение Англии, что не могло, конечно, не отразиться и на ее внутреннем быте.

Отношения войны и мира отражались и на положении политических партий в самой Англии. С самого начала борьбы старой Европы с Французской революцией главными сторонниками войны были тори и те из вигов, которые с Берком во главе примкнули к этой партии. Берк еще раньше вошел в сношения с французскими эмигрантами в Кобленце, подбивал их поскорее начать войну и даже отправил к ним собственного сына, да и впоследствии он постоянно поддерживал партию войны, увлекая за собой общественное мнение. Когда, например, Питт в эпоху Директории стал склоняться к миру, Берк выступил против намерения министерства прекратить борьбу с революцией в страстном памфлете, который он издал под заглавием «Письма о мире с царевубийцами» и который имел весьма значительный успех в английском обществе второй половины 1790-х гг. Сам Питт, однако, должен был отказаться от миролюбивых планов, когда французы задумали возмутить против Англии Ирландию и Индию, и так как после этого он обнаружил величайшую энергию в борьбе с Францией, то английская нация без различия партий поддерживала потом своего знаменитого министра. Один из вопросов внутренней политики, как мы еще увидим, заставил Питта выйти в отставку в 1801 г., что повлекло за собой переход более консервативных вигов на сторону вигов либеральных и, таким образом, содействовало восстановлению партии в ее прежнем составе. Между тем новое министерство (Аддингтона) заключило с Наполеоном мир в Амьене, но едва только война опять возгорелась, как Питт снова стал во главе правления, причем нашел теперь поддержку и в лице либеральных вигов с Фоксом во главе². Пока существовала опасность вторжения французов, обе партии действовали совершенно солидарно, но после уничтожения булонского лагеря и поражения французского флота при Трафальгаре опасности этой уже не существовало, и тогда снова в Англии обнаружилось раздвоение между партиями, из коих одна настаивала на необходимо-

¹ Ныне Северное море. — *Прим. ред.*

² Вскоре после этого (1806) Питт умер.

сти прогрессивных мер, а другая всячески им противилась, имея по-прежнему за себя громадное большинство правящих классов Англии. До самого окончания войны затем власть находилась в руках тори, делавших все усилия, чтобы тормозить всякое общественное движение, происходившее в стране: только в своем противодействии Наполеону тори и виги сходились на одной почве. С окончанием внешней войны и внутренняя история Англии должна была вступить в новый период, но реакция, которая, как мы видели, имела столь глубокие корни в английском социальном и политическом быту, с окончанием войны тем не менее не прекратилась, да и общий дух политики Священного союза тоже не мог не отразиться и на реакционных элементах английского правительства и общества.

XXI. Реакция и борьба за свободу в Англии до 1830 г.

Английское правительство в эпоху Реставрации. — Его отношение к Священному союзу и к вопросам внешней политики. — Общее значение министерства Каннинга. — Ослабление торийской партии. — Внутренняя политика 1815—1830 гг. и ее связь с предыдущей эпохой. — На чем покоится английская свобода? — Вопрос о парламентской реформе и демократическая партия. — Борьба за свободу печати и за свободу митингов с конца XVIII в. — Коббет и Бентам. — Эмансипация католиков. — Вопрос о других диссидентах. — Оппозиционный характер поэзии Байрона

В истории Англии эпоха между 1815 и 1830 г. характеризуется продолжением, с одной стороны, реакции, вызванной и в этой стране главным образом Французской революцией, с другой — борьбой за свободу, возникшей под влиянием этой самой реакции. В последние годы (с 1811 г.) своей жизни Георг III находился в состоянии самого безнадежного помешательства, и представителем королевской власти до самой смерти этого государя, последовавшей в 1820 г., был в качестве регента его сын, который царствовал затем до 1830 г. под именем Георга IV. Это был человек необузданный и совершенно распутный, вследствие чего пользовался самой дурной репутацией. В последние годы XVIII в. он старался сблизиться с вигами, рассчитывая на то, что они помогут ему выпутаться из затруднительного положения — массы долгов, сделанных им на кутежи, да и затем он постоянно держался, по-видимому, союза с ними, но в 1811 г., сделавшись регентом, он изменил вигам и начал покровительствовать ториям, которые оставались у власти и после его провозглашения регентом. Еще в 1795 г. будущий Георг IV женился на принцессе Брауншвейгской Каролине, выбранной ему в невесты отцом, причем парламент, желавший этого брака, заплатил громадные долги жениха, но принц через несколько месяцев после свадьбы разошелся с женой, которая потом уехала на материк, и предался своему прежнему образу жизни кутилы самого последнего разряда. Такое прошлое сделало принца-регента весьма непопулярным, и народная ненависть проявлялась к нему иногда самым резким образом. Например, однажды (дело было в 1817 г.) против него была сделана народом на улицах Лондона враждебная демонстрация, вызвавшая потом репрессивные меры со стороны парламента¹, что только увеличило общую ненависть к принцу-регенту. Вступив на престол, Георг IV начал скандальный процесс о разводе с женой, которую он обвинял в нарушении супружеской верности, прибегнув при этом к самым недос-

¹ Об этом см. ниже.

тойным способам доказательства ее вины. Каролина с 1814 г. жила постоянно на материке, но в 1820 г. она вернулась в Англию, где народ устраивал ей повсеместно торжественную встречу. Во время процесса по обвинению, возбужденному против нее королем, адвокат королевы Брум (впоследствии лорд) еще более расположил в ее пользу общественное мнение, доказав, что истец пользовался подкупными свидетелями, и это произвело такое сильное впечатление на народ, что Георг IV вынужден был просто-напросто взять свое обвинение назад из опасения народных волнений. Тем не менее когда королева пожелала участвовать в коронации своего мужа, Георг IV, не хотевший и слышать об этом, велел силой удалить ее из Вестминстерского аббатства. Когда вскоре после того (1821) Каролина умерла, король принял все меры, чтобы предупредить враждебную ему демонстрацию на похоронах, но это не помешало погребению королевы сделаться поводом нового народного волнения, которое не обошлось даже без кровопролития.

Такой человек, как Георг IV, как нельзя более соответствовал общему направлению реакции. Во все время его царствования у власти притом были тори, и лишь к концу двадцатых годов в Англии обнаружилось некоторое общее движение к возврату на сторону вигов. В первые годы Реставрации самым влиятельным лицом в правительстве был лорд Кэстльри¹, долгое время бывший другом Георга IV, человек крайних торийских убеждений и враг либерализма, где бы он ни проявлялся. В 1815 г. Александр I предложил ему примкнуть к Священному союзу, но он, подобно Меттерниху, сначала не сочувствовал этому акту и отклонил присоединение Англии к союзу, не желая брать на себя ответственности перед парламентом. Тем не менее принц-регент написал Александру I письмо о том, что его принципы вполне совпадают с принципами Священного союза. Действительно, в первые годы Реставрации английская внешняя политика почти вполне совпадала со стремлениями общеевропейской реакции. Правда, Кэстльри высказывался против крайностей, коим предавалась реакция во многих странах материка, но гораздо более были ему не по душе те попытки завоевания политической свободы, какие делались в то время в некоторых континентальных странах, тем более что вместе со многими своими соотечественниками он думал, что, кроме англичан, никто более не способен пользоваться политической свободой. Поэтому, например, Кэстльри, раньше сам стоявший на точке зрения вмешательства в дела других государств, вдруг переменял свой взгляд, когда Фердинанд I вздумал уничтожить сицилийскую конституцию, хотя она, как известно, сама была плодом английского вмешательства. Совершенно так же вела себя Англия и в Испании, когда в ней была отменена конституция 1812 г. Правда, Кэстльри протестовал против предложения России вмешаться в дела Испании, когда там вспыхнула революция 1820 г., но и в данном случае он вовсе не

¹ Alison. Lives of lord Castlereagh and Sir Ch. Stewart, 1862. Это попытка реабилитации Кэстльри, которую мы находим отчасти и в кн. Файфа, указанной выше.

был защитником политической свободы или права испанской нации по собственному усмотрению устраивать свои внутренние дела: такого поведения требовали политические интересы Англии, но ничто не помешало тому же Кэстльри найти совершенно естественным и справедливым, чтобы Австрия подавила — лишь бы только она это сделала от своего имени, а не по уполномочению всей Европы — революцию в Неаполе, так как договор Австрии с Фердинандом I, в силу коего последний обязывался поддерживать в своем королевстве абсолютизм, был-де предъявлен великобританскому послу и получил с его стороны полное одобрение. Даже тогда, когда на Троппау-Лайбахском конгрессе Австрия, Пруссия и Россия приняли известное решение о праве коллективного вмешательства, и в силу этого решения Австрия была уполномочена державами восстановить порядок в Неаполитанском королевстве, Англия ограничилась одним лишь протестом и, взяв назад у Австрии данное раньше обещание относительно нравственной поддержки, заявила только о строгом своем нейтралитете во всем этом деле, что опять-таки не могло не быть в конце концов благоприятным для политики Меттерниха. Кэстльри и после подавления неаполитанской революции держался того взгляда, что испанские дела нужно было предоставить их собственному течению, и даже сам собирался ехать на конгресс в Вероне, чтобы убедить в этом другие державы и вместе с тем посоветовать им послать своих дипломатических агентов в американские колонии Испании, в то время боровшиеся со своей метрополией. Но сделать это Кэстльри было не суждено, так как в том же 1822 г. в припадке умопомешательства, выразившегося в так называемом бреде преследования, он окончил свою жизнь, перерезав себе горло простым перочинным ножиком. Эта смерть произвела на Георга IV весьма тягостное впечатление: после 1822 г. он стал избегать общества и впал в очень мрачное настроение.

Преемником Кэстльри был знаменитый Джордж Каннинг¹, при котором внешняя и внутренняя политика Англии получила более либеральное направление, благодаря чему английское правительство в иностранных делах перестало идти на буксире политики Меттерниха и Священного союза², а в делах внутренних стало постепенно ослаблять прежнюю реакцию. Каннинг начал свою политическую деятельность в 1793 г. двадцати трех лет от роду, сделавшись членом нижней палаты и весьма скоро заявив в ней свои недюжинные способности оратора и государственного человека. В 1796 г. он в первый раз занял пост помощника государственного секретаря по иностранным делам в министерстве Питта, но в 1801 г. вместе с ним вышел в отставку, получил потом опять пост в последнем министерстве Питта, а в 1807 г. (в ми-

¹ Stapleton. Canning and his times, 1859.

² В V томе будет рассмотрено вообще постепенное разложение реакционной политики Священного союза и будет указано на значение Каннинга как в этом деле, так и в греческом вопросе, общее значение коего будет рассмотрено там же.

нистерстве Портленда) сделался министром иностранных дел, чтобы вскоре выйти опять в отставку после ссоры с Кэстльри, доведшей его до дуэли с ним на пистолетах. В 1816 г. он был снова выбран в парламент и через год возвратился в министерство, но опять не сошелся с тогдашним номинальным его главой, лордом Ливерпулем, по некоторым вопросам внутренней политики (между прочим по вопросу о разводе короля) и еще раз вышел из министерства, чтобы по смерти Кэстльри сделаться снова министром иностранных дел, а через пять лет и первым министром. Программой внешней политики Каннинга была поддержка «разумной свободы для всех народов», вследствие чего он первый признал независимость американских колоний Испании, организовавшихся в самостоятельные республики, и соединился с Россией и Францией для коллективного вмешательства в защиту греков, боровшихся за свою национальную свободу. Во внутренней политике Каннинг стоял за более либеральное направление и искал сближения с вигами, хотя и противился парламентской реформе в том виде, как ее требовали в двадцатых годах. Едва став в звании первого министра главой английского правительства, Каннинг скончался, но герцог Веллингтон, сделавшийся его преемником, несмотря на свои чисто торийские воззрения, разделявшиеся и другими членами кабинета, продолжал, в сущности, держаться той политики, программа коей была начертана покойным министром. Вообще после смерти Кэстльри английское правительство сошло с пути реакции, и это имело весьма важное значение в истории борьбы за свободу, которую пришлось тогда вести передовым элементам английской нации.

Дело в том, что к концу царствования Георга IV партия ториев все больше и больше приходила сама в упадок. С одной стороны, совершалось изменение в составе и настроении правящего класса, с другой — начинали выступать на сцену новые общественные силы. Тори всегда имели поддержку в землевладельческом классе (сквайры¹, country gentlemen), но в состав этого класса вошло много денежных людей, обогатившихся военными поставками, промышленностью, торговлей, биржевыми операциями, накупивших себе имений, но удержавших при этом свои вигистские воззрения, а вместе с тем выступило на сцену и молодое поколение сквайров, уже не так крепко державшееся торийских убеждений своих отцов. Вместе с тем благодаря небывалому развитию промышленности и торговли города все более и более начинали преобладать над графствами, а общество в городах вообще было настроено прогрессивнее, чем «деревенское дворянство»: в городах обнаруживалось даже и чисто демократическое движение. В самом торийском министерстве Ливерпуля не существовало полной солидарности во взглядах, и если, например, Ливерпуль был представителем идей поколения, сходившего со сцены, имея за себя большинство своих товарищей, то Каннинг, наибо-

¹ Сквайр (англ. squire) — титул, присоединяемый к фамилии земельного собственника. — Прим. ред.

лее видный член министерства, наоборот, стоял за более либеральную политику. Поэтому-то едва он сделался первым министром, как из кабинета вышли наиболее рьяные тории, в числе коих был, например, герцог Веллингтон. Либеральное направление Каннинга и его разлад с собственными товарищами, упорствовавшими в реакционной политике, снискали ему расположение и поддержку вигов, хотя последние и не разделяли его воззрений по некоторым важным вопросам внутренней политики, каков был, например, вопрос о парламентской реформе. Мало того, в министерство Каннинга вошло три члена из партии вигов, чем положено было начало союзу либеральных ториев с вигами. Смерть Каннинга помешала развитию этого союза, но хотя герцог Веллингтон и составил чисто торийский кабинет, из которого удалились все либеральные члены, но возвратиться к старой политике оказалось уже невозможным. Дело дошло до того, что, как во Франции, консерваторы стали во враждебное отношение к торийскому министерству Веллингтона, которое, наоборот, находило поддержку у вигов, во всех случаях, когда оно уступало необходимости и голосу общественного мнения. Это внутреннее разложение торийской партии расчищало вигам дорогу к власти, и когда по смерти Георга IV (в 1830 г.) произведены были новые парламентские выборы, виги одержали на них победу: с новым царствованием начался новый период в истории Англии — период совершенного прекращения реакции.

Переходя к более детальному изображению реакции, происходившей в Англии в эпоху Реставрации, и той борьбы за свободу, которую эта реакция вызывала, мы должны прежде всего выяснить два пункта. Во-первых, нам нужно выставить на вид то обстоятельство, что реакция, совершавшаяся в Англии одновременно с реакцией на континенте, была, в сущности, лишь продолжением аналогичных явлений, вызванных в английском обществе Французской революцией, а во-вторых, нам предстоит, кроме того, показать, каким образом в Англии могла происходить борьба за свободу, раз во всю эту эпоху именно Англия являлась в глазах либералов всех стран настоящей родиной всевозможных гражданских вольностей, и почему английская реакция, несмотря на всю свою суровость, не в состоянии была поколебать устои той конституции, бывшей идеалом тогдашнего континентального либерализма.

По первому пункту долго говорить нечего. История континентальных стран Западной Европы в первые три десятилетия XIX в. делится на два периода — до и после низложения Наполеона, так как в первые полтора десятилетия внутренняя жизнь народов западноевропейского материка, как бы там ни было, испытывала на себе влияние Французской революции, а в следующие полтора десятилетия, наоборот, находилась под действием реакции, направленной к тому, чтобы, по возможности, устранить все следы этого влияния. Такого перелома во внутренней жизни Англии с падением Наполеона не только что не произошло, но и не могло произойти, так как во всю эту эпоху

история Англии стоит, так сказать, особняком. В Англии за это время не произошло никакого политического переворота, и потому для нее падение империи Наполеона не могло иметь такого решающего значения, какое оно имело для Франции, для Германии, для Италии, для Испании и т. п. В названных странах реакция 1815—1830 гг. была не чем иным, как проявлением общего стремления, по возможности, уничтожить совершившиеся факты, вычеркнуть из истории целую четверть века — от 1789 по 1814 г. Английской реакции не приходилось ничего уничтожать и вся ее тенденция заключалась, напротив, в том, чтобы не дать известным фактам совершиться, и с этой точки зрения она, скорее, заслуживает название консервативной оппозиции, но только уже не против начинаний государственной власти, как то было в эпоху просвещенного абсолютизма на материке, а против народных требований, шедших дальше того, что давала нации существующая конституция. Правящие классы Англии, как мы видели, были напуганы Французской революцией, а тут еще в самой стране началось движение, враждебное интересам правящих классов, которые, подобно французской буржуазии, готовы были до известной степени поступиться свободой, лишь бы удержать за собой свое господствующее положение в государстве. Каждый раз, как правящие классы усматривали для себя опасность от происходившего в стране движения, в них обнаруживалась сильная реакция, которая и выражалась в том, что почти неизменно власть попадала в руки ториев. Со своей стороны, правительство предлагало, а парламент принимал разные репрессивные меры, как мы еще увидим, направлявшиеся преимущественно против свободного выражения общественного мнения путем печати и народных сходов. В этом отношении нет никакой разницы, например, между девяностыми годами XVIII в., когда такие меры принимались под влиянием страха, вызванного Французской революцией, — и первыми годами эпохи Реставрации, когда этого страха уже не было, но зато в самой Англии происходило сильное народное движение в пользу парламентской реформы. Вот почему в последующем нам придется не отделять фактов реакции и борьбы за свободу в эпоху реставрации от однородных им фактов более раннего времени начиная с конца XVIII в.

Но, спрашивается, в чем могла заключаться в Англии борьба за свободу, раз английские политические учреждения считались на материке — и, прибавим, считались справедливо — самыми свободными, какие только в то время существовали, за исключением одних североамериканских порядков, в рассматриваемое время, однако, мало привлекавших к себе внимание либералов? И если, с другой стороны, тем не менее и в Англии, этой родине свободных учреждений, реакция вызывала борьбу за свободу, то почему, — можно еще спросить, — эти учреждения выдержали здесь то испытание, коему их подвергла реакция, не потерпев при этом, в сущности, ни малейшего ущерба? Эти два вопроса тесно связаны между собой и потому должны рассматриваться вместе.

Реакционные меры, характеризующие внутреннюю английскую политику в исходе XVIII и начале XIX в., при существовавшем в Англии государственном строе, могли исходить только от парламента, т. е. от парламентского большинства и правительства, которое, благодаря возникновению в начале XVIII в. конституционного министерства, было не чем иным, как органом этого большинства. Понятно, что при таком положении дела какие бы то ни было реакционные мероприятия не могли быть направлены ни против самого парламента, ни против парламентарного министерства. Вековой спор о взаимных отношениях между короной и представительством страны был окончательно и бесповоротно решен в пользу парламента еще за сто лет до Французской революции. Прямое нападение на права парламента со стороны королевской власти сделалось прямо невозможным. Далее, при первых двух королях из ганноверской династии, когда господство принадлежало партии вигов, возникло упомянутое парламентарное министерство, и тори, которые при Георге III сменили вигов у власти, удержали этот институт. Попытка названного короля поставить министерство в большую зависимость от короны не удалась и прежде всего потому не удалась, что нигде не могла найти достаточной поддержки — ни у вигов, конечно, которые выработали учреждение, ни, вместе с тем, у ториев, так как и эта партия, достигнув господства, не хотела выпускать из своих рук такое важное орудие, как зависимый от парламентского большинства кабинет. С этой стороны английская конституция стояла очень прочно и, действительно, могла являться образцом свободного государственного устройства. Французские либералы из школы доктринеров находили даже нужным несколько усилить монархический элемент в конституции сравнительно с тем положением, в каком королевская власть находилась в Англии. Реакция, происходившая в Англии, таким образом, вовсе не имела своей целью, и не могла иметь результатом какое бы то ни было ограничение прав парламента. Уже в XVIII столетии власть парламента определялась, как «деспотическая», и эту, действительно, по существу дела, вполне неограниченную власть¹ парламент сохранил и в XIX столетии. Парламенту принадлежит настоящее верховенство, ибо в Англии нет закона, которого парламент не мог бы изменить: в этом отношении в Англии не существует никакого различия между конституционными и обыкновенными законами, устанавливавшегося разными континентальными конституциями². Последние даже ставились обыкновенно выше представительных учреждений и заключали в себе гарантии против несогласного с конституцией законодательства, чего опять-таки нет

¹ См.: *Дэйси*. Основы государственного права Англии, 1891.

² Образец этого см. в конституции 1791 г., где были установлены особые правила для пересмотра конституционных законов (см. т. III). Ср. также мнение Бенжамена Констана о необходимости сокращения числа конституционных законов ввиду именно особого способа, посредством коего они изменяются.

в Англии, где вся верховная власть (и следовательно, власть учредительная), на континенте отдававшаяся, например, народу, принадлежит одному парламенту. Но именно это самое обстоятельство и давало английскому парламенту возможность издавать законы, коими ограничивалась и стеснялась свобода граждан. Будучи сам законодательным органом правящих классов и состоя из реакционного большинства, парламент издавал законы, которые были направлены против общественной свободы, поскольку такие движения, как, например, движение в пользу парламентской реформы, казались опасными по отношению к интересам правящих классов. Но рядом с верховенством парламента английская политическая жизнь выработала еще другой принцип, а именно принцип законности, нашедший свое выражение в безусловном господстве права, всегда удивлявшем иностранных наблюдателей¹. Это господство права состоит не только в отсутствии произвольной власти у каких бы то ни было правительственных лиц, но и в том, что в Англии всякий человек подчиняется обыкновенным законам государства и подлежит юрисдикции обыкновенных судов, каково бы ни было его звание или положение, и что в силу этого все должностные лица, начиная с первого министра и кончая каким-нибудь городовым или сборщиком податей, подлежат такой же ответственности, как и всякий другой гражданин, за проступок, не оправдываемый законом. Собственно говоря, господство права является даже настоящей основой английской конституции, ибо то, что в континентальных конституциях гражданам гарантируется в качестве общих прав личности, в Англии является не чем иным, как результатом деятельности судов, без решения коих никто не может быть лишен свободы, подвергнуться какому-либо наказанию или поплатиться хотя бы малейшей долей своего достоинства. Личные права английских граждан вытекают не из конституции, как на материке, где тотчас же эти права лишаются защиты, как только приостанавливается действие конституции, а именно из общего права страны. Личная неприкосновенность в Англии гарантируется главным образом *habeas-corpus-act*²ом², изданным в эпоху Реставрации Стюартов, но и временная приостановка действия *habeas-corpus-act*³а, к которой так охотно прибегал английский парламент в периоды обострения реакции, а именно в 1794—1801 и 1817 гг.³, далеко не была равносильна тому, что в других государствах называется приостановкой конституционных гарантий, или объявлением страны в осадном положении. Не говоря уже о том, что акты об отмене *habeas corpus* издавались только на один год, они давали министерству право лишь откладывать суд над лицами, заключенными по обвинению в измене, в продолжение всего периода, пока акт о приостанов-

¹ Об этом тоже см. у Дайси.

² *Habeas corpus* (лат.) — начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом в 1679 г. — *Прим. ред.*

³ См. выше, а также и ниже будет указано, при каких обстоятельствах это делалось.

ке находится в силе. Но этот акт все-таки никого не освобождал ни от гражданской, ни от уголовной ответственности за нарушение закона, так что за все время приостановки этой гарантии министерство и действующие по его предписанию агенты власти должны были по возобновлении силы *habeas-corpus-act*'а отвечать за все незаконные поступки, какие были бы ими совершены. Правда, парламент по истечении срока приостановки всегда издавал так называемый *act of indemnity*¹, снимавший ответственность с должностных лиц за совершенные ими деяния; но, во-первых, должностные лица могли в течение всего этого времени и не быть уверенными в том, что получат такую амнистию, а во-вторых, и амнистия эта не была безусловной: например, она не покрывала преследований, вытекавших из личной злобы, а еще менее не освобождала от ответственности за жестокое обращение с политическими узниками или за произвольные наказания, каким эти узники могли бы быть подвергнуты. Верховенство парламента и господство права тесно связаны между собой и одно другое обуславливают: воля парламента, для которой нужно взаимное согласие короля, палаты лордов и палаты общин, может быть выражена не иначе, как в форме закона, который тотчас же поступает под охрану независимого суда, не допускающего ни отступлений от него, ни произвольных его толкований; с другой же стороны, суды не допускают никакого правительственного произвола во всех случаях, когда дело идет о свободе личности, а потому дискреционная власть дается правительству при приостановке действия *habeas-corpus-act*'а не иначе как в силу опять-таки акта, в коем парламент проявляет свою верховную власть. Благодаря этим двум своим особенностям английская конституция вышла без всякого ущерба из периода реакции, но вследствие того, что парламент издавал в эту эпоху репрессивные законы, которыми действительно умалялась свобода граждан и которые даже противоречили общему духу конституции, и должна была возникнуть борьба за свободу со стороны отдельных лиц и общественных классов, бывших недовольными способом образования палаты депутатов и добивавшихся возможности легальным путем содействовать парламентской реформе.

Раньше уже было упомянуто, что в последней трети XVIII в. несколько раз возникал в самом парламенте вопрос о парламентской реформе, но возникал каждый раз совершенно безуспешно. Особенно Французская революция даже сильно затормозила это дело, тем более что сами парламентские сторонники реформы были очень далеки от тех идей, которые господствовали в демократических клубах (вроде знаменитых *Hampden clubs*), состоявших из рабочих и требовавших всеобщего голосования и ежегодных выборов в парламент. В течение почти тринадцати лет между 1797 и 1809 г. вопрос о парламентской реформе ни разу не поднимался в парламенте, пока в 1809 г.

¹ Закон об освобождении от уголовной ответственности. — *Прим. ред.*

его не возобновил Бердет, нашедший, однако, во всей палате общин лишь полтора десятка единомышленников. В следующем году делу думали дать ход в палате общин Бранд, в палате пэров — лорд Грей, который уже раньше не раз высказывался за реформу, но и они успеха никакого не имели. Затем, в 1818 и 1819 гг., опять были сделаны предложения о реформе со стороны Бердета, и их постигла та же самая судьба. Через год с предложением о реформе выступил в парламенте лорд Джон Россель, который возобновил вопрос и в 1821 г. одновременно с Ламбтоном; предложения обоих были отвергнуты большинством голосов. Россель оказался человеком весьма упорным и поднимал снова вопрос о реформе в 1822, 1823, 1826 и 1830 гг., хотя каждый раз против него высказывалось значительное большинство голосов. Кроме того, в 1829 г. с планом реформы выступал еще лорд Бландфорд и столь же безуспешно, как и другие. Между тем представительство от «гнилых местечек» дошло до последних пределов безобразия, и потому рядом с общими предположениями о реформе являлись планы об отнятии избирательного права только у некоторых из них и передачи его лишь наиболее важным из больших городов, его не имевших, каковы Лидс, Бирмингем и Манчестер, но большинство парламента не согласилось и на частные уступки, указывая на то, что предоставление избирательных прав Лидсу, Бирмингему и Манчестеру может разохотить и другие города получить то же право, но тогда где остановились бы уступки? Между тем вопрос о парламентской реформе начал сильно занимать общественное мнение, и требование реформы выборов в демократическом направлении сделалось главным лозунгом так называемой демократической партии. Дело в том, что рядом с двумя большими политическими партиями, боровшимися между собой за власть, мало-помалу образовалась еще одна небольшая политическая группа, получившая название демократической партии и начавшая оказывать влияние на взаимные отношения тори и вигов. Возникновение этой партии относится ко времени североамериканской войны за независимость, но видную роль она стала играть лишь после падения Наполеона, когда, с одной стороны, господство тори заставило вигов усилить свою оппозицию и искать для себя новых союзников, а с другой — народные бедствия, вытекавшие из дурных экономических условий, вообще оживили демократические стремления. Около этого времени (1819) один из вождей демократов, Гент (Hunt), и его последователи впервые приняли название радикальных реформаторов, стараясь всячески отделить себя от вигов, коих новая партия обвиняла в умеренности и в погоне за теплыми местами. Между вигами и новой партией отношения поэтому постоянно колебались: происходило по временам сближение, по временам, наоборот, они расходились. Демократическая партия должна была делать в это время еще тем большие успехи, что, с одной стороны, в народных массах шло брожение, хотя и вызывавшееся главным образом экономическими причинами, но ставившее себе цели политические, а с другой — одновременно с

этим совершалось распространение просвещения в таких слоях общества, коим ранее оно было совершенно недоступно. Демократические идеи пропагандировались путем печати и народных собраний, получивших в это время небывалое дотоле развитие, и вот репрессивные меры парламента стали поэтому направляться главным образом против свободного проявления общественного мнения, раз последнее оказывалось неблагоприятным для существующего строя.

Французская «декларация прав человека и гражданина» объявила свободное выражение мыслей и мнений на словах, на письме и в печати одним из драгоценнейших прав человека, но английское государственное право, собственно говоря, совсем не ведает такого права личности как такового, т. е. в смысле свободы печати. В Англии действовал даже особый закон о пасквилях (libels) на частных лиц и на правительство, налагавший — но не иначе как по суду — серьезные ограничения на свободу прессы, и рядом с ним еще существовал закон о пасквилях богохульственного содержания. Так как, однако, наказание за написание, обнародование и распространение пасквиля налагается не иначе как судом присяжных, то, в конце концов, степень свободы выражения мыслей и мнений зависела в Англии за последние два века от общественного настроения в тот или другой период времени, ибо лишь от присяжных, представляющих собой общественную совесть, зависело признавать или не признавать в данном сочинении злонамеренный пасквиль на то или другое частное лицо, на правительство или на религию. Далее, английская конституция не устанавливает также и специального права сходок, и если оно тем не менее существует, то лишь в силу признаваемой английскими судами свободы каждого гражданина сходиться где угодно и с кем угодно и при этом говорить что угодно, если при этом не будет нарушен какой-либо закон, карающий то или другое запрещаемое законом же действие вроде клеветы, призыва к мятежу или прямого насилия. На этом основании английские граждане получили возможность без особого разрешения со стороны специального закона собираться для обсуждения общих дел, и без особого закона, изданного парламентом, правительство поэтому не могло сделать собрание незаконным только в силу своего объявления, что считает за таковую ту или другую сходку. Вот эти-то два права английского гражданина — свобода слова и свобода сходок — и стали ограничиваться и стесняться в эпоху реакции, что вызывало противодействие со стороны общественного мнения, которое теперь все более и более стало высказываться принципиально за свободу прессы и за свободу митингов. Но как парламент в эпоху реакции ни стеснял обе эти свободы, никогда он, во-первых, не доходил до установления цензуры, как это делалось, например, во Франции в эпоху Реставрации, когда постоянно менялись законы о печати и цензура то отменялась, то опять восстанавливалась, а во-вторых, ни единого раза не допускал приостановки конституции, допускавшей, на-

пример, во Франции самой же конституцией в случае мятежей, возникающих, конечно, лишь путем народных соборщ. Правящие классы Англии, несомненно, были весьма не расположены к прессе и митингам, но в своих реакционных мерах никогда не заходили так далеко, как делали французские ультрароялисты. Тем не менее свободе печати и свободе сходок пришлось пережить весьма тяжелый кризис. В конце концов английская нация отвоювала и для прессы, и для митингов такую свободу, какой раньше совсем не пользовалась.

Цензура в Англии, как известно, исчезла еще в конце XVII в.¹, после чего всякое произведение печати могло свободно обращаться в публице под условием подчинения довольно строгим и неопределенным законом о пасквиле. Благодаря этим законам и тому, что дела по пасквилям изымались прежде из компетенции суда присяжных, свободе прессы пришлось завоевывать шаг за шагом признание со стороны правительства и парламента, и лишь в 1792 г. был после некоторой борьбы принят закон, по которому преступления по делам печати должны были всегда подлежать ведению суда присяжных. Особенно важно было то, что еще в начале царствования Георга III газеты добились права оглашать содержание парламентских прений, хотя до сих пор еще это право остается без утверждения посредством какого-либо законодательного акта. С другой стороны, уже раньше вместе с печатью, которая сделалась могущественной общественной силой, большое политическое влияние стали оказывать народные собрания (митинги) по тем или другим жгучим вопросам дня и более постоянные ассоциации, ставившие себе какую-либо определенную политическую цель². Митинги явились не только новой формой выражения общественного мнения, но и новым его источником. Между прочим, митинги, а с ними и ассоциации получили весьма важное значение в деле агитации за парламентскую реформу, особенно после того, как во Франции произошла революция. Еще в 1780 г. возникла в Англии большая ассоциация, которая получила название *Society for promoting Constitutional information*³ и поставила своей целью распространение в народе политического образования посредством издания соответствующих этой цели книг и брошюр, в коих уже проводились идеи всеобщего голосования, закрытой подачи голосов и т. п. В 1791 г. для достижения парламентской реформы в смысле равномерности представительства образовалось в Лондоне и других городах несколько обществ, из коих особенно деятельным было лондонское *Corresponding Society*⁴, а через несколько месяцев (1792) возникло еще «Общество друзей народа» (*Society of the friends of the people*), во главе

¹ См. сочинения по истории прессы и свободы печати в Англии, указанные в т. III.

² *Jephson H.* The platform, its rise and progress, 1892; *Дерюжинский В.Ф.* Публичные митинги в Англии. Вестн. Евр., 1894.

³ Общество для распространения конституционной информации (англ.). — *Прим. ред.*

⁴ Общество ведущих переписку (англ.). — *Прим. ред.*

когого стояли виги (в том числе некоторые члены парламента), поставившие своей задачей добиваться мирными путями парламентской реформы и тем самым противодействовать революционным проидам. Так как старейшее из этих обществ однажды решило послать адрес якобинскому клубу в Париже, то правительство весьма встревожилось и издало «прокламацию» о необходимости строгого подавления всех попыток распространять вредные и мятежные сочинения. Тем не менее все три общества продолжали агитировать в пользу реформы, составляя в этом смысле петиции, собирая под ними подписи и вообще стараясь всеми средствами поддерживать общественный интерес к этому вопросу и показывать правительству и большинству парламента, что движение в пользу реформы имеет серьезное значение и очень популярно в стране. Одним из наиболее рьяных деятелей в этой пропаганде парламентской реформы был член парламента Чарльз Грей, внесший в этом смысле предложение в палату депутатов (1793). Когда оно было отвергнуто, первые два из названных обществ совокупными силами устроили в 1793 г. в Лондоне первые два публичных митинга под открытым небом. Примеру столицы последовали и другие города. Хотя порядок ни разу не был нарушен на этих собраниях, тем не менее речи, на них произносившиеся, не могли не обеспокоить правительство, которое в это время шло все более и более по пути реакции. Например, на одном митинге было постановлено, что народ может требовать всеобщей подачи голосов как своего права и что потому нет надобности о нем просить, как о какой-то милости, некоторые же ораторы, увлеченные примером Французской революции, прямо настаивали на том, чтобы созван был национальный Конвент, который и произвел бы парламентскую реформу. На такого рода заявления правительство взглянуло как на призыв к революции и как на образование заговора против существующего порядка, и в 1794 г., по предложению Питта, парламент на год приостановил действие *habeas-corpus-act*'а. Правда, по окончании срока приостановки министры должны были дать отчет парламента по всем своим действиям, касавшимся личной свободы граждан, но парламент потом посредством особого акта (*bill of indemnity*) снял с них всякую ответственность за все ими совершенное в это время, и так дело продолжалось в течение восьми лет (до конца 1801 г.), ибо парламент из года в год вотирует временную приостановку *habeas-corpus-act*'а. В Новейшей истории Англии это самый длинный период, когда принималась такая исключительная мера, лишавшая граждан одной из важнейших гарантий их личной неприкосновенности.

Под влиянием страха с этого времени умножаются и процессы по делам о пасквилях и по поводу «мятежных» слов. Уже в 1792 г. был подвергнут суду и осужден присяжными Томас Пэн за свое сочинение о правах человека, а затем процессы подобного рода быстро следуют один за другим, причем присяжными, зараженными общей паникой, выносились обвинитель-

ные приговоры, а подсудимые приговаривались к тюремному заключению и большим штрафам. Мало того, в Лондоне и во всей Англии стали образовываться добровольческие общества в помощь правительству для разыскания и наказания мятежных сочинений и разговоров. Первая из этих ассоциаций назвала себя «Обществом для покровительства свободы и собственности против республиканцев и уравнилителей». Публика по подписке собирала деньги, оплачивала шпионов, сама шпионила и доносила куда следует, нередко пользуясь анонимными письмами для этой цели, и, что хуже всего, в таких обществах принимали участие сами судьи, но особенно часто их деятельные члены являлись на суде в качестве присяжных¹. Некоторые члены парламента подняли было вопрос о неправильностях судопроизводства и о чрезмерно строгих приговорах по делам этого рода, но громадное большинство в обеих палатах давало молчаливое одобрение всему, что делали суды по процессам о мятежных словах и сочинениях. За процессами подобного рода последовали процессы о заговорах и политических обществах. В 1794 г., например, преданы были суду Томас Гарди, Горн Тук и еще несколько лиц, все члены упомянутых выше либеральных обществ, по обвинению в государственной измене и революционном заговоре. Томас Гарди был простой ремесленник и состоял секретарем London Corresponding Society: ему ставили в вину чуть не все слова, какие произносились где-либо и когда-либо членами этого общества, и при этом исходили из предположения, что настоящие цели общества были не те, какие были показаны в его программе. Однако несмотря на всю предубежденность присяжных, Томас Гарди оказался совершенно невинным. Горн Тук был также оправдан, но из процесса публика узнала, до какой степени у страха были велики глаза. В числе документов, читавшихся на суде, было, например, письмо, где одна весьма простая фраза: «можете ли вы быть готовы к четвергу?» — истолковывалась обвинением в смысле намек на подготовку какого-либо бунта или чего-нибудь тому подобного. Другим, например, еще доказательством опасного поведения Тука были его слова, произнесенные на заседании Society for promoting constitutional information: увидев в зале Гэя, известного в то время своей предприимчивостью в деле отдаленных путешествий, он сказал о нем, что «вот-де человек, который пойдет гораздо дальше, нежели каждый из нас согласился бы за ним следовать», а шпион, донесший об этих словах, истолковал их в смысле разговора о решимости далеко идти в деле политического переустройства Англии. Другие обвиняемые равным образом были оправданы. Все это дало вигам повод снова поднять в парламенте вопрос о том, да существуют ли в действительности какие-либо поводы для приостановки действия habeas-corpus-act'a. Фокс был постоянно в числе наиболее рьяных противников этой реакции, грозившей личной и общественной свободе.

¹ Подробностей много собрано в книге Erskine May, названной выше.

1795 г. в Англии был одним из наиболее беспокойных, что заставляло и правительство, и господствующие классы общества, и добровольческих ревнителей порядка напрягать все свои усилия для борьбы с призраком революции. Урожай был плохой, война расстроила промышленные предприятия, в народе стала развиваться нищета и с ней наклонность к беспорядкам, а тут еще, лишь только истек срок приостановки действия *habeas-corpus-act'a*, возобновилась и агитация в пользу парламентской реформы. Начались опять митинги под открытым небом, а один из них получил грандиозные размеры: говорили даже, будто на нем присутствовало полтора-два тысяч человека. На этих народных сходках вотиrowались воззвания к народу с приглашением добиваться всеми легальными и конституционными средствами обеспечения за нацией ее естественных и неоспоримых прав — всеобщего голосования и ежегодных выборов в парламент, а также вотиrowались адреса к королю в том же смысле. Когда вскоре после большого митинга Георг III ехал на открытие сессии парламента, его окружила большая толпа народа, из которой сначала раздавались крики: «Долой Питта!» — «Не нужно войны!» — «Мир! Мир!» — «Дайте нам хлеба!» — «Прочь голод!», — а затем полетел в королевскую карету камень, выбивший в ней оконное стекло. На обратном пути короля повторилось то же самое, и едва он скрылся во дворце, как народ бросился на карету и чуть не изломал ее в куски. Это прискорбное происшествие было поводом для издания парламентом крайне репрессивных законов, которые, имея своей целью охрану особы короля от каких бы то ни было покушений и оскорблений, могли в то же время быть прилагаемы ко всем сторонникам парламентской реформы, в речах или печатно пропагандировавшим ее необходимость, так как, между прочим, должны были подвергаться судебному преследованию все книги, статьи, речи и предложения с неблагоприятным содержанием, направленным против короля или его правительства, и вместе с тем запрещались всякие мятежнические скопища и какие бы то ни было публичные собрания (за исключением установленных законом), раз в собраниях этих присутствовало более пятидесяти человек. Эти законы были приняты не без ожесточенной борьбы, ибо вигская оппозиция, имея во главе Фокса, указывала на то, что подобные мероприятия противоречат всему духу английской конституции: однажды в негодовании она даже покинула залу заседания. «Мы, — сказал в одной из своих речей по этому поводу Фокс, — видели революцию в других государствах, мы слышали о том, как они происходят? Разве они были вызваны свободой выражения общественного мнения? Разве их производила свобода народных собраний? Нет, они обязаны своим происхождением совершенно иной политике, и вот я прямо говорю: если мы только желаем избежать опасности подобных революций, мы должны, по возможности, поставить себя в положение, наиболее несходное с положением наших соседей». Протестовали, впрочем, против новых биллей не одни парламентские виги: в столице государства и во всей

стране шла сильная агитация против стеснений свободы общественного мнения, которое проявлялось как раз и путем печати, и путем народных сходок, но любопытно то, что сами министры и сторонники ограничительных мер прибегали тоже к организации митингов, на которых постановлялись резолюции в смысле необходимости этих мер для поддержания порядка. Шесть недель шла эта борьба в парламенте, в столице и во всей стране; одних петиций против биллей было представлено около сотни со ста тридцатью тысячами подписей, но реакционное большинство в парламенте было столь значительное и так сильно сплоченное, что оппозиция не могла иметь успеха, и билли прошли все законодательные инстанции. Срок движения нового закона о народных собраниях, как меры исключительной, был определен трехлетний, но уже в 1797 г. Фокс стал настаивать в парламенте на необходимости немедленного восстановления народного права собираться и обсуждать общие дела, красноречиво защищая принцип свободы выражения общественного мнения. «Чем свободнее, — говорил он между прочим, — могут выражаться мнения, тем менее они могут представлять опасности. Лишь тогда мнения становятся опасными для государства, когда преследования вынуждают его жителей высказывать свои мысли под величайшею тайною... Что за насмешка — говорить народу: вы имеете право рукоплескать, право радоваться и веселиться, право собираться, когда чувствуете себя счастливыми, но у вас нет права порицать, нет право жаловаться на свои бедствия, нет права указывать на средства для устранения зла». Между тем правительство и парламент продолжали придумывать новые и новые меры против свободных проявлений общественной жизни, поскольку они казались опасными в смысле развития и распространения демократических идей. Например, на газеты был наложен высокий штемпельский налог с целью воспрепятствовать успехам дешевой политической прессы, рассчитанной на читателей из низших классов общества. С другой стороны, законы 1795 г., совершенно стеснив деятельность прежних политических обществ, превратили их членов в отъявленных врагов Питта и его товарищей. Многие из них стали основывать тайные ассоциации и комитеты («Соединенные англичане», «Соединенные шотландцы», «Соединенные ирландцы»), сами превращались в тайных агентов, поддерживавших между этими новыми организациями постоянные сношения, и даже стали обращаться к Франции, как это сделали «Соединенные ирландцы», или сеять недовольство в народе, в армии, во флоте, желая произвести в них прямое сопротивление властям. Все это вызвало со стороны правительства новый репрессивный билль, в силу коего одни общества (каковы только что поименованные ассоциации и London corresponding society) закрывались, и вводились новые ограничения свободы собраний и печати. Парламентская оппозиция чувствовала себя до такой степени слабой, что не решалась даже противодействовать новым стеснениям свободы, тем более что, на ее взгляд, часть прессы сама компрометировала свободу мнения свои-

ми чересчур резкими выходками против существующего порядка. В одном только отношении правительство продолжало по-прежнему уважать свободу печати, а именно когда предметом обсуждения делались дела в иностранных государствах, так что, например, Наполеон после Амьенского мира совершенно напрасно требовал у английского правительства, чтобы оно обуздало враждебных ему писак. В своем ответе Наполеону английское правительство даже прямо ссылалось на то, что свобода печати, обеспеченная конституцией, дорога каждому британскому подданному. «Конституция, — говорилось в этом ответе, — не допускает никакой предупредительной меры по отношению к каким бы то ни было публикациям, но существуют суды, совершенно независимые от исполнительной власти, ведающие издания, которые считаются по закону преступными, и облеченные властью налагать наказания за нарушения закона».

И приостановка движения habeas-corpus-act'a, и репрессивные меры против политических обществ и против печати, как постановления чисто временные, сделанные на определенный срок и притом ввиду обстоятельств, которые признавались исключительными, в теории не должны были нарушать основных принципов конституции, но на практике правительство весьма охотно предлагало, а парламент не менее охотно принимал возобновление этих мер по истечении срока, на который они вотивались. Мы уже упоминали, что habeas-corpus-act не действовал до 1801 г. вследствие новых отсрочек, вызывавшихся обстоятельствами, но в том же 1801 г., когда правительство заметило оживление митингов, были опять введены в действие ограничительные законы 1795 г. Как бы там ни было, в самом конце XVIII и начале XIX столетия реакция достигла своей непосредственной цели, и в течение нескольких лет в общественной жизни Англии господствовало почти полное затишье. В эти годы среди многих англичан возобладало мнение, в силу которого свобода печати казалась им даже чем-то опасным. «Говорят, — заявлял один судья, разбиравший одно из многочисленных дел о пасквилях, — будто мы имеем право обсуждать акты нашего законодательства, но такое позволение завело бы нас слишком далеко. Неужели народ имеет право становиться поперек актам парламента? Неужели пасквильянт может сеять неудовольствие среди народа против правительства, под которым народ живет? Нет, этого никому нельзя дозволить, ибо это противно конституции и приводит к мятежу». Несмотря, однако, на все неблагоприятные условия эпохи, периодическая пресса в Англии в начале XIX в. сделала громадные успехи благодаря свежести и обстоятельности доставлявшихся ею военных и политических известий, равно как благодаря основательности, с какой газеты обсуждали внутреннюю и внешнюю политику, хотя, как то случается нередко, когда пресса только что освобождается от внешнего гнета или бывает вынуждена с ним бороться, значительное число статей отличалось неприличным тоном или прямо клеветническими за-

машками¹. Последнее относится особенно к подпольным листкам, в большом количестве тогда расплодившимся в обход закона о штемпельном налоге. Несмотря на то что в правящем классе Англии возникло даже презрительное отношение к профессиональным журналистам, пишущим за деньги статьи в газетах, все классы общества и все партии пришли одинаково к сознанию громадной важности печатного слова. Это убеждение прекрасно выразил (в 1810 г.) один из видных парламентских деятелей эпохи: «Дайте мне только одну свободу печати, и я готов предоставить в распоряжение министерства продажную палату пэров, раболепную и подкупленную палату общин, свободное распоряжение должностями, все средства, какими могут располагать высокопоставленные лица, чтобы купить полную покорность и сломить всякое сопротивление. Вооруженный свободой печати, я смело пойду ему навстречу; я сделаю нападение на воздвигнутую им твердыню; я начну колебать порочную основу его могущества, — и я заставлю его пасть и погибнуть под обломками того зла, которое должна была охранять эта твердыня».

В первые годы XIX в. общественное мнение лишь изредка и в исключительных случаях выражалось в форме митингов, когда делались какие-либо разоблачения правительственных злоупотреблений, служившие всегда одним из аргументов со стороны защитников парламентской реформы. В эпоху регентства над сумасшедшим Георгом III, т. е. в течение почти всего второго десятилетия XIX в., в Англии опять было сильное общественное возбуждение, причины коего заключались в дурном экономическом состоянии народа и которое выражалось в частых беспорядках и мятежах. Мы еще познакомимся в другой связи с тем движением против машин, которое обнаружилось в это время среди рабочих в некоторых местностях Англии. В движении этом не было ничего политического, и вызвано оно было причинами чисто экономического свойства, а не демократической пропагандой, но правящие классы и в этих вспышках народного недовольствия видели действие либеральных идей и продолжали поддерживать репрессивные меры. Совершенно такие же причины, а именно хлебные законы и дороговизна жизненных припасов, вызвали в Лондоне и других местах также несколько восстаний в 1815 и 1816 гг. Около того же времени оживилась агитация в пользу парламентской реформы, и в этом смысле, например, в 1816 г. парламенту было подано множество петиций, под коими в общей сложности было до 500 тыс. подписей. В 1817 г. народное недовольствие выразилось и в более резкой форме: когда принц-регент возвращался с открытия парламента, собравшийся на улицах народ стал бросать в его карету камни и разные другие предметы (28 января 1817 г.). Это происшествие, как и то, которое случилось за двадцать два года перед тем, послужило поводом к тому, чтобы начать поход против политиче-

¹ Ср., что говорилось о французской прессе в эпоху революции (см. т. III).

ских клубов, митингов, петиций и печати. Прискорбное поведение уличной толпы было обобщено, и чуть не вся нация или ее громадное большинство были заподозрены в мятежных замыслах, бороться с коими и правительство, и парламент считали возможным лишь посредством возвращения к репрессивным мерам 1795 г. Напрасно оппозиция доказывала в парламенте, что опасения алармистов преувеличены, что существующих законов вполне достаточно для подавления мятежей, что не следует ограничивать свободу всех для наказания небольшой кучки людей, производящих беспорядки; и на этот раз реакционное настроение парламентского большинства было настолько сильно, что весьма быстро были вотированы предложенные правительством чрезвычайные мероприятия. Опять закрыты были разные общества и клубы, запрещены собрания свыше пятидесяти лиц и приостановлено действие *habeas-corpus-act*'а в продолжение целого года. И на печать снова воздвигнуто было гонение. Правительство в марте 1817 г. разослало циркуляр, в коем указывало на то, что мировые судьи имеют право издавать приказы об аресте всякого, под присягой обвиненного в издании какого-либо мятежного или богохульного пасквиля, и требовать от него залога в обеспечение явки на суд, и что продавцы книг и брошюр должны подчиняться закону о торговцах вразнос и о ярмарочных купцах и подлежать наказанию, если распространяют свой товар без надлежащего разрешения. В обеих палатах оппозиция вздумала было оспаривать правильность взглядов, изложенных в циркуляре, но успеха не имела, хотя аргументы, приведенные лордом Греем и Ромильи, все-таки поставили министерству на вид, что принцип английской свободы не позволяет превращать независимого мирового судью в какого-то полицейского комиссара. Опять после реакционных биллей 1817 г. началась репрессия печати и со стороны правительства, и со стороны судей, и со стороны нередко даже присяжных, отражавших на себе реакционное недоверие известной части общества к свободной прессе. Но и опять, несмотря на все меры, принятые для остановки реформистского движения, оно не прекращалось; только вместо многолюдных митингов назначались собрания человек по двадцать, и здесь подписывались петиции о парламентской реформе. Когда же срок действия исключительных законов и приостановки *habeas-corpus-act*'а истек, общественное движение снова вошло в свою прежнюю колею. В 1819 г. было особенно много митингов в Лондоне и других городах. Бедственное экономическое положение рабочего класса заставляло его собирать большие народные сходки для обсуждения мер, которые могли бы вывести его из печального состояния, и некоторые сторонники парламентской реформы стали пропагандировать среди рабочих ту мысль, что самым лучшим средством для улучшения их быта было бы введение всеобщего голосования и ежегодных выборов в парламент. В Бирмингеме, лишенном представительства в палате общин, народный митинг из 25 тыс. человек даже избрал представителя в парламент на случай признания права за всеми городами

посылать депутатов в палату общин, а не было бы это право признано, так на парламент нечего было бы и смотреть. В Лондоне тоже состоялся грандиозный митинг, в котором участвовало около 70 тыс. человек. Так как речи, произносившиеся на таких народных сходках, принимали иногда очень бурный характер, — что, впрочем, ни разу не повлекло за собой какого бы то ни было нарушения внешнего порядка, — то правительство опять сильно встревожилось. В конце июля 1819 г. от имени принца-регента была обнародована «прокламация», в которой местные власти приглашались, между прочим, преследовать в судах всех, кто только будет виновен в произнесении мятежных речей. Но «прокламация» принца-регента не могла иметь силы закона, и митинги беспрепятственно продолжались. Примеру Бирмингема последовал Манчестер, тоже лишенный права посылать представителей в парламент. Собрание было назначено на 16 августа, но уже накануне толпы рабочих из самого города и ближайших мест упражнялись в военном строю, чтобы в надлежащем порядке двинуться к назначенному месту. Власти, уже ранее объявившие, что избрание митингом представителя в парламент было бы делом незаконным, теперь стали опасаться восстания и решились помешать вообще собранию. Современники различно показывают число людей, явившихся на манчестерский митинг, — от 20 до 60 тыс. человек, — а на самом деле их было тысяч около 40. Все эти люди в величайшем порядке и самом мирном настроении явились на Saint-Peter's-Field¹ со знаменами, на коих красовались надписи вроде: «Всеобщая подача голосов», «Равное представительство или смерть», «Долой хлебные законы!»! Едва один из организаторов митинга, Гент, начал свою речь, как в безоружную толпу ворвался отряд кавалерии с саблями наголо: произошла невообразимая свалка, а в результате было 11 убитых и до 500 раненых. В какие-нибудь десять минут митинг был разогнан, а вожди арестованы. Правительство одобрило энергию, с которой власти сделали это дело, но общественное мнение отнеслось с негодованием к такому нарушению свободы сходок, тем более что на толпу нападение сделано было внезапно, без предварительного чтения так называемого riot-act², как того требовал закон о подавлении мятежей. По всей стране начались митинги негодования, и замечательно, что везде они прошли с совершенным спокойствием и без нарушения порядка. Повсюду требовали назначения следствия о «манчестерской бойне», как стали называть происшествие 16 августа. Между прочим, под влиянием «манчестерской бойни» многие виги, не одобрявшие агитации радикальных реформистов, стали переходить на их сторону. На митингах начали даже появляться лица из высшего общества, как это было на митинге в Йорке, где выступили граф Фицвильям, герцог Норфольк и другие важные господа. На этом собрании была даже принята резолюция, сформулированная именно герцогом Норфольком в том смысле, что право собираться на

¹ Поляна Святого Петра (англ.). — *Прим. ред.*

² Постановление о нарушении общественного порядка (англ.). — *Прим. ред.*

митинги для обсуждения общественных дел есть право народа и что военное насилие над мирным собранием народа есть посягательство на его свободу, а потому йоркский митинг и считал нужным выразить сожаление, что принц-регент, по совету министров, одобрил вооруженное нападение на манчестерский митинг; вместе с этим была выражена просьба, чтобы парламент произвел расследование о столь прискорбном и тревожном событии. 23 ноября открыта была сессия парламента. В тронной речи, прочитанной в этот день, говорилось о новых проявлениях мятежного духа и о необходимости изыскания мер для борьбы с замыслами, клонящимися к ниспровержению конституции и всего общественного строя. Большинство парламента как нельзя более соответствовало общему направлению этой речи: не только последовал с его стороны отказ на многочисленные петиции, поддержанные оппозицией в самом парламенте, подвергнуть манчестерское происшествие формальному расследованию, но даже было решено всякими мерами подавить возобновившееся общественное движение. Мало того, на этот раз правительство внесло в парламент и обе палаты приняли — уже не два репрессивных билля, как в 1795 г., и не четыре, как в 1817 г., а целых шесть, причем министерство требовало даже, чтобы эти билли получили значение постоянных законов, и лишь после долгих прений действие одного из них (четвертого), который был назван Актом о предупреждении мятежных митингов и соборщ, должно было ограничиться пятилетним сроком. Первый из этих «шести актов», как их стали называть, отнимал у обвиняемых право в случае преступления (*misdemeanour*) переносить свое дело на другую сессию (*right of traversing*). Вторым актом разрешалось в случае обвинения издателя какого-либо мятежного сочинения отбирать у него все экземпляры этого сочинения, а при повторении преступления наказывать штрафом, тюрьмой и ссылкой или изгнанием. Третий акт распространял газетный штемпельный налог и на брошюры, касавшиеся общественных дел, а в обеспечение штрафа издатели газет и брошюр должны были вносить известный залог. По четвертому акту о всяком собрании свыше пятидесяти человек нужно было давать знать за шесть дней местному мировому судье, которому предоставлялось право перемещать место и время митинга. При этом было обязательно, чтобы судью извещали семь домовладельцев, а присутствовать могли лишь местные жители под страхом штрафа или тюремного заключения за нарушение последнего ограничения. Если бы, далее, на митинге стали говорить что-либо против правительства или государственного устройства, власти вменялось в обязанность разгонять такие собрания и арестовывать ораторов, а буде кто-нибудь из толпы при этом оказался бы убитым или раненым, никто за это не должен был привлекаться к ответственности. Наконец, полагалось двухлетнее тюремное заключение за появление на митинге с оружием или со знаменем, вообще даже с какой бы то ни было эмблемой. Кабинеты для чтения и залы для прений этим актом подвергались особым правилам, в основе коих лежа-

ли предварительное решение со стороны властей и правительственный надзор. Пятым и шестым актами запрещались упражнения с оружием и разрешалось властям в тех графствах, где возникли бы беспорядки, разыскивать и отнимать у частных лиц оружие. В прениях по этим биллям все еще делались ссылки на Французскую революцию, хотя уже прежде многие доказывали, что для Англии Франция не пример. «В Англии, — еще раньше, например, говорил лорд Брум, — даже очень большой шум приносит пользу, тогда как во Франции бывает прямо гибелен едва слышный ропот». Как бы то ни было, в силу новых актов опять начались политические процессы, имевшие своей целью подавление свободы общественного мнения и почина. В 1821 г. образовалось даже новое добровольческое общество для доносов по делам печати, приняв не совсем подходящее к делу название «конституционного». Георг IV, вступивший на престол за год перед этим, кроме того, внес в дело преследования свободной прессы и особый личный интерес.

В двадцатых годах правительству пришлось еще бороться против католической ассоциации, поставившей своею целью добиться эмансипации католиков и с этой целью устраивавшей тоже митинги, но в конце концов правительство вынуждено было на уступку требованиям католиков. Вообще в короткое царствование Георга IV общественное мнение сделало в Англии весьма значительные успехи. Акт о предупреждении мятежных митингов и соборщ, действие коего кончилось в начале 1825 г., был последней попыткой ограничить в Англии право сходов, после этого более не подвергавшееся уже никаким существенным стеснениям, с начала же царствования Вильгельма IV (1830) прекратились и конфликты между государственной властью и печатью, которая и стала теперь пользоваться самой широкой свободой.

Оппозиционная печать и митинги этой эпохи служили в Англии главным образом делу демократической партии, которая, кроме того, нашла двух видных вождей в лице Коббета и Бентама. Первый из них был главным образом практическим деятелем партии, второй — самым видным ее теоретиком.

Уильям Коббет, сын незначительного землевладельца, начал свою публицистическую деятельность в Северо-Американских Штатах, где прожил с 1792 по 1801 г. В Америке он шокировал республиканские чувства населения своим «роялизмом», но в Англии он показался, наоборот, слишком радикальным — в глазах, конечно, правящих классов, которые были очень недовольны популярностью издававшегося им «Political Register». Так как резким тоном своих статей он подавал повод применять к себе закон о пасквилях, то ему неоднократно приходилось подвергаться за свою литературную деятельность судебному преследованию. В 1804 г. он был присужден заплатить большой штраф за напечатание письма одного ирландского судьи с насмешками против исполнительной власти в Ирландии. В 1809 г. Коббета постигла еще худшая судьба. Узнав о наказании плетью нескольких английских милици-

онеров, произведенном немецким наемным отрядом, он написал статью против наемничества иностранцев и против употребления в армии телесных наказаний, за что был обвинен в пасквиле на немецкий отряд и приговорен к двухлетнему тюремному заключению, к штрафу в тысячу фунтов стерлингов и к подписанию обязательства, обеспеченного залогом в три тысячи фунтов, не нарушать мира в течение семи лет. Когда в 1817 г. были изданы известные уже нам реакционные законы и на год приостановлено действие habeas-corpus-act'a, Коббет прекратил издание своего «Политического регистра» и уехал на все это время в Америку. «Я знаю, — писал он тогда, — что такое специальные присяжные, но и на это я не обратил бы внимания. А вот против безусловной власти бросать на неопределенное время в любую тюрьму королевства — несчастного, которого даже не допросили, и оставлять его без перьев, без чернил и без возможности свиданий хотя бы с одной живой душой, кроме тюремщика, — начинать борьбу против такой власти более не жели безумно!» В Америке он написал памфлет под заглавием «История последних дней английской свободы», но в 1818 г. возвратился опять на родину и путем печати, речей на митингах и публичных лекций пропагандировал идею парламентской реформы. Когда последняя совершилась в 1832 г., он сам попал в палату общин как один из наиболее видных деятелей этой реформы.

Бентам¹ прославился главным образом как юрист и как творец этической теории утилитаризма, но мы здесь будем рассматривать его с точки зрения его политических воззрений. В конце XVIII и начале XIX в. Бентам занимал весьма видное положение в качестве писателя, оказывавшего большое значение на законодательные начинания даже на континенте. Выступив на литературное поприще еще в 1776 г. с анонимным сочинением (Fragment of government²), в коем подвергалось довольно едкой критике сочинение Блэкстона о «счастливой конституции» Англии, и уже в 1780 г. изложив основы своего юридического и морального мирозерцания в «Introduction to the principles of moral and legislation»³, он сделался известным на материке Европы главным образом благодаря тому, что нашел в лице своего французского друга Дюмона прекрасного популяризатора своих воззрений. Так, например, только что названный трактат появился в свет лишь в 1789 г. во французской обработке Дюмона под заглавием «Principes de legislation»; да и с последующими трудами Бентама европейская публика знакомилась большей частью по французским обработкам того же Дюмона. Французская революция заставила английского мыслителя поднять множество вопросов, и в первые же

¹ Род. 1748, ум. 1832. О нем см. у Robert von Mohl (Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften, т. III), проф. Яроша (Иеремия Бентам и его отношение к учению естественного права, 1889) и др.

² «Отрывок о правительстве» (англ.). — Прим. ред.

³ «Введение в основы нравственности и законодательства» (англ.). — Прим. ред.

ее годы он написал *Essay on political tactics*¹ (Дюмон: «*Essai sur la tactique des assemblées législatives*») и «*On the cod for the organisation of the judicial establishment of France*»² (появившийся сначала в «*Courrier de Provence*»³), за что законодательное собрание декретом 26 августа 1792 г. дало ему вместе с некоторыми другими выдающимися современниками права французское гражданство. Когда Бентам посетил Францию в эпоху Амьенского мира, то был избран в члены Института. И позднее во Франции Бентам пользовался такой известностью, что в 1829 г. было даже основано особое периодическое издание для пропаганды его идей («*L'Utilitaire*»⁴). Известно также, какой популярностью пользовалось имя Бентама в русском обществе начала XIX в., когда Александр I с кружком своих друзей мечтал о широких законодательных реформах и по этому случаю вступил в личные сношения со знаменитым английским юристом⁵. Многочисленных поклонников имел Бентам и по ту сторону Атлантического океана: законодательство некоторых штатов Северной Америки сложилось под несомненным влиянием его идей, а испанские колонии, освободившиеся от метрополии, равным образом высоко ценили его советы и указания. Наконец, к нему же за советами и просьбой о заступничестве обращалось в начале двадцатых годов и греческое революционное правительство. Но Бентам не был зато пророком в своем отечестве, так как его критика существующих порядков совсем не приходилась по вкусу реакционному настроению общества и слишком противоречила общей английской привычке относиться с уважением к историческим традициям своей родины. Лишь мало-помалу завоевал себе Бентам почетное положение и в английском обществе, когда именно движение в пользу парламентской реформы, за которую он стоял, начало достигать своей цели.

Бентам в своей политической теории исходил, как и писатели XVIII в., не из исторических, а из рационалистических положений, но идеалистическую идею естественного права он заменил реалистическим принципом пользы. В этом отношении он был, — как и сам признавался в этом, — последователем Гельвеция, который сводил всю нравственность и все законодательство к принципу общей пользы, т. е. пользы наибольшего числа людей. У Бентама было даже прямое отвращение вообще к метафизике, лежавшей в основе естественного права. «В то время, — говорил он, например, — как Ксенофонт писал свою историю, а Эвклид создавал геометрию, Сократ и Платон писали пустяки, под предлогом преподавания мудрости и нравственности». В одном из своих сочинений он прямо назвал Платона верховным мастером в произ-

¹ «Очерк политических систем» (англ.). — *Прим. ред.*

² «О своде законов для организации судебных учреждений во Франции» (англ.). — *Прим. ред.*

³ «Курьер Прованса» (фр.). — *Прим. ред.*

⁴ «Полезный журнал» (фр.). — *Прим. ред.*

⁵ *Пыпин А.Н.* Русские отношения Бентама. Вестн. Евр., 1869; *Проф. Иконников.* Граф Мордвинов и его время, 1873.

ведении бессмыслицы. У французских материалистов XVIII в. Бентам заимствовал идею, по которой руководящие мотивы всей человеческой деятельности следует искать в удовольствии и страдании. Этот принцип он считал уже не требующим доказательства, ибо последнее и невозможно, и бесполезно: ведь нужно же принять какой-либо исходный пункт для цепи положений, вытекающих одно из другого, но предполагающих первое положение, которое уже само не может быть ничем доказано. Раз, однако, рассуждает далее Бентам, принятое начало истинно, все другие начала, конечно, должны считаться ложными. «Природа, — так формулирует он свой основной взгляд на мораль, — поставила человека под власть удовольствия и страдания. Им мы обязаны всеми нашими понятиями; к ним мы относим все наши суждения, все действия нашей жизни. Тот, кто думает освободиться от этого подчинения, не знает сам, что говорит. Единственная его цель — искать удовольствия и избегать страдания в ту самую минуту, когда он отрекается от величайших удовольствий и идет навстречу самым жестоким страданиям. Эти вечные и неодолимые чувства должны быть главным предметом моралиста и законодателя. Начало пользы все подчиняет этим двум побуждениям». Не касаясь здесь вопроса о том, насколько утилитаризм удовлетворителен как теория, объясняющая генезис нравственности, — а в этом отношении он именно весьма неудовлетворителен, — мы должны остановиться лишь на практическом выводе, который Бентам делал из своих теоретических воззрений, хотя бы и этот вывод был недостаточно логичным, если разбирать всю доктрину с философской точки зрения. «Общее счастье, — говорит Бентам, — должно быть целью законодателя; общая польза должна быть основанием суждений о законодательстве. Основанием деонтологии¹ будет, таким образом, начало пользы, или, другими словами, то, что действие считается добрым или дурным, что оно заслуживает похвалы или порицания соразмерно с его стремлением увеличить или уменьшить сумму общественного счастья». Впоследствии Бентам заметил, что общее благо — выражение слишком растяжимое, так как понимаемое в смысле суммы интересов частных лиц, оно может заключать в себе стремления, осуществимые лишь на счет чужого блага, а потому и заменил принцип общей пользы принципом «наибольшего счастья наибольшего количества людей». В конце, однако, и эта формула его не удовлетворяла, поскольку из нее должно вытекать требование принесения счастья меньшинства в жертву счастью большинства: тогда он выразил свой основной принцип как максимизацию счастья в смысле доведения его до высшей степени, где бы то ни было и когда бы то ни было.

Утилитаризм Бентама впоследствии сделался основанием демократических требований, заменив собой отвлеченное естественное право Руссо² и,

¹ Учение о должном. Под заглавием «Деонтология» вышло в свет одно из позднейших сочинений Бентама.

² См. т. III, где сопоставляются взгляды Руссо и Гельвеция.

между прочим, получив применение к вопросам чисто социального характера¹. Принцип «наибольшего счастья наибольшего количества людей» в существе дела глубоко демократичен, и именно под влиянием этой своей идеи сам Бентам мало-помалу перешел на демократическую точку зрения. Когда в начале Французской революции издана была знаменитая «декларация прав человека и гражданина», основанная на идее естественного права, Бентам подверг ее острой критике в своих «Анархических софизмах», доказывая, что никогда не существовало никаких естественных, неотчуждаемых и священных прав, что признание их могло бы только сбить с толку законодательную и исполнительную власть, что они несовместимы ни с каким государственным устройством и что, требуя этих прав, граждане обнаруживали бы, в сущности, лишь чисто анархические стремления. В своих нападках на декларацию прав Бентам, конечно, исходил не из того консерватизма, коим отличается вся полемика Берка, потому что все ссылки на исторические традиции он, согласно с общим духом своей философии, называл доказательствами на китайский манер, но именно самый принцип общей пользы должен был привести Бентама к демократическому выводу. И этот вывод был им сделан. В своих «Руководящих началах для конституционного кодекса, приложимого ко всякому государству» (1822) он весьма ясно выразил основную мысль этого своего конституционного кодекса. «Числительный алфавит, — говорит он, — служил мне руководителем, и им я измерял ту степень покровительства, которую мой кодекс оказывает людям. Мне показалось, что два человека имеют вдвое более права на это покровительство, чем один, три — втрое, четыре — вчетверо и т. д. Отсюда я заключил, что главным предметом моей заботы должны быть масса граждан и безопасность и благосостояние целого народа». Отсюда Бентам сам еще не делал социалистических выводов, ибо отрицал, подобно другим либералам эпохи, государственное вмешательство в экономическую жизнь, полагая, что личный интерес лучше всего может регулировать все отношения экономического характера, — и вместе с тем защищал полную свободу и неприкосновенность частной собственности. Мало того, при всем своем человеколюбию, составляющем одну из наиболее привлекательных черт деятельности Бентама, он вооружался против благотворительных мероприятий, невозможных, по его словам, без обложения труда в пользу лени. Но зато в сфере чисто политической он явился настоящим теоретиком и проповедником демократии. Правители, думал Бентам, вообще склонны более всего заботиться о себе, и потому монарх вообще являлся в его представлении, как рабовладелец — только в самых обширных размерах. Он вооружался и против двухпалатной системы представительства, находя, что собрание, выбираемое и сменяемое большинством граждан, не должно встречать помехи со стороны собрания,

¹ Ср. об этом в последнем отделе настоящего тома.

не зависящего от этого большинства. Все его сочувствие было на стороне представительной демократии. «Везде, — говорит он, — за исключением хорошо устроенной представительной демократии, немногие правящие и имеющие влияние суть враги многих, состоящих в подчинении, враги в мыслях, так же как и в действии. И по самой природе человека, пока правительство, каково бы оно ни было не уступит места представительной демократии, они останутся вечными и непримиримыми врагами». Через все идеальное государственное устройство Бентама проводится принцип всемогущества большинства. Народу непосредственно принадлежит учредительная власть, а все остальное он делает через своих поверенных. Подача голосов должна быть всеобщая, тайная, для всех равная и ежегодная. С точки зрения равенства прав и нужды в защите, быть может, большей, чем у мужчины, Бентам не находил никаких оснований, кроме предрассудка, исключать и женщин из пользования избирательным правом. Таким образом, на принципе наибольшего счастья наибольшего количества людей Бентам строил совершенно демократическую политическую теорию, кладя этот же принцип и в основу своей критики других политических учений. Например, он отрицал разделение властей, ибо, по его словам, оно не только не имеет прямого отношения к принципу наибольшего счастья наибольшего количества людей, но даже вредно, поскольку ограничивает то, что только и нужно с этой точки зрения, т. е. верховенство народа. Таким образом, Бентам, исходя лишь из иных начал, приходил к демократическим выводам, напоминающим воззрения Руссо и Мабли: в этом отношении его политическая теория была очень далека от конституционных учений тогдашнего либерализма, выразившегося лучше всего в сочинениях Бенжамена Констана. Понятно, что Бентам был одним из наиболее видных деятелей парламентской реформы в Англии¹, будучи самым видным представителем демократического радикализма.

Агитация посредством прессы и митингов, кроме парламентской реформы, добивалась в Англии в эту эпоху еще другой политической цели, встречавшей большое несочувствие в рядах всех английских реакционеров. Прежде, нежели в 1832 г. — да и то под влиянием сильного народного движения, которое само отразило на себе июльский переворот во Франции, — был решен вопрос о парламентской реформе, хотя далеко не в смысле демократических требований, общественному мнению страны удалось путем легальной агитации, сделавшейся снова возможной после прекращения действия реакционных законов 1819 г., добиться так называемой эмансипации католиков.

Известно, что в Англии в эпоху Реформации установилась государственная церковь, получившая название англиканской или епископальной, и что английские католики в силу изданного в XVII столетии акта о присяге (test-act 1673) лишены были права занимать какие бы то ни было государст-

¹ Bentham's radical reform bill, 1819.

венные и общественные должности, а также быть членами парламента. Таким положением особенно тяготилась Ирландия, громадное большинство населения которой принадлежало к Римской церкви: исключение католиков из права быть членами парламента только увеличивало и без того тягостное положение ирландцев. Мы видели уже, что вследствие сделанной в конце XVIII в. попытки восстания Ирландия лишилась собственного парламента и что представители ее населения стали с 1800 г. заседать в лондонском парламенте¹, что еще ухудшило положение ирландцев. Соединяя Ирландию с Англией воедино, Питт думал, однако, не только о том, чтобы обезопасить Англию, но и о том, чтобы положить начало примирению ее с Ирландией. Одним из лучших средств для достижения этой цели он считал уравнивание в правах католиков с протестантами, указывая на то, что такая мера расположила бы в пользу Англии влиятельное католическое духовенство страны. Он думал поэтому отменить *test-act*, вместо которого, по его мнению, достаточно было бы общей присяги на подданство и на верность конституции, но его предложение не нашло сочувствия в других членах кабинета, а когда о нем узнал Георг III, то решительно заявил, что принятие подобной меры противоречило бы присяге, которую он дал при коронации. Королю притом очень хотелось найти какой-либо повод, чтобы заставить Питта подать в отставку, так как этот министр не был простым орудием в его руках, и Георг III достиг своей цели: Питт действительно вышел в отставку. Затем в министерство лорда Гренвиля дело было снова поднято в форме вопроса о разрешении католикам занимать офицерские места, но и лорду Гренвилю Георг III объявил, что он не должен ни в каком случае возбуждать этот вопрос. Так как первый министр не пожелал подчиниться такому требованию, то точно так же вышел в отставку. Но особенным защитником этой меры сделался Каннинг, не перестававший чуть не из года в год поднимать этот вопрос: ему удалось уже в 1812 г. склонить на сторону эмансипации католиков большинство кабинета лорда Портленда и благополучно провести в этом смысле билль через палату общин, но верхняя палата его отвергла. Одновременно с этим в Ирландии происходила сильная народная агитация путем прессы и митингов в пользу отмены законов, лишавших граждан католического вероисповедания политической правоспособности, и в Англии эта агитация нашла поддержку среди местных католиков и либералов. Эмансипационное движение начало проявляться с особой силой,

¹ История Ирландии в XIX в. заслуживает особого рассмотрения, которое нами и будет сделано впоследствии; здесь же указываем на литературу предмета. Кроме общих историй Ирландии Havery (1860), Mitchel'я (1869), Richey (1869), Mac-Gee (1870), Walpole (1882), O'Konnor'a (2-е изд. 1886) и др., см.: *Gilbert*. History of the irish confederation, 1882—1891; *Daunt*. Eighty-five years of irish history (1800—1885), 1886; *Pressensé*. L'Irlande et l'Angleterre (1880—1888), 1889; *Montgomery*. History of land tenure in Ireland, 1889; *Кайцки*. Ирландия (Рус. Богатство, 1894). По церковным отношениям: *Killen*. The ecclesiastical history of Ireland, 1875; *Bellesheim*. Gesch. der katholischen Kirche in Irland bis auf die Gegenwart, 1890—1891.

когда за дело взялся ирландский адвокат Даниэль О'Коннель, человек, отличавшийся пламенным патриотизмом, замечательным красноречием и выдающимся организаторским талантом¹. В первый раз он выступил в роли устроителя митингов при помощи особого католического комитета в 1809 г. Уже тогда агитация О'Коннеля имела громадный успех в Ирландии и нашла сочувственный отклик в общественном мнении самой Англии; но парламент продолжал упорно отвергать вносившиеся в него билли об эмансипации католиков. Особенно широкие размеры приняло это движение с О'Коннелем во главе с 1823 г., когда для объединения всех католиков была основана католическая ассоциация (Catholic association) с центральным комитетом (Central association) в Дублине, руководившим действиями многочисленных филиальных отделений во всей стране и даже взимавшим особый ежемесячный сбор (Catholic rent) в пользу агитации. Английский парламент, встревоженный успехом этой ассоциации, биллем 1825 г. закрыл ее на три года. О'Коннель посоветовал своим приверженцам самим распустить ассоциацию, но вместо нее была основана новая, поставившая своей целью организовать благотворительность и просвещать народные массы; когда же окончился срок, на который была закрыта католическая ассоциация, она немедленно возродилась в прежнем своем виде и повела еще более энергичную, чем прежде, агитацию. В 1828 г. эта ассоциация была уже весьма грозной политической силой, с которой нельзя было не считаться и парламенту, так как за нее было поголовно все население Ирландии. Сам О'Коннель был выбран в члены палаты общин несмотря на то, что был католиком. На правительство это избрание произвело особенно сильное впечатление. Торийское министерство Веллингтона вынуждено было идти на уступки, чтобы избежать грозившего стране междоусобия, и тронная речь 1829 г. уже прямо возвещала о необходимости пересмотра законов о правах католиков, причем, однако, возвещался и другой билль — о разрешении лорду-наместнику Ирландии закрывать всякие общества и собрания, которые он найдет опасными. Ввиду близкого решения вопроса в благоприятном смысле католическая ассоциация закрылась по собственному своему решению, показав английскому народу, какими путями и он должен был добиваться своей политической эмансипации. С большими затруднениями только — между прочим, и со стороны Георга IV — прошел, наконец, билль 1829 г. об эмансипации католиков, сопровождавшейся некоторыми изменениями избирательного права в Ирландии². Мера эта, на которую ирландские патриоты возлагали все свои надежды и с которой английские консерваторы и реакционеры связывали разные опасения относительно государственного строя

¹ *O'Connel J. Life and speeches of Daniel O'Connel, 1846—1847; Cusack. The liberator, his life and times, 1872.*

² Об этом см. в истории парламентской реформы в т. V.

и установленной церкви Англии, в сущности, не оправдала ни этих ожиданий, ни этих страхов.

Результатами этой победы принципа религиозной свободы над традиционной политикой английской государственной церкви должны были воспользоваться и другие диссиденты. Хотя они (за исключением унитарских сект) пользовались в Англии свободой еще с конца XVII в., тем не менее их правоспособность была значительно стеснена *test-act*'ом и другими аналогичными законами. В сущности, поход против *test-act*'а начался еще гораздо раньше и не в пользу одних католиков, но и в пользу диссидентов вообще. В этом смысле его отмены требовали еще в 1787, 1789, 1790 (предложение Фокса) гг.; затем требовали смягчения и некоторых других законов, стеснительных для диссидентов. Например, в 1792 г. Фокс добивался религиозной свободы для унитариев, но потерпел поражение, в силу чего парламентское голосование, отвергшее его предложение, прямо получило значение закона, по которому можно было наказывать унитариев прямо за их религиозные мнения. Лишь в 1813 г. парламент согласился на меру, предлагавшуюся двадцатью годами раньше, но даже и в двадцатых годах билли о признании законности унитарских браков не имели никакого успеха. Далее, в 1796 и 1797 г. в парламент обращались квакеры с просьбой освободить их от противных их совести платежа десятины в пользу англиканской церкви и обязанности давать под присягой свидетельские показания на суде, но и билли, внесенные в парламент в этом смысле, точно так же были отвергнуты громадным большинством. Уничтожение *test-act*'а не устраняло требования от лиц, занимавших государственные и общественные должности, общей присяги на верность; но некоторые секты не признавали вообще никакой присяги. Лишь в 1833 г. парламент допустил заседать в палате общин квакера Пиза (Pease) под условием простого обещания и издал общее постановление, в силу коего квакеры, моравские братья и репаратисты во всех случаях могут заменять клятвенное обещание простым утверждением. В 1830 г. было сделано, наконец, первое предложение в парламенте об уравнении в правах и евреев, но их «эмансипация» совершилась лишь тридцатью годами позже эмансипации католиков¹.

Наш очерк истории Англии в первые десятилетия XIX в. был бы не полон, если бы в нем не нашел места великий поэт эпохи лорд Байрон², который в своей поэзии выражал, между прочим, одну из главных идей своего времени — идею духовной и политической свободы. Байрон родился всего за год до начала Французской революции (1788) и сделался пэром Англии, будучи еще десятилетним мальчиком. В первый раз он выступил

¹ См. сочинения по истории евреев в Англии Goldschmidt'a (1886) и Schaible (1890).

² Moore. Letters and Journal of lord Byron; Lord Byron jugé par les temoins de sa vie, 1868; Jeafferson. The lord Byron, 1883; Elze. Lord Byron, 1880 (есть рус. пер.); Брандес Г. Байрон и его произведения, 1889 (перевод из его Hauptströmungen).

на литературное поприще со сборником своих стихов в 1807 г., девятнадцати лет от роду. Сначала его совсем не интересовали события внутренней и внешней истории Англии в эту бурную эпоху, но обстоятельства его личной жизни уже и тогда настраивали его оппозиционно против высшего английского общества. В 1809 г., когда Байрон достиг совершеннолетия, он явился в палату лордов, чтобы занять свое место, но только посидел на одной из скамей оппозиции, чтобы показать, к какой партии он принадлежит. В том же самом году он отправился путешествовать и прежде всего посетил Португалию и Испанию, где в то время велась война с французами, причем в военных действиях принимал участие и английский отряд. Тут впервые начал Байрон особенно интересоваться политикой, но в смысле весьма неблагоприятном для политического направления своей родины, главного врага Наполеона, которого он даже осмелился назвать своим героем (в «Чайльд-Гарольде»). В дальнейших своих странствованиях (Мальта, Албания, Греция, Турция) Байрон все более и более захватывался вопросами современности, что отражалось и на его поэзии, сообщая ей совершенно новый дух. По возвращении на родину он скоро сделался литературной знаменитостью благодаря своему «Чайльд-Гарольду», который стал выходить в 1812 г. В том же году он сказал в парламенте две речи оппозиционного характера. Первая была произнесена в защиту бедных коттингемских рабочих, разрушивших ткацкие машины и тем вызвавших против себя репрессивные меры: Байрон доказывал в своей речи, между прочим, что если бы англичане не пожалели дать несчастным и голодным рабочим своим хотя бы десятую часть тех денег, какие они посылают португальцам для ведения войны с Наполеоном, то и не было бы той нужды, которую они хотят исцелять тюрьмой и казнями. Другая речь Байрона была произнесена в защиту эмансипации католиков. Но на родине Байрон долго не ужилась и в 1816 г. навсегда покинул Англию, крайне раздраженный против того реакционного направления, которое господствовало в английском обществе. Одним из главных мотивов его поэзии в это время сделалась любовь к свободе во всех ее проявлениях, начиная свободой мысли. «Все ж, — говорит он в "Чайльд-Гарольде", — будем размышлять мы смело. /Бесчестно отступать от прав: /Мысль наше право, наше дело, /И я храню ее устав. /Хоть с дня рождения мысль в нас гнали, /Водили к пыткам и на казнь, /Терзали, жгли и оскорбляли; /Хотя завистливо боязнь /Ее во мраке содержала, /Чтоб с светом не жил человек, /Но все ж порою видел век, /Что мысль лучом своим сияла, /И мы узнали наконец, /Что прозревает и слепец». С точки зрения свободы смотрел он на людей и события своего времени. Например, для Байрона Георг III был прежде всего государем, который, «не будучи тираном, сам покровительствовал тиранам». «Он умер, — говорит о нем Байрон, — оставив после себя подданных — половину такую же безумную, как он, а другую — не менее его слепою...» «Постоянно, — говорит он еще о Георге III, — шел он войной на

свободу и свободных людей: народы и отдельные лица, его подданные и иностранцы, чуть произносили слово “свобода” тотчас же непременно находили в Георге III своего первого врага. Где государь, история которого запятнана бы столькими бедствиями, национальными и частными?» С точки зрения той же самой свободы он смотрел и на Французскую революцию. Хотя Франция и совершила великое множество преступлений и на развалинах старого воздвигла такие же здания бесправия и гнета, какие только что были разрушены, тем не менее Байрон верит, что «не будет длиться это долго»: «Но все же ты жива, свобода! /Твой стяг, изорванный кругом, /Стоит святыней у народа; /Твой голос, слышный словно гром, /Теперь усталый, грянет снова» и т. д. В оде «Ватерлоо» (1815) Байрон предсказывал победу благодаренной свободы и образование союза человечества, которому ничто не будет в состоянии противостоять. Известно, что Байрон одно время сильно увлекался Наполеоном, но в конце концов он порицал Наполеона за то, что мир был лишен им свободы. «О небо, — восклицает, например, Байрон (в *Age of bronze*¹, 1823), — которого могущество он представлял собой! О земля, имевшая его одним из своих благороднейших созданий!. Увы! зачем перешел он Рубикон — Рубикон прав, снова завоеванных человеком, чтобы смешаться с толпой королей и паразитов?.. Один шаг на хорошем пути сделал бы из этого человека Вашингтона угнетенного мира; один шаг на пути ложном отдал его всем ветрам небесным... Он был поочередно тростником фортуны и розгой королей, Молохом или полубогом славы, Цезарем своей страны, Аннибалом Европы, не сохранив в своем падении их приличного достоинства. А между тем само тщеславие могло бы указать ему путь к славе, более надежный избранного им, показав ему в летописях истории тысячу победителей на одного мудрого». Надежды на то, что падение властелина повлечет за собой восстановление свободы не оправдались, и вот как Байрон в «Чайльд-Гарольде» изобразил результаты низвержения Наполеона. «Погибла власть с громадной славой, /Герой раздавлен был судьбой /И потащил он за собой /Обрывки цепи той кровавой, /Которой мир он обвивал /И в рабстве нации держал. /Правдивый суд! Пусть галл кусает /Свои стальные удила /И пеной цепи покрывает. /Но где ж свобода? Что дала /Победа над одним владыкой? /Иль снова рабство воскрешать /И вновь в лохмотья наряжать /Тот идол, некогда великой? /Затем ли свергнули мы льва, /Чтоб пред волками преклоняться, /Шептать ли робости слова /И в новом рабстве унижаться? /Так не сплетайте же венков: /Победа ваша стыд веков». Легитимизм, Священный союз и реакционная политика Кэстльри нашли в Байроне одного из наиболее резких своих противников. Живя в той части Италии, которая по Венскому трактату досталась Австрии, он хорошо мог видеть, какой гнет наложила реакция на итальянскую нацию, и в своих двух венецианских драмах

¹ Бронзовый век (англ.). — Прим. ред.

«Марино Фальери» и «Двое Фоскари» он, в сущности, хотел создать призыв к итальянскому патриотизму для борьбы с притеснителями нации. Свободу и обманутые надежды он оплакивает еще в «Оде к Венеции» (1819): «Нет более надежд для наций: все почило. /Взгляни на сонм страниц промчавшихся веков: /Одно и то же все, один прилив часов /И их отлив, что много раз уж было /И что нас ничему почти не научило... /Скажите мне вы, кровь за ваших королей /Пролившие в боях и спящие спокойно, /Что сделали они для ваших сыновей? /Обременили их тяжелыми цепями, /Воздвигли стены вокруг и сделали рабами... /Республика главу склонила в трех частях /Стенящей вокруг земли: Венеция во прах /Затоптана врагом, Голландия склонилась /Пред скипетром золотым и в пурпур облачилась, /И если между гор Гельвеция одна /Красуется еще, как вольная страна, /То не надолго» и т. д.

При таком общем настроении немудрено, что Байрон стал ощущать в себе своего рода революционный задор и кончил тем, что стал работать для свободы не одной своей поэзией. Свое политическое credo он очень хорошо выразил в следующих стихах «Дон-Жуана»: «Теперь одним желаньем я сгораю /Вести войну, хоть на словах пока, /Бой против всех, кто нашу мысль стесняет! /Тираны и льстецы! моя рука /Мишенью для себя вас избирает. /Кто победит? Не знаю, но всегда, /Не уставая долгие года, /Я ненавижу буду бесконечно /Всех, кто народом правит бессердечно. /Но пусть хранит всех сильных рок! /Ведь им не ждать охраны от народа. /Я словно пенье птички подстерег: /Она поет, что в мир идет свобода. /И кляча принимается лягать, /Когда хомут начнет ей шею жать; /И Иова терпенье, вероятно, /Не долго людям будет так приятно. /Толпа ворчит сначала; как Давид, /Потом бросает камни в великана /И наконец с оружием бежит, /Ожившая от гнева и обмана. /И тут начнется бой, заблещет сталь. /При этом мог воскликнуть я: как жаль, /Но убежден, что общее движение /Спасет весь шар земной от осквернения». Сам Байрон признавался в 1813 г. в том, что «чрезвычайно упростил свою политическую теорию: теперь она состоит в том, чтобы смертельно ненавидеть все существующие правительства». Около того времени, когда вспыхнула итальянская революция, он писал: «Они (карбонары) намерены организовать восстание и должны почтить меня приглашением. Конечно, я не откажусь, хотя по совести считаю их слишком ничтожными числом и мужеством, чтобы ожидать от них многого. Но вперед! Что такое я? Один человек или миллион людей — это все равно: самое важное тут — распространение духа свободы. В подобных случаях личные расчеты должны отходить на второй план и уж, разумеется, не меня можно будет заподозрить в подобном поползновении». В Италии Байрон довольно рано сошелся со многими карбонарами и начал даже играть между ними некоторую роль, а когда вспыхнула революция в Неаполе, то он послал революционному правительству тысячу лундиров для борьбы со Священным союзом. Пользуясь положе-

нием английского пэра, у которого полиция, как он думал, никогда не осмелилась бы сделать обыска, он прямо устроил у себя в доме (в Равенне) склад революционных прокламаций и оружия, хотя в конце концов и ему пришлось переселяться из одного итальянского государства в другое.

Одним из последних произведений музыки Байрона с политическим содержанием был его «Бронзовый век», в котором он, как и в «Дон-Жуане», выступил борцом за всех страждущих — за негров-невольников, за несчастных ирландцев, за итальянских патриотов — и бичевал английскую политику за то, что она шла на привязи легитимизма и Священного союза. В политике Байрон кончил совершенным переходом к радикальной оппозиции. Нужно, однако, вообще заметить, что в его политических стремлениях и действиях было гораздо больше чувства и порывов, чем сознательной мысли и упорства. В качестве лорда он имел полную возможность развить широко свою политическую деятельность, но он этим пренебрег как делом слишком прозаическим, оказав, наоборот, предпочтение итальянскому карбонаризму, в котором, по выражению его, политика превращалась в поэзию. «Моя политика, — писал он однажды, — подобна молодой возлюбленной старика: чем она неприступнее, тем более я в нее влюблен. В этом деле я менее всего забочусь о последствиях». Отсюда те противоречия, в какие он впадал, громя, например, деспотизм и в то же время с любовью останавливаясь в своей поэзии на деспотических характерах, рисуя притом в своих героях, в сущности, самого себя. Байрон мог поэтому одновременно поклоняться столь несходным деятелям истории, как Наполеон и Вашингтон, да и отношение его к Наполеону было чисто поэтическое: в укор ему после его падения Байрон ставил главным образом то, что он не сумел вовремя умереть и не обнаружил величия духа при отречении от престола. В войне Наполеона с союзниками сочувствие поэта было на стороне первого, и хотя «лев» был не меньшим деспотом, чем «волки», пришедшие к нему на смену, Байрон никогда не громил так его деспотизм, как делал это по отношению к Священному союзу. Конечно, Наполеон сильнее действовал на воображение, чем три государя, заключившие между собой союз, «дабы заменить одного Наполеона», и в этом отношении не один Байрон относился к «великому императору» с поэтической точки зрения, перед которой политические соображения отступали на задний план. В 1823 г. Байрон, как известно, уехал в Грецию, чтобы здесь вести борьбу за ее свободу и найти преждевременную кончину (1824), и вот в это время он сам же начинает указывать другим вождям восстания на необходимость считаться с желаниями того самого Священного союза, который прежде он всячески осмеивал и бранил, — и питать надежду на то, что союзники окажут грекам помощь. В самом этом участии Байрона в греческом восстании большую роль играли жажда сильных ощущений и честолюбивые мечты. Такой человек, конечно, не мог стать настоящим

политическим деятелем, но зато его поэзия, проникнутая духом свободы и протестом против реакционной тирании, сама по себе получила громадное историческое значение, оказав влияние на современников и ближайшее потомство в смысле культа той самой свободы, которую он прославлял в своих стихах. Но нужно прибавить, однако, что это влияние сказалось гораздо сильнее на материке, чем в самой Англии.

Социальная история первой
трети XIX в.

XXII. Существенное содержание социальной истории XIX в. и ее изучение

Происхождение и характер социального строя Новейшего времени. — Влияние на него Французской революции. — Общее значение экономического переворота конца XVIII и начала XIX в. — Крестьянский и рабочий вопросы в XIX в. — Политическая экономия в ее отношениях к буржуазии и либерализму. — Оппоненты политической экономии. — Зарождение утопического социализма. — Содержание следующих глав. — Важнейшие труды по социальной истории XIX в. вообще и первой его трети в особенности. — Общий взгляд на социальную историю в XIX в.

В предыдущих отделах настоящего тома мы рассмотрели политическую и культурную историю Западной Европы с исхода XVIII в. до конца 20-х гг. XIX столетия, поставив главной своей задачей проследить судьбу новых начал духовной и государственной жизни, провозглашенных «просвещением» XVIII в. и Французской революцией, но встретивших сильное противодействие со стороны старых традиций, интересов и привычек. Нам приходилось при этом касаться отчасти и социальной истории за тот же период времени, поскольку это было необходимо для понимания культурной и политической борьбы, бывшей главным предметом предыдущих отделов этого тома. Теперь мы переходим к рассмотрению социальной истории самой по себе за тот же период времени, причем на первый план выдвигаем экономическую сторону этой истории — как в области фактов, характеризующих эпоху, так и в области идей, на которые эти факты наводили мыслителей и деятелей эпохи. Мы уже знаем, что борьба между новыми и старыми началами культурной и политической жизни, т. е. борьба между либерализмом и реакцией, совпадала до известной степени с той борьбой, какую вели между собой два наиболее просвещенных и обеспеченных общественных класса — буржуазия и аристократия с их разными культурно-политическими стремлениями, унаследованными еще из весьма давней старины, и с их неодинаковыми социально-экономическими интересами, имевшими свою основу у одних — в обладании капиталами, у других — в землевладении. Мы видели, далее, что целью стремления аристократии было восстановление или сохранение старых принципов политического и юридического неравенства, тогда как буржуазия, наоборот, стремилась к уничтожению каких бы то ни было сословных привилегий. В этом последнем отношении интересы буржуазии совпадали с интересами народа, поскольку именно все, что страдало от существования аристократических привилегий, выигрывало при установлении равенства

всех граждан государства перед законом. Для крестьянской массы замена старого сословного строя бессословным гражданством сопровождалась личным освобождением от крепостной зависимости и снятием с земли лежавших на ней феодальных повинностей: и то и другое входило в программу как революционной пропаганды, удержанную и Наполеоном, так и в программу либерализма реставрационной эпохи, тогда как реакция, наоборот, отличалась крепостническими и феодальными стремлениями. В некоторых отношениях у буржуазии были, далее, общие интересы и с низшими классами городского населения, поскольку все непривилегированные страдали от одних и тех же несправедливостей «старого порядка». Но вот старые социальные отношения рушились: прежние общественные деления стали заменяться теперь весьма простым делением всего населения на имущих и неимущих, раз не существовало более никаких сословных перегородок и оставалось только одно имущественное неравенство. Ранее всего в Англии, в которой вообще сословный быт не получил развития, произошло слияние в одном правящем классе землевладельческих и капиталистических элементов, оградивших себя от остальной массы населения высоким избирательным цензом. Французская буржуазия, выступившая в 1789 г. под знаменем демократических идей, в эпоху Реставрации равным образом составляла, благодаря тому же высокому избирательному цензу, особый общественный класс, к которому принадлежало и отныне землевладельческое дворянство. По мере того как падали старые основы социального могущества дворянства, а дворянские земли переходили, кроме того, в руки буржуазии, самый этот правящий класс все более и более получал чисто буржуазный характер, пока, наконец, под буржуазией не стали разуместь вообще известный общественный слой, какого бы происхождения — аристократического или плебейского — ни были отдельные его члены, в чем бы ни заключалась экономическая основа его социального значения, т. е. в земле или в капитале, в сельском ли хозяйстве или обрабатывающей промышленности, в торговле, в денежных спекуляциях и т. п. Поэтому только благодаря отмене юридических привилегий могло выработаться то понятие о буржуазии, которое сделалось ходячим во второй половине XIX в.: именно в настоящее время «буржуа» обозначает не горожанина в противоположность к деревенскому жителю и не плебея в отличие от благородного, а человека, принадлежащего к известному общественному классу, выделяемому из народной массы на основании чисто экономического принципа. «Буржуазия, — писал в сороковых годах Луи Блан, — есть совокупность граждан, которые, владея орудиями труда или капиталом, могут, не порабощаясь, развивать свои способности и зависеть от других людей только в известной степени. Народ, — продолжает он, — есть совокупность граждан, которые, не владея орудиями труда, не находят в себе самих средств развития и зависят от других в том, что относится к первым надобностям жизни». В этом различении, сделанном одним из

первых писателей, который стал, таким образом, противопоставлять буржуазию и народ в политической и исторической литературе¹, все дело именно в «орудиях труда и капитале», которые одни в бессословном гражданстве, созданном на материке Европы Французской революцией, и являются основой социального неравенства, которое само сделалось, благодаря избирательному цензу, основанием политического господства буржуазии. В этом смысле хорошее дополнение к определению буржуазии, данному Луи Бланом, мы находим в следующих словах Лассаля: «Но и крупный промышленник, обладая капиталом и извлекая из него прибыль, еще не буржуа. Но когда он, не довольствуясь фактическими выгодами крупной собственности, стремится еще сделать из своего владения, из капитала — условие участия во власти над государством, в направлении государственной деятельности, тогда только становится он буржуа, из факта владения делает он правовую основу политического владычества, выставляет себя как члена нового привилегированного класса в народе, который хочет основать общественные учреждения на своей привилегии обладания капиталом, как в Средние века дворянство основывало их на привилегии крупного землевладения». Прежде всего, организовалось политическое господство буржуазии в Англии, где ему благоприятствовало раннее исчезновение такой сословности, какая развилась на материке, а что правящий класс Англии основывал свою власть именно на своем имущественном значении, это лучше всего доказывается тем страхом, какой внушали ему демократические стремления и движения эпохи. Французская буржуазия, сбросившая с себя в 1789 г. иго аристократических привилегий, пошла по тому же самому пути, который, в сущности, сделался вообще путем буржуазии всюду, где только падали старые сословные перегородки.

Рассматривая социальный строй Новейшего времени на материке Западной Европы, мы не должны забывать, что во многих отношениях он является созданием Французской революции. Уничтожив аристократические привилегии, революция содействовала возвышению буржуазии, заставив само дворянство стать в ее собственные ряды, поскольку основой господствующего положения в обществе сделалось теперь не благородство происхождения, а обладание собственностью. Упразднив крепостничество и феодальные права, она сокрушила прежнее значение землевладельческой аристократии, основывавшееся на известной совокупности особых прав над сельскими жителями и их землей, превратив дворян в простых собственников, пользующихся совершенно таким же положением, какое заняли в бессословном гражданстве крупные землевладельцы и из буржуазии. Наконец, отменив все стеснения, какие «старый порядок» налагал на промышленность и труд, революция содействовала развитию в новую сторону, и притом в сторону, выгодную опять-таки для буржуазии, и тех отношений, какие существовали раньше

¹ Существовало такое словоупотребление еще и в XVIII в.

между различными классами городского населения. Одним словом, своими политическими и юридическими преобразованиями революция оказала могущественное действие на социальную трансформацию Западной Европы, сняв с экономических отношений между отдельными личностями и целыми общественными классами те государственные и правовые ограничения, которые препятствовали свободной борьбе самих экономических сил и интересов. Но это одно действие новой политики, в свою очередь вытекавшей из новых идей, не может еще объяснить нам всей социальной истории Новейшего времени. Новая политика осуществляла принципы равенства и свободы и тем самым ставила старые социальные классы в новые взаимоотношения и создавала новые условия для той борьбы, какая велась между этими классами на почве экономических интересов, главным образом устраняя все то, что препятствовало свободе этих взаимоотношений и этой борьбы. Помимо указанной социально-политической революции, имевшей значение лишь на материке Западной Европы, и одновременно с нею совершалась — и именно в Англии — другая революция уже чисто экономического свойства, заключавшаяся в замене мелкого производства производством крупным, благодаря чему буржуазия, стоявшая во главе больших промышленных предприятий, все более и более обогащалась, тогда как рабочий люд, превратившийся в бездомный пролетариат, наоборот, все более и более бедствовал и попадал в экономическую зависимость от буржуазии. Мы уже знаем, что в Англии в XVIII в. политико-социальные отношения были приблизительно такие, какие на материке стали устанавливаться лишь после Французской революции, но помимо всех причин, которые и ранее содействовали развитию в Англии капиталистической буржуазии, особенно важное влияние на совершившуюся здесь экономическую революцию оказало введение машинного производства, радикальным образом изменившее прежние условия промышленного труда. В то самое время как на материке Европы под непосредственным действием Французской революции началась ликвидация старого феодального строя, тяготевшего над сельской массой, в Англии создавались — для того чтобы вскоре перейти и на материк — совершенно новые экономические отношения, наиболее характерные для социальной истории Новейшего времени. Обезземеление крестьянства, замена мелкого хозяйства крупным, образование городского пролетариата, падение цехового производства, введение машин, заменивших ручной труд, возникновение громадных фабрик и т. п. — вот главнейшие из этих явлений, стоящих в самой тесной связи с резким разделением общества на два класса — капиталистов и пролетариев: нигде именно эти явления не выразились столь ясно и полно, как в Англии, вследствие чего английская социальная история и отличается особой поучительностью. На материке Европы те же самые явления обнаруживаются и позднее, и не так резко, и не в такой полноте, так что во многих отношениях остальные страны Западной Европы впоследствии только повторяли то, что было уже

раньше совершенно Англией в ее экономической эволюции. По той же причине и лучше всего разработана в науке социальная история Англии, на примере которой можно, таким образом, познакомиться полнее, чем на каком бы то ни было другом примере, с главными явлениями новейшего социально-экономического строя.

Посвящая последний отдел настоящего тома социальной истории Западной Европы с исхода XVIII в. до конца двадцатых годов XIX столетия и выдвигая при этом на первый план не политическую, а экономическую точку зрения, мы должны обратить внимание главным образом на народные массы, которые особенно сильно испытали на себе влияние политических и экономических изменений эпохи. И на крестьянстве, и на рабочем классе в городах вообще весьма сильно отразились перемены, совершившиеся в государственном и хозяйственном быту отдельных стран. Французская революция со всем тем, на что можно смотреть как на ее продолжение или на ее следствие, значительно подвинула вперед решение поставленного XVIII в. крестьянского вопроса, который мыслился главным образом как вопрос об освобождении личности и земли крестьянина от помещичьей власти. Реакция, наступившая после падения империи Наполеона, была затем крайне неблагоприятна для дальнейшей эмансипации крестьян, начатой Французской революцией, и только новые революционные бури 1830 и 1848 гг. привели эту эмансипацию к концу. Но прежде, нежели решился крестьянский вопрос, в смысле отмены крепостничества и феодальных повинностей, бывший главным социальным вопросом дореволюционной эпохи, народился другой важный социальный вопрос, сделавшийся даже основным социальным вопросом XIX в., — вопрос рабочий. В обоих случаях, т. е. и при возникновении вопроса крестьянского еще в XVIII в., и при постановке вопроса рабочего в XIX столетии, действовали одни и те же причины, а именно, с одной стороны, обострение зла, вытекавшего из ненормальных социальных отношений, народная нищета и народное недовольство, к которым не могли оставаться равнодушными ни правительства, ни господствующие классы, так или иначе сами страдавшие от этого зла, с другой же стороны, — возникновение в обществе и литературе гуманного отношения к труждающимся и обремененным, альтруистическое распространение на народные массы идей равенства, свободы, уважения к человеческой личности и т. п. То народолюбие, каким была уже проникнута просветительная литература философского века, одинаково участвовало и в возникновении крестьянского вопроса в XVIII в., и в возникновении вопроса рабочего в XIX столетии. Но кроме той жалости, какую в благородных душах возбуждало зрелище народных страданий, и чисто практические соображения заставляли и государственных людей, и публицистов обращать внимание на экономические неурядицы, отражавшиеся на народной жизни голодовками, нищетой, наклонностью к беспорядкам и т. п. Вся разница заключалась в том, что крестьянский вопрос

представлялся в виде ликвидации старых феодальных отношений, тогда как вопрос рабочий, наоборот, возникал на почве совершенно новых отношений, бывших преимущественно результатом перемен в экономическом и политическом быту на рубеже XVIII и XIX вв. Вот почему нам придется в дальнейшем посвятить гораздо больше места рабочему вопросу сравнительно с вопросом крестьянским, так как именно нам предстоит выяснить еще те новые социально-экономические явления, которые породили рабочий вопрос XIX в. Весьма важным является и то обстоятельство, что, начиная с Французской революции, сами рабочие все более и более стали напоминать имущим классам о своем существовании и предъявлять государству и обществу требования, в конце концов вытекавшие из того же самого «естественного права», на основах которого созидались новые политические порядки. В сознание самого рабочего класса все более и более стало проникать сомнение относительно совершенства того общественного устройства, в коем этому классу приходится жить и трудиться; особенно же резко должен был бросаться в глаза контраст между новым политическим строем, стремящимся осуществить идеалы свободы и равенства, и строем экономическим, в котором, наоборот, применение того же принципа свободы и равенства приводило к совершенно иным результатам. Политический демократизм, провозглашенный Французской революцией, и то участие, какое народные массы на самом деле начали тогда принимать в политических событиях, не могли, конечно, не поставить на первый план вопрос об экономическом обеспечении этих самых масс, но так как менее всего был обеспечен в своем существовании именно городской пролетариат, в то же время сравнительно более развитой и более скученный, а потому и более доступный революционной агитации, то рабочий вопрос и получил гораздо более важное значение, нежели вопрос крестьянский, тем более что во многих случаях обезземеление сельского населения и замена мелкого хозяйства крупным ставили значительную часть и земледельцев в совершенно такое же положение, в каком находились городские рабочие, добывавшие средства к существованию на фабриках и заводах.

И крестьянский, и рабочий вопросы получили весьма важное практическое значение в истории XIX в., но, кроме того, основная суть этих вопросов сделалась также предметом и теоретического изучения. Во второй половине XVIII в. возникла даже особая наука, поставившая своими задачами исследование естественных законов, коими управляется экономическая жизнь народов, и изыскание тех средств и способов, которыми можно было бы создать народное благосостояние. Начало этой науке, т. е. политической экономии, было положено французскими физиократами еще в середине XVIII в., но истинными ее основателями явились англичане Адам Смит, Мальтус и Рикардо, на учениях коих отразился весь новейший индустриальный быт их родины. Изучая фактическую сторону социальной истории XIX в., мы, конечно, не можем не иметь в виду и ее стороны идейной, тем

более что новая наука, исходившая из идеи неизменных естественных законов хозяйственной жизни, сразу завоевала себе почти всеобщее признание и с особым усердием принята была буржуазией, увидевшей в основных положениях тогдашней политической экономии прямое теоретическое оправдание существующего и для нее, буржуазии, выгодного экономического строя. В сущности, учение Адама Смита и его школы сложилось под влиянием того, что и сам он, и его последователи наблюдали в Англии, где к концу XVIII в. общество резко разделилось на землевладельцев и капиталистов, с одной стороны, и рабочий пролетариат — с другой: новая наука возвела это разделение в принцип, представив его как нечто, вытекающее из самой сущности экономической жизни, обосновала теоретически неизбежность такого разделения и провозгласила невмешательство государства в сферу хозяйственных интересов общества как самое лучшее средство для создания всеобщего благополучия. Действительная жизнь не оправдала, однако, тех оптимистических ожиданий, какие были порождены учением об экономической свободе, провозглашенным физиократами и Адамом Смитом, но это еще не могло сразу поколебать доктрины, доказавшей свою несостоятельность, потому что интерес буржуазии именно в том и состоял, чтобы государство не вмешивалось в ее отношения к рабочему классу, как раньше интересом феодальной аристократии было, чтобы правительство не касалось ее отношений к крестьянам. С другой стороны, политические писатели либерального лагеря, не вдумывавшиеся в явления народного хозяйства, распространяли принцип свободы, коей требовали для всех проявлений культурной жизни, равным образом и на жизнь экономическую, ставя рядом свободу совести, мысли, слова, печати со свободой собственности и промышленности. Мало-помалу создался даже особый оттенок либерализма — либерализм экономический, по-видимому, отстаивавший принцип индивидуальной свободы, но на самом деле защищавший интересы буржуазии, для которой экономическая свобода была действительно очень выгодна. Как бы там ни было, свобода промышленности сделалась одной из важных статей либеральной программы рассматриваемого периода. Если культурные и политические стремления буржуазии наиболее рельефно выразились в либерализме эпохи, принимавшем, как мы знаем, прямо буржуазный характер, то материальные ее интересы лучше всего в ее глазах охранялись, с теоретической точки зрения, именно политической экономией, возводившей в принцип существующий экономический быт. Отсюда, конечно, не следует, чтобы политический либерализм и экономическая наука эпохи были порождением исключительно классовых интересов буржуазии, тем не менее и относительно либеральной теории государства, и относительно политической экономии того времени можно сказать, что обе они, исходя из одного и того же принципа свободы, слишком мало обращали внимания на то, могла ли народная масса довольствоваться одной той свободой, которая удовлетворяла людей с

независимыми материальными средствами и развитыми умственными потребностями, и не становилась ли эта свобода, перенесенная в область экономических отношений, лишь условием, благоприятствовавшим капиталисту держать рабочих в наибольшей, какая только возможна, от себя зависимости. Конечно, сам по себе либерализм, как совокупность культурных и политических требований, выработанных длинным процессом исторического развития, имеет в жизни цивилизованных обществ гораздо более широкое значение, нежели то, какое он мог получать под влиянием тех или иных классовых интересов, но, в сущности, то же самое должно сказать и о политической экономии, поскольку последняя была порождена научным духом века и поскольку она стремилась открыть объективную истину относительно факторов и законов «народного богатства», не заботясь исключительно об одном каком-либо общественном классе. И либерализм, и политическая экономия могли в тех или других пунктах ошибаться, и потому жизни предстояло вносить немало поправок в передовые политические и экономические учения эпохи: лишь в тех случаях либерализм и политическая экономия делались прямо и сознательно доктринами чисто буржуазными, когда для них бесследно проходил опыт жизни, когда они не обращали ни малейшего внимания на самую основательную критику и когда, одним словом, учения, вполне опровергнутые, продолжали тем не менее находить по-прежнему последователей среди общественного класса, которому они были особенно выгодны в момент своего возникновения.

Политическая экономия явилась как научная теория нового социального строя и в качестве таковой естественно и необходимо должна была быть встречена недружелюбно со стороны реакционеров и консерваторов, которые в основных положениях и конечных стремлениях новой науки, отрицавшей все средневековые начала государственного и общественного быта, усматривали одно из проявлений все того же ненавистного или опасного революционного духа. Политические писатели реакционной школы — и между ними особенно Бональд — были вообще врагами политической экономии, не признававшей ни сословной организации общества, ни «патриархальных» отношений крепостничества, ни корпоративных привилегий, ни других установлений, регулировавших прежде экономическую жизнь. На той же точке зрения по отношению к учению Адама Смита стоял, между прочим, и барон Штейн, находивший, что новая экономическая теория разрушает многие вещи, достойные быть сохраненными для народного блага. Рядом с этой, так сказать, консервативной критикой нового экономического учения, не имевшей, впрочем, большого значения ни в практическом, ни в теоретическом смысле, зарождалась и иного рода критика, которая, исходя из новых же идей, с их же точки зрения, обнаруживала недостатки как самого этого учения, так и санкционированного им строя фактических отношений. Эта критика вскрыла прежде всего противоречие, какое возникло

между политическим и экономическим порядками нового общества, указав на то, что принцип равенства и свободы является в одном из этих порядков (т. е. в обществе, взятом с политической точки зрения) средством, соответствующим своей цели — высшему развитию всех граждан, тогда как в другом порядке (т. е. в обществе, взятом с экономической точки зрения) то же самое средство ведет к совершенно противоположному результату — к экономической несвободе и неравенству. Такая постановка вопроса об обществе была весьма важным шагом вперед. В XVIII в. впервые произошло отделение политической экономии от политики; результатом этого было то, что каждая из обеих наук стала смотреть на человека лишь с одной какой-либо стороны, но в начале XIX в., когда уже можно было начать подведение итогов под политической и экономической революциями конца XVIII столетия, явилась потребность в посредствующей науке, которая взглянула бы на человека как на члена вместе и политического, и экономического общества, и рассмотрела бы отношение одного общества к другому, а раз, однако, такая задача была поставлена, противоречие между политическим и экономическим порядками нового общества не могло уже остаться незамеченным и неотмеченным, что, в свою очередь, не могло пройти бесследным для всего дальнейшего развития социальных, политических и экономических идей.

Основные стремления политической экономии были одним из порождений индивидуализма XVIII в. Против экономического индивидуализма, который проповедовался новой наукой и осуществлялся революционным законодательством, восставали и представители отживавших общественных и хозяйственных форм вроде Штейна, и родоначальники социализма XIX в., поставившего своею задачею найти и осуществить еще нигде и никогда не бывавшее социально-экономическое устройство, — одни восставали во имя исторических прав старины, другие — во имя идеалов лучшего будущего. В область социальной истории, которой мы посвящаем последний отдел этого тома, несомненно должны поэтому войти рядом с политико-экономическими теориями, представляющими из себя попытки понять объективную сущность народного хозяйства, и чисто субъективные построения общественных идеалов, какие мы видим в социальных утопиях Сен-Симона, Фурье и Оуэна. Экономический переворот, совершившийся в конце XVIII в., породил рабочий вопрос, на почве же именно рабочего вопроса главным образом и развился современный социализм, играющий столь видную роль в западноевропейской истории XIX в. Мы увидим, что социальные учения первой трети XIX столетия возникли, так сказать, вне политического либерализма и новой экономической науки, скорее даже в направлении, прямо враждебном тем стремлениям, которые воплотились в либерализме и в политической экономии, поскольку и политическая, и экономическая теория эпохи игнорировали интересы и судьбу рабочего класса и вследствие этого принимали более или менее буржуазный характер.

Таковы главные явления социальной истории за рассматриваемый нами период времени. Всем доселе сказанным определяется и содержание последующих глав этого тома. Прежде всего мы рассмотрим именно историю отмены крепостничества до 1830 г., остановившись главным образом на Германии, где еще в XVIII в. сделаны были первые попытки решения крестьянского вопроса. Затем мы перейдем к истории образования промышленного пролетариата в связи с политическими и экономическими переменами, совершившимися в эту эпоху главным образом во Франции и в Англии. После этого нам нужно будет познакомиться с экономическими учениями, пользовавшимися популярностью в конце XVIII и начале XIX в., причем на первый план и тут придется выдвинуть Англию, бывшую настоящей родиной не только новейшего промышленного развития, но и политической экономии. Наконец, мы остановимся в заключение на раннем социализме, получившем начало свое во Франции, где у него уже в XVIII в. были предшественники в лице Мабли, Морелле и др. При этом мы будем, по мере надобности и возможности, связывать и сопоставлять факты и идеи социальной истории с фактами и идеями истории культурной и политической.

Социальная история на экономической подкладке стала весьма деятельно разрабатываться за последние десятилетия ввиду той важности, какую получил социальный вопрос в самой жизни. Тем не менее многие стороны этой истории еще недостаточно исследованы, вследствие чего и не могут быть изображены с достаточной ясностью и полнотой. В дальнейшем мы укажем на наиболее важные труды, относящиеся к тем предметам, которым посвящается весь настоящий отдел тома.

Единственным общим трудом по крестьянскому вопросу в Западной Европе остается изданная еще в 1861 г. книга Зугенгейма «История уничтожения крепостного состояния и зависимости в Европе до середины XIX столетия»¹. В этом обширном труде, подводящем итоги под целой массой специальных исследований, рассмотрена история крестьянских отношений с исхода Средних веков в Испании с Португалией, во Франции, в Италии, в Великобритании с Ирландией, в Германии, включая в нее Австрию и Пруссию с их ненемецкими областями, в Скандинавии, Швейцарии, Голландии и Бельгии. Труд Зугенгейма получил премию от Петербургской академии наук. Важным дополнением к этой книге может служить сочинение Лоренца Штейна, рассматривающее освобождение земли от феодальных повинностей в Англии, Франции и Германии², что составляет одну из существенных сторон решения крестьянского вопроса. Во французской литературе тем же вопросам, которые рассматриваются в трудах Зугенгейма и Лоренца Штейна, посвящена книга Дониоля «Французская революция и фео-

¹ *Sugenheim S.* Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und Hörigkeit in Europa bis um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, 1861.

² *Stein L.* Die Entwähnung in England, Frankreich und Deutschland, 1868.

дализм»¹: как показывает само ее заглавие, в ней рассматривается влияние Французской революции на остатки феодального строя, а так как эта революция имела не только местное, но и общеевропейское значение, то автор не ограничился историей разрушения феодализма в одной Франции, посвятив отдельные главы своей книги и другим странам. Уже после названных сочинений была предпринята проф. И.В. Лучицким обширная «История крестьянской реформы в Западной Европе с 1789 г.», но пока она остается, к сожалению, неоконченной: после первой ее части, посвященной еще XVIII в.², в печати появилось только несколько отдельных статей автора по истории крестьян в немногих второстепенных странах³. Кроме этой общей литературы можно указать на исторические работы относительно крестьянства в отдельных странах. Во Франции лучше всего изучена история крестьян при «старом порядке» и во время революции, но зато сравнительно очень мало разработана история французского крестьянства после революции, хотя все-таки и тут можно назвать несколько трудов, прямо или косвенно освещающих эту историю⁴. Гораздо более сделано для истории крестьянства в Германии, но не для всех ее частей одинаково много. Уже Зугенгейм в своей большой книге мог опираться на довольно значительную литературу, да и после его труда работа продолжалась с довольно значительной энергией. В один год с его трудом вышла в свет — и равным образом была увенчена Петербургской академией наук — небольшая книжка Георга Гансена об уничтожении крепостничества и вообще о реформе крестьянско-помещичьих отношений в Шлезвиг-Гольштейне⁵. Затем появился целый ряд других подобных работ. Особенно оживилась именно научная деятельность по исследованию крестьянских и аграрных отношений в Германии за последние годы. Здесь нужно поставить на первый план известный труд Кнаппа «Освобождение крестьян и происхождение сельских рабочих в старых частях Пруссии»⁶. Можно сказать вообще, что из всех германских государств лучше всего в этом отношении исследована, по крайней мере с исторической точки зрения, Пруссия⁷, тем более что на крестьянскую реформу в

¹ Doniol. La révolution française et la féodalité, 1874.

² Киевские «Университетские Известия», 1878—1879.

³ Печатались в «Северном Вестнике». Кроме того, в русской литературе можно указать на труды Вольского («О значении обработки земли крестьянами-собственниками») и кн. Васильчикова («О землевладении и земледелии в главных странах Европы»), где собрано немало исторического материала.

⁴ Кроме общих трудов крестьянства во Франции (см. т. I), имеем в виду такие труды, как: Laverge L. de. Économie rurale de la France depuis 1789, 1870; Mauguin. Etudes historiques sur l'administration de l'agriculture en France, 1876—1877 и др.

⁵ Hanssen G. Die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Umgestaltung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse überhaupt in den Herzogtümer Schleswig und Holstein, 1861.

⁶ Knapp G.F. Die Bauern-Befreiung und der Ursprung der Landarbeiter in den älteren Theilen Preussens, 1887.

⁷ См. библиографический указатель в конце первого тома соч. Кнаппа.

этом государстве обратили большое внимание и общие историки эпохи¹. Между прочим, и в русской литературе о крестьянской реформе в Пруссии есть большая работа Д. Ф. Самарина, написанная в эпоху освобождения крестьян в России². Названная книга Кнаппа представляет из себя вообще одно из лучших исследований по данному предмету, причем автор поставил крестьянский вопрос в связь с вопросом рабочим. Дополнением к этой книге может служить еще его небольшая работа «О сельских рабочих в рабском и свободном состояниях»³. Кроме того, Кнапп (вместе с Брентано) стоит во главе «семинария по государственоведению» при Страсбургском университете и редактирует труды этого семинария, посвященные преимущественно историческим исследованиям в области крестьянских и аграрных отношений в Германии⁴. Одной из последних работ, появившихся в этом издании, является небольшая книжка С. Гаусмана об освобождении земли в Баварии, написанная как ответ на тему, предложенную политико-юридическим факультетом Страсбургского университета⁵. То, что Кнапп сделал для старых частей Пруссии, предпринял недавно для одной части габсбургской монархии (Чехии, Моравии и Силезии) Карл Грюнберг в сочинении, даже по внешнему расположению материала напоминающем труд Кнаппа⁶. Что касается Англии, то в ней крестьянство давно превратилось в класс сельских рабочих, а их история сливается с историей пролетариата вообще⁷.

Вторую категорию трудов по социальной истории начала XIX в. составляют сочинения, изображающие экономический переворот конца XVIII в. и его непосредственные следствия. Эта сторона социальной истории лучше всего исследована по отношению к Англии. Здесь на первом месте нужно поставить исторические иллюстрации «Капитала» Карла Маркса⁸, а за последние годы несколько важных трудов по истории промышленности, торговли и социальных отношений Англии. Таковы «Две книги по социальной

¹ Ср. выше; между прочим, из новейших трудов см. книгу *Cavaignac'a* «La formation de la Prusse contemporaine».

² Помещена во II томе собрания его сочинений.

³ *Knapp*. Die Landarbeiter in Knechtschaft und in Freiheit, 1891.

⁴ Abhandlungen aus dem staatswissenschaftlichen Seminar zu Strassburg. Приводим названия отдельных работ: *Herzog A.* Die bäuerlichen Verhältnisse im Elsass, 1886; *Fuchs C.J.* Der Untergang des Bauernstandes und das Aufkommen des Gutsherrschaften, nach archivalischen Quellen aus Neuvorpommern und Rügen, 1888; *Fransehe-Rosenèck A. von.* Gutsherr und Bauer in Livland im XVII und XVIII Jahrhundert, 1890; *Hugenberg A.* Innere Kolonisation im Nordwesten Deutschlands, 1891; *Haun F.J.* Bauer und Gutsherr in Kursachsen im XVI–XVIII Jahr, 1891.

⁵ *Hausmann S.* Die Grund-Entlastung in Bayern, 1892.

⁶ *Grünberg K.* Die Bauern-Befreiung und die Auflösung des gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses in Böhmen, Mähren und Schlesien.

⁷ *Каблуков Н.* Вопрос о рабочих в сельском хозяйстве. 1884. Нашей целью не было упоминать здесь на всю литературу по крестьянскому вопросу. За более подробными указаниями отсылаем к главам XIII и XIV первого тома и к главе VIII третьего тома.

⁸ Русский перевод 1872 г.

истории Англии» Адольфа Гельда¹, «Чтения о промышленном перевороте в Англии» Арнольда Тойнби², «Индустриальная история Англии» Джиббинса³, многочисленные труды Роджерса⁴, книги Гергарта фон Шульце-Геверница «Zum sozialen Frieden»⁵, «Промышленные кризисы в современной Англии» М.И. Туган-Барановского⁶ и т. п.⁷ Во всех этих трудах, в общем, довольно равномерно исследована и фактическая (экономическая) и идейная (культурная) сторона социальной истории Англии. К сожалению, нельзя сказать, чтобы такой же равномерностью отличалась литература по социальной истории другой страны, в которой совершались аналогичные явления, именно во Франции. Если, например, можно назвать несколько сочинений, в коих выдвинуто на первый план развитие во Франции социальных идей, то в области истории экономических отношений остается желать еще весьма и весьма многого. В последнем смысле, пожалуй, дореволюционная Франция, благодаря множеству трудов, посвященных изображению «старого порядка», известна гораздо лучше, нежели Франция, вышедшая из революции, по крайней мере за первую треть XIX в. Французские истории буржуазии, вроде книги Барду⁸, имеют в виду исключительно политическую сторону истории этого общественного класса. Только специальная история рабочего класса вводит нас в чисто социальную историю Франции. В этом отношении до сих пор остается ничем не заменимый двухтомный труд Левассера по истории рабочих во Франции с 1789 г. до середины шестидесятых годов, когда вышла в свет эта книга⁹, являющаяся продолжением труда того же автора по истории рабочего класса до 1789 г.¹⁰ Если, однако, в общем мало исследова-

¹ Held A. Zwei Bücher zur sozialen Geschichte Englands, 1881.

² Toynbee A. Lectures on the industrial history of England, 1890.

³ Gibbins. The industrial history of England, 1890.

⁴ Между прочим см.: The economic interpretation in history (есть и во французском переводе, 1892).

⁵ Schulze-Gaevernitz G. von. Zum sozialen Frieden. Eine Darstellung der socialpolitischen Erziehung des englischen Volkes im neunzehnten Jahrhundert, 1890. Ср. книжку А.С. Гольденвейзера «Социальные течения и реформы XIX столетия в Англии» (1891), представляющую из себя изложение указанного труда.

⁶ Туган-Барановский М.И. Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь, 1894. В этой книге можно найти и более специальные указания на литературу по экономической истории Англии. Ср.: Бурм М. История торговых кризисов в Европе и Америке, 1876.

⁷ Nadaud. Histoire des classes ouvrières en Angleterre, 1872; Brentano L. Die Arbeitergilden der Gegenwart; Levi L. The history commerce and of the economic progresse of the british nation (1763—1878), 1880; Cunningham W. The growth of English industry and commerce in modern time, 1891; Webb S. and B. The history of trade unionism, 1894. Ср. книжку проф. А.С. Окольского. Фома Карлейль и английский общество в XIX столетии, 1893. Для истории английских финансов: Кауфман И.И. Государственный долг Англии с 1688 по 1890 г.

⁸ Bardoux. La bourgeoisie française.

⁹ Levasseur. Histoire des classes ouvrières en France depuis 1789 jusqu'à nos jours, 1867.

¹⁰ Ср. еще: Chevalier E. Les salaires au XIX siècle. Avec une préface de M.E. Levasseur, 1887; Monteil. Histoire de l'industrie française. Укажем еще на книгу А. Михайлова «Пролетариат во Франции». 1869.

ны фактические отношения французской экономической жизни, то богатая идейная сторона социальной истории Франции после революции, наоборот, была предметом довольно тщательного изучения. В последнем отношении весьма многое для понимания внутренней жизни Франции в первой половине XIX в. дали известные труды Лоренца Штейна¹. Кроме того, здесь уместно будет указать еще на существование сочинений, служащих вообще к уяснению социального или рабочего вопроса в XIX в.²

История экономических учений равным образом имеет свою литературу, состоящую или из цельных обзоров всего развития политической экономии, или из монографий по истории отдельных моментов или явлений этого развития³. Первым периодом в развитии политической экономии является французская физиократическая школа⁴. Ее влияние не идет дальше времен революции, после которой мы уже имеем право говорить об исключительном влиянии школы Адама Смита, во многих пунктах стоящей, впрочем, на одной почве с физиократией⁵. В том периоде, которому посвящен настоящий том, школа Адама Смита именно и достигла наибольшего внутреннего развития и внешнего распространения, что в последующем и заставит нас остановиться на ней более подробно⁶.

Наконец, особую категорию трудов по социальной истории XIX в. составляют особые сочинения, посвященные изложению и разбору социальных

¹ *Stein L.* Der Socialismus und Communismus des heutigen Frankreichs, 1842; *Geschichte der socialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage*, 1850. В конце 70-х гг. Eugen Iäger предпринял большую «Историю социального движения и социализма во Франции», доведенную пока в двух томах только до начала Французской революции.

² *Ланге Ф.А.* Рабочий вопрос. Его значение в настоящем и будущем; *Scheel.* Die Theorie der socialen Frage, 1871; *Meyer P.* Der Emancipationskampf des vierten Standes, 1874 и след. Особое место занимают в этой литературе сочинения по истории падения старых цехов и возникновения новых рабочих союзов. См. соч. *Lujo Brentano*, *Gierke* и др. Указываем еще на книгу г. Молчановского «Цеховая система в Пруссии XVIII века и реформы цехов при Штейне и Гарденберге», 1887; *Исаев А.* Промышленные товарищества во Франции и Англии, 1879.

³ См. т. III, где названы истории политической экономии *Blanqui*, *Dühring'a*, *Eisenhart'a*, *Ingram'a*, *Kautz'a*, *Чупрова*. См. также: *Roscher W.* Geschichte der National-Ökonomik in Deutschland, 1874; *Янжул И.* Английская свободная торговля. Исторический очерк развития идей свободной конкуренции и начала государственного вмешательства, 1876 и 1882; *Espinass.* Histoire des doctrines économiques, 1891; *Meißner M.* Главнейшие направления в экономической науке и др.

⁴ Кроме сочинений о ней, указанных в т. III, отметим еще: *Bauer S.* Zur Entstehung der Physiocratie; *Schelle.* Dupont de Nemours et l'école physiocratique, 1888.

⁵ См. сочинения о взаимных отношениях обеих школ: *Hasbach.* Die philosophischen Grundlagen der von Quesnay und Adam Smith gegründeten politischen Oeconomie, 1890 (в Staats- und Socialwissenschaftlichen Forschungen Шмоллера, т. X); *Feilbogen.* Smith und Turgot, 1892; *Oncken A.* Die Maxime «laissez faire et laissez passer», ihr Ursprung, ihr Werden, 1886.

⁶ *Koesler.* Ueber die Grundlehren der von Adam Smith begründeten Volkswirtschaftstheorie, 1862; *Hasbach.* Untersuchungen über A. Smith und die Entwicklung der Politischen Oeconomie; *Зибер Н.И.* Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях, 1885; *Иванюков И.* Основные положения теории экономической политики с Адама Смита до настоящего времени, 1891 (4-е изд.).

идей XIX в. Так называемые социальные утопии, или «государственные романы», как их окрестил Роберт фон Мольт¹, ведут свое начало еще из классической древности и представляют из себя предмет специальной литературы, излагающей их историю в разные времена и у разных народов². Социальные учения, возникшие в первой трети XIX в., именно и отличаются своим утопическим характером, вследствие чего позднейший социализм даже стал противопоставлять себя социализму этой эпохи как направление научное — направлению утопическому. Главными представителями его во Франции явились в начале XIX в. Сен-Симон и Фурье, оставившие после себя целые школы «сенсимонистов» и «фурьеристов», а рядом с ними выступил в Англии в качестве практического социального реформатора Оуэн. Их учения и деятельность равным образом были предметом отдельных исторических работ³, которые также могут быть включены в литературу по социальной истории XIX в.

Мы указали на наиболее важные сочинения по социальной истории Западной Европы в конце XVIII и начале XIX в. Быть может, ни один другой исторический период не исследован так хорошо с социально-экономической точки зрения, как именно указанная эпоха и вообще XIX в. Оставляя в стороне близость к нам этой эпохи и особый интерес, который во второй половине XIX столетия стала внушать к социальной и экономической истории сама общественная жизнь, мы должны указать на то, что никогда раньше, на самом деле, социально-экономические отношения и идеи не играли такой самостоятельной роли в истории, как именно начиная с Французской революции. Одной из причин этого было то, что лишь с указанного времени народные массы начинают принимать особенно деятельное участие в истории, чему способствовало развитие демократических идей и учреждений, скучение в городах рабочего пролетариата, распространение в народе просвещения и т. п., всякий же раз, когда на сцену

¹ *Mohl R. v.* Die Staatsromane (помещено в первом томе его капитального издания «Die Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften», 1855). Под тем же заглавием («Die Staatsromane. Ein Beitrag zur Lehre vom Communismus und Socialismus») написал недавно (1891) небольшую книгу Friedrich Kleinwächter.

² Кроме общих сочинений по истории политических учений и политической экономии, равно как кроме только что указанных сочинений Р. фон Моля и Клейнвехтера и т. п., указанных в т. III, сочинения Сюдра, Тониссена, Вильгарделя и др., а также труды Л. Штейна, наконец, и другие работы по истории коммунизма и социализма, каковы: *Graham*. Socialism new and old; *Bouctoj*. Histoire du communisme; *Malon*. Histoire du socialisme; *Warshcauer*. Geschichte des Socialismus und neueren Communismus, 1892; *Limanowski B.* Historia ruchu społecznego w XIX stuleciu, 1890. См. также: *Stammhammer J.* Bibliographie des Socialismus und Kommunismus. Отметим, кстати, работы по истории социализма в эпоху Французской революции: *Le Faure*. Le socialisme pendant la révolution française; *Janet P.* Les origines du socialisme contemporaine (La propriété pendant la révolution française). Наконец, в трудах по истории философии во Франции Ferraz'a и Adam'a (La philosophie en France, 1894) есть страницы, посвященные изложению социальных идей.

³ *Hubbard*. Saint-Simon, sa vie et ses travaux; *Janet P.* Saint-Simon et le saint-simonisme; *Booth*. Saint-Simon et le saint-simonisme. A chapter in the history of socialisme in France, 1871; *Бибиков*. Критические этюды, 1858 (о Фурье).

истории выступали народные массы, выдвигались непременно в той или другой форме экономические вопросы, а за ними и вопрос о лучшем, более справедливом устройстве общества. И раньше, в бурные эпохи национальной жизни, происходили народные движения с социальным характером, но экономическая их сторона, обыкновенно, была скрыта за религиозными или политическими стремлениями таких эпох: впервые только теперь, так сказать, эта экономическая сторона обнажилась и выделила чисто социальное движение. Произошло последнее по двум главным причинам: с одной стороны, предыдущее историческое развитие уничтожило много таких сторон государственного и церковного быта, которые сами по себе, т. е. без содействия экономического фактора, вызывали протест со стороны народных масс, и это имело своим результатом то, что действие экономического фактора должно было усилиться, а с другой стороны, к тому же результату необходимо приводило и то обстоятельство, что к началу XIX в. стал завершаться процесс, так сказать, разлучения труда с его орудиями, имевшего своим следствием обострение экономического зла. Параллельно с этим выступлением на сцену народных масс, с этим обнажением экономических устоев общественной жизни и обострением экономического антагонизма развивается обособившаяся в ряду других общественных наук политическая экономия, которая взглянула на общество с точки зрения, бывшей чуждой теоретической политике или юриспруденции прежнего времени, с точки зрения, по крайней мере имевшей для государствоведов и правоведов второстепенное значение. Под влиянием всего этого составилась даже взгляд, будто вся история сводится в последнем анализе к исключительно экономической основе¹. При этом было забыто даже, какую великую роль играют в истории идеи и вообще вся культурная сторона жизни народов. Социальные идеи, получившие в XIX в. главным образом экономическое содержание, сами являются с исторической точки зрения не чем иным, как перенесением в область материальных интересов личности и хозяйственной жизни общества тех принципов, которые предыдущее культурное и политическое развитие вырабатывало в сферах духовной и государственной жизни, т. е. в религии и морали, в философии и науке, в публичном и частном праве. Чисто экономическая эволюция поставила для разрешения ряд вопросов, но за само их разрешение взялась культурная мысль, всем предыдущим развитием своим подготовленная к тому, чтобы научно понимать действительную жизнь по категории истины и указывать на пути к ее улучшению во имя справедливости. В том, что мысль XIX в. яснее, чем когда-либо, понимает научную истину и шире, чем когда-либо, представляет себе социальную справедливость, нужно видеть результат именно духовного, культурного развития. Экономические бедствия, рабство и нищета

¹ См. «Философии культурной и социальной истории Нового времени». С. 19 и след. Ср. статью мою «Экономический материализм в истории», «Вестн. Евр.». 1894.

существовали всегда, но только на более высоких ступенях культурного развития для борьбы с невзгодами и несовершенствами жизни приходит к человеку на помощь научное знание, и вместе с этим возникает протест против рабства, рождается желание устранить нищету. Впервые XVIII в. поставил такую задачу, и вот разрешение ее сделалось одной из самых интересных сторон культурно-социальной истории XIX столетия.

XXIII. Крестьянский вопрос в первой трети XIX в.¹

Французская революция и XIX в. в истории крестьянского вопроса. — Связь крестьянской реформы с культурно-политической историей. — Теоретическая разработка крестьянского вопроса в Германии. — Застой крестьянского дела в Австрии. — Особый интерес крестьянской реформы в Пруссии. — Политика прусского правительства по отношению к крестьянам в XVIII в. — Вопрос об уничтожении крепостничества в Пруссии в конце XVIII и начале XIX в. — Прусская крестьянская реформа 1807-го и следующих годов. — Приговор Кнаппа об общем значении прусской крестьянской реформы. — Крестьянский вопрос в других государствах Германии до 1840 г. — Мекленбургские аграрные отношения. — Крайняя пестрота крестьянских отношений и правительственных мер по крестьянскому вопросу в Германии. — Общий взгляд на положение крестьян и законодательные меры, касающиеся крестьянства, в других странах континента. — Несколько общих выводов

В истории крестьянского вопроса на западе Европы Французской революции принадлежит в высшей степени важное значение. XVIII в. впервые поставил крестьянский вопрос, как вопрос об освобождении личности и имущества земледельца от крепостной зависимости и от феодальных повинностей, но решение этого вопроса он завещал лишь XIX в., указав на примере французского революционного законодательства, что государственная власть имеет право безвозмездно освободить личность крестьянина от крепостной зависимости и снять в силу общего закона ту тяготу, которая лежала на его земле². Законодательство конституанты, легислативы и особенно Конвента весьма радикальным образом решило юридическую сторону крестьянского вопроса во Франции, освободив личность и землю крестьянина от феодального режима, превратив массу сельского населения в свободных и полноправных граждан и заменив средневековое условное землевладение ни от кого не зависимой собственностью. Правда, первоначально предполагалось, что крестьяне будут выкупать повинности, лежавшие на их земельных участках, и в этом смысле даже изданы были специальные законы, оказавшиеся, однако, крайне неудовлетворительными, но политические обстоятельства эпохи заставили Конвент в 1793 г. отменить безвозмездно и эти повинности. Наступившая затем эпоха в этом отношении вообще не следовала примеру Конвента, и вопрос о выкупе крестьянских повинностей поэтому и сделался одним из наиболее важных в общем вопросе об отмене феодальных прав. Но у крестьянской реформы кроме юридической была еще и экономи-

¹ Указания на литературу см. выше.

² См. т. III, главы VIII, XVII, XXVIII и XXXVII.

ческая сторона, ибо дело заключалось не только в том, чтобы освободить личность и имущество крестьянина от феодальных прав, но и в том, чтобы обеспечить его материальный быт, поставив его в наиболее выгодное отношение к земле. В XVIII в. вообще и в частности в эпоху Французской революции эта сторона вопроса отодвигалась на задний план. Во-первых, предполагалось, что все зло в жизни сельского населения заключается в несвободе или неполноправности самих крестьян и в обременении или стеснении крестьянского землевладения всякого рода феодальными поборами и повинностями. Мало того, физиократы, под влиянием коих складывались экономические воззрения общества и правительств, были противниками мелкого крестьянского хозяйства, какую бы форму оно ни имело, рекомендуя английскую систему крупных ферм, на которых хозяйство и велось бы безземельными сельскими рабочими, — порядок вещей, отразившийся и на экономических воззрениях школы Адама Смита. Как бы там ни было, Французская революция не предприняла ничего для земельного обеспечения крестьянской массы, хотя в распоряжении государства была тогда громадная масса земель в виде так называемых национальных имуществ, образовавшихся из прежних доменов, из секуляризованной собственности церкви и монастырей и из конфискованных имений эмигрировавшего дворянства. После Французской революции дело крестьянской реформы пошло быстрее и в других государствах. Мы уже видели это, обозревая вообще те перемены, которые французское владычество произвело или вызвало в других странах в эпоху революции, консульства и империи¹, но процесс продолжался и в следующие периоды, то замедляясь, то ускоряясь, как это было до и после революций 1830 и 1848 гг. Во все это время принцип права крестьянина на личную свободу и права государства эту свободу осуществлять путем безвозмездной отмены крепостничества стоял довольно твердо в общественном сознании, хотя наступившая в 1815 г. реакция была крайне неблагоприятна для проведения этого принципа в жизнь. С другой стороны, как было сказано, законодательство XIX в. в вопросе об отмене поземельных повинностей крестьянства стояло на точке зрения учредительного собрания 1789—1791 гг., рассматривая их как подлежащие выкупу, хотя лишь с течением времени выработался взгляд, в силу коего государство должно было приходить на помощь к крестьянам в деле выкупа ими своих повинностей. Развитие учения о государственной помощи и соответственное законодательство составляют вообще одну из важнейших сторон истории решения крестьянского вопроса в XIX столетии². Другую, не менее важную сторону этой истории составляет и развитие созна-

¹ См. выше, где перечислены главнейшие факты.

² Мысль о такой помощи возникла еще во время революции, но едва ли не была лишь достоянием одного или нескольких лиц. См. об этом в моей книге «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII в.».

ния о необходимости земельного обеспечения крестьян, о котором еще так мало думали во время Французской революции.

Известно вообще, что освобождение крестьян от крепостной зависимости на западе Европы вообще сопровождалось, так сказать, их откреплением от земли¹, процесс, который ранее всего и полнее всего совершился в Англии. Но то же самое делалось по местам и в начале XIX в. Одним из наиболее интересных примеров этого является освобождение польских крепостных в великом герцогстве Варшавском, произведенное Наполеоном I в 1807 г.: польские крестьяне в силу императорского декрета делались свободными, но земля, на которой они сидели, объявлялась полной собственностью помещика, что должно было поставить крестьян в положение людей, снимающих землю у помещиков на основании свободного договора. Эта реформа, по остроумному замечанию одного польского государственного человека, сняла с ног хлопов кандалы, но вместе с тем стащила у них и сапоги. Впоследствии император Николай I обратил внимание на начавшееся в Царстве Польском обезземеление крестьян и принял особые меры для его прекращения. С течением времени взгляд на освобождение крестьян «без земли» или «с землей» существенным образом изменился к выгоде крестьянской массы, получавшей личную свободу. Подводя итоги под всем сказанным, мы можем признать, что двумя самыми важными сторонами крестьянского вопроса в XIX в. были вопрос о выкупе крестьянских повинностей и вопрос об устройстве поземельного быта крестьян.

Главное сопротивление встречали и в XVIII, и в XIX в. правительство и сам народ в деле крестьянской реформы со стороны дворянства, которое в отмене крепостничества, в уничтожении крестьянских повинностей и в наделении крестьян землею видело нарушение своих законных прав. Одной из задач, какие в XVIII в. ставила себе консервативная оппозиция против правительственных начинаний в области крестьянского вопроса, было именно сохранение тех отношений, в коих находились к дворянству крестьяне в отдельных странах. В этом смысле дворянство во всех государствах действовало весьма единодушно как в XVIII в., так и в XIX столетии, когда после революции прежняя консервативная оппозиция перешла в аристократическую реакцию, кто бы ни пытался освободить крестьян и снять с них бремя феодальных повинностей. С падением империи Наполеона I, благоприятствовавшей освобождению сельской массы, наступило время, когда в области общественной мысли и жизни стали с особой силой оживать средневековые традиции. Реакционные писатели эпохи общим духом своих учений подновили те воззрения, которыми в былое время оправдывалось существование «патриархальных» отношений между господами и жившими на их землях крестьянами. Возобновлением союза королевской власти с привилегированными, характеризующим эпоху

¹ См. т. I, гл. XIV и XVI.

Реставрации, создавалось и политическое положение, которое было крайне неблагоприятно для крестьянского вопроса. Вообще каждый раз, как влияние новых культурных и политических начал приходило в упадок, это выражалось непременно в замедлении и даже прямо в прекращении процесса освобождения крестьян от крепостной зависимости и вообще всех реформ в сельском быту, которых требовало более развитое общественное чувство. Наоборот, всякий новый успех культурных и политических начал, ведущих свое происхождение из Просвещения XVIII в., имел непосредственным своим следствием какие-либо важные и благотворительные перемены в жизни этой самой крестьянской массы: недаром, например, в истории крестьянских реформ, совершившихся в XIX в. в отдельных немецких государствах, такое важное значение принадлежит движениям 1830 и 1848 гг.

Другим важным обстоятельством, которое нужно принимать в расчет при рассмотрении крестьянской реформы в XIX в., является теоретическая разработка этого вопроса в литературе. Франция в 1789 г. должна была решать свой крестьянский вопрос без достаточной подготовки, т. е. без хорошего знания фактических отношений, господствовавших в сельском быту, и без предварительного изучения принципиальной стороны дела с исторической, политической, юридической и экономической точек зрения. Германия в этом отношении была поставлена в иные условия, так как здесь крестьянский вопрос решался постепенно, — в одних государствах раньше, в других позднее, и притом в разных государствах, да и в одних и тех же в разное время различным образом, — а потому было достаточно времени и для теоретической разработки вопроса, которая притом началась еще в XVIII в. Впервые в немецкой литературе стали раздаваться голоса в пользу отмены крепостничества и уничтожения барщины, главным образом под влиянием физиократии¹, нашедшей в тогдашней Германии немало приверженцев. Немецкие последователи физиократии учили, что труд должен быть свободен, ибо только свободный труд производителен, и отсюда делали тот вывод, что крепостничество и барщины противоречат истинным интересам общества и государства, вообще только теряющим от несвободы труда. С другой стороны, в Германии XVIII в. не было недостатка в писателях, ставивших крестьянский вопрос и на морально-политическую точку зрения. «Свобода гражданина и всех членов государства, — писал, например, в середине XVIII в. известный ученый и публицист Юсти, — есть первое существенное свойство истинного гражданского общежития. Государства, где одно сословие или класс народа находится в подданстве или зависимости от другого, имеют столь чудовищное устройство, которое могло существовать только в самые варварские времена, но с которым нельзя существовать в просвещенное время». Мало того, Юсти из своего положения делал не только тот вывод, что крестьяне должны быть свободны, но и тот, что им

¹ О влиянии физиократии вообще на постановку крестьянского вопроса см. т. III.

следует предоставить на правах собственности те земли, на коих они живут. Впрочем, большинство писателей, высказывавших свои взгляды по этому предмету в XVIII столетии, так далеко вперед не уходило и ограничивалось проповедью лишь против неумеренного барщинного труда¹. Сочинения, подобные анонимной «Записке о вопросе, как даровать крестьянам свободу и собственность там, где они не имеют ни той ни другой», были редки, ибо общественное сознание еще не возвысилось до той точки зрения, с которой крестьянский вопрос заключался не только в освобождении личности крестьянина, но и в обеспечении его землей. Так как уже в XVIII в. отдельные немецкие правительства обратили внимание на улучшение крестьянского быта, а затем под влиянием Французской революции и империи Наполеона началась в отдельных частях Германии и действительная отмена крепостничества, то стали появляться и умножаться брошюры и статьи по крестьянскому вопросу, имевшие большей частью в виду какие-либо местные (например, прусские) отношения. Правда, нередко эта публицистика принимала консервативный оттенок, особенно под влиянием реакционного течения в политической литературе, и даже появлялись такие произведения, как, например, брошюра Аретина (1819) «Господские права в Баварии как главная основа общественного благосостояния» («Die grundherrlichen Rechte in Bayern, eine Haupt stütze des öffentlichen Wohlstandes»). В то самое время, как, например, консерваторы даже в тех немецких государствах, где были введены конституционные учреждения, доказывали, что каждый помещик есть отец, друг, опекун, воспитатель и защитник своих крестьян, им вторили реакционные писатели вроде Адама Мюллера, говорившего, что феодальное сельское хозяйство есть «палладиум национального существования», или вроде Генца, писавшего, что крестьянство не имеет права считаться сословием наряду с другими (ihr Bauernstand ist kein Stand und darf keiner sein). Но время делало свое, и дни допотопных теорий были сочтены; даже таким писателям, которые не особенно были расположены к освобождению крестьян от крепостной зависимости, приходилось считаться или с совершившимися фактами, или с неизбежностью новых фактов такого же характера. Крестьянский вопрос все более и более привлекал к себе общественное внимание, и мы увидим еще, например, какое участие в его решении в Пруссии принимала публицистика. Если даже на писателей эпохи Реставрации и не особенно сильно действовали морально-политические соображения, вытекавшие из учения о естественном праве, то все они, за исключением реакционеров, хорошо понимали, что отмены господских прав требует экономический интерес общества и государства, который зависит от успехов сельского хозяйства, бывших невозможными при существовании барщины и крепостничества. Тот аргумент, что несвободный труд есть самый непроизводительный и что крепостное право является

¹ Например, Möser в *Patriotische Phantasien*.

главной помехой в деле рациональной агрономии, и оказался, собственно говоря, пожалуй, наиболее убедительным для правительств, выступавших в эту эпоху на путь крестьянских реформ. При этом правительствам, ставившим себе задачу освобождения крестьян, предстояло решить два вопроса, а именно: вопрос о том, каким путем должны быть вознаграждены помещики за отмену своих господских прав и в какие отношения к земле должен быть поставлен освобожденный земледелец; оба же эти вопроса сделались предметом публицистического обсуждения. По первому из них установился принцип (сформулированный Молем), что раз существует настоятельная потребность отменить господские права, то произойти это может не иначе как за соответственное вознаграждение помещиков, ибо такая отмена в существе дела есть вторжение в частную собственность, оправдываемое лишь с точки зрения высших интересов. Это был принцип, но надлежало еще выработать и способы его применения, которые могли быть весьма различны, как это и показала не только теоретическая разработка вопроса в публицистике, но и сама законодательная практика. В самом конце рассматриваемого периода (1829) была издана в высшей степени важная книжка Штюфе (Stüve) «О повинностях, лежащих на поземельной собственности» («Ueber die Lasten des Grundeigentums»), и в ней развита была та мысль, что вознаграждение помещиков должно быть произведено по известному процентному вычислению и что должен быть организован для выкупной операции особый кредит с дозволением крестьянам выплачивать выкупную сумму по частям. Эту мысль Штюфе действительно следует признать весьма важной, ибо в ней был зародыш, из коего в следующих периодах (после 1830 и 1848 гг.) развилась особая литература, разрабатывавшая вопрос о правительственной помощи крестьянам в деле выкупной операции, и возникло целое законодательство, в основе своем имевшее именно этот самый принцип. Мы еще увидим, что раньше вопрос о выкупе господских прав и теоретически и практически решался большей частью в том смысле, что в виде вознаграждения за отмену господских прав крестьянин должен был отдавать помещику часть — и иногда очень значительную часть — своей земли. От этого, конечно, уменьшалась площадь крестьянского землевладения, но если одни публицисты и государственные люди эпохи считали важным сохранение экономически обеспеченного крестьянского сословия и в состоянии свободы, то были, наоборот, и такие писатели и деятели по крестьянскому вопросу, которые в самой отмене старых отношений видели лишь средство перейти к новой форме хозяйства, т. е. к крупным фермам с наемными рабочими. Такая форма уже господствовала в Англии, а во Франции еще в XVIII в. была предметом мечтаний физиократов и агрономов, — и вот немецкие последователи английской политической экономии точно так же стали помышлять о необходимости введения крупных сельскохозяйственных предприятий, для чего, разумеется, требовалось образование особого класса сельских рабочих. В этом смысле некоторыми и понималась сама крестьянская

реформа, которую выдвигала вперед общественная жизнь. Впоследствии, однако, эта точка зрения была постепенно оставлена, и в общее сознание все более и более стала проникать мысль о необходимости земельного обеспечения для крестьян, хотя землевладельцы, наоборот, находили мысль о сосредоточении в их руках крестьянских земель и об образовании особого класса наемных рабочих для себя и выгодной, и приятной. Замечательно еще, что во всей литературе по крестьянскому вопросу в Германии каждый раз, когда высказывалась заботливость о народных интересах, в виду имелись лишь самостоятельные хозяева из крестьян, а не те бобыли, или батраки, которые должны были прибегать к работе в чужих хозяйствах¹. Вопрос о безземельных сельских рабочих, составляющий лишь часть общего рабочего вопроса XIX в., совсем еще не ставился, как, впрочем, многими не ставился еще и вообще рабочий вопрос, в ту эпоху, когда впервые было приступлено к реформам в крестьянском быту, тем более что господствовавшая в это время экономическая теория была именно основана на признании нормальности существования рабочего класса, оторванного от земли и от орудий производства. Вот почему в начале XIX в. раскрепощение крестьянской массы все еще сопровождалось откреплением множества крестьян от земли, ибо лица, решавшие теоретически и практически вопрос крестьянский, как его понял XVIII в., в большинстве случаев не прозревали еще существования вопроса рабочего, как он был поставлен лишь в XIX столетии, да и то раньше всего не в самой Германии². Можно вообще сказать, что тем лучше в смысле высшей справедливости и интересов общества решался крестьянский вопрос, чем позднее он решался, ибо чужой опыт и теоретическая разработка вопроса вносили все новые и новые поправки и вместе с тем новые точки зрения в его решение; между прочим, и возникновение рабочего вопроса в том смысле, в каком он был поставлен культурным и экономическим движением XIX в., не могло не отразиться на расширении самого крестьянского вопроса.

¹ О разных классах сельского населения в Германии еще в Средние века см. т. I. Об аналогичном явлении во Франции в XVIII в. говорится в т. III.

² Сама литература по истории крестьянского вопроса стала обращать особое внимание на эту сторону дела сравнительно поздно. В этом отношении особенно важно сочинение Кнаппа, посвященное истории не только освобождения крестьян, но и образования сельских рабочих в Пруссии. Вполне можно согласиться с первыми же строками этого важного труда: «Die Geschichte der Bauernbefreiung ist die Geschichte der sozialen Frage des 18. Jahrhunderts. Die soziale Frage des 19. Jahrhundert hat es weniger mit den Bauern zu thun als mit den Arbeitern und zwar... mit den Landarbeitern» (История освобождения крестьян — это история социального вопроса в XVIII в. Социальный вопрос в XIX в. связан скорее с рабочими, и именно с сельскими рабочими, чем с крестьянами (нем.). — Прим. ред.). Своей задачей Кнапп и поставил «den Zusammenhang beider Fragen klarzustellen» (показать связь обоих вопросов (нем.). — Прим. ред.); говоря об отношении прусской крестьянской реформы начала XIX в. к сельским рабочим, он совершенно верно замечает: «eine Bauernfrage gab es längst, aber eine Arbeiterfrage gab es nicht» (Крестьянский вопрос возник давно, но рабочего вопроса еще не было (нем.). — Прим. ред.) (Кнапп. I. 228).

Что реакционная политика вообще отзывалась крайне вредным образом на крестьянстве, доказательством этому может служить Австрия в конце XVIII и первой половине XIX в. В этом государстве во второй половине XVIII в., при Марии-Терезии, были уже предприняты кое-какие реформы в целях облегчения участи крестьян, а в восьмидесятих годах Иосиф II принял даже отмену крепостничества в тех частях монархии, где оно еще существовало. Известно, что начинания Иосифа II в этом отношении встретили сильную оппозицию со стороны дворянства и что по его смерти реакция против его реформ воспользовалась крестьянскими бунтами (1790 — 1792) в некоторых габсбургских владениях (в эрцгерцогстве Австрии, в Чехии, в Моравии), чтобы вынудить у преемника Иосифа II, Леопольда II, отмену ненавистных распоряжений покойного императора, потому и удержавшихся только в одной Галиции. В течение более нежели полустолетия, протекшего со смерти Леопольда II до бурного 1848 г., в положении сельского населения Австрии не произошло затем ни малейшей перемены, которую здесь стоило бы отметить. Каким, в общем, было здесь положение крестьянства в конце XVIII в., таким оставалось в течение всей первой половины XIX в., когда внутри Австрии царила самая мрачная реакция. Лишь самая незначительная часть сельского населения (преимущественно в Тироле и Форарльберге) находилась в состоянии свободных собственников, пользовавшихся полными правами гражданства, да в Ломбардо-Венецианском королевстве с частью Истрии крестьянство было свободно, пользуясь землею, однако, лишь в качестве срочных или наследственных арендаторов. Зато в Австрии, Штирии, Каринтии, Крайне, Богемии, Моравии, Силезии и Галиции с другой частью Истрии крестьяне лишь в теории обладали личной свободой, на самом же деле находились в так называемом наследственном подданстве (*Erbunterthänigkeit*), заменившем только на словах прежнее крепостничество (*Leibeigenschaft*), не имея притом в большей части этих областей права владеть поземельной собственностью и подчиняясь еще суду своих господ. Но особенно печально было положение крестьян в Венгрии и Трансильвании, где они фактически оставались прикрепленными к земле и подчиненными патримониальному суду помещиков. Даже те законы, которые были изданы для ограждения крестьян от помещичьего произвола во второй половине XVIII в., оставались большей частью одною мертвой буквой. Вместе с этим благодаря не только общей культурно-политической реакции, господствовавшей в Австрии при Меттернихе, но и вследствие сохранения старых крепостнических порядков, большая часть провинций монархии находилась в крайнем материальном упадке, и ее экономическая жизнь носила на себе все признаки отсталости.

Судьба крестьянского вопроса в Пруссии, имевшей свои годы прогресса в эпоху реформ Штейна и Гарденберга и войны за освобождение и свои годы реакции после Венского конгресса, тоже может служить примером того, как дурно отражалась общая внутренняя реакция на положении

народных масс. Но история крестьянской реформы в Пруссии заслуживает особого внимания и с других точек зрения. Ввиду того что говорилось выше о теоретической постановке вопроса в начале XIX в., прусская крестьянская реформа представляет большой интерес в смысле именно примера того, как в ней было поставлено дело выкупа господских прав и в какое отношение она стала к земельному обеспечению крестьян, тем более что труд Кнаппа, названный нами выше¹, пролил достаточно яркий свет на обе стороны предмета. Не нужно забывать еще, что крестьянская реформа в Пруссии была предпринята в связи с другими государственными и общественными преобразованиями, придающими вообще большой интерес к прусской истории начала XIX в.² Наконец, из всех немецких государств, приступивших к решению крестьянского вопроса еще в первой трети XIX в., Пруссия является самой крупной державой, и ее пример не мог не повлиять на другие страны Германии.

Из всех монархов Западной Европы прусские короли чуть ли не одни из первых — при общем хозяйственном направлении своей внутренней политики — обратили внимание на крестьянские отношения в своих владениях. Но их деятельность была совершенно различной, смотря по тому, имели ли они дело с крестьянами, жившими на королевских доменах, или с крестьянами частных владельцев. При Фридрихе-Вильгельме I, Фридрихе II и Фридрихе-Вильгельме III королевские крестьяне получили личную свободу, освободились от барщинных повинностей и приобрели в собственность свои земельные участки, так что к началу XIX в. преобразования, совершенные в быту доманиальных крестьян, могли бы служить образцом для устройства быта и крестьян помещичьих. Зато в XVIII в. прусским правительством не сделано было почти ничего для уничтожения крепостничества и барщин в частных имениях. Из эпохи просвещенного абсолютизма Пруссия вышла со всеми характерными чертами государства, сельские отношения коего были построены на началах средневекового феодального быта. Правда, общее земское право прусской монархии³, обнародованное в 1794 г., уже не знает крепостничества (*Leibeigenschaft*) и даже прямо заявляет, что его более в стране не существует⁴, но на самом деле если прежние отношения и не назывались уже этим именем, а обозначались, как *Erbunterthänigkeit*, то существо дела от этого изменялось очень мало. Впрочем, в политике прусских королей по отношению к крестьянам частных владельцев была в XVIII в. одна

¹ Начальная история этой реформы в связи с другими событиями эпохи рассказана очень обстоятельно и в соч. Cavaignac'a.

² См. выше гл. X.

³ *Allgemeines Landrecht*, см. т. III.

⁴ Es findet daher die ehemalige Leibeigenschaft, als eine Art der Persönlnihen Sklaverei, auch in Ansehnung der unterthänigen Bewohner des platen Landes nicht statt. (Следовательно, прежней крепостной зависимости в смысле личностного рабства, даже в отношении (нынешних) крепостных, не существует (нем.). — *Прим. ред.*).

весьма благотворительная сторона. Дело в том, что прусское дворянство весьма нередко посредством так называемого *Legen'a*, или *Bauernlegen'a*, присоединяло к своим непосредственным имениям крестьянские участки, вследствие чего происходило увеличение площади помещичьей (фольварочной) и уменьшение площади крестьянской земли. В XVIII столетии, особенно же во второй его половине, прусское правительство вооружилось против *Legen'a* законодательными мерами, взяв под свою защиту крестьянские дворы и тем задержав процесс обезземеления крестьян. Так дело продолжалось вплоть до начала XIX в., но когда обстоятельства времени вынудили прусское правительство произвести освобождение крестьян и в частных имениях, безусловная охрана крестьян (*Bauernschutz*) прежнего времени была оставлена, и правительство оказалось в этом вопросе вступившим на совершенно иной путь. Таким образом, если в XVIII столетии королевская власть в Пруссии, не отменяя юридической несвободы крестьянства, заботилась, однако, об его экономическом обеспечении, то в начале XIX в., совершив юридическое освобождение сельской массы, это правительство уже перестало заботиться в такой степени, как прежде, об экономической самостоятельности крестьянского сословия. Произошло это отчасти потому, что по обстоятельствам времени государственной власти нужно было считаться с желаниями и стремлениями дворян, которые требовали притом вознаграждения за потерю господских прав, отчасти же и потому, что некоторые деятели реформы стояли на «политико-экономической» точке зрения — превосходства крупного хозяйства с помощью вольнонаемных рабочих.

Мы уже видели, что едва только Штейн, вторично призванный Фридрихом-Вильгельмом III на министерский пост, принял на себя трудную задачу управления вконец расстроенным государством, как появился знаменитый эдикт 9 октября 1807 г., коим отменялось в Пруссии крепостное состояние крестьян. Мы знаем также, что Штейн вовсе не был инициатором этой меры, подготовленной ранее особой комиссией. Уже в 1798 г. король, будучи в Кёнигсберге, получил великое множество жалоб от помещичьих крестьян и поручил министру провинции фон Шреттеру представить ему доклад по вопросу о «наследственном подданстве» крестьян: когда фон Шреттер доложил ему, что от этого состояния крестьянство страдает и в материальном, и в моральном отношениях, Фридрих-Вильгельм III, ссылаясь на пример других государств, выразил желание, чтобы генеральная Директория изыскала средства и выработала план отмены крепостной зависимости во всех владениях монархии. Тогда, однако, сделано в этом направлении ничего не было, и дело на несколько лет заглохло. Между тем уже в 1790-х гг. во многих местах прусской монархии крестьяне прямо волновались, со вступления же на престол Фридриха-Вильгельма III умножились крестьянские жалобы на угнетение, подававшиеся в виде прошений самому королю, между тем как помещики все более и более жаловались на то, что крестьяне

выходят у них из повиновения. Когда в крестьянскую среду проникли слухи о том, что король подумывает об уничтожении крепостничества, число прошений, которые стали подаваться на его имя, быстро возросло, и в деревнях возникла даже особая профессия составления таких прошений, чем стали заниматься, например, народные учителя, старые инвалиды, мелкие чиновники и т. п. Это брожение, конечно, не укрывалось от взоров администрации и дворянства; в нем они видели даже аргумент против каких бы то ни было реформ в крестьянском быту, так как они, на их взгляд, могли бы только повести к беспорядкам и бунтам, хотя другие, наоборот, говорили, что именно бедственное положение крестьян и представляет из себя почву, наиболее удобную для революционной агитации. В прусские деревни действительно проникали отголоски великих событий эпохи, связанных с принципами равенства и свободы.

Когда после Тильзитского мира Фридрих-Вильгельм III должен был дать отставку Герденбергу, то, по его совету, назначил особую «непосредственную комиссию» (Immediat-Kommission), в состав коей вошли несколько людей прогрессивного направления. В числе их довольно видную роль по отношению к крестьянскому вопросу играл Шен¹, ученик философа Канта, содрогавшегося каждый раз при мысли о крепостном праве, сторонник учения о естественных и неотчуждаемых правах человека и большой поклонник политической экономии Адама Смита. Между тем Наполеон уничтожил крепостное право в великом герцогстве Варшавском, и вот в Пруссии возникло опасение, как бы ее собственные крепостные не стали уходить в это соседнее государство. С другой стороны, правительство было озадачено необходимостью залечить те раны, которые война нанесла благосостоянию сельского населения: в этом смысле в «непосредственной комиссии» и стали делаться разного рода предположения об обеспечении участия крестьян. Всем этим воспользовался Шен для того, чтобы возбудить в комиссии вопрос о необходимости социальных реформ, и прежде всего отмены «наследственного подданства», но в том же смысле и в то же время подобное предложение сделал и упоминавшийся раньше фон Шреттер. Оба кроме отмены личной зависимости крестьян требовали и освобождения поземельной собственности от всех тех стеснений, каким ее подчиняло старое законодательство, хотя ни тот ни другой не касались вопроса о поземельном устройстве крестьян после того, как последние лично сделаются свободными и земля превратится в предмет совершенно свободного обмена. Король, в общем, одобрил эти предложения и объявил это в собственноручном указе 23 августа 1807 г., в коем упомянул, что отмена «наследственного подданства» была целью его стремлений с самого вступления его на престол. Такое заявление Фридриха-Вильгельма III сильно встревожило дворянство, и менее нежели через неде-

¹ О нем соч. Lehmann'a, указанное выше.

лю (29 августа) несколько крупных землевладельцев подали королю адрес, в коем выражали свое согласие на предположенную меру лишь под двумя условиями: во-первых, они просили, чтобы в течение пяти лет крестьяне оставались прикрепленными к земле с обязательностью барщины в пользу помещика и лишь после этого срока получили полную свободу передвижения, а во-вторых, они выражали желание, чтобы «каждому помещику была предоставлена свобода распоряжения его крестьянскими участками или дворами» (*die freie Disposition über seine Bauernhöben*). Это последнее желание сводилось к тому, что дворянство готово было отказаться от крепостного права, если правительство откажется от охраны крестьянского землевладения: помещики возвратят крестьянам свободу, но пусть государство отдаст помещикам землю; крестьянин уйдет куда ему будет угодно, но земля его останется, и эта земля будет помещичьей. Составители адреса, предвидя, что правительство побоится, пожалуй, как бы от этого не уменьшилось народонаселение, прибавляли к указанной просьбе и обязательство со своей стороны — заменить каждого ушедшего крестьянина по крайней мере одной семьей, которой будет дан клочок земли и которая будет работать за плату на помещичьем хозяйстве. Король, в общем, был доволен таким заявлением дворянства, сам находя справедливым, чтобы помещики были вознаграждены за отмену крепостничества возможностью «более свободного, как было сказано в кабинетском указе 3 сентября 1807 г., распоряжения своими именными и крестьянскими дворами», хотя к этому и было еще прибавлено: «насколько последнее может происходить без ущерба для обработки земли (*Cultur*) и для населения». В правительственных сферах эта точка зрения также нашла сочувствие. Шен прямо говорил, что, смотря на дело «экономически» (*staatswirthschaftlich betrachtet*), т. е. принимая в расчет теорию свободного проявления экономических интересов, нельзя придумать никаких оснований для того, чтобы навязывать помещикам тот или иной способ хозяйства на своей земле — хозяйство фольварочное или крестьянское. К этому он прибавлял и то соображение, что следовало бы еще предоставить время и облегчить помещикам совершить постепенную замену в своих имениях большого числа слишком мелких крестьянских хозяйств небольшим количеством более крупных на правах срочной аренды. В данном случае Шен был представителем экономических идей своего времени: подобной замены мелкого, крестьянского хозяйства более крупным, фермерским требовали еще французские физиократы в XVIII в., ссылаясь на пример Англии, и то же самое требование мы встречаем у последователей Адама Смита; у Шена, кроме того, перед глазами был пример Передней Померании и Мекленбурга, где господствовала такая же система. Он даже предполагал, что согласия сгоняемых с земли крестьян при этом спрашивать будет не нужно, но что их все-таки придется вознаградить, причем одним из возмещений его потерь будет дарование ему личной свободы. Эти взгляды Шена в высшей степени

характерны для того, чтобы определить, с какой точки зрения смотрели на вопрос представители тогдашней экономической теории. Шена не ужасала перспектива развития сельского пролетариата, и, в сущности, весь его план, без его ведома, был составлен в пользу помещиков, которым предоставлялось свободно распоряжаться крестьянской землей, и в пользу немногих крестьян-хозяев, долженствовавших образовать класс фермеров.

В таком положении был вопрос, когда в Мемель, где тогда находился прусский двор, прибыл Штейн. Все дело крестьянской реформы, которая начата была его эдиктом 9 октября 1807 г., было уже подготовлено, таким образом, до него, хотя впоследствии долгое время честь почина в этом деле приписывали исключительно ему. Штейн перед этим был заинтересован преимущественно лишь вопросом о реформе центрального правительства и администрации. Притом его собственные воззрения в экономических вопросах были диаметрально противоположны тем идеям, коими увлекался Шен. В комиссии, выработывавшей вопрос, думали сначала распространить меру лишь на одну Восточную Пруссию, но Штейн настоял на том, чтобы она, как чисто политическое средство поднять упавший дух населения, была применена ко всей монархии: участие Штейна во всем деле выразилось именно в той решительности, с какой он провел меру, бывшую до того времени предметом одних бесплодных обсуждений. Кроме того, и в вопросе об охране государством крестьянской собственности Штейн проявил гораздо более энергии, чем другие правительственные лица, колебавшиеся между противоположными взглядами. В эдикте 9 октября 1807 г., коим в Пруссии отменялось крепостничество, дозволялось помещикам присоединить к своим землям лишь те крестьянские дворы, которые, будучи разорены последней войной, не могли бы быть восстановлены по недостатку к тому средств у помещика или у крестьян, но не иначе, как по определению правительства и под условием определенного вознаграждения крестьян¹. Далее Штейн удержал в эдикте мысль Шена о соединении нескольких хозяйств в одну более крупную, но крестьянскую же аренду, поскольку при этом крестьянская земля оставалась бы все-таки в руках крестьян же. В остальном, гласил эдикт, «должно остаться в силе ограничение законом свободного распоряжения собственностью (*eine gesetzliche Einschränkung der freien Disposition über das Eigenthum*), такое именно, которое поставило бы пределы своекорыстию более богатых и образованных людей и препятствовало бы превращению крестьянской земли в фольварочную» (*Vorwerksland*), тем более что «возвышение цены на землю стало бы все более привлекать новых владельцев перспективой наживы». Можно сказать, что один Штейн — со своей консервативной точки зрения в экономических вопросах — поддержал принцип охраны государством крестьянского землевладения, тогда как все остальные члены «непосредственной комиссии» в глубине души были убеждены в

¹ В сущности, однако, это не было идеей самого Штейна.

несвоевременности сохранения этого принципа. Но одним делом было провозгласить принцип, другим делом выразить его в определенном законодательстве, а последнего-то и не было сделано в эдикте 9 октября 1807 г.: выработка подробностей была предоставлена будущему.

Что касается до дарования крестьянам личной свободы по эдикту 9 октября 1807 г.¹, то вот существенное место, касающееся этого пункта: «С обнаружением настоящего распоряжения совершенно прекращается существовавшее доселе отношение подданства (*Unterthänigkeits-Verhältniss*) тех подданных, их жен и детей, которые наследственно владеют своими крестьянскими участками (*Baueingüter*) в качестве или собственников, или чиншевиков², или арендаторов (*oder eigenthümlich, oder erbzinsweise, oder erbpächthlich*). С Мартынова дня³ 1810 г. совершенно прекращается всякое подданство помещикам (*Gutsunterthänigkeit*) во всех наших владениях. После Мартынова дня 1810 г. будут существовать только свободные люди, у которых, однако, само собой разумеется, останутся в полной силе все обязательства (*Verbindlichkeiten*), какие только у них в качестве свободных людей могут быть в силу владения поземельной собственностью или в силу особого договора». Этот эдикт был дополнен рядом других распоряжений (28 октября 1807 г., 27 июля 1808 г. и 16 марта 1811 г.), коими устраивался быт доманиальных крестьян на выгодных для них условиях безвозмездной отмены крепостничества, где оно еще оставалось, безвозмездного же укрепления за крестьянами права собственности на землю и выкупа барщин и других повинностей посредством единовременного взноса увеличенной в 25 раз их стоимости или уплаты четырехпроцентной с этой суммы ежегодной ренты. Но весь вопрос был все-таки в дальнейшем устройстве быта помещичьих крестьян.

Эдикт 9 октября 1807 г. немедленно освобождал от зависимости лишь таких крестьян, которые наследственно владели своими участками, но такие были в меньшинстве; для всех же остальных свобода должна была прийти лишь через два года и один месяц. Затем эдикт этот оставлял открытым весь земельный вопрос, который, однако, настоятельно требовал своего решения. Понятно, что около вопроса должны были столкнуться разные интересы и разные взгляды — и в публицистике, и в правительственных сферах, и в самой общественной среде. Вскоре после эдикта 1807 г. известный Шмальц выпустил в свет брошюру «*Ueber Erbunterthänigkeit*» (1808), в коей, становясь на точку зрения экономической свободы, доказывал, что государ-

¹ Полное его название было таково: «*Edict den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grundeigenthums, so wie die persönnlichen Verhältnisse der Landbewohner betreffend*» (Эдикт, облегчающий владение и свободное обращение землевладений, а также касающийся отношений сельских жителей (*нем.*). — *Прим. ред.*).

² См.: чинш — оброк вольных людей, на поместных землях (Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. СПб.; М.: Издание М.О. Вольфа, 1882. Т. 4. С. 605). — *Прим. ред.*

³ 11 ноября.

ство не может идти далее сделанного шага, не может именно превратить крестьянские земли в собственность или наследственно-чиншевые владения крестьян, но должно предоставить собственникам (т. е. помещикам) право устраивать свои частные дела путем свободных договоров. Это была точка зрения и помещиков. На ту же самую точку зрения становились и администрация, принявшая сторону дворянства, и теоретики вроде Шена, который при всем своем совершенно искреннем антидворянском направлении, в сущности, действовал на руку помещичьей партии. Не только Шмальц, защищавший интересы дворянства, доказывал, что в Передней Померании и Мекленбурге господствуют превосходные порядки, — именно и пугавшие-то Штейна, — и говорил, что наемные, сельские рабочие находятся в более счастливом положении, чем крепостные, владеющие своими участками; но на подобную же точку зрения становились и защитники народных интересов. Например, один померанский ландрат¹ (von Dewitz), по-видимому, совершенно искренне доказывал, что Померания отстала в сельском хозяйстве и в благосостоянии от соседнего Мекленбурга потому, что прусское правительство своей охраной крестьянского землевладения только мешало свободному пользованию землей, которое выгоднее и для успехов сельского хозяйства, и для благосостояния самих же землевладельцев. Несомненными друзьями народа были, например, оберпрезидент Зак и агрономический писатель Тэр, но и они становились на ту точку зрения, что нужно отдать предпочтение прилежным наемным рабочим перед нерадивыми хозяевами, и в этом случае допускали Bauernlegen. Пример Англии, где фермерская система достигла большого процветания, соблазнял немалое количество людей, интересовавшихся вопросами народного хозяйства. Были, однако, и такие публицисты (Зебальд в «Aufhebung der Spanndienste», 1803 и проф. Фр. Бен. Вебер в «Ueber den Zustand der Landwirthschaft in den preussischen Staaten und ihre Reformen», 1808), которые ставили устройство быта крестьян в королевских доменах в образец и для помещичьих крестьян. Особенно замечательна в смысле защиты крестьянских интересов написанная в форме открытого письма «к министру» брошюра фон Эггерса «Возрождение Пруссии» (Preussens Regeneration), где проводилась такая мысль: правительство должно позаботиться о том, чтобы не нарушить прежнего образа жизни освобожденных крестьян; возвращая им свободу, нужно обеспечить им и кусок хлеба; следует постараться, чтобы они остались землевладельцами, а не превратились в поденщиков. Далее фон Эггерс доказывал, что уничтожение крепостничества должно повлечь за собой законодательное регулирование барщинных повинностей, ибо какая была бы без этого личная свобода? Эти повинности ни в каком случае не должны мешать крестьянину работать на своем собственном поле. Даже собственная его воля не должна его обязывать нести эти

¹ То есть землевладелец. — *Прим. ред.*

повинности. Правительство — естественный опекун всех несовершеннолетних, а в положении таковых граждански находятся освобожденные крестьяне. Эггерс шел еще дальше и требовал отмены вотчинных суда и полиции, коих совсем не коснулась прусская крестьянская реформа начала XIX в.

Таковы были противоположные воззрения, которые высказывались в публицистике по поводу крестьянской реформы в Пруссии. Штейн держался в аграрном вопросе консервативной точки зрения, но он оставался у власти недолго, а другие правительственные лица или разделяли дворянские стремления, или были сторонниками полной экономической свободы и новой формы сельского хозяйства. Притом самому правительству приходилось считаться с дворянскими требованиями, а впоследствии оно в весьма значительной мере им и подчинилось. Все это не могло не отразиться на дальнейшем ходе крестьянской реформы в Пруссии. В дополнение к эдикту 1807 г. одно за другим (14 февраля 1808 г. для Пруссии, 27 марта 1809 г. для Силезии и 9 января 1810 г. для Померании и Бранденбурга) было издано три распоряжения, первое из коих было составлено при Штейне и послужило образцом для двух других. В законе 14 февраля 1808 г. нельзя не видеть компромисса между взглядами Штейна, вынужденного сделать уступки, и Шена, несколько поколебавшегося в своих прежних воззрениях. Именно все крестьянские участки в Восточной и Западной Пруссии были разделены на две категории — на старые и новые (до и после 1852 г. в Восточной Пруссии и 1774 г. в Западной): последние отдавались на полный произвол помещиков, а первые помещик мог присоединять к фольварочной земле под условием предоставления крестьянам права полной собственности на количество земли, равное тому, какое было присоединено к помещичьему владению, причем разрешалось соединение очень мелких участков в более крупные. Старая политика безусловной охраны крестьянского землевладения была оставлена, и началось обезземеление крестьян, которое замедлялось лишь тем, что у помещиков не было необходимых капиталов, чтобы быстро совершить обе операции — присоединения крестьянских участков к фольваркам и образования из мелких участков более крупных крестьянских ферм. Одна анонимная брошюра 1812 г., указывая на это обстоятельство, пророчила, однако, что скоро возникнут громадные поместья и исчезнет «почтенный класс мелких земледельцев»¹.

После отставки Штейна дело крестьянской реформы продолжалось. В 1810 г. советникам фон Раумеру и Гейнзиусу было поручено выработать план превращения крестьянских участков на помещичьих землях в свободную от всяких повинностей собственность, и когда проект был изготовлен, то был отдан на рассмотрение тогдашнего временного представительства,

¹ «Verlieren oder gewinnen die Gutsbesitzer des preussischen Staates durch die Edicte vom 14 September 1811?» Berlin, 1812. («Теряет или приобретает землевладелец от Эдикта 14 сентября 1811 года?» (нем.). — Прим. ред.)

мнение которого и было принято в расчет в так называемом *Regulirungsedict* 14 сентября 1811 г. Проект Раумера разделял крестьян на две категории — на наследственных, или пожизненных, владельцев и на срочных арендаторов. Первые должны быть превращены в настоящих собственников путем отобрания у них в пользу помещика части земли либо путем уплаты ренты деньгами или натурой, после чего крестьянский участок делался вполне свободной собственностью, которую крестьянин мог бы беспрепятственно отчуждать, что же касается временных аренд, то они должны были оставаться в прежнем положении и отдаваться крестьянам же; но если бы помещик отдал крестьянину в полную собственность такую землю, то мог бы половину участка присоединить к своим непосредственным владениям или выменять на другой участок. По этому проекту впервые государство обязывало помещика к выкупу господских прав, лежавших на наследственных крестьянских землях, тогда как раньше выкуп ставился в зависимость от доброй воли помещика. После обсуждения проекта в комиссии депутатов, где большинство составляли помещики, пожизненные владельцы были перенесены эдиктом 14 сентября 1811 г. из первой категории во вторую, а между тем именно эти-то крестьяне и составляли главную массу значительной части монархии. Притом крестьяне первой категории могли превратить свои участки в наследственную собственность, уступив треть своего владения помещику, тогда как для второй категории в подобном случае полагалась уступка целой половины. Само правительство устами одного из деятелей по выработке этого закона так истолковало его значение собранию депутатов: помещики получают более, чем им следовало бы получить по строгому праву; весь убыток будет на стороне государства, ибо податные силы крестьян, несомненно, уменьшатся, особенно податная способность тех крестьян, которые лишатся целой половины своей земли. Далее, закон предоставлял в распоряжение помещиков и крестьян двухгодичный срок, в течение коего они могли совершить всю операцию посредством добровольных сделок, после чего сделки должны были быть произведены уже путем государственного вмешательства. Правительство, видимо, торопилось привести дело к скорейшему концу, и этим объясняется, что за норму вознаграждения помещиков оно приняло отдачу им трети или половины крестьянской земли. Несмотря на тяжесть такого условия, крестьяне спешили сделаться собственниками своих участков, но дворянство роптало на этот закон: говорили, что впредь для дворян неприятно будет жить в деревне, что на каждом шагу им придется наткнуться на чужую собственность, что после этого их имения станут для них настоящим адом. Со стороны помещиков поднимался и юридический вопрос: имело ли правительство право так распоряжаться чужой собственностью?¹ Они говорили еще, что и в экономическом отношении

¹ Писатель Bülow-Cummerow, стоявший близко к помещичьей среде, например, прямо смотрит на крестьянскую реформу как на отнятие у помещиков собственности, которую-де го-

мера эта принесет лишь вред: крестьяне-де не доросли до того, чтобы стать земельными собственниками; они станут бросать свои земли, которые будут пустовать, сами же крестьяне превратятся в нищих. После 1814 г. дворянская партия начала пускать еще один аргумент в ход против эдикта 1811 г. В это время уже начинала давать себя чувствовать общая реакция, и вот королю стали твердить, что эдикт 1811 г. был составлен под «ядовитым влиянием французского законодательства» Гарденберга, к чему же ведут французские начала, король это может хорошо видеть, посмотрев на то, что сделалось с Францией: Пруссия лишь дотоле будет сильна, пока будет держаться старых своих основ. Все это подействовало на Фридриха-Вильгельма III, и он предписал пересмотр закона о регулировании. Временное представительство воспользовалось этим, чтобы выработать совершенно новый проект. Во главе правления стоял тогда Гарденберг, которого особенно сильно занимали международные отношения и политические вопросы, но который мало понимал подробности крестьянской реформы. 29 мая 1816 г. Фридрих-Вильгельм III обнародовал под видом простой декларации, в сущности, совершенно новый закон, который действовал потом в Пруссии до 1850 г. и по которому совершилось наибольшее количество сделок между крестьянами и помещиками. По декларации 1816 г. регулированию подлежали лишь участки, удовлетворявшие известным условиям¹, вследствие чего число таких участков оказалось весьма незначительным, и притом новый закон рекомендовал преимущественно выкуп собственности посредством ренты. Дворянская партия одержала победу, и вот поэтому-то 1848 г. застал Пруссию еще с весьма значительными остатками старых крестьянских отношений — без той только охраны крестьянского землевладения, которая существовала раньше, но исчезла в 1816 г.

Регулизационные законы 1816 г. касались лишь крестьян, не имевших наследственных прав на землю, но в эдикте было сказано, что и повинности наследственных чиншевиков и арендаторов будут подлежать выкупу по особому закону. Обещание это было приведено в исполнение лишь распоряжением о выкупе (*Ablösungsordnung*) 7 июня 1821 г. Это был довольно сложный закон, который, в сущности, допускал выкуп повинностей лишь для наиболее состоятельных крестьян. Они одни только и были теперь предметом некоторой заботливости со стороны правительства, тогда как, наоборот, малоземельные крестьяне были оставлены совсем на произвол судьбы. Что касается помещиков, то они прямо стремились к тому, чтобы люди, вынужденные жить работой по найму, имели земли лишь настолько, чтобы было место для жилища и огорода, а «иначе они, пожалуй, захотели бы жить землею, а не работою». Так как законодательство отказалось от принципа охраны крестьянского землевладения и вместе с этим совершенно остави-

сударство, в сущности, крестьянам подарило. См. *ero Mittel zur Erhaltung der Grundbesitzer. 1814.*

¹ См. Кнапп, I, 194 и след. Мы не воспроизводим здесь этого сложного закона.

ло без внимания беднейшую часть крестьянства, не имевшую прочных отношений в земле и вынужденную работать на чужих хозяйствах, то помещики мало-помалу превратили их в класс рабочих, нанимавшихся на короткие сроки и получавших маленькие клочки земли. Между тем эта несчастная масса в эпоху законов о регуляции жила надеждами, что и к ней правительство придет на помощь. Она именно представляла себе дело таким образом, что другая категория крестьян получила в виде дара то, что ей вовсе не принадлежало, и что им, бобылям и батракам, тоже даром будет роздана земля.

Новейший историк крестьянской реформы в Пруссии¹, указавший на все ее недостатки, совершенно верно говорит, что критиковать реформу крестьянских отношений на помещичьих землях в Пруссии можно не только на основании позднейшего опыта, — это сняло бы значительную часть вины с деятелей реформы, — но главным образом и сравнивая эту реформу с тем, что само же прусское правительство нашло нужным сделать и действительно сделало для крестьян в королевских доменах. Вместе с этим он основательно указывает на то, что закон 1811 г. и еще в большей мере закон 1816 г. задержали завершение той части процесса освобождения, которая была выгодна для крестьян, вплоть до 1848 г. В выигрыше оказались в конце концов одни помещики и отчасти сравнительно немногие крестьяне. «Помещичье имение, — говорит Кнапп, подводя итоги, — вступило в новую фазу своего существования. Не стесняемый более охраною крестьянского землевладения, увеличив свои владения вследствие уступки крестьянами части земли в виде вознаграждения за свое освобождение, помещик может по мере надобности скупать сделавшиеся независимыми крестьянские дворы и вдобавок имеет в своем распоряжении класс сельских рабочих, которые уже не представляют из себя мелких хозяев, но являются именно просто рабочими и живут одним лишь заработком, не будучи связаны с имением никакими сколько-нибудь прочными узами... И в быту крестьян, — продолжает Кнапп, — произошла перемена: у них к прежнему помещику, как таковому, уже не существует более никаких отношений; они лично и имущественно совсем свободны; участок отдельного крестьянина сделался меньшим, чем был прежде, или его доходы сократились вследствие необходимости уплачивать выкупную ренту; но зато он может посвятить всего себя своему собственному хозяйству, которое благодаря техническим усовершенствованиям всякого рода становится все более прибыльным. Сельские рабочие, — прибавляет Кнапп, — совершенно так же, как и крестьяне, сделались вполне свободными, но сверх того они ничего не получили, если только не потеряли кое-каких выгод, коими располагали раньше». Кнапп забыл к этому прибавить, что за прусским «юнкерством» оставлены были вотчинная юстиция и полиция, которые, конечно, давали помещикам значительные права над сельским населением.

¹ См. Кнапп, I, 316 и след.

В другом месте мы уже видели, как в разных частях Германии совершена была отмена крепостничества в эпоху Рейнского союза и большей частью под прямым влиянием Наполеона. Законодательство отдельных немецких государств по этому вопросу отличалось вообще поспешностью, малой обдуманностью, очень часто крайней неопределенностью и нередко значительными колебаниями в разные стороны по наиболее капитальным пунктам реформы. При кратковременности французского владычества и крайнем несовершенстве законов о выкупе имущественных повинностей, все, что было сделано в это время для крестьян, должно было остаться, в сущности, мертвой буквой. Притом когда началась реакция против французских новшеств, дворянство только о том и думало, чтобы восстановить во всей неприкосновенности старые отношения; оно даже хлопотало об этом на Венском конгрессе. То обстоятельство, что Пруссия по собственной своей инициативе произвела крестьянскую реформу, должно было отразиться на остальной Германии, по крайней мере в том отношении, что отмена крепостничества не могла выставляться как чисто французская затея. Мы видели, что французское владычество вообще совершенно не коснулось внутренних отношений Саксонии, и в этом королевстве потому положение крестьян оставалось прежним вплоть до тридцатых годов, когда здесь приступили к крестьянской реформе лишь под влиянием революционного брожения. В королевстве Ганноверском и курфюршестве Гессен-Кассельском были восстановлены все порядки, существовавшие до французского владычества, так что в Ганновере, например, все распоряжения короля Иеронима были отменены и были объявлены недействительными все заключенные на основании новых законов договоры. Лишь в тридцатых тоже годах и в этих двух государствах началась крестьянская реформа. Лучше всего удержались совершенные, но большей частью не доведенные до конца крестьянские реформы в тех самых южногерманских государствах, которые и в политическом отношении выделялись своими конституциями из остальной Германии. Баварская конституция 1808 г. подтверждала вновь объявленное еще в органическом эдикте 1808 г. уничтожение крепостничества и ограничение барщинных повинностей, которые притом разрешалось выкупать. Впрочем, баварскому дворянству удалось добиться, что так-таки во весь рассматриваемый период и не было издано никакого закона относительно самого способа выкупа барщин¹. Равным образом в конституции Бадена, Вюртемберга и Гессен-Дармштадта были включены статьи, объявлявшие всеобщую

¹ Sebastian Hausmann в недавнем труде своем об освобождении почвы в Баварии прекрасно показал, что в Баварии, собственно говоря, временем, когда было сильное стремление к решению крестьянского вопроса, нужно считать 1799—1807 гг. и что, наоборот, с 1808 г. началась реакция (Hausmann. С. 93 и 117). Что же касается до времени после введения конституции 1818 г., то оно характеризуется общим сознанием необходимости сельскохозяйственных реформ, которые были, однако, немыслимы при сохранении господских прав, и вместе с тем как раз отсутствием всякой решимости приступить к отмене этих прав (Там же. С. 132—133).

свободу населения этих государств. В Вюртемберге, однако, совершенно так же, как и в Баварии, совсем не было издано в рассматриваемую эпоху закона, который регулировал бы выкуп барщин. Хотя в Бадене такой закон и был издан в 1820 г., но он страдал такими недостатками, что, в сущности, до 1830 г. было очень мало случаев, когда крестьяне пользовались этим законом для выкупа своих повинностей. Впрочем, это было, так сказать, общим правилом для всех государств, в коих только издавались в эту эпоху законы о выкупе, ибо уже по одному тому крестьяне не могли ими воспользоваться, что не имели денежных средств для выкупа сразу своих повинностей да еще при весьма высокой их оценке. Еще, пожалуй, более всего сделано было в этом отношении в Гессен-Дармштадте, где закон о выкупе барщин был издан в 1819 г., причем правительство позднее даже думало прийти крестьянам на помощь, но и тут эта операция встречала препятствие в нежелании дворянства покончить с барщинными отношениями, — обстоятельство, которое сильно тормозило дело и в других государствах, где только существовали законы о выкупе. В мелких княжествах делалось, в сущности, то же самое. Например, в саксен-кобургской конституции 1821 г. была объявлена возможность выкупа всех повинностей и обещан был в ближайшем будущем специальный закон в этом смысле, но, в сущности, закон этот вышел в свет лишь в январе 1849 г., да и то под влиянием событий 1848 г. Саксен-веймарский закон 1821 г. о выкупе был до такой степени запутан и недостаточен, что впоследствии его пришлось заменить другим (1848), не говоря уже о том, что вотчинный суд уничтожен был в Саксен-Веймаре лишь в 1850 г. Вообще решение вопроса о выкупе повинностей было совершено лишь в следующих периодах, т. е. после 1830 и 1848 гг.

Говоря о судьбе крестьянского вопроса в средних и мелких немецких государствах вообще, мы должны выделить из всех них Мекленбург ввиду совершенно особого положения его среди остальной Германии по отношению к устройству крестьянского быта. Вследствие особых условий, о коих здесь говорить было бы слишком долго, Мекленбург сделался, так сказать, классической страной крепостничества, в которой крестьян продавали, как рабов. Власть господ здесь была совершенно произвольная; угнетение крестьян барщинами и поборами доходило до последней крайности; но ничего так не боялся мекленбургский крестьянин, как *Legen'a*, т. е. права помещика переводить его с одного участка на другой, обыкновенно худший (*das Umlegen*) или вовсе лишать земли, чтобы превратить его в поденщика или батрака (*das Niederlegen*). Весьма еще редкие в середине XVI в. случаи *Legen'a* стали постепенно учащаться, особенно в XVIII столетии, так что к середине этого века уже очень многие крестьяне были обезземелены, а процесс этот продолжался и впоследствии. В эпоху Тридцатилетней войны в Мекленбурге насчитывалось 12 545 крестьянских участков на помещичьих землях, а в 1849 г. их было лишь 1213! Уже в 1808 г. великий герцог Франц I думал об уничтожении

крепостничества в своих владениях, но только в 1820 г. ему удалось добиться согласия на это со стороны местного дворянства. Изданный в этом году эдикт объявлял, что ежегодно в течение четырех лет (1821–1824) четвертая часть крестьян каждого поместья должна получать право свободного перехода, но при этом и речи не было о превращении крестьян в наследственных или хотя бы пожизненных только чиншевиков. Лишь в великогерцогских доменах, составлявших более половины территории Мекленбурга, в 1820 г. было предпринято превращение крестьян из временных арендаторов в наследственных, но это дело шло крайне медленно и неуспешно. В сущности, положение мекленбургских помещичьих крестьян только ухудшилось. По новому закону, крестьянин, которого помещик прогнал от себя и который не нашел себе нового места жительства у другого помещика, должен был рассматриваться как бродяга и сажаться в рабочий дом. Каждый крестьянин, принимавшийся помещиком, обязывался работать на него шесть дней в неделю за самую незначительную плату и не имел права без позволения господина искать себе работы на стороне. С другой стороны, помещики теперь уже не были обязаны, как во времена крепостного права, давать содержание престарелым, больным и неспособным к труду рабочим, сохранив, однако, вотчинную юстицию над населением своих имений. И как нарочно, по соседству с Мекленбургом в Ольденбурге существовало зажиточное крестьянство. Освобожденное от крепостной зависимости Наполеоном I, когда великое герцогство (в 1811 г.) было присоединено к Франции, оно сохранило личную свободу крестьян и после реставрации (в 1813 г.) Петра-Фридриха-Людвига, который даже утвердил совершенную Наполеоном эмансипацию, хотя и восстановил, однако, вотчинную юстицию дворянства. В 1820 г. был, далее, издан закон о вознаграждении помещиков за потерю ими господских прав, который мало-помалу освободил крестьянскую землю от лежавшей на ней тяготы, но не лишил при этом крестьян их участков. В то самое время как из Мекленбурга началась еще в XVIII в. крестьянская эмиграция (между прочим, в Россию), ольденбургские крестьяне почти никогда не покидали родины, несмотря на естественный прирост населения. Между тем именно мекленбургские аграрные отношения и казались наиболее желательными некоторым публицистам, и особенно землевладельцам в Пруссии, где, как мы видели, после 1816 г. процесс обезземеления пошел также довольно быстро. Весьма любопытно и то, что как раз в это самое время в Шлезвиг-Гольштейне¹, где крепостничество было отменено в 1804 г., правительство приняло меры, дабы площадь крестьянской собственности никоим образом не уменьшалась, и даже достигнут был тот результат, что со времени освобождения крестьянское землевладение значительно возросло.

¹ См. соч. Hanssen'a.

Из всего этого, между прочим, видно, как неодинаково было и юридическое, и экономическое положение немецких крестьян в рассматриваемую эпоху и как несходно решался крестьянский вопрос в отдельных государствах Германии. Все это делает в высшей степени трудным, даже невозможным дать общую характеристику истории крестьян в Германии в XIX в., но зато, с другой стороны, на примере одной Германии, — где мы встречаемся с самыми разнообразными положениями крестьян, начиная с австрийских или саксонских крепостных и кончая мекленбургским сельским пролетариатом, и где столь несходны были между собой приемы крестьянской реформы, — мы можем познакомиться с разными сторонами крестьянского вопроса, который местами уже начал переходить в вопрос рабочих. Заметим еще, что аграрные отношения и их реформа привлекали к себе внимание публицистов не в одной Пруссии и что столкновение разных точек зрения, с которых отдельные лица смотрели на дело, немало способствовало уяснению вопроса и вело к лучшей его теоретической разработке, которая не могла впоследствии не отразиться на более совершенном, чем прежде, его решении. Хотя у некоторой части дворянства мы наблюдаем в эту эпоху стремление к обезземелению крестьян и хотя вместе с тем высказывались в пользу введения хозяйства с наемными рабочими и некоторые теоретики, однако, правительства и многие публицисты не так-то легко поддавались политике, результатом коей могла бы быть лишь экспроприация народной массы. Наконец, раздавались голоса и за сохранение крестьянского землевладения. При всем том у громадного большинства германских правительств эпохи мы не видим, однако, ни достаточной последовательности, ни достаточной твердости, да притом, в общем, дворянская реакция, наступившая в 1815 г., была крайне неблагоприятна и для освобождения крестьян, где оно не было еще начато, и для выкупа ими феодальных повинностей, где последнее было уже в принципе разрешено, и для охраны государством крестьянского землевладения, где эта охрана существовала раньше. К 1830 г. крестьянский вопрос в Германии, таким образом, далеко еще не был решен.

В состав крестьянского вопроса в Германии существенным образом входил вопрос об уничтожении крепостного состояния. В других западноевропейских странах большей частью крестьяне уже гораздо раньше пользовались личной свободой, и потому для этих стран крестьянского вопроса в такой форме уже не существовало. Крепостничество в них или исчезло сравнительно очень рано, как то было в Англии, или совсем не получало развития, что можно сказать, например, о Швеции. В виде исключения пришлось бы назвать лишь очень немногие страны. Крепостничество, например, господствовало в Дании, где дворянская олигархия одно время достигла полного преобладания. И здесь впервые поколеблено было оно только в XVIII столетии, когда в 1702 г. Фридрих IV уничтожил в своих доменах во всей Дании личную крепостную зависимость крестьян и прикрепление их к

земле. Но и тут попытки улучшения положения помещичьих крестьян ни к чему не приводили, и все дело ограничивалось лишь частными мерами да переменою в названии, какое носилось крепостничеством. Лишь Фридрих VI эдиктом 20 июня 1788 г. отменил прикрепление крестьян к земле, освободив сразу всех крестьян, коим было более 36 и менее 14 лет, а остальным предоставив свободу с 1 января 1800 г., хотя тем не менее крестьяне и после этого не могли покидать места жительства ввиду отбывания воинской повинности; потом само правительство делало кое-какие уступки дворянам. Затем в 1791—1799 гг. здесь были изданы законы, имевшие своей целью выкуп барщин и десятин, ограждение крестьянского землевладения от захватов со стороны дворянства¹ и превращение поселян в мелких собственников или наследственных чиншевиков. Эти законы имели своим действием постепенное развитие в Дании мелкой крестьянской собственности на счет срочной или пожизненной аренды. В ту же эпоху, как и в Дании, совершилась отмена крепостничества и в тех кантонах Швейцарии, где оно еще существовало. Его, например, не было в кантонах Бернском и Цюрихском еще с XVI в., но зато оно прочно держалось в Солотурне и Базеле до конца XVIII в. (1785 и 1790 гг.), когда в Швейцарии происходили крестьянские волнения, особенно усилившиеся после Французской революции и облегчившие французам завоевание Швейцарии. Когда последняя была превращена в республику Гельветическую, первым делом нового правительства было повсеместное уничтожение крепостного состояния (4 мая 1898 г.), вслед за чем в том же году последовал закон об освобождении и земли от феодальных повинностей. Но вопрос о том, каким путем это сделать, и в Швейцарии не мог быть решен сразу. Здесь собственником большей части феодальных повинностей (например 75 % десятины), лежавших на земле, было само государство, и, конечно, безвозмездное уничтожение этих повинностей, вытекавшее из тогдашней французской политики, поставило бы казну в совершенно невозможное положение. После того как Наполеон своим посредническим актом 1803 г. возвратил швейцарским кантонам автономию, отдельные правительства стали издавать законы, которые должны были регулировать выкуп лежавших на земле повинностей, и он затянулся на весьма продолжительное время. Лишь в одном Ваадте операция эта была окончена к январю 1812 г., но для этого потребовалась продажа государственных имуществ, дабы на вырученные деньги помочь крестьянам снять лежавшую на них тяготу. Что касается до Бельгии и Голландии, то в них остатки крепостничества были уничтожены, когда первая была присоединена к Франции, а вторая превращена в республику Батавскую. То же должно сказать и о Савойе, в которой освобождение крестьян было уже предпринято, но не было завершено еще до начала Французской революции.

¹ Аналогичные законы потом и были изданы датским правительством в Шлезвиг-Гольштейне.

Французское завоевание Италии не оставалось без важного влияния на перемену и в этой стране крестьянских и аграрных отношений. Хотя крепостничества в Италии уже не существовало с давнего времени, положение крестьянской массы и здесь было весьма печальное. Успехи французов уже в 1797 г. заставили сардинского короля Карла Эммануила IV, отличавшегося, в сущности, крайней приверженностью к «старому порядку», положить конец всем феодальным отношениям посредством запрещения устраивать новые майораты и ограничения действия старых лишь двумя поколениями, посредством превращения всех зависимых поземельных участков в свободную (аллодиальную) собственность и посредством установления выкупа для лежавших на них повинностей и сервитутов. В других частях Италии аналогичные реформы были произведены самими французами, и реакции, наступившей в 1815 г., уже не удалось восстановить здесь все то, что было разрушено французами. Впрочем, перемены, произведенные в Италии в эпоху революционных войн и владычества Наполеона, не коснулись самого главного в быту тамошнего сельского населения. Крестьянин лично был свободен уже давно, но вместе с тем он и давно был обезземелен. В общем, крестьянская собственность в Италии была явлением крайне редким, да и наследственные чиншевики попадались неособенно часто. В громадном большинстве случаев отношение крестьянина к земле заключалось в краткосрочной (очень часто на условиях половничества, особенно в Ломбардии) аренде, ставившей его в полную зависимость от собственника, или же, как это особенно развилось в Сицилии¹, земля, разделенная на большие фермы, обрабатывалась наемными (часто поденно) рабочими, местом жительства коих были города (этот порядок вещей существует в Сицилии и по сей день). В Италии в начале XIX в. уже были все признаки существования весьма обостренных аграрного и рабочего вопросов, так как «колоны» (половники) и полевые рабочие страшно бедствовали и сельское хозяйство не всегда велось успешно; вследствие этого бывали голодные годы даже в такой благословенной природою стране, как Ломбардия (1816—1817). Реакционные правительства и землевладельческие классы, однако, ничего не предпринимали для улучшения быта сельского населения, и все в Италии оставалось по-старому в сфере аграрных и крестьянских отношений.

В Испании, где крепостничество исчезло еще к концу Средних веков, крестьянство состояло при переходе в Новое время из наследственных чиншевиков и даже отчасти из настоящих собственников. Но с XVI в. положение крестьян и здесь стало ухудшаться. В начале этого столетия был издан закон, позволявший дворянам превращать свои имения в майораты, и вот дворянство усиленно начинает с этого времени увеличивать свои земли, между прочим, скупая — большей частью за ничтожную плату — участки

¹ *Sonnino. I contadini in Sicilia*, 1878. См. мою статью об этой книге в «Критическом Обозрении» за 1879 г.

крестьян, разорявшихся от тяжести налогов. С другой стороны, в Испании сильно развилось овцеводство, в интересах коего собственники больших стад покупали особые права над землями крестьян (так называемая *mesta*), вследствие чего последним просто приходилось бросать хозяйство. Общим результатом этого было постепенное обезземеление крестьян и превращение их в краткосрочных арендаторов. В XVIII в. испанские Бурбоны делали попытки поднять сельское хозяйство и крестьянское благосостояние в стране, но успеха не имели, и только завоевание Испании Наполеоном, с одной стороны, и образование либерального правительства кортесов — с другой, положили начало уничтожению главнейших зол, от которых страдало сельское население Испании. Уже Наполеон в 1808 г. отменил в стране майораты, что было подтверждено двумя декретами революционных кортесов в 1820 и 1821 г. Далее, кадикские кортесы в 1811 и 1813 г. уничтожили патримонильную юстицию и все феодальные права, какие еще существовали в Испании, и вместе с тем в 1813 г. был издан декрет о прекращении *мэсты*, не позволявшей в интересах овцеводства мелким хозяевам ограждать свои поля и луга. Тогда же еще были изданы постановления, обеспечивавшие крестьянское пользование земель. Во-первых, было предписано, чтобы все договоры о найме земли были обязательны и для наследников договаривающихся сторон, а во-вторых, запрещено было отказывать от аренды неаккуратным плательщикам, не предупредив их об этом за год (в некоторых же провинциях за два года). Все это было делом знаменитых кортесов, создававших демократическую конституцию 1812 г., которая, между прочим, возвращала сельским общинам существовавшее у них в Средние века право избирать местную администрацию. Кроме того, кортесы занялись отчуждением в частные руки всех запущенных коронных доменов и городских земель, постановив, что съёмщики вновь разделанных под хозяйство участков будут освобождены от налогов в течение целых десяти лет. Реакция, наступившая в 1814 г., уничтожила многое из того, что было узаконено кортесами 1810—1813 гг., пока революция 1820 г. не сделала возможным возвращение к этой демократической политике. В 1820—1823 гг. кортесы начали распродавать по мелким участкам церковные имущества, что должно было повести за собой увеличение класса мелких собственников, но когда в 1823 г. и в Испании снова водворился абсолютизм, все заключенные в этом смысле сделки были объявлены недействительными, и у новых владельцев были отняты их приобретения без всякого вознаграждения.

Подводя итоги под всем сказанным и оставляя при этом в стороне великое разнообразие отношений, какие мы наблюдаем в крестьянской жизни отдельных стран Западной Европы, нельзя не заметить вообще, что если первые заботы государственной власти о переустройстве крестьянского быта относятся еще к XVIII столетию и делаются все заметнее к его концу, то лишь Французская революция резко поставила, по крайней мере, вопрос о

личной свободе сельского населения. Далее, можно сказать еще, что в рассматриваемый период, в общем, для крестьян сделано было очень мало такого, что существенным образом улучшало бы их положение, да и многое из того, что должно было приносить крестьянству выгоду, нередко потом отменялось в эпоху общей реакции. Были, кроме того, и такие страны, для которых совершенно бесследно прошли в этом отношении великие события, переживавшиеся всей Западной Европой в 1789—1815 гг. Наконец, и в тех даже случаях, когда реформы были совершены и потом не отменялись, можно обнаружить немало недостатков в этом законодательстве. Одним из самых слабых его пунктов, как мы видели, представлял вообще вопрос о выкупе феодальных повинностей, лежавших на крестьянской земле. Это был слабый пункт законодательства Французской революции (до провозглашения Конвентом безвозмездного уничтожения всех повинностей, чем гордився узел вопроса не развязывался, а рассекался), но недалеко ушли от нее в этом отношении и законы первой трети XIX в., разрешавшие и даже предписывавшие выкуп, но не создававшие таких условий, которые делали бы его возможным, если только дело не шло об уступке части выкупаемой земли, как это было в Пруссии. Вместе с этим не везде принимались меры к тому, чтобы раскрепощение не сопровождалось обезземелением крестьян, хотя в то же самое время в некоторых местах довольно заметно выступало стремление правительств сохранить за крестьянами ту землю, которой они пользовались, и даже укрепить ее за ними более прочным образом. Во всяком случае, однако, заботливость государственной власти привлекали к себе в подобных случаях лишь крестьяне, имевшие свое хозяйство, тогда как нарождавшийся сельский пролетариат, наоборот, вполне предоставлялся на произвол землевладельцев. Возбуждению крестьянского вопроса и проведению реформ всюду притом мешала дворянская оппозиция, особенно усилившаяся в эпоху общей реакции и нередко заставлявшая правительства не только делать ей вынужденные уступки, но и прямо входить в ее ретроградные виды. Реакционные писатели поддерживали стремления дворянства, восхваляя средневековую старину, время «добрых» «патриархальных» отношений между господами и поселянами и нападая на новые экономические теории. В последних тоже были стороны, не особенно благоприятные для крестьян: учение о невмешательстве государства в экономическую жизнь, в сущности, стремилось к тому, чтобы уничтожить все законы, коими, например, государство думало охранять существование крестьянского землевладения, а многих теоретиков, кроме того, соблазнял пример Англии (и даже Мекленбурга) с ее развитым фермерским хозяйством, ведущимся при помощи наемного труда. В конце концов, в деле крестьянской реформы в двадцатых годах замечается некоторый застой, объясняющийся общей реакцией этой эпохи. Должно было пройти еще два-три десятилетия, прежде чем могла совершиться полная ликвидация отношений, имевших свою основу в

средневековом феодализме, и вот в то самое время, как подходило к концу решение крестьянского вопроса в смысле личного и имущественного освобождения крестьян от феодальной зависимости, жизнь начинала ставить другой социальный вопрос — вопрос рабочий, который хотя и возник на почве новых отношений в обрабатывающей промышленности, бывших результатом целой экономической революции в этой области в конце XVIII и начале XIX в., тем не менее должен был коснуться и сельского пролетариата, развившегося в некоторых странах Европы (особенно, как было сказано, в Англии, в Сицилии, в Мекленбурге, где в это положение попало большинство земледельцев).

XXIV. Перемены в промышленном быту Западной Европы в конце XVIII и начале XIX в.¹

Содержание настоящей главы. — Две стороны в процессе обезземеления крестьян. — Образование пролетариата. — Обезземеление в Англии. — Агрономические успехи Англии. — Усиление буржуазии в Англии. — Падение и уничтожение цеховых учреждений. — Запрещение рабочих союзов. — Реформа цехов в Пруссии. — Отмена цеховых стеснений в Англии. — Факты замены мелкой промышленности крупной. — Изобретение машин и введение их в промышленность. — Непосредственные следствия введения машин. — Искусственные пути сообщения. — Общий вывод

В настоящей главе мы сделаем общий очерк экономического переворота, совершившегося в Западной Европе в конце XVIII и начале XIX в. и состоящего в возникновении крупной промышленности на капиталистических началах, причем будем иметь в виду преимущественно Англию, где этот переворот произошел раньше и выразился резче, нежели в какой-либо стране континента. Три общие факта, имеющие первостепенное значение в истории этого переворота и тесно связанные между собой, должны обратить на себя особое наше внимание при рассмотрении причин, хода и последствий этого переворота. Хотя все они и находятся между собой во взаимодействии, влияя один на другой в произведении общего результата, мы рассмотрим каждый из них в отдельности. Во-первых, крупная промышленность сделалась возможной лишь вследствие появления пролетариата и освобождения от земледельческих работ массы рук, благодаря чему возросло предложение свободного труда и явилась возможность дешевой его покупки. Вторым фактом являются упадок и отмена цехов, при которых развитие крупной промышленности было стеснено, и вообще уничтожение всех ограничений, которые существовали в старом, «полицейском» государстве по отношению к промышленности. Наконец, третий факт представляет собой введение машин, совершившее настоящий переворот в производстве продуктов, выделявавшихся ранее при помощи труда ручного. В чем заключается взаимодействие между этими тремя фактами, может быть понято лишь после рассмотрения каждого из них в отдельности.

Начнем с обезземеления крестьянской массы. Процесс обезземеления играет весьма видную роль в социальной истории Западной Европы², выражаясь в двух отличных один от другого процессах. С одной стороны, он состоял

¹ Указания на литературу см. выше.

² См. т. I; см. гл. XIV и XVI.

именно в исчезновении мелкой собственности, результатом чего было увеличение крупного землевладения, которое, однако, могло соединяться по-прежнему с мелким хозяйством, как это и было в эпоху господства феодальных аграрных отношений, когда земля делалась собственностью сеньоров, крестьяне же превращались в зависимых фермеров, пользовавшихся этой землей на весьма различных условиях, но все-таки продолжавших вести на ней мелкое хозяйство. Этот процесс можно обозначить как образование крупного землевладения на счет мелкого, что само по себе, конечно, еще не влекло соответственной перемены в сельском хозяйстве, т. е. замены мелкого хозяйства крупным. Другую сторону процесса представляет из себя именно эта самая замена, когда несколько мелких хозяйств стали соединяться в одно крупное, во главе коего стоял или сам землевладелец, или снимавший у него землю крупный фермер: это уже процесс возникновения крупного хозяйства на счет мелкого, сопровождавшийся превращением самостоятельных крестьян-хозяев, — каково бы ни было их юридическое положение, как одного из классов населения, и каково бы ни было их юридическое отношение к земле, — в безземельных земледельцев, работающих в чужом хозяйстве, причем и они могли быть или в крепости у своих землевладельцев, как то было, например, в Мекленбурге, или же, наоборот, быть совершенно свободными, что наблюдается, например, в Сицилии. Оставляя в стороне вопрос о юридической свободе или несвободе крестьян и о юридических основаниях, на коих они могли пользоваться землей, и имея в виду лишь одно экономическое их положение, мы можем поэтому в быту земледельческого класса различать два состояния — состояние мелких хозяев, работающих на своих земельных участках, и состояние земледельческих рабочих, находящихся в услужении у крупных хозяев с разными переходными ступенями из одного положения в другое. Средние века характеризуются, в общем, преобладанием мелкого хозяйства, и лишь в Новое время стало делать успехи хозяйство крупное. Понятно, что в одно и то же время на одной и той же территории можно встречать в истории крестьянского сословия самые разнообразные отношения его к земле — мелкую собственность, наследственную чиншевую аренду (цензиву), половничество на весьма разнообразных условиях, аренду краткосрочную и, наконец, самые прекарные способы пользования землей, а рядом со всем этим наемничество в поденные или годовые рабочие у других хозяев, не исключая и мелких хозяев, раз последние не в состоянии были справляться средствами своей семьи с находившимися в распоряжении их участками. Например, во Франции в XVIII в. мы встречаемся с весьма разнообразными формами в этом отношении, с самыми архаическими и, наоборот, с такими, которые стали возникать лишь в более позднее время. Поэтому обезземеленной — и в юридическом, и в экономическом смысле — могла быть лишь большая или меньшая часть крестьянства, и смотря по тому, как быстро увеличивалась эта часть и насколько она начинала превышать другую часть, сохранявшую свою связь с землей, мы можем говорить о

большей или меньшей скорости и полноте обезземеления. Оба указанных процесса находятся в тесной связи между собой, и первый представляет из себя необходимое условие второго: образование крупного землевладения путем ли скупки мелких участков или присоединения к непосредственному владению помещика земли, находившейся в наследственном (или даже только срочном) пользовании крестьян, по времени всегда предшествует возникновению крупного хозяйства путем уничтожения мелких хозяйств, каковы бы ни были раньше юридические основания, на коих мелкие хозяева пользовались землей. И в действительной истории сельского хозяйства на западе Европы первый процесс предшествовал второму. Освобождение крестьян от крепостной зависимости, начавшееся еще во второй половине Средних веков, сопровождалось разрывом той крепкой связи, в какой находились между собой крестьянин и его земля, но эта юридическая перемена не касалась экономической стороны дела: свободный крестьянин мог оставаться и действительно оставался сидеть на своем участке, по-прежнему ведя на нем свое хозяйство, но уже не связанный с ним прежними крепкими узами. Это расторжение старой юридической связи — рядом со скупкой мелких участков и всякого рода насилиями и беззакониями со стороны крупных землевладельцев — подготовляло почву и для расторжения связи экономической, когда землевладелец присоединяет участки, отдававшиеся им крестьянам, к своему непосредственному поместью, на котором, например, сам ведет хозяйство, или когда соединяет несколько таких участков в одну больших размеров ферму, чтобы отдать ее на более выгодных для себя условиях в аренду богатому предпринимателю. Такая перемена влекла за собой расстройство в быту крестьян, и многие из них, будучи выбиты из колеи, превращались в бродяг, эмигрировали в другие страны, между прочим, в колонии или переселялись в города, чтобы искать там заработка в обрабатывающей промышленности. Каковы бы ни были условия самого городского быта, которые могли создавать пролетариат, наибольшего своего развития он мог достигнуть лишь вследствие переселения в города обезземеленных крестьян. Поглощение образовавшегося в деревнях пролетариата обрабатывающей промышленностью, где для последней существовали благоприятные условия, началось весьма рано и каждый раз, как процесс обезземеления усиливался, увеличивался и приток свободных рук к обрабатывающей промышленности. Так как нередко предложение труда превышало спрос на него, то это влекло за собой или понижение рабочей платы, или ухудшение иных условий, на которых пролетариат соглашался работать у того или другого предпринимателя (например, удлинение рабочего дня).

Описанный процесс совершался в большей или меньшей степени повсеместно, но нигде он не имел такой быстроты и не выразился с такой полнотой, как в Англии¹. Окончательно процесс обезземеления крестьян — и в

¹ Для предыдущей истории обезземеления в Англии см. т. I, II и III.

смысле исчезновения мелкой собственности, и в смысле полного падения мелкого хозяйства — завершился здесь к концу XVIII и началу XIX в. Факторы, действовавшие в этом процессе, существовали гораздо раньше, но только именно в рассматриваемое нами время они стали действовать с наибольшей напряженностью. Еще в эпоху второй революции и в начале XVIII столетия Англия была страной земледельческой. Около этой эпохи в стране приходилось на сельское хозяйство около 2 млн рабочих, тогда как торговля поглощала менее четверти млн рабочих, а промышленность — даже еще менее, нежели торговля. Но в XVIII в. начинается в Англии необычайный прирост городского населения. В то самое время как во Франции перед революцией лишь одна четверть населения (6 млн из 24) жила в городах, в Англии уже в семидесятых годах XVIII в. городское население равнялось половине всего числа жителей в стране. Этот процесс увеличения городского населения совершался с поразительной быстротой и в первой трети XIX в. Например, вычислено, что с 1801 по 1831 г. число жителей в Англии увеличилось вообще на 50%, а между тем население многих городов за тот же промежуток времени увеличивалось на 150% (в Ливерпуле на 138%, в Манчестере на 151%, в Глазго на 161% и т. п.). Все это свидетельствует о том, что в сельской жизни Англии происходил весьма глубокий переворот, и такое заключение действительно подтверждается массой других указаний. Одним из факторов обезземеления крестьян в Англии были так называемые акты об огораживании (*inclosure acts*), посредством коих парламент изымал в пользу лендлордов общинные земли, коими раньше пользовались сельские жители. В конце XVIII и начале XIX в. этот процесс совершался особенно быстро, на что, прежде всего, указывает одно количество парламентских актов, изданных для отдельных случаев огораживания со вступления на престол Георга III до первой парламентской реформы, т. е. с 1760 по 1832 г., в течение, значит, семидесяти двух лет: это количество именно превышало три с половиной тысячи (3635), так что на каждый год средним числом приходилось около пятидесяти актов этого рода. Со времени королевы Анны, т. е. с начала XVIII в. по 1805 г., т. е. за целое столетие, огорожено было в Соединенном Королевстве немного более четырех млн (4 186 056) акров общинной земли, а за одну первую треть XIX столетия (1801—1831) — уже более трех с половиной млн (3 511 770), из коих более трех млн приходится на первые два десятилетия, когда огораживания производились особенно деятельно: именно в 1780—1789 гг. было огорожено (в круглых цифрах) 450 тыс. акров, в 1790—1799 гг. — около 860 тыс. акров, в 1880—1809 гг. уже 1 550 000, в 1810—1819 гг. — 1 560 000, а в следующие десятилетия эта цифра падает опять до 375 тыс. и 350 тыс. акров. Вычислито, что за указанный выше семидесятидвухлетний период времени землевладельцы приобрели чуть не полные семь млн акров (6 840 540). Эти цифры будут говорить еще красноречивее, если мы примем в расчет, что в четыре десятка лет до 1760 г. было огорожено лишь около 550 тыс. акров. Рядом с

этим совершался процесс так называемой «очистки» (clearing) имений, заключавшейся в том, что у фермеров по окончании срока аренды отнимались земли, находившиеся в их обработке, и затем или соединялись в более крупные хозяйственные единицы, или обращались в пастбища для овец и в искусственные луга, благодаря чему бывшие мелкие арендаторы не могли даже сделаться сельскохозяйственными рабочими, раз «очистка» имений сопровождалась уменьшением площади запашки. В последнем отношении, так сказать, классическим примером была перемена, совершившаяся в самое короткое время в поместье гр. Соутерленд: в 1814 г. на его землях прокармливалось 15 тыс. человек, а в 1825-м паслось уже 131 тыс. овец: все мелкие фермы были за этот промежуток времени уничтожены и превращены в пастбища для овец, шерсть которых имела хороший сбыт на фабрики. Поводами к огораживанию были в эту эпоху большей частью соображения агрономического свойства, так как при искусственном разведении клевера и турнепса, которое началось еще в середине XVII в., старый способ пользования общинными угодьями оказывался крайне невыгодным: на них были, большей частью, самые плохие пастбища и луга, позволявшие сельскому населению иметь кое-какой скот, но не дававшие хорошего дохода. Огораживания подняли производительность земли, к коей стало теперь возможным применять улучшенные способы земледелия, но интересы мелких хозяев и вообще сельского населения от этого страдали. Во-первых, сокращалось количество коров и мелкого скота, принадлежавшего крестьянам. Во-вторых, после этой разверстки и вести хозяйство было трудно, ибо мелкие фермы со своим исключительно зерновым производством не могли соперничать с новым крупным хозяйством и его плодопеременной системой: просто-напросто при существовавших тогда ценах на продукты издержки на ведение мелкого хозяйства не окупались из получаемого дохода. К тому же, как мы увидим, около этого времени земледельцы стали терять дополнительные заработки в виде пряжи, тканья и т. п. кустарным образом: это также ухудшало их положение. Им приходилось в трудные минуты делать долги, в которых они потом все более и более и запутывались, а тут еще лендлорды, прибирая к рукам землю всякими правдами и неправдами, — например, возбуждая разорительные процессы, — весьма охотно ссужали деньги или предлагали неслыханные раньше цены за участки, которые им особенно сподручно было прихватить к своим землям. Те же мотивы извлечения наибольшего дохода из земли путем улучшенного хозяйства заставляли лендлордов соединять фермы. В XVIII в. в Англии преобладали фермы в 40—100 акров, но в начале XIX в. уже начинают господствовать фермы в пять раз большие, а во главе каждой стоит предприниматель, который затрачивает капитал, чтобы улучшить почву (осушка, удобрение), возвести хорошие сельскохозяйственные постройки, приобрести улучшенные породы скота, купить усовершенствованные орудия. Все это действительно поднимало доходность земли, и например, английский

экономист и агроном Артур Юнг, путешествовавший по Франции в эпоху революции, в своем описании этого путешествия то и дело отмечает превосходство английской системы крупных ферм над французским крестьянским хозяйством. Физиократы и последователи школы Адама Смита на материке тоже были поклонниками английского фермерского хозяйства. Технический прогресс Англии в эту эпоху действительно должен был всем бросаться в глаза и мог ослеплять своими результатами, особенно по сравнению с жалким хозяйством крепостных крестьян или полоников. В эпоху континентальной системы английские землевладельцы должны были еще более положить денег и труда для улучшения сельского хозяйства — ввиду того, что в эти годы доставка иностранного хлеба в Англию донельзя была затруднена. Но у этого агрономического прогресса была и другая сторона: он сопровождался самым несомненным ухудшением быта хозяйственных крестьян, которые или переходили в положение наемных рабочих на фермах, или выселялись в города. Весьма любопытно, что в XVIII в. самыми населенными графствами были южные, сельскохозяйственные, но в начале XIX в. преобладание в смысле населенности стало переходить к северным, промышленным графствам. Несмотря на общий прирост населения Англии, число семейств, занятых земледелием, в ней постепенно уменьшалось: например, в 1821 г. их считалось без малого 980 тыс., а в 1831 г. — только 960 тыс. с небольшим. Особенно ужасны были следствия такого обезземеления в Ирландии, настоящей стране аграрных угнетений, голода и эмиграции¹.

Так создалась в Англии крупная поземельная собственность с крупным же хозяйством, причем поддержанию нераздельности больших поместий сильно содействовал принцип заповедных имений, в силу коего землевладелец имеет лишь пожизненное право на свое поместье с обязательством передачи такого же пожизненного права и своему наследнику. В данную минуту четыре пятых всей земли в Соединенном Королевстве принадлежит лишь семи тысячам владельцам крупных поместий, число коих доходит до 11 тыс., причем в каждом поместье земли более тысячи акров. Целая половина Англии принадлежит 150 лицам, половина Шотландии — 75, половина Ирландии — 35. Одним английским лордам принадлежит целая четверть территории Англии, а в Шотландии такое же количество земли — лишь пяти лордам. При таком распределении поземельной собственности и при развитии крупного хозяйства экономический строй Англии получил своеобразный характер. Если в старину в лице крестьянина-хозяина соединялись землевладелец, капиталист (в смысле обладателя скота, орудий и запасов) и рабочий, то теперь явилось три совершенно различных класса, а именно: лендлорды, получающие за свою землю ренту, а если и ведущие сами хозяйство, то лишь в виде приятного и здорового занятия; фермеры-

¹ Аграрные отношения этой части Великобритании будут рассмотрены впоследствии в связи вообще с так называемым «ирландским вопросом».

капиталисты, снимающие землю у первых для получения из нее прибыли на свой капитал, и наемные рабочие, трудом коих, по указанию фермеров и под их надзором, ведется все хозяйство страны. Эту экономическую организацию дополняла политическая, отдававшая власть в руки только одних богатых классов общества, благодаря чему, например, в XVIII в. число избирателей в парламент едва ли превышало 200 тыс. Сначала в Англии социальное могущество было основано на одном землевладении, и вот еще с начала XVIII в. богатые коммерсанты, нажившиеся крупной торговлей или мануфактурами, стали энергично скупать землю, усиливая тем самым старую землевладельческую аристократию¹, но вместе с тем они же начали вносить в область сельского хозяйства коммерческие расчеты, которые составляли сущность их торговых и промышленных занятий. Английское земледелие получило чисто капиталистический характер, и буржуазия превратилась в господствующий класс общества.

Одной из главнейших основ экономической мощи новейшей буржуазии сделалась обрабатывающая промышленность. Известно, что первыми капиталистами — еще в Средние века — были крупные купцы, которые только впоследствии стали являться предпринимателями и в области промышленности². Последняя не могла получать крупных размеров, пока были в силе цеховые учреждения, коими, между прочим, обеспечивалось более или менее равномерное распределение ремесленного заработка между всеми работниками одной и той же специальности³ и которые, кроме того, представляли из себя самостоятельные организации ремесленников, имевшие нередко и политическое значение. Настоящей эпохой процветания цехов была вторая половина Средних веков, но в Новое время они стали приходить в упадок⁴ и даже прямо вырождаться в олигархические ассоциации мастеров, не служа более той цели, для которой учредились, а вместе с тем и стесняя личную свободу и тормозя технические успехи производства. В числе требований, предъявлявшихся физиократами, отмена цехов занимала довольно видное место, и когда французский министр-реформатор из физиократов, Тюрго, задумал осчастливить Францию преобразованиями в духе своей экономической теории, то одним из первых его шагов в этом направлении было как раз уничтожение цехов. Физиократы были вообще сторонниками экономической свободы, и на этой же точке зрения стоял Адам Смит, тоже доказывавший, что цеховые привилегии нарушают самые священные права личности⁵. Как раз на ту же точку зрения стало законодательство Французской революции, уничтожившее цехи и провозгласившее сво-

¹ Аналогичное явление было и в Пруссии.

² См. т. I, гл. XIX.

³ См. т. I, гл. XVIII.

⁴ См. т. III, гл. IX.

⁵ См. в следующей главе.

боду труда. Учредительное собрание своим декретом 14 июня 1791 г. даже запретило «восстанавливать всякого рода корпорации граждан одного и того же состояния или профессии под каким бы то ни было предлогом и под каким бы то ни было видом», находя, что все такие корпорации представляют собой посягательство на индивидуальную свободу, в силу чего, как гласил декрет, «если граждане одного и того же ремесла или занятия примут решение или сделают между собой договор отказаться сообща или согласиться только по определенной цене содействовать своим ремеслом или своими работами, то означенные решения и договоры будут объявлены противоконституционными». Такое запрещение получило в высшей степени важное значение в экономической истории XIX в., не позволяя ни временных, ни постоянных соглашений между рабочими: закон 1791 г. ставил рабочего лицом к лицу с предпринимателем, экономическое превосходство коего над человеком, продающим лишь свой труд, было настолько велико, что, конечно, говорить о равенстве условий при заключении свободного договора в данном случае не приходится. Позднее было создано, что лишь союзная организация доставляет рабочему классу известную равноправность в предложении своего труда предпринимателю, но было время, когда верили в единую спасающуюся силу свободной конкуренции между индивидуальными интересами, хотя бы на одной стороне была вся мощь капитала, и на другой — вся слабость нищеты. Французское законодательство и впоследствии принимало меры против стачек между рабочими, опираясь всегда на один и тот же мотив — охрану индивидуальной свободы. Совершенно так, например, мотивировал запрещение стачек и союзов между рабочими и Уголовный кодекс Наполеона I. Конечно, буржуазия не могла не увидеть, какую выгоду представляло для нее запрещение рабочих союзов, в которых, наоборот, пролетариат усматривал одно из средств экономической борьбы. В Англии также рабочие союзы, или коалиции, были строжайшим образом и под страхом наказания запрещены законом 1800 г., раз эти соединения имели своей целью совокупное действие, клонившееся или к повышению платы, или к уменьшению рабочего дня, и принуждение к оставлению работы. Законом завершался целый ряд других подобных же combinations law¹, издававшихся по инициативе работодателей и вполне соответствовавших тогдашней экономической доктрине, что одна ничем не стесняемая свобода отдельной личности может осуществить материальное благополучие страны. Рабочие в Англии, однако, не обращали большого внимания на запрещения и, не будучи в состоянии основывать открытые ассоциации, вступали между собой в тайные соглашения. В 1824 г. парламент отменил наиболее стеснительные из combinations law, разрешив рабочим основывать союзы для регулирования рабочей платы и продолжительности дневного труда, но

¹ Законы об объединениях (англ.). — Прим. ред.

так как в том же году во многих местностях произошли среди рабочих беспорядки, то в следующем же году парламент внес в данное им разрешение некоторые ограничения. Дозволяя именно вступать рабочим между собой в союзы для соглашений, касающихся рабочей платы, закон 1825 г. налагал строгие наказания за всякие действия, которые имели бы своей целью принудить кого-либо из рабочих присоединиться к придуманным большинством мерам, причем соглашения подобного рода вообще лишь в том случае не считались преступными, если касались только тех рабочих, которые лично принимали участие в постановлении известных решений. Самая редакция закона была такова, однако, что за всякое участие в союзе можно было рисковать быть отданным под суд. Если обезземеление сельской массы создавало для предпринимателей большое предложение труда, который можно было — в силу конкуренции между самими же рабочими — покупать по дешевой цене, то недозволение рабочим вступать между собой в соглашения давало предпринимателям возможность иметь дело не с сильными солидарностью своей ассоциациями рабочих, а с отдельными индивидами, совершенно бессильными перед мощью капитала.

Новые союзы запрещались, а старые отменялись. Мы только что упоминали о том, что во Франции цехи пали в силу декрета национального собрания. В начале XIX столетия новый взгляд на цехи коснулся также и Пруссии, где в XVIII в. действовало весьма развитое и даже очень мелочное цеховое законодательство, вытекавшее из старых оснований морального характера и меркантилистических стремлений полицейского государства¹. В конце XVIII в. враждебное цехам учение Адама Смита стало проникать вообще в Германию, где скоро необходимость цехов тоже стала ставиться под сомнение, хотя тут же у цехов нашлись и защитники. Впрочем, лишь только в первых годах XIX в. против цехов здесь был начат настоящий поход. В 1803 г. Иоганн Гофман, впоследствии знаменитый берлинский статистик, издал анонимно брошюру под заглавием «Интерес человека и гражданина в существовании цехового устройства» («Interesse des Menschen und Bürgers an der bestehenden Zunftverfassung»), о которой впоследствии (1841) писал следующее: «В момент издания моего труда живо обсуждался вопрос, следует ли только очистить цехи от злоупотребления или совершенно отменить; но попытки реформ, начатые с давних пор, имели столь малый успех, что злоупотребления казались нераздельно слитыми с цеховой системой, и потому оставалось, по-видимому, или оставить цехи неприкосновенными, или вовсе их отменить. Первого никто не желал; даже самые горячие защитники цехов требовали исправления признанных злоупотреблений. Кто такое исправление считал невозможным, тому оставалось подать голос за отмену цехов». Это признание человека, который через сорок лет смотрел на дело не-

¹ См. книгу Н.В. Молчановского, названную выше.

сколько другими глазами, в высшей степени характерно для того времени, хотя нельзя не отметить и того, что число защитников цеховой организации в это время было немалое. Наконец, вопрос о цехах в Пруссии был поставлен и на практическую почву — в знаменитую эпоху реформ. Штейн, как известно, до своего переезда в Берлин занимал на прусской государственной службе должности, которые, между прочим, заставили его ознакомиться с фабричным и горнозаводским делом, а кроме того, он ездил в Англию, где и изучал новейшие технические усовершенствования и машины. Экономические взгляды Штейна определялись не какими-либо теориями, до которых он вообще был неохотник, а старой меркантилистической рутинной и практически соображениями реального государственного интереса. На цехи, как и на многое другое в общественной жизни, Штейн смотрел с точки зрения противоположной идеям Французской революции и экономической школы Адама Смита. «Вопрос о значении цехов, — писал он, например, — обсуждают односторонне с точки зрения государственного хозяйства и спрашивают только, поощряют ли цехи промышленную деятельность. Без сомнения, — соглашался он, — в цеховых учреждениях есть подробности, направленные к ограничению свободной игры производительных сил, но эта сторона может быть отчасти смягчена и устранена; притом же и неограниченная промышленная свобода имеет свои недостатки: несоответствие производства с потреблением, чрезмерное развитие эгоистических стремлений. Между тем государство не есть земледельческое или фабричное учреждение; цель его — религиозно-нравственное, умственное и физическое развитие граждан; путем своих установлений государство должно создать сильное, смелое, нравственное и интеллигентное поколение, а не только поколение искусное и производящее». Поэтому Штейн смотрел на цехи как на весьма хорошее орудие для достижения моральных целей государства и, думая о городском самоуправлении, хотел удержать разделение городских жителей на цехи, так как без этой организации не было бы никакой связи между отдельными лицами. Многие взгляды Штейна по цеховому вопросу разделял и Вильгельм фон Гумбольдт¹, впоследствии их, однако, изменивший, и из сотрудников Штейна разве один только Шен, как поклонник наибольшей экономической свободы, являлся противником этого учреждения. Иначе, чем Штейн, думал о цехах Гарденберг, но его программа была очень проста, тем более что он не входил в сколько-нибудь глубокое обсуждение вопроса и мало вообще понимал экономические вопросы, мало ими даже и интересовался. Нужно заметить, что в эту эпоху с цеховым ремеслом в Пруссии еще не вступало в соперничество фабричное производство, так что даже через полвека (в 1861 г.) здесь число ремесленников превышало в значительной мере число фабричных рабочих, а именно первых в старых провинциях Пруссии было около

¹ Ср. его идею о сотовариществах для достижения разных моральных и экономических целей.

6%, тогда как вторых — немного более 4% общей цифры населения. Мы не станем здесь следить за тем, какие меры принимались правительством при Штейне и в министерство Дона-Альтенштейна для регулирования ремесленных отношений, тем более что вопрос этот находился в самой тесной связи с подробностями прусской податной системы, рассматривать которые здесь было бы и неуместно. Только Гарденберг, вернувшийся к власти в 1810 г., издал общие распоряжения, касавшиеся цехов и устанавлившие в Пруссии промышленную свободу. Мера эта, впоследствии многими порицавшаяся, была вызвана фискальными потребностями разоренного и обложенного тяжелой военной контрибуцией государства. 2 ноября 1810 г. вышло в свет королевское распоряжение о введении всеобщего промыслового налога, в силу которого все желающие продолжать ремесло, торговлю или другое промышленное занятие — все равно, в городах ли, в селах ли, — обязаны были покупать особые патенты, от чего не могли освободить никакие цеховые привилегии, а раз кто получил такой патент, тому можно было свободно заниматься своим промыслом на всем пространстве прусской монархии без какой бы то ни было помехи со стороны каких бы то ни было корпораций. Последнее значило, что так называемый *Zunftzwang*¹, т. е. монополия цехов, в силу коей заниматься известным ремеслом в известной местности могли лишь лица, входившие в данную цеховую организацию, был отменен, т. е. была уничтожена одна из главнейших особенностей цехового устройства, хотя закон прямым образом последнего и не касался. Между тем особая комиссия еще с 1808 г. работала над вопросом, что делать с цехами, и уже в начале 1810 г. в ней пришли к тому решению, что цехи нужно уничтожить: в пользу такого решения ссылались на право человека свободно распоряжаться своим трудом, на выгоды, которые свободная конкуренция приносит публике, на экономическую теорию, на пример французов, отменивших цехи в Вестфалии, куда, пожалуй, говорили некоторые, станут выселяться поэтому прусские ремесленники; но при этом комиссия вовсе не находила нужным подвергнуть исследованию состояние прусской ремесленной промышленности, хотя и были отдельные лица, советовавшие по крайней мере осторожность в таком важном деле. Но Гарденберг, стремившийся, в сущности, только к тому, чтобы найти новые источники доходов, вроде промыслового налога, стоял на своем, не входя в подробности сложного дела цеховой организации, тем более что у него перед глазами было весьма простое решение вопроса — уничтожение цехов во Франции и отмена их французами в Вестфальском королевстве. 7 сентября 1811 г. вышел в свет королевский указ «О полицейских отношениях промыслов в дополнение к распоряжению 2 ноября 1810 г. о введении всеобщего промыслового налога». В силу этого закона принадлежность к цеху ничего не изменяла в положении ремеслен-

¹ Цеховое принуждение, обязательная принадлежность к цеху (нем.). — *Прим. ред.*

ника, и многие права цехов отошли к полицейской власти. Члены цехов могли свободно их покидать, хотя и не избавляясь от принятых раньше по отношению к цеху обязательств, да и самые цехи могли прекращать свое существование, раз в пользу этого было бы большинство участников. Цеховые подмастерья получили право работать у не цеховых ремесленников. Интереснее всего то, что, несмотря на провозглашенную свободу, полицейской власти предоставлялось по усмотрению или закрывать цехи, или, наоборот, заставлять ремесленников соединяться в цехи: бюрократические привычки были сильнее свободных принципов. Таким был смысл закона 1811 г., низводившего цехи на степень частных союзов без тех прав, которые делали их посредниками во многих отношениях между отдельным лицом и государством: это было результатом вообще вражды новых идей к корпоративному началу. Законы 2 ноября 1810 г. и 7 сентября 1811 г. легли в основу дальнейшей прусской политики по отношению к занятию ремеслами¹. Хотя мера Гарденберга и была продиктована ему фискальными соображениями, но нельзя отрицать и того, что для ее оправдания были притянуты новые политические и экономические идеи.

И французское законодательство 1791 г., и прусское 1810—1811 гг. относятся к той же категории явлений, к числу коих принадлежит также падение старых цеховых стеснений промышленности и в Англии. Здесь, между прочим, имел весьма важное значение изданный еще при королеве Елизавете в 1562 г. общий закон об ученичестве, коим должны были управляться городские ремесла. Сущность этого закона состояла в том, что мастером или подмастерьем в каждом ремесле можно было сделаться лишь после семилетнего ученичества: хозяин обязан был на каждых трех учеников держать одного подмастерья; рабочий день должен был продолжаться в летние месяцы не более 12 часов, а в зимние — пока светит солнце; срок для найма в работу полагался не менее как на год; наконец, плату на каждый год должны были устанавливать мировые судьи и городские власти с тем расчетом, чтобы рабочий был обеспечен этой платой и в хорошие, и в дурные годы. Мы еще увидим, что при развитии фабричной промышленности этот закон стал все чаще и чаще нарушаться. И вот как мастера, так и рабочие, коим грозила конкуренция фабрик и ухудшение условий труда, стали жаловаться в суды на то, что закон об ученичестве не соблюдается. Во многих случаях суды считали доказанными нарушения закона и выносили фабрикантам обвинительные приговоры. Крупным предпринимателям оставалось теперь только хлопотать об отмене закона об ученичестве в парламенте. В 1803 г. они добились того, что действие закона было приостановлено на год для шерстяной промышленности, и затем эта приостановка возобновлялась сряду несколько лет — каждый раз на один год, пока в 1809 г. не произошла окончательная

¹ *Schmoller G.* Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe in XIX Jahrhundert, 1870.

отмена закона для упомянутой отрасли промышленности. Прошло еще пять лет, и в 1814 г. последовала полная отмена закона и по отношению ко всем другим родам промышленности.

Эта отмена старинного ремесленного закона стоит в тесной связи с заменой прежнего мелкого производства цеховых ремесленников новыми формами промышленности. Если исключить семейную промышленность¹, которая имеет в виду не продажу продукта на рынке, а потребление его самой семьей, то можно подвести все остальные формы промышленности под три категории с переходами от одной к другой. Это суть именно промышленность ремесленная, промышленность домашняя и промышленность фабричная. Цеховое устройство было организацией промышленности ремесленной, рассчитанной на сбыт выделяемых продуктов, причем в работе непосредственно участвовал сам хозяин производства, являвшийся вместе с тем собственником как орудий производства, так и обрабатываемого материала и работавший при помощи наемных рабочих или без такой помощи. Эта форма переходит в промышленность домашнюю, которая отличается от ремесленной лишь тем, что предпринимателем является тут купец, который, во-первых, сам не работает, давая лишь работу другим, а во-вторых, остается собственником сырого материала и вырабатываемого из него продукта, вознаграждая производителей платой за исполнение заказа, выделяемого производителями в домашней обстановке. В фабричной промышленности хозяин, точно так же сам не работающий, нанимает рабочих, которые приходят уже работать в специально предназначенные для того помещения, принадлежащие предпринимателю. История тех производств, которые, по существу, могут быть совершаемы на фабриках, состояла в постепенной замене ремесленного способа способом домашним, а этого последнего — фабричным. Меркантилизм, заботившийся о возможно большем вывозе товаров за границу, сильно поощрял развитие фабрик или, как их называли во Франции, «соединенных мануфактур» (*manufactures reunies*), прибегая ко всем средствам, какие только были в распоряжении государства, чтобы такие соединенные мануфактуры процветали, хотя бы этому приходилось жертвовать другими интересами. «Обращают внимание, — писал, например, Мирабо, — на большие мануфактуры, где работают сотни людей под управлением одного директора, и которые обыкновенно называются соединенными мануфактурами. Те же производства, в коих занято тоже большое количество рабочих, но разединенных, и где каждый работает за свой собственный счет, едва удостоиваются внимания... Соединенная фабрика, — продолжает он, — чрезвычайно обогащает одного или двух предпринимателей; рабочие же здесь только простые наймиты, получающие более или менее значительную плату, но вовсе не участвующие в выгодах предпри-

¹ Familienindustrie, по терминологии Гельда, в книге, названной выше. Вся дальнейшая классификация принадлежит этому писателю.

нимателя. В разделенной же фабрике, наоборот, никто не делается богатым, но множество работников пользуется благосостоянием». В XVII и XVIII вв. правительства, заботившиеся о развитии крупной промышленности, поощряли заведение таких соединенных мануфактур посредством разного рода монополий, привилегий, льгот и субсидий. «Зачем, — спрашивает Мирабо, — ходить далеко за причиной блеска саксонских мануфактур перед Семилетней войной? Объясняют его 180 миллионов государственного долга». Конечно, не одна поощрительная деятельность государства играла роль в замене мелкого производства ремесленников и кустарей производством соединенных мануфактур. Здесь могущественно действовали, прежде всего, общие условия экономической эволюции. При господстве цехового строя каждый город работал главным образом только для своего внутреннего рынка, тем более что пути сообщения были так плохи, что перевозки значительного количества товаров из одного места в другое и не могло развиваться. Кроме того, дурное состояние путей сообщения препятствовало и перемещению самих рабочих из одного города в другой. Огражденные от внешней конкуренции, предприниматели и внутреннюю конкуренцию ограничивали цеховыми уставами, ибо последние имели в виду равномерное распределение заработка между всеми мастерами одного и того же ремесла, — а потому могли сообща устанавливать и нормальные цены своих продуктов, включая в число расходов производства не тот *minimum* рабочей платы, который не позволяет рабочему умереть с голода, а то, что им, хозяевам, действительно стоило содержание подмастерьев и учеников, живших с ними почти как члены их семейств. По мере того как развивалась торговля и производство стало рассчитываться на сбыт продуктов на самых отдаленных рынках, а вместе с тем за обладание одними и теми же рынками началось соперничество между отдельными промышленными нациями, изображенное положение дел стало изменяться: начав работать на рынок гораздо больших размеров, чем прежде, и желая победить соперников большею дешевизной товара, предприниматели, во-первых, стали стремиться к расширению своего производства, для чего начали увеличивать число своих рабочих; а во-вторых, стали уменьшать расходы производства главным образом посредством понижения рабочей платы. Не подлежит никакому сомнению, что, например, в Англии ранее всего стал нарушаться упомянутый закон об ученичестве — и притом задолго до возникновения крупных фабрик — в тех производствах, которые имели сбыт на внешних рынках. Рабочие жаловались на частые нарушения закона, и судами, как мы видели, их жалобы принимались, но предприниматели тогда стали обходить закон весьма простым способом: он был издан только для городских промыслов и, следовательно, вне городов не имел силы, так что стоило лишь перевести производство в деревню, и никто не мог обвинить в нарушении закона за какое угодно увеличение числа рабочих и за назначение им какой угодно платы. Благодаря этому в новых условиях

деревенского быта, не подчинявшегося цеховой регламентации, в Англии стало развиваться, например, крупное суконное производство на совершенно новых началах. До конца XVIII в. здесь действовал средневековый закон, в силу которого лишь тот мог доставить сукно для продажи в особом для того предназначенном помещении, кто сам пробыл учеником узаконенное число лет; но перемены, происшедшие в суконном производстве, оказались настолько значительными, что закон этот не соответствовал более условиям действительности, и в 1796 г. он был уже отменен, как вскоре отменен был для той же промышленности и закон об ученичестве. В начале XIX в. суконное производство находилось в разных местностях Англии или в руках мелких ремесленников, или в руках крупных предпринимателей, отдававших сырой материал для домашней выделки или выделывавших его в собственных заведениях, причем последние иногда уже пользовались вновь изобретенными машинами. Еще во многих местностях Англии суконщики жили в деревнях, не отрываясь от сельского хозяйства, и производили сукно при помощи немногих рабочих, которые жили и работали у них почти как члены их семей. Что касается до больших фабрик, где введены были машины, то на них уже работали и женщины, и дети, и старый закон об ученичестве совсем не соблюдался. В 1802 г. кое-где введение машин встречено было сопротивлением рабочих, ссылавшихся на законы, которые были против этого, и обратившихся в парламент с просьбой поддержать все старые статуты, которые ограждали интересы работников. Со своей стороны, и крупные предприниматели стали просить, чтобы парламент отменил все стеснения, препятствовавшие развитию фабричного производства. Для исследования этого вопроса парламент назначил особую комиссию, которая весьма добросовестно отнеслась к своей обязанности и расспрашивала обе заинтересованные стороны (1806). Рабочие в своих показаниях относительно условий фабричного труда сходились довольно единодушно на том, что фабрика не обеспечивает постоянного заработка. Когда спрос на сукно был большой, фабриканты поднимали рабочую плату и переманивали к себе рабочих от мастеров, но стоило лишь уменьшиться спросу на товар, как тотчас же фабриканты часть рабочих распускали и понижали плату за труд тех, которых у себя оставляли. Затем рабочие указывали на то, что и в моральном отношении им лучше работать на мелких мастерах, которые все-таки — свой брат и заботятся о рабочем человеке, тогда как фабриканты только и думают об одном, как бы побольше выгадать. Наконец, рабочие указывали на то, что им гораздо приятнее заниматься своим делом у себя дома или в небольших мастерских, чем в обычной обстановке фабрик. Мы видели, однако, что парламент, отменив закон об ученичестве, исполнил, в сущности, желание фабрикантов. Их стремлениям, подводившимся под общее понятие экономической свободы, вполне соответствовали и теоретические воззрения в области народного хозяйства, господствовавшие в ту эпоху. Соображениями общего

блага, которое должно было получиться из свободной конкуренции, фабриканты, часто сами выходявшие из класса мелких торговцев или мастеров путем простого кулачества, старались оправдать свои эгоистические поползновения, имея в виду лишь одно — создать такие условия, чтобы им ничто не мешало развивать свое крупное производство. Этот процесс образования крупной промышленности состоял в постепенном падении ремесленного производства, которое заменялось домашним и переходило в фабричное, так как сначала фабрика была лишь перемещением в одно здание, например, ткацких станков, находившихся раньше в жилищах самих рабочих. Например, в окрестностях Манчестера было весьма развито в XVII в. изготовление бумажных тканей местными сельскими ремесленниками, у коих товар этот скупался городскими торговцами. Уже в начале XVIII в. последние начинают сами раздавать пряжу ткачам, и один такой предприниматель еще в первой половине этого столетия давал, таким образом, занятие шестистам станкам. Затем предприниматели, от которых ткачи стали теперь более зависеть, нашли нужным установить надзор за целостью отпускаемого ткачам материала и за добротой выделяемой ткани, чего легче всего было достигнуть в соединенных мастерских, которые они и стали заводить в городе, иногда на несколько десятков станков. Мало-помалу в такой соединенной мастерской установилось разделение труда, когда было найдено, что дело идет быстрее, успешнее и чище, если каждая подробность производства поручается одному какому-либо рабочему, для чего притом уже не требовалось и длинной выучки. С такими фабриками мелким мастерам конкурировать было уже трудно, и им предстояло погибнуть, превратившись в наемных рабочих на фабриках. Напрасно они старались спасти себя, хлопоча о том, чтобы соблюдались старые законы цехового происхождения, ограждавшие их интересы — законы эти оказались бессильными, а затем и вовсе были отменены. Между тем фабриканты, наоборот, требовали расширения промышленной свободы. В 1820 г. лондонский Сити подал парламенту петицию о необходимости введения свободной торговли, с которой начинается агитация в смысле уничтожения стеснений для ввоза иностранных товаров.

Если обезземеление сельской массы создало рабочий пролетариат и падение цехов уничтожило последние стеснения, коим подвергалось зародившееся крупное производство, то введение машин, совершившее настоящий переворот во всех областях промышленного труда, окончательно утвердило господство капиталистического производства, создав новые условия для рабочего пролетариата и завершив вытеснение мелких способов производства крупной промышленностью. В данном случае нам опять придется говорить об Англии, где было изобретено наибольшее количество машин и где ранее всего они были применены к производству.

Изобретение машин, заменяющих и облегчающих труд человека, было одним из величайших факторов экономического прогресса, будучи в то же

самое время результатом прогресса культурного — развития инициативы, знаний, власти над силами природы. «Если бы, — писал Аристотель в своей "Политике", — каждое орудие по приказанию человека или по собственному предусмотрению само могло исполнять свое дело, подобно тому как рассказывают о произведениях Дедала и о треножниках Гефеста, которые сами собою катились в сонм богов, — так если бы челноки сами ткали, а плектры сами играли на кифаре, тогда бы мастерам не было никакой нужды в слугах, а господам в рабах». Вот уже почему в древности приветствовали изобретение новых машин. Когда, например, в I в. до Р. Х. была изобретена водяная мельница, поэт Антипар¹ так приветствовал ее появление: «Поберегите свои руки, мельничихи, и спите спокойно. Петуху уже нечего извещать вас о наступлении утра. Дэо поручила работу девушек нимфам, и вот теперь они прыгают легко по колесам, так что завертевшиеся оси сами приводят в движение жернов. А мы заживем теперь былой жизнью отцов и без труда будем пользоваться теми дарами, которые дает нам богиня». Между тем, как мы увидим, машины, которые были изобретены и введены в употребление в Англии в конце XVIII в., были встречены рабочими далеко не дружелюбно и на самом деле совсем уж не осуществили «жизни богов», о какой говорит греческий поэт. Это произошло вследствие того, что при существовавших в Англии социальных условиях машины явились не помощниками рабочих, а их конкурентками и отнюдь не облегчили их труда, наоборот, сделав его даже еще более тяжелым².

Если мы возьмем машину в ее, так сказать, общей схеме, то различим в ней три части, из коих одну можно назвать двигательной машиной, другую — рабочей машиной в тесном смысле, а третью — передаточным механизмом, который состоит из колес, валов, ремней и т. п. Роль двигательной машины в производстве могут играть люди, животные или силы природы, например, вода или ветер, как это мы видим в водяных или ветряных мельницах. До изобретения паровой машины в зарождавшемся фабричном производстве роль движущей силы играла вода, что заставляло предпринимателей строить свои мануфактуры по берегам рек, где они могли бы пользоваться этой даровой силой природы для того, чтобы приводить в движение работавшие на их фабриках машины. Паровая машина была изобретена Джемсом Уаттом, взявшим на нее привилегию в 1769 г. Первое ее применение было совершено в горнозаводском деле, но в 1785 г. был сделан опыт замены паром воды и на одной бумагопрядильной фабрике; этот опыт оказался настолько удачным, что паровая машина стала весьма быстро распространяться, так как для всех было ясно преимущество пара перед водой. Водяная сила, так сказать, прикована к известному месту, зависит от атмосферических условий, не может быть увеличиваема по произволу, тогда как паровую машину можно поста-

¹ Антипар Сидонский (I в. до н. э.). — *Прим. пер.*

² *Thurston. Hist. de la machine à vapeur.*

вить где угодно, работает она независимо от времен года и от погоды и может развить ту или другую силу по желанию человека. Если раньше крупные предприниматели устраивали свои заведения в деревнях — отчасти в обход закона об ученичестве, отчасти ища берегов какой-либо реки, то теперь, особенно после отмены упомянутого закона, это сделалось совсем ненужным, и вот фабрики, на коих движущей силой был пар, стали переноситься в города, где легче было достать и сосредоточить в одном месте работников. Далее, для паровой машины требовалось топливо, которое доставляли в обильном количестве каменноугольные копи, и введение паровой машины не только повлекло за собой развитие каменноугольной промышленности, но и содействовало перенесению фабрик, а с ним и переселению рабочих в северные графства Англии, богатые ископаемым топливом и железом, в коем тоже нуждались новые фабрики, работавшие паровыми машинами. Вот почему, с одной стороны, экономическая жизнь Англии отхлынула с юга на север, а с другой — так сильно возросло население городов, причем возникли даже новые города, обязанные своим происхождением исключительно простому скоплению в одном месте рабочего люда, связанного между собой лишь трудом на одних и тех же фабриках.

Прежде нежели в самом конце XVIII в. стали вводиться в хлопчатобумажной, льняной и шерстяной промышленности новые двигательные машины, действовавшие паром, было изобретено несколько машин-рабочих, которые уже были применены к производству разных предметов и продолжали изобретаться и впоследствии. В промышленности мало одной движущей силы, нужны еще инструменты, имеющие непосредственное дело с объектом труда. Сущность всякой рабочей машины заключается в том, что она исполняет те же самые операции, какие исполнял прежде рабочий при помощи инструментов подобного же рода. Все различие заключается в том, что рабочий может действовать лишь одним инструментом, машина же — целой массой инструментов, а иногда, кроме того, производя работу одновременно и инструментами разного рода. Это свойство рабочей машины, несомненно, влечет за собой сокращение человеческого труда, и там, где для получения в прежнее время известного количества продукта нужно было очень большое число рабочих часов (например, 27 тыс. часов для превращения 366 ф. хлопка в пряжу) после введения прядильной машины требовалось уже очень немного времени (150 часов для произведения только что указанной работы, т. е. в сто восемьдесят шесть раз меньше!). Именно еще в тридцатых годах XVIII в. Уайетт (Wyatt) изобрел машину, «которая могла прясть без помощи пальцев» (1735). Изобретатель прядильной машины устроил в 1741 г. бумагопрядильную фабрику, но она в ход не пошла и была скоро закрыта. В 1769 г. эту машину усовершенствовал Аркрайт и взял на нее патент, назвав ее «ватерною» (водяною), так как для приведения ее в движение требовалась сила более значительная, чем сила рук. Через два года после этого он устроил

свою фабрику, которая стала давать ему большие барыши. Около того же времени (1770) простой ткач Гаргривс изобрел ручную прядильную машину («Дженни»), зараз дававшую восемь ниток, вместо одной, и стал работать на этой прялке в своем доме. В 1779 г. Кромптон искусно комбинировал оба изобретения, чтобы создать новую машину, которая, благодаря позднейшим еще усовершенствованиям, сделала возможным то, что в настоящее время достаточно одного человека, дабы надзирать за работой 12 тыс. веретен. Это был целый переворот в прядильном деле, но скоро была изобретена и ткацкая машина. Ее изобретатель Карткрайт взял на нее привилегию в 1785 г., но его «механический станок» потребовал еще много усовершенствований, так что лишь в 1813 г. он получил свой окончательный вид. Это были главные машины, но рядом с ними можно указать на несколько менее важных изобретений, каковы: машинное производство кружев (1777), набойка коленкора цилиндрами (1785), тонкопрядильная и чеканная машины (1788), механическое чесание шерсти (1790), стругальная машина (1791), машинная выделка канатов (1793), молотильная машина (1798) и т. п.

Но если машины сокращают труд, откуда же та против них оппозиция со стороны рабочих, с которой мы встречаемся в начале XIX в.? Дело в том, что машины вступили в конкуренцию с ручным трудом, и представители последнего подверглись многим бедствиям, причины коих лежали именно в машинном производстве. Введение машин на фабриках было равносильно тому, как если бы сразу явилась масса новых рабочих, которые оставили бы старых рабочих без обычного заработка: где прежде нужно было много рабочих, оказывалось нужным теперь меньшее их количество, и это отражалось пагубным образом на всем классе. Мало того, прежде рабочая плата определялась потребностями семьи рабочего, но машины сделали возможным широкое применение женского и детского труда, вступившего тоже в конкуренцию с трудом взрослых мужчин, рабочая плата которых стала определяться лишь личными их потребностями. Раньше глава семейства работал один для содержания всей своей семьи, теперь для этого его рабочая плата была слишком мала, и стало нужным прибегать к труду женщин и детей, к которому охотно обратились и фабриканты, платившие женщинам и детям меньше, чем взрослым рабочим, и находившие еще выгоды в том, что эти новые рабочие, будучи менее сильными, нередко оказывались, однако, более ловкими и добросовестными, а это в машинном производстве имело иногда более важное значение, чем физическая сила. В руках мелкого производителя машина вроде самопрядки была бы только средством сокращения или облегчения труда, но фабрикант смотрел на машину с точки зрения наживы. Машина обыкновенно стоила дорого, и ее владелец стремился к тому, чтобы она поскорее себя окупилась, а при усовершенствованиях, которые постоянно делались в машинах, нужно было и вообще поскорее извлекать из старой все, что она могла дать, изнашиваясь притом не от одной работы, но и от времени, —

дабы иметь возможность без убытка или с наибольшей прибылью заменить старую машину новой. Поэтому фабрикант заставлял ее действовать и день и ночь, как своего рода *perpetuum mobile*¹, но достигнуть такого результата можно было с наибольшей выгодой лишь путем произвольного удлинения рабочего дня, что и случалось на самом деле. Кроме того, работа на фабриках, где скучены были массы народа, и монотонность самой работы при машинах тоже неблагоприятно действовали на рабочих и вызывали с их стороны протесты. Какое влияние оказали машины на удлинение рабочего времени, можно видеть из того, что если раньше законодательным путем старались увеличить рабочий день, то в XIX в., наоборот, хлопотали уже о его уменьшении. Бывало, что прежде десять часов в сутки считалось *maximum*’ом, а в XIX в. случалось, что для детского труда *minimum* полагался в 12 ч. В 1770 г. в английском рабочем доме заставляли работать по 12 ч. в сутки, и это дало повод называть рабочий дом домом ужаса, но в 1833 г. парламент устанавливал 12 ч. в сутки для подростков 13–18 лет. Притом и качественно работа не сделалась более легкой. Вот что, например, говорил лорд Ашлей в парламенте в 1844 г.: «Труд, занятый в настоящее время фабричными процессами, втрое более того, который был при введении их. Машина, без сомнения, заменила мускулы миллионов людей, но она в то же время изумительно увеличила труд рабочих, подчиненный ее ужасному движению. Труд следования за двумя прядильными машинами для получения пряжи № 40 требовал в 1815 г. восемь миль ходьбы, а в 1821 г. ходьба при прядении того же самого номера составляла в течение 12 часов двадцать и более миль». Чем более улучшались машины, тем меньшего количества рабочих они требовали и тем более ускоряли сам процесс производства. Для того чтобы следить за действием машины, от рабочего стала требоваться прежде всего ловкость, сноровка, напряженное внимание: чем больше развивалось фабричное разделение труда, тем более детальные рабочие превращались в простых слуг машины, в своего рода автоматы. Итак, машина явилась не помощницей рабочего, а его конкуренткой — не для того, чтобы облегчить его труд, а для того, чтобы привлечь к этому труду его жену и детей, и, наконец, вместо того чтобы сократить рабочее время и облегчить сам процесс производства, удлинила рабочий день и сделала сам труд более утомительным. Немудрено, что против введения машин стали высказываться не только рабочие, но и некоторые теоретики политической экономии, и что такой экономист, как Милль, писал впоследствии: «Еще вопрос, облегчили ли сделанные до сих пор механические изобретения дневной труд хотя бы одного человеческого существа» (следовало бы прибавить: «живущего своим трудом»).

Прибавим к этому, что одновременно с введением машин происходило в Англии улучшение путей сообщения, облегчавшее сбыт фабрикатов:

¹ Вечный двигатель (лат.). — Прим. ред.

с семидесятых годов XVIII в. стала развиваться сеть водяных сообщений (каналов), которая связала вместе все промышленные местности Англии, а в двадцатых годах усиленно строились в Англии шоссе, в конце же рас-сматриваемого периода (1827) появились и первые железные дороги.

Таковы были главнейшие явления, которые произвели экономический переворот конца XVIII и начала XIX в. Обезземеление создало пролетариат, которым воспользовалась крупная промышленность, в свою очередь повлиявшая на обезземеление. Во-первых, в дофабричный период мелкий ремесленник был нередко и земледельцем, но когда ремесло стало падать, это наносило удар и многим мелким хозяйствам, которые без помощи ремесла не могли прокармливать земледельцев-кустарей. Во-вторых, образование фабрик в деревнях и перенесение их затем в города отвлекало массу рук от земледелия и содействовало увеличению городского населения благодаря переселению в них сельских жителей. В-третьих, принципы нового капиталистического производства и машинный труд стали впоследствии применяться и к самому сельскому хозяйству: благодаря обезземелению, фабриканты могли дешево покупать рабочие руки и тем наносить удар прежнему ремесленному и домашнему производству, которое не в состоянии было выдерживать конкуренции с фабриками после того, как в них были введены машины. Старые цеховые стеснения, созданные в Средние века для городов, заставляли фабрикантов переносить свое производство в деревни и добиваться отмены этих стеснений. Провозглашение промышленной свободы, — во имя которой запрещены были, однако, рабочие союзы, как нарушающие свободу отдельных рабочих, — снимало с капитала какие бы то ни было юридические стеснения и ставило лицом к лицу предпринимателя и рабочего, из коих у второго не было ничего, кроме рук и желудка, тогда как первый распоряжался орудиями производства, материалами труда и возможностью посредством заработка доставлять пропитание. Дорогостоящая машина делала ее обладателя настоящим господином положения и довершала процесс образования капиталистического производства, которое стало теперь иметь в виду прямо всемирный рынок и, в свою очередь, от этого всемирного рынка зависеть¹. Описанная «индустриальная революция», имевшая не менее важное значение, нежели революция политическая, одновременно с ней начавшаяся, отразилась самым резким образом на всей экономической, а через нее и на социальной жизни стран, подвергнувшихся этому промышленному перевороту.

В дальнейшем мы и познакомимся с главнейшими следствиями описанного переворота как в области фактов, так и в области идей. Главное — ухудшение положения рабочих и вызванный этим рабочий вопрос.

¹ О всемирном хозяйстве речь будет идти подробнее в V томе.

XXV. Капитализм, пролетариат, пауперизм и начало рабочего вопроса

Рост национального богатства и промышленные кризисы в XIX в. — История кризиса 1825 г. — Влияние индустриальной революции вообще и в частности промышленных кризисов на материальное положение рабочего класса. — Ухудшение быта рабочих. — Развитие пауперизма. — Влияние войн 1793—1815 гг. на экономическую историю Англии. — Сельское хозяйство в этот период и хлебные законы. — Общее значение континентальной системы для Англии. — Недовольство рабочего класса своим положением и народные волнения. — Постановка рабочего вопроса. — Рабочие во Франции при Наполеоне I. — Успехи промышленности во Франции. — Состояние промышленности и рабочего вопроса во Франции в эпоху Реставрации. — Либерализм, демократизм и рабочий вопрос

Главный социальный вопрос XIX в., вопрос рабочий, возник на экономической почве, созданной только что изображенным процессом возникновения капиталистического производства. Процесс этот приветствовался многими, как великий прогресс, долженствующий осуществить небывалое материальное благосостояние, да и вся наиболее популярная в эту эпоху экономическая школа стояла на точке зрения, которая подсказывалась, так сказать, общим направлением описанного процесса. Нет никакого сомнения в том, что развитие капиталистического производства увеличило необычайным образом производительность труда, создало небывалые ранее богатства и ускорило наступление новых промышленных успехов. До конца XVIII и начала XIX в. национальное богатство возрастало вообще довольно медленно даже в самых передовых странах Западной Европы, но в XIX в. это богатство стало расти с поражающей быстротой благодаря небывалому никогда ранее прогрессу технических усовершенствований, которые увеличили в несколько раз производительность человеческого труда. Хотя вместе с другими улучшениями, которые произошли в жизни европейских народов, все это и содействовало весьма быстрому увеличению европейского населения, избыток коего стал отливать в колонии всех частей света, тем не менее того явления, которое происходило раньше, — ухудшения национального благосостояния вместе с ростом населения, не замечалось, и в общем национальное богатство в смысле суммы всех материальных благ, находящихся в обладании известной нации, развивалось гораздо быстрее, чем происходил прирост народонаселения. Наоборот, в XIX столетии стало обнаруживаться противоположное явление — не недостаток товаров, необходимых для по-

требления, а их избыток, заключающийся в том, что наготовлено бывало их много, а спроса на них не было, что указывает на существование так называемого перепроизводства. В связи с этим явлением стоят столь частые в промышленной истории Западной Европы вообще и в частности Англии кризисы. С одним таким кризисом во Франции, вызванным континентальной системой, мы уже познакомились и видели, как французские фабриканты, надеясь на запретительную систему Наполеона, долженствовавшую убить английскую промышленность, произвели товаров гораздо больше, чем могли продать, остались с этим товаром на руках и должны были сократить свое производство, что отразилось на многих банках, ссужавших фабрикантов деньгами и в срок обратно их не получавших, а еще более на рабочих, которые страшно бедствовали, будучи лишены заработка¹. Нечто подобное произошло и в Англии, где по окончании войны с Наполеоном наготовили массу товаров в расчете на сбыт их на континентальном рынке: расчет не оправдался, и в Англии произошел промышленный кризис. «Мыльный пузырь лопнул, — писал в 1816 г. лорд Брум. — Английские товары продавались в Голландии и на севере Европы гораздо дешевле, чем в Лондоне и Манчестере; в большинстве местностей они лежали неподвижно массою и совсем не находили покупателей; в результате с них или ровно ничего не получалось, или единицы фунтов стерлингов выручались там, где были затрачены тысячи». Не нужно думать, однако, что такие кризисы могли быть результатом только одних случайных и внешних причин. Дело в том, что вся промышленная история Англии в XIX в. складывается именно из чередующихся периодов процветания и застоя, а с развитием капитализма и в других странах, равно как во всемирном хозяйстве, такое явление происходит и на более широкой сцене. «В одно и то же время, — говорит новейший исследователь вопроса², — в Европе и Америке торговля оживает, цены растут, рабочая плата повышается, довольство распространяется среди всех классов населения, и затем следует кризис, банкротство торговых фирм и банков, закрытие фабрик, сокращение производства, понижение заработной платы и нищета тысяч и миллионов рабочих, внезапно лишаящихся обычного дохода». Вот небольшая справка, заимствованная из другого сочинения³, о колебаниях, например, в английской хлопчатобумажной промышленности за период времени от 1815 по 1848 г.: в 1815—1821 гг. — застой; в 1822—1823 гг. — процветание; в 1824 г. — общее громадное развитие фабрик; в 1825 г. — кризис, за коим следуют в 1826 г. ужасная нищета и волнения рабочих на хлопчатобумажных фабриках; с 1827 г. начинается небольшое улучшение, а в 1828 г. происходит уже сильное увеличение паровых ткацких станков и вывоза, который в 1829 г. превзошел (особенно в Индию)

¹ Об этом есть в книге Левассера, названной выше.

² М.И. Туган-Барановский в соч., названном выше.

³ «Капитал» К. Маркса.

вывоз всех прежних лет, но в 1830 г. рынок опять был переполнен и ощущалась большая нужда; это состояние продолжается в следующие годы до 1834 г., когда число фабрик и машин быстро возрастает до такой степени, что ощущается недостаток в рабочих руках; достигает это процветание наивысшего своего развития в 1835—1836 гг., чтобы снова уступить место стесненному положению и кризису в 1837 и 1838 гг.; в 1839 г. было некоторое оживление, в 1840 г. — стесненное состояние, вызвавшее волнения рабочих и вмешательство войска; в следующие два года фабричные рабочие страшно бедствовали, и в 1843 г. их нищета была ужасающей; в 1844 г. началось снова оживление, перешедшее через год в полное процветание, пока в 1846 г. не стали обнаруживаться первые признаки приближения нового кризиса; последний действительно наступил в 1847 г., и в 1848 г. стеснение было настолько сильным, что Манчестер, бывший центром хлопчатобумажной промышленности, должен был охраняться войсками. Вычислено, кроме того, что в Англии с 1815 по 1863 г. на двадцать лет оживления и процветания приходится 28 лет кризисов и застоя. Эти кризисы сделались даже как бы существенным признаком капиталистического строя, потому что более ранние кризисы обыкновенно находят себе объяснение в каких-либо внешних обстоятельствах, большей частью в событиях политического характера (например, войнах), тогда как начиная с двадцатых годов XIX в. кризисы вызывались уже внутренними причинами, совершаясь притом среди глубокого мира и с такой, наконец, неожиданностью, что их никто обыкновенно не предвидел. Например, история кризиса 1825 г. показывает, что, действительно, для таких колебаний нужно искать внутренние причины. В начале двадцатых годов в английской промышленности и торговле был застой. В это время была масса капиталов, искавших выгодного помещения, но не находивших его внутри самой страны. Вскоре, однако, капиталисты нашли, куда помещать свои капиталы. Когда Англия признала независимость американских колоний Испании и Португалии от их европейских метрополий, составилось мнение, что лучше всего будет поместить избыток капиталов в займы, заключавшиеся новыми республиками, ибо предполагалось, что освобождение колоний от деспотического правительства тотчас же оживит в них земледелие и промышленность. Одновременно с этим было основано множество акционерных компаний вообще для разработки золотого дна, каким казались страны Южной и Центральной Америки. Началась страшная спекуляция на акции этих компаний (1824—1825), напоминающая нам ажиотаж во Франции, бывший за сто с небольшим лет перед тем¹. Спекуляция не ограничилась заморскими предприятиями, но скоро обратилась и на предприятия внутри страны, ради чего также стали основываться всевозможные акционерные общества. Общее увлечение и стремление к выгодному помещению

¹ «Система» Лой, о чем см. т. III.

свободного капитала отразилось и на промышленности. В два года (1824–1825) в Манчестере было построено много новых хлопчатобумажных фабрик, большей частью на деньги, бравшиеся из банков под залог недвижимой собственности. Дело в том, что открытие для английской торговли южноамериканского рынка увеличило вывоз из Англии хлопчатобумажных продуктов, тем более что значительная часть уплаты по займам, заключенным новыми республиками в Лондоне, была произведена не золотом, а товарами. Вывозились преимущественно именно хлопчатобумажные ткани: в 1824 г. их было вывезено на полтора миллиона фунтов стерлингов, а в 1825 г. уже на три с половиной миллиона, в то самое время как экспорт на континент Европы оставался прежним. Такое увеличение спроса со стороны южноамериканского рынка возбудило в английских фабрикантах самые радужные надежды, хотя дело объяснялось не действительным возрастанием национального богатства в новых республиках, а просто-напросто тем, что английские товары покупались там на английские же деньги, взятые в долг. Усиленное производство значительно уменьшило запасы сырья, находившегося в Англии, а тут еще явилось опасение, что, пожалуй, для потребностей будущего производства не хватит даже всего урожая хлопка и других растительных продуктов, ввозившихся в страну. Вследствие этого спекуляция распространилась и на предметы ввоза, и вот поэтому цены на хлопок возросли в первой половине 1825 г. сравнительно со второй половиной 1824 г. более чем вдвое (на 113%). Понятное дело, что такое увеличение цены хлопка (и общее увеличение всех цен средним числом на 17%) должно было повлечь за собой увеличение ввоза этого продукта: действительно, в 1825 г. хлопка ввезено было в Англию в полтора раза (собственно на 53%) более, чем в 1824 г., а шерсти даже почти вдвое больше (увеличение ввоза на 96%). Этому сильному увеличению ввоза не только не соответствовало общее увеличение вывоза, но последний даже несколько сократился, т. е. торговый баланс сделался для Англии неблагоприятным, и золото стало уходить из страны. Когда лондонский вексельный курс на Париж бывает ниже 25 фр. 10 сант., выгодно пересылать золото из Лондона в Париж и, наоборот, когда этот курс стоит выше 25 фр. 35 сант., выгоду представляет уже пересылка золота из Парижа в Лондон. По состоянию вексельного курса в начале 1824 г. золото приливало в Англию, в июне, однако, этот прилив остановился, а в конце года начался уже отлив, и это с возрастающей силой продолжалось до сентября 1825 г.; в марте 1824 г. металлическая наличность Английского банка доходила почти до 14 млн фунтов стерлингов, а в декабре 1825 г. она едва превышала один миллион, что было естественным следствием образовавшегося перевеса ввоза товаров над вывозом. Между тем высокие цены на привозные товары, стоявшие в 1825 г., не могли оставаться в одном и том же положении долгое время. Предложение этих товаров на лондонском рынке стало превышать спрос на них, так как английские фабрики не могли ни потратить всей

наведенной массы, ни расширить своего производства ввиду того, что иностранные рынки и без того были переполнены ранее наготовленными продуктами английских же фабрик. Нужно еще прибавить, что общая спекуляция на товары охватила и такие продукты, которые ввозились в Англию для непосредственного потребления: когда стали возрастать цены на табак, сахар и кофе (на 33, 31 и 30%), и их стало ввозиться больше, чем ввозилось прежде, причем, например, ввоз табака увеличился на 81%, хотя потребление и этих товаров не могло возрасти в уровень с их привозом. Превышение предложения над спросом отразилось на ценах только что названных товаров быстрым их падением, что началось во второй половине 1825 г. и достигло *maximum*'а в первой половине 1826 г.: уменьшение цены на хлопок выразилось в 60%, сахара — 23 %, кофе — 38%. То же самое произошло и с британским железом: в первой половине 1825 г. сравнительно со второй половиной 1824 г. цена его возросла было на 83%, в первой же половине 1826 г. сравнительно с первой половиной 1825 г. понизилась на 60%. Такое падение цен было равносильно разорению спекулянтов, накупивших разных товаров в видах их перепродажи с барышом; вместе с тем оно заставляло бояться и дальнейшего еще понижения цен. Надежды на выгоды от южноамериканских займов и от акционерных компаний для разработки естественных богатств Южной Америки равным образом оказались неосновательными, и эта спекуляция, увеличившая спрос на английский ссудный капитал, привела в конце концов к падению цен и на бумаги, коими спекулировали на бирже. Все это случилось уже ко второй половине 1825 г., и скоро очередь дошла до банков, которые принимали большое участие в спекуляциях того времени. Парламентским актом 1822 г. частным банкам было разрешено выпускать однофунтовые банковые билеты, между тем как сами банки помещали свои капиталы так, что реализовать их сразу было нельзя: теперь, понятно, под влиянием разных тревожных слухов вкладчики и владельцы однофунтовых билетов, народ большей частью небогатый, легко поддававшийся и неумеренным надеждам на барыши, и чрезмерным опасениям убытков, стали брать назад свои вклады и требовать размена своих билетов на звонкую монету, почему уже в октябре 1825 г. произошло крушение пяти провинциальных банков. Весьма естественно, что частные банки начали искать поддержки у Английского банка, но последний ввиду отлива золота из его кладовых стал делаться более скупым на ссуды и прямо отказывал в поддержке провинциальным банкам. Это лишь усилило панику, и у самого Английского банка стали требовать обратно вкладов, провинциальные же банки стали один за другим прекращать платежи: в декабре число таких несостоятельных банков дошло уже до семидесяти. Сам Английский банк предполагал даже приостановить размен своих билетов, но правительство до этого не допустило, что заставило банк переменить тактику — начать дисконтировать солидные коммерческие векселя, отвергавшиеся частными

банками из боязни перед уменьшением своей наличности, и открыть широкий кредит частным банкам, которые только можно было еще спасти. Между тем указанные банкротства, бывшие нередко простым следствием разорения купцов и фабрикантов, пользовавшихся их кредитом, в свою очередь повлекли за собой разорение многих коммерческих и индустриальных предприятий. Особенно разорялись торговые фирмы, занятие коих состояло в вывозе английских товаров за границу, так как, не будучи в состоянии продать за границу весь закупленный товар, они не могли уплачивать по своим векселям фабрикантам, у коих забирали товар. В 1826 г. сравнительно с 1824 г. бумажных тканей вывезено было из Англии на 21% менее, причем вырученная за них сумма оказывалась меньшею даже на 32%. Понятно, что все это не могло не отразиться на производстве: оно тоже сильно сократилось, и после этого английская промышленность страдала еще три-четыре года — не от недостатка капиталов, — чего даже вовсе и не было, — а от общего расстройтва, произведенного кризисом во всем механизме денежного и товарного обращения. Так как именно сбыт всех товаров сделался затруднительным вследствие того, что закуплено и наготовлено их было больше, чем того требовал спрос на них, то оставалось сокращать производство, теряя при этом проценты на основном капитале (фабричных зданиях, машинах и т. д.), который оставался теперь без употребления. В свою очередь, падение малосостоятельных или слишком зарвавшихся в спекуляциях предприятий и сокращение производства на более солидных фабриках мало-помалу должны были привести к очищению рынков от залежавшихся товаров, которые все-таки понемногу распродавались, и когда начался опять усиленный спрос на товары, промышленность снова оживилась — до нового кризиса.

Промышленные кризисы, подобные только что описанному, сделались на самом деле принадлежностью нового капиталистического хозяйства. Вообще экономический переворот, о котором шла речь в предыдущей главе, и в частности кризисы, ставшие хроническим злом английской промышленности, весьма губительно отзывались на благосостоянии рабочего класса. У мелкой промышленности, которая была вытеснена крупным производством, было одно важное преимущество, на которое указывала уже парламентская комиссия, учрежденная в начале XIX в. по поводу противоположных петиций, подававшихся в парламент мелкими мастерами и рабочими, с одной стороны, и крупными предпринимателями — с другой. Преимущество это состояло в том, что и производство было равномерным, и заработок более постоянным. Сами рабочие показывали комиссии, что мелкие мастера не обращают внимания на состояние торговли, не прекращая производства в трудное для сбыта время в той надежде, что это время минует и сделанные запасы не пропадут; поэтому мелкие мастера давали своим рабочим постоянное занятие и при всяких условиях рынка платили им одинаково. Крупное производство действительно положило конец прежней устойчиво-

сти производства и заработка, начав подвергать и первое, и последний постоянным колебаниям, которые не могли не отражаться весьма пагубным образом на положении рабочих, когда, например, сокращалось производство и многие оставались без заработка, или когда уменьшалась плата за труд и существование семьи рабочего вследствие этого тоже делалось более затруднительным. Статистические исследования неопровержимым образом доказывают, что в годы кризисов в промышленных округах Англии падают цифры брачности и вкладов в сберегательные кассы и, наоборот, поднимаются цифры смертности и преступности, а также и вообще усиливается пауперизм¹, тогда как в земледельческих округах Англии, на которых кризисы не отражались с такой силой, подобных резких колебаний в указанных цифрах не замечается. Кроме того, каждый кризис после себя оставлял и такие явления, которые уже не имели одного преходящего значения. Во-первых, в той борьбе за сбыт продуктов, какая начиналась тогда между предпринимателями, конечно, победа всегда была на стороне более экономически сильных, а таковыми являлись, разумеется, капиталисты, коим легче было переживать трудные времена, чем мелким производителям, которые все более и более исчезали с лица земли. Во-вторых, в этой борьбе промышленники, в силу простого чувства самосохранения, всегда прилагали все свои усилия к тому, чтобы удешевить производство. Раз цена на товары падает, приходится иногда работать прямо себе в убыток, и вот чтобы удешевить производство, фабриканты набрасываются на технические изобретения и усовершенствования, не обращавшие на себя внимание в годы процветания производства, высоких цен и хорошего сбыта. Например, паровой ткацкий станок стал вводиться во всеобщее употребление на английских фабриках после кризиса 1825 г., когда и вообще заметна была тенденция фабрикантов искать способов удешевления производства посредством новых технических усовершенствований. Действительно, по миновании кризиса 1825 г. цена на хлопчатобумажные ткани уже не поднималась до прежней высоты. Средние цены на эти ткани были в 1820—1825 гг. в шиллингах и пенсах такие: 15/9, 15/3, 14/6, 14, 14/6, 16/3, а в 1826-м и следующих годах — 10/6, 10, 9/9, 9/9 и т. д., большей частью с понижением (до 5 в 1848 г.), а это указывает на то, что самая стоимость производства на самом деле значительно удешевлялась. Но всякое техническое усовершенствование только усиливало то действие, какое вообще оказывало введение машин. В-третьих, кризис сопровождался понижением рабочей платы, и оно оставалось не только во время застоя, но и потом, в новую эпоху процветания, случалось, плата не поднималась до прежней нормы. Наконец, кризис всегда оставлял после себя целую массу пауперов и бродяг, познакомившихся с рабочим до-

¹ Пауперизм (*от лат.* pauper — бедный) — массовое обнищание населения в странах Западной Европы в XIX в., возникшее вследствие безудержной капиталистической эксплуатации трудящихся. — *Прим. ред.*

мом и тюрьмой, которые удерживали их у себя до нового оживления промышленности, когда и их руки снова привлекались к фабричной промышленности. Таким образом, кризисы, бывшие результатом новой формы производства, не только вносили временное расстройство в это производство и временно же понижали заработок и благосостояние рабочего класса, но оставляли после себя и более постоянные следы. Весьма притом любопытно наблюдение, по которому новые эпохи процветания, наступающие после кризисов, являются не простым возвращением к прежнему положению, а дальнейшими ступенями в расширении капиталистического производства и в увеличении национального богатства, хотя за последнее время вместе с тем замечается и другое явление — удлинение периодов застоя при меньшей резкости и интенсивности кризисов и, наоборот, соответственное сокращение периодов процветания.

Успехи промышленной техники и страшное увеличение производства, сопровождавшееся общим удешевлением продуктов, это громадное возрастание национального богатства Англии, по-видимому, должны были бы отразиться самым благоприятным образом на материальном благосостоянии рабочих, но вышло совсем наоборот. Одно время бедствия, коим подвергалось население Англии, еще можно было объяснять «великой войной», которую Англия вела против Франции, и действительно, война для английского населения не могла пройти бесследно¹, но в 1815 г. война окончилась, бедствия же продолжались. Значит, причина их заключалась не в одной войне. Рассматривая обезземеление сельской массы, уничтожение ремесленного и домашнего производства и введение машин, мы видели, как все это само по себе отразилось на благосостоянии рабочего люда. Одним из признаков ухудшения быта рабочих было то, что нужда стала заставлять их посылать на фабрику своих жен и детей, которых предприниматели брали весьма охотно. Детский труд стал применяться и в сельском хозяйстве. Образовался даже особый промысел найма подростков у родителей для того, чтобы потом этих еще не сформировавшихся, но очень дешевых работников целыми партиями ставить на работу у фермеров; последние помещали их очень дурно, — например, в сараях, где все спали вповалку без различия пола и возраста, — а также и дурно их кормили и обращались с ними крайне сурово. На фабриках это было возведено прямо в систему. По английскому законодательству о бедных (*poor law*), относящемуся к царствованию Елизаветы², приходские надсмотрщики за пауперами должны были, между прочим, заботиться о том, чтобы дети бедняков, содержащихся на счет прихода, были обучены какому-нибудь полезному делу; фабриканты в своих поисках за дешевой рабочей силой начинают теперь входить в правильные сношения с этими надсмотрщиками, которые и поставляют им детей в качестве «учени-

¹ Ср. преувеличенное мнение Грина, данное выше.

² См. об этом законодательстве в т. II.

ков», но, в сущности, как дешевую рабочую силу. В этом деле явились своего рода посредники, превратившие поставку подростков на фабрики в прибыльный для себя промысел: они входили в соглашение с надсмотрщиками пауперов, забирали у них детей, перевозили их партиями в промышленные районы, — весьма дурно их содержа все время, пока не пристраивали к тому или другому фабриканту, — и за это получали комиссионные деньги. На фабрике начиналась настоящая эксплуатация детского труда: несчастным не полагалось платы, ибо они числились учениками; помещали их и кормили скверно; работать они должны были по 16 часов в сутки, и даже праздничного отдыха им не полагалось, так как в воскресные дни их заставляли чистить машины; за малейшую неисправность надзиратели за работами били их и подвергали разным наказаниям; в случае попытки бежать с такой каторги полагалось заковывать несчастных в кандалы, не снимавшиеся ни во время работы, ни во время сна; бывали случаи самоубийства этих закабаленных детей, и, конечно, смертность между ними была громадная, не говоря уже о том, что дети и физически калечились, и нравственно развращались от непосильного труда, от одностороннего упражнения одних каких-либо органов за счет других, от нездоровой атмосферы фабричных помещений и грязных общих спален, где смешивались без соблюдения малейших приличий разные полы и возрасты, от отсутствия какой бы то ни было заботы о просвещении и моральном воспитании подрастающих поколений этого фабричного люда и т. д. Фабриканты вообще думали только о наживе: в число их забот об удешевлении производства входило не только стремление к введению технических усовершенствований, но и пользование всеми способами, чтобы им как можно дешевле стоило содержание рабочих и, наоборот, чтобы рабочие за самую ничтожную плату как можно более для них делали. В числе преимуществ мелкого производства рабочие указывали на то, что хозяева лучше с ними обращались, да и действительно, между мелким ремесленником и работавшим у него помощником разница положений была самая незначительная: они часто работали вместе, помещались совершенно одинаково, ели за одним столом. Жизнь рабочих в отдельных коттеджах стала заменяться теперь казарменными квартирами или маленькими чуланами в громадных фабричных зданиях, где было и тесно, и грязно, и неудобно; вследствие привлечения на фабрики женщин и девушек, мужья и отцы коих нередко оставались сами без заработка, распадалась семейные узы и начинал царить половой разврат. При сравнительно хорошем заработке прежних времен и незначительности расстояния, отделявшего рабочих от мелких предпринимателей, рабочий мог всегда жить надеждою на улучшение своего быта; теперь положение рабочего сделалось безысходным. Мы видели, что промышленный переворот понизил вообще рабочую плату, а кроме того, само законодательство действовало в смысле неблагоприятном для возможности поднятия этой платы. Так называемые

combinations-law, сведенные в общую систему запрещения коалиций между рабочими, не позволяли рабочим спланировать между собой, чтобы предъявлять хозяевам требования относительно лучшего вознаграждения за свой труд. До торжества принципа промышленной свободы рабочая плата устанавливалась мировыми судьями, которые не очень баловали рабочих, но уже в 1795 г. один съезд судей признал крайнюю недостаточность прежних такс для содержания рабочих. Этому думали помочь так называемой allowance system of relief¹, заключавшейся в том, что сумму, не хватавшую бедному семейству для пропитания, должен был ему приплачивать приход, и это, конечно, растлеvalo обе стороны — и фабрикантов, знавших, что рабочих будет прокармливать обязательная благотворительность, и рабочих, не очень-то иногда старавшихся зарабатывать больше. Притом в годы кризисов рабочие привыкали к нищенскому образу жизни и прямо даже обленивались от вынужденного безделья. В общем, рабочий питался гораздо хуже, чем прежде, так как заработок его падал, а цена хлеба, как мы увидим, возрастала: в 1770 г. средняя рабочая плата равнялась 90 пинтам пшеницы, в 1797 г. — уже 65, а в 1808-м — только 60. Приход, правда, доплачивал разницу между тем, что рабочий получал в виде платы, и minimum'ом того, что стоило его содержание, но самый рост этой приплаты указывает на то, что общий уровень рабочего благосостояния сильно понизился: например, в Нортгэмптоне в 1795 г. подобный дефицит в бюджете паупера был менее четверти его расходов, а в 1814 г. он превышал уже целую половину. Нередко рабочие были принуждаемы, вдобавок, покупать жизненные припасы в лавках своих хозяев, где все продавалось втридорога и, конечно, самого последнего качества. Кто был недоволен, мог свободно уйти, ибо на его место всегда нашелся бы другой, но в том-то и дело, что нигде нельзя было найти лучших условий существования.

Содержание рабочим своей семьи нередко делалось невозможным без помощи приходских попечительств о бедных. По законодательству времен королевы Елизаветы приходам вменялось в обязанность содержать на свой счет местных бедняков, у которых не было средств так или иначе поддерживать свое существование без общественной помощи, причем последняя оказывалась или на дому, или в особых общественных учреждениях; средства же для такой благотворительности должны были доставляться особым налогом на бедных (poor tax), который падал преимущественно на находившуюся в приходах недвижимую собственность. Увеличение этого специального налога в конце XVIII и начале XIX в. самым ясным образом свидетельствует о том, как в рассматриваемое время возрастал пауперизм в стране. Например, в одном приходе графства Бекингем налог на бедных был в 1801 г. в 10 ф. 11 шиллингов, а в 1832 г. он доходил уже до 367 ф. В 1760 г. население Англии не превышало семи миллионов, и тогда тратилось на бедных 1 250 000 ф., что

¹ Расширенная система норм выдачи пособий нуждающимся (англ.). — Прим. ред.

составляло на каждого жителя королевства 3 шиллинга 7 пенсов, в 1774 г. эта цифра повысилась до 1 700 000, в 1801 г. — до 4 000 000, а в 1818 г., когда население Англии равнялось уже почти 12 миллионам (11 876 000), она дошла почти до 8 миллионов (7 870 000), что составляло на душу уже 13 шиллингов 3 пенса. Потом эта цифра понизилась, но в двадцатых годах благодаря кризису опять повысилась: в 1821—1825 гг. она была равна ежегодному расходу в 6 123 000 ф., в 1826—1830 гг. — в 6 366 000, в 1831—1833 гг. — в 6 876 000. Дело дошло до того, что налог на бедных в иных приходах стал равняться целой половине поземельной ренты, а иногда ее и превышать, в одном же приходе графства Бекингем налог этот превысил даже весь доход с земли. В самом деле, мог ли рабочий жить без доплаты из прихода или не посылать жену и детей на фабрику, когда в неделю взрослый мужчина (в 1832 г.) зарабатывал средним числом 12 шиллингов, содержание же семьи с четырьмя детьми стоило по крайней мере 17 шиллингов, т. е. почти в полтора раза больше, и когда число взрослых работников на фабриках сокращалось до того, что в 1849 г. они составляли лишь 23% общего числа лиц, работавших на фабриках? Понятное дело, что землевладельцы, и вообще имущие классы, стали стремиться к тому, чтобы сбросить с себя повинность содержания пауперов. Против законов о бедных началась агитация: в них, с точки зрения тогдашней политической экономии, стали даже видеть чуть ли не главную причину экономических неурядиц эпохи. Популярный экономист Сениор писал, например, что целью этих законов было соединить несоединимое — преимущества свободы и рабства: дело-де в том, что при действии этих законов рабочий свободен, но вместе с тем не подвергается риску, связанному со всякой свободной деятельностью, ибо зачем ему быть предусмотрительным и прилежным, раз он знает, что не погибнет от нужды, так как приход даст ему недостающее на удовлетворение потребностей увеличивающейся семьи? Особая парламентская комиссия, которой в 1833 г. было поручено расследование вопроса, пришла прямо к тому заключению, что пауперизм не уменьшится, пока положение людей, пользующихся общественной благотворительностью, не сделается худшим, чем положение рабочих, а для этого лучшим средством была признана угроза пауперам рабочими домами, которые вскоре после введения нового закона (1834) получили у народа название «бастилий».

Это был сам по себе весьма тягостный процесс замены одного экономического строя другим, а он еще совпал по времени с войной, которую Англия в течение целой почти четверти века (1793—1815) вела против Франции, платя, кроме того, громадные субсидии коалициям, которые при ее помощи создавались против ее политического врага. «Начавшийся в 1793 г. период войн, — говорит новейший историк государственного долга Англии¹, — по величественности вызванных им финансовых оборотов,

¹ Проф. И.И. Кауфман в сочинении, названном выше. О политическом значении войн см. выше.

представляет явление одинокое не только в английской, но и во всемирной финансовой истории и практике. В сравнительно короткий период 24 лет, с 1793 по 1816 г., от страны потребовалось столь значительное напряжение сил, что самые увлекающиеся сангвиники считали бы безумием признать возможность подобного напряжения, прежде чем оно стало осуществившимся фактом». В сто пять лет, протекавших от второй английской революции до начала революционных войн (1688—1792), обыкновенные государственные доходы Великобритании и Ирландии составляли 877 396 826 фунтов стерлингов, а в 24 года, с 1793 по 1816 г., они доходили уже до 1 217 556 439 фунт. стерл., т. е. были на 39% больше. Среднегодовая сумма жертв, требовавшаяся в XVIII в. от страны в размере 8 356 160 фунт. стерл., должна была возрасти вдруг до 50 731 519 фунт. стерл., т. е. увеличиться почти в шесть раз. Точно так же и расходы в 1688—1792 гг. едва превысили тысячу миллионов фунт. стерл., а в 1793—1816 гг. они составили уже более полутора тыс. миллионов. Если взять в расчет все, что Англия потратила на войны, какие она только вела за последние двести лет, то окажется, что из потраченных на эти войны сумм свыше 60% придется только на одни войны 1793—1815 гг. При этом в последние годы борьбы с Наполеоном расходы на нее были в два с половиной раза больше, нежели в первые годы борьбы с Французской республикой. Одних субсидий союзникам в это время Англия выдала на 57 млн, из коих на долю России пришлось более 9 млн. Конечно, при этом Англия не в состоянии была обойтись без новых займов, и ее государственный долг действительно возрос в громадной мере (более чем на 400 млн фунт. стерл.), что, конечно, легло тяжелым бременем на бюджет и платежные силы страны. Кроме того, эта «великая война», как и всякая другая война, должна была и в иных отношениях отразиться на экономической жизни Англии, отвлекиши массу рук от производительного труда, создав искусственный спрос на одни товары и, наоборот, сократив спрос на другие, изменив распределение национального дохода и пр. и пр. Мы остановимся здесь, однако, лишь на двух фактах, относящихся к влиянию войны 1793—1815 гг. на экономическую жизнь Англии, ибо только эти два факта оставили прочные следы на последующей эпохе. Мы имеем в виду именно, во-первых, влияние войны на развитие английского сельского хозяйства и на историю английской торговли и промышленности, что не лишено было значения и для того социально-экономического процесса, который мы теперь рассматриваем. Во время войны с Наполеоном в Англии сильно вздорожал хлеб. В период времени между 1801 и 1810 г. средняя цена на пшеницу стояла выше на 80%, чем в предыдущее десятилетие, что заставило капиталистов наброситься на сельское хозяйство с целью получать большие барыши посредством интенсивной культуры земли, тогда как мелкие сельские хозяева, которые еще в сравнительно небольшом числе продолжали

существовать в Англии, оказывались теперь совершенно несостоятельными ввиду постоянных и очень резких колебаний цен сельскохозяйственных продуктов, а потому вынуждались расставаться со своими хозяйствами. Усовершенствованные способы земледелия сильно подняли земельную ренту. Когда война окончилась и открылся в Англию свободный доступ для более дешевого заграничного хлеба, лендлорды не пожелали лишиться тех выгод, какие они извлекали из невозможности ввоза в страну хлеба из-за границы, тем более что на улучшение сельского хозяйства были потрачены большие средства, вследствие чего и сельскохозяйственная промышленность стала перестраиваться на капиталистических началах. Уже раньше в тех случаях, когда конкуренция привозного хлеба с туземным грозила уменьшением земельной ренты, парламент издавал так называемые хлебные законы (*corn-law*), сущность коих заключалась в запрещении привоза иностранного хлеба, пока цена местного не достигнет известного *maximum*¹: так, например, в 1773 г. лишь тогда позволялось ввозить в Англию пшеницу, когда пшеница, производившаяся в самой стране, начинала продаваться по 48 шиллингов за квартал¹. В 1791 г., если местная пшеница продавалась дешевле 50 шиллингов за квартал, на привозную налагалась пошлина в 24 шиллинга 3 пенса. В 1804 г. вернулись к закону 1773 г., повысив только цену пшеницы с 48 шиллингов до 63, а знаменитые хлебные законы 1815 г., продержавшиеся в Англии до 1846 г. и отмененные только после самой упорной агитации, не допускали уже ввоза иностранной пшеницы, если производимая в стране продавалась дешевле 80 шиллингов за квартал. Таким образом, долговременная война и хлебные законы сильно содействовали развитию английского сельского хозяйства в капиталистическом смысле, и как раз в это самое время фермеры, дешево покупавшие труд подростков, продавали дорого свои продукты потребителям, платя сами весьма высокую ренту лендлордам, которые провели и поддерживали впоследствии хлебные законы в парламенте. Эти законы искусственно создавали тягости военного времени, с которыми прежде волей-неволей приходилось мириться и теперь, когда война окончилась и высокая цена на пшеницу уже не оправдывалась фактической невозможностью ввоза. Понятно, что хлебные законы вызывали народное неудовольствие, и во многих беспорядках этой эпохи, рядом с требованием парламентской реформы, предъявлялось требование отмены хлебных законов. Народ действительно бедствовал, тем более что прекращение войны оставило еще без заработка сотни тысяч солдат и матросов, да, кроме того, в Англию стали прибывать еще толпы голодных ирландцев. В агитации против хлебных законов, получившей, впрочем, правильную организацию лишь в 1839 г., приняли участие и фабриканты, видевшие в дешевом хлебе одно из условий того общего удешевления производства, о котором они постоянно хлопотали.

¹ От англ. quarter — четверть (мера сыпучих тел) = 2,9 гл (либо 1,136 л). — *Прим. ред.*

Другим фактом, стоявшим в связи с «великой войной» и влиявшим на экономическую жизнь Англии, была континентальная система. Вывоз английских фабрикатов, определявшийся в 1793 г. суммой в 17 млн фунтов стерлингов, к 1800-му удвоился, т. е. достиг цифры 34 млн. Господство Англии на европейских рынках и заставило Наполеона придумать континентальную систему, которая, однако, принесла гораздо более вреда самой Франции и ее союзникам, чем Англии. Эта система лишь задержала на время дальнейший рост некоторых английских производств, например, хлопчатобумажного, но остановить промышленного развития не могла. Английские фабрикаты все-таки, хотя бы иногда и очень кружным путем, например через Турцию, попадали во Францию и Германию, и даже многие предметы, которые были необходимы для обмундирования армии Наполеона или солдат его союзников, были английского происхождения. Риск, сопряженный с доставкой английских товаров на континент, возвысил фрахты до такой степени, что иногда корабль за один рейс из Англии и обратно зарабатывал в двадцать раз более своей собственной стоимости, а это, равно как необходимость отвозить товары на более отдаленные рынки (например, в Америку), остававшиеся еще открытыми для Англии, не говоря уже о перевозке солдат и военных припасов, содействовало развитию морского судоходства. Но и после окончания войны континентальные государства, боясь, что местные мануфактуры не в состоянии будут выдержать конкуренцию с английскими, старались оградиться от английского ввоза высокими таможенными пошлинами. Английская промышленность была действительно настолько сильна, что фабриканты совсем перестали бояться соперничества со стороны континента и даже начали добиваться свободы торговли, желая, с одной стороны, удешевления продуктов, ввозившихся в Англию из-за границы, т. е. главным образом хлеба и сырья, а с другой — устранения препятствий для расширения производства, лежавших в континентальном протекционизме. Что касается до временного значения фактов, о коих сейчас было говорено, то о результатах войны с Наполеоном для массы населения Англии лучше всего можно судить по тому, что в 1801 г. содержание бедных стоило в ней (вместе с Уэльсом) немного менее 700 000 кварталов пшеницы, а в 1814 г. превышало уже 1 740 000 кварталов, — доказательство несомненного обеднения населения.

Весьма естественно, что ухудшение экономического положения трудящейся массы должно было поселить в ней глубокое неудовольствие против порядка вещей, ее угнетавшего, и против представителей этого порядка, особенно против фабрикантов, коих рабочие прозвали «детоубийцами». С особенным негодованием относились рабочие к «железным людям» (iron men), как называли они машины, ухудшавшие их положение. С конца XVIII в. все чаще делались случаи разрушения машин рабочими, а в 1812 г. это движение против машин приняло поистине революционный характер, что обратило на него внимание парламента, который даже издал

закон, грозивший смертной казнью за разрушение машин. Бывали случаи, что машины приходилось ставить буквально под охрану пушек. В 1816 г. произошло движение среди сельскохозяйственных рабочих, в отместку за хлебные законы сжигавших скирды хлеба. В обоих случаях бунты пришлось усмирять военной силой. Затем в годы крайней нищеты, вызванной кризисом 1825 г., опять повторились сцены народного восстания. Сильны были волнения среди сельскохозяйственных рабочих и в 1830 г. Наконец, можно указать на массу других случаев, когда в Англии этой эпохи народное неудовольствие выражалось с особой силой. Реакционное настроение правящих классов получает в таких фактах достаточное объяснение. В тридцатых и сороковых годах эти волнения стали даже играть весьма значительную политическую роль. Кроме репрессивных мер, к коим прибегало правительство против народных беспорядков, парламент не мог не доискиваться причин тех бедствий, которые постигали рабочее население, и назначал особые комиссии для исследования разных вопросов, связанных с бытом рабочего класса. Нам уже приходилось говорить о комиссии 1806 г., назначенной для исследования противоположных жалоб фабрикантов и рабочих. В 1820 г. образована была комиссия для рассмотрения петиции о свободной торговле, затрагивавшей интересы и рабочих. Для рассмотрения вопроса о налоге на бедных парламент тоже назначил особую комиссию в 1833 г. И непосредственно рабочий вопрос должен был занимать парламент. В 1802 г. был уже вотирован первый закон, ограничивавший работу учеников и подмастерьев на фабриках двенадцатью часами в сутки, но при этом, к сожалению, не было создано органов надзора, вследствие чего закон этот постоянно нарушался. Самый закон 1802 г. был вызван не чувством человеколюбия, а боязнью высших классов перед сильными эпидемиями, начавшими около этого времени свирепствовать на фабриках, вследствие чего, собственно говоря, закон распространялся лишь на детей, живших в фабричных помещениях, а не приходивших только на фабрики для работы. Парламент в первую треть века вообще не раз назначал комиссии для исследования положения несовершеннолетних на фабриках, и эти комиссии постоянно делали доклады о страшных злоупотреблениях работой детей и подростков. В 1830 г. парламент образовал особую комиссию для изыскания средств против постоянных колебаний заработка, и она констатировала этот факт, иллюстрировав его многими примерами и предложив учредить сберегательные кассы, куда рабочие могли бы делать вклады в годы сравнительно высоких заработков с ограничением права вкладчиков брать свои вклады обратно лишь известными случаями. Так, в Англии уже в период до парламентской реформы 1832 г. начинал ставиться рядом с другими вопросами и вопрос рабочих.

Аналогичные изменения в экономическом быту с аналогичными же и последствиями произошли и во Франции, только не с такой быстротой,

как это было в Англии. В эпоху Великой революции во Франции еще не существовало рабочего вопроса в той форме, в какой он был поставлен позднее, после того именно, как и здесь было введено машинное производство, забывшее прежний ручной труд и мелкую промышленность. Из этого, разумеется, не следует, чтобы во Франции совсем не возникало вопроса о пауперизме: как раз наоборот, при «старом порядке» во Франции существовала страшная нищета и в деревнях, и в городах, и вопрос об устранении нищеты занимал очень многих публицистов и государственных людей, причем английское законодательство о бедных казалось некоторым из них чуть не самым действительным средством устранения нищеты, а Конвентские декларации прав уже провозглашали прямую обязанность общества доставлять своим членам возможность снискивать себе пропитание трудом, или так называемое «право на труд» (*droit au travail*). Продолжительность революционного движения и успех демократической пропаганды якобинизма среди городских рабочих равным образом объясняется крайней нищетой, в какой находилась народная масса во Франции. Анархия сильно расстроила промышленную жизнь страны, а затем начались еще грандиозные войны со всей Европой, которые отвлекли массу рабочих рук от производительного труда и направили капиталистов к выделке военных припасов. Наполеон, чувствовавший вообще страх перед народными восстаниями, старался доставить работу незанятым рабочим, и в то же время, верный самому себе во всех вопросах внутренней политики, стремился дисциплинировать рабочую массу разного рода мероприятиями полицейского и уголовного свойства, некоторые промыслы получили при нем от правительства новую организацию, главной целью которой было установление над ними полицейского надзора. В 1803 г. был издан закон, каравший коалиции рабочих, заключенные с целью прекращения работы, и совершенно молчавший о коалициях хозяев, но в 1810 г. этот закон попал в Уголовный кодекс лишь в измененном виде: наказывались рабочие коалиции, ставившие своею задачею принуждать других к прекращению работ¹, и подвергались каре равным образом и стачки хозяев. Далее, введена была рабочая книжка, сделавшаяся своего рода паспортом, ибо, получив от администрации этот документ, рабочий должен был отдавать его своему хозяину и через то попадал от него в некоторую зависимость. Последняя была тем более тягостной, что гражданский кодекс заключал в себе статью, в силу которой в случае пререканий между рабочим и хозяином из-за платы закон предписывал верить утверждению хозяина. Вообще, кроме полицейского характера этого законодательства, мы замечаем в нем и буржуазные тенденции. Прежние полицейские и судебные атрибуты цехов при Наполеоне перешли именно к полиции, которая пользовалась своей властью совершенно произвольно. Далее, споры

¹ Аналогичный закон в Англии (1825).

между хозяевами и рабочими должны были разбираться по революционному законодательству мировыми судьями, но предприниматели были этим недовольны, и однажды, когда Наполеон проезжал через Лион, местная торговая палата просила его заменить для дел данной категории мировой суд «своего рода судом семейным» (*une espèce de tribunal de famille*), подобным тому, который существовал до революции. Закон 18 марта 1806 г. установил в 26 городах Франции так называемые *conseils de prud'hommes*¹, состоявшие из выборных фабрикантов и мелких предпринимателей, причем последние в равном количестве с первыми должны были представлять собой и самый класс наемных рабочих. В 1810 г. компетенция этих советов была расширена, так как им было предоставлено налагать исправительные наказания (до трех дней ареста) за все, что могло бы поколебать порядок в промышленных заведениях и дисциплину среди рабочих. Наполеон стремился, кроме того, развить национальную промышленность, и с этой целью он, между прочим, ввел свою знаменитую континентальную систему, которая, как мы знаем, привела к тяжелому промышленному кризису². В общем, однако, французская промышленность в эпоху империи продолжала существовать еще при старых формах. Англичане держали в секрете от иностранцев свои технические изобретения и усовершенствования, и Франция не успела ими воспользоваться до революции. Потом началась внутренняя анархия и внешняя война, между прочим, с тою же Англией: и понятно, что при таких условиях заимствовать что-либо из Англии было в высшей степени трудно. Вот почему во Франции все открытия в области промышленности были применены к делу позднее, нежели в Англии. Тем не менее в наполеоновскую эпоху и в самой Франции сделано было немало изобретений, которые оказали потом большое влияние на французскую промышленность и содействовали развитию капитализма, крупного производства и пролетариата. Это было время приложения к промышленности научного знания; особенно много в этом отношении сделано было в области применения химии к техническим производствам, в коих Франция положительно опередила другие нации. Среди ученых, прославившихся в эту эпоху техническими открытиями в области химии, особенно известен Шапталь, который, как мы видели, занимал и видный пост на государственной службе. Между прочим (с Перпером), он немало содействовал усовершенствованию свеклосахарного производства, которое развилось во Франции особенно под влиянием континентальной системы: после 1828 г. во Франции возникло до 600 сахарных заводов. Было сделано также немало и механических изобретений, которые могут быть поставлены рядом с английскими. Знаменитым изобретателем и вместе с тем крупным предпринимателем был Ришар, весьма много содействовавший развитию хлопчатобумажной и льняной про-

¹ Совет деловых людей (*фр.*). — *Прим. ред.*

² Подробности о нем см. у Levasseur'a.

мышленности. Он воспользовался французским завоеванием Неаполя, чтобы начать разводить там хлопок, но так как запретительная система Наполеона мешала ввозу этого продукта, то Ришару дана была вознаградительная субсидия в размере полутора миллиона франков. Ришар основал во Франции около сорока бумаго- и льнопрядильных фабрик и нажил 14 млн. Рядом с ним следует поставить Жирара, который изобрел несколько новых производств и сделал разные усовершенствования в прежних машинах. Когда Наполеон, желавший противопоставить английской хлопчатобумажной промышленности французскую льняную, декретом 11 мая 1810 г. назначил миллионную премию за наилучшую льнопрядильную машину, Жирар взялся за это дело и через два с небольшим месяца получил патент на свое изобретение. В 1813 г. были уже основаны большие льнопрядильные фабрики, но англичане впоследствии воспользовались сами этим изобретением. Около 1800 г. Жаккар изобрел ткацкий станок для выделки самых сложных узорчатых тканей, секрет коего он продал правительству за пожизненную ренту в 3 тыс. франков. Его изобретение стало скоро распространяться, но вызвало страшное неудовольствие со стороны рабочих. В Лионе произошли даже серьезные рабочие беспорядки, во время которых сам изобретатель едва было не погиб. Однако уже в 1812 г. в этом городе действовало 12 тыс. станков Жаккара, а в 1834 г. (год смерти изобретателя) число их возросло до 30 тыс. Под влиянием этих изобретений и заимствований из Англии и французская промышленность стала мало-помалу перестраиваться на новый образец.

В эпоху империи машины во Франции были еще редки: настоящим периодом введения механического производства во Франции была эпоха Реставрации. На промышленной выставке 1819 г. жюри уже отметило некоторые успехи в этом деле, заявив, что в известных производствах фабрики, работающие машинами, скоро вытеснят рутинные способы выделки товаров, и при этом высказывалась еще та мысль, что новые изобретения не только увеличат количество продукта, но вместе с тем и послужат к освобождению рабочих от их нищеты. Но рабочие думали иначе, и во Франции, как и в Англии, машины были встречены ими крайне недружелюбно. Вскоре и здесь стали обнаруживаться те же последствия введения машин, как и в Англии, — до эксплуатации детского труда включительно, который во Франции был притом принят под охрану государственного закона не ранее 1841 г. Идея промышленной свободы все более и более оказывалась благоприятной для развития капиталистического производства, и буржуазия поэтому защищала ее против ультрароялистов, которые из ненависти ко всему, что имело революционное происхождение, наоборот, требовали восстановления старых цеховых учреждений. В таком именно смысле уже в «бесподобной» палате сделано было предложение, которое возобновлялось и впоследствии, тем более что в его пользу велась агитация и во всей стране. Буржуазия, со своей стороны, всячески противодействовала восстановлению старой регламентации труда, но

среди мелких мастеров и рабочих идея возрождения товариществ была довольно популярна. Среди представителей старого порядка были люди, понимавшие, что интересы рабочих, действительно, требуют введения ассоциаций. Например, граф Вильнев-Баржемон, бывший за все время Реставрации префектом, в своей «Христианской политической экономии», — вышедшей в свет, впрочем, уже после Июльской революции, — указывал на то, что «учреждение таких ассоциаций работников, которые, не стесняя промышленности и не сопровождаясь печальными последствиями прежних метризов и жюранд¹, поддержали бы дух общения и взаимопомощи» между рабочими, было бы в высшей степени благотворительно. Сами рабочие некоторых категорий просили введения в их среде синдикатов, но палаты стояли на точке зрения необходимости поддерживать промышленную свободу. Буржуазия все более и более склонялась и к принципам свободной торговли. В этом смысле был, например, составлен адрес палаты, вышедшей из выборов 1827 г. Мартиньяк даже создал отдельное министерство торговли, а палата назначила особую комиссию (1828) для исследования поднятого в адресе вопроса. Но рабочий вопрос в том виде, в каком он уже начинал ставиться в Англии, во Франции эпохи Реставрации едва только намечался. Задачи, вытекавшие из положения дел, были еще новыми, и «они, как говорит историк рабочего класса во Франции², еще не получали значения угрозы, направленной против существующего общественного строя. Просвещенный класс общества совсем не интересовался этими вопросами³... Сам рабочий класс еще не поднимался до образования общих взглядов на свое положение и не составлял еще политической партии⁴. Правительство Реставрации сделало мало для разрешения этих вопросов и не только потому, что у людей, стоявших во главе правления, интересы были совсем иные, но и потому, что самые вопросы еще недостаточно назрели». Притом эпоха Реставрации была временем сравнительного благосостояния народных масс. Недовольство Реставрацией имело более политический, чем экономический характер, не считая сравнительно немногих стачек с целью повышения рабочей платы. Но рабочий вопрос в его современной форме все-таки нарождался. Это прежде всего доказало знаменитое восстание рабочих в Лионе в ноябре 1831 г., вызванное застоєм в делах и совершенно не имевшее политического характера, коим отличались все прежние волнения среди низших классов городского населения. Оставляя в стороне все подробности этого эпизода из истории первых лет июльской монархии, отметим лишь, что в 1831 г. боевым криком лионского пролетариата, доведенного неуступчивостью фабрикантов до бунта, было: «Жить трудясь или погибать сражаясь!» (*Vivre en travaillant ou mourir en combatant!*).

¹ То есть цеховых установлений.

² Левассер в сочинении, названном выше.

³ Ср. то, что говорилось у нас раньше по этому предмету.

⁴ Как, впрочем, и в Англии в ту же эпоху.

В следующих периодах истории XIX в. рабочий вопрос делается одним из наиболее важных вопросов, получивших политическое значение. Односторонность либерализма эпохи Реставрации заключалась в том, что он или совсем игнорировал экономические вопросы, или разрешал их в смысле, выгодном лишь для одной буржуазии. Демократическим стремлениям конца XVIII в. был вообще нанесен удар политическими неудачами революции и деспотизмом Наполеона, опиравшегося на демократический же принцип всенародного избрания, да и сами демократические идеи эпохи касались лишь области одной политики, не проникая в сферу вопросов народного хозяйства. Буржуазный либерализм и политический демократизм эпохи не мог, однако, удовлетворить народных масс, которые стали прислушиваться в следующем периоде к учениям иного рода, в коих свобода личности и участие во власти уже не играли прежней роли, и эти новые учения нередко представляли из себя даже реакцию против указанных двух идей, заходившую так далеко, что ради экономического обеспечения отвергались блага индивидуальной и общественной свободы, как будто бы благосостояние и свобода были, по существу дела, вещи, между собой несовместимые.

XXVI. Экономические теории эпохи в связи с моральными и политическими учениями¹

Связь политической экономии с фактическими отношениями и господствующими идеями эпохи. — Двоякого рода оппоненты политической экономии. — Задача дальнейшего изложения. — Связь экономических учений с политическим либерализмом и взгляды Бенжамена Констана и Бентама на промышленную свободу. — Утилитаризм и политическая экономия. — «Естественный порядок» физиократов и учение Адама Смита о промышленной свободе. — Популярность этого учения в буржуазии. — Заботы политической экономии о наибольшем производстве и предпочтение к крупным предприятиям. — Разрушение взгляда на экономическую гармонию и теория Мальтуса. — Взгляд Рикардо на взаимные отношения прибыли и рабочей платы. — Недостаток общего взгляда Ж.Б. Сэя. — «Философия мануфактур» Эра. — Сисмонди как критик школы Адама Смита. — Сближение Сисмонди с социализмом

От экономических фактов мы перейдем теперь к экономическим идеям. Подобно тому как политические теории уясняются политической жизнью, которая их породила и на которую, в свою очередь, они оказали влияние, так точно и экономические учения стоят в очень тесной связи с экономической действительностью своего времени. Общественные науки, к числу каковых относится и политическая экономия, всегда отражают на себе ту культурно-социальную среду, в которой они развиваются, и в известных случаях, кроме того, сами оказывают влияние на эту самую среду. Политическая экономия как наука, совершенно обособившаяся от политики, зародилась лишь во второй половине XVIII в. и стала развиваться как раз в ту эпоху, когда началась та «индустриальная революция», о которой только что шла у нас речь. Эта одновременность возникновения новых форм народного хозяйства и науки, поставившей своею задачею изучение последнего, имеет весьма важное значение, указывая и на ту связь, в какой находятся между собой факты и идеи в истории общественной жизни. Мало того, хотя уже французская экономическая школа физиократов представляет из себя первое политико-экономическое направление, стремившееся дать полную теорию народного хозяйства, тем не менее настоящим родоначальником политической экономии был все-таки англичанин Адам Смит, и ранее всего политическая экономия в смысле действительной науки, обнаружившей способность к дальнейшему развитию, стала разрабатываться вообще имен-

¹ Указания на литературу см. выше.

но в Англии, — откуда лишь в начале XIX в. она перешла в другие страны Европы, — в той самой Англии, где ранее всего совершился экономический переворот, приведший к современному капиталистическому производству. И этого еще мало: лишь резкое разделение экономического общества на землевладельцев, капиталистов и рабочих, которое, как мы знаем, произошло в Англии, позволило Адаму Смиту совершить свой анализ факторов, участвующих в производстве (каковыми являются земля, капитал и труд). И вообще вся английская школа политической экономии, родоначальником которой является Адам Смит, носит на себе следы возникновения в известном общественном строе, который всей школой стал поэтому считаться нормальным и даже образцовыми. В смысле, так сказать, расположения к тому отделению труда от орудия производства, которое характеризует английскую политическую экономию, последняя является непосредственным продолжением французской физиократии, также проповедовавшей необходимость превращения мелких сельских хозяев в наемных рабочих на более крупных фермах, ибо и физиократам, и последователям Адама Смита бросалась в глаза выгодная сторона крупного производства как одного из наилучших средств к тому, чтобы быть в состоянии производить как можно более и тем увеличивать национальное богатство. Заботы об этом возрастании производства будут нам вполне понятны, если мы примем в расчет, что в XVIII в. очень часто страдали от недостатка сельскохозяйственных и отчасти промышленных продуктов и что вопрос о том, как больше производить, был жгучим вопросом времени, особенно во Франции в эпоху развития физиократической литературы. С французской экономической школой английская имеет и другие точки соприкосновения. Обе они возникли в эпоху освободительных идей XVIII в., когда требование свободы было одним из главных требований, какие предъявлялись к государству, к церкви, к обществу, — свободы для отдельной личности в вопросах совести и мысли, в деле распоряжения своим достоянием и трудом, а также и для целого общества в его политической, культурной и экономической жизни. И физиократия, и английская политическая экономия явились с проповедью предоставления индивидууму и обществу в делах, касающихся их материального благополучия, наибольшей свободы: в этом смысле обе они были реакцией против того поглощения личности государством и того правительственного вмешательства в частную жизнь, которые характеризуют абсолютную монархию и «полицейское государство» XVII и XVIII вв. И физиократы, и Адам Смит в теории признавали, что свобода является одним из самых лучших средств для уврачевания всяких социальных зол, и верили, что между единицами и между общественными классами существует гармония интересов: нужно только каждому предоставить свободу действовать в своем собственном интересе, — который, конечно, ему самому известен лучше, чем кому бы то ни было другому, — и из взаимодействия индивидуальных стремлений «естест-

венный порядок», лежащий в основе хозяйственной жизни, — это перенесение идеи «естественного права» из области юриспруденции и политики в область экономики, — создаст гармонию интересов ко благу всех. Действительность скоро поколебала этот оптимистический взгляд, и уже ближайшие преемники Адама Смита (Мальтус и Рикардо) формулировали теории, далеко расходившиеся с такой концепцией, но до поры до времени указанный взгляд на гармонию интересов казался неопровержимым. Та мысль, что каждый, осуществляя свой личный интерес, в то же время осуществляет и общее благо, кроме того, породила в области этических теорий так называемый утилитаризм, одним из наиболее видных представителей коего был Бентам.

У той жизни, которую научно стала исследовать политическая экономия, была и обратная сторона, и эту обратную сторону новая наука бралась не раз оправдывать — с той или иной точки зрения. Поэтому учения политической экономии могли подвергнуться критике, смотря по тому, отрицались ли данное положение и теория, возводившая его в принцип, во имя прошедшего и завещанных им форм, или отрицались во имя лучшего будущего, которое должно прийти на смену неприглядному настоящему. Консерваторы и реакционеры явились, в общем, недоброжелателями и даже врагами политической экономии, противопоставив ее принципам отживавшие традиционные начала. Они чувствовали и даже сознавали, что политическая экономия была сродни Французской революции, ибо обе они провозглашали верховное право личности, ибо обе разрушали старые корпоративные начала. Но указания на такие стороны новых отношений и новых учений, которые действительно оказывались вредными для народной массы (например, превращение крестьян-хозяев в наемных рабочих, уничтожение рабочих ассоциаций и т. п.), в этом лагере обыкновенно шли под знаменем культурного и политического ретроградства и соединялись очень часто с социальной реакцией землевладельческой аристократии против капиталистической буржуазии, что лишало силы ту долю истины, какая заключалась в их оппозиции против политической экономии. Но подобная же оппозиция шла и с другой стороны. Политическая экономия прежде всего стремилась понять сущность народного хозяйства, относясь с положительной точки зрения к данным в действительности отношениям, но в жизни, ею изучавшейся, было немало и отрицательных сторон, против коих можно было многое сказать и с точки зрения тех гуманных идей, той филантропии, того высокого понимания задач общества и государства, которые характеризуют общественную литературу XVIII в. Противоречия между теми положениями, какие личность стала занимать, с одной стороны, в государстве благодаря признанию «прав человека и гражданина», а с другой — в экономическом строе общества вследствие «индустриальной революции», несоответствие между результатами промышленной свободы, приводившей к свободе «умирать от голода», и

надеждами, возлагавшимися на эту самую свободу, резкое разделение общества на богатых предпринимателей и нищих рабочих в эпоху, наступившую за величайшей демократической революцией, каких раньше никогда не бывало, угнетение труда капиталом после того, как свобода личности была объявлена самым священным ее правом, наконец, рост пауперизма в то самое время, как возрастало и возрастало быстрее, чем когда бы то ни было, национальное общество, — все это породило рядом с политической экономией целый ряд учений, отрицавших положения этой науки, чтобы заменить их новыми, в основу коих клалось, однако, на первых порах, не научное исследование действительности, составляющее силу политической экономии, а социально-этическое творчество идеалов, которое и породило так называемый утопический социализм первой трети XIX в.

Конец этого тома мы и посвящаем истории экономических и социальных учений той эпохи, которая в нем рассматривается. Конечно, задачей нашей в этом общем труде не должно быть то, что могло бы составить содержание специального труда по истории политической экономии и социализма, т. е. мы не станем излагать того, как вырабатывалось все, что только составляет сущность экономической науки, как таковой: для нас на первом плане должны стоять вопросы о том, как, во-первых, сказались на экономических и социальных учениях условия времени их возникновения и с какой точки зрения, во-вторых, эти учения отнеслись к современности, которую должны были объяснить для того, чтобы быть в состоянии ею управлять. Кроме того, мы должны познакомиться с тем, какими экономическими идеями жила буржуазия в эпоху, когда начиналось ее позднейшее могущество, и наоборот, как зарождались те учения, коим потом, т. е. в следующие периоды Новейшей истории, суждено было сделаться особенно популярными среди рабочего класса Западной Европы.

Остановимся прежде всего на той связи, которая установилась между экономическими учениями и политическими стремлениями начала XIX в. Французская физиократия, несмотря на проповедь экономической свободы, в политическом отношении не может быть причислена к либеральному направлению. Физиократы мечтали о такой «экономической монархии», которой осуществлялся бы их принцип «легального деспотизма», т. е. стояли на точке зрения просвещенного абсолютизма. Английская политическая экономия возникла и развивалась в стране конституционной свободы и стала распространяться на континенте как раз в эпоху зарождения либерализма. Представители последнего проповедовали «свободу во всем», как выразился Бенжамен Констан, и, между прочим, свободу в области промышленности, так что и политические, и экономические стремления эпохи объединялись на почве одних и тех же принципов — индивидуальной свободы во всех сферах личной жизни и государственного невмешательства в эту самую жизнь. С другой стороны, и политические, и экономические воззрения эпохи бла-

гоприятствовали, главным образом, одному общественному классу — третьему сословию, буржуазии, которая, победив аристократию, еще не имела против себя сплоченного рабочего класса, этого четвертого сословия Новейшей истории. В самом деле, в интересах самой политической свободы, благими результатами которой в теории должны были одинаково пользоваться все классы общества, но которую оказывалось опасным поручать охране непосредственно ею недорожащих народных масс, либерализм той эпохи ограничивал политические права всей нации в пользу наиболее зажиточного и просвещенного класса, забывая, однако, при этом, что тот класс, в руки коего переходила политическая власть, может направлять внутреннюю политику ввиду исключительно своих классовых интересов и даже прямо выступать на путь политической реакции для противодействия демократическим стремлениям, что в действительности и было во Франции в последние годы XVIII в. или в Англии в эпоху реакции. Как бы там ни было, либералы, искренно верившие в то, что свобода несет с собой благо всему народу, в интересах этой самой свободы ограничивали пользование политическими правами лишь имущими классами общества. Совершенно так же экономисты, верившие, что увеличение производства и рост национального богатства создадут благосостояние всех классов общества, в интересах этого самого производства и национального богатства, прославляли крупную промышленность, находившуюся в руках буржуазии, не принимая в расчет, что последняя станет отождествлять интересы производства и национальное богатство со своими классовыми интересами и со своим богатством, в силу чего народное благо может оказаться и не в выигрыше. Не нужно, однако, думать, чтобы люди идеи в данном случае кривили душой и сознательно игнорировали опасность предоставления всей политической свободы и всего экономического могущества, т. е. права распоряжения государственной и хозяйственной жизнью — одному только общественному классу; но сам класс этот, действительно, понимал свою выгоду и потому был весьма расположен к либеральным политическим и экономическим теориям. Поставить в упрек политическим либералам эпохи можно не недобросовестность, а недостаточную вдумчивость в социальные отношения. Если, например, Бенжамен Констан, с политической теорией которого мы уже знакомы, требовал полной промышленной свободы, то требование это вытекало у него из общего принципа, провозглашенного им в безусловной чистоте, а никак не из желания защищать интересы известного общественного класса, хотя, на самом деле, такая защита в результате и получалась. Ввиду того что историки экономических учений обыкновенно не обращают внимания на то, как те же самые вопросы, коими занимались экономисты, ставились у политических писателей, касавшихся собственности, промышленности, труда и т. п., то мы и остановимся здесь на воззрениях характернейшего либерального писателя эпохи — Бенжамена Констана, дабы показать, в чем, в сущности, заключа-

лось учение политического либерализма в применении к экономическим вопросам, о которых, прибавим, политические писатели, однако, думали сами слишком мало.

«Так как, — говорит Бенжамен Констан, — общество не имеет иных прав над индивидуумами, кроме права препятствовать им вредить друг другу, то оно может иметь право вмешательства (*jurisdiction*) в промышленность лишь в предположении происходящего от нее вреда. Но промышленность отдельного лица не может вредить ее ближним до тех пор, пока это лицо не призывает на помощь своему предприятию и во вред предприятиям чужим посторонние силы. Сущность индустрии — в борьбе с соперниками путем совершенно свободной конкуренции и при помощи усилий добиться внутреннего превосходства. Все средства иного рода, к коим стали бы тут прибегать, представляли бы собой уже не промышленность, но или угнетение, или обман. Общество должно было бы иметь право и даже обязанность подавлять такие средства, но из этого права общества вытекает, что у него нет права употреблять в пользу промышленных интересов одного и во вред промышленным интересам других — такие средства, пользование коими оно всем должно запрещать». С этой точки зрения Бенжамен Констан восставал против всяких запрещений и монополий и также против всяких поощрений. Между прочим, он вооружался и против старых цеховых установлений, находя их несправедливыми и нелепыми, ибо они лишали человека, нуждающегося в труде, возможности работать и под предлогом усовершенствования ремесел создавали препятствия для свободной конкуренции, этого наиболее действительного средства совершенствования всех производств. Вместе с этим Бенжамен Констан высказывался против регламентации заработной платы, и при этом он прямо защищал интересы рабочего. Бедняк, нуждающейся в труде, чтобы не умереть с голоду и не уморить свою семью, и без того находится во власти богача, могущего отказать ему в работе, а тут против бедняка были бы еще законы, устанавливающие размер платы без всякого внимания к обстоятельствам, к ловкости или усердию рабочего. «Не думайте, будто установление заработной платы нужно для того, чтобы подавлять чрезмерную требовательность работников и вздорожание рабочих рук. Бедность имеет очень скромные желания. Разве простой голод не заставляет рабочего, оставив в стороне всякие рассуждения о своих правах, продавать свое время и свои силы ниже действительной их стоимости? К чему регламентация, когда сама природа вещей устанавливает закон без каких бы то ни было прижимок и насилия?» С точки зрения интересов потребителей она тоже не нужна: «Между публикой и рабочим существует безжалостный класс хозяев (*maîtres*). Сколько лишь возможно, он дает наименьшую плату и стремится получать как можно больше, извлекая одновременно выгоду и из нужд рабочего класса, и из потребностей зажиточной части общества... Есть вечная причина равновесия между ценой и стоимостью труда, причина, действующая без принуждения и так, чтобы все расчеты были

благоразумны и все интересы удовлетворены. Эта причина заключается в конкуренции, а ее-то и отвергают». В числе аргументов против поощрений Бенжамен Констан указывал на то, что они убивают предприимчивость населения и заставляют его слишком полагаться на правительственную помощь. «В государствах со свободными учреждениями, — говорит еще Бенжамен Констан, — вопрос о поощрениях и воспособлениях может быть рассматриваем и с особой точки зрения. Хорошо ли, чтобы правительство привязывало к себе известные классы управляемых посредством щедрот, по существу своему произвольных, хотя бы распределялись они вполне разумно? Разве нельзя опасаться, что эти классы, соблазненные непосредственной и положительной выгодой, могут сделаться равнодушными к нарушениям индивидуальной свободы или справедливости?» Каждый лучше других знает собственный свой интерес. «Истинное поощрение для всех родов труда заключается в потребности, какую в нем чувствуют. Достаточно одной свободы, чтобы поддерживать их все в спасительной и надлежащей пропорции». По мнению Бенжамена Констан, писателя, указывавшие на бедственное положение трудящихся классов общества при произвольных правительствах, напрасно думали, что прямым действием власти можно было бы облегчить их положение: причина бедствия — в дурном политическом устройстве, лекарство — только в свободе и справедливости.

К этой передаче экономических воззрений Бенжамена Констан нужно прибавить несколько комментариев. Во-первых, представляемый им либерализм отнюдь не отрицал права государственного вмешательства в промышленность, раз от последней происходит вред. Во-вторых, этот либерализм высказывался против какой бы то ни было искусственной помощи промышленности со стороны каких бы то ни было посторонних сил, а в сущности, ведь такой посторонней помощью промышленным предпринимателям и было запрещение рабочих коалиций. В-третьих, высказываясь против регламентации рабочей платы, он защищал интересы не фабрикантов, а рабочих, ибо раньше обыкновенно эта регламентация имела именно характер правительственного вмешательства в пользу предпринимателей, хотя, конечно, у этого предмета есть и другая сторона, почему-то не приходившая в голову Бенжамену Констану: у него мы совсем не находим разбора вопроса о регламентации труда в пользу рабочего. В-четвертых, сам Бенжамен Констан называет класс хозяев «безжалостным», чего, разумеется, он не стал бы говорить, если бы защита им промышленной свободы была внушена ему интересами этого класса. В-пятых, Бенжамен Констан вполне разделяет оптимистическую веру многих людей своей эпохи, что свободная конкуренция заключает в себе наилучшее средство к устранению всех несовершенств жизни. Наконец, он прямо вооружается против того, чтобы поощряемые государственной властью промышленные классы ради поддержки такого правительства, которое служит лишь их материальным интересам, могли за это жертвовать свободой и справед-

ливостью. В общем, значит, Бенжамен Констан защищал промышленную свободу *bona fide*¹, веря в действительную ее спасительность в интересах самой же народной массы.

Возьмем теперь другого политического писателя эпохи — Бентама. Он тоже принадлежал к числу передовых либералов эпохи, и в то же время его политическая теория была вполне демократической, так что заподозрить его стремления в «буржуазности» нет никаких оснований. Мы видели, что в его теории верховным принципом нравственности, законодательства и управления государством было наибольшее счастье наибольшего числа людей, но это и Бентаму не мешало быть одним из ревностных проповедников государственного невмешательства в экономическую жизнь.

Его моральная философия и экономические воззрения оказали вообще значительное влияние на политическую экономию в Англии: он даже считал себя «духовным дедом» экономиста Рикардо, который был «духовным сыном» Джемса Милля, по отношению к коему Бентам считал себя «духовным отцом». В частности, например, известно, что Бентам в своем сочинении «Защита денежного роста» (*Defence of usury*) восставал против законов, ограничивавших процентные операции, чем немало способствовал отмене их и на родине, и в других европейских странах. В основе всех социологических воззрений Бентама лежала его этическая доктрина — утилитаризм². Каждый человек стремится к личному счастью, и потому главный предмет его заботы — это он сам, вследствие чего собственный интерес для него важнее каких бы то ни было других интересов. «Это, — думает Бентам, — отнюдь не может препятствовать добродетели, ибо что такое общее благо, как не простая сумма индивидуальных благ?» С этой точки зрения идею долга, во имя которого моралисты требуют отказа от собственного интереса, Бентам называл звучным словом, в сущности, совершенно пустым. Человек служит другому человеку лишь постольку, поскольку находит в этом выгоду, и есть масса случаев, где людская солидарность и сама представляет из себя выгоду для всех. К сожалению, люди, стремясь к счастью, не всегда понимают, какими способами его достигать, так что если бы люди на этом пути никогда не делали ложных шагов, т. е. производили бы всегда верный расчет, то этим самым осуществилось бы общее благополучие. Тем не менее единственным компетентным судьей своей собственной пользы может быть только сам человек, а потому следует человеку, достигшему известного возраста и находящемуся в здравом уме, предоставить свободу суждения и действия во всех вопросах, касающихся его собственной пользы. Эти взгляды Бентама имеют несомненное сродство с той посылкой, которую Адам Смит положил в основу своей политической экономии, ибо для целей научного анали-

¹ Честные средства, добросовестность (*лат.*). — *Прим. ред.*

² Представителем утилитаризма был и видный экономист середины XIX в. Джон Стюарт Милль.

за ему как раз нужно было сделать предположение, что в хозяйственной деятельности человек прежде всего руководится собственным материальным интересом; чему, по его мнению, отнюдь и не следует препятствовать, так как, стремясь к личной выгоде, люди тем самым достигают и общей пользы. Хотя Адам Смит в своей экономической теории и взял человека под углом зрения утилитаризма, сам он, как известно, вовсе не был представителем этой доктрины. Он состоял профессором морали в Глазго, и его курс обнимал собой естественное богословие, этику, право и экономику, причем ранее своего «Богатства народов» (1776), с коего начинается развитие политической экономии, он издал первые части своего курса под заглавием «Теория нравственных чувств» (1759), в коей развивал учение о происхождении нравственности из симпатии, т. е. любви к ближнему, которая, как таковая, противопоставляется эгоизму.

Чтобы понять исходную точку зрения новой политической экономии на мотивы хозяйственной деятельности человека, которой должна была быть предоставлена наибольшая свобода, нужно принять во внимание, во-первых, то, что Адам Смит, учивший сам о симпатии как истинной основе морали, находил нужным для целей своего экономического исследования стать на точку зрения утилитаризма, так как хозяйственная деятельность человека действительно прежде всего определяется стремлением к материальному благосостоянию личности, а во-вторых, то, что Адам Смит усвоил себе физиократическое учение о «естественном порядке» экономической жизни, устанавливаемой «властью природы» без искусственного вмешательства со стороны человека, которое-де, наоборот, в этом деле может только напортить, и о том, что этот «естественный порядок» силою «естественного закона» заключается в гармонии интересов. На Адаме Смите, который в 1765 г. ездил в Париж и сошелся там с физиократами очень близко, с большой силой сказалось влияние философских воззрений этой школы. Физиократы были врагами государственной опеки и правительственного произвола, царивших в XVIII в., Адам Смит — тоже, и жили все они и писали еще в ту эпоху, когда все, какие только существовали стеснения и ограничения промышленной свободы или являлись чем-то утратившим прежние основания своего существования, или были прямо одними лишь препятствиями для дальнейшего экономического развития. Сам Адам Смит высоко ставил родоначальника физиократии Кенэ и говорил, что не умри последний раньше, он именно ему посвятил бы свое «Богатство народов». В свою очередь, рационалистическое представление о «естественном порядке», — который, как не раз выражается сам Адам Смит, направляется «невидимой рукой», — было видоизмененной формой веры в мудрое божественное мироправление, устраивающее везде гармонию. XVIII в. вообще весьма оптимистически смотрел на «природу», на «естественные законы», отождествляя их с идеалами разума и противопоставляя им неприглядную действительность, созданную искусственным вмеша-

тельством человека в прекрасный «естественный порядок». Физиократы перенесли представление о таком порядке в область экономических отношений, и Адам Смит, читавший курсы по естественному богословию, это воззрение усвоил. Весь мир народного хозяйства ему представлялся, как основанный на некотором внутреннем порядке, который сам собою, без вмешательства государственной власти создает гармонию между усилиями отдельных лиц, раз им предоставлена свобода беспрепятственно проявлять свои стремления и достигать своих целей. Адам Смит писал еще тогда, когда «индустриальная революция» только что начиналась, и он не мог, конечно, предвидеть ее последствия вроде эксплуатации капитала трудом, промышленных кризисов и т. п. явлений, которые прямо противоречат гармонии «естественного порядка»; потому-то он, чистейший альтруист в своей моральной философии, без боязни развивал утилитаристическую точку зрения, лучше всего объясняющую хозяйственную деятельность человека. По его представлению, мудрая природа в каждое человеческое существо вкладывает стремление к улучшению своего материального быта, вследствие чего люди в своей хозяйственной жизни добиваются прежде всего получить ту или другую выгоду, стараясь притом достигнуть этого при наименьшей затрате труда и средств: это есть то, что называется хозяйственным расчетом. К чему влечет человека этот могучий мотив его хозяйственной деятельности? К тому, конечно, чтобы производить как можно больше при наименьшем затрачивании усилий, чтобы, кроме того, в случае обмена продуктов дорого продавать свои продукты и, наоборот, покупать чужие дешево, чтобы, далее, пользоваться чужой землей, чужим капиталом, чужим трудом за возможно сходную цену, но свою землю отдавать внаем, ссужать свои деньги и самому наниматься на работу, напротив, за наиболее высокую, какую только можно взять, цену. Человек в экономической теории Адама Смита является таким же, каким Бентам его выставляет в своей этической доктрине: сам человек — единственный компетентный судья собственной своей выгоды, а потому какая бы то ни было опека над ним излишня. Адам Смит думает, кроме того, что поведение человека, руководимое хозяйственным расчетом, оказывается выгодным и для всего общества, ибо таков естественный порядок вещей, устанавливаемый «невидимой рукой». Отсюда-то и появилось у Адама Смита требование свободы для каждого индивидуума в области его хозяйства, т. е. экономическая свобода являлась выводом из того предположения, что природа в своей мудрости наилучшим образом согласует между собой интересы отдельных лиц и из видимой борьбы этих интересов создает действительную их гармонию. Каждый человек лучше всякого законодателя знает, что ему выгоднее, тогда как государственное вмешательство оказывается или бесполезным, или прямо вредным. Из этого учения многие последователи Адама Смита вывели два положения, коим даже придали безусловное значение, какого у основателя политической экономии они не имели: будто хозяйственный интерес есть

единственный и исключительный мотив человеческой деятельности и будто самая безграничная хозяйственная свобода индивидуума есть единственное и исключительное средство для борьбы с бедствиями, удручающими человечество в его материальной жизни. В своей практической экономике Адам Смит принимал в расчет интересы морали, воспитания, политики и т. п., которым тоже должно принадлежать важное значение в жизни народов. Восставая против цеховых учреждений с их устарелыми стеснениями, он защищал интересы самих рабочих, так как стеснения эти лишали их самой священной их собственности, составляющей основу всякой собственности, лишали именно права свободно распоряжаться своим трудом, своею силою и ловкостью своих рук.

Это учение о хозяйственном интересе, заставляющем получать как можно больше, давая, наоборот, как можно меньше, это учение о том, что никто не должен препятствовать отдельному лицу, как оно само знает, осуществлять свой интерес, это учение о необходимости промышленной свободы сделалось весьма популярным в классе крупных промышленников, и они весьма охотно ссылались на это учение, чтобы оправдывать свое поведение и свои требования от государства. По отношению к рабочим фабриканты стали действовать именно так, как им подсказывал их хозяйственный расчет, который подсказывал им также, что для них гораздо выгоднее будет, если государство не станет вмешиваться в отношения между капиталом и трудом, ибо само экономическое превосходство капитала создает наиболее выгодные для производства условия пользования трудом рабочих. Ведь труд — тот же товар, одними покупаемый, другими продаваемый на основании совершенно свободного договора, а цена товара — в данном случае рабочая плата — находится в зависимости лишь от естественного закона, коим управляется отношение между спросом и предложением. Если рабочие искусственными мерами, например стачками, союзами и т. п., думают поднять рабочую плату, они совершают бессмысленный и вредный поступок, — бессмысленный потому, что идут против естественного закона, коим устанавливается рабочая плата, хотя бы она и оказывалась слишком недостаточной для содержания рабочих, а вредный потому, что этим нарушается промышленная свобода. Впоследствии эти эгоистические стремления промышленной буржуазии взяла под свою охрану так называемая манчестерская школа, устранившая из политической экономии всякие соображения нравственного свойства, чего никак нельзя ставить в вину самому основателю политической экономии. Формула Гурнэ: *laissez faire, laissez passer*¹ лучше всего стала выражать мысль этой школы и так называемых фритредеров².

Возвращаясь к изложению основных стремлений экономистов. И физиократы, и Адам Смит полагали, что после уничтожения всех тех помех,

¹ Пусть все идет как идет (*фр.*). — *Прим. ред.*

² Free trade — свободная торговля.

которые заключались в старой регламентации промышленности, производство возрастет и произойдет общее благополучие. Поэтому экономисты приветствовали все, что только способствовало накоплению капиталов, и сама политическая экономия приняла такой характер, будто, как давно уже выразился один писатель¹, не богатство существует для человека, а человек для богатства. Накопление действительно представляет собой одну из важнейших потребностей, но тут произошло некоторое смешение понятий, а именно накопление капиталов стало пониматься в смысле образования, развития и обогащения того общественного класса, который владеет капиталами. Уже физиократы смешивали интересы сельского хозяйства вообще с частными интересами земельных собственников и зажиточных фермеров. Конечно, Адам Смит гораздо вернее и полнее, нежели физиократы, понял, в чем заключается национальное богатство и какие факторы участвуют в его создании, указав на то, что богатство это состоит не в одной земле, как думали физиократы, и не в одних деньгах, как представляли себе это меркантилисты, а во всех предметах, служащих для удовлетворения наших потребностей и умножения наслаждений, доставляемых жизнью, и что факторами производства являются земля (вообще все силы природы), капитал (сбереженные запасы, необходимые для получения дохода) и труд человека, который у него является даже самым основным фактором экономической жизни; но, говоря о земле, капитале и труде как таковых, Адам Смит весьма часто думал при этом, в сущности, о землевладельцах, капиталистах и рабочих, не представляя себе других отношений между землей, капиталом и трудом, как те, которые существовали в Англии, где эти три фактора производства были представлены тремя различными общественными классами, тогда как возможно — и в теории, и на практике — соединение в одном лице и землевладельца, и капиталиста (в смысле обладателя орудия производства и запасов, необходимых для производства), и рабочего. Одной из важнейших научных заслуг Адама Смита были сделанные им определение и анализ понятия капитала, но у него нередко создание новых капиталов являлось равносильным одностороннему обогащению капиталистов. Общий интерес, по мнению Адама Смита, должен стремиться к накоплению капиталов, ибо от этого, с одной стороны, произойдет удешевление продуктов вследствие увеличения их предложения на рынке, а во-вторых, будет больше фондов для потребления рабочих, которые пользуются в виде платы за труд частью капитала, предназначенной на воспроизведение потребленных продуктов. Уже физиократы говорили о том, что мелкий сельский хозяин не в состоянии дать работы и, следовательно, пропитания другим, тогда как один крупный фермер может занять многих рабочих, причем и уму физиократов не представлялся такой порядок вещей, при котором всякий земледельческий рабочий был бы занят на своем собственном

¹ Droz.

хозяйстве и не нуждался бы как в том, чтобы нанимать к себе на работу других, так и в том, чтобы самому у других наниматься на работу. «Обыкновенно, — писал аббат Бодо, — смешивают крупных фермеров с классом землевладельцев и классом земледельческих рабочих, между которыми в истинно цивилизованных обществах они являются только посредниками. Это смешение очень часто и на самом деле достигает слишком больших размеров, так что многие мыслители и писатели считают его весьма естественным, а некоторые даже становятся на такую точку зрения, с которой экономическое различие между крупным фермером и двумя другими классами является каким-то недостатком. В самом деле, — продолжает он, — во многих государствах и во многих провинциях не существует или почти не существует крупных фермеров, этого драгоценного класса истинных земледельцев (*laboureurs* — сельских хозяев), которые умеют, которые могут, которые имеют охоту брать на себя и вести на свой счет и на свой страх большие производительные предприятия... В обществе истинно благоустроенном на основах экономических принципов, — писал аббат Бодо в другом месте, — простые земледельческие рабочие должны быть людьми свободными, ничем не стесненными, безусловными господами своего труда и движимого имущества, приобретенного этим трудом»¹. Адам Смит смотрел на дело не иначе — по отношению к обрабатывающей промышленности, и, так сказать, не представлял себе накопления капитала без одностороннего обогащения капиталиста. Раз накопление объявлялось целью народного хозяйства, в этом деле прежде всего следовало заинтересовать предпринимателей, ускорив процессы производства, удешевив расходы по производству и сняв с него все стеснения, каким только оно подчинялось. Ускорение достигалось машинами, а промышленная свобода вела к выгодной для производства конкуренции, посредством коей должно было достигаться общее его усовершенствование, но ведь в понятие удешевления расходов могли входить и уменьшение рабочей платы до того *minimum'a*, при котором человек не умирает с голода, и широкое пользование детским трудом, и удлинение рабочего дня и т. п. Адам Смит замечательно разработал теорию производства, указав на преимущества крупной промышленности перед мелкой в смысле общего увеличения дохода страны, но нельзя сказать, чтобы то же самое сделано было им по отношению к распределению и потреблению продуктов. С этой точки зрения Адам Смит видит в человеке лишь частицу великого хозяйственного механизма целой нации, лишь силу, создающую новые ценности. Он уже имел возможность наблюдать, какое громадное значение замена мелкого производства крупным имела для возрастания производительности труда и для накопления богатства, благодаря действию капитала, разделению занятий, возможному лишь при крупном производстве, и введению машин, которое тогда уже начиналось.

¹ Ср. взгляды Вольтера на тот же предмет (т. III).

«Богатство народов» сделалось в конце XVIII в. одним из наиболее популярных сочинений по общественным наукам в Англии, а в начале XIX в. и на континенте Европы, где около этого времени начинается и популяризация идей Адама Смита. Начало политической экономии как науки, исследующей законы народного хозяйства, было положено, но действительная жизнь весьма скоро указала на многие ошибочные стороны в новом экономическом учении. Переход от XVIII к XIX в. в истории политической экономии был ознаменован появлением труда, которым был нанесен тяжелый удар теории об экономической гармонии, как ее понимали и физиократы, и Адам Смит, применяя идею естественного права к фактам народного хозяйства.

Нельзя, впрочем, утверждать, чтобы и в XVIII в. вера в эту гармонию была всеобщей. Учение физиократов подвергалось критике, им предъявляли «сомнения относительно естественного порядка»¹. Например, за год до появления в свет «Богатства народов» будущий министр Людовика XVI, Неккер, писал в своем сочинении «*Sur la législation et le commerce des grains*»² следующие строки: «Было бы достойным удивления, если бы в то самое время, как государь через свои суды наблюдает за малейшими столкновениями интересов между гражданами, перестали считать в числе его обязанностей важнейший из всех надзоров — заботу держать в гармонии оба класса, на которые разделяется общество, и священную охрану вечных прав человечества, тех самых, которые часто оскорбляются преувеличенными притязаниями собственников и восстановления которых требует народ, когда он хочет жить и за это предлагает в обмен свой труд и свою силу». В этих словах нет и признака веры в существование естественной гармонии между «обоими классами, на которые разделяется общество», и, наоборот, говорится, что такую гармонию должно было бы устанавливать государство. С другой стороны, Мабли, допускавший, что основу морали составляет личный интерес, находил, что лишь в том случае может существовать гармония личных интересов, если будет уничтожена частная собственность как источник любостязания, неравенства и угнетения. Адам Смит, наоборот, на этом самом «любостязании» думал как раз и основать естественную гармонию интересов. По его учению должно было бы выходить, что с увеличением производства началось бы настоящее благосостояние народных масс, но, на самом деле, в первую же четверть века, последовавшую за выходом в свет «Богатства народов», бедность в Англии сделала поразжающие успехи, что прямо бросалось всем в глаза и представляло из себя вопрос, требовавший разрешения. В 1793 г. вышло в свет «Исследование о политической справедливости» («*Inquiry concerning*

¹ Название одного из сочинений Мабли: *Doutes proposées aux philosophes-économistes sur l'ordre naturel et essentiel des sociétés* («Сомнения, предложенные философам-экономистам о естественном и необходимом порядке политических обществ» (фр.). — *Прим. ред.*).

² Законодательство о торговле зерном (фр.). — *Прим. ред.*

political justice»), автор коего Вильям Годвин, последователь теории Руссо и учения Кондорсе о прогрессе, развивал ту мысль, что вина всех общественных бедствий лежит в несовершенстве человеческих учреждений, которые, однако, подлежат совершенствованию. Дело именно в том, что материальных благ, существующих в мире, вполне хватило бы на всех, если бы только эти блага были равномерно распределены, но в действительности один имеет слишком много, а другой, наоборот, имеет слишком мало, а не то — так и ничего не имеет. Стоит только распределить богатство с такой же равномерностью, с какой распределен труд, без которого не было бы и богатства, и тогда всякий без особенно больших усилий будет иметь все, что нужно для жизни, конечно, для жизни очень простой, а кроме того, у него останется еще досуг для духовного совершенствования, благодаря чему вообще разум восторжествует в жизни. Сочинение это и другое (1797), в коем Годвин повторил свои взгляды, вызвало возражение со стороны Мальтуса, уже ранее обращавшего внимание на вопрос о причинах бедности. Отец Мальтуса сам был поклонником идей Руссо и Кондорсе и очень увлекался взглядами Годвина, но сын¹, настроенный консервативно, оспаривал доводы своего отца, и вот из их спора на тему о причинах бедности возникло сочинение Мальтуса под заглавием «Опыт о законе народонаселения с замечаниями на воззрения Годвина, Кондорсе и других писателей», вышедшее в свет в 1798 г. и повторенное в сильно переработанном виде в 1803 г. под названием «Опыт о законе населения, или Взгляд на его значение для счастья общества в прошедшем и настоящем, а кроме того, изучение, насколько основательны наши ожидания относительно устранения или смягчения тех бедствий, которые он производит». До смерти Мальтуса (1834) эта книга выдержала шесть изданий, причем он постоянно ее дополнял новыми соображениями. Своей задачей Мальтус поставил доказать, что никакие учреждения, никакое правительство, никакие законы не в состоянии нарушить естественного порядка: нет в мире экономической гармонии, ибо закон природы совсем иной, и если страдания рабочих не оправдали тех ожиданий, какие возлагались на усиленное производство, то это именно потому, что иначе и быть не может по самому закону населения, стремящегося возрастать в геометрической прогрессии, тогда как средства питания растут лишь в прогрессии арифметической. Мысль о том, что могущий народиться излишек населения в состоянии парализовать самые благодетельные реформы, была высказана еще раньше в сочинении Роберта Уоллеса (Wallace) «Разные взгляды на человека, природу и Провидение» (1761) и им пользовался сам Мальтус, работая над своим «Опытом», но Уоллес рассуждал об общении имуществ, как наилучшем, по его мнению, средстве прекратить общественные бедствия, и его останавливало лишь одно соображение, подрывающее его мысль: это имен-

¹ Bonar J. Malthus and his works, 1885.

но излишек народонаселения. Мальтус за эту-то самую мысль и схватился для того, чтобы защитить ссылкой на закон природы существующий порядок вещей против нападавших на него новаторов и революционеров. Его учение пришлось по вкусу всем, кому нужно было во что бы то ни стало оправдать экономическое *status quo*¹. Те же самые люди, которые прежде защищали этот порядок с оптимистической точки зрения, ссылаясь на осуществляемую им гармонию интересов, теперь стали защищать его, так сказать, пессимистически, указывая на то, что хотя все бедствия, причиняемые этим порядком, несомненны и очевидны, но что же делать, если иначе и быть не может в силу непреложного закона самой природы: население растет в прогрессии геометрической, а средства для его питания — лишь в прогрессии арифметической... «Человек, рождающийся на свет, уже занятый другими, если семья не имеет средств его кормить, или если общество не нуждается в его работе, — такой человек не имеет ни малейшего права требовать себе ни малейшей даже части пищи, и на самом деле он — лишний на свете. На большом пиру природы для него не поставлено прибора. Природа приказывает ему удалиться и не замедляет сама привести в исполнение этот приговор» — такова формулировка, в коей сам Мальтус представляет суть своего жестокого учения, указывавшего далее на войну, на голод, на чуму как на средства, коими природа устраняет лишние рты, для которых не было ею заготовлено прибора на жизненном пиру. Выводы отсюда делались тоже весьма простые. Мальтус вооружался против благотворительности вообще и в частности против законов о бедных, находя, что сами по себе они бессильны, чтобы помочь злу, а только приносят еще большее зло, поощряя среди рабочих беспечность и невоздержанность. Пролетариат для предотвращения возможности чрезмерного возрастания населения должен наложить на себя узду морального воздержания, не вступая в браки, дабы не плодить нищих; законы же против незаконных детей должны тоже служить средством против расплодения излишнего количества людей. Эта теория разрушила учение о гармонии интересов, но в то же время дала возможность иным способом оправдать существование бедности, что было весьма важно для буржуазии, эксплуатировавшей эту самую бедность. Мы уже видели, например, какие экономические интересы заставляли имущие классы стремиться к отмене законодательства о бедных, сильно понижавшего земельную ренту и другие доходы с имуществ, и вот теория Мальтуса являлась как нельзя более кстати, чтобы оправдать рациональными требованиями политической экономии необходимость отмены этого законодательства. Сам Мальтус, впрочем, говорил, что, «желая выпрямить согнутую палку, он, быть может, слишком перегнул ее в обратную сторону»: действительно, он донельзя преувеличил значение фактора возрастания народонаселения, которое увеличивается далеко

¹ Существующее положение (лат.). — Прим. ред.

не в такой мере, как это ему представлялось, тогда как, наоборот, вопреки мрачному пророчеству Мальтуса, благодаря успехам техники, производство продуктов в XIX в. положительно стало перегонять прирост народонаселения. Правда, «Опыт о законе народонаселения» имел и весьма важное значение в истории экономической науки, поставив на разрешение вопрос о взаимных отношениях между народонаселением и силами природы, но здесь нас интересует общественная сторона учения, а она именно в том и состояла, что успокаивала совесть имущих классов, снимая с них ответственность за бедствия рабочих и сваливая на собственную непредусмотрительность и невоздержность последних все бедствия, коим они подвергаются. Идеями Мальтуса прямо пользовались для того, чтобы останавливать все попытки социальных реформ тем соображением, что это ни к чему не поведет, как это сделал, например, Чэльмерс (Chalmers), последовательно рассмотревший с такой именно точки зрения все системы улучшения экономического положения, какие только тогда предлагались.

Другую брешь в теории естественной гармонии интересов пробило другое сочинение из экономической школы Адама Смита, именно вышедшие в свет в 1817 г. «Принципы политической экономии и налогов» Давида Рикардо, который уже и ранее обращал на себя внимание экономическими исследованиями в области вопросов, интересовавших тогдашнюю публику. До Рикардо вопрос о рабочей плате рассматривался лишь с той точки зрения, что чем ниже эта плата, тем ниже цены продуктов, из чего вытекает несомненная выгода для потребителей, в числе коих находятся и сами же рабочие. Так дело представлялось именно в духе теории гармонии интересов, но Рикардо взглянул на дело и с другой стороны, чтобы прийти к тому общему выводу: что понижение рабочей платы равносильно повышению предпринимательского барыша и что, следовательно, между интересами работодателя и рабочих существует прямая противоположность. Главные исследования Рикардо и касались вопроса о распределении национального дохода между различными классами общества, или, вернее, представителями трех видов дохода: поземельной ренты, прибыли на капитал и рабочей платы, причем с особой обстоятельностью он разработал учение о природе поземельной ренты, т. е. той, по его определению, части продуктов сельского хозяйства, которая поступает в пользу собственника земли за пользование первоначальными и неистощенными силами обрабатываемой почвы. Но с той точки зрения, с которой мы здесь рассматриваем экономические учения эпохи, для нас важен особенно сделанный Рикардо анализ отношений между прибылью на капитал и рабочей платой. По учению Рикардо, сформулировавшему «железный закон рабочей платы», каждый продукт, являющийся результатом затраты капитала и труда, разделяется между представителями того и другого таким образом, что чем меньше получает один, тем больше естественно и необходимо остается на долю другого. Поэтому, раз существует известная

степень производительности труда, прибыль капиталиста ничем быть уменьшена не может, кроме одного только увеличения рабочей платы, а с другой стороны, нет никаких средств повысить прибыль иначе как путем понижения рабочей платы. Констатируя такое взаимоотношение между прибылью на капитал и рабочей платой в великом целом национального хозяйства, но сосредоточив все свое внимание все-таки на производстве, Рикардо мало интересовался судьбою лиц, производящих национальное богатство. По его теории, цена труда, другими словами, стоимость его производства, определяется стоимостью предметов, в коих нуждается рабочий для своего содержания, но в таком случае рабочая плата составляет лишь то, что идет на воспроизведение богатства, а отнюдь не самое богатство, не тот избыток, который состоит из суммы частных богатств, складывающихся, в свою очередь, из ренты и прибыли. Раз на первый план в соображениях политической экономии выдвигалось национальное богатство, то волей-неволей экономисты должны были главное внимание свое обращать на то, что увеличивает ренту и прибыль имущих классов, а в обществе понижение рабочей платы казалось даже прямой выгодой для роста национального богатства, раз возрастание части продукта, которая идет на воспроизведение богатства, лишь уменьшало бы то, что составляет чистый доход нации. Рикардо писал через сорок лет после Адама Смита, когда индустриальная революция уже подходила к своему завершению. На многих новые отношения производили впечатление неурядицы, но Рикардо со своим замечательным по логической силе умом взялся объяснить кажущуюся анархию из нескольких принципов, главнейшим из коих он признал свободную конкуренцию, но хотя, в сущности, индивидуумы, вступающие между собою в конкуренцию, т. е. фабриканты, стремившиеся увеличить свою прибыль на счет рабочей платы, и рабочие, наоборот, желавшие возвышения своей платы, экономически между собой не были равны, теория все-таки предполагала именно равенство между собой этих индивидуумов, и в этом заключалась одна из главных ее ошибок. При всех своих выводах, разбивавших теорию гармонии, и Рикардо продолжал утверждать, что преследование индивидуальной пользы удивительно как совпадает с пользой всех.

Адам Смит, Мальтус и Рикардо создали политическую экономию как науку, в которой было много еще несовершенного и с научной, и с гуманитарной точек зрения. Их ученики и последователи внесли немало улучшений в научную сторону их учений, но зато нередко только еще более впадали в их ошибки. На односторонней точке зрения преимущественных забот о производстве, из-за которых забывается судьба производителей, т. е. рабочих, стоял Жан-Батист Сэй (Say), французский экономист первой трети XIX в. (*Traité d'économie politique*¹, 1803 и *Cours complet d'économie*

¹ «Трактат о политической экономии» (фр.). — *Прим. ред.*

politique pratique¹, 1828), оставивший сам известные следы в развитии политической экономии как науки, но более всего оказавший услуг политической экономии в качестве первого настоящего систематизатора ее учений и ее популяризатора на материке. И он также слишком много занимался вопросом о производстве, чтобы обратить достаточное внимание на то, как отражается оно на тех людях, которые этим производством заняты. Сэя, можно сказать, ослепляли могущество капитала, чудеса новой промышленности, выгоды свободной конкуренции и т. п., а на мрачные стороны современного ему экономического быта он смотрел с точки зрения теории Мальтуса: таков закон природы, против которого уже ничего сделать нельзя. Многие второстепенные последователи школы впадали прямо в тон какого-то ликующего оптимизма по поводу успехов крупной промышленности, как последнего слова прогресса, и старались поставить ей в заслугу то, что с моральной и социальной точек зрения заслуживало в ней порицания. В этом смысле весьма любопытна «Философия мануфактур» Эра (Ure), который в сочинении своем все, что тесно связано с крупной промышленностью, находил превосходным. Машины увеличивают заработок бедной семьи, ибо к ним можно применять детский труд. Правда, детям дают очень малую плату, но и это хорошо: плати им больше, родители стали бы посылать их на фабрики в слишком раннем возрасте. «Когда дети сидят дома, они весь день проводят взаперти со своими родителями; они не знают ни людей, ни вещей, которые их окружают, а потому единственное чувство, которое им понятно, есть эгоизм», значит, детей нужно посылать на фабрики и ради морального их воспитания! Эр даже не скрывает того, что его «философия» крупной промышленности диктовалась ему интересами фабрикантов, и всегда видно, чему он радуется. «Капиталисты, — писал он, например, — начали искать средств освободиться от этого невыносимого рабства (т. е. от тягостных для них условий контракта, требуемых рабочими), призвав на помощь науку, и скоро они были восстановлены в своих законных правах головы над другими частями тела». Говоря об одном техническом изобретении, автор «Философии мануфактур» радовался тому, что «оно водворило порядок среди промышленных классов: это открытие, — поясняет он свою мысль, — подтверждает развитое нами учение, что капитал, заставив науку служить себе, принуждает к повиновению мятежные руки рабочих». Понятное дело, что писатели, считавшие нормальным превращение науки в прислужницу капитала, придавали и политической экономии характер защиты классовых интересов буржуазии в области народного хозяйства.

Уже в первой же трети XIX в. из школы Адама Смита вышел, однако, экономист, который отнесся критически как к этой школе, так и к индустриальной системе, возводившейся ею в принцип. Это был французский

¹ «Полный курс политической экономии и ее применения» (фр.). — Прим. ред.

писатель Симон де Сисмонди, издавший в 1803 г. совершенно в духе идей английской школы сочинение под заглавием «Richesse commercial»¹, но потом, в начале эпохи Реставрации, усомнившийся в истине ее принципов: он побывал в Англии как раз во время страшного промышленного застоя, тяжелым образом отразившегося на рабочем классе. Его поражало соединение в Англии крайней нищеты рабочих с колоссальными богатствами, сосредоточенными в руках немногих лиц: он стал искать объяснения этого явления, и свои новые взгляды изложил в книге, изданной в 1819 г. под заглавием «Новые начала политической экономии, или О богатстве в его отношении к населению». Экономисты к этому сочинению отнеслись не очень-то дружелюбно, так как автор, по собственному его выражению, «напал в нем на ортодоксальное учение». Именно он находил, что политическая экономия его времени была только «хрематистикой», т. е. наукой о богатстве, занимаясь слишком односторонне вопросом о том, как лучше и вернее всего увеличивать богатство, и совсем почти оставляя в стороне вопрос о таких способах его употребления, коими достигалось бы общее благо. «Я, — говорит сам Сисмонди, — хотел доказать, что возрастание производства есть благо лишь постольку, поскольку сопровождается соответственным потреблением; что вместе с этим экономия во всех средствах производства составляет общественную выгоду лишь тогда, когда каждый из производителей извлекает из производства доход, равный тому, какой он имел до введения экономических способов». Экономические способы должны были бы сокращать продолжительность труда и увеличивать доход, а не действовать в обратном направлении. Сисмонди ставил вопрос о том, откуда же происходят бедствия, соединенные с новейшей промышленной системой. Отвечая на этот вопрос, он указывает, с одной стороны, на конкуренцию между рабочими, которая понижает плату за труд, а с другой — на машины и банки, уменьшающие спрос на труд. Свободная конкуренция не может управлять хозяйственными отношениями общества, так как она составляет настоящую помеху для справедливого распределения того, что создано трудом. Машины переполняют рынки товарами, обогащая тех, которые и без того богаты, а бедняков, напротив, делая еще беднее и подвергая их всем ужасам голода. Новая промышленная система создает больше богатств, но не увеличивает дохода тружеников. Теория Мальгуса, действительно, верна, но не как фатальная необходимость, а как следствие дурного общественного устройства. Государство не может не вмешиваться в эти отношения, ибо его обязанность оказывать покровительство слабому против сильного, защищать того, кто сам себя защитить не в состоянии. «Я признаюсь, — замечает, однако, сам Сисмонди, — что, указав на то, где по нашему мнению принцип, где справедливость, я не чувствую себя способным наметить средства их осуществления. Распределение выгод

¹ «Богатство торговли» (фр.). — Прим. ред.

труда мне кажется совершенно неправильным, но мне представляется выше человеческих сил вообразить себе состояние собственности, отличное от того, которое нам известно по опыту». Сисмонди, бывший, кроме того, и историком¹, отчасти лишь в некоторых формах, сохранившихся из прошлого, видел указания на то, чего следует держаться в будущем. С сожалением указывая на то, как земледельцы сгоняются со своих наследственных полей, чтобы дать место крупному хозяйству, для которого уже меньше нужно рабочих рук, он противопоставлял фермерской обработке земли, бывшей идеалом ортодоксальной экономии, мелкое крестьянское хозяйство и землевладение, с коим он сам познакомился в Тоскане: пусть крупные земледельческие предприятия и приносят более чистого дохода, но для нации, взятой в ее целом, гораздо важнее иметь валовой доход, который и приносится мелким крестьянским хозяйством. Английская школа, по словам Сисмонди, слишком гонится за одним лишь чистым доходом, тогда как идеалом экономического прогресса должно быть возрастание лишь дохода валового: теорию чистого дохода Сисмонди сделал даже предметом остроумной притчи, в которой фигурирует король острова, вертящий самолично ручку машины и выполняющий при помощи автоматов всю работу, какую только в настоящее время производит население Англии. Машины нашли в Сисмонди страшного противника, ибо они отнимают у рабочих заработок и делают ненужным существование рабочих, и вот новой обрабатывающей промышленности он противопоставляет старые цехи и корпорации, когда отношения между хозяевами и работниками были более патриархальными. По словам одного из новейших историков экономических учений², Сисмонди «стоял ближе, чем всякий другой французский экономист к социализму, но только по чувствам, а не по мнениям», так как «он не предлагал никакой социалистической организации». В другом месте тот же писатель замечает, что «на Сисмонди можно смотреть как на предшественника германских экономистов, известных под неточным названием катедер-социалистов», и что «книга Сисмонди отличается от трудов этих писателей только тем, что последние исполнены большими надеждами и упованиями». Сисмонди именно был проникнут при рассмотрении экономических отношений соображениями этического свойства и высказывал везде заботливость о рабочем классе.

Сисмонди был важен как критик «ортодоксальной» политической экономии, к которой многие относились как к вполне выработанной научной истине, столь же строгой и точной, как истина математическая, но зато на него действительно и напали наиболее ортодоксальные экономисты вроде Бастиа, называвшего книгу Сисмонди «политической экономией на выворот» (*économie politique à rebours*). Как ни неопределенна положительная

¹ Он написал известную «Историю средневековых итальянских республик».

² Ingram'a, сочинение коего есть и в русском переводе под ред. проф. И.И. Янжула.

сторона его учения, та идея, которую он высказал о необходимости государственного вмешательства в отношения между капиталом и трудом, впоследствии получила признание среди экономистов. Но в 1819 г., когда Сисмонди ее высказывал, она была и политической, и экономической ересью, ибо либеральное представление о государстве ограничивало функции последнего поддержкою мира и порядка без вмешательства в частную жизнь граждан, под понятие коей подводилась и экономическая их деятельность¹, а экономическое учение эпохи было именно учением о бесполезности и даже вреде правительственного вмешательства, т. е. и с точки зрения прав, и с точки зрения интересов общества государственное действие изгонялось из области народного хозяйства. Но все-таки Адам Смит, Мальтус и Рикардо являются родоначальниками политической экономии: без той основы, которую они создали, была бы немыслима и часть социалистических теорий, которые вообще имеют мало дела с позднейшей разработкой политической экономии. Но эта научная политическая экономия не играла еще решительно никакой роли в социальных учениях первой трети XIX в., которые представляют собой скорее страницу из истории морали и общественных утопий, чем страницу из истории экономической науки, как на них смотрят и представители позднейшего «научного» социализма. Политическая экономия, как ее создали ее английские родоначальники, была слишком оторвана, с одной стороны, от этики, с другой — от политики, остановившись из всех мотивов человеческой деятельности лишь на одном эгоизме и совершенно не обратив внимания на вопрос об отношении экономического строя к строю государственному. Социальные утопии первой трети XIX в. взялись построить экономические отношения на этических началах и в связи с совершенным видоизменением социального быта, причем игнорировали то, что составляло действительно научное приобретение политической экономии.

¹ Идея, высказанная еще Локком и повторенная потом В. фон Гумбольдтом и Бенжаменом Констаном.

XXVII. Социальные учения первой трети XIX в.¹

Происхождение социализма и его исторические antecedенты². — Принципы бабувизма. — Что было ново в социальных учениях первой трети XIX в.? — Отличие социальных учений эпохи от позднейшего социализма. — Сущность социализма и значение социальных утопий. — Общая характеристика социализма первой трети XIX в. — Зарождение социальной науки. — Жизнь, сочинения и главнейшие идеи Сен-Симона. — Развитие сен-симоновской доктрины до 1830 г. — Жизнь, сочинения и идеи Фурье. — Культурное значение сен-симонизма и фурьеризма. — Роберт Оуэн

Новые формы хозяйства и политическая экономия, явившаяся как теоретическое оправдание этих новых форм, встретили двоякого рода оппозицию в образованных классах общества: с одной стороны, против них были представители консерватизма и реакции, которые в свободной конкуренции порицали то, что сближало ее с идеями, стремлениями и результатами Французской революции, причем попутно отмечались невыгодные следствия новой системы крупного сельского хозяйства и крупной промышленности и для трудящихся классов общества, для крестьян и мелких мастеров, превращавшихся в наемных рабочих; с другой же стороны, выступали против новых экономических отношений и принципов люди, руководившиеся не интересами и традициями консерватизма, а сочувствием к трудящемуся люду, которому очень дурно жилось при новых хозяйственных условиях. В первом случае всем переменам в экономическом быту и воззрениям, санкционировавшим эти перемены, противопоставлялись старые формы мелкого производства — мелкое хозяйство крестьян, пользовавшихся землей в качестве ее собственников или арендаторов, и мелкий промысел цеховых организаций. На этой точке зрения стоял, как мы видели, и Сисмонди, вооружившийся против капиталистического строя и ортодоксальной политической экономии не во имя каких-либо традиций, — так как сам же он принадлежал к школе Адама Смита, — а во имя человеколюбия, оскорблявшегося в нем зрелищем нищеты рабочих при возрастании национального богатства. В общем, однако, он отказывался дать какие-либо сколько-нибудь определенные указания относительно того, как же помочь растущему социальному злу. Но одновременно с Сисмонди выступили писатели, которые, как и он, отрицательно отнеслись к окружающей их экономической действительности, взглянув на нее с точки зрения интересов трудящейся массы, но уже не для того, чтобы выразить сожаление об исчезающих формах мелкого производ-

¹ Указания на литературу см. выше.

² Antecedent — предшествующее, бывшее в прошлой жизни. — *Прим. ред.*

ства и затем заявить о неспособности своей придумать какие-либо новые формы, а именно для того, чтобы выступить с проповедью этих новых форм. Это были социальные реформаторы, родоначальники современного социализма, которому принадлежит такая важная роль в истории последующих периодов XIX в. Мы уже видели, что неминуемо должно было бросаться в глаза противоречие между политическим и экономическим строем общества, вышедшего из Французской революции и индустриального переворота конца прошлого столетия, но это противоречие политическое, т. е. несоответствие политической свободы граждан с их экономическим рабством, осложнялось еще противоречием экономическим, т. е. несоответствием, существовавшим между бедственным материальным состоянием трудящейся массы и возрастанием производства и национального богатства. Если рядом с либерализмом, принимавшим характер направления по преимуществу буржуазного, несмотря на всю общечеловечность своих основных культурных и политических стремлений, в эту эпоху существовал и радикализм, как направление чисто демократическое¹, то и рядом с ним еще, поскольку он был направлением исключительно политическим, возникали общественные учения, которые защищали интересы демократии с экономической точки зрения, игнорировавшей политическим радикализмом. В самом деле, теоретик демократических стремлений в первой трети XIX в., Бентам, положивший в основу своего политического учения тот принцип, что законодательство должно иметь в виду наибольшее благо наибольшего количества граждан, из этого своего положения не делал, однако, никаких выводов, которые имели бы хотя бы самое отдаленное сродство с требованиями социализма. Будучи демократом в политическом смысле, в своей экономической доктрине, изложенной в «*A manual of political economy*»², «*Defence of usury*» и других работах, он, по существу, не отступал от учения Адама Смита, хотя и расходился с ним в подробностях, например, по вопросу о росте денег, который Бентам разрешал даже в смысле еще большей экономической свободы, нежели сам Адам Смит. Притом, как сторонник невмешательства в действие частного интереса, Бентам был далек от какого бы то ни было социального реформаторства, которое, прежде всего, предполагает именно ограничение свободы личности в ее материальных, экономических отношениях к другим личностям; наоборот, этическое учение Бентама как нельзя более соответствовало исходному пункту экономической школы Адама Смита. То направление, о коем теперь будет идти речь, выдвинуло на первый план именно вопрос экономический, задумав его разрешить с моральной точки зрения в интересах большинства путем как раз организации хозяйственного быта не на началах свободной конкуренции. Это направление получило название социализма. Возникнув в образованном классе общества, в рассматриваемый период оно

¹ Имеем в виду демократическую партию в Англии.

² Справочник политической экономии (англ.). — Прим. ред.

еще не успело проникнуть в рабочую массу, на которую ему суждено было лишь впоследствии оказать большое влияние и тем самым приобрести практическое значение в политической жизни Западной Европы.

Ни в возникновении социальных учений, ни в их действии на народную массу не было ничего существенно нового, для чего мы не могли бы найти antecedентов в предыдущей истории. С одной стороны, в Новое время можно указать на целый ряд писателей, которые прославились своими мечтаниями о лучшем общественном устройстве, характеризующемся развитием в людях добродетели и осуществлением начала справедливости в распределении между ними земных благ: достаточно назвать имена таких писателей и заглавия таких сочинений, как Томас Мор и его «Утопия», Кампанелла и его «Город солнца», Гаррингтон и его «Океана», Морелли и его «Базилиада» и «Кодекс природы», Мабли с его коммунистическими взглядами и т. п. К этому можно еще прибавить массу отрывочных заявлений в том же направлении, какие мы встречаем у других писателей, особенно у публицистов, выступавших в защиту прав и интересов народной массы или с полемикой против недостатков данных общественных порядков, когда ставились на очередь вопросы социального, политического и экономического характера. Это раз. Во-вторых, в истории мы имеем немало примеров народных движений, совершавшихся под знаменем идей, родственных или тождественных с идеями социализма, коммунизма и даже анархизма (который, заметим, не имел представителей в рассматриваемую нами эпоху). В XV, XVI и XVII вв. на западе Европы происходили религиозно-политические революции, которые страшно потрясли народные массы некоторых стран — Чехии в начале XV в., Германии в начале XVI в. и Англии в середине XVII столетия, и во всех этих движениях рядом с направлениями, напоминающими нам чисто политический радикализм позднейших демократических революций, мы встречаемся еще с идеями и стремлениями характера прямо социального — именно в крайних религиозных сектах реформации. Великое народное движение Французской революции не могло также не получить социального характера, и действительно, многое в истории этой революции такой характер и имеет, хотя самая могущественная демократическая партия эпохи, якобинцы, вопреки мнению многих сторонников и противников социализма, в сущности, была лишь радикально-политической партией, лишь заключавшей в себе некоторые элементы социализма. Самый любопытный эпизод Французской революции в этом отношении, да и то уже из времен, когда революционное движение стало склоняться к упадку, это — коммунистический «заговор равных» (*conspiration des égaux*), связанный с именем Гракха Бабёфа. Организатор заговора, по профессии землемер, как известно, вышел из рядов якобинской партии. Сидя в тюрьме после одного из поражений якобинизма, он вместе с другими недовольными составил план общественного переустройства, который и стал приводить в исполнение,

когда его выпустили из заключения: он начал пропагандировать свои идеи в журнале «Народный трибун» и основал новый клуб «равных», скоро превратившийся в тайное общество, целью коего было ниспровергнуть конституцию для введения во Франции, путем кровавого переворота, коммунизма, «как вещи более высокой и справедливой» (*quelque chose de plus sublime et de plus équitable*). Заговор был открыт, и заговорщики были или казнены (в том числе и сам Бабёф), или сосланы.

Нам известен тот план, который был выработан бабувистами, как стали называть сторонников Бабёфа. Во Французской республике должна была быть устроена великая народная община, коей предоставлялось завладеть национальными имуществами, остававшимися нераспроданными после 9 термидора, имуществами, какие предоставят ей частные лица, имуществами лиц, наживших их при исполнении общественных должностей, и т. д., равно как всеми имуществами после смерти тогдашних их владельцев, ибо план уничтожал право наследства. Далее, объявлялось, что членами этой народной общины будут считаться все французы, которые отдадут самих себя и свои имущества отечеству и станут трудиться для него; что имущества всей общины будут эксплуатироваться общим же трудом всех здоровых членов общины и что последняя будет доставлять своим членам все, в чем они будут иметь нужду, дабы ввести для всех одинаково обязательный умеренный образ жизни. Раз община, по плану Бабёфа, обеспечивала своим членам все необходимое — жилище с отоплением и освещением, одежду со стиркой белья, пищу (в форме общественных обедов) и медицинское пособие, никто не должен был пользоваться чем-либо, кроме того, что по закону получил бы от установленных властей — в противном случае виновный подлежал наказанию. План допускал существование (по крайней мере, временное) людей, которые не захотели бы принадлежать к народной общине, удержав свои имущества в личном владении, но они должны были платить налоги натурой, доставляя их в склады народной общины, причем им вменялось в обязанность в случае надобности отдавать весь излишек съестных припасов и мануфактурных товаров в счет будущих взносов. Этот утопический план бабувисты думали ввести посредством революционного переворота, опираясь на бедняков, между коими немедленно же обещали разделить все имущества эмигрантов, «заговорщиков» и других врагов народа и которым отдавали наперед дома и мебель всех своих противников, обреченных на истребление.

Что было ново в социальных утопиях XIX в., так это вера их авторов в возможность их осуществления, чем они отличаются от Томаса Мора, Кампанеллы, Морелли и др., которые не шли дальше литературного успеха, и притом вера в возможность их осуществления путем мирной пропаганды, убеждения, примера, без того насилия, которое проповедовали раньше их такие социальные реформаторы, как Фома Мюнцер в эпоху Великой кре-

стьянской войны в Германии или Бабёф в эпоху Французской революции. Двадцатые годы XIX в., как известно, были эпохой образования множества тайных обществ с чисто революционными целями, но эти цели не имели ничего общего с социальными вопросами, если только не считать тайных рабочих организаций, преследовавших, однако, не общие какие-либо задачи вроде социального преобразования, а чисто практические задачи, например, возвышение рабочей платы. Тайные общества двадцатых годов были организации, имевшие в виду осуществление известных политических планов, а с другой стороны, социальные реформаторы эпохи, наоборот, сторонились политики. Вопросы политический и социальный развивались, так сказать, независимо друг от друга, и лишь в следующие периоды произошло сближение между обоими течениями, породив совершенно новые явления в исторической жизни Западной Европы. С другой стороны, мы уже отмечали, что социальные реформаторы первой трети XIX в. стояли в стороне и от тогдашней экономической науки и развивали свои теории вне всякого — положительного или отрицательного — отношения к ее положениям, чем они равным образом отличаются от позднейших социалистов, учения коих стоят в весьма тесной связи с политической экономией, так как многие ее понятия и положения были унаследованы и ими, несмотря на общее отрицательное отношение их к ортодоксальному учению, поколебленному еще Сисмонди.

Понимая под социализмом вообще направление, ставящее своей целью радикальное изменение социальных, и в особенности экономических, отношений на началах более справедливого и равномерного распределения земных благ между членами общества и потому вопреки исторически сложившемуся порядку вещей, мы должны признать, что в этом смысле социализм не есть явление новое в истории. Но сохраняя общие черты свои, социализм XIX в. должен рассматриваться в связи с характерными особенностями времени, его породившего. Индустриальная революция, которая во многих отношениях ухудшила материальный быт трудящейся массы, заключалась в отделении труда от орудия производства, и взятый с этой стороны, социализм явился как направление, поставившее своей задачей осуществить иное отношение труда к орудиям производства. Во-вторых, само название социализма возникло в смысле противоположности индивидуализму, отличающему школу Адама Смита. Действительно, социализм XIX в. есть не что иное, как совокупность различных экономических учений, общая черта коих заключается в стремлении поставить на место индивидуалистической системы производства и распределения богатств, управляемой свободной конкуренцией, такую организацию хозяйственного быта, при которой средства и орудия производства, т. е. земля и капитал, находились бы в руках не отдельных лиц, а целого общества, с тем чтобы последнее само распоряжалось производством и распределением богатств. Экономическая организация, предлагаемая социализмом, имея в виду более справедливое и равномерное распределение земных

благ между людьми, есть нечто, с чем находятся в совершенном противоречии все исторически сложившиеся формы организации собственности и труда, и в этом смысле социализм действительно является проповедью коренной реформы социальных вообще и в частности экономических отношений, причем уже вопрос второстепенный, каким образом та или иная школа социализма думает осуществить свой идеал — путем ли быстрого переворота или путем постепенной эволюции и притом еще путем изменений, возможных уже в данную минуту или, наоборот, требующих еще много и много времени. Как бы там ни было, системе, разлучающей труд с орудиями производства, социалисты противопоставляют возвращение земли и капитала трудящимся массам, но не для восстановления индивидуалистических форм собственности на землю и капитал, а для коллективного владения ими (откуда название коллективизма). На первых порах теоретического развития социализма этот коллективизм принимал всегда более или менее коммунистический оттенок, и социализм сливался с коммунизмом, который распространяет принцип общности не только на производство и распределение, как социализм, но и на самое пользование произведенными продуктами, уничтожая индивидуальную свободу даже в мелочах обыденной жизни. Социализм, отличающий себя от коммунизма, не заходит так далеко, противопоставляя только индивидуальной свободе в деле производства и потребления продуктов известную организацию, которая совершенно устраняла бы из этой области общественной жизни личный произвол и конкуренцию частных лиц, равно как все случайности спроса и предложения. Результатом таких принципов в их применении к жизни должно было бы быть исчезновение всех частных предприятий, в коих участвуют капиталисты и рабочие, со всеми принадлежностями современного хозяйства, каковы деньги, и торговля, кредит и биржа и т. п., существующие в интересах экономического индивидуализма. По социалистическому воззрению, каждая ассоциация работников должна была бы собственным своим трудом и в пределах своего владения добывать все для себя нужное, обмениваясь с другими ассоциациями продуктами не иначе как под условием участия в этом деле общественной власти. Против кризисов, вызываемых «анархией производства», социализм думает выставить, как наиболее действительное средство, принцип работы по заказу, определяемой на основании точного знания, какое приложение в данную минуту и в каком размере следует давать труду, так как при индивидуальном хозяйстве возможны ошибки, спекуляция, перепроизводство и т. п. С другой стороны, социализм предполагает поручить общественной власти и распределение продуктов по известному плану, в более или менее строгом соответствии с количеством потраченного труда, во всяком случае так, чтобы право участия в продукте принадлежало лишь труду, а не владению собственностью. При этом предполагается, что отдельные лица под влиянием стремления к общему благу или под могучим действием общественного мнения с его порицанием или похвалой будут совер-

шать и самые трудные или непривлекательные работы, особенно при помощи механических приспособлений, коим вообще приписывается важное и притом в высшей степени благотворное значение в социалистическом строе общества. Не допуская обладания землей и капиталом, социализм представляет людям свободное распоряжение предметами потребления, т. е. жилищем, одеждой, пищей и т. п., на которые он уже не распространяет контроля общественной власти, — область экономической жизни, остающаяся в ведении индивидуальной свободы.

Во всех планах общественного переустройства нужно отличать две стороны — критическую и позитивную. «Наука, — говорит Роберт фон Мольте в своей работе о "государственных романах", — иногда отличается слишком большой приверженностью к своему конкретному содержанию». «Привыкая к последнему, начинают находить его соответствующим и разумным требованием, и тогда несправедливости и нелепости систематизируются, вместо того чтобы подвергнуться порицанию и быть указанными, как подлежащие устранению. В этом отношении весьма полезна критика, которая стоит на совершенно иной точке зрения и даже представляет для созерцания обстоятельную картину существенно несходного состояния». Что касается до положительного значения политических и социальных утопий для жизни и науки, то оно гораздо меньше. Если, однако, по словам того же Моля, изображения идеального государственного устройства не отличаются вообще сколько-нибудь ослепляющей новизной мысли или убедительностью преимуществ, то, наоборот, утопии, имеющие дело с социальным устройством, представляют собой благодарный материал для действия воображения и изобретательности. Многие думали, что время «государственных романов» миновало, но за последние годы явились авторы, которые возобновили — с большим успехом в публике — их традицию¹, что заставило одного немецкого писателя² подвергнуть вопрос об этих «государственных романах» новому рассмотрению. Те социальные утопии, которые будут предметом настоящей главы, в собственном смысле не относятся к числу таких «романов», поскольку ни Сен-Симон, ни Фурье, ни тем более Оуэн, социальные реформаторы первой трети XIX в., не написали ничего вроде коммунистической «Утопии» Томаса Мора или столь же коммунистического «Путешествия в Икарию» Кабе, вышедшего в свет в 1840 г.³ Совсем напротив, социальные реформаторы первой трети XIX в. излагали свои воззрения в научнообразной или публицистической форме, но и в ней, конечно, могут высказываться мысли совершенно фантастического характера, что и случилось особенно с Фурье. Если, однако, отвлечься от тех конкретных изображений лучшего социального строя, какой мы находим и в «государственных романах», в тесном смысле этого

¹ Bellamy, сочинение коего переведено по-русски, и Hertzka.

² Kleinwachter, см. выше.

³ О нем речь будет идти в V томе.

слова, и в мечтаниях относительно будущего, например, у Фурье, то у нас останутся еще известные принципы, которые, как и всякие другие принципы нравственного или общественного содержания, способны действовать в истории и могут быть в качестве сил, в ней действующих, предметом исторического рассмотрения. Именно главным образом с точки зрения принципов, а не с точки зрения мечтаний с конкретным содержанием мы и рассмотрим учения названных писателей. Утопическая сторона их теории заключалась в том, что основанием для них служили не данные наук, строящих свои положения на опыте и наблюдении, а чисто рационалистические воззрения «просвещения» XVIII в. о совершенстве прирожденных свойств человека, о гармонии естественного состояния, о возможности быстрого перевоспитания человечества путем, так сказать, перенесения его в иную общественную обстановку, о достижении наибольшего счастья человечества лишь посредством привлечения к делу общественного переустройства — одних филантропических сердец и пр. и пр. С этими мечтаниями соединялись, с одной стороны, разные фантастические ожидания (например, у Фурье), напоминающие — в иной форме только — хилиастические чаяния разных сектантов, например, эпохи Реформации, а с другой — моральные воззрения иногда весьма сомнительного свойства, равным образом находящие аналогию в учениях некоторых сектантов указанной эпохи. Вообще социализм первой трети XIX в., более тесно связанный с моралью, чем с политикой, представляет собой некоторое подобие — и, нужно заметить, подобие весьма значительное, особенно у сен-симонистов — с религиозным сектантством, которое стремится перестроить всю частную и общественную жизнь человека на основании известных догматических принципов. У Оуэна, равно как у сен-симонистов и фурьеристов, мы наблюдаем даже характерные признаки религиозной экзальтации со всем тем, что составляет сильные и слабые, здоровые и болезненные ее стороны. Осуществить свои принципы на деле социалисты первой трети XIX в. стремились опять-таки не политическим путем, а путем религиозным — путем убеждения и пропаганды, словом и собственным примером, устраивая общежития на новых началах и привлекая для этого частную благотворительность. Один только Сен-Симон, далее, стоял близко к научному движению века и оставил заметный след в истории чисто умственного развития XIX в.¹ Но если даже первая стадия эволюции позитивизма и связана с именем Сен-Симона, то направление, развитое его учениками, отличалось уже прямо характером мистицизма. Можно даже сказать, что в культурном отношении (именно только в культурном, а не социальном) социальные утопии первой трети XIX в. хорошо подходили к общему тону реакции против философского и научного характера XVIII в. Общество начала XIX в. было более или менее склонно ко всему, что говорило больше чувству, чем уму, и это его стремле-

¹ Об этом подробно будет сказано в V томе.

ние могло, конечно, принимать весьма различные формы — не только возвращения к католицизму с его схоластическими, политическими и эстетическими преданиями, но и образования новых сект, хотя бы опять-таки вроде того «нового христианства», которое было предметом проповеди сен-симонистов. В этих теориях, — хотя и в гораздо меньшей степени, чем у Бабёфа, а впоследствии у Кабе, — обращает на себя внимание такое представление дела, в силу которого предполагается осуществление лучшего социального строя не путем развития общества на теперешних его основаниях в направлении сознанных принципов истины и справедливости, а совершенное преобразование его по произвольно измышленному идеалу, хотя бы для этого нужна была не кровавая революция, к которой думал прибегнуть Бабёф, а лишь развитие добрых расположений в отдельных лицах, как представляли себе дело Фурье и Оуэн. Первый, кто стал в этом вопросе на более научную точку зрения, был Сен-Симон. Если в XVIII в. от политики обособилась как отдельная наука политическая экономия, то Сен-Симон был первый мыслитель, почувствовавший необходимость в такой посредствующей науке, которая рассматривала бы человека и с политической, и с экономической точек зрения и имела бы постоянно в виду взаимоотношения, существующие между государственным и хозяйственным бытием общества, — мысль, которая впоследствии лучше всего была сформулирована Огюстом Контом, наметившим необходимость «социологии» в смысле положительной науки об обществе. Как мы еще увидим, Сен-Симон первый обратил внимание на противоречие нового экономического порядка с порядком политическим и сделал попытку объяснить историческое происхождение этого противоречия, дав даже общую формулу экономической эволюции человечества, т. е. призвав впервые и историческую науку¹ к теоретическому решению великой социальной проблемы. Вместе с Сисмонди сен-симонизм указал на государство как на могущественную силу, при помощи коей возможным было бы дать в обществе такое положение труда, которое соответствовало бы значению, приписываемому ему в сфере экономической, как главному источнику богатства. Если наследником мысли о необходимости положительной общественной науки сделался Огюст Конт, а наследником идеи об экономическом значении государства — Луи Блан² в своей «Организации труда», то принципы собственно «сен-симоновской» религии (*religion saint-simonienne*) были развиты главным образом людьми, которые более были склонны к мистической экзальтации, чем к научному и практическому мышлению.

Таков общий характер социализма на первой ступени его развития в XIX в. После этих вступительных замечаний нам сделается более понятным то место, какое занимают в истории эпохи Реставрации и в истории

¹ См. выше о применении истории и к политическим вопросам эпохи.

² О Конте и Луи Блане см. в т. V.

развития социализма отдельные представители этого направления, к которым мы теперь и переходим¹.

Граф Анри-Клод де Сен-Симон — из одной фамилии со знаменитым герцогом Сен-Симоном, автором мемуаров из эпохи Людовика XIV, фамилии, считавшей своим родоначальником Карла Великого, — родился в 1760 г.; будучи еще подростком, он мечтал о славе и приказывал своему лакею будить себя по утрам не иначе, как такими словами: «Вставайте, господин граф, вам предстоит совершать великие дела». Окончив весьма рано свое образование, — происходившее отчасти по указаниям д'Аламбера, — молодой Сен-Симон около пяти лет провел в Северной Америке, отправившись туда в отряд, который французское правительство послало на помощь английским колонистам, восставшим против своей метрополии. Между прочим, Сен-Симон посетил и Мексику, куда ездил с целью предложить тамошнему вице-королю проект соединения Атлантического и Великого океанов посредством канала. Вернувшись на родину, он в чине полковника, имея от роду 23 года, был назначен комендантом крепости в Меце и преданся занятию математикой под руководством знаменитого Монжа, который был тогда преподавателем этого предмета в одной из местных школ. Затем мы видим Сен-Симона путешествующим — в Голландии, где он надеялся принять участие в одной военной экспедиции против английских ост-индских колоний, и в Испании, куда отправлялся опять с планом канала, который должен был соединить Мадрид с морем. Тут произошла Французская революция, по-видимому, не произведшая на Сен-Симона особенно сильного впечатления, во всяком случае, по крайней мере, не увлекшая его своей горячкой. В 1790 г. он был, однако, выбран на должность мэра в местности, где находилось его имение, но скоро от этой должности отказался. В том же году он на одном первичном собрании предложил гражданам послать в учредительное собрание адрес об уничтожении дворянских титулов и сам составил текст этого адреса, который и был послан по назначению; тем не менее впоследствии (в эпоху Реставрации) он сам продолжал титуловать себя графом. Гораздо более, чем политикой, занялся в это время Сен-Симон выгодными денежными операциями — по покупке национальных имуществ на деньги графа Редерна, прусского посланника в Англии, и нажил этим лично себе довольно значительную сумму денег. Впоследствии он объяснял свои спекуляции тем, что уже тогда собирался «содействовать прогрессу просвещения и улучшению участи человечества» посредством «основания научной школы совершенствования и организации большого индустриального заведения», но в чем, собственно говоря, заключались тогдашние планы Сен-Симона, об этом в настоящее время судить довольно трудно. Запо-

¹ В книге Д. Щеглова, указанной в т. III («История социальных систем»), читатель найдет подробные биографии и анализы сочинений Сен-Симона, Фурье и Оуэна и выдержки из сочинений разных писателей, заключающие в себе отзывы о системах этих реформаторов.

дозренный якобинцами за свои сношения с Редерном, Сен-Симон был посажен в тюрьму, где просидел около года, будучи затем освобожденным лишь благодаря 9 термидору. После этого Сен-Симон продолжал предаваться своим прежним мечтам о славе, и главным образом на поприще научном, создав, по собственным его словам, «проект (какой, опять неизвестно теперь) проложить новую карьеру человеческому пониманию, карьеру физико-политическую», «заставив науку сделать всеобщий шаг и предоставив инициативу этого дела французской школе». В самые последние годы XVIII и первые годы XIX в. Сен-Симон был более всего поглощен изучением тогдашнего состояния естественных наук, равно как той исторической последовательности, в какой происходили научные открытия. С этою целью он три года (1798—1801) прожил поблизости от Политехнической школы, в постоянном общении с ее профессорами, а затем переселился поближе к Медицинской школе и перезнакомился точно так же и с ее профессорами. Женившись уже за сорок лет, Сен-Симон превратил свой дом в своего рода центр научной и артистической жизни, но вскоре он развелся со своей женой и думал снова жениться — на г-же Сталь, которую считал женщиной, наиболее способной содействовать его научному плану. Он даже ездил в имение г-жи Сталь, на берег Женевского озера, и во время пребывания своего в Женеве издал брошюру под заглавием «Письма женевского жителя к своим современникам» (1802). В этом небольшом сочинении Сен-Симон представляет свой проект, имевший целью осчастливить все человечество. Предлагалась именно ежегодная подписка над гробом Ньютона, причем каждый, внося какую угодно сумму, назовет по три математика, физика, химика, физиолога, литератора, живописца и музыканта, чтобы подписная сумма была разделена между теми, которые получают наибольшее количество голосов, дабы они могли сделаться совершенными господами своего времени и свободно распоряжаться своими силами. В необходимости такого способа вознаградить ученых и художников за их услуги обществу Сен-Симон убеждает и собственников, и простой народ. Первым он показывает в перспективе новую революцию, если они не согласятся на его план; между прочим, он говорит здесь о Французской революции, после которой страна могла быть реорганизована только гениальным человеком, каковым Сен-Симон и объявляет Бонапарта. Что касается до народа, то ему Сен-Симон указывал на следующее: хотя масса и многочисленнее в двадцать раз, чем собственники, однако господствуют последние, потому что они сильнее своим образованием, со степенью которого для общего блага должно быть согласовано господство, и тут опять Сен-Симон вспоминает революцию, указывая на то, что когда господствовали во Франции люди из народа, то они сумели произвести в стране только голод. Затем в форме пророческого откровения Сен-Симон излагает свой план будущего устройства человечества: духовная власть в обществе должна принадлежать ученым, светская — собственникам,

а право выбирать носителей обеих этих властей — всему народу. «Совет Ньютона» из 21 выбранных при подписке ученых и художников будет, представляя на земле самого Бога, руководить духовной жизнью всего человечества, и в новом обществе «все будут работать» (*tous les hommes travailleront*). В этом же откровении, которое было сообщено автору как бы посредством видения, говорится еще о новой религии. «Человек, облеченный великой властью, будет основателем этой религии; в награду за это он будет входить во все советы и председательствовать в них, он будет пользоваться этим правом в течение всей жизни, а по смерти он будет погребен в мавзолее Ньютона». Что касается до всеобщей обязанности трудиться, то тут Сен-Симон очень краток: все должны прилагать свои силы полезным для человечества образом; бедный будет питать богатого, который станет работать головой, а если к этому он не способен, то пусть работает руками, потому что Ньютон не допустит существования бесполезных людей на земле. Идеи, высказанные Сен-Симоном в «Письмах женевого жителя», отличаются крайней неопределенностью, и, по-видимому, автор этой брошюры, вообще склонный к увлечениям, в это время находился под влиянием делавшихся в конце XVIII в. попыток основать новую религию. Впоследствии Сен-Симон первым своим трудом называл не эту брошюру, и, по-видимому, она даже оставалась неизвестной его ученикам при жизни учителя.

Посетив (в 1802 г.) Англию и Германию, Сен-Симон вернулся во Францию без всяких средств к жизни, так как прожил все свое состояние. Ему пришлось взять место переписчика в ломбарде, доставлявшее ему тысячу франков в год за ежедневный десятичасовой труд, пока один знакомый не доставил ему возможности жить некоторое время на его средства, чтобы продолжать свои научные занятия. В 1808 г. Сен-Симон издал «Введение в научные труды XIX века», где проводил мысль о необходимости систематизации знаний и планомерной организации научных трудов. Эта мысль его сильно занимала, и он посвятил ей еще другие брошюры¹. Между прочим, около 1810 г. он написал и распространил в рукописи за неимением средств для напечатания два мемуара, один относительно «науки о человеке» (*la science de l'homme*), другой — о всеобщем тяготении, высказав во втором из них мысль о сводимости всех естественных законов к закону тяготения, а в первом — ту идею, что человечество развивается, как и все органическое на земле, и что развитие это ведет к высшему совершенству. В это время Сен-Симон страшно бедствовал и вынужден был просить денежной помощи у богатых людей. Ради получения денег он, по совету некоторых лиц, к коим обращался, послал (1813) второй из названных мемуаров самому Наполеону, дав своей рукописи совсем неподходящее к ее содержанию заглавие — «Средство заставить англичан признать незави-

¹ В истории возникновения позитивизма (в V томе) мы вернемся к этой идее Сен-Симона.

симость флагов», присоединив к этому письмо, в коем рекомендовал Наполеону возвратить свободу Германии, Голландии, Италии и Испании. Сначала Сен-Симон вообще относился к Наполеону благосклонно, хотя и осуждал переворот 18 брюмера, но в его взглядах на первого консула и императора отражались общественные настроения, и потому в эпоху падения империи он тоже сделался ее врагом, написав, например, при известии о бегстве Наполеона с острова Эльбы очень резкое «Исповедание веры графа де Сен-Симона относительно вторжения Наполеона Бонапарта во французскую территорию», хотя в эпоху «Ста дней» и принял потом должность помощника библиотекаря в одной казенной библиотеке и написал брошюру против коалиции 1815 г., что не помешало ему, однако, затем хвалить ту же коалицию за низвержение Наполеона. Все указывает на то, что по своему характеру Сен-Симон был человек крайне впечатлительный, увлекающийся, неустойчивый; несомненно поэтому, что в своих переменах по отношению к Наполеону он не преследовал никаких своекорыстных целей: во все время консульства и империи он оставался человеком независимым, в конце этой эпохи страшно бедствовал, хотя его имя, его связи, его прошлое и его знания давали ему полную возможность занять какое-либо выгодное положение в официальной Франции 1800—1814 гг. Перебиваясь кое-как, Сен-Симон жил и в эпоху Реставрации.

События 1814—1815 гг. отразились на Сен-Симоне тем, что вызвали с его стороны несколько политических брошюр. В сотрудничестве с Огюстеном Тьерри, будущим историком, тогда еще совсем начинающим юношей, Сен-Симон написал для Венского конгресса брошюру под заглавием «Реорганизация европейского общества, или О необходимости и средствах собрать народы Европы в одно политическое целое, сохраняя за каждым его национальность»: союз Франции с Англией должен был ввести везде конституционные порядки, а затем все государства должны были бы устроить общий парламент, который выработал бы всеобщий кодекс морали. Затем при содействии нескольких богатых промышленников и финансистов он стал издавать сборник под заглавием «L'industrie» и с характерным эпиграфом: «Все через промышленность, все для нее» («Tout par l'industrie, tout pour elle»). В первые годы Реставрации Сен-Симон вообще вступил в новый фазис своих увлечений: заботы о просвещении и развитии науки были теперь им оставлены, и все его внимание сосредоточилось на той социальной борьбе, какую стали между собой вести, по тогдашнему выражению Огюстена Тьерри, люди индустрии против людей пергаменов, причем Сен-Симон взял на себя защиту «индустриализма» против феодализма, понимая под первым новое промышленное направление в отличие от старого аристократизма и еще не различая среди самих «индустриалов» противоположности интересов капитала и труда. Основным взглядом этой эпохи было у него то положение, что промышленный класс приносит наибольшую пользу стране и имеет наибольшие способности

для управления делами государства: промышленники одни для него составляли национальную партию, а их враги, «военные», не имеющие ни малейшего права на то, чтобы управлять государством, были для него партией антинациональной. Замечательно, что при этом Сен-Симон всячески откровенничался от либерализма. «Мы приглашаем, — писал он, между прочим, — всех индустриалов, которые ревнуют об общем благе и понимают отношения, существующие между общими интересами общества и промышленности, не терпеть более, чтобы их обозначали именем либералов; мы приглашаем их воздвигнуть новое знамя и на этой своей хоругви начертать девиз: “индустриализм”». Хартии 1814 г. Сен-Симон не придавал большого значения и говорил, что королевская власть может хорошо ужиться с его системой, лишь бы только промышленники, составляющие громадное большинство нации, отделались от легистов и военных, как и от дворян, и взяли в свои руки заведование делами. «Какое положение индустриалы (сельские хозяева — cultivateurs, фабриканты и негодья) должны занимать в обществе? — Первое. — Какое место они занимают? — Последнее». В этом направлении писал Сен-Симон до 1823 г., издавая свои сборники, большей частью очень недолговечные: «L'industrie» (1817—1818), «Le Politique» (1819), «L'Organisateur» (1819—1820), «Le systeme industries» (1821—1822), «Le catéchisme des industriels» (1822—1823)¹, и заявляя в них, что пишутся они «в защиту индустриалов против куртизанов и дворян, т. е. в защиту пчел против трутней». В одном из этих изданий (именно в «Организаторе» за 1819) он поместил свою знаменитую «Параболу». «Мы предполагаем, — говорит здесь Сен-Симон, — что Франция вдруг потеряет своих 50 первых физиков, своих 50 первых химиков, своих 50 первых физиологов и т. д. (тут следует длинное перечисление ученых и художников разных специальностей, литераторов, всевозможных техников, людей либеральных профессий, банкиров, негодьян, фабрикантов, сельских хозяев, ремесленников и т. п.), а также сотни других лиц, наиболее способных в науках, искусствах и ремеслах — всего три тысячи человек первых ученых, художников и ремесленников. Так как эти люди суть французы... которые руководят трудами, наиболее полезными для нации... то они действительно составляют цвет французского общества... Нация делается телом без души в тот момент, как она потеряет их... И ей нужно будет по крайней мере целое поколение, чтобы вознаградить свою потерю. Перейдем, — продолжает Сен-Симон, — к другому предположению. Допустим, что Франция сохраняет всех гениальных людей, которых она имеет в науках, искусствах и ремеслах, но что она имеет несчастье потерять Monsieur — королевского брата, монсеньоров герц. Ангулемского, герц. Беррийского, герц. Орлеанского, герц. Бурбонского, герцогиню Ангулемскую, Беррийскую, Орлеанскую, Бурбонскую и мадемуазель Конде². И пусть она потеряет в то же время всех

¹ «Промышленность», «Политика», «Организатор», «Система индустриалов», «Катехизис индустриалов». — *Прим. ред.*

² Родственники короля.

великих коронных сановников, всех министров государства, всех государственных советников, маршалов, кардиналов, архиепископов, епископов, великих викариев и каноников, всех префектов и подпрефектов, всех чиновников министерств, всех судей и, кроме того, десять тысяч собственников самых богатых из тех, которые живут по-барски (*qui vivent noblement*). Этот несчастный случай весьма опечалит французов, потому что они добры (*parce qu'ils sont bons*)... но эта потеря такого множества лиц, считаемых самыми важными в государстве, причинит им печаль по причинам, исключительно зависящим от их чувствительности, потому что из этого несчастного случая не произойдет никакого политического зла для государства (*aucun mal politique pour l'état*)». Сен-Симон указывал далее, что найдется во Франции много людей, которые сумеют хорошо исполнить обязанности королевской родни и разных лиц при дворе, в администрации, в армии, в церкви, и делал отсюда тот общий вывод, что «современное общество есть поистине свет на изнанку (*le monde renversé*), так как те, которые представляют собой положительную полезность, были поставлены в подчиненное положение (*subalternisés*) принцами», — вывод, который он выразил в подробностях, не скупясь на резкие выражения. Вскоре после появления «Параболы» был убит герцог Беррийский, и королевский прокурор в наступившую затем реакцию привлек Сен-Симона к суду, обвинив его в том, что он был моральным сообщником преступления и, во всяком случае, непочтительно отнесся к королевскому дому. Присяжные, однако, оправдали Сен-Симона, и он вскоре после этого написал брошюру «О Бурбонах и Стюартах» в духе известной параллели между этими двумя династиями.

Между тем Сен-Симон в последних публикациях этого периода все более и более начинает переходить к той мысли, что права промышленников, которые он защищал, налагают на них и известные обязанности по отношению к пролетариату. Новая нота в его сочинениях не понравилась его богатым покровителям, дававшим ему деньги на издание брошюр, и скоро Сен-Симон снова очутился в большой нужде, заставившей его даже посягнуть на самоубийство: в 1823 г. он выстрелил себе в лоб из пистолета, но только лишился одного глаза; открытая же в его пользу подписка дала ему возможность продолжать свою писательскую и издательскую деятельность. В последние годы жизни Сен-Симона уже окончательно определилось его новое отношение к рабочему классу. В начале 1825 г. он издал новый сборник под заглавием «Литературные, философские и промышленные мнения», где проводится та мысль, что рабочий класс во Франции развит уже достаточно для заведования делами страны. В том же году появился и последний труд Сен-Симона — «Новое христианство». По представлению Сен-Симона, христианство имеет божественное происхождение, но Бог вообще приспособляется к степени понимания людей, а потому в полном совершенстве божественная истина и не была дана ученикам Христа. Хри-

стос дал заповедь братской любви, но при теперешнем состоянии эта заповедь может быть выражена полнее: «Религия должна направлять общество к великой цели возможно наиболее быстрого улучшения быта самого бедного класса». Новое христианство, по мысли Сен-Симона, должно было быть преобразованием (*transfiguration*) старого, дабы «положить конец религиозному равнодушию самого многочисленного класса. У новояго христианства будет своя мораль, свой культ, свой догмат; у него будет свое духовенство, которое будет иметь свое начальство (*ses chefs*)... Нравственное учение (*la doctrine de la morale*) будет у новых христиан самым главным, а культ и догмат — лишь своего рода придатком». Указав на успехи, сделанные математикой, естествознанием, Сен-Симон выражал сожаление, что гораздо более важная наука — наука, которая образует само общество и служит ему основанием, именно наука нравственная, находится в пренебрежении. В заключение Сен-Симон обратился с упреком к Священному союзу за то, что он не только не служит, но скорее вредит цели, к которой должны стремиться христианские государи, понимая эту цель как обеспечение участи большинства народа. Вскоре после издания «Нового христианства» Сен-Симон умер в присутствии учеников, которых имел уже в эту пору своей жизни. Перед самой смертью он говорил им следующее: «Думают, что раз доказана дряхлость католицизма, всякая религия должна исчезнуть. Это — большое заблуждение, ибо религия не может оставить мир и только переменяет вид... Вся моя жизнь резюмируется в одну мысль — обеспечить людям свободное развитие их способностей». Затем, возвращаясь к мысли о новом издании (*le Producteur*), которое он в то время замыслил, он сказал: «Через двое суток после второй нашей публикации участь рабочих будет устроена; будущее принадлежит нам».

Мы нарочно остановились на биографии Сен-Симона, чтобы показать, каким путем этот несомненно весьма оригинальный человек дошел до идеи, легшей в основание целого направления, получившего от него свое название — сен-симонизм. Человек, с юности мечтавший о великих делах и славе, способный увлекаться своими идеями до самозабвения, но вместе с тем и быстро менять одну идею на другую, он последовательно желал быть реформатором в областях науки, политики, общественного устройства и вместе с тем морали и религии. Он рано пришел к той мысли, что главным фактором дальнейшего прогресса должна сделаться наука, и многие его мысли впоследствии получили весьма плодотворное развитие, но несмотря на то, что он сам хотел учиться и действительно набирал знания, его собственное отношение к науке оставалось всегда довольно поверхностным. Притом его мысль не отличалась достаточной ясностью; во всяком случае, ему не доставало систематичности. Поэтому он нигде и не высказал вполне точно и последовательно своих взглядов: то, что называется сен-симонизмом, было создано не им самим, а его учениками, хотя, кроме этого, Сен-Симон высказал немало научных мыслей, которые по-

том были развиты в позитивизме Огюста Конта, находившегося одно время в числе его учеников. Особенно важны его мысль о преобразовании общественной науки и истории и его взгляды на историю Европы, как на превращение военного общества в общество промышленное, а на историю труда, как на последовательность рабства, крепостничества, свободного наемничества, за которым должна наступить стадия *du travail sociétaire*¹. К тем взглядам, которые сделали из Сен-Симона одного из родоначальников социализма, он пришел, однако, лишь в самом конце своей жизни, шестидесятилетним стариком. Принимая в расчет, что Сен-Симон был, в сущности, индустриалистом, а не социалистом, один из новейших историков социальных систем² ставит даже вопрос, какие мы имеем основания считать Сен-Симона социалистом, и вот как он отвечает на этот вопрос. Во-первых, родоначальником социализма сделало Сен-Симона то обстоятельство, что ученики его стали разрабатывать его учение именно в этом направлении, а это не было простой случайностью, ибо индустриализм, развитый Сен-Симоном до последних из него выводов, неизбежно приводил к социализму. С другой стороны, в эпоху, когда жил Сен-Симон, общественная мысль была направлена, главным образом, на политические вопросы, к которым Сен-Симон относился, наоборот, более равнодушно, выдвигая на первый план социальную сторону жизни народов, — опять черта, которая роднит его учение с социализмом. Собственно говоря, поворот Сен-Симона к новым идеям начался около 1821 г. В одной из брошюр этого года, «К господам рабочим», он уже советовал им не соединяться с другими политическими партиями, а образовать свою собственную. С этого же времени слово «индустриальный» в его сочинениях начинает все более и более вытесняться выражением «социальный». Наконец, в его «Новом христианстве» уже прямо намечаются некоторые положения, которые должны были быть развиты в социалистическом смысле. Нужно ко всему этому прибавить, что Сен-Симон был противником революционных средств, рассчитывая, что одна любовь может создать благо наиболее многочисленной части народа.

После смерти Сен-Симона образовалась целая школа его последователей, принявших имя сен-симонистов. В последние годы жизни у него не было недостатка в учениках, хотя не все оставались верными своему учителю, как это можно сказать об Огюстеле Тьерри и об Огюсте Конте. Одним из наиболее ревностных его последователей сделался Оленд Родриг, который после похорон учителя пригласил к себе единомышленников и взял с них обещание не разлучаться. В том же 1825 г. они предприняли издание «*Producteur'a*», задуманного еще Сен-Симоном: в этом органе зарождавшегося сен-симонизма приняли участие кроме самого Родрига Анфантен, Базар, Бюшез и многие другие, из коих несколько человек и не

¹ Общественная работа. — *Прим. ред.*

² Польский историк Б. Лимановский в книге, указанной выше.

были сен-симонистами (Ог. Конт, Арман Каррель и др.). Журнал не был исключительно посвящен пропаганде новых идей, ибо в нем печатались статьи и по наукам, промышленности и т. п. В политическом отношении издание оставалось довольно равнодушным к борьбе между роялистами и либералами, хотя Базар и Бюшез до своего обращения в сен-симонизм были видными деятелями карбонарского движения. Впоследствии сен-симонисты определили свое отношение к либерализму, назвав его религиозным и политическим протестантизмом, который, будучи, по их классификации, принципом отрицательным, следовательно, и не способен был лечь в основу общественной организации (Анфантен называл либерализм шарлатанством). Мало того, «Producteur» при всей демократичности своих стремлений высказывался против народовластия и абсолютного равенства и даже критиковал систему английского реформатора Оуэна за ее коммунистический характер. Любопытно и то еще, что журнал высказывался и против принципа свободы совести.

«Producteur» был недолговечен: в 1826 г. он прекратил свое существование в борьбе с равнодушием публики и недостатком средств. Это не обескуражило школу, и она начала, с одной стороны, дальнейшую разработку своей доктрины, а с другой — весьма деятельную устную и письменную пропаганду, главным образом среди интеллигентной молодежи, жаждавшей нового слова и притом жаждавшей его в виде веры. Самую видную роль в разработке доктрины играл Бартеlemi-Проспер Анфантен (1796—1864), который, собственно говоря, знал Сен-Симона очень мало, но отличался среди всех его учеников наибольшей последовательностью и смелостью мысли. Раньше он учился одно время в Политехнической школе, потом много путешествовал по торговым делам. Рядом с ним выдвинулся Сент-Аманд Базар (1791—1832), когда-то конспиратор против Бурбонов и приятель бабувиста Буанаротти, написавшего (в 1820 г.) «Историю заговора равных». У Базара была замечательная способность давать каждой мысли наиболее подходящую к ней форму. Мало-помалу Анфантен и Базар сделались признанными главами школы, и сам Родриг должен был передать им руководство. Общими силами они выработали учение, которому дали название — *la doctrine saint-simoniennne*. В 1828 г. Базар открыл в одном из домов улицы Таранн курс лекций, в коих излагалась доктрина; чтения продолжались два года и печатались в журнале «Organisateur», а потом вышли отдельной книгой. В это время к сен-симонизму примкнуло много учащейся молодежи, преимущественно воспитанники Политехнической школы, из коих многие впоследствии, оставив сен-симонизм, прославились на разных поприщах (Мишель Шевалье, Карно, Перейра, Лессепс и др.). «Доктрина Сен-Симона» отличается ясностью, последовательностью и полнотой, но особенно замечательна критическая часть книги, достоинства коей признаются не одними поклонниками сен-симонизма. В те же 1828—1830 гг. философская школа, какую был сначала

кружок сен-симонистов, превратилась в религиозное братство с церковной организацией. Во главе общины стоял сначала Оленд Родриг, но в 1829 г. он передал направление делами школы Анфантену и Базару, что произвело в ней первый раскол: отделился именно Бюшез, который не захотел признать новую иерархию и не соглашался со взглядами Анфантена и Базара на Божество. Явились сен-симонистские общины в провинциях — и стали прямо называться церквами. Анфантен даже совершил объезд нескольких таких «церквей» и в переписке с ними, видимо, подражал апостольским посланиям: «Слава Богу, слава Сен-Симону, слава нам, слава нашим возлюбленным братьям Юга. Я еще не видел всех братий этого диоцеза и, несмотря на то, я уже преисполнен радостью; мы сеяли на доброй земле, жатва обильна». Члены сен-симоновской церкви называли себя «братьями и сестрами или сыновьями и дочерьми в Сен-Симоне». Июльская революция 1830 г. оказала большое влияние на зародившийся, таким образом, сен-симонизм. Во-первых, сен-симонисты обратились с прокламацией к народу и с письмом к председателю палаты депутатов, рекомендуя им свое учение. Во-вторых, они еще деятельнее стали пропагандировать это учение в «Организаторе» (основанном еще в 1829 г.) и в «Globe», который они приобрели после революции, назвав его «журналом сен-симоновской религии». Наконец, к первым же годам июльской монархии относится попытка сен-симонистов применить свою теорию на практике посредством устройства особого общежития («семейства»), из-за которого был даже возбужден против них процесс¹.

Доктрина сен-симонистов представляла собой соединение взглядов, имеющих весьма различное происхождение: одни из них были результатом критического отношения к действительности, исторического понимания прошлого, научного стремления построить общую теорию общества; другие, наоборот, являлись продуктом религиозного творчества, родственного одновременно и мистическому сектантству, и средневековому католицизму. Сен-симонисты были недовольны современной им наукой, находя, что в ней господствует анархия мнений². Такая же анархия царствует и в промышленности, которая не заботится об интересах общества. Один из источников индустриального беспорядка заключается в политической экономии с ее принципом «laissez passer, laissez faire». Всякий производитель, руководясь лишь собственным соображением и беспрестанно обманываясь, судит о нуждах потребления, а экономисты поощряют конкуренцию производителей. Торжествуют немногие счастливые на счет разорения бесчисленного количества жертв. Необходимым следствием производства, доведенного до крайности в известных направлениях, является нарушение равновесия между производством и потреблением с его катастрофами и кризисами. Предположение эконо-

¹ Дальнейшая история сен-симонизма будет изложена в V томе.

² Из этой «анархии» и мечтал вывести человечество Ог. Конт своей положительной философией, о чем см. в V томе.

номистов о существующем будто бы согласии между интересом личным и общественным опровергается опытом. Ненормальными находили сен-симонисты и взаимные отношения между людьми трудящимися и владельцами орудий производства и капиталов, доказывая, что вследствие слепой случайности рождения самый чистый доход достается не искусному рабочему, а ленивому и неспособному собственнику. Ничего этого не было бы, если бы эксплуатация земного шара была регулирована по одному общему плану. К этому приводит и история, указывающая на то, как доселе развивалось человечество, ибо история есть непрерывная серия прогресса во всех важных сторонах человеческой жизни, и прежде всего в усилении духа ассоциации и в уменьшении духа вражды и антагонизма в жизни людей. Если до сих пор вообще человек эксплуатировал человека, господин — раба, сеньор — крепостного, собственник — рабочего, все-таки отношения между эксплуатирующим и эксплуатируемым делались мягче и гуманнее. Это указывает на то, что наступит время (и оно, думали сен-симонисты, очень уже близко), когда всякая эксплуатация человека человеком прекратится, но все люди, соединившись в ассоциации, будут эксплуатировать весь мир. «Всякому по способностям, всякой способности по ее делам» (*à chacun selon sa capacité, à chaque capacité selon ses oeuvres*) — так формулировали сен-симонисты новое право, идущее на смену праву завоевания и рождения. Сен-симонисты ссылались при этом на историю для доказательства той мысли, что собственность не есть сам по себе факт неизменный и что законодательство, напротив, всегда вмешивалось в организацию собственности: их система, говорили они, стремится не к уничтожению, а к преобразованию собственности. Видоизменения, коим она доселе подвергалась, показывают, что все большее и большее число трудящихся лиц приобщается к собственности и в то же время все благоприятнее и благоприятнее делаются для трудящихся их отношения к капиталистам. Сен-симонисты представляли себе будущее состояние собственности в таком виде, что единственное право на нее без права передачи другому лицу будет заключаться в способности к мирному труду и состоять лишь в пользовании собственностью. Владельцы земель и капиталов превратятся лишь в хранителей этих орудий труда, распределяющих их между рабочими. Тогда и водворится царство Божье на земле, исчезнет рабство, смягчившееся в отношении между капиталистом и работником, уничтожатся привилегии рождения, все-таки еще сохраняющиеся в праве наследования имуществ. «Говорят, — замечали сен-симонисты, — что сын всегда наследовал отцу, но подобным же образом и язычник говорил, что всегда свободный человек владел рабами. Но человечество устами Иисуса провозгласило: нет более рабства; устами Сен-Симона оно провозглашает всякому по его способности, всякой способности по ее делам; нет более наследства». Вместе с этим сен-симонисты указывали и на религиозный прогресс в человечестве, полагая, что оно никогда не останется без религии. Сен-симонисты отвергали христи-

анство за то, что оно, будучи религией одного духа, рассматривает тело и все телесное как нечто греховное, тогда как собственное воззрение сен-симонистов сводилось к пантеистическому пониманию Божества, проявляющегося для человека как дух и как материя, откуда — сен-симонистическая реабилитация плоти, впоследствии доведшая Анфантена до проповеди крайней чувственности — черта, роднящая его учение с некоторыми мистико-пантеистическими сектами Средних веков и реформационной эпохи. Чисто сектантский характер «доктрины Сен-Симона» выразился и в том, что она на первый план выдвигает элемент морально-религиозный — в своем, разумеется, понимании этого элемента с точки зрения признания нравственной равноценности требований духа и требований плоти. Источник, связь и цель жизни — в любви, и потому люди с преобладающим чувством любви должны быть начальниками общества, поскольку же любовь обнимает конечное и бесконечное и выражается в искании Бога, то этими начальниками могут быть только представители религии, т. е. священники. Представляя единство жизни, священник в то же время представляет единство общественное и политическое, ибо религия у сен-симонистов прямо провозглашается как нечто обнимающее во всей полноте систему политическую. От нее должны зависеть наука и промышленность, служащие человеку к познанию мира и к господству над ним и имеющие каждая свою иерархию: одна из этих иерархий будет заправлять разработкой наук, другая — регулировать промышленность и каждая в своей области — разделять людей на классы по способностям и вознаграждать по делам. Над священниками науки и промышленности будет возвышаться священник общий или социальный (*le prêtre social*), на которого «доктрина» смотрит как на живой закон, воплощение идеи правды, будет ли этот закон носить имя Нумы, Моисея, Христа, а для будущих времен — Сен-Симона. Отсюда вся система представлялась как «последнее откровение, делаемое Богом человеку, откровение прогресса, любви, жизни», как «вера Сен-Симона и всех грядущих поколений». Этот мистический религиозный элемент возобладал в сен-симонизме над научным, из-за чего главным образом и отшатнулся от нового учения Огюст Конт, кончивший, впрочем, сам созданием новой религии. С другой стороны, сен-симонизм совершенно убивал свободу личности, подчиняя каждого человека в его духовной и в его промышленной жизни безусловному авторитету «священников». Учение это увлекло главным образом очень молодых людей, которые впоследствии от него иногда очень скоро отставали, а те общины, которые стали основывать сен-симонисты в тридцатых годах, менее всего заключали в себе людей «из самого многочисленного и самого бедного класса». Сен-симонисты приглашали человечество «освящаться в труде и удовольствии», и, действительно, удовольствия играли видную роль в их общинах.

Осуществить свой идеал жизни сен-симонизм думал посредством воспитания, которое прежде всего должно было развить чувство долга и при-

вязанности к истинным и законным вождям общества. Все должно склоняться перед авторитетом. Современный либерализм достоин сожаления. Писаного закона тоже не нужно: в будущем законами будут простые декларации начальства. Управляет священник: он — «источник и освящение порядка... Всякая общественная должность священна, ибо она отправляется во имя Бога человеком, который его представляет». В сен-симонизме как культурно-политическом направлении, несомненно, сказалось сильное католическое влияние: недаром даже Огюст Конт идеализировал средневековую теократию, а Бюшез прямо возвратился в лоно католицизма, который он пытался потом соединить с культом Французской революции. Взятый с этой стороны, сен-симонизм был одним из проявлений той культурной и политической реакции, которая характеризует эпоху, реакцией веры и чувства против знания, реакцией идеи авторитета против принципа индивидуальной свободы. Но в то же время, рассматриваемый с социальной точки зрения, сен-симонизм был учением, по существу дела, революционным — не в смысле средств, коими он думал достигнуть своих целей, а в смысле резкой постановки социального вопроса как вопроса, требующего полной перестройки общественных отношений на совершенно новых началах.

Одновременно с сен-симонизмом возникло и развилось во Франции другое социалистическое учение — фурьеризм, получивший свое название точно так же от имени своего основателя.

Шарль Фурье родился в 1772 г. в семье богатого безансонского купца, торговавшего сукном. Школьное образование, полученное им, было самое недостаточное, ибо 12 или 13 лет от роду он уже перестал ходить в училище; если он что-либо и знал потом, то только из самого несистематического чтения разных книг. Сначала в качестве приказчика в чужих лавках, потом хозяином своего собственного магазина колониальных товаров в Лионе он занимался долгое время исключительно торговыми делами. В 1793 г. во время восстания Лиона против Конвента он лишился своего имущества, и самого его чуть не расстреляли. Потом он служил некоторое время в конных егерях, но по болезни вышел в отставку и поступил в приказчики к одному хлебному торговцу в Марселе, затем был *courtier-magasin*, т. е. биржевым маклером без законного свидетельства в Лионе. В этот период своей жизни он делается прожектёром: то он представляет в военное министерство проект продовольствия армии по новому способу, то начерчивает план для ускорения перехода войск с берегов Рейна в Италию, то сочиняет и представляет префекту проект учреждения особого класса маклеров для транспортирования кладей. В 1803 г. вышло в свет первое сочинение Фурье на политическую тему — «Континентальный триумвират и вечный мир через тридцать лет», где он пророчил, что Пруссию разделят между собой Австрия и Россия, а затем Россия с Францией разделит Австрию, после чего между ними

начнется борьба за господство, пока не кончится победою, вероятно, России. «Вот что, — писал он, — угрожает Западу, а вы, публицисты, не предвидящие кризиса, не дети ли вы, которых надо отослать в школу? И сколько готовится других событий, которых вы не предвидели! Ваш кредит подходит к концу. Итак, приготовьтесь войти в ничтожество. Истина, которую вы ищите в продолжение двух с половиной тысяч лет, скоро появится к вашему посрамлению». Наполеоновская полиция обратила внимание на эту брошюру, но автор ее был оставлен в покое, как человек скромный и смирный. Через пять лет вышло в свет главное сочинение Фурье «Теория четырех движений и всеобщих судеб», в коем он выступает уже в роли социального реформатора не без надежды, что систему его осуществит Наполеон. «Уже явился, — писал Фурье, — новый Геркулес: его безмерные труды превозносят его имя от одного полюса до другого, и человечество, приученное им к зрелищу чудесных дел, ожидает от него какого-нибудь чуда, которое изменит судьбу мира. Народы! ваши предчувствия исполнятся; самая блестящая миссия предназначена величайшему из героев: он должен водворить всеобщую гармонию на развалинах варварства и цивилизации». По выходе в свет этой книги, навлекшей на Фурье одни насмешки публики, он бросил свое занятие маклерством и стал жить на пенсию, которую ему выдавали его родные. В 1816 г. у Фурье был уже первый ученик в лице одного безансонского жителя, Жюста Мюирона, обладавшего весьма значительным состоянием. На его средства в 1822 г. Фурье издал другое свое сочинение — «Трактат о домашней и земледельческой ассоциации». Вскоре после этого он переселился в Париж, где с трудом добывал себе пропитание, ища людей, которые помогли бы ему осуществить его систему, публикуя об этом даже в газетах. Сочинения его расходились плохо. Та же судьба постигла и сокращенное изложение системы, сделанное им для популяризации своих идей («*Sommaire du traité de l'association domestique et agricole*»). В 1825 г. Фурье оставил Париж и переселился в Лион, где сделался кассиром одной промышленной конторы. В это время у него явился новый ученик, Виктор Консидеран, впоследствии талантливо популяризовавший его систему, и новая ученица, Кларисса Вигуре, давшая Фурье средства на издание «Нового промышленного и общественного мира» (1828). И это сочинение было встречено критикой крайне неблагоприятно. Тогда Фурье решился предложить осуществление своего плана социального переустройства французскому правительству, — это было в министерство Полиньяка, — и получил в ответ, что его план будет рассмотрен впоследствии. Но тут произошла Июльская революция. Она несколько окрылила надежды Фурье: по крайней мере, он стал обращаться со своим проектом общественного переустройства к наиболее видным деятелям нового режима и даже обращался к самому новому королю, но не имел ни малейшего успеха. Неудачны были его попытки соединения с Оуэном и с сен-симонистами: и английский реформатор, и

Анфантен отвергли его предложения, за что Фурье обрушился на них в брошюре «Ловушки и шарлатанство сект Сен-Симона и Оуэна» (1831). Когда среди сен-симонистов начались раздоры, некоторые из них перешли на сторону Фурье, и в 1832 г. у него было уже достаточное число учеников, с коими он мог теперь предпринять пропаганду своих идей в собственном органе «Индустриальная реформа, или Фаланстер» (с 1832 г.). Тогда же было принято осуществление на опыте «домашней и земледельческой ассоциации», окончившееся неудачей¹. Под конец своей жизни Фурье опять впал в крайнюю бедность и должен был добывать себе пропитание ремеслом переписчика. Умер он в 1837 г., оставив главою школы Консидерана, который изложил учение Фурье в известной книге «*La destinée sociale*» (1836–1838).

Сен-Симон и Фурье выросли на одной и той же почве. Оба перебивались со дня на день, стремясь осуществить свои планы. Оба были мечтателями, старавшимися, однако, найти научное обоснование для своих взглядов на общество, и, что интереснее всего, оба искали объяснения всех явлений в законе всемирного тяготения. Далее, оба они точно так же выступили с резкой критикой современного общественного устройства и с проповедью ассоциации, причем и тот и другой с одинаковым недоверием относились к либерализму, бывшему в глазах Фурье, например, лишь переодетым и неискусно загримированным эгоизмом. И он, подобно Сен-Симону, относился враждебно к насильственной революции, вследствие чего ставил, например, Бабёфа на одну доску с Маратом. Наконец, и Фурье придавал большое значение религиозному элементу, считая атеизм, материализм и даже деизм за умственные заблуждения, но собственные его религиозные воззрения остаются доселе мало выясненными. Только ум Фурье в научном отношении был совсем недисциплинированный. Он создал совершенно фантастическую историю мироздания, разделив ее на периоды с арифметически правильно расположенными количествами тысячелетий и наполнив эти периоды самыми странными выдумками своего необузданного воображения. В своей космогонии он является даже пророком относительно будущего, когда под влиянием перемены в жизни людей, по его мнению, и сама природа сделается иной. Эти предсказания Фурье вызывали немало насмешек. Он предсказывал, например, появление новых творений, которые будут служить человеку. Антильвы (anti-lions) в три раза более теперешних львов будут превосходными скакунами, на которых люди станут быстро переноситься с места на место: антилев будет делать скачки в четыре туаза (=25 футов), и всадник будет чувствовать себя так же хорошо, как в рессорном экипаже. «Приятно будет, — восклицает Фурье, — жить в этом мире, когда к услугам вашим будут подобные служители! Вместо китов, явятся антикиты (anti-baleines), которые станут возить корабли по морям. Антикрокодилы и антигиппопотамы будут играть роль лоц-

¹ Об этом будет сказано в V томе.

манов при входе в устья рек, а антитюлени — роль верховых лошадей на лоне вод. Море совершенно изменится, и вода его превратится в нечто наподобие лимонада (*une espèce de limonade*). Переменится и климат, благодаря, между прочим, появлению над полюсом северной короны — вроде кольца Сатурна: когда ее зажгут солнечные лучи, она станет нагревать полюс до температуры Андалузии и Сицилии, а в Петербурге климат будет такой, как в Ницце. При этом продолжительность человеческой жизни достигнет 144 лет». Эта космогония была дополнена фантастическим учением о загробной жизни, в котором главную роль играло переселение душ — не только людей, но и планет и солнц в простой вселенной, двойной вселенной, тройной вселенной и т. п. (*univers, binivers, trinivers* и т. д.). Ко всему этому нужно прибавить, что Фурье нигде не доказывает, а только вещает, произвольно создавая понятия о никогда не существовавших вещах, столь же произвольно вводя новые слова, коим не соответствует никаких действительных понятий, постоянно давая произвольные, но очень точные цифры и до мельчайших подробностей определяя формы будущего быта. Он верил в скорую осуществимость своей системы и сначала думал, что призван осуществить ее — Наполеон. Потом он рассчитывал, что на помощь к нему явится какой-либо богач вроде Девоншира, Нортумберленда, Шереметева, Лобанова, Чарторыйского, Эстергази или какая-либо компания. В 1822 г. он думал, что в том же году будет сделан первый опыт введения его системы и в следующем 1823 г. докажет свою пригодность; тогда в 1824 г. все цивилизованные народы введут у себя жизнь на новых началах, в 1825 г. к ним присоединятся варвары и дикари, в 1826 г. завершится преобразование человечества установлением «сферической иерархии». Все это указывает на то, к какого рода области продуктов мысли следует относить систему Фурье в ее целом. Рассмотрим теперь моральные и экономические основы системы. Исходным пунктом учения Фурье в «Теории четырех движений и всеобщих судеб» является неудовлетворительное состояние человечества в настоящее время. Существуют рассказы о том, как Фурье еще ребенком, а потом и взрослым человеком познакомился с ненормальностями общественной жизни. Когда ему было пять лет, однажды в его присутствии отец его сделал попытку обмануть одного покупателя, но мальчик обнаружил обман и после был за это отцом наказан: Консидеран уверяет, будто уже тогда мальчик дал «клятву Ганнибала» в вечной ненависти к такому порядку вещей, при котором возможна подобная неправда. Далее, в бытность свою приказчиком у марсельского хлебного торговца Фурье был свидетелем следующего случая: его хозяин, выжидая лучших цен, не продавал большого запаса риса, который у него был, но рис испортился, и хозяин велел Фурье бросить его в море, и вот это будто бы тоже открыло глаза Фурье на несовершенства нашей цивилизации. Сердце у него, очевидно, было доброе, и он умел сочувствовать чужим страданиям. Хорошо знакомый с коммерческим миром, Фурье дал весьма острую критику современных экономических порядков, указав на то, напри-

мер, что теперешний голодный пролетарий иной раз и позавидует, пожалуй, сытому рабу Древнего мира, — куда уж тут до теории о верховной власти народа! Отношение Фурье к философии XVIII в. и к революции, которая думала осуществить ее принципы, было отрицательное: 1793 г. к прежним бедствиям присоединил только новое — зверское истребление целых масс народа. Значит, думает Фурье, во всем этом, т. е. в несовершенствах нашей общественной жизни, есть какое-то искажение естественного порядка вещей, созданного Промыслом, но неизвестного нашим ученым. Отсюда необходимость новой науки, которая и делается «первым открытием» Фурье: это его теория страстного влечения (*théorie de l'attraction passionnée*), законы коего будто бы во всех пунктах согласны с законами влечения, т. е. притяжения материального, изъясненного Ньютоном и Лейбницем. Исходя из этой мысли, он создал совершенно произвольную психологию — подстать к своей космогонии. Бог дал страстям человека большую интенсивность, чем разуму, а потому страсти суть истолкование видов Промысла относительно общественного порядка. Если философы проклинают страсти, то лишь потому, что сами ничего не понимают: «философские капризы, известные под именем обязанностей, не имеют ничего общего с природой», и если страсти приносят вред, то виноват в этом лишь дурной общественный порядок, при ином же порядке страсти ведут к согласию и общественному единению. Бог не создал для людей принудительных мер, а дал им только страсти, между коими нужно иметь в виду и влечение к производительным трудам, иногда даже к самым отвратительным по своей сущности. Всеобщее движение Фурье разделял на материальное, аромальное¹, органическое и инстинктивное и рядом с ним поставил еще пятое движение — осевое (*pivotal*) или социальное, или страстное (*passionnel*): первое было открыто Ньютоном, четыре остальных — им, самим Фурье, и на основании этих-то своих открытий он и строил свою космогонию или теорию всеобщих судеб. Он дает далее целую теорию страстей, придумывая для них самые причудливые названия: кабалиста — страсть к интриге, альтернанта или папильона, — страсть к переменам, композита — вообще слепое увлечение, — и ставя с ними в соответствие звуки, цвета, арифметические действия, геометрические фигуры и металлы (например, дружбе соответствуют до, фиолетовый цвет, сложение, круг, железо и т. п.). Страстное влечение Фурье делил на три категории по их целям: человек или стремится к роскоши, т. е. к

¹ Термин Фурье. Согласно учению философа, подробно изложенному впервые в книге «Теория четырех движений» (1808), мировое движение выступает в четырех формах — как материальное, органическое, животное (анимальное) и социальное (см.: *Фурье Ф.М.Ш. Избранные сочинения. Том 1. Теория четырех движений и всеобщих судеб: проспект и анонс открытия.* М.: Соцэкгиз, 1938. С. 83–84, 106–107, 132–137). Иногда Фурье говорил о пяти видах движения — материальном, органическом, инстинктивном, аромальном и социальном. Под «аромами» философ понимал некое особое состояние материи (см.: *Фурье Ф.М.Ш. Избранные сочинения. Том 2. Новый промышленный и общественный мир.* М.: Соцэкгиз, 1939. С. 322, примечание). — *Прим. ред.*)

чувственным удовольствиям (пять страстей, соответствующих пяти органам чувств), или находится в обладании страстей трогательных (*affectives*, каковы дружба, любовь, отеческое чувство и честолюбие), или, наконец, подчиняется страстям разделительным (*distributives* = упомянутая кабалиста, папильона и композита). Эти двенадцать страстей соответствуют двенадцати тонам и полутонам гаммы, а их комбинации образуют 810 различных характеров. «Бог сделал хорошо все, что сделал», и человеку нужно только понять указания природы и последовать им. Воспитание должно не подавлять или пытаться преобразовать страсти, а содействовать полному их развитию и все их, не исключая удовольствий, прилагать к производительной промышленности. Соединение всех звуков человеческой души создаст всеобщую внутреннюю и внешнюю гармонию, т. е. счастье индивидуальное, как результат удовлетворения желаний, и счастье общее, как результат устранения антагонизмов и шероховатостей разного рода. Достигнуть этого можно, сделав труд привлекательным (*le travail attrayant*), т. е. сделать каждый вид труда доступным соответственной страсти, например, предоставив кухню лакомкам, выделку благовонных товаров щеголихам и т. п., а очищение жилищ от грязи и нечистот детям, которые вообще любят пачкаться. Современное общественное устройство не годится для такого развития страстей и приложения их к труду, и нужно потому совершенно его изменить. Люди должны быть соединены в фаланги в 1600—1800 человек, дабы, исключив детей ниже четырех лет и стариков свыше ста двадцати лет, имеющих вместе составлять половину населения, получить около 810 человек в полном цвете сил в соответствии с 810 различными характерами людей. Каждая фаланга устроится на своем участке земли, в центре которого выстроит себе великолепное жилище — фаланстер. Фурье весьма подробно занимается описанием того, как должен быть устроен фаланстер и какой порядок жизни должен быть в нем заведен, входя при этом в самые мелочные подробности, в разные арифметические вычисления и более или менее наивные и даже прямо забавные предположения, но рядом с этим он высказывает и мысли принципиального характера. Оставляя в стороне всю фантастическую сторону плана «земледельческой ассоциации» Фурье, мы укажем лишь на его экономические идеи. В основу фаланстера положена именно идея производительной и потребительной ассоциации, выгоды коей Фурье доказывал таким образом: «300 семейств поселян, соединившись в ассоциацию, имели бы один прекрасный сарай, вместо 300 никуда негодных; имели бы одно хорошее заведение для выделки вина, вместо 300 плохих; в разных случаях, особенно летом, они разводили бы три или четыре огня, вместо трехсот» и т. п. Фурье предполагал что такие ассоциации, или фаланги осуществляются, если в них найдутся любимые занятия для всех людей и когда люди воочию убедятся, что жить в фаланстерах будет и дешевле, и приятнее, главное именно — приятнее, ибо человек стремится к удовольствиям, выгода же от соединения придет сама собой. В фаланстере для всех занятий будут

учреждены страстные серии (*séries passionnées*) с возможностью переходов из одних серий в другие в течение дня общей работы, но так, что 7/8 населения будет занято земледелием и промышленностью, а 1/8 составят капиталисты, ученые и художники. Первый принцип фаланги — соединение в ней разнообразных занятий с преобладанием, однако, земледелия, второй принцип — сохранение общественных неравенств. Фурье постоянно объявлял себя врагом коммунизма: по его представлению члены фаланги должны иметь каждый свое собственное состояние, и в фаланге будут существовать как люди ничего не имеющие, так и миллионеры; Фурье, описывая устройство фаланстера, говорил даже, какие квартиры будут у бедняков и у богачей — квартиры для разных кошельков, с хорошими видами из окон по переднему фасаду и с окнами во двор. В фаланге каждый будет владельцем произведений своей промышленности, начиная с детей от 4,5 лет, и несмотря на общность жизни и труда в страстных сериях, каждому будет отдаваться то, что ему следует: общий доход фаланги будет распределяться на двенадцать частей, из коих четыре придутся на долю капитала, пять — на долю труда физического и три — на долю теоретических и практических занятий. «Общинный быт (*le régime sociétaire*), — говорит Фурье, — столь же несовместим с равенством состояний, как и с равенством характеров». В другом месте он обвинял экономистов за то, что «раз они случайно нападут на какую-нибудь новую идею вроде идеи промышленного товарищества, то спешат затемнить ее и испортить, прищипливая к ней свои старые софизмы и притом наиболее смешные, как то: общность имуществ, нежное братство», хотя в то же время он и утверждал, что в фаланстере бедняк найдет не только веселую работу (*de travaux joyeux*) и в изобилии как продукты, так и дивиденды, но и беспечную жизнь, гарантированную известным *minimum*'ом, который будет создаваться индустриальным влечением (*insouciance fondée sur la garantie du minimum que remboursera l'attraction industrielle*).

Фурье начертывал и план всемирной организации фаланстеров, ставя во главе каждой фаланги барона, или унарха, во глав трех фаланстеров — виконта или дуарха, и т. д., создавая целую иерархию триархов (графов), тетрархов (маркизов), пентархов (герцогов), гекзархов (капиков), гептархов (королей), октархов (султанов), эннеархов (калифов), декархов (императоров), онзархов (цезарей), дузархов (августов) и во главе всего мира — одного осевого омниарха (*omniarche pivotale*), столица коего будет в Константинополе. В 1822 г. он, как мы видели, высказывал мысль, что в самое короткое время фаланстеры распространятся по всей земле, и осуществится «сферическая иерархия» с единым омниархом во главе. «Я, — писал себе Фурье, — шел один к цели без приобретенных средств, без проторенных путей. Я один сумею убедить двадцать веков политического слабоумия (*imbécillité politique*), и мне одному теперешние и будущие поколения будут обязаны инициативой их безмерного блаженства». К сен-симонизму и учению Оуэна Фу-

рье относился крайне враждебно. «Сен-симонисты, — писал он в своей брошюре, направленной против них и против Оуэна, — теократы и вследствие этого не что иное, как клоаки порока и лицемерия. Если бы они достигли власти, то не улучшение быта трудящихся классов было бы результатом этого,... а то, что в течение полувека они овладели бы всеми видами собственности, капиталами, землями, фабриками, заводами». В другом месте он писал, что «проповедовать уничтожение собственности и наследства в XIX в., это — такая чудовищность, от которой можно только пожимать плечами». У Фурье, действительно, нет того теократического элемента, который в сен-симонизме уничтожал вконец индивидуальную свободу. Фурье был даже защитником последней, желавшим, чтобы каждый следовал влечению своих страстей (между прочим, в половых отношениях, которые у сен-симонистов тоже отдавались под контроль «священников»); и все руководство делами фаланги, которое он предоставлял ареопагу из самых опытных и мудрых «гармонийцев» (т. е. людей, живущих в новом, гармоническом строе общества), должно было заключаться не в чем ином, как в издании не столько распоряжений, сколько указаний (например, относительно времени, благоприятного для жатвы), коим «страстные серии» (например, жнецов) могут и не повиноваться, так как они должны всегда действовать по собственному влечению. Фурье, в сущности, разделял веру экономистов в то, что свободное следование влечениям, но не при индивидуальном, а при коллективном труде, создаст гармонию интересов, хотя вразрез с принципом свободы, и устанавливал закон, по которому должно было происходить вознаграждение капитала, труда и таланта. То есть признавая индивидуальную собственность и свободу коллективного производства, Фурье не допускал только свободы в распределении продуктов, полученных целой фалангой. На самом широком применении принципа свободы он основывал и свою мораль, объявив идею долга, обязанности выдумкой философов, самонадеянно взявшихся исправлять дело рук божьих и написавших четыреста тысяч ни к чему негодных томов. Мораль Фурье — чистейший сенсуализм, не сдерживаемый никакими духовными мотивами, и эта сторона его системы с особой ясностью проявилась в его проповеди свободной любви, но к тому же сенсуалистическому, в сущности, взгляду пришел и сен-симонизм со своей «реабилитацией плоти».

Социальный вопрос, как его поставила предыдущая история, есть, прежде всего, вопрос экономический. Культурное развитие предшествующих веков создало науку, которой и должна принадлежать первенствующая роль в деле решения сложных и трудных общественных вопросов. Сен-симонизм и фурьеризм важны как исторические явления в том отношении, что с особой силою и очевидностью вскрыли недостатки современного общества, но положительная часть обоих учений страдает, во-первых, тем, что в обоих экономическая сторона жизни не выделена для

самостоятельного изучения, как это было сделано в политической экономии, а во-вторых, тем, что в обоих же направлениях наука со своими ясными понятиями и со своим реализмом положительно уступает место туманным фантазиям и субъективному творчеству. Каковы бы ни были недостатки политической экономии, созданной школой Адама Смита, — а недостатки эти были громадные, — выделив из всей совокупности человеческой жизни область экономических явлений и подвергнув их научному анализу, она указала на тот путь, по которому должна была идти человеческая мысль в изучении общества. Сен-симонизм и фурьеризм обратили, однако, внимание на такую сторону экономической жизни, которая, так сказать, скрывалась от взглядов экономистов, и в этом отношении они оказали услугу и науке, внесши в нее, кроме того, важные исторические соображения о развитии хозяйственного быта (сен-симонизм) и соображения экономические о выгодах ассоциации (Фурье), не говоря уже о том, что ими же (особенно Сен-Симоном) поставлена обществу задача заботиться об улучшении быта трудящихся и обремененных. Но за всем тем мистицизм и фантастичность, пренебрежение к научному методу (особенно у Фурье) и отрицание свободы личных мнений (у сен-симонистов), равнодушие к жгучим политическим вопросам своего времени, якобы не имевшим самостоятельного значения, были явлениями, которые роднили оба направления с другими фактами культурной и политической реакции той эпохи. Приверженность сен-симонизма к принципам и формам средневекового католицизма, догматы коего были им притом отвергнуты во имя новой веры, с одной стороны, и отрицательное отношение «доктрины» к философии XVIII в. и к движению, совершавшемуся под их знаменем, — с другой, могли явиться и развиваться только на почве, подготовленной предыдущей реакцией против идей XVIII в. И в сен-симонизме, и в фурьеризме знание склонялось перед верой: дальнейшее развитие поднятых ими социальных вопросов могло совершаться лишь под условием возвращения к научному методу и отказа от фантастического утопизма.

Порожденные в культурной своей стороне реакционными веяниями эпохи, системы сен-симонизма и фурьеризма в своей экономической стороне отразили на себе расстройство экономической жизни, произведенное индустриальной революцией, и возникшее в обществе сознание ненормальности данного социального строя. Одновременное появление во Франции Сен-Симона и Фурье и образование двух социалистических школ или сект, к коим примкнуло немало людей из образованного класса общества, указывает на то, что поднятые ими вопросы уже начинали ставиться самой жизнью. О том же свидетельствует появление в Англии в ту же самую эпоху Оуэна с его новыми идеями о социальной реформе и та популярность, какую он снискал не только на родине, но и на материке Европы, и в Америке, не только в обществе, но и у правительств.

«Английский социализм, — говорит один из знатоков социальной истории Англии¹, — был принципиально неполитическим (*principiell inpolitisch*) ... Он возник ранее 1832 г. и развивался далее после билля о реформе, не отразив на себе видимым образом политических перемен». Родоначальник этого социализма, Роберт Оуэн, говоря опять словами того же историка, «принадлежал к утопическим социалистам, которые, не чувствуя ни малейшей склонности к насилию и к союзу с политической революцией, стремились уничтожить все страдания человечества посредством изобретенной ими системы осчастливления вселенной и думали о введении последней исключительно силой убеждения В то самое время, как старый радикализм, предшественник чартизма², проник в ряды английских рабочих, настоящий основатель английского социализма держал себя далеко от чисто политической агитации». Не забудем, что Оуэн (род. в 1771 г., ум. в 1858) действовал (беря лишь рассматриваемый период времени) в ту эпоху, когда на очереди стоял политический вопрос о парламентской реформе, сильно волновавший рабочих. Будучи вообще самоучкой, он, как признают и весьма расположенные к нему писатели³, плохо знал и понимал политическую сторону общественной жизни и вообще ее историю.

Оуэн с самого раннего возраста — еще ребенком — был привлечен к промышленным и торговым предприятиям и в зрелом возрасте участвовал в разных компаниях и управлял фабриками. Он своими глазами видел недостатки нового промышленного строя, и у него, — главным образом, под влиянием Руссо, которого он читал во французском переводе, и Рида, допускавшего в своей теории нравственных сил человека большое действие воспитания на их образование, — родилась мысль работать над исправлением общественных недостатков. В 1799 г. он приобрел в компании одну бумагопрядильную фабрику, основанную еще Аркрайтом в Нью-Ланарке (в Шотландии). Прежний владелец фабрики, бывший компаньоном Аркрайта, некто Дэль, набрал на нее массу детей, для помещения коих выстроил казармы, и привлек в Нью-Ланарк много рабочих из других мест. Жизнь этих детей и рабочих была самая безотрадная: на фабрике дарили нищета, болезни, пьянство, разврат и, вместе с этим, религиозная нетерпимость между представителями отдельных сект. Оуэн, взяв на себя управление этой фабрикой, поставил себе задачу осуществить на ней свои идеи о нравственном возрождении путем воспитания. Трудно ему приходилось на первых порах: шотландские рабочие не доверяли ему, смотрели на него, как на нового эксплуататора, вдобавок еще англичанина и иноверца. Весьма умелыми мерами (лучшим надзором за рабочими, прибавкой платы за общее прекращение воровства и улучшение качества работы, открытием магазина и винной лав-

¹ Adolf Held в книге, указанной выше.

² О чартизме речь будет идти в V томе.

³ См., например, у Лимановского.

ки, где все продавалось на 20 % дешевле, уничтожением преимуществ, которыми раньше пользовалась одна привилегированная секта в сравнении с другими, привлечением на фабрику семейных рабочих, сокращением рабочего времени с 14 до 10,5 часов, устройством для холостых рабочих общей кухни и т. п.) Оуэн достиг того, что рабочие на его фабрике стали зажиточнее и нравственнее и сделались более производительными в труде. В 1806 г., вследствие наложения правительством Соединенных Штатов эмбарго на хлопчатую бумагу привоз ее в Англию почти прекратился, но если другие бумагопрядильные фабриканты прекратили по этой причине производство и распустили рабочих, то Оуэн в течение четырех месяцев продолжал платить своим рабочим, пока не явилась возможность возобновить работы. Особое внимание сообразно с духом своей системы обратил Оуэн на воспитание детей, говоря, что если бы имел возможность взять на воспитание всех детей земного шара, то скоро посредством этого «второго рождения» ввел бы в жизнь человечества принципы братства и единения. В 1816 г. он даже устроил, затратив 10 т. фунт. стерл., «Институт для образования характера». Пропагандировать свою систему Оуэн начал в 1812—1813 гг., когда издал свой главный труд, который в издании 1816 г. носил название: «Новый взгляд на общество или опыты об образовании человеческого характера. Приготовление к развитию плана для постепенного улучшения быта человечества». Здесь он рассказал историю своих реформ в Нью-Ланарке и развил положенные в их основу теоретические соображения, исходя из того утверждения, что его система, испробованная на опыте, вышла уже из области гипотез и что ее принципы могут иметь всеобщее применение во все времена и при всяких обстоятельствах. Имя Оуэна прогремело после этого по всей Европе, и Нью-Ланарк стал привлекать многочисленных путешественников, между коими был и Александр I. Даже Наполеон, находясь на острове Эльбе, заинтересовался системой Оуэна и выражал сожаление, что не знал о ней, когда царствовал во Франции. Прусский король написал Оуэну благодарственное письмо за ту записку, которую он ему прислал. В Париже, куда вскоре после окончания войны приехал Оуэн, ему был оказан почетный прием; между прочим, он был представлен герцогу Орлеанскому. Когда в Англии после 1815 г. образовалась особая комиссия из духовных лиц, государственных людей, экономистов и филантропов для исследования вопроса о причинах незначительности рабочей платы после заключения мира, Оуэн получил приглашение принять участие в ее работах. Уже раньше он посылал записки с разного рода советами государственным людям, теперь (1817) он представил упомянутой комиссии целый план «земледельческих и мануфактурных деревень единства и взаимной кооперации» (превратившихся впоследствии в «кооперативные общества»). Комиссия передала этот план другой, уже парламентской комиссии, учрежденной для рассмотрения вопроса о причинах бедности рабочих. Эти общины должны были

сначала управляться какой-либо способной личностью, но когда вырастет новое поколение, общинникам можно было бы предоставить самим выбор своих управителей. Внешнее устройство таких общин имело подобие с фурьеровскими фаланстерами. Когда парламентская комиссия объявила, что находит план Оуэна неудобноисполнимым, он обратился к государям Австрии, Пруссии и России, собравшимся на Ахенский конгресс, с двумя записками, в коих доказывал необходимость — и с точки зрения охраны внутреннего порядка, и с религиозной точки зрения — заняться обеспечением быта бедных классов общества. Указав на рост национального богатства Англии, Оуэн обращал внимание государей на то, что благосостояние рабочих, напротив, упало, а с ним пришла в упадок и нравственность, чего, однако, не случилось в Нью-Ланарке, благодаря новой системе. Оуэн писал далее, что наступило время, когда сделалось возможным без насилия и без обмана производить богатства в таком количестве, чтобы с избытком удовлетворять потребности и желания всякого человеческого существа, и когда без насилия и наказаний стало возможным воспитывать молодое поколение в направлении, нужном для целей общежития, — наступило, одним словом, время для исчезновения нищеты и невежества, насилия и обмана. Каждый человек заинтересован в том, чтобы поскорее были осуществлены новые принципы. Ахенский конгресс оставил проект Оуэна без внимания, и Оуэн объяснял себе это ссылкой на слова, сказанные ему на одном банкете в том же 1818 г. одним дипломатом: «правительства вовсе не желают искоренять ни невежества, ни бедности, потому что без них они не могли бы управлять массами». Дело в том, что в план Оуэна около этого времени вошли уже новые черты. Сначала он, видя противоположность интересов капитала и труда, проповедовал обязанность работодателей заботиться об улучшении быта рабочих, доказывая, что этого требует и выгода самих капиталистов, так как лучше обеспеченный и более нравственный рабочий и трудится производительнее. Кроме того, в период времени между 1812—1817 гг. он требовал государственного вмешательства в промышленную жизнь, например, ради охраны здоровья и нравственности детей, работающих на фабриках. Но мало-помалу он стал сходить с той исключительно практической почвы, на которой держался раньше, и начал предаваться мечтаньям о всеобщем счастье, которое должна была осуществить его система воспитания, а потом его организация земледельческих и промышленных общин, причем объявил индивидуализм врагом его системы любви и взаимной кооперации. В плане, представленном ахенскому конгрессу, уже появляются эти, совсем новые черты его социального мирозерцания: общность имуществ, труда и вознаграждения, а тут еще в 1817 г. наделало много шума публичное заявление Оуэна на одном митинге, что сам он не принадлежит ни к одной религии, исповедуемой в мире, и что, по его мнению, все религии без какого бы то ни было исключения исполнены заблуждений, делают из человека сла-

бое и глупое животное, создают фанатиков и лицемеров и мешают счастью на земле. С 1819 г. Оуэн, после неудачной кандидатуры в члены парламента, начал пропагандировать свою идею о «кооперативных общинах» путем печати и митингов и обращался не раз к обществу, к парламенту, к правительству с просьбой помочь ему деньгами для основания «кооперативной общины». Во время этой своей агитации он оттолкнул от себя радикалов, так как заявил себя решительным противником их политической программы, говоря, что отнятие избирательного права у «гнилых местечек» ни к чему не приведет. С 1821 г. он начал даже вербовать себе приверженцев среди рабочего класса. Не добившись ничего на родине, в 1824 г. он уехал в Америку, где купил землю и постройки, принадлежавшие одной сектантской общине социально-аскетического характера, носившей название Гармонии: здесь он и основал свою кооперативную общину, дав ей название Новой Гармонии, и устройство, сообразное с своими моральными и экономическими принципами, осуществление коих, как был твердо убежден в это время Оуэн, должно было осчастливить со временем все человечество. В Новой Гармонии, однако, вскоре начались раздоры, которые заставили Оуэна, уехавшего было в Англию, снова вернуться в Америку. В 1827 г. ново-гармонийская община, состоявшая из одних зажиточных и образованных людей, распалась, после чего (1827) Оуэн возвратился опять в Англию¹. К этому времени его социальное мировоззрение определилось в том смысле, что «троицу зла», от коего страдает человечество, он нашел в религии, собственности и браке. Между тем в отсутствие Оуэна один из его учеников, Комб, основал кооперативную общину в Орбистоне (в Шотландии), но и она скоро распалась. Более успеха имели основавшиеся, в отсутствие же Оуэна, в некоторых городах общества для распространения кооперативной системы; с той же целью в 1826 г. был даже основан особый литературный орган «Cooperative Magazine». Эта пропаганда новых идей еще более оживилась с возвращением на родину самого Оуэна, потратившего на это дело немало сил и денежных средств, ездившего по стране, собиравшего митинги, говорившего речи, издававшего брошюры. Делались им и новые попытки основания общин (между прочим, в Мексике в 1828 г.). Практическим результатом этой пропаганды было возникновение в Англии «кооперативного движения», развитие коего принадлежит уже следующему периоду истории XIX в.

¹ В Америке в это время образовалось около 20 общин, но все они столь же скоро распались.

Содержание

Вступление.....	5
I. История XIX в. и ее изучение.	5
II. Влияние Французской революции на Европу.	15
III. Исход революции по отношению к внутренней жизни Франции	34
Эпоха консульства и империи.	45
IV. Наполеоновская эпоха и ее историография	47
V. Наполеон Бонапарт до 1799 г.	58
VI. Восемнадцатое брюмера и наполеоновские конституции	76
VII. Внутренняя политика консульства и империи.	96
VIII. Господство Франции в Европе при Наполеоне I	123
IX. Внутренние перемены в западноевропейских государствах в наполеоновскую эпоху	142
X. Разложение «старого порядка» и попытка реформ в Пруссии	157
XI. Внешняя и внутренняя оппозиция против империи Наполеона	184
XII. Падение империи, «Сто дней» и Венский конгресс	204
Эпоха Реставрации	219
XIII. Происхождение и характер реакционных стремлений эпохи	221
XIV. Общая характеристика либерализма в эпоху Реставрации	252
XV. Священный союз, южнороманские революции и конгрессы.	274
XVI. Победа партикуляризма и реакции в Германии.	303
XVII. Реставрация и установление конституционной монархии во Франции.	336
XVIII. Реакционная политика во Франции при Людовике XVIII.	350
XIX. Борьба французского либерализма против реакции	367
XX. Происхождение английской реакции конца XVIII и начала XIX в.	386
XXI. Реакция и борьба за свободу в Англии до 1830 г.	408

Социальная история первой трети XIX в.	443
XXII. Существенное содержание социальной истории XIX в. и ее изучение.	445
XXIII. Крестьянский вопрос в первой трети XIX в.	462
XXIV. Перемены в промышленном быту Западной Европы в конце XVIII и начале XIX в.	490
XXV. Капитализм, пролетариат, пауперизм и начало рабочего вопроса	511
XXVI. Экономические теории эпохи в связи с моральными и политическими учениями.	531
XXVII. Социальные учения первой трети XIX в.	553